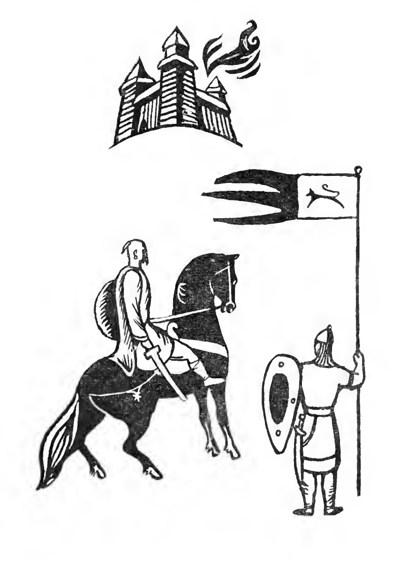
СЕМЕН СКЛЯРЕНКО



# Святослав



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1964



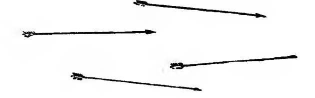
СЕМЕН СКЛЯРЕНКО

# Святослав

РОМАН

*Авторизованный перевод с украинского*
Ал. ДЕЙЧА и Ив. ДОРБЫ





*Предисловие*
А. И. БЕЛЕЦКОГО

*Оформление художника*
В. ЮРЛОВА

## СЕМЕН СКЛЯРЕНКО И ЕГО РОМАН «СВЯТОСЛАВ»[1]

### 1

«Тень Святослава скитается невоспетою»,— писал Пушкин Гнедичу 25 февраля 1825 года, напоминая своему корреспонденту его давние слова. Указывая на другие героические образы русской истории от Владимира и Мстислава до Ермака и Пожарского, Пушкин заканчивал много раз цитированным впоследствии суждением: «История народа принадлежит поэту».

В 1825 году напоминание о «невоспетой тени Святослава» было не совсем точно. Еще в 1822 году появилось стихотворение К. Ф. Рылеева «Святослав». В 1825 году оно вошло в состав рылеевского сборника «Думы». Молодой гусар Вейсман во время русско-турецкой кампании, на берегу Дуная, задумавшись, вспоминает древнерусского князя-воителя и патетически обращается к его памяти:

О князь! Давно истлел твой прах,
Но жив еще твой дух геройский!
Питая к славе жар в сердцах,
Он окриляет наши войски![2]

Известно, с каким интересом относились декабристы, эти «первенцы русской свободы», к темам и образам древнерусской истории. «Думы» Рылеева открываются цитатой из польского поэта Немцевича, которая как нельзя лучше характеризует причины этого интереса. Они одинаковы у русского поэта-декабриста и у польского романтика. Немцевич писал:

«Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых

[1] Статья написана академиком А. И. Белецким к первому изданию романа на русском языке, вышедшем в 1961 г. Статья печатается с некоторыми сокращениями *(Ред.)*.

[2] К. Ф. Рылеев, Полн. собр. соч., изд. Academia, 1934, стр. 128.

впечатлений, сих ранних понятий не в состоянии изгладить. Они крепнут с летами и творят храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета».

Эти идеи вдохновляют и Рылеева. Его «Святослав» не принадлежит к лучшим вещам, составившим «Думы». Как и во многих других случаях, в обрисовке Святослава поэт следовал «Истории государства Российского» Карамзина, уделившего Святославу немало страниц, основанных частью на русской Начальной Летописи, частью на сообщениях византийских историков. Но карамзинская трактовка образа Святослава несколько отличается от рылеевской.

У Карамзина Святослав также носитель геройского духа, но не воплощение государственной мудрости. Рассказав о его ратных подвигах и безвременной гибели, Карамзин заканчивал свое повествование такой тирадой:

«Таким образом скончал жизнь сей Александр нашей древней истории, который столь мужественно боролся и с врагами, и с бедствиями; был иногда побеждаем, но в самом несчастии изумлял победителя своим великодушием; равнялся суровою воинскою жизнию с героями песнопевца Гомера и, снося терпеливо свирепость непогод, труды изнурительные и все ужасное для неги, показал русским воинам, чем могут они во все времена одолевать неприятелей. Но Святослав, образец великих полководцев, не есть пример государя великого: ибо он славу побед уважал более государственного блага и, характером своим пленяя воображение стихотворца, заслуживает укоризну историка» [1].

Таким Святослав вошел и в русскую дореволюционную историографию, и в художественную литературу. Впрочем, нужно сказать, что в художественной русской литературе образ Святослава появлялся чрезвычайно редко.

В тридцатых — сороковых годах XIX века близко подходил к теме Святослава русский романтик, критик, беллетрист и историк Николай Полевой. Он наметил эту тему еще в «Византийских легендах», написанных в 1835 и изданных отдельно в 1841 году. В этой книге он хотел показать читателю историческую обстановку и некоторых лиц, связанных с историей Святослава.

«Царьград (Константинополь) X века; Никифор, мрачный и суровый; Иоанн Цимисхий, столь же храбрый в брани, сколько был он неукротим в страстях; Феофания (Феофано), супруга и губительница двух властителей Царьграда: вот действующие лица картины, которую я решился изобразить». Святослава здесь еще нет. Но он появляется в другой книге Н. Полевого — «Повести Ивана Гудошника» (ч. 2, СПб. 1843), в рассказе «Пир Святослава Игоревича, князя Киевского».

Рассказ начинается с описания весенней ярмарки в «норманском городке» [2] Киеве, на которую съезжаются новгородцы, гречины, пече-

[1] Н. М. Карамзин, История Государства Российского, кн. I, т. I, изд. 5-е, СПб. 1842, стр. 118.

[2] Во времена Н. Полевого еще была в ходу теория «норманского» происхождения Древней Руси, впоследствии признанная несостоятельной.

печи, половцы, а вечером прибывают ладьи с византийскими послами Калокиром и Михаилом.

Их встречает воевода Святослава Свенельд и приглашает гостей на княжескую охоту, где они встречаются со Святославом, изображенным согласно его портрету в русской Начальной Летописи. На лесной поляне устраиваются состязания в борьбе, в которых «грек берет верх хитростью, печенег ловкостью, славянин терпением, а варяг силой». Святослав, очевидно представляющийся автору полуварягом, в доказательство своей силы свертывает в трубку толстое серебряное блюдо.

За состязанием следуют выступления певцов, среди которых отличается любимец князя, певец Велес, исполняющий песню об Олеге Вещем, о его походе на Царьград, о его смерти, согласной с предсказанием Перунова жреца — частью по летописи, частью по «Песне о вещем Олеге» Пушкина, а частью и при помощи «Слова о полку Игореве».

Певец рассказывает об Олеге, прибившем свой щит к вратам Царьграда и при отплытии предсказавшем, что за ним придет на Византию другой: «...молодец меня удалее, возьмет, полонит он Царь-город, а имя тому молодцу, князю удалому...»

Имени этого не расслышали, но песня заставила Святослава задуматься. Она внушила ему мысль о новом походе против «щедушных булгар», чей князь ищет союза с греками и венграми и коварно убил дядьку его, мудрого, седовласого Асмунда.

«Кровь за кровь, по русскому обычаю!» — восклицает Святослав; дружина подхватывает: «Кляиемся!» «Он казался богом брани. Он был исполин, непобедимый при той силе, какую слова его возбуждали в сердцах его дружины и вождей»[1].

Дальше этого, сколько мы знаем, разработка образа Святослава в русской художественной литературе не пошла. К концу XIX века повести Н. Полевого были основательно забыты. Они не переиздавались. Святослав вообще ушел из поля зрения русской художественной литературы.

Не менялся его облик и в исторической литературе. Зарубежные историки также видели в Святославе только воинственного полудикаря, пришедшего со своей «разбойничьей», «пиратской» флотилией к Дунаю, «страшного» Святослава, державшегося в болгарском Доростоле при помощи террора, отчаянно храброго, но беспощадного агрессора и грабителя.

Русские исследователи Начальной Летописи отметили в ее рассказах о Святославе отзвуки эпических сказаний, сложившихся в дружинной среде. Какой-либо осмысляющей его действия идеи раскрыть не удавалось. Стало ясно, что придавать абсолютную достоверность рассказам русских летописцев, как и сообщениям византийских историков, невозможно. И художники слова так и оставили «тень Святослава» невоспетою, и такою она оставалась вплоть до вышедшего в 1959 году романа С. Скляренко.

[1] «Повести Ивана Гудошника», собранные Н. Полевым», ч. 2, СПб. 1843, стр. 194—195.

Кто же автор этого романа, отважившийся в наше время углубиться в седую старину? Каков путь, приведший его к данному произведению? Как осмыслил и изобразил наш автор этот полулегендарный образ русской «предыстории»?

## 2

Больше сорока лет отдал С. Д. Скляренко литературной работе. Она началась еще в его гимназические годы со стихов, печатавшихся в газетах и альманахах. Годы гражданской войны на Украине были в литературе временем господства стихов, и в этот общий поток вливался своим творчеством и С. Скляренко. При всех добрых чувствах и передовых мыслях эти стихи еще не предвещали крупного художника.

Но стихи были преходящим моментом в творчестве С. Скляренко, быстро перешедшего на путь прозы. Начиная примерно со второй половины двадцатых годов, выходят одна за другой его повести («Тихая пристань», 1929), рассказы, составившие сборник «Ветер с гор», изданный в 1930 году, книги очерков «Три республики», «Водники ударники», роман «Матрос Исай» (1930).

Что сказать обо всех этих, сейчас уже редко читаемых вещах? Все они проникнуты горячим интересом писателя к рождающейся после Великого Октября новой жизни во всех ее разнообразных проявлениях, воспоминаниями о героической борьбе за революцию, а рядом — отвращением и осуждением пережитков прошлого. Это свойственно было и другим советским писателям, и сказать, что в общем хоре голосов выделялся индивидуальный голос Скляренко, трудно. Писатель словно пробует разные манеры. Сборник рассказов «Ветер с гор», написанных в разное время, очень пестр по своему стилю. Мы найдем в книге и ходячие в двадцатых годах темы из жизни люмпен-пролетариата, и изображение пустой жизни курортников и беспросветных будней скучающего секретаря райисполкома, и мрачную картину темного, дикого села. Читая сейчас этот сборник, ощущаешь близость писателя то к манере Хвильового и его последователей, то влияние Горького, а может быть, и Коцюбинского. Вообще можно сказать, что книга стояла на уровне тогдашней украинской беллетристики, не поднимаясь над ним и не выделяясь какими-либо свойственными только Скляренко чертами.

Стилистический разнобой особенно бросается в глаза в самом крупном по размеру произведении писателя начала тридцатых годов — в романе «Матрос Исай». Завязка действия — страшная «Трипольская трагедия», стоившая жизни многим комсомольцам, зверски замученным и расстрелянным бандитами. Матрос Исай уцелел один из всех, приехавших в Триполье на пароходе. Исай не разбирается в окружающем, но в ходе событий превращается в отважного борца за Советскую власть, в вождя красных партизан, в убежденного коммуниста.

Эпоха исканий продолжается и далее, в тридцатых годах, когда пишется ряд «психологических», по определению самого автора, повестей. Среди них выделяется «Бурун», одно из первых украинских

произведений о Днепрострое. Сейчас, когда тема Днепростроя разработана в десятках романов и повестей, «Бурун», с его вредителями, трусливыми обывателями, честными, полными трудового энтузиазма работниками и победоносным финалом, стал уже историко-литературным документом. Рядом с ним идут другие небольшие повести: «Ошибка» (1933), «Страх» (1935), «Пролог» (1936), «Радость человеческого существования» (1937). Интересен, как один из ранних опытов научно-фантастического повествования в украинской литературе, «Пролог», где в центре произведения ученый, разрабатывающий проблему создания искусственного белка. Но в общем чувствуется, что изучение индивидуальной психологии и психопатологии не есть область, в которой писатель чувствует себя свободно. Его художнический облик все еще остается неустойчивым, и только в 1937 году он приобретает некоторую определенность в романе-трилогии, изданном отдельной книгой под названием «Путь на Киев». Книгу эту с увлечением читают до сих пор, и в послевоенное время только на украинском и русском языках она выдержала более полутора десятка изданий, стала известной и за рубежами нашей страны.

«Путь на Киев» — это роман-хроника о народной борьбе против петлюровщины, белогвардейцев, белополяков, о славном советском полководце Миколе Щорсе, о его боевом соратнике Боженко, а главное, о рождении новых людей, на трудном жизненном опыте убедившихся в правоте великого переворота. То, что не удалось отчетливо показать в романе «Матрос Исай», показано здесь в образе «селянина середняцкого звания» Силы Жердяги.

Сила Жердяга — один из простых, вначале беспомощно барахтающихся в кулацких сетях деревенских людей. Самое дорогое для его мечтаний — «земля», которую ему сулят декларации петлюровской «Директории». Доверчивый и темный, он податлив на всякую ложь националистов, бандитов, белогвардейцев. Только мучительно перегорев в огне гражданской войны, Сила Жердяга начинает отличать ложь от правды; пелена спадает с его глаз, и он вырастает в мужественного борца за революцию, сознательного организатора новой жизни, ясно оценивающего настоящее и прозорливо глядящего в будущее.

Советская власть победила. Прямые враги, типа кулака Ремеза, спекулянта и доносчика Кужеля, украинского эсера Дзенди, уничтожены, сметены, как и сам бездарный «диктатор» Петлюра. Но погиб и героический Микола Щорс. Сила Жердяга остается. В конце романа, окруженный родными и единомышленниками, он обращает к ним знаменательные слова:

«А работы, работы перед нами! Ремеза не стало, а ремезенята еще шевелятся. Надо за ними следить, спуску не давать. Недорубленный лес всегда отрастает, долго нам придется пеньки выкорчевывать. Завоевали мы землю, будем теперь за ней по-хозяйски ходить...»

Тема борьбы за Советскую Украину вызвала, как известно, многозвучный, разнообразный отклик в украинской советской литературе. От певучих, неповторимых по своей лиро-эпической красоте «Всадников»

Юрия Яновского до повестей и романов Олексы Десняка («Десну перешли батальоны»), Юрия Смолича («Восемнадцатилетние», «Рассвет над морем», «Мир хижинам, война дворцам»), Петра Панча («Александр Пархоменко»), М. Стельмаха («Кровь людская — не водица») и других возник большой эпический цикл, в котором трилогии С. Скляренко принадлежит почетное место. Она более других «исторична», и познавательное значение ее несомненно. Героическому образу Щорса, мудро и трезво оценивающего обстановку и людей, противостоит рядовой человек Сила Жердяга, которого события и личные переживания делают героем. В нем есть нечто от Тараса Бульбы, хоть образ Жердяги создан чисто реалистическими приемами. Действие романа происходит то в Киеве, то в деревне, то на полях сражений, и все время мы видим, как в огне событий переплавляется и закаляется сознание украинского крестьянства — малоземельного и безземельного, как совместными усилиями «середняка» Жердяги, украинского пролетария Горохова, русского рабочего Рыбакова из хаоса возникает новая, Советская Украина, которой принадлежит будущее.

«Путь на Киев» выходил и читался в тот момент нашей истории, когда на горизонте скоплялись черные тучи фашизма, затянувшие уже почти всю Западную Европу. А затем пришли трудные и славные годы Великой Отечественной войны. Конечно, С. Скляренко и в эти годы не оставил пера; стремясь быть ближе к фронту, он участвовал в общем движении и как военный корреспондент, и как художник-беллетрист. В военные и первые послевоенные годы выходят небольшие книжки его рассказов: «Украина зовет» (1942), «Подарок с Украины», «Рапорт» (1946); книга очерков «Орлиные крылья»; повесть «Хозяева» (1948) — о героическом труде восстановителей народного хозяйства. Эти произведения и до сих пор могут волновать своими темами, патриотизмом автора, отдельными типическими зарисовками. Хотелось о многом рассказать, многое уловить по свежим следам и как можно скорее: естественно, что не приходилось долго обдумывать проблемы стиля, доводить написанное до высокой художественной отделки.

Новые замыслы, возникая, влекут к новым книгам: в непосредственной близости к «Святославу» стоит многопланный роман «Карпаты» (1950—1954) — о борьбе трудящихся Закарпатской Украины против немецко-венгерской агрессии и ее прислужников — местных националистов. Но уже в это время созревал замысел нового монументального произведения — исторического романа из времен Киевской Руси X века — «Святослава».

* * *

Что побудило писателя отойти от нашей современности и недавнего прошлого в глубь веков, куда редко отправлялись до него украинские прозаики?

К пятидесятым годам исторический роман был представлен в советской литературе большим количеством произведений, вызывавших заслуженное внимание читателей. В украинской классической литературе

долгое время непревзойденным образцом считалась «Черная Рада» П. Кулиша (1857). Для своего времени это было литературное событие, значение которого, впрочем, не надо преувеличивать. Во многом следуя Вальтеру Скотту, П. Кулиш не явился новатором в области исторического жанра, не обогатил его теории. Значительней была другая попытка создания исторической повести, сделанная выдающимся писателем-демократом Иваном Франко: «Захар Беркут» (1882),— из истории борьбы самоуправляющихся общин Карпатской Руси XIII века против монгольского нашествия и примкнувших к монголам предателей родного народа из боярской среды. Интересны мысли И. Франко о характере и задачах исторической повести, изложенные им в предисловии к «Захару Беркуту».

«Историческая повесть — это не история. Историк прежде всего старается установить истину, констатировать факты; беллетрист только пользуется историческими фактами для своих особых художественных целей, для воплощения определенной идеи в определенных живых, типических образах. Освещение, характеристика, мотивировка и группировка фактов у историка и у беллетриста совершенно различны; где историк оперирует аргументами и логическими выводами, там беллетрист должен оперировать живыми людьми, личностями.

Историческая работа имеет ценность, если факты в ней представлены обстоятельно и в причинной связи; историческая повесть имеет ценность, если ее основная идея может заинтересовать современных живых людей, то есть если она сама жива и современна.

Изображение давней общественной жизни нашей Руси является, несомненно, таким предметом, живым, близким к современным интересам...»

Литературоведы правильно оценили повесть Франко как отказ «от бесперспективного изображения жизни», как стремление, «изображая героические стороны народной жизни, использовать художественное слово для пропаганды организованной борьбы народа, для пропаганды социалистических идей» [1].

Повесть И. Франко и сейчас читается с захватывающим интересом, хоть «пропаганда» его ведется порой слишком открыто, а исторические материалы, которыми он мог пользоваться, были вообще очень скудны. В иных условиях создают исторические романы украинские советские писатели. Правда, до сих пор в своих исторических экскурсах они редко выходили за пределы тематики, связанной с великим освободительным движением украинского народа в XVII веке, которое привело в итоге к воссоединению украинцев с братским русским народом, провозглашенному на Переяславской Раде по почину Богдана Хмельницкого. Именно эта борьба дала содержание крупнейшим созданиям исторического жанра — вроде романов Натана Рыбака («Переяславская Рада»), Петра

---

[1] См. содержательную статью З. М. Кузьминой «Проблематика повести Франко «Захар Беркут» в сб. «Вопросы литературы», изд. Петрозаводского Гос. университета, 1960, стр. 98.

Панча («Клокотала Украина»), Ивана Ле и других. К более далеким временам, к истории Галицкой Руси XIII века, обращался, например, А. Хижняк в романе «Даниил Галицкий». Драматург И. Кочерга дерзнул обратиться еще дальше, ко временам Киевской Руси и Ярослава Мудрого. С. Скляренко продвинулся еще глубже, в X век, и первым в украинской советской литературе (за исключением, о котором будет сказано дальше) взял героем знаменитого воителя, князя Святослава, сына Игоря и Ольги, одного из дохристианских князей, которого знаменитый церковный оратор XI века Иларион прославляет в числе тех, кто в свое время, «владычествуя, мужеством и храбростью прославились в странах многих, и победами и крепостью поминаются ныне и славятся. Ибо не в худой и не в неведомой земле владычили, но в Русской, о которой знают и слышат по всем концам земли».

Украинские националистические историки долгое время считали Киевскую Русь Украиной, а ее обитателей — прямыми предками украинского народа. Теория эта опровергнута современными исследователями.

Для нас Киевская Русь — это «колыбель» трех братских народов, начинающих складываться гораздо позднее, примерно с XIV века. Обитатели Киевской Руси имели с позднейшими украинцами и великороссами столько же общего, сколько франки раннего средневековья с позднейшими французами. Но наличия некоторых племенных оттенков между русскими южанами и северянами нельзя отрицать. Еще Белинский, говоря о «Слове о полку Игореве», отмечал, что оно отзывается «южною Русью», что «не только в красках поэзии и манере изложения, но и в духе богатырского удальства, нельзя не заметить чего-то общего между «Словом о полку Игореве» и казацкими малороссийскими песнями» [1]. В своей «Истории русской литературы», отвергая претензии украинских националистов на Киевскую Русь, А. Н. Пыпин отмечал наличие специфических оттенков у русских южан:

«Как древний Святослав с его чубом и его нравом степного наездника напомнит в потомстве не московского великоруса, а скорее южнорусского козака, так лирический эпос «Слова о полку Игореве» отзовется не в северной песне, а скорее в южнорусской думе, и самый факт создания «Слова» мог быть вторичной ступенью эпического развития, которого первичная ступень была исходным пунктом развившейся потом в народной среде былины. Историки отмечают невоинственность северной Руси; [2] в южной, напротив, это была яркая черта, которая от времен Олега и Святослава перешла преемственно к тому запорожскому войску, которое стремилось даже усвоить себе «лыцарство»...» [3]

Украинский советский писатель, нисколько не ассоциируя Киевскую Русь с позднейшею Украиной, не может не считать близкой и родной

---

[1] В. Г. Белинский, Сочинения, т. VI, СПб. 1903, стр. 377.

[2] Пыпин ссылается здесь на «Историю России» С. М. Соловьева (т. I, 507), суждение которого нельзя признать бесспорным.

[3] А. Н. Пыпин, История русской литературы, т. I, СПб. 1902, стр. 153—154.

для себя эту «колыбель» восточнославянских народов. Героика ее истории так же волнует его, как и писателя русского. В одном из выступлений С. Скляренко так говорил о своем «Святославе»: «Думаю, что для того, чтобы любить и надлежаще оценивать нашу чудесную современность, надобно хорошо знать, помнить и вспоминать прошлое нашей родины, людей того давнего времени, которыми была сильна и благодаря которым выстояла Русь».

На пути воссоздания этой далекой эпохи перед писателем стояли немалые трудности. Мы более или менее достоверно знаем лишь годы княжения Святослава (964—972). Умер он в сравнительно молодых годах, если принять указываемую в летописи дату его рождения.

Роман состоит из двух частей. В первой Святослав еще не центральная фигура. Основные персонажи здесь «княгиня» — мать Святослава Ольга и «рабыня» — девушка Малуша, впоследствии ключница великокняжеского двора.

Для создания образа Малуши у писателя, по существу, не было ничего, кроме скудных сведений Начальной Летописи («Повести временных лет») под 940 годом, сообщающей:

«Владимир (сын Святослава) был от Малуши, ключницы Ольгиной. Малуша же была сестра Добрыни, отец им был Малк Любечанин, и приходился Добрыня дядей Владимира».

Это все. Остальное — и рассказ о происхождении Малуши, и о ее приезде в Киев, на «Гору», под щитом брата Добрыни, и о трудах ее при княжеском дворе, о любви к Святославу, об отношении к ней Ольги, о ее судьбе после того, как она была выслана Ольгой в Будутин, где родила и вскормила сына Владимира, столь безжалостно у нее затем отобранного,— все это художественный домысел автора, созданный с помощью народного творчества и лучших традиций классической литературы.

Есть нечто общее у Малуши с героинями поэм Т. Г. Шевченко. Робкая девушка, вывезенная из лесной глуши, она становится усердной и безропотной прислужницей княгини, в купальскую ночь поддается любви Святослава, продолжает любить его и в изгнании, безмерно тоскует, разлученная с сыном, и, отправившись в Киев, только издали видит любимых. Сцена, в которой она, по-прежнему тихая и послушная, по приказанию княгини моет ноги невесте Святослава, венгерской королевне Предславе, принадлежит к числу потрясающих картин первой части романа. Такой остается Малуша и далее: кротко страдающей, но исполненной чувства собственного достоинства, прекрасной в своих трудах и страданиях.

Ей противопоставлена Ольга, которую «предание нарекло хитрою, церковь святою, история мудрою» (Карамзин). Это образ суровой, замкнутой в своих думах женщины, правительницы, главная забота которой — единство и порядок Русской земли, где она «установила волости и погосты, каждому дала урок и устав», подчиняясь железному закону истории, ломающей патриархальный уклад и ведущей страну на новый путь от родового и племенного быта к феодализму.

Этот закон заставляет ее творить то, против чего восстает ее нрав-

ственное чувство, возмущается совесть, но княгиня знает, что поддаваться чувству нельзя. Ей приходится изгнать бедную Малушу, казнить голодного смерда Векшу, претерпеть унижения собственной гордости во время поездки к византийскому императору, примириться с внутренними неурядицами и до конца твердой рукой держать бразды правления.

С. Скляренко не следует рекомендованному Иваном Франко разграничению историка и исторического беллетриста. К описываемым им событиям он подходит и как проникновенный художник, и как историк, смело ломающий прочно установившиеся исторические традиции. Путешествие Ольги в Константинополь и ее пребывание там осмыслено Скляренко в полной независимости от этих традиций. Летопись рассказывает, что княгиня Ольга крестилась в Царьграде, что она «перехитрила» византийского императора, будто бы собиравшегося жениться на ней (а по церковным законам «крестный отец» не мог жениться на своей крестной дочери), а затем, получив богатые дары от императора и благословение патриарха, «с миром отправилась в свою землю и пришла в Киев».

По-иному представляет эту поездку Ольги в Царьград Скляренко. Ольга поехала не для того, чтобы креститься, а затем, чтобы обеспечить мир между Русью и могущественным государством «ромеев» (византийцев), установить и укрепить торговые и культурные связи между двумя народами. Она не преуспела в своих ожиданиях, обманутая лукавыми и увертливыми представителями византийского двора, бесконечно затягивавшими переговоры и так и не давшими Ольге определенного ответа.

Краткое и не вытекающее из предыдущего рассказа сообщение летописи об ответе Ольги послам византийского императора: «Если ты постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам я тебе дары, которых ты у меня просишь»,— получает новое и вполне мотивированное толкование в романе Скляренко. Ольга имеет в виду длительный, почти издевательский «карантин», которому она подверглась вместе со своими спутниками в Константинополе, прежде чем добиться приема у императора.

Это свободное отношение Скляренко к летописным рассказам и сообщениям византийских историков — Кедрина, Скилицы, Зонары, Льва Диакона [1] — обнаруживает в авторе не только художника, но и вдумчивого исследователя. Если в первой части романа он «консультировался» с археологами, народным творчеством и только отчасти с летописями, то для второй — «Над морем русским», повествующей о войнах Святослава с болгарами, печенегами, византийцами, он располагал и летописями, и упомянутой историей Льва Диакона, и трудами историков Византии, и новейшими трудами по истории Болгарии, а особенно трудами советских ученых, по-новому пересмотревших старую традицию.

Эта традиция изображала войны Святослава как захватнические. В Начальной Летописи образ Святослава, как уже указывалось,— образ отважного, но полудикого воителя.

---

[1] Свод сведений о военных походах Святослава сделан еще А. Чертковым («Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967—971 годах», М. 1843). «История Льва Диакона» переведена на русский язык с греческого Д. Поповым (СПб. 1820).

Выросши и возмужав, Святослав стал собирать большое войско: «Легко ходил в походах, как барс, воевал много. В походах же не возил за собою ни волов, ни котлов, не варил мяса, но тонко нарезав конину, или зверину, или говядину, жарил ее на углях и так ел. Не имел он и шатра, но спал, подостлав потник с седлом в головах. Такими же были и прочие его воины. И посылал он в иные земли со словами: «Хочу на вас идти» («Иду на вы»). Так, пошел он на хозар, разгромил построенную для них византийцами крепость Саркел, покорил кавказские племена ясов и касогов, победил вятичей и в 967 году пошел на болгар.

По византийским источникам выходит, что отправился он против болгар, подкупленный золотом императора Никифора II Фоки (963—969) и прельщенный выгодным торговым положением города Переяславца на Дунае, где будто бы хотел учредить столицу Русского государства.

В русской летописи он говорит матери: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае: тут средина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии — серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы».

У Скляренко Святослав вообще чужд какой-либо алчности к добыче. Он действительно в своих походах не щадит ни себя, ни своих воинов. В критический момент он призывает их умереть, ибо «мертвые не принимают позора» («мертвые срама не имут»), но этот призыв вызван крайней необходимостью и высоким представлением о русской воинской чести. От традиционного представления о князе Святославе образ, созданный Скляренко, резко отличен. Такого Святослава мы не найдем у тех немногих писателей (о них говорилось выше), которые пытались воссоздать его образ.

К их числу, кстати сказать, принадлежит еще один — по времени прямой предшественник Скляренко, малоизвестный у нас писатель Западной Украины Юлиан Опильский (Ю. А. Рудницкий, 1884—1937), чей роман о Святославе «Иду на вас» вместе с другими его историческими повестями вышел в 1958 году во Львове. Роман Ю. Опильского и произведение Скляренко — вещи трудно сопоставимые по стилю и образам, но тем не менее совпадающие во многих моментах тематики. Но Ю. Опильский остается во власти обычного представления о Святославе — неуемчивом воителе, ради славы и ратных подвигов пренебрегающем интересами родной страны. Он отнюдь не представитель народа. Народ — в том числе жена Святослава Малуша, и бывший боярин Мстислав, едва не ставший холопом ростовщика Рогдая, и старый Путята, выступающий от лица полянских общин,— не одобряет его завоевательных стремлений.

«Не гляди, княже, чужой земли: в поисках чужой как бы ты своей не утратил»,— говорят ему окружающие.

«Кровавая твоя слава, Святослав, посидел бы ты дома»,— говорит ему Малуша. А в конце концов он и сам сознает свою роковую ошибку.

«Хорошо и похвально погибать для славы... но лучше жить для родной земли, жить с народом, трудиться и работать»,— размышляет Святослав Ю. Опильского накануне своей гибели.

Совсем иным предстает Святослав в романе Скляренко. Не дикий воитель, а государственный муж, усвоивший уроки своей мудрой матери Ольги, ради общего блага он отказывается от личного счастья. И в поход свой он отправляется не против болгарского народа, а против исконного и страшного врага славянских народов — Византии.

Выслушав византийского посланника Калокира, Святослав пытается предупредить властителя Болгарии о грозящей опасности, но тот убивает его посла. Начиная войну с Болгарией, Святослав в скором времени привлекает на свою сторону простых болгар и воюет, по существу, только с господствующими классами Болгарии, для которых власть византийцев не страшна, потому что «ромеи» не угрожают их личной собственности и господству над трудящимся болгарским народом. Не против Болгарии, а против извечного агрессора — Византии — воюет Святослав. «...во всей внешней политике Святослава, как и его предшественников, нетрудно видеть известную систему по осуществлению задач, поставленных не усмотрением того или иного князя, а растущим Древнерусским государством»,— говорит советский историк академик Б. Д. Греков [1].

Ложная концепция образа Святослава как «вождя бродячей дружины», «военного авантюриста» отвергнута советскими историками, отвергнута и тем образом князя, который встает со страниц романа Скляренко. Его Святослав — не только отважный воин, но и подлинный патриот, один из последних представителей той «военной демократии», которая создавала и отстаивала Русское государство.

Два резко контрастных мира раскрываются перед нами в романе. Молодое, только начинающее расти Русское государство и наследница Римской империи — Византия, все еще не отказавшаяся от идеи всемирного господства, осаждаемая врагами с Запада, с Востока, с Севера, живущая в постоянной тревоге за свое существование, воюющая не только оружием, но и дипломатическими интригами, изворачивавшаяся на протяжении долгих веков — вплоть до конечной катастрофы в XV столетии. Страна беспрерывных дворцовых интриг, народных восстаний, кричащих противоречий между городом и деревней, между безумной роскошью сияющих мрамором и блистающих золотом дворцов и храмов и жалкой нищетой кварталов, где ютилась городская беднота, убожеством деревень обираемого, угнетаемого крестьянства.

Еще хранятся античные традиции, еще существуют поэты, сочиняющие на архаическом языке описательные поэмы и многословные панегирики; существуют ученые, бесконечно пережевывающие наследие Платона и Аристотеля и пытающиеся согласовать их учения с отцами церкви; но историков, подражающих Фукидиду, все более вытесняют малограмотные монахи-хронисты, из прошлого знающие только Ветхий за-

---

[1] Б. Д. Греков, Киевская Русь, М. 1953, стр. 459—460.

вет, а о современности повествующие по слухам, доходящим до их уединенных келий. И античные традиции все более заглушаются влияниями азиатского Востока, растворяются в бесконечных церковных спорах, в фанатической мистике монахов, толпы которых все растут день ото дня.

На троне василевс (император), облаченный в драгоценные одеяния, в красные башмаки и усыпанную самоцветными камнями корону. Этот наместник «вседержителя» Иисуса Христа на земле —«божественный» — вынужден то и дело дрожать за свое эфемерное существование, которое вот-вот может оборваться после выпитой чаши вина, в которое подсыпали яду, или от кинжала убийц, врывающихся ночью в царскую опочивальню. Во дворце господствуют «безбородые» — евнухи; по улицам бродят нищие, странствующие монахи, юродивые; на ипподроме партии «зеленых» и «голубых» соперничают друг с другом, склоняясь перед сидящим высоко императором, но при случае осыпают его грубой бранью, а то и камнями. Запах ладана и запах отвратительной гнили. Византия была погребом, наполненным взрывчатыми веществами, готовыми в любой момент взорваться, но упорно держащимся в течение тысячелетия.

А почти рядом молодое, только начинающее формироваться государство, в котором нет ни книжной премудрости, ни способности к дипломатическим увerткам, нет даже примитивной религии, кроме веры в обычаи, унаследованные от предков, и поклонения грубым, вытесанным из дерева и камня идолам. Только что обозначилось классовое расслоение. Совсем недавно выросли города, их окружают леса, а за лесами дикие степи, откуда, того и гляди, выскочит печенег, ловко стреляющий из лука.

С одной стороны, утренняя заря — Русь, с другой — пышный закат, затянувшийся надолго, но уже таящий предвестия глубокой беспросветной ночи. Это Византия. С одной стороны, открытое «иду на вы», с другой — льстивые слова и всегдашняя готовность вонзить нож в спину и по возможности не своей, а чужой, подкупной рукою. И всегдашняя жажда не только сохранить самое себя, но и прибрать к рукам все окрестные страны — от утрачиваемой Италии до соседней Болгарии — и дальше до полузагадочного, со времен Олега и Игоря угрожающего империи государства гипербореев, скифов, или россов.

Вот картины, противопоставленные друг другу в историческом романе Скляренко. Лион Фейхтвангер в послесловии к своему роману «Лисы в винограднике» говорил: автор исторического романа «знает, что силы, движущие народами, остаются неизменными с тех пор, как существует писаная история. Эти силы определяют современную историю так же, как определяли историю прошлого. Представить эти постоянные, неизменные законы в действии, пожалуй, наивысшая цель, которой может достичь исторический роман. К ней стремится писатель, который в наши дни работает над серьезным историческим романом. Он хочет изобразить современность. Он ищет в истории не пепел, но пламя. Он хочет заставить себя и читателя сквозь прошлое яснее увидеть настоящее».

Нас, пожалуй, не удовлетворит в этих суждениях автора «Лис в винограднике», «Гойи», «Испанской баллады» замечание о неизменности «сил, движущих народом», но заключительные слова о «настоящем», которое можно яснее увидеть сквозь прошлое, заслуживают внимания. Вспоминается Гоголь, во время создания «Тараса Бульбы» писавший поэту Н. Языкову: «Бей в прошедшем настоящее, и тройною силою облечется твое слово».

Думается, что в романе Скляренко выполнен этот завет Гоголя. Его герои отнюдь не наши современники, это люди далекого прошлого, их психология во многом отлична от психологии людей середины XX века: она и элементарней, хоть иногда и сложней, поскольку их близость к природе наполняет их сознание анимистическими представлениями, чуждыми нашему времени. Автор стремится не допускать модернизации мыслей и чувств своих персонажей. Даже когда Святослав, открывая Владимиру тайну его рождения от «рабыни» Малуши, убеждает его никогда не стыдиться этого: «Разве суть в том, что один князь, а другой рабичич? Суть в том, кто из них любит Русь, людей наших, землю...» — эти слова не кажутся нам в устах князя-воина невероятными.

И тем не менее вольно или невольно, читая роман, мы мысленно, сквозь события далекого X века, обращаемся к нашему настоящему, к современным коварным агрессорам, провозглашающим себя поборниками мира и лихорадочно готовящимся к войне, готовым вести с нами переговоры и о торговле, и о культурном сотрудничестве и в то же время действующим, как древняя Византия, натравливавшая на Русь печенегов, пытающаяся посеять вражду славян к славянам, сокрушить Святославовы войска силой своего оружия и страшного «греческого огня», для того чтобы убедиться в конце концов, что русская сила не гнется и разрушается только смертью[1].

Противопоставляя Русь времен Ольги и Святослава Византии времен Константина Порфирородного (913—959), Романа II (959—963), Никифора II Фоки (963—969), Иоанна Цимисхия (969—976), Скляренко отнюдь не идеализирует общественный строй Киевской Руси. Напротив, на примере трех сыновей старого Анта (Микулы, Бразда, Сварга) он показывает, как чувство личной собственности искажает человеческий облик, разъединяет людей.

Молодая Русь страдает не только от хозар, печенегов, ромеев, но и от внутренних врагов, о которых говорит Святославу его воспитатель воевода Асмус: «Враги эти среди нас, княжич. Они обокрали землю нашу, взяли поля и леса, они собирают злато и серебро, и это они мирятся с хозарами и греками... Кто забывает про Русь, а думает только о себе — тот наш враг».

Вспомним еще раз осужденного Ольгой смерда Векшу или другого смерда Давилу, приютившего Малушу во время ее второго появления в Киеве. Уже наметились резкие противоречия между «Горой» и тор-

[1] См. современное научное освещение затронутых здесь вопросов в книге М. В. Левченко «Очерки по истории русско-византийских отношений», М. 1956.

гово-ремесленным Подолом, между боярами, княжескими наместниками — и трудовым народом, рядовыми гриднями.

Но при всех этих противоречиях, отчетливо и убедительно показанных в романе, у главных действующих лиц — Ольги, Святослава, Микулы — остается неизменным одно — чувство глубокой любви к Русской земле. Старый Ант, умирая, завещал сыну Микуле клад, закопанный аа городищем над Днепром. Долго не может разгадать Микула тайну этого клада. Но в конце концов прозревает:

«А что это за клад? Да это земля, на которой жили отец Ант, деды Улеб, Воик, все пращуры... И я хочу жить, чтобы жили ты, Добрыня, Малуша. Но не дают ромеи, идут на нас. Бились с ними и побеждали их наши отцы и деды, а теперь я слышу их голоса, они говорят: «Ступай, Микула!» Вот я и должен идти».

Чувство единой Русской земли, проннкающее рассказы «Повести временных лет», «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о полку Игореве», верно уловлено автором и пронизывает все его произведение. Мало этого: во время войны в Болгарии зарождается и сознание единства интересов всего славянства. Примечателен зпизод трогательной дружбы русского дружинника Микулы с болгарином Ангелом и его женой — предвестие дружбы двух славянских народов.

* * *

Таковы основные тенденции романа Скляренко — широкой картины, приближающейся по типу к жанру большой эпической формы. С. Скляренко издавна тяготел к многопланному повествованию. Но нигде задача создания такого повествования не была разрешена им столь удачно. В романе много действующих лиц, но они размещены так, что внимание не дробится и композиция остается стройной. Можно спорить с автором по некоторым частным вопросам. Можно усомниться в том, что для целого так уж необходим зкскурс в историю византийских придворных интрнг: в историю Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия и одной из «роковых женщин» Византии — императрицы Феофано. Имеет ли прямое отношение к основным темам романа ее судьба, не лишенная авантюрной заннмательности? Не преувеличивал ли автор коварство этой женщины, следуя за сообщениями некоторой части историков и заставляя ее быть убийцей и своего первого мужа — Романа II, и второго — Никифора Фоки? Один из талантливых историков-живописцев византийского мира, французский ученый Шарль Диль[1], дает образ Феофано в более мягких красках, отнюдь не впадая в апологетику зтой авантюристки. Но наш автор, может быть, задержался на ее облике, как на контрасте зтой себялюбивой и глубоко порочной натуры другому образу — княгине Ольге, суровой и властной, но живущей мыслями не о себе, а о родине и ее будущем.

---

[1] Ш. Диль, Византийские портреты, М. 1914, вып. 2.

Не слишком ли увлекается автор архаическими словами — терминами русского, а особенно византийского быта, заставляющими читателя то и дело обращаться к пояснительному словарику? Возможно, что тут не всегда соблюдена должная мера, и тем не менее вся эта подчас громоздкая терминология византийских должностей, наименований, относящихся к военному делу, и т. д. способствует усилению «исторического колорита», помогает почувствовать своеобразие столь далекого от нас времени. Той же цели — яркости исторического колорита — служат и описания молодой русской столицы и столицы ромеев на берегах Босфора, живущей уже свыше пяти (а то и шести) столетий, и описания одежд, вещей, оружия, которых так много в романе и которые никогда не утомляют читателя. Непосредственное участие в действии принимает и природа — любимый писателем Днепр с его грозными порогами и «Русское море», несущее на своих волнах ладьи Ольги в Царьград, а затем ладьи Святослава к устьям Дуная.

Большое эпическое полотно сплошь расшито многокрасочными пейзажами. Интересно отметить, что «русские темы» по большей части обрамлены картинами утренней зари и восходящего солнца. Они как бы символически подчеркивают юность народа, только что вышедшего для славных и трудных свершений на широкую арену истории.

Строгий критик, не соглашаясь с какими-либо приемами писателя, при всех частных суждениях вынужден будет признать, что никогда еще в литературе образы Святослава и его окружения, да и вся эпоха X века не были показаны столь разносторонне и увлекательно, с таким проникновением в психологию действующих лиц и в таком созвучии с нашей современностью.

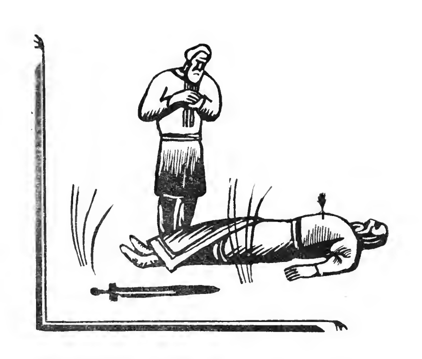
*Александр Белецкий*

# Книга первая



## КНЯГИНЯ И РАБЫНЯ

*Перевод* Ал. ДЕЙЧА



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Выйдя на вал городища, Ант долго всматривался и прислушивался. Все предвещало хороший день: со стороны Днепра веял теплый низовой ветер, небо вдалеке было чистое, а звезды на нем ясные, месяц, словно серебряный серп, спускался к правому берегу, на травах лежала обильная роса, на Днепре и в заливах, просыпаясь, весело перекликались птицы, и все это предвещало тихий, теплый день.

Поэтому Ант решил, что ему незачем ждать, и сразу вернулся в жилище. Переступив в темноте несколько каменных ступеней вниз, он отворил тяжелую, набухшую дверь и очутился в хижине.

Там было очень тепло, душно. Посередине, в яме, выложенной камнями, тлел очаг, над которым, словно огромное конское ухо, свисал сплетенный из ивовых прутьев и обмазанный красной глиной широкий дымоход. Ант нашел в темноте сухие

дрова, подбросил в огонь, и тот ожил, загудел, в дымоход тучей повалил густой дым.

Когда пламя разгорелось поярче, в жилище стало светлее, в отсветах красноватого, мигающего огня выступили очертания стен, на которых висели на колышках оружие и одежда, сложенный из жердей, подпертый кольями потолок, каменный пол, до блеска вытертый ногами, низкие двери в стене, ведущие в клети.

На полу, недалеко от очага, видна стала еще одна выложенная камнями яма — печь, в которой пекли хлеб, подле нее различная посуда — глиняные корчаги с узкими горлами и широковерхие горнцы, деревянные кадушки, корыта, миски.

Наконец пламя осветило и углы, в одном из них — за очагом — показалось глиняное возвышение, а на нем деревянные фигуры Перуна и Волоса и небольшое бронзовое, покрытое прозеленью изваяние Роженицы — голой женщины со сложенными на животе руками.

В другом углу хижины, справа от очага, на низком дощатом помосте, укрывшись звериными шкурами, лежали несколько человек. Ант ходил по жилищу очень тихо, крадучись, и они, должно быть, не слышали его шагов: спали.

Ант снял со стены лук и тул, положил их около огня. Согнувшись в низких дверях, залез в клеть и долго что-то искал в темноте, а когда вернулся, в руках у него была целая охапка камыша и березовых прутьев, острые железца. Присев возле огня, он взял нож и принялся готовить стрелы: стругал прутья, на один конец каждого прутика насаживал острое железце с желобком, на другом делал насечку или же наставлял костяной зуб.

В это время на помосте под звериными шкурами кто-то зашевелился, и оттуда вылезли сначала сын Анта, Микула, а за ним его жена, Виста.

— Что, отче? — спросил Микула, протирая глаза.— На ловы собираешься?

— Слышал я ночью рев,— ответил Ант,— пойду поищу...

— Может, вместе пошли бы?

— Нет, Микула,— возразил Ант,— на ловы иду один, ты и Виста ступайте лес выжигать.

— Добро, отче,— согласился Микула,— мы пойдем в лес.

Виста уже зарыла в раскаленные уголья горнец с водой, набросала в него вяленой рыбы и соли, достала лепешки, поставила на камни перед очагом деревянную миску, положила ложки и метнулась к двери с деревянным ведром, чтобы принести воды. За нею вышел и Микула.

Тогда под шкурами на помосте снова что-то зашевелилось, и оттуда сначала показалась девичья головка, а потом и сама девушка — в одной сорочке, с растрепанными волосами, ка-

рими блестящими глазами. Проснулась она, как видно, еще раньше и слышала беседу старших, потому что, подойдя к Анту, спросила его:

— А что это за рев, дедушка?

Ант ласково посмотрел на внучку, отложил в сторону камышину, к которой собирался прикрепить железное острие, и погладил девушку по голове.

— И ты уже встала, Малуша?

— Я давно не сплю, дедушка.

— То олени ревут.— Ант продолжал держать на голове девушки свою руку.— Вот пойду поищу, убью оленя, приволоку — будет мясо, будет и мех.

— А ты не боишься, дедушка?

— Нет, Малуша! Я подобью его этой стрелой, а когда упадет — ножом...

Девушка как завороженная смотрела карими глазами на лицо Анта — загорелое, все в глубоких морщинах, с серебристо-серой бородой, с длинными усами. На нем играл багряный отсвет очага.

Вошел Микула.

— Денница догорает,— сказал он.— Светает.

У входа послышались быстрые шаги. Виста принесла ведро воды.

— Умойся,— велела она девушке.

На углях в горнце уже кипела похлебка.

— Садитесь! — властно приказал Ант.

Все приблизились к очагу. Виста налила похлебку из горнца в миску, положила ложки, наломала лепешек. Но никто не ел, все молчали.

Ант отложил свои стрелы и наконечники, встал, направился к двери, распахнул ее и отступил в сторону, чтобы каждый, кто случился бы в эту минуту, мог войти и подсесть к очагу. Но во дворе, как обычно, не было никого, и, затворив дверь, Ант вернулся и сел на пол перед очагом. Рядом с ним сели Микула и Виста с дочерью.

Но и тогда никто не начал есть. Все молчали. Задумчиво смотрел на огонь Ант, туда же бросали беспокойные взгляды Микула, Виста, девушка.

Таков был давний обычай их рода. Люди, жившие в городище, в этой землянке и в других, всегда собирались на рассвете, чтобы поесть, послушать слова старейшины. Но всегда, прежде чем начать еду, старейшина преломлял хлеб, брал частицу пищи и бросал все это в огонь. Там, под очагом, согласно поверью, жили души предков, всех, что навеки ушли из своего рода. Они тоже требовали своей жертвы.

И сейчас старейшина Ант отломил и бросил в огонь кусок лепешки, зачерпнул из миски и выплеснул в огонь ложку по-

хлебки. Все видели, как упал на угли кусок лепешки, как в том месте, где пролилась похлебка, огонь притух, а потом снова разгорелся.

Тогда Ант зачерпнул новую ложку похлебки.

— Боги приняли жертву,— сказал он.— Вкусим же и мы, и да будет всегда нам добро...

Мог ли знать старый Ант, что это его последняя жертва?

После трапезы Ант надел широкий пояс, прикрепил к нему слева набитый стрелами кожаный тул, а справа нож, взял в руки сделанный из буйволовой кости лук, попробовал тетиву.

Это был добрый лук. Ант добыл его, когда ходил с князем Олегом к Джурджанскому морю, тетива на нем была сделана из конской жилы, и сейчас, когда Ант натянул ее и внезапно отпустил, она долго и тонко звенела.

— Играет! — засмеялся Ант.— Был бы только олень!

Так они вышли из жилища: отец Ант, босой, в черном островерхом шерстяном колпаке, грубых серых ноговицах и такой же сорочке — старый воин, вооруженный луком, стрелами, и сын его Микула — с непокрытой головой, в длинной подпоясанной ремешком сорочке, тоже босой; на пороге стояла Виста — она вынесла отцу на дорогу в мехе лепешек, кусок кабаньего мяса, комок соли; из темного жилья, где ярким пламенем пылал очаг, выглядывала Малуша.

Отец Ант вздохнул — вспомнил, должно быть, как когда-то, услыхав олений рев в лесу, собирались на этом дворе, седлали коней воины — десять, двадцать, тридцать, их провожали жены, дети, старейшины сидели у хижин и улыбались, вспоминая свои прежние охоты.

Теперь отец и сын стояли на том же месте, посреди того же самого двора, но вокруг было тихо и пусто; жилище, где жили Ант и его предки, вросло в землю, покосилось; у входа еще лежал камень, на котором когда-то точили мечи и ножи, но он давно порос травой и зеленым мхом; во дворе не ревела, как раньше, скотина, а на валу конь Анта, старый боевой конь, грыз вялую траву; даже их пес, славный пес, волкодав, постарел, спал под стеной.

Когда Ант и Микула прошли двором и вышли на вал, они увидели хижины тех родовичей, которые родились тут, в городище, но ушли отсюда. Жилища шли полукругом, он начинался у Днепра, заворачивал к лесу и снова выходил к Днепру — выше, подле скалы.

Они были не похожи на то, в котором доживал Ант. Старая хижина их рода пряталась за валами городища, эти же, новые, стояли на пригорках; в городище был один двор, а тут люди отделялись друг от друга изгородями из острых кольев, сами

жилища были большие, некоторые из них были вымазаны белой или зеленой глиной, над иными высились крыши из дранки, с дымовыми трубами, голубятнями.

Теперь уже во всех жилищах люди проснулись, слышались голоса, ревел скот, высоко к небу тянулись дымки.

— Я иду! — сказал Ант, взявшись за лук.

— Иди, отче! — попрощался Микула.

## 2

Большой и многочисленный род, один из родов полянского племени, к которому принадлежал Ант, испокон веку жил над Днепром. В те времена, о которых идет речь, тут, на высокой круче, недалеко от землянки Анта, еще стояло,— одной стороной вплотную примыкая к лесу, а другой — к Днепру,— городище, на валах которого прадеды рода не раз сходились с врагами: рвы и пески вокруг были усеяны стрелами, человеческими костями, черепами. Отсюда же вокруг по кручам над Днепром в ясный день можно было увидеть городища других родов, от них далеко в степь рядами тянулись курганы — среди них очень древние, с каменными фигурами забытых предков. Они стояли на вершинах как стражи, в шлемах, с мечами у пояса, с длинными, до колен, руками; могилы весной осыпал белый цвет, а осенью, словно брызги крови, буйно укрывали их гроздья калины.

Ант немало прожил на свете, были у него братья — Тудор, Жадан, Телец и Прись, один за другим погибли они на поле брани; были у Анта три жены, которых он пережил надолго, а от них были у него сыновья... Но и с сыновьями не посчастливилось Анту — четверо из них сложили головы в далеких походах, три сына, оставшиеся в живых, покинули его под старость.

Как и почему все это случилось, Ант понять не мог. Когда-то, еще при деде Воике и отце Улебе, жили они своим родом в городище, на одном дворе, где на главном месте стояла землянка старейшины, а ошую и одесную от нее — землянки молодых, а еще дальше — клети, ямы для разного зерна, загоны для скота. Тогда они все вместе выходили из городища, чтобы засевать землю, вместе ходили на охоту, ели у одного очага, почитали и слушались старейшин своих. И старейшины, правда, были того достойны — они первыми выходили на валы, когда на Днепре или в степи появлялся враг, водили людей на рать, приносили от всего рода жертвы богам, чинили суд.

Часто, поднявшись по тропинке меж трав на вал городища и глядя на Днепр, кручи, на весь Любеч, как называли люди это место, Ант думал и скорбел: зачем живет он так долго, почему предки не зовут его к себе? Он, Ант, единственный сын, остав-

шийся в живых после старейшины Улеба, занял место отца, по закону и обычаю дедов стал старейшиной, но разве мог он сохранить род, который рассыпался, таял у него на глазах?!

Началось это еще при старейшинах Воике и Улебе, но тогда род был большой, сильный, дружный, и, когда один воин ушел жить к жене в чужой род за Днепром, а потом молодые поселились на горе, между двумя родами, урона от этого не было. Но когда умер Улеб, множество родовичей сразу ушли и построились далеко над Днепром и у опушки леса, потом члены рода стали выходить один за другим, и, наконец, дошло до того, что по всей долине и склонам выросли, как грибы, хижины и землянки. Со старейшиной Антом остались только три сына — Бразд, Сварг да еще Микула.

Долго сидел на родовом дворе сын Бразд. Ант сам послал его в княжескую дружину, когда князь Игорь шел на древлян,— надеялся, что вернется Бразд и будет жить с ним вместе. Бразд пришел с брани — и, как говорили люди, с немалой данью. Целый мех привез с собою да, кроме того, еще и княжью печать, пожалованье. За верную службу дал ему князь Игорь поприще земли, поприще леса, где сам Бразд выберет, и нарек его в Любече своим княжьим мужем.

Что означает княжий муж, все узнали позднее, когда в Древлянской земле убили князя Игоря, а на столе великокняжеском в Киеве села Ольга. До того Любеч платил князю дань от рала и от дыма. Княгиня же Ольга завела везде — в Любече тоже — уроки и уставы. Устав им чинил князь черниговский Оскол, урок взимал волостелин остерский Кожема, а посадником его в Любече стал Бразд. Тогда и ушел он от отца Анта, построил у Днепра терем.

Жил подле отца сын Сварг, золотые руки имел, пока был холост, у старых людей и у самого Анта научился варить железо, кузнью снабжал весь род. Но позднее, когда женился Сварг на девушке из другого, заднепровского рода, ушел и он из городища, построил на опушке леса свое жилье.

Один только сын Микула остался с отцом Антом. С ним старейшина и доживал свой век.

Любеч — так издавна называли люди полянского племени городище рода Воиков над Днепром. Вокруг этого городища возникли новые городища и роды — все любечане. А потом роды распались. Любеч, Любеч, что сталось с тобою?

Уйдя в свои мысли, медленно шагал лесом старейшина Ант.

Это был чудесный вековой лес, начинался он далеко отсюда, в верхних землях, и широкой полосой, виясь, как змея, тянулся над левым берегом Днепра, словно прикрывая его от полей, до самого низовья.

Выше всех деревьев были здесь сосны; они росли то семьями, то поодиночке, с голыми, желтыми, как воск, стволами, и зелеными густыми вершинами высились над лесом, словно дозорные, которые, сбивши на затылок колпаки и приложив ладони ко лбу, стерегут, зорко всматриваются в вечность.

А под ними, как вои, что только ждут приказа и тотчас, как раздастся клич, ринутся вперед, стояли, переплетаясь ветвями, врастали корнями в землю дубы и березы, ясени и осокори, а где поболотистее — ольха.

Бывали дни, когда по вершинам сосен пробегал ропот, все сильнее и сильнее начинали звенеть их стволы, и чаща откликалась шумом-скрипом, раскачивалась, стонала, рвалась из земли.

Тогда над лесом, как валы в море, катились тяжелые черные тучи, они задевали вершины сосен, обволакивали чащу, в черной мгле из туч начинали бить молнии,— они попадали то в одно, то в другое дерево, и те с громким воплем, словно прощаясь с жизнью, падали, валились на землю.

В это утро, когда Ант вышел на лов, в лесу было тихо, ничто не нарушало его покоя и величия, только здесь и там печально жаловались горлицы, каркал ворон да еще в ярах, прорезавших лес, звенели шумные потоки.

Но не к этим шумам и звукам прислушивался Ант. Мягко ступая по толстому настилу из опавших листьев, осторожно разводя руками ветви осыпанного красными плодами шиповника, он слушал, не раздастся ли где-нибудь олений рев.

Один раз он спугнул стадо кабанов, спавших в овраге над потоком, но не стал гнаться за ними, потому что идти одному на целое стадо этих хищных зверей было опасно.

Потом Ант прошел совсем близко от медвежьей берлоги. И с этим зверем встречаться в такое время с глазу на глаз он не хотел,— пусть ложится спать, Ант встретится с ним, когда все вокруг укроют снега.

А позже он, хоть и не услышал рева, напал на олений след. Их было два, это Ант увидел по следам копыт. Олени провели здесь всю ночь, земля вокруг была истоптана, они прошли совсем недавно: на траве повсюду еще лежала роса, а там, где прошли олени, она была сбита.

Ант пошел по следам оленей. Их, должно быть, кто-то спугнул, потому что вначале олени бежали широким шагом, потом пошли спокойнее, друг за другом, часто останавливаясь и объедая молодые побеги на березках и грушах, а на зеленых полянках лакомились свежей травой.

Позднее, когда солнце поднялось высоко над лесом, роса опала, трава просохла, и следить за оленями стало труднее. Ант всматривался вокруг так, что глаза у него заболели, вслу-

шивался так, что в ушах звенело, терял след, снова находил его и снова терял.

Прошло, должно быть, много времени, и далеко зашел Ант: он заметил, что лес поредел, солнце очутилось у него за спиною.

Но в это время он еще раз увидел след оленей — они совсем недавно прошли березняком, ольшаником по болоту и шли спокойно.

Ант вышел на опушку, встал под деревом, чтобы его не заметили олени, увидел перед собою выжженное солнцем поле, где рядами стояли высокие курганы, где было необычайно тихо, только стрекотали без конца кузнечики.

И тогда случилось то, чего Ант не мог ожидать: среди однообразного стрекотания кузнечиков послышался пронзительный свист, и внезапно острая стрела впилась в грудь старейшины Анта...

### 3

Стоя на валу, Микула долго смотрел, как отец с луком в левой руке прошел пожелтевшими травами, шагал некоторое время по опушке, а потом исчез между стволами.

Тогда Микула и Виста, захватив с собою горнец с раскаленными углями, тоже направились в лес, где нужно было выжигать пни, а в городище осталась только Малуша.

Когда же вечером, почерневшие от дыма и усталые, Микула и Виста возвратились из лесу, отца не было.

— Запоздал старейшина,— сказал Микула.— Должно, далеко зашел.

И когда стемнело, Микула несколько раз выходил, прислушивался, но ни вечером, ни за всю долгую ночь шагов отца вблизи от жилья не было слышно. Не пришел Ант ни на следующий день, ни на следующую ночь.

Тогда, уже на третий день, Микула бросился по всему Любечу. Род распался, каждый живет сам по себе, но все же Ант — старейшина: когда приезжает кто-нибудь от князя, он ведет с ним беседу, когда устанавливается размер дани, ему принадлежит первое слово... Микула не ошибся: и брат Бразд, и брат Сварг очень встревожились, услыхав, что Ант два дня тому назад пошел в лес и не вернулся; всех в селении всполошило известие о том, что Ант исчез. Поэтому три брата и еще несколько любечан оседлали коней, поехали по следам Анта, долго рыскали по лесу и, ничего там не найдя, выехали в поле.

Там, на высоком кургане с каменным памятником древнему старейшине их рода Воику, они нашли Анта. Он лежал весь в крови, со стрелою в груди.

Прошли ночь и день, еще один день и еще ночь, но Ант был в беспамятстве, весь в огне лежал он на помосте, из груди его вырывались хрипение и свист, временами он задыхался от кашля, простирал руки перед собою.

Микула и Виста не отходили от отца, поворачивали его, поили, подкладывали повыше солому под голову.

Утром и вечером маленькая семья садилась вокруг огнища, Виста наливала в миску еду, клала деревянные ложки. Еда у них была однообразная, скудная похлебка из вяленой рыбы с пресными лепешками, испеченными на каменных плитах, сочиво из гороха или фасоли, иногда цеж с сытою. Теперь уже Микула лил ложку похлебки и бросал маленькие кусочки хлеба в огонь. Притихшие Виста и Малуша смотрели, как огненные языки охватывают и поглощают жертву, потом начинали есть. Только отец Ант ничего не ел, лишь изредка глотал воду. Непонятно было, чем только живет старейшина.

Поздней ночью Микула сидел у очага и думал. Виста и Малуша уже спали. В очаге потрескивали и шипели мокрые корни, словно там кто-то сидел и тяжко вздыхал. Звуки долетали и снаружи. Один раз показалось, что где-то поблизости плачет дитя, порой слышался безудержный, страшный хохот, а то вдруг у самого порога раздавались странные шаги — не человека и не коня...

Но Микулу эти звуки и шумы не удивляли и не пугали. Он, как и все его предки, испокон веку жившие над Днепром, верил, что на свете есть боги добрые и боги злые, что человек может жертвой купить у добрых богов счастливую жизнь, но не должен враждовать и со злыми богами.

Прислушиваясь к ночным звукам, он узнавал за дверями шаги домового, у которого, как известно, козлиные копыта, на ветвях деревьев плакали, как малые дети, навы, на крыше хохотали дивы, а под огнищем в землянке шевелились чуры — души предков.

И вдруг он услыхал тихий голос отца Анта:

— Микула!

Микула даже вздрогнул — он никак не надеялся, что отец Ант сможет заговорить. Вскочил и в одно мгновение очутился у помоста.

Отец Ант смотрел на него так, словно хотел убедиться, действительно ли сын стоит перед ним.

— Микула!

— Это я, отец Ант! Чего тебе?

Старейшина промолвил:

— Ничего... Готовы ли сани?

— Сани?

— Да, да, они должны стоять за порогом... Погляди...

Микула понял и ужаснулся словам отца. Сани! Значит, он собирается в далекий путь, к пращурам.

— Сани готовы,— сказал Микула.

— Вот и ладно,— произнес Ант.— Тогда я поеду.

Он на мгновение замолк, откинул голову и долго смотрел на дымоход, куда тонкой струйкой тянулся дым. Потом приподнялся на руках, обвел взглядом землянку и помост, на котором спали Виста с дочерью.

— Тут нет никого? — спросил Ант.

— Нет, отец Ант, никого тут нет,— быстро ответил Микула, думая, что старейшина снова теряет сознание.

Отец Ант сидел на помосте, упираясь руками в доски. Лицо его было бледно и сурово, глаза ясные, он даже не хрипел, не кашлял, был только неспокоен.

— За порогом кто-то стоит,— сказал он.

— Нет, отец,— отозвался Микула,— там никого нет.

— Не говори,— перебил его Ант.— Я знаю... Они стоят, ждут. Подойди ближе. Слушай, Микула...

Он задумался, словно припоминая что-то.

— Так, так,— продолжал он.— Тогда за лесом меня подстрелил печенег... Стрелой в грудь... Но я выстоял, спрятался, а потом пополз в поле, убил печенега у могилы старейшины деда Воика. И там я долго лежал... Ночью же, когда взошел месяц, ко мне пришли Улеб и Воик, все старейшины, они сели вокруг меня с мечами и щитами, долго говорили... Но что, что они мне сказали?

Ант снова умолк, закрыл глаза, стараясь, как видно, представить себе, как он лежал ночью в поле у могилы, как сидели, поставив рядом с собою щиты и опираясь руками на блестящие мечи, давние прадеды его, как друг за другом они говорили.

— Старейшина Улеб сказал: «Ант уже много прожил на свете, он стар и немощен, позовем его к себе!» А старейшина Воик ударил мечом о землю и молвил: «А кто будет беречь наш клад?» Тогда все сказали: «Пусть уж Ант сам думает, кому беречь клад». Ты слышишь, Микула?.. Сани стоят, я уйду к пращурам, и отныне старейшиной рода будешь ты... Слушай, Микула, и запоминай... Брань была прежде дедов наших и при отцах наших, мир стоял до брани, и брань была прежде мира... Не я виноват, что род наш распадается и уже распался... Но роды снова сойдутся, сольются... Тебе завещаю — береги род свой, береги клад, что остался нам от дедов и отцов...

— Какой клад? — вырвалось у Микулы.

— Клад этот лежит в земле над Днепром... Возьми заступ и ищи его... Он закопан тут, за городищем, над Днепром... Ты слышишь, Микула?

— Слышу, отец Ант.

— Сбережешь клад?

— Сберегу, отец.

И внезапно на глазах у Микулы отец Ант изменился — лицо его побелело как мел, взгляд заметался по хижине.

— Слышишь? — тревожно спросил он.

— Что?

— Они шумят, идут.

И неожиданно:

— Где мой лук и стрелы?

— Вон висит лук, а вон стрелы.

— Дай мне лук, дай стрелы... Да поскорее, Микула...

Микула бросился к стене, снял лук, выбрал стрелу.

Тогда Ант встал с помоста, взял лук и стрелу, пошел к выходу. Микула не знал, куда собрался идти отец, но бросился вперед, поддержал Анта.

За порогом было черным-черно, там ничего не было видно — тьма, пустота. Но Ант, должно быть, что-то видел среди этой ночи, потому что задрожал, схватил в левую руку лук, положил на тетиву стрелу.

— Видишь? — хрипло сказал он Микуле.— Вот они, идут на наш род, на нашу землю... Не дождетесь, не возьмете наших богатств...

И так, словно был он совсем здоров, прицелился отец Ант куда-то в темноту, изо всех сил натянул тетиву, и она зазвенела, запела стрела, вырвалась и полетела в ночную тьму.

А потом отец Ант выпустил лук, вздрогнул, сразу словно переломился и тяжело рухнул на землю.

— Отец Ант! — крикнул Микула.— Отец Ант!

Он видел, как один лишь раз вздохнул отец, один лишь раз содрогнулась его правая рука.

В землянке стало необычайно тихо.

Виста и Малуша проснулись, когда отец Ант уже умер. Смерть старейшины ошеломила их, печаль разрывала сердце. Но они знали, что в эту минуту, когда душа Анта только что разлучилась с телом, нельзя и не нужно плакать. Они стремглав побежали к ближайшим своим соседям, чтобы позвать их обрядить тело и тогда уж поплакать.

Вскоре они возвратились с соседками, вместе с ними обмыли и одели покойника, выстлали на земле из соломы длинное и широкое ложе, покрыли его старым ковром, положили тело так, словно старейшина сидел, вытянув руки на коленях, слегка откинув назад голову, и думал.

Микула же достал шлем, меч и щит отца, положил их рядом с телом: шлем — в головах, меч — возле правой руки, щит прислонил к ногам воина. У головы отца Микула водрузил копье.

Теперь огонь горел позади Анта, он уже попрощался с родовым очагом и был повернут к порогу: там расстилалась новая его дорога — к предкам.

Дверь жилища и окно в стене были раскрыты, на подоконник поставили горнец с сытою, оставшейся от ужина, и положили кусок свежего хлеба.

Потом женщины стали причитать над мертвым, плакали возле старейшины, рассказывали про печаль, широкую, как море, глубокую, как небо.

Микула не мог сидеть в землянке, вышел во двор, опустился на толстую деревянную колоду и задумался. Смерть отца сильно поразила его, но все это было уже позади. Сейчас он думал о том, что отца нужно похоронить, как велит обычай, в первый же день и сейчас нужно пойти к братьям Бразду и Сваргу.

И как только начало светать, он сделал из холста черное знамено и пошел с ним по Любечу, направляясь к дворищу брата Бразда.

Дойти до брата Бразда, правда, было не так легко. Отделившись от отцовского двора, он поселился далеко ото всех любечан, среди давно выжженных участков леса, которые уже не засевались, поставил там большую хижину, окопал дворище рвом, насыпал валы, а на них поставил еще и острую ограду — от зверей, говорил Бразд.

Так и жил брат в стороне от людей, с женой Павлиной, привезенной из-за Днепра, жилистой, неразговорчивой женщиной. Было у них три сына, работали они скопом, рано ложились и рано просыпались, а на ночь выпускали на валы лютых псов.

Эти псы и сейчас не пускали Микулу на дворище Бразда, как ни махал он черной хоругвью, как ни кричал на них. И только когда из дома вышла Павлина и отогнала псов, они отступили от Микулы.

— Отец Ант помер этой ночью...— сказал Микула.

Бразд опустил голову, постоял минуту, но сразу же выпрямился, сказал:

— Пожил довольно на этом свете. Стар уже был и немощен наш отец.

Микула хотел возразить, сказать, что Ант был еще работящий, сильный и много-много лет мог бы еще жить, но вспомнились ссоры Бразда с отцом, вспомнился день, когда Бразд ушел из гнезда старейшины, и смолчал Микула, только сжал руками черную хоругвь. Сказал:

— Обряд велит ныне и похоронить его.

— Добро,— согласился Бразд.— Похороним.

— У меня нет коней, чтобы отвезти на требище.

— Дам коней.

— Хотел бы я и тризну справить...

— Дам кабана.

— Сжечь бы надо было отца...— сказал Микула.

Бразд огляделся по сторонам, погладил свою бороду.

— Это же сколько древа надо? Свезти и пустить по ветру? И давно уже никого не сжигают, всех просто в землю.

— Так он ведь не все, а старейшина...

— Э, старейшина! — махнул рукой Бразд.— В землю.

Гораздо внимательнее выслушал Микулу брат Сварг,— он и при жизни никогда не ссорился с отцом Антом, разговаривал почтительно и ласково, обо всем с ним советовался.

И теперь, услыхав о смерти отца Анта, расспросив у Микулы, как умирал отец, что говорил, он даже заплакал.

И жена Сварга, рыжая Милана, тоже заплакала, загрустила, хоть и заметно было, что делает она это не от души, а по обычаю — пускай слышит душа умершего, что ее оплакивают все.

— А о каком же кладе говорил отец? — полюбопытствовал Сварг, услыхав о завете отца.

— Не ведаю,— отвечал Микула.

— За городищем, над Днепром? — Сварг долго смотрел своими темными глазами на городище и могилы за ним.— Но ведь там живешь ты?

— Не знаю, брат, о чем говорил отец.

— Так я сейчас же приду,— сказал Сварг и пристально взглянул на брата.— Может, надо что-нибудь принести? Колоду на корсту? Гвоздей? Железа? Говори, Микула! Все принесу, все отдам, я же так любил отца, и такое у нас сейчас горе... Говори, Микула!

Нет, Сварг и вправду был хорошим сыном отца Анта!

## 4

Все спешили. Неподалеку от землянки, на зеленой траве, несколько плотников кончали выдалбливать из колоды корсту, еще один мастерил к ней крышку. У ворот стояли запряженные парой коней сани. Предать земле тело Анта надо было во что бы то ни стало до захода солнца — иначе душа его могла заблудиться в ночной тьме.

Хоронили Анта как старейшину. Во дворе городища еще до полудня собрался весь Любеч. Женщины шли с плачем, несли яства для тризны. Мужчины собирались со щитами и мечами, как велел обычай. Из дома, все нарастая, несся однообразный, печальный плач женщин. Ант сидел на помосте перед очагом и, казалось, слушал этот плач. На окне стояла пища для души Анта — сыта и хлеб.

Микула вышел во двор. Плотники уже кончили корсту, все вместе перенесли ее и поставили на сани. Потом Микула выпу-

стил из загона коня Анта. Когда-то это был ладный жеребец, теперь же он стоял посреди двора дряхлый, с торчащими ребрами и тоже, казалось, был опечален.

На дворе были Бразд и Сварг. Бразд недовольно покачал головой — солнце склонялось все ниже и ниже.

— Начнем! — произнес Бразд.

Братья вместе с плотниками подошли к стене жилья. Глухо ударился о стену топор, второй удар прозвучал звонче, щепки от подпорки на углу полетели вокруг. Немного погодя подпорка переломилась, мужчины уперлись руками, и угол стены с треском упал.

Через эту дыру в стене и вынесли во двор тело Анта. Громче заплакали, заголосили женщины. Анта положили в корсту. В ногах у него поставили покровину, меч, щит, корчагу с вином, хлеб. Потом Микула вынес из дому и разбил на деревянном чурбане две корчаги — на этой земле они не были больше нужны отцу Анту. Вынес он из дому и лукошко с овсом, чтобы посыпать дорогу, когда лошади тронутся.

Еще громче заголосили, заплакали женщины, не сдержалась и Виста,— ее горестный вопль понесся по двору. Лошади тронулись. За санями кто-то вел коня. Вслед погребальному шествию Виста бросала овес. Потом Виста воротилась в жилище — нужно было сжечь солому, на которой лежал Ант, поставить на огонь горнцы с мясом, приготовиться к тризне по покойнику.

Старейшину похоронили над Днепром, сразу за городищем, недалеко от могил других родовичей. Могила для Анта была выкопана широкая, просторная. Несколько человек сняли корсту с саней, поставили на дно ямы. Рядом со старейшиной положили его щит, меч, копье, а в ногах поставили две корчаги — с медом и вином.

Прежде — и люди хорошо помнили это,— когда хоронили Улеба и Воика, возле могилы убивали и бросали на дно ямы еще и коня, но сейчас все об этом забыли. Конь Анта постоял немного позади толпы, понюхал землю и побрел, костлявый, немощный, по увядшей траве.

Лишь только в могилу посыпались первые комья земли, любечане, как и в старину, ударили в свои щиты, неистово завопили женщины, и долго еще шум и крики неслись над кручами и над Днепром, улетая в далекие просторы.

Молча возвращались все в землянку старейшины, у порога обмывали для очищения руки водой, грели их над огнищем. А на отдушине, через которую выходил наружу горячий пар от еды и человеческих тел, стоял непочатый горнец с сытою и лежал кусок хлеба — это было все, что оставлял род для души старого Анта.

— Сядем, люди, к огню,— пригласил Микула.

— Сядем,— отозвались голоса со всех сторон.

А в жилище скопилось уже так много народа, что у очага не хватало места. Поэтому одни сели, а многие продолжали стоять, жадно поглядывая на горнцы, над которыми вздымался пахучий пар.

Тризну начал старший сын Бразд. Он бросил в огонь жертву, плеснул вина. Все следили, как огонь поглотил мясо, приутих в том месте, куда полилось вино, и забушевал с новой силой.

Микула торопился. Он то и дело черпал из кадки вино, подавал людям. К корыту, куда Виста выложила вареное мясо, тянулось одновременно множество рук, люди пальцами выхватывали лучшие куски.

Когда же все сильно опьянели, в землянке зазвучал голос кого-то из старших:

— Ант был сыном Улеба, внуком храброго Воика, нашего полянского рода...

И люди, каждый на свой лад, но все в один голос произнесли, словно пропели:

— Нашего, полянского рода...

Один голос, очень спокойно, повел дальше:

— Рано сел Ант на коня, взял в руки меч и щит, всю жизнь ратоборствовал с врагами...

Люди сразу подхватили нараспев:

— Ратоборствовал с врагами...

Пили мед, рвали руками мясо, славили Анта.

Потом все ушли. Виста с Малушей, усталые, завернулись в шкуры и легли спать. Крепко устал и Микула, он тоже хотел отдохнуть, но не уходил брат Бразд , опьяневший от меда и ола,— он все ходил по землянке, останавливаясь то в одном углу, то в другом. Брат Сварг тоже не уходил, сидел у очага, молчаливый и хмурый.

— Может, братья, пора и нам спать? — спросил Микула.

— Спать? — Бразд остановился посреди жилища и мотнул тяжелой, всклокоченной головой.— Ты сказал правду, брат Микула, хочется спать... и, может, Сварг, пора нам уйти? Но только лучше бы поговорить обо всем ныне.

— Правда, правда,— поддержал его Сварг.

— Так давайте поговорим, братья,— согласился Микула, думая, что Бразд и Сварг, потрясенные смертью отца, желают еще раз поговорить о нем, помянуть.— Садитесь, братья, к огню, вот я древа подкину.

Он сходил в угол, взял щепок, что натесали плотники, когда готовили корсту для отца Анта, и бросил их в огонь. Потом все трое подсели к огню, почти касаясь головами.

— Ладно... ладно,— начал Бразд.— Вот мы и собрались тут, у очага, поговорим о деле.

— О каком деле говорить будем? — спросил Микула и поворошил щепки, они уже успели подсохнуть и сразу затрещали, покрываясь огненными языками.

— Да о наследстве,— ответил Бразд, отклонив голову от огня, обжигавшего ему лицо, и глядя на брата большими блестящими глазами, в которых отражалось пламя.

— Послушай, Бразд,— крикнул тогда Микула,— да разве можно сегодня, когда и огнище еще не перегорело, говорить о наследстве?

— А когда же и говорить о том, как не ныне? — сурово процедил Бразд, и Микула на этот раз почему-то не узнал голоса старшего своего брата.— Аще отец Ант, помирая, разделил бы дом своим детям, на том бы и стоять, поки же без ряду помер, то всем детям наследство... Так говорил и сам отец Ант. А уж он знал закон и обычай...

— Правду, правду говорит Бразд,— вмешался Сварг.— Зачем нам ждать? Ныне покончим все.

— Да что нам делить? — обвел глазами жилище Микула.

— А все,— широко разведя руками, словно обнимая очаг, жилище и все вещи в нем, сказал Бразд.— Все поделим, что осталось от отца...

В это время дерево в очаге разгорелось, загудело, из него с треском полетели во все стороны искры, и Микула подумал, что это, наверное, души пращуров, которые живут в тепле, под очагом, услыхали их разговор, гневаются, но он ничего не сказал об этом братьям, только промолвил тихо:

— Так вот почему вы остались, братья, и не можете спать? Эх, братья, братья!

— Погоди,— перебил его Бразд.— Ты что, ссориться с нами? Ты, может, не согласен? Тогда заведем тяжбу о наследстве перед князем, пускай детский делит нас. Возьмем его на покорм, дадим ему гривну, кун за въезд и на выезд... А может, отец Ант оставил все тебе? Так ты говори, растяжаемся по правде... Ну, говори!

— Ну, говори! — крикнул уж сердито и Сварг.

— Нет, братья,— ответил им Микула, которого испугала сама мысль о том, что они, сыновья старейшины, пойдут с тяжбой к князю,— не нужна нам тяжба, ничего отец мне не оставлял, а завещал одно: быть таким, как он, беречь род, огнище наше.

— Огнище тебе и достанется,— сказал Бразд.— По закону давнему известно, ежели отень двор останется без дела, то принадлежит он меньшому сыну... Ты, Микула, меньшой, твой и двор, и род, и огнище... Но разве, кроме огнища, нам нечего делить?

Низко склонив голову на руки перед родовым очагом, который успел уже перегореть и угасал, сидел и думал тяжкую

думу Микула. Бразд говорил правду, он поступает так, как велит установившийся веками обычай и как велел сделать сам отец Ант... Но и обычай и отец Ант говорили о членах рода, а Ант был главой всего рода, и это огнище, у которого они сейчас сидят,— это огнище не Анта, не Микулы, а опять-таки всего рода.

Но Микула не умел объяснить этого братьям.

— Делите! — сказал он и махнул с отчаянием рукой.— Делите огонь, меня, жену...

— Зачем нам делить огонь, жену? — с издевкой засмеялся Бразд.— Поделим только то, что принадлежало Анту, возьмем каждый свое...

— Делите! — еще раз повторил Микула.

— А делить нам немного,— начал Бразд.— Про двор и жилище мы договорились: ты меньшой, это тебе. Но есть еще, Микула, земля...

Микула поглядел на Бразда, словно не понимая его.

— Да разве мало земли вокруг? Бери хоть всю, до самого города Киева.

— К чему мне вся земля? — рассмеялся Бразд.— Много земли мне не надо, немного имею, немного хочу добавить. Говорю о той земле, что мы родом обрабатываем, где рубили деревья, жгли пни, пахали, засевали этими вот руками. От леса до берега — вот о какой земле я толкую. Кому ее отдать?

— Так, может, тебе пускай и будет земля эта? — помог брату Сварг.— Мне, братья, земли не надо, я уж как-нибудь без нее проживу. Микула, вижу, тоже земли не держится. Бери ее себе, Бразд.

Если бы это случилось позже, Микула вел бы себя иначе, тогда он, наверное, задумался бы над тем, почему Бразд берет себе обработанную землю, но теперь он только крикнул:

— Бери себе землю, брат!

В эту минуту, когда ему было так тяжко, Микула вспомнил о коне, о котором после похорон все забыли, и он, должно быть, бродит где-нибудь по лугу... старый, немощный конь.

— Ты уж и коня бери,— сказал Микула.

— Конь останется тебе,— успокоил его Бразд.— Конь при доме... А вот возы — их два — поделим, Микула.

— Один будет тебе, Бразд,— сказал Сварг,— один — Микуле, а я выкую себе сам.

— Возьму,— согласился Бразд.— Но там, в клетях, есть еще и лемехи, рала. Тебе разве не нужны они, Сварг?

— Не нужны,— ответил Сварг.— Скую.

— Тогда пополам, Микула?

— Бери хоть все.

— Нет,— возразил Бразд,— только пополам. И корчагами

во дворе, куда когда-то зерно насыпали, и отцовской одеждой тоже поделимся.

— Есть еще оружие,— напомнил Микула и указал глазами на старинные шлем, щит и меч, что остались от отца Анта и теперь стояли у стены.

Бразд равнодушно махнул рукой:

— Пусть это будет твое.

И только тогда Сварг тихо произнес:

— А мне, братья, отдайте разную кузнь. Там, в клетях, много кое-чего лежит: железо и отливки, кувалды и молотки. Вам они ни к чему, а мне пригодятся.

— Забирай все! — крикнул Бразд.

— Бери! — согласился Микула.

И они замолчали. Со всем как будто покончили. Что, в самом деле, можно было еще делить в этом старом, убогом жилище? Но братья не уходили, они словно опьянели от беседы, а может, в них еще бродил хмель после тризны.

— А скажи, брат,— спросил внезапно Сварг,— не было ли у отца Анта золота, серебра, кун? — Он посмотрел на Микулу недоверчивыми, алчными глазами.

— Золота, серебра, кун? — хриплым голосом переспросил Микула.— Да откуда же они возьмутся?

— Погоди, брат! — уже сердитым голосом закричал Сварг.— Ты ведь сам говорил мне про клад, что тебе завещал отец.

— Так, говорил...

— Видишь, Бразд,— повернулся Сварг к старшему брату,— я же тебе сказал...

— Вижу, Сварг, вижу,— оживился и Бразд.

— Так где же этот клад?! — заревел Сварг.

Микула вскочил на ноги. Вскочили и братья. Багровый жар светился у них под ногами, тени братьев достигали потолка, и казалось, что они упираются в него головами.

— Что вы говорите? — прошептал Микула.

— Ты лучше скажи! — хрипел Бразд.

— Отдавай клад! — взывал Сварг.

И уже Бразд и Сварг схватили Микулу за руки и стали трясти его так, словно из его тела могли высыпаться отцовские сокровища.

— Клянусь Перуном,— хрипел Микула,— не давал мне отец никаких богатств! Он говорил, что клад за городищем, над Днепром.

— Брешешь! — кричал Бразд и тряс Микулу.

— Лжа?! — вопил Сварг.

Но в это время в землянке раздался еще более громкий крик — на помосте проснулась Виста и в одной сорочке, как спала, подбежала к трем братьям, заголосила:

— Пошто убиваете? Пошто?

Вслед за нею вскочила и Малуша, она бросилась к отцу и тоже закричала.

Сварг и Бразд отпустили брата Микулу.

— Пойдем! — сказал Сварг.

— Идем! — махнул рукой Бразд.

Они еще потоптались на месте, потом повернулись и, громко хлопнув дверью, вышли из жилища.

— Что это было? — спросила Виста.— Почему они хотели тебя убить?

— Молчи! — ответил Микула.— Молчи, Виста, молчи и ты, Малуша. Никто меня не убьет. Ложитесь спать, спите...

Они отошли к помосту, а Микула сел у огнища, склонил голову на руки и засмотрелся на уголья, которые таинственно, с легким треском дотлевали на камнях.

Из его опечаленных глаз выкатилось несколько слезинок, из груди вырвался стон.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Гора, как и предградье с Подолом, просыпалась рано, до восхода солнца. Как только ночная стража заканчивала свою вторую смену, приходила стража дневная, с башен и стен Горы — от Подола, Днепра и Перевесища — неслись звуки бил; ночь заканчивалась.

И сразу же на Горе — в княжьих теремах, по подворьям воевод, бояр, тысяцких и тиунов (они жили посередине Горы), в землянках и хижинах гридней, смердов, ремесленного люда, лепившихся к внутренним стенам города,— загорались желтые огоньки, слышались голоса, ржали лошади, ревел скот.

Тогда же опускали мост — единственный путь, по которому можно было попасть с Горы на Подол. Долго скрипели блоки, громко кричала во мгле стража; наконец, касаясь противоположной стороны рва, падал с глухим ударом мост. На той стороне рва только этого и ждали, сразу же раздавался топот ло-

шадей по деревянному настилу моста, слышались шаги множества людей: это сюда, на Гору, от Оболони — из княжьих садов и огородов — холопы везли молоко, плоды и овощи, спешили на работу строительные мастера, кузнецы, которым негде было жить на Горе и которые ютились в хижинах и землянках предградья.

Гора оживала. Уже позвякивала ключами и расхаживала, присвечивая лучиной, со своими дворовыми людьми ключница княгини Ярина — она отпирала клети и кладовые; ремесленники и кузнецы раздували горны, всюду над трубами поднимались и тянулись к небу дымки, пахло свежим печеным хлебом, рыбой, мясом; жрецы разжигали огонь на требище, и в черном небе вырезывался тесанный из векового дуба Перун. Поблескивая серебряными усами и бородой, он, казалось, вытягивался во весь рост и смотрел через стену Горы на Подол, Днепр и дальний, еще темный берег.

На главном конце Горы, что тянулся от подольских ворот до требища, становилось все больше и больше возов, медленно ехали верхом гридни, вскоре застучали по камням и посохи — то бояре и воеводы, мужи лучшие и тиуны спешили к широким дверям княжьего терема, чтобы быть на месте, когда покличет княгиня.

Кто-то потряс княжича Святослава за плечо:

— Вставай, княжич, вставай!

Ему еще хотелось спать, трудно было поднять отяжелевшие веки, но рука снова коснулась плеча:

— Вставай же, княжич!

Тогда он совсем проснулся, открыл глаза, осмотрелся.

У постели стоял его дядька Асмус в темном опашне, на котором выделялись седая борода и бледные руки; справа от него, на столике, ровным огнем горела свеча; сквозь узкое окно, у которого стояла постель княжича, видны были звезды.

Дядька Асмус помог княжичу умыться, присмотрел за тем, как он одевался, и вместе с ним спустился по лестнице в сени.

Тут было уже людно. Как раз в это время сменялись гридни — стража терема, повсюду горели светильники, у лестницы стояли младший брат Святослава Улеб, воевода Свенельд и еще несколько бояр и воевод. Они, видимо, ждали Святослава,— как только он спустился, они поздоровались и направились переходами в трапезную.

Окно трапезной выходило на Днепр. Там горели два светильника, в углу, в печи, сооруженной в виде жертвенника, пылал огонь. Посередине стоял стол, покрытый белой скатертью, вокруг него — стулья с высокими спинками.

На столе слуги приготовили все для еды: посередине в боль-

шой миске лежал нарезанный хлеб, на краю стола — глиняные миски и деревянные ложки, кубки, налитые душистым квасом из княжеских погребов.

Княгиня Ольга вошла в трапезную через другую дверь и остановилась на пороге. Она была одета, как полагалось,— в белое платье из тонкого шелка, с тканым серебряным узором и широкой темной каймой; поверх платья плечи ее облегало красное, затканное золотом корзно, темные волосы, расчесанные на пробор, прикрыты были белой шелковой повязкой, концы которой спадали на грудь; единственный знак великокняжеского рода — золотая гривна — сверкал на шее, на ногах у нее были красные сафьяновые сапожки.

Княгиня была немолодая уже женщина, с продолговатым лицом, тонкими темными бровями, четко очерченным носом, строгими устами, но бледность, несколько глубоких морщин на лбу, большие горящие глаза, которые, казалось, пронизывали каждого насквозь, говорили о ее неспокойном нраве, тревогах, а может быть, о длинных бессонных ночах.

Как только княгиня вошла, сыновья, воеводы и бояре низко ей поклонились.

— Здрава будь, княгиня! — промолвили они.

Княгиня ответила на их приветствие, прошла вперед и остановилась у стола.

Тогда в трапезную вошла пожилая, слегка сгорбленная женщина с седыми волосами — ключница Ярина. Она приблизилась к княгине, поклонилась ей и поцеловала руку.

— Дозволь, княгиня, подавать!

— Начинай, Ярина! — ответила княгиня.

Ярина вышла, вернулась и поставила на стол горнцы с дымящимся жареным мясом, котелок с похлебкой, от которой валил пар, большую миску с сочивом. В светлице запахло лавром, чабрецом, перцем.

Но княгиня не подавала знака садиться за стол. Она обернулась к воеводе Свенельду, кивнула ему головой, и тот взял со стола одну из деревянных мисок, положил в нее понемногу от каждого кушанья, стоявшего на столе: хлеба, мяса, рыбы, сочива,— потом отошел к печи в углу и переложил из миски на огонь утреннюю жертву. Огонь притух, над углями поднялся и быстро пронесся по трапезной дымок, но тут же огненные языки, словно жадные, гибкие пальцы, охватили еду, в жертвеннике громко заревело пламя.

Только тогда все сели за стол и начали есть.

В углу, на почетном месте, села княгиня, по правую руку от нее — сын Святослав, по левую — Улеб, а дальше — воеводы, бояре.

Княгиня Ольга потеплевшими глазами смотрела на своих сыновей.

Вот сидит Святослав! Мускулистый, широкий в плечах, немного неуклюжий, с могучей грудью и сильными руками, он кажется старше своих лет. Русого, с длинными и жесткими волосами, ровно подстриженными надо лбом и спадающими прядями на шею, с серыми глазами, иногда неожиданно темнеющими, с тонким, слегка горбатым носом и жестковатыми губами, Святослава нельзя было назвать красивым. Порой же княгиню Ольгу поражало и то, что Святослав вдруг мог сказать резкое слово, поспешить высказать свои мысли прежде старших, сделать что-либо наперекор, по-своему.

Совсем не таков был младший сын княгини, Улеб. Белолицый, с румянцем на щеках, с темными волнистыми волосами и такими же темными прямыми бровями, с карими ласковыми глазами, младший сын княгини был послушный, услужливый, тихий, и, если бы не мужская одежда, его можно было бы принять за красную девицу.

Она любила обоих сыновей, но сердце ее почему-то больше лежало к младшему сыну, Улебу. Почему? Она не могла бы на это ответить; на самом же деле, должно быть, потому, что старший сын Святослав похож был на отца, мужа княгини Ольги, Игоря, и нравом был в него, а младший сын Улеб напоминал ее, княгиню. А разве может человек не любить себя или хотя бы свое подобие?

Ели молча. Ключница Ярина тоже молча время от времени входила в трапезную, подкладывала еду, принесла, наконец, корчагу с вином.

И тогда случилось то, чего давно не случалось тут, в трапезной, и что очень встревожило княгиню Ольгу, а еще больше ключницу Ярину.

Когда Ярина подняла перед собою корчагу, чтобы сперва налить вина княгине, а потом княжичам, воеводам и боярам, рука ее дрогнула, на лбу выступили густые капли пота. Но она не остановилась, подняла корчагу еще выше, поднесла ее к кубку княгини и стала наливать. Только вино полилось не в кубок, а на скатерть перед княгиней, расплылось кровавым пятном.

— Что ты натворила! — всплеснула руками княгиня.

— Матушка княгиня! — крикнула Ярина.— Я же... я не видела, матушка княгиня...

Она поставила свою корчагу и подняла глаза на княгиню. В эту минуту на старуху было страшно смотреть — седые волосы ее выбились из-под черного платка, на глазах заблестели слезы.

— Матушка княгиня! — молила она.— Прости меня, твою рабу! Век работаю... такого не бывало... Стара я уж стала, немощна! — горевала ключница, пытаясь поймать руку княгини.

У княгини брови гневно сошлись на переносице, глаза сверкали недобрым огнем, но она сдержалась, расправила брови, прищурила глаза.

— Вино пролить... к счастью... А тебе не пора ли уж на покой, Ярина? Вон даже рука дрожит...

Терем киевских князей был выстроен в два яруса. Первый ярус, куда через высокое крыльцо входили прямо со двора, начинался с сеней — большой горницы, в которую сквозь два узких окна с решетками и мелкими стеклами вливался скудный свет. В сенях стояли день и ночь княжьи гридни, сюда ранним утром приходили тиуны, бояре, воеводы, мужи лучшие и нарочитые.

От сеней направо и налево тянулись длинные узкие переходы. Налево — переход в княжью трапезную, направо — еще один переход, по обе стороны которого шли двери множества светлиц: в одной из них ждали своей очереди и дремали по ночам гридни, в другой жил ларник Переног, хранивший княжеские хартии и печать, в самом углу ютился христианский священник Григорий, которого княгиня держала при себе на Горе.

Это был добротный ярус, стены его строились в давние времена,— может быть, первый камень положил сам Кий. Князья более поздних времен достраивали его и расширяли. Но все здесь было как в старину: в сенях и переходах стояли тяжелые подсвечники, под потолком висели светильники, каменный пол был до блеска вытерт тысячами ног; тут пахло землей и плесенью, звуки шагов раздавались глухо, чуть слышно.

Совсем иначе выглядел второй ярус терема, который обычно все называли «верхом». Туда вела широкая лестница, в конце которой находилась Людная палата,— тут обычно собирались те, кто ждал выхода княгини или же готовились войти в Золотую палату. Здесь иногда, сидя в кресле под окном, княгиня чинила суд и расправу.

По другую сторону лестницы начинался самый «верх». Тут были покои князей и Золотая палата, особенно поражавшая тех, кому выпадало счастье попасть на «верх». Золотая палата была по тем временам довольно велика — шагов тридцать в длину, десять — пятнадцать в ширину. Снаружи через узкие, но высокие окна, в оловянные рамы которых были вставлены круглые стекла, сюда вливалось много света; казалось, все в палате сияло и блестело: серебряные подсвечники по стенам, светильники под потолком, высокий помост в конце палаты, где стояло большое, украшенное золотом кресло, два золотых перекрещенных копья над ним — княжеские знамена — и еще два таких же кресла поменьше, без копий — по бокам.

Однако не все сверкало в этой палате. Вдоль стен стояли тя-

желые, темные дубовые лавки, а над ними на стенах рядами висели покрытые прозеленью шлемы, кольчуги, щиты, копья.

Тому, кто никогда раньше не бывал в Золотой палате, сперва казалось, что это встали с лавок и стоят вдоль стен какие-то великаны, богатыри. Но на лавках обычно, когда входил князь, сидели воеводы и бояре, а оружие на стенах принадлежало покойным киевским князьям. Тут висели доспехи первых киевских воевод: железный, клепанный такими же гвоздями шлем без забрала, который когда-то носил Кий, его щит и топор и такие же шлемы и топоры воевод-князей Щека и Хорива. Среди всего остального выделялись шлем и броня князя Олега — каждый мог видеть, что покойный князь был необычайно высок, широк в груди и достиг великой славы, ибо и шлем и броня, как и меч и щит его, сверкали золотом и серебром и были усыпаны драгоценными камнями. Недалеко от этого оружия висели доспехи князя Игоря, его броня и щит были в нескольких местах пробиты мечом.

И тому, кто проходил через Золотую палату, особенно в вечерние часы, когда лучи солнца изменчиво играли на стенах, казалось, что за этими шлемами сквозь щели забрал светятся глаза, что броня эта еще не остыла от тепла человеческих сердец.

В палате было несколько дверей — справа и слева, они вели в светлицы княгини и княжичей, а в стене за помостом — в опочивальню княгини и ее покои. Там, за ними, хотя не все знали об этом, находилась еще одна, черная лестница, по которой можно было пройти в трапезную, выйти во двор, спуститься в сени. Но по этой лестнице ходили только княгиня и ее сыновья.

Княгиня Ольга не сказала Ярине правду. Пятно от красного вина на скатерти в трапезной очень встревожило ее. «Это,— думала она,— недобрый знак, знамение. Если так начинается день, не будет добра и дальше».

Княгиня не ошиблась. Когда они выходили из трапезной, воевода Свенельд, неслышно ступавший вслед за нею по ее левую руку, успел сказать:

— Недобрые вести с поля, княгиня!

— А что, воевода?

— Печенеги прорвались за Нежатою нивою, дошли до самого Любеча, сотворили великое зло.

— Куда же смотрела стража поля?

— Князь Оскол тут, сам скажет.

Княгиня Ольга замедлила шаги — из сеней долетал шум, там люди ожидали княгиню.

— Опять же воротились купцы наши от Саркела,— успел еще сказать Свенельд,— пограбили их там, двоих убили, а Полуяра ослепили.

А в сенях уже разросся шум, перед княгиней, которая вышла из темного перехода и стоит, освещенная множеством огней, на пороге, низко склоняются воеводы и бояре, до самой земли гнутся тиуны.

— Здрава будь, княгиня!

— Многие лета, княгиня!

Она сурово обводит глазами толпу, смотрит на длиннобородых, вооруженных высокими посохами мужей нарочитых, у которых на темных опашнях висит по две-три золотые гривны; на воевод — поглаживая длинные усы, они держат правые руки на золотых яблоках своих мечей; на старших и младших бояр — они склонились так низко, что не видно их лиц.

— Здравы будьте, воеводы, бояре, мужи! — отвечает княгиня Ольга и, сделав Свенельду знак рукой, начинает подниматься по лестнице.

За нею идут сыновья Святослав и Улеб, воевода Свенельд, тысяцкий полевой стражи Прись, князь черниговский, Оскол, мужи нарочитые и ларник Переног.

Все они, громко топая, вслед за княгиней Ольгой поднимаются по лестнице в Людную палату. В этой просторной палате потолок подпирают тесаные дубовые столбы, двери и окна раскрыты, через них долетает свежий ветер с Днепра. Небо там еще темное, на нем горят яркие звезды, выше всех пылает, как камень-самоцвет, денница.

Княгиня Ольга садится в кресло. По сторонам от нее горят два светильника. Ветер с Днепра колышет огни, изменчивые отсветы блуждают по палате. Бояре, воеводы и тиуны уже успели войти, стоят полукругом у стен, и княгиня видит их длиннобородые лица, пронзительные взгляды, цепкие, опущенные, кажется, почти до полу руки. Позади кресла княгини занимают свои места мужи нарочитые и сыновья Святослав и Улеб.

— Слышали вы, бояре и мужи,— начинает княгиня,— говорят, печенеги появились в поле?

— Слыхали. В земле Северской и Переяславской,— раздаются тревожные голоса.

— А где князь черниговский Оскол?

— Я тут, княгиня!

— Подойди ближе...

Князь Оскол выходит вперед и останавливается против княгини. Это не старый еще человек, племянник князя Игоря по сестре Горыне,— ее мужу, Ратомиру, князь Игорь и подарил Чернигов.

Только не похож Оскол на своего отца, который верно служил Киевскому столу, не однажды ходил с князем Игорем на рать и погиб, защищая его на земле Древлянской.

Смотрит княгиня Ольга на Оскола и думает: богат, очень

богат князь черниговский, кто знает, у кого больше золота, серебра и всяких сокровищ — у нее на Горе или у него в Чернигове.

И не кто-нибудь, а сама княгиня Ольга виновата, что стал таким князь Оскол. Ведь зто она, уставляя Русскую землю и задавая погостам уроки, подарила князю Осколу лучшие земли за Черниговом, леса над Десною, пахотные угодья вдоль рек. Думала: богаче будет князь черниговский — сильнее станет стол Киевский.

Вот и ошиблась княгиня. Алчная душа у князя Оскола, не может он насытить свою жадность, загребает золото, серебро, захватывает бобровые гоны, перевесища.

А вот земли Русской не бережет князь Оскол. Сидит в детинце на Черных горах, держит великую дружину, знает, что никто не подступит и не возьмет его там. Да и кому мешают Чернигов и вся Северская земля? Не на Чернигов, а на Киев метят враги: по одну сторону от Оскола сидят древляне, они только и думают, как бы отколоться от Киевского стола, по другую — вятичи, они и поныне не признают главенства Киева.

А на восток от Чернигова — дикое поле, печенеги. Снимет князь Оскол свою стражу по Сейму — вот и открыт печенегам путь на Киев.

Не только черниговский Оскол таков. Три дня назад был в Киеве князь переяславский Добыслав, жаловался, что налетают и налетают печенеги на его землю, просил подмоги и пожалованья для себя, воевод, бояр, волостелинов. И княгиня Ольга вынуждена была дать пожалованье над Альтой.

— Князь Оскол,— сурово произносит княгиня,— почему не сдержал печенегов на Сейме? Ведь прошли они через всю Северскую землю, были под Любечем и Остром, могли добраться и до Киева.

— Матушка княгиня,— медленно, тихо отвечает Оскол,— налетели печенеги с поля внезапно, не сами шли, словно сила какая их несла — щиты хозарские, мечи грецкие,— могу ли я один против Византии, хозар и печенегов стоять?

— Против Византии и хозар стоит Киев, ты стереги в поле печенега.

— Матушка княгиня,— обиженно говорит Оскол,— поле широко, Сейм глубок, стража стоит на горе, печенег крадется оврагами...

— Так поставь стражу, чтобы печенег не прошел ни горой, ни оврагами, плечом к плечу ставь. Не только меня — северян охраняешь.

— Кого поставлю, матушка княгиня?! Тяжко ратают люди в Чернигове, Любече, Остре...

— А ты дай земли людям по Сейму. И над Десною и Днепром дай, пускай каждый себя охраняет...

— Нет у меня вольной земли по Сейму, Десне и Днепру. То твоя земля, княгиня.

Княгиня Ольга посмотрела на мужей и бояр, взглянула на широко открытые двери палаты. Там, за Днепром, над самым небосклоном словно кто-то провел раскаленным железом, после чего остался огненный след — розовая полоска; она стала шириться и расти, а от нее, словно колосья, во все стороны потянулись светлые лучи.

— Что скажем, мужи и бояре? — спросила княгиня.

— Дадим земли князю Осколу,— зазвучали хриплые голоса.— Пусть защищает Русскую землю.

— Согласны?

— Согласны.

Тогда княгиня Ольга велела ларнику Переногу, который сидел неподалеку от нее у стены, где горела свеча, и держал перед собою кожаный свиток и перо:

— Пиши, ларник: «Землю над Сеймом на два поприща к заходу солнца дать князю Осколу и волостелинам, чтобы охраняли межу...»

— И возле Остра, и на Днепре, под Любечем,— вставил князь Оскол.

— И возле Остра на два поприща по Десне, и возле Любеча на два поприща,— согласилась княгиня.— Только береги землю Русскую, Киев береги.

— Берегу, матушка княгиня,— громко ответил Оскол.— Моя стража уже прогнала их далеко в поле. И не допустим, не допустим к Киеву вовек!

Но княгиня все же была неспокойна.

— А может быть, мужи и бояре,— сказала она,— послать за Киев дружину в поле?

— Лучше, княгиня, лучше! — зашумели мужи.

— Пошлем дружину,— сказала княгиня,— а поведет ее княжич Святослав с воеводой Асмусом. Слышишь, сын?

— Слышу,— ответил княжич Святослав и поклонился матери.

В это время на лестнице, ведущей в сени, послышались возбужденные голоса, топот многих ног, и в Людную палату вошли несколько человек в темных одеждах, подпоясанных широкими ремнями, с карманами для ножей, огнива, соли и крючками, на которые можно было вешать разные вещи. Пришельцы были в тяжелых, кованных гвоздями сапогах, лица у них были бородатые, почерневшие от солнца и ветра.

Больше всех поражал один из них, старый, седой, которого вели под руки, потому что он ничего не видел — вместо глаз у него зияли две черные впадины.

— Это ты, Полуяр? — строго спросила княгиня, увидев слепого.

— Я, матушка княгиня! — вскрикнул, услыхав ее голос, Полуяр и повалился ей в ноги.

— Встань, Полуяр,— сказала княгиня.

Тот встал.

— Говори!

В палате настала такая тишина, что слышно было, как шумит ветер за окнами, как глубоко вздохнул Полуяр.

— Ранней весной,— начал он,— знаешь сама, княгиня, и все вы, люди, помните, вышли мы на лодиях из Киева-города, чтобы добраться до Верхнего волока, спуститься Доном, переволочь лодии к Итиль-реке и плыть в Джурджанское море. Не впервой ездим мы этим путем, как и отцы наши, деды и прадеды: со всяким добром — торговать, с мечом — защищать межи. Так ехали мы, много добра везли — моего, твоего, княгиня, вашего, добрые люди,— чтобы самим продать, а иного добра нам привезти.

Полуяр на минутку умолк, вспоминая, должно быть, как ранней весной выходили они из Киева, долго боролись с быстрым течением Десны и Сейма, волокли лодии от Сейма до Дона, как плыли Доном до Саркела, где в белых шатрах стоят хозары и берут десятину.

Но про этот долгий и тяжкий путь купец Полуяр не сказал, ибо кто же тут, в Киеве, не знал всего этого, а закончил так:

— Только когда добрались до Саркела, то увидели там не белые шатры, а большой каменный город, а заплатили за волок не десятиной, а головою. Темной ночью налетели и окружили нас вои. Двух купцов — Греха и Стогуда — убили, многих покалечили, все добро, наше и твое, забрали, а мне за то, что не выпустил меча из рук, выкололи глаза.

— Что же это за город?

— Хозарский, только храмина в нем поганская, грецкая.

— А головников видел?

— Видел, княгиня.

— Кто они?

— Греки...

На востоке появился сверкающий луч солнца. В палату сразу ворвался свет, фигуры бояр, воевод и тиунов стали четко видны, на их лицах можно было прочесть тревогу и отчаяние.

— Матушка княгиня! — раздалось сразу множество голосов.— Что делается! На Итиль-реке убивают, в Царьграде раздевают, а печенегов кто насылает на нас? Греки, только греки...

— Худо творят хозары и греки,— сказала княгиня Ольга,— но имеем с ними ряд. хозарам платим дань, грекам в Царьграде даем и все берем у них по укладу.

— В Царьграде,— шумели купцы, которые не раз за свою

жизнь измерили путь до Константинополя,— с нами не торгуют, а глумятся над нами. И доколе будем платить дань хозарам? За что? За то, что убивают людей наших? Нет, княгиня, надобно нам ехать к императорам и кагану, стать на суд с ними.

Княгиня Ольга встала с кресла. Она знала, что кричат не только те, кто стоит тут, в палате, кричит, взывает к ней вся земля. Да разве можно нарушать ряд с хозарами, уложенный еще Игорем? Разве можно утопить в Днепре хартии с греками, подписанные прежними князьями?

— Я слышу вас, бояре и воеводы,— проговорила она,— и наряжу послов в Итиль и Царьград.

— Что могут сделать послы? — закричали воеводы.— Не со словом надобно к ним идти, а с мечом!

— Как идти с мечом? — горестно сказала княгиня.— Идти на хозар, чтобы тут на нас напали греки, либо идти на греков, чтобы под Киевом встали хозары? А в поле бродят еще и печенеги — они служат и хозарам и ромеям...

— Не бойся, княгиня! — кричали воеводы.— Пойдем на хозар, а там и на греков!

Княгиня Ольга, очень бледная, с горящими глазами, несколько мгновений молчала.

— Не за себя боюсь, за Русь. Ряда нарушать не стану, послов слать не буду. Сама в Царьград поеду.

— Доброе дело сделаешь, княгиня! — зашумели многие из бояр.

— А с тобой, Полуяр, будет так,— сказала княгиня, обращаясь к слепому купцу.— Пиши, ларник: «Купцу Полуяру воздать все, что потерял, а еще дарую ему боярскую гривну, три поприща поля за Днепром...»

Боярин Полуяр упал ниц, прополз на коленях несколько шагов, словно хотел найти руку великой княгини.

Вот, казалось бы, и решены все дела, которые тревожат землю, не дают спать людям на Руси.

Но нет, есть еще Гора, у нее также много своих дел. Это она требует от княгини Ольги суда и правды.

По лестнице гремят шаги — идет тиун дворов княжьих Талец, а за ним несколько гридней ведут связанного, окровавленного человека.

— Что приключилось? — спрашивает княгиня.

Тогда Талец кланяется княгине, вытягивает голову так далеко вперед, что она, кажется, вот-вот оторвется от шеи.

— Татьба и убийство! — говорит он.— Минувшей ночью этот вот смерд Векша подкрался в Вышнем городе к житнице боярина Драча, утнул княжьего мужа.

— Татьба и убийство! — шумят бояре.— Доколе это будет?! Суди, княгиня, по правде!

Смерд Векша — здоровый, молодой еще, широкоплечий человек, с копной волос, напоминающей спелую рожь,— босой, в одной сорочке и ноговицах, стоит посреди палаты, смотрит на бояр, воевод и, должно быть, не понимает, где он очутился и что произошло.

А потом видит княгиню, и на его окровавленном лице проявляется не то страх, не то надежда,— он валится ей в ноги.

Княгиня молчит. Тут есть кому допросить смерда, будет надобность — мужи и бояре, стоящие в палате, не только расспросят и допросят, а учинят еще и божий суд: бросят человека в воду и будут следить, утонет ли он, заставят человека взять голой рукой раскаленное железо и станут смотреть, сгорела или не сгорела на руках кожа,— мужи нарочитые и лучшие бояре сделают все, что нужно, княгиня же скажет последнее слово, учинит суд по закону, по правде...

— Зачем полез в житницу боярскую? Пошто убил княжьего мужа? — допрашивают бояре.

Смерд Векша поднимает голову:

— Голодно... Жена, дети... Куда пойду? Купу у боярина имею — нечем отдавать, заставу у купца взял — нечем платить...

— Слыхали! Знаем! Все они одно и то же! — возмущенно кричат мужи и бояре.

— Бояре мои и мужи! — прерывает княгиня эти голоса и обводит взглядом бородатых людей, которые ждут княжеского суда.— Как будем судить за убийство?

— За смерть — смерть! — решительно произносит кто-то в толпе.— Как велит обычай.

Княгиня Ольга смотрит туда, откуда донесся этот голос, но не знает, кто это сказал: воевода Сморщ или боярин Ратша? Впрочем, не все ли равно, кто сказал? Смерть за смерть — так велит обычай, так думают все бояре, воеводы и мужи, так думает и сама княгиня.

Она поднимает руку:

— Аще убил смерд княжьего мужа, головнику — смерть.

Но в это время выступает вперед боярин Драч, в темном опашне, с посохом в руках.

— А моя житница взломана, княгиня,— говорит он.— И не токмо раз был там смерд Векша. Урон несу, княгиня.

— Правда, княгиня! — гомонят бояре и воеводы, у которых то там, то здесь во дворах все чаще случаются разбой и татьба.

— Векшу на смерть,— заканчивает княгиня,— а двор его с женой и детьми на поток и разграбление.

— Вот это по правде,— разносится в гриднице.

## 2

Торной дорогой за Днепром едет с дружиной своей княжич Святослав. Ольга повелела им проехать далеко за Днепр, искать печенегов, а коли найдут — брать мечи, гнать их с поля.

Княжич Святослав едет впереди дружины, рядом с ним — Асмус. С детских лет воспитывал Асмус княжича, куда княжич, туда и он. Только все труднее и труднее становится Асмусу сопровождать Святослава в далеких походах. Пусти княжича — и помчится он за Итиль-реку, за Джурджанское море. А куда уж лететь старому воеводе? Не те лета!

Но Асмус никогда не жаловался и не пожалуется на то, что ему тяжко сидеть на коне и что подчас хочется подняться на высокий курган, лечь, растянуться на траве, отдохнуть. Нет, воеводе, который прошел из края в край эту землю, побывал за многими морями, стоял под стенами Константинополя, негоже сидеть на земле, должен он быть верхом на коне, с мечом в руках до самой смерти.

Да и не только это заставляет Асмуса сопровождать княжича. Ему выпала счастливая доля. С детских лет пестует он Святослава, передает ему все, что знает, учит тому, что сам умеет, готовит его к вокняжению.

Вот и сейчас едут они впереди дружины, широко открытыми глазами смотрит молодой княжич вдаль, любуется небом и землей, упивается запахами трав, да и начинает расспрашивать Асмуса.

Вокруг них широко расстилается поле. Над ним, как волна, пробегает свежий ветер, отряхивает росу с трав, раскачивает, гнет к земле белые цветы ромашки, желтые сережки шалфея, только ковыль противится, поднимает кверху свои упругие стебли, и изменчивая дымка, как седина, затягивает поле из края в край.

Княжич Святослав с дружиной своей едет дорогой, она вьется среди курганов, на вершинах которых стоят серые, вытесанные из камня изваяния богатырей, оборонявших с давних времен эту землю. Это Залозный шлях, гостинец, по которому ездят купцы — гости. Он тянется от города Киева до Итиль-реки, по нему можно ехать день, два, неделю, не повстречав человека,— только в траве будут стрекотать кузнечики, высоко в небе петь жаворонки, на склоне кургана порой засвистит сурок, а далеко-далеко, на горизонте, промчится, как туча, табун диких лошадей.

Но и княжич Святослав, и его дружина знают, что вокруг не безлюдная земля. Стоит свернуть с дороги, проехать с десяток поприщ — и глазам откроются села, городища, нивы, сады, колодцы. С незапамятных времен живут здесь люди: они па-

шут землю, пасут стада, бьют зверя в лесах, пересекающих поле, ловят рыбу в реках, что тихо несут свои воды в Днепр.

Про эту вот землю, про поле, по которому они едут, про даль, подернутую маревом, и расспрашивает княжич Святослав дядьку своего Асмуса.

— А там что? — указывает он рукою на север.

— Тут, княжич, поля к поля, а там леса, большие реки, озера. Если ехать все выше и выше, будет Оковский лес, далее — Волок, Заволочье, еще дальше — Верхние земли, Новгород и Ледяной океан. А за океаном уж варяги по морю, далее — ляхи, немцы, франки, а на острове в море — англяне...

— И повсюду до океана живут наши языки?

— Так, княжич, до самого океана живут языки наши. Иные из них жили тут, в поле, и над морем, а потом ушли в Верхние земли, иные вышли из-за Итиль-реки и породнились с нашими племенами.

— И все они тянутся к Киеву?

— Так, княжич, все они слушают Киев, ибо без него погибнут. Вот только вятичи,— он показал рукой на юго-восток,— дань платят не нам, а хозарам, да еще булгары по Итилю — они тоже вкупе с хозарами.

— Откуда же взялись хозары? — спрашивает княжич.

Асмус задумывается.

— Там, над Итилем,— медленно отвечает он,— жили раньше наши люди, наши племена, а уж потом из земель полуденных пришли хозары. Не нашей они веры, чужого рода...

— Так нужно было их не пускать, бить.

— Не пускали, били,— отвечает Асмус, касаясь перебитой руки и вспоминая, должно быть, о давних ранах.— Да в землях наших было неспокойно, приходилось бороться с варягами. Сколько уж веков боремся против Византии, а хозары тем временем сели над Итилем, перерезали нам путь к морю, породнились, хотя сами иудеи, с императорами Византии — христианами, вот и должны мы платить им дань...

Святослав останавливает коня. Серыми своими глазами долго смотрит на восток, на синюю тучу, что плывет и плывет над горизонтом.

— И далеко до этих хозар? — спрашивает он.

Останавливает коня и Асмус, смотрит на тучу.

— Вот этим полем,— медленно говорит он,— нужно ехать полный круг месяца, и тогда будет Итиль-река.

— А дальше, дальше?

— За Итиль-рекою,— продолжает Асмус,— будет Джурджанское, а по-нашему — Хвалынское море, за ним живут разные языки — Вирменея, Персида, Ватр, Сирия, Мидия, Вавилон, Аравия, Индия, а там, далеко-далеко,— хинцы...

Асмус прищуривает глаза, припоминает.

— А в полуденных землях, вон там,— указывает он рукой,— за нашим Русским морем, суть Ливия, Нумидия, Масурия, там Еюпет, Фива...

— А ты везде там бывал, дядька Асмус?

Асмус глубоко вздыхает.

— Мир велик, княжич мой,— говорит он,— и одному человеку его не обойти. Да и что мир? Своя земля, свои языки и роды — их я, княжич, знаю и люблю.

Вечером они остановились в широком поле под высоким курганом, спутали коней, на склоне кургана положили седла и разостлали попоны, собрали хворосту, высекли огонь, разожгли костер.

Кто-то из дружинников достал из мешка кусок конины, нарезал ее тонкими ломтями, поджарил на кончике копья над костром и первый кусок подал княжичу.

Это была добрая трапеза — мясо пахло дымком и хрустело на зубах, пахнул дымком и хлеб, взятый с собою из Киева, а глоток крепкого меда из меха будил воспоминания и нес на своих крыльях в далекое прошлое и туманное будущее.

В степи было необычайно тихо, только где-то изредка бил перепел, порой издалека доносился отзвук топота диких коней, а потом приходила и стыла тишина — вечная, казалось, и все же неповторимая.

Все легли спать. Прямо на земле, среди душистых трав, положив головы на седла. А несколько дружинников пошли далеко в поле — следить, чтобы кто-нибудь ночью не подкрался к кургану.

Княжич Святослав лег рядом со своими дружинниками, как и они, положил голову на твердое седло, вытянулся на попоне, раскинул широко руки, засмотрелся на небо, на звезды.

Дядька Асмус не ложился, а долго еще сидел, прислонившись спиной к каменному изваянию богатыря на могиле.

— Вот и стемнело,— тихо говорил он.— Ночь... Чуешь, княжич, как плывет земля?

— Куда?

— Земля плывет в океане на четырех рыбах-китах.

— А вверху что, над нами?

Асмус закинул голову и долго смотрел на небо, на котором тут и там вспыхивали, пока не усыпали всю синеву, звезды.

— Небо — такожде океан, звезды — светила богов,— доносился его голос.— Там, далеко-далеко, есть остров Буян из алатырь-камня, где живут Перун и богиня Лада, лежит громовой змей, гнездится птица-буря, роятся пчелы-молнии, стоят закрома дождей... Там,— он указал в темноте на восточную часть неба,— рай, где живут боги наши и текут реки из молока и



меда, там,— указал он на запад,— черный океан, куда на ночь уходит солнце, а днем прячутся звезды...

— А люди?

— У каждого человека своя судьба, назначенная Перуном. Суть судьбы счастливые, суть и несчастливые. У нас с тобою, княжич, счастливые судьбы.

— Почему?

— Мы — вои, княжич, защищаем родную землю, оставим ее, когда позовет Перун, и нам уже уготовано место в его садах. Разве это не счастье?

Костер на склоне кургана то разгорался, то угасал, голос Асмуса звучал то громче, то тише; и Святославу временами казалось, что слышит он голос не Асмуса, а каменного богатыря, который, опустив руки вниз, стоит на кургане, смотрит широко раскрытыми глазами в темную даль.

— Свет широк, княжич Святослав, и зри вокруг — много земли в нем занимает Русь. Но есть на свете злые силы, злые языки, а среди них хозары и ромеи, они ненавидят нас и хотят уничтожить. Много зла уже видела от них Русь, а еще больше увидит, ибо они аки шашель, что дерево точит, черная туча, что застилает солнце.

Святослав приподнимается на локте, придвигает голову к Асмусу:

— Так почему же не идем супротив них? Везде я слышу эти слова.

Асмус отвечает не сразу.

— Было время,— говорит он тихо, задумчиво, часто останавливаясь,— и мы, русские люди, били врага, аще он показывал меч. Варяги к нам шли — били их нещадно, теперь они духа нашего боятся, служат верно.

— Воевода Свенельд тоже варяг, Асмус!

— Так, княжич, Свенельд — варяг, но не о нем говорю. Были другие, иные варяги. Киев-град и вся эта земля,— он обводит рукою вокруг,— как остров в океане — со всех сторон набегают волны. Разные ходили на нас племена и орды: были торки — разбили, черные клобуки — рассеялись они по всей нашей земле, шли булгары — показали им меч, пробовали напиться воды из Днепра обры — погибоша, а те, что остались, побежали за горы, на запад... Многих врагов видела Русь и всех побиваша. Били их Гостомысл, Кий, Щек, Хорив, князья Олег и Игорь и великое множество людей наших.

Святослав видит, что Асмус встает, смотрит вдаль. Вскакивает и он, становится рядом с дядькой, смотрит на восток... И еще замечает Святослав, что Асмус ищет его руку и сжимает ее своей горячей десницей.

— Вечная память князьям нашим и всем людям, аще полегли за Русь! — вдохновенно говорит Асмус.

— Вечная память! — повторяет за ним Святослав.

И странное, большое чувство охватывает душу княжича. Он стоит, сжимая руку старого своего дядьки, и кажется ему, что оба они и дружина, отдыхающая вокруг, как травы, цветы, как все живое, вырастают из этой теплой, пахучей земли, касаясь неба, что лишь продолжает твердь...

— Так почему же не бьем мы хозар и печенегов? — снова спрашивает Святослав и сам крепко, сколько есть у него сил, сжимает руку Асмуса.

— У тебя сильная рука,— слышит он в ответ и видит перед собою освещенное багрянцем костра лицо Асмуса и замечает, что лицо это сурово, задумчиво.— Хозар и печенегов мы должны остерегаться, должны бороться с ними, чтобы жить... Так говорю я, Асмус, так говорит дружина, многие люди. Но есть враги и кроме них, а этих врагов должны мы беречься пуще хозар и печенегов.

— Кто же они, дядька, скажи?

— Враги эти среди нас, княжич. Они обокрали землю нашу, взяли поля и леса, реки и озера, они собирают злато и серебро, и это они мирятся с хозарами и греками.

— Значит, это христиане? — вырывается у Святослава.

— Нет, это не токмо поганцы христиане, много их есть и среди людей нашей, истинной веры. Кто забывает про Русь, а думает только о себе,— тот наш враг.

— Значит, и мать моя, княгиня...— наклоняется к самому его уху княжич Святослав.

— Нет! — громко отвечает Асмус.— Наша мать-княгиня мудра, справедлива, она первая среди людей русских и перед богом и перед всем светом.

— Кто же тогда? — спрашивает Святослав.

— Пройдет время,— медленно отвечает Асмус,— и ты увидишь, кто, не призывая всуе бога, хочет добра и счастья Русской земле, а кто, хотя и клянется всеми богами, приносит Руси только зло. Я не скажу тебе, княжич, кто эти люди, ибо врага познаешь, только когда встречаешь с глазу на глаз. В своей жизни ты встретишь их и сразу узнаешь. Будь тогда безжалостным, борись с ними.

— Я их уничтожу, покараю...

Асмус, казалось, не слышал его слов.

— А если, княжич, увидишь, что не сможешь выстоять против них, дай им то, чего они жаждут,— злато и серебро, но не отдавай Руси, сам борись за нее... Ты — Игорев сын, будь, как отец твой!

— Дядька Асмус! Я буду поступать, как отец Игорь, я никогда не забуду своей земли, моих людей...

— Да будет так, княжич! А теперь ложись, спи...

## 3

Ключница Ярина жила в каморке, пристроенной к стене терема со двора, где были конюшни, клети, погреба, стояла кухня, а в клетях и таких же каморках ютилась многочисленная дворня. Но каморка Ярины отличалась от остальных — одна дверь ее выходила во двор, другая же, невысокая и узенькая, через которую могла протиснуться только Ярина, вела в княжеский терем. Часто ключница ходила туда сама; днем и ночью могла ее туда позвать, да и частенько звала княгиня Ольга.

Поздней ночью ключница Ярина не спала. Но не потому, что ждала зова из терема. Распахнув наружную дверь, она сидела на пороге и все думала и думала о минувшем дне, о красном пятне на скатерти в трапезной.

На глаза ее набегали слезы, но она сдерживала их. На дворе было совсем тихо, вокруг все спало, отдыхало; слышно было только, как где-то поблизости, в конюшнях, лошади бьют землю копытами; порой долетали со стен приглушенные голоса ночных сторожей, да еще ветер из-за Днепра тихо шевелил ветвями дерева, росшего неподалеку. Зачем плакать, если никто не увидит слез, к кому взывать, если никто не услышит?

А Ярине так хотелось, чтобы кто-нибудь увидел и унял ее слезы, чтобы кто-нибудь выслушал ее горькую жалобу и успокоил бы теплым, ласковым словом,— ведь такого слова, ласки, тепла ждала она всю жизнь...

Всю жизнь! Кажется, как легко и просто вымолвить эти слова, но как много за ними кроется дней и ночей, долгих и тяжких лет горя, муки, обид и отчаяния...

Впрочем, горе, мука, обиды и отчаяние бывали не всегда. Вспомни, Ярина, как когда-то, в давно минувшие годы, после смерти отца и матери, погибших в поле, привела тебя нужда в город Киев, как работала ты молодой еще девушкой у купца Ратши на Подоле, перешла с ним, когда он разбогател, на Гору. Не сама ты хотела — купец подарил тебя княгине Ольге, так и стала ты княжьей дворовой.

Нет, Ярина, ты была тогда молода, радовалась, когда попала к Ратше, не помнила себя от счастья, очутившись на княжьем дворе, мечтала, молилась Перуну и всем другим богам, все чего-то ждала.

И ты, Ярина, дождалась! Должно быть, была ты очень красива, раз на тебе остановился взгляд княгини, наверное, была ты приветливой и ласковой, раз допустили тебя в трапезную, и, уж конечно, ты не щадила своих сил, не знала устали, была честна, раз именно тебя среди множества дворовых женщин сделала княгиня Ольга своей ключницей.

Долго сидела ключница Ярина на пороге и припоминала, как все это случилось и как на самом деле были у нее в те

давние годы и красота, и тепло, и приветливость, и, самое главное, жила надежда в сердце.

На что же она надеялась? Вряд ли могла бы теперь Ярина ответить, но ведь у каждого есть своя надежда, нет на свете человека, который бы не надеялся, хоть мало таких, у кого надежды свершились.

Когда-то была Ярина молода, любила сама, да и ее любили. У отрока князя Игоря, Роксая, были голубые глаза, волосы напоминали лен. Они не раз встречались в княжеском саду, но так ни в чем друг другу и не признались, только чувствовали, что полюбили друг друга навеки. А потом поехал Роксай с князем в Искоростень — и не вернулся. Так появилась и исчезла надежда. Вот теперь и покатилась из глаз Ярины слеза.

А жизнь шла, рождались новые надежды. Это было давно, когда, как хорошо помнит Ярина, тут, на Горе, жить было трудно, князья и дружины их спали чутко. Случались ночи, когда они и вовсе не снимали брони, а стояли на городских стенах, потому что над Днепром, а часто и под самыми стенами города, бродил, звеня копьями, враг... То были трудные годы, тяжкая жизнь, много воев полегло тогда на городских валах. Как и все, Ярина помогала воям, обмывала и перевязывала раны. А когда не стало Роксая, остались все же другие люди, был князь с княгиней, были их дети.

И она отдавала им все свои силы. Несколько детей княгини Ольги умерли, сыновья Святослав и Улеб выросли, ключница Ярина вынянчила их на своих руках: не свое, чужое, но все-таки дитя — кто же ему поможет?

Теперь Гора не та! Стены ее продвинулись ближе к Подолу, глубоко врезались в Перевесище, протянулись и вниз вдоль Днепра, до варяжских пещер... А сколько теперь здесь стало люда! Были когда-то князь со своей дружиной, а теперь и бояре, и воеводы, и купцы, и послы, да у каждого свой двор и холопы, да у всех еще гридни. На всех них работают кузнецы, ремесленники. Как улей, гудит Гора, а в улье том, словно матка,— княгиня; пчелы носят мед, а сколько же тут трутней!

Когда-то Ярина не думала так и не сказала бы, с чего она стала бы такое говорить! Но ведь сколько уже лет видит она и слышит, как идут к князьям все эти бояре, воеводы, купцы и послы, что живут на Горе, как облепляют их тиуны и ябедники и как каждый из них просит себе пожалованья — землей, лесами, водами, а то и просто золотом и серебром из княжьей казны.

Только Ярина никогда не просила у князей пожалованья, сами же они про нее забыли. Просить, а чего просить? У нее в руках ключи от теремов княжьих, от всех покоев, кладовых, клетей. Хотела бы Ярина — и оделась бы, и обулась, накопила бы полный сундук всякого добра...

Почему же у Ярины так пусто в ее каморке: в сундуке, у постели, лежат только два куска полотна, что напряла и выткала она своими руками? Из добра у Ярины есть несколько сорочек, сапожки и платно носит она, пока не износятся, еще есть у нее платно — подарок княгини, в котором служит она князьям в трапезной.

И не о том горевала теперь ключница Ярина, не о том жалела, что ничего у нее нет. Ей, старой и немощной, показалось в этот вечер, что отняли у нее душу.

## 4

Ночь. Гора спит. На стенах раздаются шаги, тихие голоса — здесь стоит стража, охраняет город, не смыкает глаз. А в теремах бояр и воевод, в хижинах у городских стен темно, тихо — там бродит сон.

Как красные угольки, горят только несколько окон в княжеском тереме. Одно освещенное окно смотрит на Днепр,— там вырисовывается чья-то тень, она то покачнется, то снова вытянется и застынет надолго.

Это стоит у окна княгиня Ольга. Едва стемнело, она легла, долго лежала в темноте, старалась уснуть, но желанный покой не шел к ней, мысли мешали отдохнуть.

Вот она и зажгла свечу на столе, стоит у окна, смотрит на ночной Киев, на темную Гору, стены, звезды, что мерцают вверху и серебряными блестками отражаются в днепровском плесе, смотрит на далекие серые луга и берега.

Почему же в этот поздний час, когда все вокруг отдыхает, не спит княгиня Ольга? Встревожила ее весть о печенегах в поле? Или испугали слова купцов о новой крепости на Дону? Или, может, ей просто, как одинокой вдовице, тоскливо и неспокойно в эту душную, теплую ночь: тело горит, а ложе холодно — и рядом чудятся тихие слова и дыхание...

Да нет, другое мучит, другое не дает уснуть княгине. Давно, когда мужа ее Игоря убили на земле Древлянской, долго не могла она спать по ночам, все ждала, что он придет. И даже когда убедилась, что не придет, все думала о нем, вспоминала, тосковала. Но все это было давно, уже сыновья ее подрастают, в них вся любовь и душа княгини.

Не нова для нее и весть про печенегов в поле. Сколько живет Киев, стоит он на этой высокой горе, как богатырь, на страже земель. Много орд проходило мимо него, были и такие, что пытались взобраться на его стены, но все они рассыпались, как песок на днепровском берегу. Не страшны Киеву и печенеги, что бродят, как псы, со своими улусами в поле.

Думает княгиня и о крепости Саркел на Дону. Не впервые

уже стыкаются на пути к Джурджанскому морю ее купцы с грабителями и убийцами. Темен и грозен восток, страшны просторы за Итиль-рекою. Что же, теперь она пошлет послов к хозарскому кагану, подрастут сыновья — пусть уж они поквитаются с каганами.

Понимает княгиня и то, какой урон наносит Руси Византия, понимает, что это она окружает Русь своими крепостями, насылает на нее то хозар, то печенегов. Был бы жив князь Игорь, он давно пошел бы на Византию, как ходил в давние времена, еще раз прибил бы свой щит на вратах Царьграда.

Но княгиня больше всего боится войны. Уж сколько лет мирно правит она своими землями, уж сколько лет не знает Русь брани. Зовут воеводы идти на печенегов, гнать их с поля, выступать на Саркел. Воевода Свенельд не раз говорил, что мир для Руси страшнее брани, что на окраинах своих и в поле проливает Русь больше крови, чем на брани, что подползает к Руси Византия.

Да разве княгиня сама не знает, сколько зла терпит Русская земля от печенегов и хозар, разве не видит, как день изо дня льется горячая кровь ее людей? И все же ей кажется, что даже самый тяжкий мир ради покоя родной земли лучше, чем смерть на брани, что лучше платить дань хозарам, чем воевать с ними, что лучше с великим трудом торговать с греками, чем идти на них с оружием.

И не зря говорила сегодня княгиня, что сама поедет в Царьград. Труден, далек и опасен путь Днепром и морем до Константинополя, но она уже давно собирается туда поехать, хочет говорить с императорами.

Неужели же они не знают и не понимают, как велика, богата и сильна Русь, неужели им выгодно точить против нее оружие, вместо того чтобы жить в мире, любви и дружбе? Княгине Ольге кажется, что если она побывает в Константинополе, то обо всем договорится с императорами, и добро и тишина придут на Русскую землю.

Другое тревожит княгиню Ольгу в этот час, когда так тихо вокруг, когда спят Гора, предградье и Подол. Она почему-то вспоминает прошедший день, утро, перед нею все время стоит перекошенное, искаженное страхом лицо смерда Векши, ей чудится его последний вопль: «Княгиня, помилуй!»

И думает княгиня о том, что Векша не один, каждый день в терем ее ведут и волокут связанных людей, требуют от нее суда и правды...

Княжий суд нужен. Испокон веку сюда, на княжий двор или в палаты терема, приходили люди, просили суда и правды, и княгиню это не удивляло: ведь даже тучи враждуют между собой, а людей множество, не могут они жить в полном согла-

сии друг с другом. Князь один, ему надлежит чинить суд и правду.

Княгиня Ольга вспоминает покойного своего мужа Игоря. Когда он творил суд и правду, она сидела рядом с ним, слушала и смотрела, как он правит землею.

Князь Игорь был мудр и смел. Княгиня Ольга помнит, как решительно и безжалостно судил он того дружинника, что показывал спину врагу; карал мужей, которые бесчестили друг друга мечом, топором или просто рукоприкладством; он судил и карал, если девицу умыкали не по любви, если сын не корился отцу, если муж из одного рода убивал мужа из другого рода. За смерть карал смертью. И когда княгиня Ольга брала на себя княжество, она хорошо знала суровый старый обычай и говорила себе: «Сел еси на стол, судяй правду...»

Но что есть правда и как творить суд, если все больше и больше волокут к княжьему двору людей, если льется кровь на просторах Руси, да и в самом стольном городе Киеве?!

Почему же льется кровь, что заставляет одного мужа поднимать меч на другого, брата — убивать брата, сына — поносить отца? Может, не умеют они поделить славу, добытую на поле брани, может, как и прежде бывало, каждый из них защищает честь свою, честь брата, сестры и рода, как это испокон веку бывало на Русской земле?

Нет, это вовсе не то, что бывало прежде на Руси, это не то, что водилось при прежних князьях, что установлено древним обычаем. Слава? О, тот, кто стяжал славу, знает, как ее сберечь! Честь? И ее русские люди, кто бы ни посягнул, сумеют защитить. Не из-за чести своей и не ради славы идут ныне на княжий суд люди. Один перепахал межу или перетесал в лесу знак, другой взломал житницу и уволок мех ржи, третий взял чужого коня, забрал оружие, порты, четвертый убил огнищанина, княжьего тиуна или посадника — всюду татьба и разбой, везде кровь и смерть. Временами княгиня Ольга ужасается: что же это сталось ныне на Руси? Спорят между собою земли, города, села, все люди! Куда, куда идет Русь?

Впрочем, княгиня Ольга понимает, что это не так. Не земли ссорятся между собою, а князья этих земель, не города с городами, а воеводы с воеводами и бояре с боярами. И это вовсе не татьба и не разбой. Каждый из них сумеет взять свое, каждый из них сумеет получить, что ему нужно, и от князя.

Нет, татьбу и разбой чинят иные люди — рядовичи, закупы, смерды, холопы и всякий черный рабочий люд; это они залезают в житницы воевод и бояр, это они перепахивают межи, жгут и перетесывают знаки на деревьях в лесах.

А разве не слышит княгиня Ольга непрестанно, что черные люди чинят татьбу и разбой уже и на ее дворах, перепахивают межи ее земель, уничтожают знаки в ее лесах, снимают птицу

на княжьих перевесищах, тайком бьют бобра на ее гонах, зверя в лесах, ловят рыбу в княжьих реках?

Княгиня понимает, что на Руси сталось то, чего раньше не бывало. Была когда-то у воевод и бояр честь — теперь борются за земли, леса и реки; берегли когда-то славу, а теперь берегут свою казну и межевые знаки; имели дружины — теперь хотят иметь как можно больше холопов. Да и сами честь и слава как будто изменились. Гордились когда-то люди подвигами ратными и шрамами от ран, ныне гордятся добром своим и достатками.

Княгиня вздрагивает. А не она ли сама в том повинна? Испокон веку была Русь, испокон веку были князья в племенах ее, испокон веку берегли князья границы земли, брали тяжкую дань с людей, но и платили за нее собственной кровью.

«Но ведь,— думает княгиня Ольга,— Русь не могла жить так, как жила допреже, тяжкая дань с племен и родов была погибелью для Руси, муж мой Игорь из-за этой дани погиб...»

Всю свою жизнь княгиня Ольга наводила порядок на Руси, старалась, чтобы была она единой и непоколебимой, чтобы Киев-град был сердцем всех земель, а в каждой земле был свой град; думала она и о том, чтобы облегчить людям жизнь. Разбила земли, установила волости и погосты, каждому дала урок и устав.

Сделать это было нелегко. Сколько лет прошло! Княгиня Ольга была так молода, когда шла во главе дружины отомстить за мужа Игоря и примучить к Киевскому престолу древлян, в лютую зимнюю стужу объехала она на санях всю землю до Верхнего Волока, дошла до Вятской земли, устояла Русскую землю — вот и прошли года, старость уже стоит на пороге.

Почему же эта земля ныне неспокойна? Ольга, кажется, делала все как следует, хотела покоя для Русской земли, добра людям и достигла своего. Почему же Русь идет на суд, где та правда, которой ищет княгиня?

Внезапно она прерывает свои мысли, вздрагивает, впивается руками в подлокотники. Нет, она не ошиблась, откуда-то издалека, со склонов предградья, а может, и с берега Днепра, доносится крик человека. Крик этот летит издалека, но, кажется, звучит совсем близко, у самого терема.

«Княгиня, помилуй!» — чудится Ольге, и она стоит, напряженно вслушиваясь: что же будет дальше?

Но крик больше не повторяется; возникнув вдалеке, он там и замирает.

— Что это? Что это? — шепчет княгиня.

«Неужели это смерд Векша?» Ночь темная, час поздний, в такое время ее гридни вершат суд...

Она молится и не слышит, как тихо открывается дверь светлицы и кто-то останавливается на пороге. Это священник Григорий. Он живет тут же, в тереме, внизу, ибо опасно христианскому священнику находиться там, где его храм,— у ручья на Подоле. Да и княгиня часто кличет его к себе на беседу.

Вот и сейчас пришел он, в черной рясе, с Евангелием в руке, стоит на пороге, смотрит на княгиню, что упала на колени перед образом Христа, и усмешка пробегает по его бледному лицу.

— Кто это? — отрывает голову от пола и поворачивается к священнику княгиня Ольга.

— Это я пришел к тебе,— тихим голосом отвечает он.— Ты ведь меня звала?

— Да, я тебя звала. Сядь, отче.

Княгиня встает, устало садится в кресло, недалеко от нее на лавку садится священник. Теперь он видит, что княгиня очень взволнована. Об этом говорят бледное лицо, горящие глаза, сжатые губы.

— Княгиня молилась, и это хорошо,— начинает священник.— Но почему ныне княгиня неспокойна?

— Мне страшно, отче.

— Почему?

Она смотрит за окно, где тихо колышутся ветви деревьев, и медленно говорит:

— Вижу я вокруг великую землю, много племен и родов, что прожили несчетное число веков, одолели врагов, построили города...

— Ты речешь правду, княгиня,— соглашается, кивая седой головой, священник.— Велика Русская земля, сильна, непобедима.

— Немало трудов,— продолжает она,— положили предки мои, князья, чтобы объединить племена и роды, отразить врагов: везде знают ныне Киев и Русь.

— И ты, княгиня, немало содеяла,— добавляет священник.— Устрояя Русь, ты быша для нее, аки денница перед солнцем, сияша, аки месяц в ночи.

Она смотрит на него широко открытыми глазами, в которых играет отсвет свечи, берет за руку и спрашивает:

— Что же творится ныне? Откуда этот мутный поток, который грязнит чистую воду нашу? Откуда ветер, сбивающий спелое жито?

— О чем ты говоришь, княгиня?

Княгиня всплескивает руками, а потом прикладывает их к сердцу.

— Когда-то люди мои жили родами своими, и в каждом году были тишина и мир, когда-то роды наши были едины в племени своем, а племена стояли только перед врагом и богом.

— Мир неизменен, княгиня,— отгадав ход ее мыслей, отвечает священник,— мы только иными очами зрим и видим его.

— Нет, отче,— перебивает его княгиня,— мир меняется, он изменился, ибо муж идет на мужа, сын на отца, брат на брата, а черные люди — на бояр, воевод, и не только на них, а и на князей. Отче, что же сталось?

— Мир неизменен, княгиня,— еще раз говорит священник,— всегда брат шел на брата, и Каин первый убил брата своего Авеля; всегда были князья и черные люди, ибо есть на земле месяц, а есть и звезды; всегда были богатые и убогие; один бог богат, а все мы — нищие люди.

— Но где мой бог? — тихо шепчет княгиня.— На моих глазах приносят жертву и поклоняются Перуну, а я после этого иду и молюсь Христу.

— Не суть важно то, каким ликам поклоняется человек, важно, какого бога исповедует он в душе своей.

— Слушай, отче,— говорит княгиня,— я верю в Христа и ему одному молюсь, но что делать мне, когда он мне велит: «Не убий»,— а бояре и воеводы мои говорят, что аще убьет муж мужа, то мстит брату брат, сыну — отец, отцу — сын? Христос велит: «Не убий»,— а я, творя суд над теми, что чинят татьбу и разбой, перепахивают межи и уничтожают знаки, велю убивать их, во пса место.

— Христос говорит: «Не убий»,— но он венчает за добро и прощает каждого, кто сотворил зло.

— И убийство прощает? — жадно спрашивает княгиня.

— Прощает, если оно несет добро людям.

— Так что же такое добро и зло?

Священник долго не отвечает и, сложив руки на груди, смотрит на усыпанное звездами небо, на ветви деревьев, что колышутся за окном.

— Добро и зло существуют на свете,— произносит он,— от века и буду жить также до века, ибо есть бог, но есть и диавол, ибо добро — власть, богатство — от бога, а зло — от диавола.

— А богатства земные? — спрашивает княгиня.

— От бога,— отвечает священник.— Все от бога: князю — венец, слава и честь, воеводе — свое, боярину — свое, и черные люди сотворены такожде богом. И почему это тревожит тебя, княгиня? По делам его каждому воздаст бог.

Княгиня Ольга смотрит на образ Христа, перед которым горит свеча, и в глазах ее появляется кротость и покорность.

— Молись, княгиня,— слышит она тихий, но властный голос священника.

Она становится на колени.

— Молись,— говорит священник.— Он защитит тебя и защитит Русь.

Княгиня Ольга начинает бить поклоны.

— И окрести их,— долетают до нее слова пастыря.— Приведи их к богу истинному, пусть он защитит богатого и убогого, перед его судом все равны.

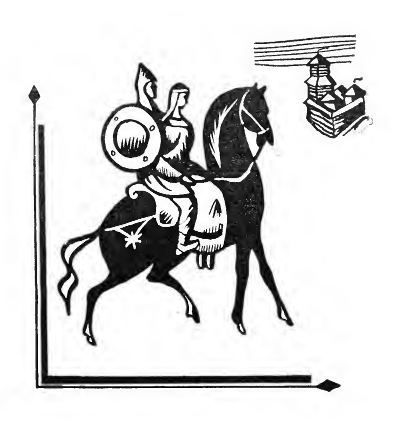
— Не могу,— отрывает она голову от холодного пола.— Сама я уже христианка, верую в отца, сына, святого духа.

— И вокруг тебя много христиан,— говорит священник.— Уже сто лет в Киеве стоит, как звезда над миром, наша христианская церковь. Тут почиет митрополит Михаил, который прибыл сюда из Болгарии. Есть церковь наша и в Новгороде.

— Ведаю,— смотрит Ольга на образ Христа,— и знаю, что идет Христос по Руси, но повергнуть кумиры и крестить моих людей не могу, ибо несть числа тем, кто живет в старой вере, хочет старых обычаев. Боюсь я их.

— Молись за то, чтобы сияние Христовой веры скорее снизошло на них. Ты много сотворила, княгиня, утверждая власть на земле. Утверди же и веру их в бога. Молись, молись, княгиня,— говорит священник, и лицо его сурово.

Он сам становится рядом с нею на колени. За окном мерцают звезды; близко, словно стараясь заглянуть в княжескую светлицу, колышутся ветви; перед иконой горит и оплывает крупными каплями свеча.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Внук Анта Добрыня служил гриднем в дружине киевской княгини. От земляков-любечан, которые часто приезжали в Киев, он скоро узнал о смерти старейшины-деда и только ждал случая, чтобы побывать дома.

Случай этот представился очень скоро. В землях дальних полными властелинами были и взимали уроки с людей князья, поставленные Киевом. Они брали себе свое, часть отсылали в Киев. В близких же землях — Полянской, Древлянской, Северской — урок брали как местные князья, так и княгиня Ольга: над Днепром и Десною в поле, в лесах стояли ее знаки, были свои княжьи дворы, куда она посылала собирать уроки мужей с дружинами. С одной из таких дружин и отправился в город Остер Добрыня, а там отпросился у сотенного и очутился в Любече.

В лодии, на которой купцы из Киева ехали в далекий Новгород, приближался взволнованный Добрыня к Любечу, где он родился, провел юные годы, где прожил свою жизнь его дед Ант, где оставались родители его и сестра Малуша.

Издалека увидел он дымки над берегами Днепра, узнал горы, кручи, леса, которые исходил вдоль и поперек, а позже увидел и темное пятно над обрывом — жилище в родном дворе.

Как только лодия зарылась носом в песок, Добрыня соскочил на берег. Купцы поплыли дальше, а он взбежал на крутой берег и пошел через луг, направляясь к городищу.

Никто не вышел из землянки навстречу Добрыне, настежь были раскрыты ворота в загоне, даже пса не было видно на дворе. Только конь, низко повесив голову, стоял на старом валу, словно о чем-то упорно думал.

Добрыня торопливо пробежал по двору, рывком распахнул дверь, вошел в землянку.

— Гей, кто тут есть? — крикнул он в полутьму.

— А кого ты ищешь, добрый человек? — отозвался голос из глубины.

Посреди землянки еле-еле тлел очаг. При его слабом свете Добрыня разглядел знакомый помост, человека, лежавшего головой к огню, бородатое его лицо, заспанные, какие-то равнодушные глаза.

— Я — Добрыня! — крикнул он.

— Сын! — закричал тогда и Микула.— А я думал, это Бразд или Сварг.

Отец поднялся с помоста. Добрыня увидел Висту, спавшую там же, и Малушу. Они проснулись, вскочили, подбежали к нему.

— А почему ты ждал Бразда или Сварга, отец?

Микула безнадежно махнул рукой:

— Погоди, сын, расскажу! Все расскажу! Вот давай сядем к нашему очагу и поговорим. А ты, Виста,— обратился он к жене,— приготовь нам поесть, принеси меду. Там, в медуше, осталась еще одна корчага.

Но ни Виста, ни Малуша не слышали, что говорил Микула. Мать и дочь одинаково восхищенным взглядом смотрели на сына и брата своего Добрыню, касались руками его белой свиты с серебряными застежками, широкого пояса, меча... Только когда все было ими осмотрено, Виста бросилась готовить еду. Малуша же не отходила от брата, а когда он сел, устроилась с ним рядом.

— Вот и не стало отца Анта,— начал Микула, подбрасывая дров в очаг.— Пошел на ловы, а нашел стрелу от печенега в поле.

— Похоронили его по закону? Тризну справили?

— Да, Добрыня, похоронили его как следует. Вышел весь

Любеч, весь род... И тризну справили. А после тризны меня едва не убили.

— Кто?

— Братья мои — Бразд и Сварг.

— За что?

— А вот за это.— Он развел широко руками, показывая на стены, помост и очаг.— Когда окончилась тризна и все ушли, тут, возле очага, остались Сварг, Бразд и я. И они сказали, что мы должны поделить все достатки после отца, и поделили, а потом стали требовать у меня золота, серебра и чуть не убили...

— И ты им все отдал?

— Все отдал... У рода нашего и вправду было немало добра: возы, плуги, бороны, кузнь, корчаги, горнцы,— я все отдал братьям. Только золота и серебра давно уж не было у нашего рода.

— А себе что взял?

— Ого,— ответил отец,— и мне много осталось: землянка вот, клети, житница, медуша, загон для скота... Еще и оружие отцовское осталось. Возьми его себе, Добрыня. Для тебя берег.

Добрыня посмотрел на оружие деда Анта, висевшее на колышках на стене, и усмешка тронула его уста. Это было очень старое оружие, с ним ходили на врагов его предки — Ант, Улеб, Воик. Простой, клепанный из железа шлем с невысокой тульей, куда обычно вставлялось перо кречета, без всяких украшений, без забрала,— а на Добрыне был кованный из меди высокий шлем с острой тульей, с несколькими камнями-самоцветами, украшенный серебром по венцу, с забралом и длинными бармами; перед ним висел деревянный, обтянутый грубой кожей щит, а у Добрыни щит был тоже медный; дедовский меч был однобокий, короткий, новый же меч Добрыни был гораздо длиннее, обоюдоострый, с красным камнем на рукояти.

— Спасибо, отец! — ответил Добрыня.— Но сам видишь, у меня оружие лучше, княжье. Пусть дедовское остается тебе, может, пригодится.

— Как же не пригодится,— задумался Микула.— Оружие в доме иметь нужно.

— О другом я думаю, отец,— продолжал Добрыня.— Обокрали ведь тебя братья твои, все забрали.

— Может, и так,— вздохнул Микула.— «Отень двор, говорили, тебе...» Вот он... Все словно есть — и ничего нет. В клетях пусто, в житницах пищат мыши, коня отчего мне оставили, да и он больше лежит, чем стоит.

— Так, может, мне пойти к Бразду и Сваргу?

— Не надо, сын! Просить? Зачем? Они взяли свое... по покону.

— Так чем же я могу помочь тебе? — спросил Добрыня.

— А зачем мне помогать? — ответил и даже засмеялся Микула.— Куда ходят мой топор и рало, там я еще хозяин. Руки у меня есть, добрые руки и у Висты.

— Мы проживем, сын,— подтвердила мать.

— Вот только Малушу жаль,— задумчиво сказал отец.— Если бы все было как раньше, мы бы могли приготовить ей посаг, умыкнул бы девушку кто-нибудь из нашего рода. А так... ну что же, нет посага — так руки есть, где мы будем, там и она.

Малуша, сидевшая рядом с братом и медленно глотавшая похлебку, не могла понять всего, что говорилось о ней. Она понимала только одно — ей желают добра.

Но у Добрыни, который смотрел внимательно на сестру и любовался ею, щемило сердце: ведь в самом деле ждет ее здесь, в Любече, злая доля, и девичья краса ни к чему, если посага нет.

И потому, что мед слегка ударил Добрыне в голову и ему очень хотелось сделать доброе для сестры, он сказал:

— А что если я заберу Малку в город?

— Что ты говоришь, сын? — даже не понял сразу отец.

— Говорю, что хочу забрать Малушу в Киев. Поедешь со мной в Киев, Малка? — обратился он к сестре.

Она отложила ложку в сторону и посмотрела на Добрыню своими большими глазами. Теперь она поняла, о чем идет речь,— Добрыня спрашивает, согласна ли она поехать в Киев.

Ответить на этот вопрос девушке было нелегко, она привыкла делать только то, что велят старшие, и теперь она повернулась к отцу, посмотрела ему в глаза.

— Ну, Малка,— подбодрил ее тот,— думай сама, что делать. Хочешь в Киев?

— Хочу...— тихо ответила Малуша.

— Так и сделаем,— сказал Добрыня.— Пойдем к Днепру, сядем на какую-нибудь лодию, поедем в Киев-град, остановимся на Почайне. А там... Покажу тебе Подол, Гору, где живет княгиня Ольга с княжичами, где стоят терема с золотыми верхами, а на стенах — вои со знаменами, а медные била бьют и бьют... И такие руки, как у тебя, пригодятся — боярыней не станешь, а на боярский двор возьмут...

Как чудесную сказку, слушали Микула, Виста и Малуша рассказ о городе Киеве и долго еще могли бы слушать, да у Добрыни не хватило умения продолжать и он закончил:

— Собирайся же, Малуша... Завтра утром поедем.

Ночью Малуша долго не могла заснуть и все думала о том, что несет ей грядущий день. Она все еще не верила, что Добрыня сказал правду, что встанет солнце и она сядет в лодию, поплывет в Киев.

Но, должно быть, все это правда. В землянке тлеет очаг, его красноватый огонь освещает стены, помост, на котором спят отец с матерью. А вон лежит на лавке Добрыня, рядом с ним у стены блестят щит, копье... Около Малуши лежит маленький узелок: мать собрала, завязала в убрус несколько пряслиц — Малуше придется работать, а умеет она только прясть да ткать; положила оберегу — маленькую фигурку голой женщины с длинными руками и пухлым животом (это Роженица, богиня женщин их рода, она защитит, обережет Малушу), да еще положила харчей. Что, кроме всего этого, могла дать мать? Узелок Малуша на ночь положила около себя, придерживала его рукой — так больше верилось, что она поедет...

Съежившись в уголке лодии, чтобы не мешать гребцам, Малуша думала о том, что ждет ее впереди, но не могла себе представить. Едет Добрыня, взял ее с собою, а дальше что будет?..

А Добрыня, красуясь, встал на руль, гребцы подняли весла, любечане, войдя в воду, оттолкнули нагруженную до краев лодию. Она двинулась, разрезая острым носом голубоватый плес, оставляя позади себя рябой, похожий на серебряную чешую, след.

Малуша с тревогой смотрела, как быстро убегает от лодии берег, как уменьшаются и уменьшаются на нем фигуры любечан. Еще раз донеслось до нее эхо прощального крика, а потом с обеих сторон раскинулся простор Днепра, ровное лоно, над которым в голубой высоте плыли, как лодии, белые облака с розовыми надутыми ветрилами. И Малуша все время смотрела из своего уголка на мир, открывавшийся перед нею. Раньше она подобного не видела, знала только свое село, кручи у городища над Днепром, каждое дерево и кустик на них. Там, казалось ей, и кончается свет, она даже не задумывалась: что же может быть дальше?

А тут они плыли день, два, три, и Малуша от восхода до захода солнца с восторгом смотрела на берега, лентой расстилавшиеся перед нею, на городища, которые величаво возникали вдали, проплывали и оставались позади, на лодии киевских купцов, встречавшиеся им на водном пути.

И даже когда вечерело, она долго не засыпала, а сидела в своем уголке, смотрела на небо, где сияли несчетные звезды, на таинственный темный плес, на берега, казавшиеся ночью высокими, страшными, и на одинокие огоньки, блуждавшие в далеком поле.

Все ближе и ближе был Киев. Однажды на рассвете она увидела на горе, на правом берегу, большой город — с высокими стенами, башнями, а внизу, под горой,— сотни лодий. Это был Вышгород.

За Вышгородом Днепр круто поворачивал налево. Тут на стрежне сходились ветры с Днепра и Десны, бурлила черторями вода, и лодия, разрезая их, зарывалась носом в высокую волну, а за ней оставался покрытый пеной, похожий на борозду след.

Но сразу же за стрежнем, где Днепр, вобрав воды Десны, поворачивал направо, ветер затих, поверхность Днепра стала голубой, в ней отразились леса, поемные луга над речкой Почайной, вливавшейся в Днепр, высокие горы, и на них — город Киев.

Малуша словно завороженная смотрела вдаль. Там на голубом небе выступали все более четко три горы, от вершин до Днепра и Почайны покрытые лесом. Во многих местах эти леса на склонах были уже вырублены или выжжены, и повсюду чернели пашни и жилища людей. Больше всего среди вырубленного леса стояло жилищ на средней, самой высокой горе. Там и находился Киев.

С лодии видна была вершина, где высились сложенные из бревен стены Горы — со многими башнями, заборолами, воротами, рвами и валами, с острым частоколом перед ними. За стенами, освещенные лучами солнца, которое все выше и выше поднималось над Днепром, переливались золотом крыши княжеских теремов.

Ниже, окружая город кольцом, лепились к его стенам, словно пиявки, черные дворища бояр, которым не хватало места на Горе. На этих дворищах стояло множество хижин дворовых людей — ремесленников, холопов, рабов. Еще ниже разбросаны были, как ласточкины гнезда, хибарки и землянки простого люда — чади. Это место так и называлось — предградье. За ним горы круто обрывались над Днепром, среди оврагов тянулось несколько дорог к Почайне, а один, самый крутой, спуск шел к Днепру, ниже устья Почайны.

Внизу, на самой Почайне, на Подоле, опять громоздились хижины, землянки, шатры; на холме высился деревянный Волос; у берега, в заливах, стояли с опущенными ветрилами лодии и долбленые челны киевлян. От этого же места тяжелые паромы ходили к левому берегу, где начинался и исчезал в лесах гостинец — путь, по которому отправлялись на конях в дальние земли купцы из Киева и прибывали сюда чужие люди — заморские гости.

## 2

Едва лодии стали у желтых круч Почайны, как туда прибежали купцы, подъехали возы, началась купля, все торопились на торг. На берегу стоял гомон, ржали лошади, от множества людских ног облаками вздымалась пыль. Вскоре нагруженные возы один за другим начали подниматься в гору.

Добрыня ждал, пока все это закончится, но даже и тогда, когда купцы и возы исчезли, не пошел вслед за ними, а вышел на берег и долго там стоял, задумчивый, встревоженный.

Только теперь он понял, что в Киеве все будет не так уж просто, как казалось ему издалека, дома, в Любече. Приехал бы он в Киев один, как прежде, не о чем было бы и думать: вот Подол, вон Гора, все ворота для него открыты. С лодии сошел — попал в гридницу. А там уже припасены для него и веприна, и конина, и, как водится, кружка меда.

Но ведь он приехал не один, с ним Малуша. Она сидит, завернувшись в рядно, на корме, притихла, молчит, испуганными глазами смотрит на Почайну, на берег. Что с нею делать? Ведь на Гору, на княжий двор, никому не известную девушку не пустят.

Впрочем, долго думать не приходилось. Он должен был что-то делать, да поскорее, пока на наступил вечер и на Горе не опустили мост и не заперли ворота.

— Ты посиди здесь,— сказал он Малуше,— а я пойду, все разведаю и вернусь.

— Я посижу и подожду,— ответила девушка и, чтобы брат не беспокоился, даже улыбнулась.

Когда Добрыня зашагал по круче и исчез, ей стало страшно. Она так закуталась в дерюгу, что видны были только бледный лоб и необычайно большие глаза, и стала похожа на птичку, которая, почуяв опасность, сжалась, прячется в своем гнезде.

Добрыня вернулся не скоро и совсем не так, как представляла себе Малуша. Она думала, что он явится таким же, каким плыл с нею в лодии,— обычным, простым. Ан глядь — по склону конь застучал копытами, на коне сидит не то князь, не то воевода. Она хотела поскорее закрыться дерюгой, а всадник окликает ее:

— Малуша! Малка!

Только тогда она узнала, что сидит на коне ее брат, Добрыня, со щитом в левой руке, с копьем — в правой, словно богатырь, о котором рассказывала мать.

Малуша сразу же ласточкой выпорхнула из лодии. Хорошо еще, что узелок — материнский подарок — не забыла взять. Остановилась поодаль от коня, ждет, что будет дальше.

А Добрыня ей говорит:

— Лезь ко мне!

— Куда?

— А вот сюда, в седло...

Еще и руку подал.

Малуше это было не впервой (она вскакивала в Любече и на неоседланного коня) — уцепилась за стремя, потом за руку Добрыни и словно приросла к луке седла впереди брата.

Добрыня тронул коня, они поехали, и тогда Малуша увидела гораздо больше, чем из лодки. Некоторое время они ехали низиной — по Оболони, где там и сям стояли убогие хижины и землянки, а справа и слева росли за частоколом различные овощи. Это были, как пояснил Добрыня, княжеские огороды. Потом они внезапно нырнули в огромную толпу людей,— собравшись вокруг высокого деревянного идола, перед которым горел огонь, все кричали, спорили, размахивали руками.

— Не бойся,— сказал Добрыня,— это торг, а вон стоит бог Волос.

И Малуша долго оглядывалась на многоголосый торг и освещенного огнем бога, который серебряными блестящими глазами смотрел на Подол, Почайну и, как показалось Малуше, посмотрел и на нее.

Когда же Малуша оторвала взгляд от торга и бога, то заметила, что они уже поднимаются гористой дорогой и что впереди совсем близко видна Гора, а на ее вершине — стены, ворота, мост.

Но, кроме этого, Малуша так и не успела ничего разглядеть, потому что Добрыня вдруг закрыл ее щитом и сказал при этом:

— Так под щитом и сиди, потом уже все увидишь.

Вот почему случилось, что Малуша попала на Гору, не увидев того, что хотела повидать, и не понимая, что затеял и что делает ее брат. Она поняла, что ей почему-то надо прятаться, съежилась, как зверек, за щитом и только видела руку Добрыни, которой он придерживал щит за ремень, слышала, как тяжело дышит конь, взбираясь на Гору, и как тяжело дышит сам Добрыня.

А Добрыня ехал, горделиво выставив перед собою в левой руке щит, а правой слегка поигрывая копьем. Вот уже копыта коня застучали по мосту, на котором стоит несколько человек из стражи, вот ворота, возле них еще несколько сторожей. Но Добрыня не просчитался, он проделал все, как задумал. Стражи, стоявшие в воротах, только посмотрели, как Добрыня важно восседает на коне и держит щит перед собою, но ничего у него не спросили. Молчали стражи и тогда, когда конь Добрыни въехал в ворота. Сколько тех гридней проезжает через ворота: один — туда, другой — сюда, с Горы едут — кони гарцуют, от Подола поднимаются — кони еле бредут. И ведь каждый гридень везет что-нибудь с собою: один — козу, другой — овцу, третий — пленницу с поля брани. Попробуй поговорить с ними — не перекричишь, хлопот не оберешься, еще и к князю на суд потащат. А князю гридень дороже всех. Другое дело — ремесленник из предградья или купец с Подола. С них можно спросить, можно с них и взять. Для того и стоит в воротах стража — бережет князя с дружиной, да и себя не забывает.

Добрыня остановил коня возле домов сразу же за гридни-

цей. Тут жили его друзья — такие же княжьи гридни, как и Добрыня. И сейчас они, услыхав топот копыт, выскакивали из домов, толпились, смотрели, что это за всадник едет по Горе.

— Да это ведь Добрыня! — выйдя вперед, закричал вдруг один из них — высокий, широкий в плечах, почти голый, в одних только ноговицах детина, которого все прозвали Туром.— Эй, Добрыня, где еси был?

Добрыня ничего не ответил, соскочил с коня и, прислонив к дереву щит, подал обе руки Малуше.

— Правду говорит Тур,— закричали тогда уже несколько гридней,— где это ты побывал, Добрыня, где достал такую девицу красную? У печенегов или у хозар?

Малуша растерянно озиралась. Здоровые, краснощекие, усатые молодцы обступили ее со всех сторон, смеялись, дергали за руки и даже за косы. Совсем смутившись, она отступила, умоляюще поглядывая на брата.

Добрыня стоял молча, насупившись. Он сочувственно посмотрел раз и другой на Малушу, метнул сердитый взгляд на своих друзей-гридней и наконец крикнул:

— Сами вы печенеги, а не гридни! А ты, Тур, что выдумал? Сестра это моя, Малуша, слышите, сестра!

И сразу словно холодным ветром хлестнуло усатых молодцов. Теперь уже они смутились, приумолкли и, словно другими глазами, ласково, тепло посмотрели на девушку.

— Так чего же ты молчал? — сказал наконец тот самый Тур, который заварил всю кашу.— Сказал бы — и все тут...

Но на этом он не кончил, а, широко расставив босые ноги и взявшись руками за бока, добавил:

— Ну, раз уж такая причина вышла, то скажу: сроду не бывало, чтобы жена под щитом въезжала на Гору. Видно, будет тебе, Малуша, тут, на Горе, великая честь и счастье.

В первую ночь после появления Малуши на Горе Добрыня не знал, что с нею делать. Сам он вместе с двадцатью гриднями жил в доме под городской стеной и оставить Малушу там не мог. Гридни — люди простые, выпить и погулять мастера, но, чтобы девушка спала среди них, не бывало. Отвести бы ее в одну из лачуг, где живут со своими семьями ремесленники и кузнецы, но ведь он никого из них не знал. Об этом он и думал, сидя на крылечке у своего жилья. Хорошо, что хоть Малуша этого не понимает, она успела уже обойти весь город, а теперь пошла к требищу, где жрецы приносили вечернюю жертву.

И тут помог ему гридень Тур, тот самый, что недавно насмехался над Малушей, увидев ее под щитом на коне.

Он подошел к Добрыне словно невзначай, постоял, поскреб пятерней волосы, виновато подсел.

— Ты чего невеселый? — начал Тур, глядя на Добрыню.

Добрыня повернулся к Туру, будто хотел проверить, не собирается ли тот снова поиздеваться. Но Тур не шутил — огромный, с копной рыжих волос на голове, с глубокими шрамами на лице, в одной сорочке и ноговицах, он сидел, суровый и тихий, смотрел на солнце, опускавшееся за крыши боярских домов, на голубей, стая которых носилась в небе.

— Не с чего мне быть веселым! — раздраженно сказал Добрыня.— Дома сестре жить невмоготу, как довез ее сюда — не знаю, как обманул стражу — сам дрожу. А тут? Посмеялись надо мною и над сестрою, да и ушли. А мне что с нею делать?

— Ты не обижайся на меня,— сердечно промолвил Тур.— Говорю ведь — не знал, что это твоя сестра, вот и сорвалось слово... Прости меня.

Добрыне стало жаль Тура. И в самом деле, что взять с гридня? Сегодня он пьет и гуляет, завтра, гляди, погибнет. Один раз живешь на свете, один раз помирать; подшучивай, гридень, над людьми, над самим собою смейся,— может, завтра ворон в поле будет каркать над твоей головой.

— Ладно, Тур! — тихо произнес он.— Не винись, и я тебя не виню. А вот что делать с Малушей — не знаю. Она у меня дите, нигде еще не бывала, сама о себе не позаботится, а я куда ее поведу? В гридницу или к нам?

— Нет,— ответил Тур,— в гриднице и у нас ее не положишь: дознается сотенный, скажет тысяцкому, тысяцкий — воеводе, а тогда с нею хоть в прорубь... А ты, Добрыня, не знаешь ли когонибудь из кузнецов или ремесленников?

— Если бы знал...

— И я не знаю,— вздохнул Тур.— А что,— задумался он,— если бы мы положили ее в конюшне, на сене?

— Что ты говоришь, Тур? Туда же днем и ночью ходят все гридни, княжьи слуги.

— Правда, Добрыня,— согласился Тур.— Там сестру заметят и обидеть могут.

Оба замолчали. Добрыня безнадежно смотрел на город, на требище, где загорелся, заплясал длинными огненными языками костер. Тур смотрел на небо, начинавшее темнеть, на голубей, белыми пятнышками висевших в нем.

— А что,— внезапно Тур опустил голову и засмеялся,— если мы положим Малушу у себя...

— У себя? — удивился Добрыня.

— Да нет же,— перебил его Тур,— в доме нельзя, положим ее наверху...

— Где?

— В голубятне.— Тур протянул руку и указал на большую голубятню, которая одним концом опиралась на крышу дома, а другим — на сук старого дуба.— Ведь там, в голубятне, есть

закуток для корма. Зимой туда лазят княжьи стражи, а сейчас никто не полезет, никто Малушу не тронет.

Добрыня задумался. В словах Тура была правда. Тут, на Горе, все очень любили голубей. Сделанные из дерева, прикрытые навесами голубятни стояли на княжеских и боярских теремах. С незапамятных пор была такая голубятня и над их гридницкой, а возле нее — закуток, куда на зиму засыпали для голубей зерно.

Голубей на Горе никто не трогал, не ел, они считались божьими птицами, размножались на воле, стаями летали над зеленой Горой.

— Правда,— согласился Добрыня,— в закутке ей будет хорошо, и сотенный ничего не скажет.

— А что ему говорить? Ведь это не гридница, а голубятня. Днем Малуша сможет погулять, спать будет на голубятне. Принесем ей и поесть и попить... Так ведь, Добрыня?

— Ладно! — согласился Добрыня.— Это ты хорошо придумал. Так и будет!

И Малуша в эту ночь спала в закутке рядом с голубятней. Вечером она поела вместе с братом в гридницкой. Ужин был очень вкусный — похлебка с рыбой, душистый хлеб. Рыжий гридень Тур дал ей несколько чудесных цареградских рожков, каких она сроду не видела. Когда же совсем стемнело, брат Добрыня подставил ей плечо, помог забраться в закуток у голубятни.

— Тут, Малка, и спи! Голуби — они чистые, смирные!

— А я не боюсь... С ними еще лучше.

Чего ей было бояться? В закутке было тихо, тепло; через раскрытое окошко виден был клочок неба и несколько звездочек; где-то близко за стеной ворковали и хлопали крыльями старые голуби, тихо пищали голубята. Она была довольна и счастлива, потому что за длинный день увидела столько, сколько не видела за всю свою жизнь, потому что очутилась в городе Киеве, почувствовала доброту гридней. Малуша скоро уснула.

Спали и гридни в доме под голубятней. Тут, в деревянном городе, повсюду, кроме княжеских теремов, было запрещено жечь ночью огонь: много раз случалось, что от малой искры вспыхивал и бушевал большой пожар. В городе все ложились спать, как только сумерки спускались на Гору, а если кто и делал что-нибудь, то в темноте, на ощупь. Стража на городских стенах всю ночь охраняла валы и одновременно следила, чтобы никто не жег огня. Просыпался город рано, до восхода солнца. В хижине под голубятней гридни спали крепко.

Не спал только один из них. Он долго лежал на деревянной лавке с открытыми глазами, потом поднялся, встал, осторожно вышел, стараясь не зацепить ничего, и сел на завалинке.

Рыжий, веселый Тур сейчас был грустен. Склонив голову на грудь, положив руки на колени, сидел он на завалинке, молчаливый, тихий, задумчивый.

Гридень думал о том, как он пришел на Гору еще при князе Игоре. Служил в его дружине, ходил с князем на древлян, сражался с обрами, черными клобуками, печенегами в поле, был изранен мечами. Один печенег рассек ему мечом лоб — на весь век помечен шрамом гридень Тур...

Это была бурная, веселая жизнь. Сегодня пей, гридень, гуляй, завтра, может, забелеют твои кости в диком поле. Так живут гридни, вои, вся княжеская дружина, так жил и гридень Тур.

И вот гридень Тур задумался. В ночной час вспомнил он далекое село над рекою Десною, возле города Остра, вспомнил отца с матерью, двух братьев и сестру...

Скорбь охватила Тура. Отец его был давнего, славного рода — кто в Остре не знает Туров! Но не было у отца ни славы, ни богатства. Обнищал, взял купу у боярина Кожемы, не смог выплатить и стал холопом княжьим, а однажды весной, когда рубили и сплавляли по воде лес, попал под колоду, утонул в Десне.

За ним ушли все — мать, сестра, оба брата. Все они умерли, когда после лютой зимы докатился до Остра мор. Только он, младший из Туров, выздоровел, оправился, выжил.

Так и попал он в Киев, в княжескую дружину. В селе под Остром, где всю землю захватил Кожема и другие бояре, и воеводы, Тур, должно быть, пропал бы. В княжеской дружине его кормили, одевали, тут, на Горе, у него была крыша над головой, лавка, чтобы поспать. Пей, гридень, веселись,— может, не скоро еще стрела пронзит твою грудь, а меч рассечет череп!

«А если,— подумал Тур,— стрела не догонит и меч не возьмет, тогда что?»

И в самом деле, пока он еще молод и здоров, он нужен в княжеской дружине, а когда не станет у Тура сил, тогда что? Пожалованье, как водится. За верную службу могут дать гридню клок земли в диком поле. Пока гридень был молод — стерег князя в городе, стар стал — береги его поле.

«Нет,— продолжал думать Тур,— так жить нельзя, надо иначе!»

И еще задумался гридень Тур над тем, почему же именно в эту ночь пришли ему в голову такие мысли, почему ему не спится?

Тур встал с завалинки, отошел немного, увидел в ночной полутьме голубятню на крыше, представил себе, как спит там девушка Малуша.

Вот почему не спится Туру. Эта девушка с карими глазами сильно взволновала его. Она напомнила ему прошедшие годы,

отца, мать, братьев, сестру. Она, пожалуй, даже похожа на его сестру Веселку... Так-так, она очень похожа на нее...

Но не только похожа. Когда Тур думал о том, что она лежит там, в голубятне, тихо дышит во сне, у него сильно билось сердце. Ему хотелось бы сесть возле нее, взять ее за руку, сказать ей сердечное, теплое, ласковое слово.

Нет, не знал гридень Тур, что сталось с ним. Откуда это нашло на него, почему ему захотелось теперь жить и любить?

### 3

Ключница Ярина не забыла того, что ей сказала княгиня, и часто думала: кого же ей взять себе на подмогу, кого доведется ввести в княжескую трапезную?

И хотя под началом у Ярины было много дворовых девушек, остановиться она не могла ни на ком: одна неповоротлива, другая дерзка, третья лицом некрасива, а таких князья не любили.

Ярина часто присматривалась к Пракседе. Она была лучше всех дворовых девушек. Переяславка, стройная, видная собой, с высоким лбом, большими темными глазами — красавица!

Но не все в Пракседе нравилось Ярине. У ключницы был зоркий глаз, и, хотя Пракседа прикидывалась тихой и кроткой, Ярина не раз замечала, что Пракседа часто ссорится с другими дворовыми. Видела ее Ярина и в гневе, когда в глазах ее пылала месть, губы были закушены до крови; она была зла, яростна, несдержанна. Очень красивая девушка переяславка Пракседа, но Ярина боялась ввести ее в княжескую трапезную.

Тем временем и сама Ярина почувствовала себя лучше, болезнь и слабость прошли, работала она хорошо. Княгиня молчала, и потому ключница решила подождать, поискать себе преемницу не только на Горе, но и на княжьих дворах — в Вышгороде или Белгороде. Ярина не раз говорила об этом княжьим тиунам, просила привезти нескольких дворовых девушек — ловких, расторопных, красивых.

Подошла уже осень, работы у ключницы было много, со всех княжеств и дворов везли на Гору всякое добро — жито, мед, воск, вяленую и соленую рыбу. Ярина ходила без устали, звенела своими ключами около житниц, медуш, бретяниц, хлевов, все думала, как бы чего не забыть приготовить к зиме.

Так вспомнила она и о голубятнях — надо было и для птиц запасти зерна, посмотреть, не повредил ли кто-нибудь стен.

К большой голубятне, построенной сразу за гридницей, Ярина пришла на рассвете, когда еще все гридни спали: она не любила встречаться с ними — кроме брани да худого слова, от них ничего не услышишь. Поэтому Ярина тихо подошла к голубятне, поднялась по лесенке в закуток, открыла дверцу...

И вдруг она чуть не свалилась с лестницы, остолбенела, потом задрожала, потому что в сером утреннем свете увидела перед собою в каморке лицо, руки.

— Кто здесь? — прошептала Ярина, опасаясь, что это какая-то проделка гридней.

— Это я! — услышала она тонкий девичий голос.

— А ну, вылезай-ка! — сказала Ярина и стала спускаться по лесенке.

Следом за нею вылезла из закутка и спустилась на землю девушка, которой на вид было не больше пятнадцати — шестнадцати лет. На ней была одна только сорочка, подпоясанная веревкой, ноги босые, лицо немытое, волосы растрепаны.

Но было в девушке что-то такое, что сразу привлекло Ярину. Девушка была очень испугана, и Ярине стало жалко, что она ее так напугала. Понравилось Ярине и лицо девушки, ее большие карие глаза.

А еще, разумеется, ключницу заинтересовало, откуда взялась эта девочка здесь, где живут гридни.

— Подойди-ка поближе, девица,— сказала Ярина.

Малуша подошла, но, как видно, перепугалась еще больше. Ярина заметила, что она дрожит всем телом.

— Ну чего ты боишься? — как можно ласковей продолжала ключница.— Я тебе ничего плохого не сделаю, иди-ка сюда.

Девушка приблизилась еще немного.

— Ты откуда? — спросила Ярина.

— Из Любеча,— ответила девушка испуганным, но звонким голоском.

— А как зовут тебя?

— Малка.

— Вижу, что малка. Ты чья?

— Добрынина.

— Зачем очутилась на Горе?

— Брат Добрыня привез.

В это время послышались шаги, и на тропинке показался Добрыня, несший седло. Увидев ключницу княгини Ярину, которую гридни, как и она их, недолюбливали, он хотел поздороваться и обойти ее. Но ключница была не одна, она с кем-то разговаривала. Ступив еще один шаг, Добрыня с трепетом душевным увидел, что разговаривает она с его сестрой Малушей. Он остановился как вкопанный — не хватало только, чтобы ключница узнала про его грех.

Но дело уладила сама Малуша. Увидев Добрыню, она опрометью бросилась к нему и спряталась за его спиной. Уверенная, что теперь ей уже ничто не угрожает, она поглядывала из-за спины брата на ключницу уже другими, лукавыми, глазами.

— Послушай, гридень,— произнесла Ярина,— что это за девушка?

Добрыня положил седло на траву, вытер вспотевший лоб и сказал:

— Это моя сестра.

— Так почему же она тут? — Ключница указала на голубятню.

Добрыня безнадежно махнул рукой и вытолкнул Малушу вперед.

— А что мне было делать? — указывая на девушку, спросил он.— Поехал я ныне в Любеч, сам оттуда, отец у меня там, мать, был дед Ант... да вот еще сестра Малуша... Приехал я, поглядел — деда Анта нет, помер от печенежской стрелы, все добро деда добрые дядья забрали, отец и мать голодные, нагие, и она вот, Малуша, пропадает. Ведь пропадет, пропадет, вижу, сестра. А я ее люблю. Ты не смотри, ключница, что она такая неухоженная, худая. Она хорошая сестра. Правда, Малуша? Ну, говори!

Малуша молчала, да и что она могла сказать?

— Вот я и привез ее сюда,— продолжал Добрыня.— Пускай, думаю, будет подле меня, на Горе. А потом уж, как привез, задумался: что же мне с нею делать? Работу найти, да где? Жить сестре надо, а угла нет. Вот и надумали с гриднями: пускай живет Малуша тут, на голубятне, вместе с птицами, а ест то, что остается в моей миске.

Ярина посмотрела на Малушу, которая стояла перед нею, опустив руки; теплая улыбка согрела лицо старой ключницы. Ей понравилось, что Добрыня так просто и откровенно рассказал ей про свою сестру, понравилась и сама девушка с большими карими глазами, пытливо смотревшая на нее.

И еще почувствовала Ярина, как болят у нее все кости, вспомнила разговор с княгиней Ольгой, подумала о том, что надо ей брать кого-то себе на подмогу — очень скоро она и вовсе не сможет работать.

— А что,— задумчиво высказала она вслух свою мысль,— если бы я взяла твою Малушу ко двору? Там для нее работа найдется.

— Матушка ключница! — закричал Добрыня, забыв, что все гридни боятся Ярины и избегают ее.— Да если бы ты взяла ее ко двору, я бы век тебя благодарил, пока жив, до смерти!

— Не надо меня благодарить,— вздохнула Ярина.— Там, на дворе, девке тоже будет нелегко. Пока мала — немного работы буду с нее спрашивать, подрастет — много, ох много придется работать. А ты не боишься, Малуша, идти на княжий двор?

— Не боюсь,— тихо ответила девушка.

— Так приведи ее завтра пораньше ко мне, там возле терема есть каморка. Только обмой ее, чистую сорочку надень. Есть у тебя сорочка? — спросила она у Малуши.

— Есть сорочка! — радостно ответила Малуша, вспомнив про материнский узелок.

— Быть по сему,— сказала ключница и пошла по тропинке обратно к терему.

4

Было еще далеко до рассвета, когда кто-то несколько раз толкнул Малушу в плечо. Не понимая, где она находится, кто ее будит, вздрагивая от холодного воздуха, продувавшего голубятню, она принялась обеими руками протирать глаза.

— Пойдем, Малка, скоро будет светать...— услышала она знакомый голос.

Только тогда Малуша поняла, что она на голубятне, вспомнила все, что с ней случилось, и особенно вчерашний день, когда они с братом говорили в саду с ключницей Яриной, и что Добрыня обещал ей утром привести сестру на княжий двор.

— Я сейчас... сейчас...— прошептала Малуша, вмиг вскочила на ноги, нашла в темноте узелок — материнский подарок, быстро надела чистую вышитую сорочку, обернулась плахтой, надела пояс, проверила, не выпали ли из ушей ее сережки с зелеными камушками, обулась в постолы и соскочила на землю, где уже ждал ее с нетерпением Добрыня.

— Ну, пойдем! — глухо сказал он.

Погода была неприветливая, пасмурная, серая. Из-за стен города, от Днепра, врывался пронизывающий тело резкий ветер, низко над Горой, касаясь крыш теремов, плыли тяжелые тучи, моросил дождь, с трав осыпалась холодная роса.

Но Малуша не обращала внимания на ветер и туман, мысли ее стремились к терему, где ей суждено было служить. Она представляла себе его высокие светлицы, княгиню Ольгу и разных князей в белых одеждах, в золоте, серебре, воображала множество вещей, названий которых не знала, и все это было высокое, светлое, сверкающее.

Посреди богатства и блеска Малуша видела себя. Правда, она стояла где-то в уголке тонкой былинкой, если шла — никто ее не замечал, если говорила — голоса ее не было слышно.

— Ты слушайся Ярину,— тихо советовал, шагая впереди сестры, Добрыня.— Она жена могутная, сильная, у нее ключи от всех теремов — ключница самой княгини Ольги.

— Я буду слушаться,— отвечала Малуша, быстро ступая по траве, с которой брызгала, обжигая ноги, холодная роса.

Так дошли они до княжеского терема, где повстречали ночную стражу. Добрыня их знал — ведь это были его друзья, гридни,— и потому они перекинулись между собою несколькими словами. А потом Добрыня взял Малушу за руку и быстро повел ее вокруг княжеского терема, на задворки.

Там, несмотря на то что ночь еще не кончилась, было людно и шумно, у клетей передвигались мужские и женские фигуры, где-то ржали кони, звенело железо, где-то в окошках и дверях светились огоньки.

На один из этих огоньков пошел Добрыня, остановился перед какой-то клетью.

— Ты стой тут,— сказал он,— и жди меня.

И он исчез в дверях постройки, где слышались голоса и горел огонь.

Когда Малуша осталась одна, ей стало очень страшно. Она знала, куда привел ее Добрыня, но все-таки ей казалось, что вот-вот из темноты выскочит какое-нибудь чудовище и схватит ее. Но больше всего она боялась, что Добрыня вернется и скажет, что работы для нее тут нет, что ее не возьмут на княжий двор... И кроме того, она начала так дрожать от холода, ветра и дождя, что зубы у нее застучали.

Однако бояться, как оказалось, было нечего. Очень скоро Добрыня показался в дверях, а рядом с ним Малуша увидела женщину, с которой они намедни беседовали в саду,— могущественную, сильную ключницу Ярину.

— Малка! — крикнул в темноте Добрыня.— Иди-ка сюда!

Она мгновенно бросилась вперед и попала в полосу света, струившегося изнутри.

— Пойдем, Малка! — позвала ее ключница, перебирая ключи у пояса.

Добрыня отступил в темноту, гулко загремели его шаги, а Малуша вошла внутрь.

Так очутилась она в княжеском тереме, о котором мечтала и который представляла себе таким высоким, блестящим...

Только куда же девались мечты Малуши?

В углу тускло горел светильник, и при его слабом свете она увидела темные, сложенные из тяжелых бревен стены и низкий, такой же темный потолок. Посередине горел на камнях огонь, над ним, как широкий рог, высился дымоход. У огня возился, раздувая его, бородатый пожилой человек. Какая-то девушка клала что-то в горшцы, стоявшие на раскаленных углях.

— Смотри, как ты нарядилась! — сказала ключница и внимательно оглядела белую вышитую сорочку девушки, ее яркую плахту, сережки, в которых зелеными таинственными огоньками вспыхивали камушки.

Девушке показалось, что в словах ключницы звучит неодобрение. Но ключница смотрела на Малушу таким теплым взглядом, голос ее звучал так сердечно, что девушка успокоилась.

— Что ж, Малка,— сказала ключница и почему-то тяжело вздохнула,— скоро рассвет, а у нас еще работы вдоволь. Иди сюда!

Бородатый человек, возившийся с дровами и бормотавший что-то про себя, девушка, следившая за горнцами, казалось, даже не заметили, что в кухне появилось еще одно существо. Может быть, им некогда было замечать, кто там пришел им на подмогу, а может, было все равно, кто еще разделит их долю. Так или иначе, но для Малуши это было и лучше. Она, как видно, никому тут не мешала, и для нее тоже нашлись место и работа.

А работы здесь и в самом деле хватало. Ключница послала Малку набрать воды из родника, протекавшего рядом, дала вымыть несколько горнцов, корыто, деревянные миски, ложки, велела вымести сор, помыть стол и лавки.

Малуша работала споро, быстро. Работа никогда не пугала ее, она с малых лет трудилась у матери, в родном своем доме, у нее были сильные руки, упругие ноги. Если бы Малуша была наблюдательнее, она, наверное, заметила бы, как ключница Ярина несколько раз посмотрела в ее сторону, улыбнулась и удовлетворенно кивнула головой. Заметила бы она, должно быть, и то, что, когда горнцы на огне закипели, девушка, следившая за ними, подняла голову, посмотрела на Малушу, отвернулась, снова посмотрела... и в глазах у нее заиграли нехорошие злые огоньки...

Но Малуша ничего не видела, ей было не до того. Она думала: где же терем, который она недавно представляла себе, от которого находилась так близко? Где княгиня Ольга и разные князья?

А терем был рядом! Кушанья на очаге готовились для князей. Это были богатые, вкусные, княжеские яства. Ключница Ярина следила, как закипают горнцы, но время от времени выходила в двери, которые вели в другое такое же помещение. А за ним Малуша увидела высокую, освещенную, сверкающую светлицу.

Одно лишь мгновение, подметая около дверей, Малуша видела светлицу, но этого было достаточно, чтобы она поняла: это и есть княжеский терем, это, наверное, трапезная, там будут есть княгиня Ольга, князья, воеводы, бояре.

И они наконец пришли. Малуша сразу заметила, когда это произошло. Там, в светлице, послышались шаги и голоса, бородатый человек и девушка, хлопотавшие у огня, вскочили, в кухню быстро вбежала ключница Ярина.

Ключница словно сразу изменилась, выпрямилась, стала строже. В руках у нее было серебряное блюдо, на котором стояло несколько мисок. Ярина торопливо подошла к горнцам, в которых варилась еда, уполовником налила в миски похлебку и опять возвратилась в светлицу.

Так приходила она несколько раз, приносила опорожненные миски, брала в клети новые, клала в них вареное мясо, сочиво, наливала медовый узвар. И все это время в светлице было тихо,

только Ярина все ходила взад и вперед. Наконец снова послышались голоса, прозвучали и затихли вдалеке шаги, и тогда Ярина медленно вернулась в кухню.

— Князья позавтракали,— произнесла она и тяжело опустилась на лавку в углу.

Малуша посмотрела и не узнала Ярину. Тяжело дыша, опустив натруженные руки, свесив голову на грудь, утомленная, бледная, с каплями пота на лбу, сидела на лавке ключница великой княгини, каким-то затуманенным взором смотря на огонь, уже начинавший гаснуть. Губы ее, казалось, что-то шептали.

Но никто не мог разобрать слов. Она сказала уже громче:

— Путша! Пракседа! Садитесь, ешьте сами.

Бородатый Путша и Пракседа, возившиеся у очага, подсели в углу к столу, на котором горел светильник, взяли миски с княжеского стола, где оставалась еда, молча и жадно принялись есть, разрывая мясо руками.

— И ты, Малка, ешь! — тихо произнесла ключница, заметив, что девушка стоит посреди кухни.

Малуша тоже села. Остатки с княжеского стола были такие вкусные! Но она ела мало и все посматривала на ключницу Ярину, продолжавшую устало сидеть в уголке. Мало ела она еще и потому, что чувствовала на себе взгляд Пракседы. Глаза у той были хищные, злые, а из-за чего — этого Малуша не знала.

5

Добрыня был доволен. Чего могла ждать Малуша в Любече, в холодной, убогой землянке отца? А княжий двор богат, и дворовые люди — не кто-нибудь, им завидует весь город. Под началом ключницы Ярины Малуше будет хорошо, она подрастет, накопит добра, может, еще и полюбится кому-нибудь из гридней тут, на Горе!

«Нет,— думал он,— не по правде судят наши гридни, обзывая ключницу Ярину нехорошей, злой. Какая же она злая, если так тепло встретила Малушу, поговорила с нею, а теперь взяла ее к себе, на княжий двор?»

Поэтому Добрыня очень обрадовался, когда, возвращаясь из княжеского терема, куда он отвел Малушу, увидел около своего жилья какого-то гридня, а присмотревшись, узнал в нем Тура.

— Не спишь? — удивился Добрыня.

— Только что проснулся и вышел,— ответил Тур, хотя на самом деле он проснулся вместе с Добрыней, вышел тогда же наружу и стоял под стеной, слышал, как Добрыня разбудил Малушу и ушел с нею.

— А я вот Малушу отвел,— поспешил рассказать Добрыня.

— Куда?

— Она теперь на княжьем дворе будет работать,— похвастался он.— В княжьих теремах...

— В теремах? — искренне удивился Тур.

— А так... увидела ее тут ключница Ярина, поговорила, велела привести к себе.

— Так это не в теремах, а около Ярины, на кухне,— облегченно вздохнул и тихонько засмеялся Тур.— Что же, Добрыня, это хорошо.

Он помолчал немного и добавил:

— Видишь, Добрыня, недаром я говорил, что если жена под щитом въезжает на Гору, то ждут ее здесь великая честь и счастье...

— Ой, Тур, Тур,— ответил Добрыня,— где уж нам до чести да счастья! Горе и беда рядом с нами ходят.

— Кто знает,— ответил на это Тур.— Ты ее к себе, гридень, не равняй, мы в теремах княжьих не бывали. Хорошо, если там посчастливится Малуше и если помогут ей добрые люди.

— Что ты говоришь, Тур! — запальчиво крикнул Добрыня.— Попасть в княжий терем — великое счастье!

— Темны терема княжьи,— совсем тихо ответил Тур,— и не ведаем мы, что там бывает... Помолимся Перуну, чтобы Малуша была счастлива.

— Чудной ты человек! — вырвалось тогда у Добрыни.— Малуша и в самом деле въехала на Гору под щитом, она уже попала в терем, дальше будет еще лучше.

Тур ничего не ответил на его слова. Хмурый, с потемневшим лицом, опустив руки, стоял он и смотрел на городские стены, за которыми уже начинал розоветь рассвет.

Разве мог сказать Добрыне Тур, как много пережил он за последние дни и ночи, как полюбил Малушу, думал о ней и о своей собственной судьбе, надеялся...



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Весь день не угасал огонь в кухне, трижды ставила Пракседа на очаг горнцы, и трижды ключница Ярина бегала взад и вперед из княжеской трапезной в кухню.

Но и помимо того у ключницы хватало работы. Недаром она носила у пояса большую связку ключей — на ее руках был княжеский терем, ключи от всех клетей.

Правда, и в тереме и у клетей работало еще немало дворовых. Но Ярина обязана была каждому задать работу, за всем приглядеть, все отомкнуть, замкнуть. И хотя ужинали в княжьем тереме, как и по всей Горе, еще засветло, Ярина уже задолго до вечера теряла силы, еле передвигала ноги.

Когда князья поужинали, Ярина отпустила Путшу. Перемыв посуду, долго еще возилась и наконец ушла отдыхать Пракседа, и тогда в кухне остались только ключница и Малуша.

— Погоди,— молвила Ярина.— А где же ты нынче будешь спать?

Малуша промолчала, потому что не знала, что ответить ключнице.

Ключница задумалась, теплая улыбка на короткий миг согрела ее лицо.

— Добро,— сказала она.— Коли так, идем со мною.

Они вошли в какую-то каморку, пристроенную вблизи трапезной к стене терема. В каморке было маленькое оконце с железной решеткой, через которое со двора вливался лунный свет. Переступив порог, Малуша увидела голые деревянные стены, жесткую постель, сундук рядом с нею. В противоположной стене была пробита еще одна дверь, теперь она была заперта.

— Бывает, и ночью кличут в терем,— вздохнула Ярина, указывая рукою на эту дверь.— Как матушке княгине захочется. Только где же мне тебя положить? — растерянно оглянулась она.

— Я лягу на полу,— успокоила ее Малуша.— Я и дома привыкла так спать.

— Ну, ложись,— согласилась Ярина,— все же лучше будет, чем на голубятне.

Она подняла крышку сундука, достала рядно, взяла со своего ложа изголовник и дала все это Малуше.

— Стелись и спи,— ласково добавила ключница,— нам, дитятко, нужно рано вставать.

Малуша готова была лечь где угодно. Велели бы — уснула на голой земле. Она быстро постелила, сняла постолы и пояс, подумала и вынула из ушей сережки с зелеными камушками, положила все это рядом с собою и легла.

Она слышала еще недолго, как где-то вблизи, рядом с каморкой, ходят люди, несколько раз донеслись громкие голоса откуда-то из-за стены, из княжьего терема. Выплыло перед нею и лицо ключницы Ярины: та сидела на своей постели, откинув голову к стене, и смотрела на месяц. Потом сон подхватил Малушу и понес на своих крыльях в темные просторы.

Ключница видела, как быстро уснула Малуша, слышала ее ровное дыхание, но сама не могла заснуть. Она сидела и вспоминала, как когда-то привезли ее на Гору и пришлось ей спать тут, в каморке, на том же месте, где спит Малуша.

Луч месяца полз по полу, коснулся головы Малуши, осветил ее бледное, спокойное лицо, закрытые глаза, губы, продвинулся еще дальше и остановился на постолах, поясе и сережках, зажег в самоцветах таинственные зеленые огоньки.

Ключница Ярина долго смотрела на эти манящие огоньки. Что сулят девушке эти камни? Потом ключница встала на колени, помолилась и осенила крестом девушку.

Малуше посчастливилось. Под рукой у Ярины было немало дворовых — в княжьем тереме, у клетей, по двору. И на кухне у нее была девушка-переяславка Пракседа — сноровистая, ловкая, на редкость красивая. А все же ключница приголубила именно Малушу, поверила ей, а вскоре сделала и своей помощницей. Почему так случилось — кто знает, должно быть, полюбилась она ключнице Ярине.

Поэтому, куда бы Ярина ни шла и что бы ни делала, она всегда брала с собою только Малушу. В клети, в кладовые, в медуши и бретяницы — всюду ходила она с Малушей, одно показывала, другое велела взять.

Увидела теперь Малуша и князей, шаги и голоса которых раньше только долетали до нее. Смотрела она на них из темной кухни, издали, затаив дыхание, схватившись руками за бревно, подпиравшее потолок. Однажды Малуша увидела, как открылась дверь и в трапезную вошла пожилая женщина в темной, серебром шитой одежде, двое юношей в светлых, перехваченных широкими поясами свитах, высокий, статный воевода с длинными седыми усами и мечом у пояса, еще несколько старых мужей в черных платнах, с золотыми гривнами на шее

Малуша не знала никого из них, но Пракседа, гордая тем, что видела больше Малуши и может этим похвастаться, объяснила ей:

— Женщина — княгиня, воевода — Свенельд, в черном — бояре, а молодые — княжичи: со светлыми волосами — Святослав, темный — Улеб... Тебе который больше нравится? Мне — Улеб... Правда, он красивее Святослава?

Малуша ничего ей не ответила, так как из трапезной в кухню вбежала вдруг ключница Ярина.

— Вы чего шепчетесь? — прикрикнула она на них.— Давайте ложки! Ты, Пракседа, наливай миски. Только живее, живее!

Так в это утро Малуше и не пришлось еще раз заглянуть в трапезную. Работы на кухне хватало.

Вскоре после этого Ярина захворала. Понятно, главной причиной ее болезни была старость, годы, но тут, видно, влияло и то, что началась осень, непогода, слякоть. Малуше каморка ключницы казалась раем, но Ярине с ее больными косточками уже следовало бы жить в тепле да на покое. Пускай не в теремах, хотя бы в тепле. В одну из ночей Ярина начала безудержно кашлять, горела как в огне.

Малуша ходила за старухой, всю ночь не спала, подавала ей воду, клала на голову мокрый убрус.

Поздней ночью ключница сказала:

— Должно быть, Малуша, придется тебе стать на мое место в трапезной.

— Что ты? Что ты? — попробовала ей возражать Малуша.

— Молчи! — сурово произнесла Ярина.— Знаю, что говорю. Скажи лучше: сумеешь ли?

— Если велишь, все сделаю.

И, лежа на своем твердом ложе, Ярина долго рассказывала, как надо входить в трапезную, кланяться князьям, подавать им кушанья.

Малуша сидела у постели, слушала и запоминала, хотя порой ей казалось, что ключница Ярина рассказывает все это не в твердой памяти, а бредит в тяжелом забытьи.

Однако, как только за стенами Горы начало светать, Ярина встала, оделась, помолилась и пошла в кухню. Малуша шла вслед за нею и, заметив, что ключница еле стоит на ногах, несколько раз подавала ей руку: она боялась, что старуха упадет.

Работать в этот день ключнице Ярине было очень трудно. И все произошло совсем не так, как думала Малуша.

Они все вместе вовремя приготовили еду. Когда князья вошли в трапезную, им, как и всегда, навстречу двинулась Ярина, но тут же обернулась и сказала:

— Малуша! Иди за мною и делай все так, как я велю.

Малуша поняла, что ей придется выйти в трапезную, наскоро осмотрела себя и пошла следом за ключницей. В трапезной она остановилась у порога, низко, как учила ее Ярина, поклонилась княгине и княжичам, потом подняла голову.

Она впервые стояла так близко перед княгиней и княжичами. Было страшно, но Малуша заставила себя посмотреть в лицо княгине — увидела седые волосы, острый взгляд, сжатые губы.

— Как тебя зовут? — спросила княгиня.

— Малуша,— ответила девушка.

— Что ж, попробуй,— промолвила княгиня.— Наша Ярина больна, пускай уж возится там, на кухне, а ты подавай здесь, в трапезной.

Малуша еще раз низко поклонилась князьям.

И в этот день она делала все точно так, как Ярина, а может быть, и лучше, потому что долгое время наблюдала за старой ключницей: руки у Малуши были сильные, ноги быстрые.

Подавая кушанья и принимая посуду, Малуша вначале чувствовала на себе острый взгляд княгини Ольги, понимала, что та следит за нею. Девушка смущалась, дрожала, трепетала от страха, так как знала, что от одного неловкого движения, малейшей ошибки зависят ее жизнь и счастье. И все же она владела собою, быстро, ловко, легко, неслышно бегала из трапезной в кухню, носила блюда, принимала посуду. Наконец она заметила, что княгиня уже не следит за нею, и ей стало гораздо легче, спокойнее. А в конце трапезы княгиня обернулась к ней и сказала — словно гривну подарила:

— Видать, девица, ты сумеешь работать. Старайся и впредь.

И даже Ярина, сидевшая и отдыхавшая на кухне все время, пока ее молодая помощница прислуживала князьям, сказала ей, когда трапезная опустела и когда все они — Путша, Малуша, Праксeда — сели завтракать:

— Ну что же, Малка, урок ты выдержала. Так теперь и будет. И если бы ты знала,— добавила она,— как трудно рабыне попасть в трапезную и, главное, служить князьям! Когда-то, при князе Олеге, когда я сюда пришла...

Ярина не закончила своих слов, потому что внезапно случилось что-то непонятное и странное: дворовая девушка Пракседа-переяславка, которая задумчиво сидела за столом и ела похлебку, выпустила из рук ложку, как-то странно всхлипнула, вскочила и опрометью выбежала из кухни.

Все смотрели ей вслед, а Малуша хотела взять кружку воды, чтобы дать Пракседе напиться.

— Она, видать, подавилась.

Ключница Ярина покачала головой:

— Не надо... Она не подавилась. Тут не то, не то, Малуша!

Но она так и не сказала, что сталось с Праксeдой, а Малуша этого не понимала.

— Ты, Малка, об этом не думай,— только и сказала ключница.— Ты работаешь и будешь работать. Вот тебе ключи, ступай в клеть, принеси веприны и муки.

И она дала Малуше ключи от клетей. Это не испугало Малушу — не раз они ходили туда вместе, теперь пойдет и сделает все она одна.

## 2

После смерти Анта в жизни любечан произошло нечто важное.

На первый взгляд все, казалось, осталось неизменным. Какое значение могли иметь жизнь или смерть одного человека — Анта или кого иного?

В Любече и в других землях вокруг бывали брани, уносившие множество смелых, отважных в бою людей, но разве это отражалось на жизни любечан?

Любеч время от времени постигали тяжкие моровые болезни, косившие людей без числа, да и без того каждое лето непрестанно погибали люди: кто в Днепре, кто на ловах, кто под упавшим деревом в лесу, а иные — обычной, естественной смертью. И опять-таки это не останавливало течения времени, живые быстро забывали мертвых, молодые росли на смену старикам.

И даже то, что Ант был старейшиной, также словно бы не имело существенного значения, ибо он давно уже не чинил суда людям, не он уже от своего рода, а княжьи мужи брали с Лю-

беча дань, не он, а те же княжьи мужи определяли уроки и уставы, не он, а княжьи мужи поднимали людей на брань.

К Анту, пока он был жив, обращались только тогда, когда надо было принести жертву богам, да еще в праздники, которые положено было освящать кому-нибудь из старших. Ант знал, как надо принести жертву, на празднествах он стоял впереди всех с посохом в руках и на Коляду зажигал священные, обмотанные соломой колеса, первый закликал и весну. Но в Любече все меньше и меньше приносили жертв старым богам, все меньше и меньше людей собиралось на древние праздники, ибо многие любечане уже открыто носили кресты на шее, много было и тайных христиан — Ант с его старыми обычаями был им помехой.

И так было не только в Любече, но и во всех селах по Днепру: ниже, где издавна сидел род хоробричей, выше — у сварогов, что с дедов-прадедов ковали мечи, за Днепром — у рудаков, собиравших на болотах руду, и на высоких горах правого берега, где жил славный род Туров.

Поэтому, когда Ант умер, всем показалось, что с его смертью ничего приметного не случилось: был человек, и не стало его, разве смерть одного человека может изменить жизнь?

Никому не приходило на ум, что умер не Ант, а нечто большее — умерли старые законы и обычаи отцов. Не Ант унес их с собою в землю, их давно уже подтачивала и разрушала какая-то сила, ворвавшаяся, как тать, в село над Днепром и неумолимо изменявшая основы жизни, менявшая людей, их души.

Так бывает иногда, что на Днепре застоятся могучие льды. Уже немилосердно печет солнце, уже ветер рвет и мечет надо льдами, уже сами они потрескались, раскололись, а Днепр не может и не может скинуть ледяного покрова, ждет.

И вдруг среди безмолвия над рекою рождается треск и грохот — одна случайная льдина отрывается от берега, взлетает на другие, вздымает сверкающую тучу брызг, раскалывается, трещит и исчезает в глубине.

Достаточно было одной этой льдине отколоться, сдвинуться, затонуть, как пробуждается, приходит в движение вся громада льдов — они раскалываются, трещат, лезут одна на другую, вместе летят по Днепру и снова сталкиваются, снова ломаются, крошатся и, наконец, тают, оседая на дно.

Проходит немного времени — и спокойно текут воды Днепра, сверкает под солнцем ровный плес, тишина и спокойствие царят вокруг.

Так после смерти Анта некоторым показалось, что без него в Любече жить стало даже легче, ибо был он живым свидетелем прошлого, а такие свидетели — лишние. Тень его звала в забытую, далекую старину, а люди рвались и мчались куда-то вперед.

## 3

Много дела было и у Бразда. Теперь он, как никогда раньше, похвалялся каждому, что его отец — старейшина Ант, дед — старейшина Улеб, прадед — старейшина Воик... Бразд не только похвалялся, но и показывал:

— Вот, смотрите, лежат они, пращуры мои и ваши, в высоких курганах и словно взывают: «За Русь! За Русь!» Да могу ли я, сын таких славных отцов и дедов, не радеть о Русской земле!

И Бразд радел. Теперь, после смерти отца, никто в Любече не мог уже сказать, если была потребность, что нужно, мол, идти к старейшине Анту. Ант умер, старейшины нет и не будет. Есть великий князь в Киеве, князь Оскол в Чернигове, волостелин Кожема в Остре, княжий муж, его посадник Бразд в Любече.

У посадника было много дела. Это он по княжьему повелению давал людям уставы и уроки. Из Киева, Чернигова и волости приезжали на взмыленных конях, на возах и лодиях княжеские тиуны, ябедники, мечники. Они велели посаднику гнать людей на брань, давать коней и волов, давать жито, меха, мед, воск.

И Бразд выполнял княжью волю. Он ставил тиунов, ябедников и мечников на покорм по дворам и велел давать им, пока они стоят, по барану или теленку на неделю, по две куры в день, да еще хлеба, пшена, сыра, меда, гривну за въезд и особо за выезд.

Село замирало: нечего было дать князю, страшен был покорм, потому что самим кормиться было нечем, во дворах не только баранов или телят, но даже кур не оставалось.

Однако находили, несли, давали — все во двор посадника Бразда. Пусть лучше он имеет дело с тиунами, ябедниками, нежели те начнут ходить со двора во двор.

Впрочем, Бразд утешал людей, говорил, что за все получат они награду сполна — дань на войне, честь от князя, славу на Руси.

Сам же Бразд не мог получить дани от врага, чести от князя, славы на земле своей, о чем не раз и говорил волостелину своему, воеводе Кожеме. Бразд говорил не только об этом, прижимая руки к сердцу и поднимая очи к небу. Он жаловался, что в сие трудное время и ему и волостелину Кожеме одинаково тяжко — дани они не получат, ибо не ходят на брань, чести у князя не дождутся, так как, кроме них, есть множество волостелинов и посадников, и где уж им обоим думать о славе на родной земле!

Понимая все это, Бразд пекся о том, чтобы жизнь волостелина была слаще, лучше, и каждый раз, когда приезжал в волость, привозил Кожеме подарок: сотню вевериц, несколько ка-

дей меда, несколько кругов воска, прибавляя к этому еще и мех с кунами, резанами, а когда случалось — динариями или солидами.

Кожема принимал подарки словно неохотно.

— Ладно,— говорил он,— возьму, пожалуй, ибо...— он наклонял голову поближе к Бразду и таинственно шептал: — ибо должен дать что-либо и князю черниговскому... У него, знаешь, тоже ни добычи на брани, ни чести от князя, ни славы по Руси.

— Да разве ж я не знаю! — усмехался в ответ Бразд.— Для того я и добавил немного динариев.

Волостелин Кожема, разумеется, говорил правду — князю черниговскому он должен был давать много, князь требовал от Кожемы все больше и больше. И Кожема ему давал, как и все волостелины. Конечно, князь черниговский не забывал и Кожему: на шее волостелина висела не серебряная, а золотая гривна, знамена Кожемы — око с тремя чертами и сиянием над ним — все чаще и чаще можно было встретить на полях, в лесах, на землях над Десною.

А Кожема, стремясь ублажить своих посадников, дозволял всем им, в том числе и Бразду, иметь свои знамена.

— Ты какое знамено хочешь иметь? — спросил он у Бразда.

Бразд был доволен и, подумав, сказал, что если уж суждено ему иметь знамено, то он хотел бы иметь месяц под солнцем, потому что, мол, он ходит под волостелином, как месяц под солнцем.

— Быть по сему,— согласился волостелин Кожема.— Сделай такое знамено.

Кожема задумался.

— И поставь свое знамено,— добавил он,— на земле под Любечем — от скалы на Днепре до двух родных могил...

— Улеба и Воика,— подсказал Бразд.

— Ты их знаешь лучше,— махнул рукой Кожема.— У нас под Остром свои могилы. А от тех двух могил на полуночь до выжженного леса, а оттуда через березовую дубраву снова к Днепру, где княжий брод.

Бразд низко, как только позволила ему спина, поклонился.

— А от княжьего брода,— продолжал Кожема,— назад к березовой дубраве, в полуденную сторону, к трем могилам, а к закату солнца до Днепра будет стоять твое знамено — так велел князь черниговский.

— Сколько сил имею, беречь буду,— еще раз поклонился Бразд.

Не только землей владел теперь Бразд. Ему, как посаднику, не пристало жить в какой-нибудь землянке. Был же у Кожемы целый терем!

Бразд начал строиться — на собственной земле, на самом лучшем месте, откуда виден был Днепр и все его владения. И не

землянку или хижину строил он, а терем, рубленный из толстых сосновых бревен, с крышей из дранки, не с очагом, а с печью и трубой, терем, обмазанный снаружи и внутри белой глиной.

Строить его Бразду было не так уж трудно: лес у него был, купу брал у него не один десяток людей. Стоило Бразду кликнуть — все они явились. Нарубили леса, обтесали, сложили, вывели доверху, перекрыли, настлали крышу — добрый терем был теперь у Бразда. Издалека виден он с Днепра!

Закупы обрабатывали и его землю. Взяв купу, они должны были работать и на себя и на Бразда. Срок купам истекал, но Бразд давал новый срок. Если бы у Бразда была другая душа, он бы всех этих закупов сделал обельными холопами. Но Бразд этого не делал!

И уже стал Бразд задумываться: в какого же бога ему верить? Раньше такая мысль никогда не приходила ему в голову, он верил в богов своих предков — Перуна, Даждьбога, Сварога, Волоса — и, кроме того, в духов предков своего рода — домовиков.

Когда Бразд ушел из дома своих отцов, он почувствовал, что духов предков у него не стало. Он не перенес с собой очага, под которым они жили, духи остались там, где и были,— в хижине Микулы. Но и Микуле они теперь не помогали,— тот жил бедно, голодал, мерз. Нет, что-то случилось с духами предков, они, должно быть, совсем ушли из рода. Бразд в них больше не верил.

Задумывался он и над небесными богами — Перуном и другими. Когда-то, в прежние времена, он часто к ним обращался, но тогда они ему ничего не давали, он только боялся их.

Потом Бразд перестал к ним обращаться, потому что убедился, что умеет кое-что делать сам, своими руками. И он делал это втайне от богов, чтобы они даже не видели. Ибо, собирая с людей, он кое-что брал себе, давая князьям, оставлял себе толику, а старые боги, как хорошо знал Бразд, этого не любили.

Теперь Бразд боялся мести богов. И если стоял во время грозы на дворище, или, что было гораздо хуже, ехал за чем-либо в Остер, или оказывался на Днепре, то, услыхав далекий гром и увидев молнию, нацеленную на землю, удирал, прятался, лез в нору, под скалу, потому что думал, что это его ищут и хотят покарать всемогущие.

— Чур, защити меня! — шептал, лязгая зубами, Бразд.

Боги не покарали его. У Бразда стало легче на душе. Он понял, что богам не до него. Погляди вокруг — сколько таких посадников, волостелинов, князей земель, воевод, бояр, тиунов, огнищан... Их — как песчинок над Днепром. Разве Перун может всех их перебить? И он хотя и продолжал прятаться от грома и молний, но держался спокойнее, ибо меньше верил в силу старых богов, хоть, правда, жить на свете без бога ему было как-то пусто.

И тут Бразд услыхал о Христе. Собственно, о Христе и христианах он слыхал и раньше. В самом Любече, как он знал, уже

были тайные христиане, только ему не было до них никакого дела.

А новое о Христе и христианах услышал он от волостелина Кожемы, когда однажды приехал к нему и привез несколько возов всякого добра и немного золота и серебра в придачу.

— Вот и хорошо,— сказал Кожема,— я собираюсь ехать в Чернигов, сам ведь знаешь: князю — князево...

Он помолчал, прикидывая, сколько весит узелок с золотом и серебром, который привез ему Бразд, а заодно и заглянул, сколько там золота, а сколько серебра.

— Надо было больше золота положить,— укоризненно сказал Кожема,— ибо надумал я, да и князь велит, храм в Остре строить.

— Храм? — Бразд не понял, о чем идет речь.

— Так,— ответил Кожема.— Храм во славу богородицы, для христиан. Я ведь сам тоже христианин. Неужто ты не знал?

— Не знал,— ответил Бразд.

— Чудно́! — произнес Кожема.

— И мне чудно́! — тихо прошептал Бразд.— Ведь христиане — поганые, не богу молятся — древу, песни у них грецкие, да и сами они, аки гречины...

Волостелин Кожема, прищурив глаза, посмотрел на Бразда, потом запустил правую пятерню в волосы, словно у него засвербело в голове.

— Дивные речи говоришь, посадник,— сказал наконец он.— Кто же это поганые — княгиня Ольга, князь черниговский Оскол, бояре, воеводы, я и еще множество людей, кто верует во Христа?

— Что ты, волостелин, что ты?! — испуганно крикнул Бразд.

— Я так же, как и ты, верил в Перуна,— продолжал Кожема,— верил в Даждьбога, Сварога — богов моих предков. Но как могу я верить им днесь, чем они мне помогут? Гром и молнию нашлют на моих врагов? Нет, посадник, громом и молнией людей не покоришь, урока не соберешь. Погляди на меня, дай мне в руки гром и молнию — что я с ними деять буду? А вот золотом, серебром, доброй пушниной, медом я каждого одолею. Разве не так?

Кожема задумался, усмехнулся и прибавил:

— Из всех старых богов всех милее мне Волос — он хоть скотину освятит, благословит торг. Но ведь не одним скотом я жив, есть у меня терем, земля, леса... и золото, серебро такожде. Теперь мне нужен не Волос, а бог с двумя, а то и тремя головами.

С великой тревогой и страхом слушал Бразд слова волостелина, а они становились все более смелыми и грозными.

— Я долго мучился и страдал,— говорил Кожема,— верить хочу, ибо без бога, как и отцы мои, жить не могу. Но какой же бог меня защитит и благословит? Токмо Христос. Он не один, а

сразу в трех лицах: бог-отец, бог-сын, бог дух святой. Он защищает и благословляет богатого, он поможет бедному — есть убо не токмо земля, а и небо, а на небе все мы, и бедные такожде, будем равны. Я немногого хочу, я никого не убью, я не хочу добра ближнего моего, я сам найду, что мне нужно, пускай только бог благословит меня... Господи, благослови! — с горячим чувством произнес Кожема и перекрестился.— Благослови, боже, и прими меня в царствие твое...

— Я, волостелин, дам тебе еще немного денег,— сказал Бразд и, вынув мешочек из бараньей шкуры, принялся отсчитывать динарии.— Много не могу, а малость дам... Десять, двадцать... Господи, благослови!

Но в это время случилось то, чего Бразд никак не мог ожидать и что насмерть перепугало его: над самым теремом загремел гром, ударила молния, и в светлице стало видно, как днем.

— Перун! — крикнул Бразд, подумав, что, должно быть, Перун услыхал их беседу, увидел, как он дает деньги на христианскую кумирню, и решил его покарать.— Перун, чур меня! — крикнул он еще раз, вскочил на ноги, подпрыгнул на месте, потому что над теремом снова загремело и опять ударила молния, а потом, ничего уже не чуя, выпустил из рук мешок с деньгами и бросился под лавку.

Бразд слышал, как по деревянному настилу терема катятся со звоном его деньги, как что-то кричит волостелин Кожема, но страх перед Перуном и его местью был настолько силен, что он ничего не понимал и не мог понять.

Только тогда, когда гнев Перуна стал отдаляться и не видно уже было молний, Бразд высунул голову из-под лавки и огляделся.

Он видел, что Кожема успел высечь огонь и зажечь свечу, раскрыл окно, стоит перед ним, смотрит и говорит:

— Илья проехал... Ну, посадник, вылезай. Так кто, по-твоему, сильнее — Перун или Христос?

— Динарии я рассыпал,— глухо ответил Бразд, которому было жаль денег и не хотелось признаться, что он все еще боится Перуна.

— Ничего, я соберу их, соберу,— успокоил его Кожема.

...Все это и припомнил посадник любечский Бразд, стоя в вечерний час над Днепром и думая о том, с какими же богами ему жить.

### 4

Когда три сына старейшины Анта делили между собой наследство, средний сын Сварг неспроста взял себе разную кузнь.

На дворище, где жил Ант и до него немало прежних поколений, испокон веку люди работали сами на себя. Они родом вы-

жигали лес и сеяли хлеб, плели сети и ловили рыбу, ставили борти в лесу и брали мед, ходили родом на зверя и также родом варили для своих надобностей железо.

Еще будучи ребенком, Сварг видел, как это делалось. В те времена, обычно под осень, когда собирали урожай, множество мужчин садились в лодии, плыли вдоль берегов, рыскали по заливам, над которыми высились кручи, по болотам и либо собирали руками, либо доставали черпаками со дна тяжелую, красноватую, жесткую руду.

Они недаром называли ее рудою. Как кровь наполняет и питает тело человека, так, думали они, и эта руда — кровь земли, влитая в нее богами. Человек имел право взять у земли ее кровь для своей надобности.

Однако нелегко было заставить руду служить человеку. Возвратившись в селение на лодиях, нагруженных рудою, люди вываливали ее на берег, сушили, иногда, если начинались дожди, обжигали.

Потом они варили железо. Люди делали из твердой красной глины домницы с горловиной наверху, с отверстиями для сопел в поддоне, засыпали туда руду вперемешку с углями, накладывали под домницу сухих дров, мехами накачивали через сопла воздух. Спустя много часов они гасили огонь, разбивали домницу, где находилась уже не руда, а крица.

Что происходило в домницах, когда закипала руда, почему красноватые комья с болота превращались в железо, почему из этого железа, если его снова расплавить и закалить в воде или, еще лучше, в моче черного козла, выходит оцел — этого никто не знал. Все думали, убеждены были, что вокруг домниц хлопочут вместе с людьми и боги: это они — и прежде всех бог Сварог — превращают кровь земли в железо.

Поэтому в те ночи, когда варилось железо, на берег Днепра выходили только старейшины и кузнецы. Все остальные издали смотрели, как пылает огонь под домницами над Днепром, как его алые отблески пляшут по воде, отражаются в тучах, низко нависших над рекою.

— Сварожичи варят железо,— говорили люди и старались увидеть, как боги сходят на землю и помогают кузнецам.

В такие ночи и средний сын Анта Сварг смотрел на далекие огни, стремился быть там, вместе с богами и кузнецами.

Потом он видел, как уже на дворе в корчийнице кузнецы делают всякие вещи — серпы и мечи, лемехи и шлемы, ножи и подковы. А были в роду и такие кузнецы, которые умели отливать не только из железа, но и из золота и серебра лунницы и серьги, обереги, перстни,— добрые мастера были в Любече, как и везде на Руси.

Для среднего сына Анта не было большей утехи, чем пойти в корчийницу, сесть там в уголке и смотреть, как кузнецы насы-

пают уголь в горн, раздувают мехи, раскаляют железо, бьют, вертят, переворачивают его на наковальне, делают из него разную кузнь. За то, что этот средний сын день и ночь просиживал в кузнице, его и прозвали Сваргом — бог Сварог, каким его представляли себе люди, был весь в копоти, черный, страшный. Имя Сварг очень подходило черноволосому мальчику с пытливыми темно-карими глазами.

Но вскоре здесь, в Любече, перестали варить железо. Шли жестокие войны — князь Игорь несколько раз ходил на Царьград, а вместе с ним ходили северяне, позднее примучивали древлян. Очень много людей из Любеча пошло тогда на брань, вернулось мало. А из тех, кто вернулся, никто не пошел на старое городище, рассыпались они гнездами по Днепру, построили свои жилища. Не стало и кузнецов — храбрые они были люди, сложили свои головы. Вот и ела ржа разную кузнь на дворе отца Анта, а у кого из любечан была надобность в железе, тот возил его из Киева.

Сварг тоже ходил на рать и, вернувшись оттуда, построил себе хижину, только не у Днепра, а далеко от берега, на опушке леса.

Вначале никто не понимал, почему он отдалился от людей и зачем ему понадобился лес. Но вскоре все стало понятно, особенно тогда, когда однажды утром со стороны жилища Сварга па опушке донеслись удары молота по наковальне. «Что это там задумал Сварг? — удивлялись люди.— Что он там кует? Для кого?»

А еще немного спустя люди валом повалили к Сваргу. Он, оказалось, поставил неподалеку от своего жилища, у дороги, идущей в Остер, небольшую корчийницу, и туда к нему шли и шли люди: тот — подковать коня, тот — приварить лемех, сделать серп или щит и даже тогда, когда нужны были крючок для рыбной ловли, замок или иголка. И каждый, разумеется, нес ему что-нибудь: один — мех, другой — зерно или горнец меда, а то и куны или гривну. Если же дать было нечего, Сварг и не требовал, а только ставил условие: сейчас он кует лемех или серп, придет время — ему помогут, отработают.

А случай отработать Сваргу представился сразу же после смерти отца Анта, когда три брата поделили между собою наследство и Сварг взял то, что якобы никому не было нужно,— разную кузнь.

Он приехал на старое дворище на следующий день после похорон и возил оттуда кузнь с раннего утра до позднего вечера. И ночью не спал, а все ходил при свете месяца вокруг своей кузницы, раскладывал кузнь, гремел железом так, что эхо разносилось до самого Днепра.

Осенью, когда любечане закончили работу в поле, Сварг отправился к тем, кто остался ему должен. Он не тревожил людей,

пока они были заняты жатвой: землепашцу дорого свое время, кузнецу — свое. Но теперь уже он просил их поехать с ним по Днепру выше Любеча и помочь накопать руды. И хотя у людей было много своих забот — идет осень, за нею зима, надо собирать грибы, искать борти, возить дрова, бить зверя, — они вынуждены были поехать со Сваргом.

Правда, Сварг долго их не задержал. Он знал, где брать руду. Миновав сосновые боры, он останавливался там, где росли березы и осока. Он знал кручи, где тяжелую, красную, как кровь, руду можно было брать прямо руками. За несколько дней он привез шесть лодий руды. Люди перетаскали ее к самой кузнице.

Тогда Сварг принялся ставить домницы. Никто, кроме него, уже не помнил, как выкладывать свод, выводить верх, пробивать нижние отверстия, смешивать пласты угля и руды. Да и сам Сварг не мог все это помнить с детских лет. Но он недаром бывал в Киеве, присматривался к работе умелых киевских кузнецов.

Теперь ему понадобился и лес, росший у самой хижины. Вместе с людьми он свалил множество дубов, нажег угля.

В одну из ночей во всех гнездах любечан стало видно, как у опушки леса, там, где проходит дорога на Остер, вспыхнул огонь. Думали, что это, может, — спасите нас, боги! — загорелся лес. Люди высыпали из хижин и землянок, чтобы бежать тушить пожар.

Но это был не пожар — там, у опушки, неподалеку от кузницы Сварга, горели три огнища. Возле них прыгали, кричали несколько человек, тревожное эхо разносилось по лесу, красное зарево освещало небо.

Никто не пошел в сторону леса. Издавна все знали, что кузнецы — страшные люди. А в час, когда они варят железо вместе со своими сварожичами, к ним и подавно страшно приближаться.

С этого времени кузнец Сварг часто ездил за рудой, ставил домницы у опушки леса, варил железо. Теперь любечанам уже не приходилось везти из Киева куски железа, чтобы ковать из них лемехи и серпы. У Сварга было свое железо, его хватало на всех.

О самом Сварге чем дальше, тем больше шло слухов. Когда-то, говорили люди, на отцовском дворище, где сейчас остался Микула, сын Анта, варили родом железо, с кузнецами работали все сварожичи, пращуры рода. Но кузнецы поумирали, сварожичи отвернулись, пращуры ушли в леса и поля.

А Сварг сумел созвать пращуров, ублажить снова сварожичей, он один на весь Любеч умеет варить железо, и не только это — он все знает, все умеет, все может, страшный, но очень нужный человек.

К Сваргу шли теперь ковать, плавить, закалять всякую кузнь. На дворе у него было несколько лошадей, быков, коров и два черных козла — для закалки железа. В корчийнице у него была не только кузнь. У него были травы, различные камни, обереги, разное зелье.

5

Микула не мог понять, почему ему живется все хуже. Несчастья, как поздней осенью желуди с дуба, сыпались и сыпались на него.

Казалось, жил он по правде, вовремя приносил жертвы богам, прежде чем самому что-нибудь съесть, бросал в огонь первый кусок чурам, но никто теперь ему не помогал, жизнь становилась все труднее, двор нищал, приходилось совсем плохо.

Разумеется, смерть Анта нанесла большой и непоправимый урон роду. Пока старик был жив, все относились к Микуле с уважением, никто его не трогал, никто ему не вредил. Хотя с отцом жилось и нелегко, но все же их было двое, вместе с ними работала и Виста, по двору еще бродил отцовский боевой конь; время от времени они выжигали участок леса над Днепром, корчевали пни, каждую весну приходили с сохой, бросали в землю зерна.

К тому же Ант был еще и хорошим, удачливым охотником, рыбаком, знал, где искать в лесу борти, где живет зверь, водится рыба. Вместе с ним ходил и Микула — они никогда не возвращались домой с пустыми руками.

После смерти Анта все изменилось, теперь двор Микулы стал таким же нищим, как и другие дворы в Любече; все, что в нем было ценного, забрали Бразд и Сварг. Когда после той страшной тризны братья приехали на лошадях и увезли свое добро, Микула даже за голову схватился: ведь они отняли все, у него остался только конь, воз и рало.

Впрочем, Микула еще держался. У него есть руки, есть руки и у Висты, вдвоем они посеют, сколько им нужно, в лесу Микула от отца знает захожан, где можно найти борти с медом, в Днепре водится рыба! Осенью, когда подошло время, Микула поправил старое рало, взял борону, запряг коня и поехал за Любеч, в лес, где они когда-то с отцом выжгли участок, выкорчевали пни и из года в год сеяли хлеб.

Но, подъехав к этой пашне, Микула не поверил своим глазам: на его меже и еще на многих других межах стояли на столбах знамена.

Знамено! Сначала он даже не понял, что это такое. Обтесанный деревянный столб, наверху на нем прибита поперек желтая доска, а на ней черный смоляной знак — два острых перекрещенных копья. Он дошел до межи своего выжженного участка,

там тоже стояло знамено — око с тремя чертами, побежал к меже соседа — знамено: месяц под солнцем, новая межа — и опять око, око!

На поле собралось несколько любечан, людей одного рода, которые хотя и ушли из родного гнезда, но до сих пор владели тем, что их объединяло и роднило,— землею.

Теперь оказалось, что и земля уже не роднила их, а разъединяла. Ибо там, где стояли знамена с копьями, была княжеская земля, где знамена с оком — земля волостелина Кожемы, а знамено, на котором был изображен месяц под солнцем, принадлежало посаднику, человеку теперь уже не их рода — Бразду.

Долго в холодный осенний вечер, когда с севера дул ветер, а от Днепра полз туман, стояли нищие любечане за селением, не могли понять, как и почему так случилось, не могли постигнуть, почему лишились они родной земли. Они смотрели на небо, на днепровский плес, селение, выжженную пашню, лес — все это ведь родная земля. Так было при отцах и дедах, всегда. Бывало так, что приезжали к ним князья с дружинами, брали дань от дыма — они давали; поставили князья над ними волостелинов и посадников, назначили уроки и уставы — они и их давали, земля была все же их родная...

И вот теперь земля перестала принадлежать им, она уже не родная, она принадлежала князю, волостелину, посаднику. Почему же так? Ведь князь со своей дружиной не обрабатывает ее, не пашет, не сеет. Не выжигали, не корчевали, не пахали этой земли и волостелин Кожема и посадник Бразд. Любечане вспоминали давно прошедшие времена, когда выходили всем большим родом, рубили лес, выжигали и корчевали пни, пахали целину, бросали в нее зерно и собирали урожаи. Эта выжженная земля была им так дорога, это была их кровь.

Оставалось, правда, еще много земли вокруг — руби лес, выжигай, корчуй, сей! Но разве могли они теперь, распыленные, разрозненные, сделать это? Рубить лес — с кем? Выжигать — как же выжигать одному? О, целина была хорошая земля, прошелся по ней с сохой — и сей! И вот целины не стало...

Рядом с другими любечанами стоял и Микула, думал о том, как потерял землю: старую, обработанную пашню в ту памятную ночь взял себе Бразд — теперь на ней стоит его знамено, на новой пашне — знамено волостелина.

— Что же, пойдем в лес, будем вырубать, жечь, пахать,— шумели люди, сжимая натруженные кулаки.

Микула шел сзади и думал, не отправиться ли ему к Бразду. Ведь он брат, посадник, все может сделать. Но нет, Микула не пошел. Ниже скалы над Днепром, где не было княжеских знамен, он распахал клочок скудной, песчаной земли. Вспахал поздно, разбросал по пашне все свое зерно, но сколько ни ходил

туда, сколько ни смотрел, не дождался буйных всходов. Стебель да еще один стебель — вот и все...

Страшась голодной зимы, он бросился в лес, туда, где еще отец указал ему дуплистые деревья. Но и там, в пчелиных заповедниках, стояли знамена — месяц, око!

Однажды ночью Микула очутился далеко от родного двора, в глухом, дремучем лесу. Все вокруг было наполнено таинственными голосами зверей, птиц, водяных, живущих в лесных болотах, русалок... Поляну, на которой сидел Микула, заливал лунный свет, под его лучами выступали увядшие листья папоротника, искристая роса, темные цветы.

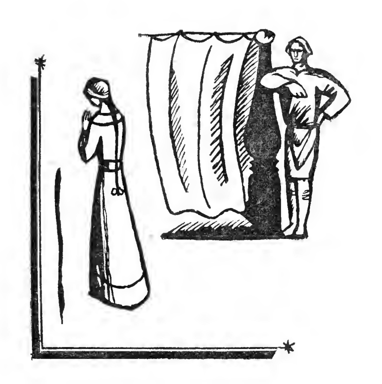
Но Микула смотрел не на них, а только на ствол одного дерева, где острым топором был сделан стес, а на нем черной смолой выведено око.

Внезапно он встал и, склонив голову набок, долго, напряженно, настороженно слушал. Нет, в лесу было спокойно. Те же голоса зверей, птиц, где-то далеко на болоте хлопал по воде руками и раскатисто смеялся водяной. Но людей, кроме Микулы, не было.

Тогда он сделал несколько быстрых шагов вперед, выхватил из-за пояса свой острый топор — боевой топор старейшины Анта — и начал рубить, стесывать с дерева знамено... И только тогда, когда оно щепками осыпалось на росистую траву, Микула опомнился. Побежал прочь от дуплистого заповедника, в чащу. Перед ним вскакивали и мчались, ломая ветви, звери, над самой головой пролетали с криком встревоженные птицы. На бегу он заметил зеленый огонек, горевший, должно быть, над кладом. Но не остановился, пока не выбежал на обрыв к Днепру. Крадучись добрался до селения, спрятал во дворе в клеть топор и только тогда вошел в землянку.

— Что с тобою случилось? — спросила Виста, увидев его измученное, бледное лицо.

— Ничего! — ответил он.— Только я уж и не знаю: как мне жить дальше?!



## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Ярина после долгой болезни поправилась, но вскоре опять захворала, и на этот раз очень тяжело. Теперь она не металась в жару, не кашляла, но не имела сил подняться, выйти в кухню. Целыми днями она лежала, не произнося ни слова, о чем-то напряженно думая, по временам жаловалась, что ей нечем дышать, что останавливается сердце.

Малуша работала одна — в кухне, в трапезной, у клетей, кладовых, медуш, бретяниц. За хлопотами у нее не оставалось времени, чтобы как следует ходить за ключницей. С утра она готовила ей питье, еду, днем раза два забегала, чтобы чем-нибудь помочь старухе, и снова исчезала. Бывали дни, когда ей ни разу не удавалось заглянуть к Ярине. И только поздно вечером, не чуя ни ног, ни рук, она переступала порог и говорила виновато:

— Вот как я поздно пришла, матушка Ярина!

— А я спала,— отвечала на это Ярина.— Крепко спала, видела сон.

Однажды, возвратившись вечером в каморку, Малуша, как всегда, остановилась на пороге и сказала:

— Я пришла, матушка Ярина!

— Вот и ладно, Малуша,— услышала она тихий голос.— Дай мне воды... Что-то мне ныне очень худо, Малуша.

— Так, может, позвать кого-нибудь?

— Нет, не надо... Дай мне воды и ложись! Ты устала, тебе нужно уснуть.

Малуша долго не засыпала, слышала, как тяжело дышит Ярина, потом заснула.

Проснулась она рано, как обычно, и сразу же бросилась к ключнице.

Мертвая, холодная, Ярина лежала так, как спала,— на правом боку, подложив под голову руку...

Испуганная Малуша опрометью выскочила из каморки, подбежала к сторожам, которые как раз спускались с городской стены, рассказала им, что случилось. Сторожа тотчас же отправились к тысяцкому.

Но кончалась ночь, время шло, а на кухне было так много работы. И Малуша пошла на кухню, разбудила дворовых, сама принесла мяса, крупы, овощей, вымыла посуду, зажгла свечи и убрала в трапезной.

Когда княгиня с княжичами, воеводой Свенельдом, боярами и священником вошли в трапезную, Малуша встретила их поклоном и, всхлипывая, сказала:

— Мать наша, княгиня! Ярина померла!

— Я знаю, Малуша! — ответила княгиня и обратилась к священнику: — Я уже сказала, как сделать. Похороним ее, отче, на Воздыхальнице, где лежат христиане.

Ели в молчании. За окном медленно разгорался рассвет, померкли, пожелтели огни свечей. Малуша все время думала о неожиданной кончине Ярины. Слезы беспрерывно катились из ее глаз. Но никто в трапезной не замечал, что Малуша плачет. Молчаливо поели, после еды священник помолился, все встали и вышли.

Только княгиня ненадолго задержалась в трапезной.

— Малуша! — позвала она.

Малуша подошла и остановилась перед нею.

Княгиня Ольга посмотрела на девушку, на ее прекрасное лицо, залитое горячим румянцем, темно-карие глаза, окинула взглядом ее гибкий, тонкий стан, высокую грудь, сильные руки.

— Вот и не стало Ярины,— молвила княгиня.— Что ж, Малуша, будешь теперь ты помогать мне. Зайди ко мне в терем, в светлицу, расскажу тебе, как что делать.

## 2

После смерти Ярины княгиня Ольга некоторое время держала ключи у себя. Доверять их кому-либо из своих родичей не хотела: завидущие они все, жадные, только и думают о том, как бы что присвоить. Дать ключи кому-либо из дворовых боялась: молоды, сами, может, и побоятся, так другие за их спиной все растащат.

А добра у княгини было много. Да и какая же она была бы княгиня, если бы его не имела! Деды и прадеды ее, сидевшие на Киевском сто́ле — а княгиня Ольга по закону считала себя их преемницей,— не сразу накопили это добро, добывали его в далеких походах, трудились, устанавливая уклад и заводя порядок в своих землях. Муж ее, князь Игорь, собирая дань с древлян, даже лег за это костьми.

Княгиня Ольга тоже брала дань, позднее установила уроки. Киевский князь — глава племенам и землям, он — заступник всех людей перед богом, он и воевода, если кто нападет на Русь.

Но чтобы поддерживать порядок в землях, быть готовым отразить врага, если тот посягнет на Русь, кормить, поить и одевать дружину, строить города, содержать стражу да еще приносить жертвы богам, для этого киевскому князю нужно было иметь много добра, он должен был быть богаче других князей.

Знамена княгини Ольги стояли на многих-многих землях над Днепром и Десною, ее знаменом было помечено много лесов, ее урочища были вдоль рек, перевесища — в лесах. А кроме того, были у нее и дворы, села, веси,— множество тиунов княгини Ольги трудилось, чтобы взять со всего этого княжье князю, а себе свое.

Немало богатств и сокровищ было и на Горе — в светлицах, палатах, клетях, кладовых, в княжьей скарбнице. Должна же была княгиня держать эти богатства в своих руках. И даже то, что Ольга стала христианкой, не изменило ничего. Ведь Христос говорил: «Божье — богу, а княжье — князю»,— он благословлял богатство и защищал убогих.

Многое доверяла княгиня ключнице Ярине. Да и как ей было не доверять — Ярина прожила весь свой век на Горе. Рабою туда пришла — ключницей стала. Знала она князя Олега, нянчила Игоря, Ольгу знавала еще молодой. И все берегла, стерегла, как настоящая хозяйка.

Когда Ярина умерла, княгиня зашла в ее каморку, постояла над телом — как ни говори, прожила Ярина в этой каморке, служа князьям, больше полувека,— а потом подняла крышку ее сундука.

Нет, такой ключницы, как Ярина, у Ольги уже не будет. Обыкновенные сорочки, несколько юбок, кое-какая теплая одежда да еще два куска полотна, что выткала Ярина своими руками.

— Полотно возьмите в клети! — велела Ольга.

Княгиня очень сожалела о смерти Ярины. А потом взяла себе в помощницы Малушу. Она не думала делать ее ключницей — нет, Малуша была слишком молода для такой работы. Княгине просто почему-то нравилась эта девушка, что-то в ней вызывало приязнь, доверие.

Малуша, как вскоре убедилась княгиня, оказалась хорошей помощницей. Она весь день работала, управляясь с большим хозяйством, ходила от одной клети к другой, брала все, что было нужно, в конце дня приходила в терем и клала ключи перед княгиней. Нет, княгиня не ошиблась, взяв Малушу в терем,— она смышленая, честная, такой можно хоть и весь терем доверить.

Потому-то и случилось само собой так, что однажды вечером, когда Малуша, взяв из клетей все, что велела княгиня и что нужно было для трапезы, вошла затем в опочивальню княгини и положила ключи на лавку, Ольга сказала:

— Ты их больше тут не клади.

— А где класть? — не поняла Малуша.

Княгиня была очень утомлена. Она сидела на своем ложе, отдыхала и о чем-то сосредоточенно думала.

— Трудно мне это, Малуша,— вздохнув, промолвила она,— думать над тем, что кому дать! Нет, Малуша, у меня и так много дела. Сама уж подумай, что нужно делать в тереме. Ты же все знаешь.

— Знаю, матушка княгиня.

— Вот и носи ключи с собою, у пояса. Ключницей моей будешь.

Малуша повалилась княгине в ноги, но не радость, а страх заставил ее сделать это.

— Боюсь я, матушка княгиня,— призналась она.

— Чего тебе бояться?

— Терема велики, клетей много...

— Да что у нас дворовых мало? — сурово сказала княгиня.— Станешь носить у пояса мои ключи — все тебя будут слушаться.

И, помолчав немного, добавила:

— Так и делай, Малуша! Милостница ты моя!

Нет, княгиня Ольга не ошиблась, взяв Малушу в ключницы. Добро ее было в верных руках.

— А вот этот ключ,— выбрала она из связки и показала Малуше,— из терема в твою каморку. Дверь отопри, пусть так и стоит. Если понадобится, могу тебя и ночью позвать. Так было при Ярине, так будет и с тобою.

Малуша вышла из опочивальни, прошла сенями. Хотела выйти во двор, но возвратилась, вспомнив, что должна отпереть дверь, ведущую в ее каморку.

Она долго возилась с замком, потому что у нее дрожали руки, и в первый раз вошла в свою каморку со стороны княжеского терема.

Остановилась посередине. Словно и та каморка — и не та, и Малуша та — и будто не та. Волнуясь, села на жесткое ложе и задумалась.

Теперь ключи от теремов, кладовых и всего княжьего двора у нее в руках. Не искала она их и не добивалась — судьба велела, чтобы тяжелая связка звенела у ее пояса.

Понимала ли она сама, что достигла счастья, о каком другие здесь, на Горе, могли только мечтать? И думала ли о том, что, получив ключи от княгини, могла отпереть ими не клети и кладовые, а нечто большее? Ведь тут, на Горе, всякий, кто работал возле княжеского добра, сам становился богатым. И это не считалось татьбою, за это не карал ни закон, ни обычай. И если бы Малуша в те дни или позднее попросила бы что-нибудь у княгини, разве та отказала бы ей?

Нет, Малуша не понимала этого, ибо до тех пор жила в землянке своего отца, где каждый работал как умел, одевался в то, что было, ел, что придется, никогда не посягал на чужое, не свое, хотя бы оно было лучше и дороже.

Обо всем этом подумала Малуша гораздо позднее. А теперь она держала в руках ключи, перебирала их. Один, другой, третий... как много! Какой же из них ее? — зажмурив глаза, старалась угадать она.

## 3

Очень скоро Малуша почувствовала, что быть ключницей княгини Ольги гораздо труднее, чем она думала.

Она не боялась работы, как и раньше, трудилась изо всех сил и даже, если говорить правду, через силу, больше, чем позволяло время. Но Малуша не жаловалась. Что же, меньше поспит, иногда можно и целую ночь не спать, у нее было здоровье, горячность, а самое главное — молодость. Она трудилась, работе не видно было конца, но это ее не беспокоило. Лишь бы только хватило силы.

Беспокоило ее другое, а именно то, о чем она не думала и не гадала. Это началось сразу, как только она стала ключницей...

На следующий день, после того как княгиня объявила ей свою волю, Малуша встала очень рано, раньше, чем обычно. Может, она и вовсе не спала, полежала немного с закрытыми глазами, увидела сквозь сон, что князья вошли в трапезную, а у нее ничего еще не приготовлено, вскочила посреди ночи. Сердце билось так, что казалось, выскочит из груди. Она быстро оделась, сполоснула лицо холодной водою, вышла во двор.

Только тогда она поняла, что встала слишком рано. Как раз в это время стража на городской стене ударила в било — дважды на башне над Подольскими воротами, на башне у Днепра, на Перевещанской и дальше, дальше. Казалось, кто-то в темноте шагает там, наверху, по стенам, и оповещает: «Ба-ам! Ба-ам! Спи-те! Я не сплю! Спите! Я не сплю! Ба-ам! Ба-ам!» Это был час, когда менялась первая ночная стража. До рассвета было далеко.

Но Малуша не вернулась в каморку. Рано — ну и пусть. Она успеет все сделать не спеша. Темным двором она прошла к стене терема, где смутно, как грибы, выступали хижины и клети.

В этих помещениях, где жила дворня и готовилась пища для князей, все еще спали. Тихо, чтобы никого не разбудить, вошла Малуша в кухню и хотела сесть на лавку перед очагом, чтобы обдумать: с чего же ей начинать?

Но Малуша не все предвидела. Только вошла она на кухню и собиралась сесть на лавку, как в темноте, возле теплого еще очага, кто-то зашевелился, сел и спросил:

— Кто там ходит?

Она узнала бородача Путшу, который всегда с самого утра колол дрова, растапливал очаг и весь день возился у огня. Он, как поняла теперь Малуша, и спит возле своего очага. И в самом деле, тут так тепло и удобно.

— Это я, Путша,— тихо, чтобы не разбудить еще кого-нибудь в соседних хижинах, ответила Малуша.

— Вижу, вижу,— сказал Путша, громко зевая.— А я уж думал — какой-нибудь тать, и схватился за топор.

Малуша засмеялась, засмеялся и Путша.

— Вот видишь, какие тати бывают на свете...

— А все же надо, как видно, вставать и мне,— внезапно оборвал смех Путша, и Малуша услышала, как он высекал в темноте огонь, а при вспышках кресала увидела кудлатую бороду, усы и суровое лицо.

— Еще рано,— сказала Малуша.— Спи, Путша, спи!

Он продолжал высекать огонь. Начал тлеть, а потом загорелся ярким огоньком трут. Путша отыскал и зажег горсть сосновых щепок.

— Где уж там спать! — недовольно сказал он.— Раз ключница не спит, что уж спать дворовым...

Обувшись в постолы, накинув на плечи драную шкуру, он взял топор и вышел.

Тем временем очаг быстро разгорелся, по кухне разлился красноватый свет, от огня начало расходиться тепло. Малуше даже захотелось опустить голову на лавку, подремать немного. Тут было гораздо лучше, чем в ее холодной каморке.

Со двора стали долетать глухие удары топора — Путша уже не спал, запасая на весь день дрова для очага. Так могла ли

Малуша спать? У нее столько разной работы,— чтобы управиться, мало дня и ночи.

И она снова, стараясь двигаться тихо, чтобы не разбудить дворовых, поднялась с лавки, пригасила немного огонь в очаге и зажгла свечу, потом, держа свечу в руках, вышла в сени, где стояла посуда, в трапезную, зажгла там свечи.

Так начала она еще ночью свой день: подмела в трапезной, постелила там на столе чистую полотняную скатерть, вытерла стулья, переменила воду в корчагах, потом принялась уже в сенях ставить по-своему посуду на полках — миски к мискам, корчаги к корчагам, кубки к кубкам. И думала Малуша, что никого не потревожила.

Неожиданно до ее ушей долетел тихий шепот за дверью, в кухне.

— Да разве она уже встала? — узнала Малуша голос Праксeды.

— Встала, уже давно... и меня разбудила,— отвечал Путша.

— Вот беда! — Слышно было, как Пракседа всплеснула руками.— Ну, тогда я пойду, разбужу своих девушек.

Малуша выскочила в кухню — сказать, что никого не надо будить, что еще рано. Но в это время и Путша и Пракседа успели выйти из кухни, за стеною в хижинах приглушенно заговорили, среди неразборчивого шума голосов она услышала одно отчетливое слово:

— Ключница! Ключница!

Нет, поздно уже было Малуше идти туда и говорить, просить, чтобы дворовые спали, потому что еще совсем рано. Странное чувство овладело ею. Будто стояла она только что над обрывом, шевельнула камень, давивший ей грудь, сбросила его. Но камень этот не остался на месте, а сорвался, покатился по склону и летит теперь, задевая, сбивая с ног людей.

— Ключница! Ключница! — раздавалось вокруг Малуши.

И когда сразу после этого заспанные дворовые начали появляться в кухне и приниматься каждый за свое дело, помогая Малуше, ей стало совсем страшно: они здоровались с нею не так, как обычно, а как-то по-другому — строго, почтительно. Она упрекала их, что они поднялись так рано, они же виновато отвечали, что проспали. Малуша металась из угла в угол, чтобы побольше взять на себя, а выходило, что это их она заставляет работать больше, живее, живее... Так в первое же утро Малуше показалось, что она запуталась в какой-то паутине, хочет ее разорвать, сбрасывает с себя, а та облипает, затягивает ее все сильнее и сильнее.

Наступило наконец утро. Все заранее было готово и в трапезной, и в сенях, и на кухне. Малуша еще до завтрака успела обойти весь терем и осмотреть, все ли сделали теремные девушки.

Все было готово, а ее теремные девушки и дворовые были такими, как всегда. Скоро в трапезную выйдут князья, после них поедят и дворовые. И князья вышли, поели. Во время трапезы Малуша заметила, что княгиня Ольга следит за нею, наблюдает и, должно быть, довольна — улыбается. Когда князья ушли править суд, Малуша, как и прежде, уселась с дворовыми, поела. Остатки княжеской еды были еще теплые, вкусные. Малуша дала Путше и нескольким дворовым, в том числе и Праксeде, немного вина, оставшегося в княжеских кубках, и тогда за столом, где все рвали руками мясо, набивали рты, громко чавкали, стало веселее, теплее — одна семья дворовых! У Малуши стало спокойнее на душе, камень, который она сдвинула и который катился по склону, казалось, наконец остановился.

Но камень не остановился. На следующий день Малуша проснулась так же рано, задолго до рассвета. Вышла из каморки, услышала удары ночных сторожей и хотела вернуться к себе, но увидела, что в хижинах под стенами терема и на кухне уже светятся огоньки, а где-то в темноте глухо разносятся удары топора: «У-у-ух! У-у-ух!»

Она даже схватилась за голову. Да неужто надо вставать так рано? Ведь далеко еще до рассвета, спать бы да спать! Но она уже не могла и не смела спать. Вернувшись в каморку, быстро оделась, не успела даже умыться и побежала в кухню. Там горел очаг, Путша уже натаскал дров, девушки прибирали.

— Доброго утра, ключница! А мы рано встали... раньше! — холодным, злым взглядом встретила ее Праксeда.

Что могла ей ответить ключница?

## 4

Нелегко приходилось Малуше и в светлицах княжьего терема.

Раньше, работая на кухне, думая об этих светлицах, она представляла себе, что там — богатство, все сверкает, блестит, там тишина, покой, все так красиво. А вот почему красиво — она выразить не могла.

Она пыталась расспросить про княжеский терем, про его светлицы и палаты у ключницы Ярины, но та отвечала очень коротко, неясно:

— Хорошо живут наши князья, Малуша, очень хорошо. Не так, как мы с тобой. Когда-нибудь сама увидишь, каково княжье житье.

А что хорошего есть в княжьих теремах, этого Ярина не говорила.

Позднее, когда Малуша впервые переступила порог княжьего терема, он поразил ее своей красотой, богатством, сокро-

вищами... Бедная девушка из Любеча даже остановилась, увидав палаты, опустила руки и заморгала глазами. Впрочем, тогда она была только дворовою, как и другие девушки.

Теперь, став ключницей, Малуша посмотрела на терем другими глазами, увидела здесь не только богатство, красоту, сокровища, но столкнулась с людьми, жившими тут, узнала их норов, души, их силу.

Прежде всего Малуша узнала княгиню Ольгу. Раньше, встречаясь с нею в трапезной, да и позднее, получая от нее ключи утром и отдавая их вечером, она видела ее величие и славу, представляла себе ее грозной, но справедливой, не такой, как все люди.

Теперь, когда Малуше приходилось бегать к княгине каждый день, каждый час, нередко и ночью, она увидела и узнала ее совсем не такою, как раньше, не такою, как думала о ней.

Может быть, произошло это потому, что прежде Малуша видела княгиню в богатой, шитой золотом и серебром одежде, с красным корзном на плечах, в широком поясе, делавшем ее стройной и тонкой, в красных или зеленых сафьяновых сапожках. А теперь увидела в опочивальне, с темной повязкой на голове, в обычной одежде, стоптанных туфлях на ногах.

Возможно и даже наверное, именно это заставило Малушу посмотреть на княгиню другими глазами. Но, кроме этого, она увидела и другое: княгиня Ольга внешне казалась ласковой, душевной, на самом же деле была холодной и жестокой. Она много обещала, но мало давала. Она была просто скупа, ибо нередко ночью вызывала Малушу к себе и все прикидывала, как бы поменьше дать дворовым, как дешевле прокормить гридней.

Да и на себе Малуша чувствовала, что княгиня вовсе не такова, какой она ее себе представляла. Куда девались мягкие слова, какими княгиня раньше дарила ее, где ласковый взгляд, который раньше согревал и радовал Малушу, подавая ей надежду? Княгиня Ольга теперь бывала постоянно холодна с Малушей, говорила с нею только о деле, во всем ее проверяла, во всем словно сомневалась. Не раз и не два Малуша даже плакала вечерами в своей каморке. А за ключи от клетей трепетала больше, чем за жизнь.

И не только княгиня Ольга, все в княжеском тереме таковы: с виду — ласковые, на людях — сердечные, справедливые, искренние, а в жизни — в своих покоях, светлицах, опочивальнях — совсем не такие. Малуша боялась родичей княгини, воеводы Свенельда, священника — всех, всех.

Боялась она и княжичей, сыновей княгини Ольги, особенно Святослава. Младший княжич, Улеб, правда хоть внешне, был ласков с нею, смотрел на нее веселыми глазами, в которых играли сверкающие огоньки, говорил слово — будто одаривал чем-то. Только Малуша не верила ему. Остерегалась.

Совсем не таким был княжич Святослав. Малуша не понимала его. Он был суров, даже на мать-княгиню посматривал сердито. Малуша не раз слыхала, как он перечит княгине, дядьке Асмусу, особенно Улебу.

И к Малуше он относился так же. Ну хотя бы сказал ей, как Улеб, доброе слово, хоть изредка поблагодарил бы, наконец, просто посмотрел на нее ласково... Нет, не таков княжич Святослав. Он не обратится с теплым словом, возьмет — не спросясь, подай ему — не скажет спасибо, а чуть что — накричит.

Как-то утром Малуша прибирала его светлицу. Казалось бы, что еще нужно? Подмела, сдула каждую пылинку, ложе застелила так ровно, что на нем и маковое зернышко было бы заметно, пол вымыла — все в светлице заблестело.

Но все равно княжичу Святославу она не угодила. Пока Малуша убирала, он все время стоял у окна, смотрел на Днепр, время от времени исподлобья взглядывал на нее.

— Долго ли ты будешь прибирать? Зачем гнешься, зачем?

Испуганная его криком, Малуша выскочила из светлицы, остановилась в сенях и заплакала. Плакала она, правда, тихо, чтобы никто не услышал, вытирала слезы, чтобы никто не заметил.

И вдруг услышала позади себя шаги. Оглянулась — княжич Святослав. Хотела бежать — он заступил ей дорогу.

— Ты чего плачешь?

— Я не плакала, княжич, ей-Перун, не плакала.

Он посмотрел на нее глазами, в которых было презрение и осуждение и крошечка еще чего-то, чего Малуша не могла понять. Но ведь на то он и княжич, только так он и должен был смотреть на Малушу.

— Эй ты, девушка! — сердито произнес Святослав.— Не плачь! О чем, о чем ты льешь слезы?

Он ушел, и Малуша перестала плакать. Боже сохрани, Святослав еще расскажет княгине... Он страшный, не такой, как все, его нужно остерегаться больше, чем всех.

С тех пор она всегда боялась его. Особенно когда встречала в темных сенях терема или в сумерки где-нибудь во дворе. Увидев его издали, она низко кланялась, ниже, может быть, чем следовало, и очень медленно, медленнее, чем нужно, поднимала голову, надеясь, что за это время княжич пройдет мимо.

Но когда она наконец поднимала голову, то видела, что Святослав не прошел мимо, остановился, стоит, ждет, нарочно ждет, когда она выпрямится.

И тогда Малуша встречала взгляд его серых глаз, видела сжатые губы, суровое лицо и еще что-то странное, похожее на улыбку. Так и продолжал свой путь княжич Святослав — с суровой усмешкой, с прищуренными глазами.

Раньше, будучи дворовою, Малуша брала и давала каждому только то, что велела Ярина. Теперь решала и прикидывала, как самой сделать так, чтобы не сердилась княгиня.

И давала Малуша не больше, а может, и меньше, чем дала бы княгиня. Это происходило не от скупости. Если бы все княжеские богатства принадлежали ей — о, тогда бы Малуша раздавала все щедрою рукой! Но, раздавая чужое, она берегла только одно — свою честь.

Как-то Добрыня сказал ей:

— А знаешь, Малуша, что-то наши гридни не слишком хорошо говорят о тебе.

Она даже покраснела. От гридней, как говорили ей все, нечего ждать доброго слова, они постоянно пьют, гуляют, каждый из них только похваляется, иного и не услышишь. Но неужели кто-то из них посмел сказать о ней дурное? Ведь она ни с кем из них не встречалась, повода не давала.

— Что же они говорят? — спросила Малуша.

— Говорят,— ответил Добрыня,— что ты такая же, как ключница Ярина: лишней корчаги меда не дашь, покорм выдаешь скупо.

У нее отлегло от сердца: разговоры, значит, идут не про ее девичью честь.

— И покорм и мед я выдаю так, как велит княгиня,— сердито ответила она брату.— А твои гридни ненасытные, им целого быка дай — и то будет мало.

Добрыня с оттенком презрения посмотрел на Малушу. Смотри, какова стала его сестра,— не за гридня заступается, а за княгиню! Да неужто она не понимает, что без гридня и княгиня не княгиня, а уж без него, Добрыни, и Малуше бы вовек не видать Горы!

Он ничего не сказал Малуше, но подумал, что, как видно, гридни говорят правду. Страшны князья земли, но не лучше и те, кто им служит. Только не подумал Добрыня о себе и о том, что он сам служит князьям, что жизнь его в княжьей воле.

Не сказал он Малуше и о том, почему завел этот разговор. Она постояла минутку, прищурив глаза, глядя на стену и на Днепр. А потом неожиданно вздрогнула, не попрощалась, слова не сказала, побежала тропинкой между деревьями к терему. И не то почудилось Добрыне, не то так оно и было, только ему показалось, что Малуша вытирает слезы. Подумаешь, нельзя ей и слова сказать!

А говорил Добрыня с Малушей так потому, что очень ему было жаль своего побратима Тура. Был гридень как гридень, а тряпкою стал.

Все началось с того времени, как Тур признался Добрыне, что Малуша ему нравится, что она не хуже горянских девушек.

На самом же деле Тур полюбил Малушу; она казалась ему лучше всех девушек на Горе, хотя были среди них и воеводские, и боярские, и княжеские дочери.

Он полюбил ее, ходил тут, по Горе, и жаждал встретить ее, ехал с другими гриднями по далекому полю, но и там думал о ней. А как он был счастлив, когда один и второй раз встретил ее на Горе! Правда, Тур не разговаривал с нею, но ничто не мешало ему думать о ней, и он думал, мечтал, представлял себе, как однажды он, встретившись с нею, скажет ей все искренне, открыто.

А сказал бы он ей, как думал и передумал не раз, должно быть, так: «Вот я, Малуша, посмотри на меня — гридень! А что такое гридень? Княжий слуга, рабичич. Сегодня живу на белом свете, а завтра, если пошлет князь на смерть, помру. Только я, Малуша, наверное, не помру. Видишь, уже и ребра у меня переломаны, и рука покалеченная болит, однако меня уже теперь, пожалуй, ни копье, ни стрела не возьмут, знаю я против них слово, а какое — не скажу...»

Так думал начать Тур, а дальше он сказал бы: «А теперь о тебе, Малуша... Я — рабичич, а ты — раба, и у тебя такая же доля, как у меня! Ладно, могло бы быть куда хуже. Тебя взяли на княжий двор, потому что ты въехала на Гору под щитом, а что дальше? Будешь ты работать на кухне, есть княжьи объедки, ну, может, за долгие годы что-нибудь и сколотишь, не востоляную свиту наденешь, а из крашеницы, может, даже из шерсти. А что дальше? Ты под щитом въехала на Гору, но ты рабыня и рабынею будешь. Вот как!»

Но Тур на этом бы не закончил, а непременно сказал бы еще Малуше: «А что, если бы мы, Малуша, сделали так? Ты — раба, я — рабичич, счастья нет у тебя, и не будет его тут, на Горе, и у меня не будет его вовек, а я ведь тебя — слышишь, Малуша? — люблю так, как никого на свете; может, и ты меня полюбишь, может, не так, пусть хоть немного меньше. И вот я скажу князьям: «Служил я вам — дайте пожалованье, клок земли над Днепром, где я построю жилище». Дают же князья гридням, кто верно им служил, пожалованье землей. И ты, Малуша, скажешь княгине: «Служила я вам — отпустите теперь на волю, хочу жить с таким же рабичичем, как я сама, свел нас Ладо...» И князья отпустят, как же можно не отпустить!»

Разумеется, Тур думал, что этот разговор с Малушей состоится не скоро. Пройдет год, другой, может, и десять,— трудно служить, а еще труднее заработать что-нибудь у князей. Но Тур согласен был ждать, ни он сам, ни раба Малуша не могли уйти от своей доли...

И вдруг случилось то, чего Тур никак не ожидал: Малуша — ключница. В пасмурный осенний день, когда весь Днепр укрыли густые туманы, а вверху неслись тяжелые темно-серые тучи, гридень Тур стоял на высокой круче за Горою и не видел ни неба, ни туч, ни Днепра. Черная туча закрыла его сердце, обволокла душу.

Малуша — ключница! Теперь конец всем мечтам, никогда уже ничего он ей не скажет. Пока она была рабою, он годился ей в пару — о, какая рабыня на Горе не стала бы рядом с молодым, славным гриднем! Теперь она — ключница, у нее ключи от княжьих теремов, кладовых и клетей. Попробуй поговори с такою! Все гридни боялись ключницы Ярины, теперь они, должно быть, будут бояться и Малуши.

Что-то в душе, правда, говорило: «Нет, она не такая! Она — иная, такая же, как ты, Тур!»

Но ему было страшно. Нет, не за себя боялся Тур. Чего бояться княжьему гридню? Он не боится ничего, даже смерти. Бесконечно любя Малушу, он боялся за нее.

Откуда-то далеко-далеко из-за Днепра донесся гром — там Перун уже шел над землею, махал своей сверкающей налицей, тучи росли, все темнели и темнели. Так в светлую радость людей вплетаются горе и печаль, так в ясной тишине рождаются громы и молнии.

Вечером, лежа рядом с Добрыней, Тур долго не мог заснуть. Во дворе шумел ветер, гремел гром, дождь, как просо, сыпался и сыпался на крышу их хижины. И тогда Тур сказал:

— Хорошо, что Малуша теперь ключница, только страшно, как бы она не стала такою, как Ярина. Та, бывало, за корчагу меда или горшок молока и гридня продаст.

— Она не такая,— ответил на это Добрыня,— она гридня не продаст, род наш честный.

— Если бы так...— прохрипел Тур.

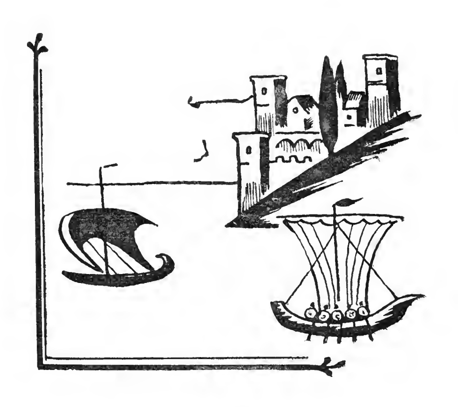
Опершись на локоть, он долго ждал, пока отгремит Перун, а потом добавил:

— Если бы так, было бы хорошо... потому что я...

Гридень Тур не успел, да и не смог сказать то, что думал.

В это время ударила молния, осветила через раскрытую дверь внутренность гридницкой, и Добрыня успел увидеть лицо Тура, его широко открытые глаза, сжатые губы, муку и боль в каждой черте.

Перун подошел совсем близко, ударил налицей и погасил молнию.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Княгиня Ольга сделала то, что замыслила,— весной 957 года собралась в Константинополь.

Ехать туда она могла разными путями: полем — через земли тиверцев и уличей и дальше через Болгарию или же по Днепру и через Русское море, как ездили обычно купцы и гости.

Она выбрала второй путь. Так можно было добраться до Византии безопаснее и быстрее. Старой княгине и всему ее почету легче было путешествовать в лодиях, нежели на лошадях; желая добра и покоя Русской земле, она считала более полезным говорить не с болгарскими каганами, выполняющими волю Константинополя, а с самими императорами.

К далекому путешествию княгиня начала готовиться с зимы: сама отобрала для императоров и всех, кому будет надобно, великие дары — меха, рыбий зуб, золотые и серебряные эмали,

бобровые благовония, а на всякий случай несколько мехов с дирхемами, кунами, резанами. Зимой же для княгини и ее почета на Почайне просмолили и настлали сверху доски на нескольких лодиях, подняли борты; в конце зимы воевода Свенельд послал тысячу воев в поле над Днепром, чтобы стеречь пороги, пока их будет проезжать княгиня, и провожать ее дальше берегом моря до земель тиверцев и уличей.

Долго думала княгиня, кого ей взять с собой в далекий путь. Не на брань ехала она, а для хитрых и сложных переговоров, во время которых хотела иметь под рукой людей со смекалкой, бывалых. Взвесив все, велела она готовиться в дорогу двенадцати послам, пятидесяти купцам да еще пяти толмачам, которые гораздо знали греческий, франкский и латинский языки.

Кроме того, дабы не думали императоры греческие, что киевские князья не имеют ни роду, ни племени, пригласила она ехать вместе с нею родственниц своих: посестрин, племянниц — и еще жен князей черниговского и переяславского.

Те только того и ждали, всю зиму шили разные уборы, сапожки из зеленого и красного сафьяна, все примеряли, все одна перед другою хвалились: вот, мол, я какова, вот удивим Царьград!

А княгиня Ольга только ходила по терему, усмехалась, думала: «Погодите! Что вы запоете, когда колыхнет вас Русское море?»

Ключнице Малуше княгиня велела отобрать десять дворовых девушек, самых красивых, здоровых, ловких.

Услыхав этот приказ, Малуша подумала: «Мне бы поехать с княгиней в Царев город!»

Но, когда княгиня добавила: «А тебе, Малуша, быть здесь, на дворе. Смотри, чтобы и в тереме порядок был, и чтобы княжичи были ухожены»,— ключница поняла, что судьбы ей не обойти, что она и в самом деле должна оставаться в городе, раз ее княгиня едет в далекий путь.

После одной бессонной ночи княгиня пригласила к себе священника Григория.

— И ты, отче, поедешь со мною,— сказала она.

— Куда, матушка княгиня? — спросил он, не поняв сначала, о чем идет речь.

— В Царев город, Константинополь,— ответила она.

Старик священник вконец перепугался, услыхав о такой дальней и тяжкой дороге, но ответил хитро, по-своему:

— Зачем же мне ехать в Константинополь, мать-княгиня, ежели я крестился у болгар в Преславе?

— Со мною поедешь, отче, аки пастырь истинной веры.

У него заблестели глаза.

— Так, может, мать-княгиня, едем мы для того, чтобы там принять для всей Руси христианскую веру?

— Нет, отче,— сурово ответила княгиня,— ты поедешь со мною не для того, чтобы взять у императоров Христа, а дабы ведали они, что есть на Руси христианская вера и что я, княгиня, такожде христианка и пресвитера своего имею...

Священник Григорий, радуясь, что началась эта беседа, снова спросил о том, о чем не раз уже раньше допытывался:

— Добро деешь, княгиня, что не берешь у греков Христа, но, может, возьмем его у болгар... Ты же, мать-княгиня, сама христианка.

— Верю во Христа, отче Григорий, ибо знаю, что токмо Христос защитит меня, князей и тех воевод, купцов, бояр, что не принимают Христа. Знаю, Христос защитит и многих людей моих, иже омылися купелью святою, совлекли греховные одежды ветхого человека Адама...

Священник Григорий молитвенно поднял очи к небу и произнес:

— Почему же ты, княгиня, денница перед солнцем, заря перед светом, сама сияешь, аки луна в нощи, а не крестишь неверных людей, не омовенных крещением святым, потопающих в грехах, аки бисер в кале? Крести, княгиня, Русь, сделай христианской свою землю.

— Не могу, отче Григорий, боюсь. Неверным моим людям вера христианская уродство суть, не смыслят бо, не разумеют, во тьме ходят, не ведают славы господней, одебелело бо их сердце, ушами тяжко слышати, очами видети... Крещу я ныне Русь — многие смеяться начнут и противиться такожде, а может, отче Григорий, даже пойдет племя на племя, земля на землю...

Задумался священник и, наверное, припомнил все, что приходилось ему слышать от неверных киевлян,— и насмешки, и брань, и угрозы против христиан. И это в Киеве, где рядом Гора, дружина, княгиня-христианка. А что будет, если крестить весь или мерю, всю чудь заволоцкую? Правду говорит княгиня: окрестить Русь — все равно что зажечь пожар по всей земле.

— Так, мать-княгиня,— согласился он,— Русь крестить ныне нельзя. Будем верить, что придет когда-нибудь на Русскую землю познание, крестим мы ее, дадим Христа. Так когда же, княгиня, будем выезжать в Константинополь?

## 2

Как только Днепр сбрасывал ледяной покров и разливался, в Киев из далеких заморских стран прибывали гости, зимовавшие в низовьях Днепра и за Верхним волоком, ожидая там теплой поры; прибывали также из червенских городов и с Итиль-реки, где застала их и не пустила в Киев зима.

Много, очень много могли бы рассказать гости из чужих земель о путях, которыми пробирались они сюда, в Киев. Это были дальние, очень тяжкие пути, когда приходилось ехать месяцы и годы безводными пустынями, морями и реками, горами и степями. Это были опасные пути, ибо повсюду заморского гостя подстерегали страшные опасности — буря на море, самум в пустыне, орда в диком поле, зверь и разбойник за каждым камнем и кустом. Купец в те времена должен был быть и воином; на спину его коня были навьючены товары, но у пояса висел и меч. Для охраны купцы нанимали еще и дружину. Однако многим гостям, из далеких земель ехавшим к Днепру, так и не суждено было напиться воды из него. Не всегда и киевские купцы добирались до заморских земель. Три пути тянулись от Киева-града: Залозный — от левого берега Днепра через дикое поле, реку Танаис, по великой реке Итиль и далее Джурджанским морем в земли китайские, аравийские до Баб-эль-Абваба, Бердаа и самого Ховерезма; на юг от Киева через поле и по Днепру шел Соляной путь, по которому ездили к печенегам, херсонитам, болгарам, грекам и еще дальше, в Середземное море; был еще и Червенский путь — от Киева на запад, в города на Карпатах, к чехам, полякам, франкам.

Но в Киеве, на Подоле, все забывалось — и далекие пути, и страшные приключения в дороге, и даже те, кто не доехал до Киева, а истлевал где-то в песках или на дне морском. Над Почайною в Киеве терпко пахло смолою, повсюду вдоль берега так тесно, что можно было переходить с лодии на лодию, стояли большие, длинные ушкуи, приплывавшие сюда из северных морей, шнеки и бусы из Чуди, струги и учаны из Новгорода, тяжелые морские хеландии греческие. И все люди, издалека приплывшие на них в Киев, спешили на Подол, на торг.

Торг на Подоле кипел, шумел, бурлил. Издалека была видна многолюдная толпа на огромной площади, посреди которой стоял высокий столб и пылал огонь.

Тот, кто подходил ближе, видел уже не столб, а высеченное из ствола дуба подобие животного и человека. Туловище статуи напоминало тело человека с большими, будто женскими грудями, длинные руки тоже были похожи на человеческие, они шли вдоль туловища и почти достигали земли. В голове же идола, если не считать глаз и носа, было что-то звериное: рот был растянут до огромных ушей, из него выдавались острые кабаньи клыки, а над головой торчали железные рога.

Это был Волос — бог торговли. К нему порой с благодарностью, порой с надеждой подходили киевские гости, ездившие в далекие края; со страхом поглядывали на него заморские гости — варяги, хозары, да и греки-христиане.

Каждый день, с утра до вечера, бог Волос поглощал свои жертвы. Перед ним на сложенном из камня жертвеннике горел

огонь, киевские и заморские гости подходили и складывали свою дань: кто живого петуха, кто мех, жбан меда, кадь ячменя или проса.

Богу Волосу нелегко было, разумеется, переварить эти жертвы, огонь перед ним должен был гореть день и ночь. Поэтому возле подобия божьего всегда возились несколько жрецов, они подкладывали дрова, резали и бросали в огонь части жертвенных животных, лили мед, клали воск. Если жертва была ценная — полотно, мех,— они вешали на день такие вещи на туловище Волоса, где были для этой цели железные крюки, а ночью снимали. Жили жрецы подле своего бога в землянке, где у них был настоящий склад добра: богу — богово, жрецам — на насущный день.

Около Волоса били в бубны и играли на дудках жрецы, к жертвеннику подходили купцы киевские и заморские гости, на железных крюках колыхались меха, в буйный огонь падали части принесенных в жертву животных, сыпалось зерно, лилось вино. В воздухе пахло жареным мясом, ладаном, смирною. А к жертвеннику подходили все новые и новые купцы, гости из чужих земель.

С самого раннего утра до позднего вечера шумел, кричал многими голосами на различных языках Подол: тут киевский купец чеканил русские слова, там грек что-то кричал, выхваляя свой бархат, где-то дальше быстро сыпал словами хозарин, а там аравиец, не понимая того, что ему говорят, и не зная, как самому объясниться, хоть возле него и крутились толмачи, обливался пóтом, подмигивал, поднимал руку к небу, тыкал пальцем в сердце, подбрасывал на ладони свой товар.

На главном месте, поближе к богу Волосу, стоят купцы земель русских: новгородцы привезли на торг горючий камень, собранный на берегах Студеного моря, груды шкур соболиных, куньих, горностаевых, черно-бурой лисицы, шкуры морского зверя; языки из-за волока продают оленьи, заячьи, козьи меха; древляне похваляются шкурами и показывают бараньи пузыри, в которые налиты бобровые благовония; вручайские камнерезы привезли на торг возы красного шифера и горы пряслиц; Полянская земля засыпала торг пшеницей, ячменем, просом, перед купцами стоят кади с пахучим медом, лежат большие, похожие на жернова, круги желтого воска. Богаты купцы Русской земли, есть у них что продать гостям заморским.

А гости эти уже тут, настороже. На Почайне колышутся их лодии, на берегу стоят лошади и верблюды, возле которых прямо на песке спят утомленные дружины, а рабы носят и носят на торг товары далеких гостей.

Самые крикливые из них — греки. Они часто бывают в Киеве-граде, знают язык здешних людей, разговаривают без толмачей. Их рабы носят от Днепра и кладут на помосты греческие паволоки и римские дибаджи, перед ними стоят высокие кув-

шины с вином, амфоры с благовониями и мастиками, лежит золотое и серебряное узорочье, на коврах рассыпаны обручи для шеи, рук, ног, перстни, колты с драгоценными камнями, эмали.

Греки-херсониты, живущие на Белобережье, навезли и насыпали на торге груды соли, вяленой рыбы, они же пригнали целые табуны лошадей. Лошади эти еще недавно вольно мчались по степям вдоль Русского моря, а херсониты их поймали, взнуздали, приучили к седлу. Не лошади — ветер, они роют копытами песок, ржут над Почайной.

За херсонитами — аравийцы, перед ними зеленые бусы из Ховерезма, жемчуг из полуденных теплых морей и снова благовония и мастики, корица, перец, лавровый лист, ладан и смирна.

Больше всего гордятся аравийцы мечами из Багдада. Всем известно, как они закаляют их: летят на удалых конях навстречу холодному ветру. Но сейчас аравийские гости через толмачей стараются пояснить, что на этот раз их мечи еще лучше, потому что они закаляли их в мускулах живых рабов. И рабы тут есть, их тоже привезли на торг. Печальные смуглые юноши и девушки стоят неподалеку от купцов.

Товар обменивается на товар. Пшеница — на соль, мех — на бархат, мед — на лошадей, и пшеница — на мед, меха, рабов. Но в запасе у заморских гостей есть и драхмы, дирхемы, динарии. У русских купцов тоже есть золото и серебро: это гривны, куны, резы — кусочки драгоценного металла, нарезанные из длинного прута.

Кроме гостей и купцов киевских, на торге полно других людей. Куда же и пойти в граде Киеве, как не на торг? Сюда идут и едут на возах с Горы, тут есть что выменять ремесленникам из предградья. А если бедняк с Подола просто только посмотрит на торг — и то для него утеха!

И расхаживали по торгу бояре в ярких платнах из бархата, обояра, атласа, с тонкими кружевами и золотыми застежками, в сапогах с высокими каблуками из красного и зеленого сафьяна, в шапках с меховыми оторочками, с цепями и гривнами. Расхаживали воеводы в бархатных островерхих шапках, с мечами у пояса, в добротных сапогах. Дружинники — в одежде похуже, в поршнях — тупоносых башмаках с длинными ремнями, обмотанными вокруг голени. Ходили и простые, бедные люди — в свитах, сермягах.

А возле греков и аравийцев, особенно там, где пахло благовониями, румянами и мастиками, где продавались различные украшения, шелестели бархат и адамашка, вертелись, приседали, щебетали боярские и воеводские дочки, порой вместе со своими матерями. Их все тут привлекало, все нравилось, все хотелось надеть на себя — все хотели принарядиться.

И не только ради этого приходили они на торг. Надев саяны, платья, кожушки с подпушкой, ожерелья, украсив пальцы зо-

лотыми перстнями с каменными подвесками, стянув волосы обручами и прицепив колты и серьги с драгоценными ахатами и лалами, они, рассматривая заморские товары, частенько поглядывали и на воевод и дружинников, которые, положив одну руку на меч, а другой подкручивая усы, расхаживали взад и вперед между рядами.

3

Покачиваясь на свежей волне, ниже Киева, в Витичеве, стоит немало лодий, а среди них и те, что еще зимой готовились для княгини. Туда же направлялись со стороны города возы со всяким добром, шли мужи.

У людей, отплывавших на лодиях, было много работы. Предстоял далекий и тяжкий путь — сначала по Днепру, а там и морем. Многие из них уже не раз водили лодии от Киева за море. Теперь они надеялись по полноводью миновать пороги, но все же клали в лодии и на насады всякое снаряжение: весла, рули, железные крючья, катки на случай, если придется волоком обходить пороги, да еще большие бочки, чтобы наполнить их пресной водой в устье Днепра, у выхода в море...

Рано проснулись все в княжьих теремах: и княгиня Ольга, и родственницы ее, и жены князей земель, которые приехали заранее и несколько дней ожидали тут. В эту ночь они совсем не ложились, сонные ходили из светлицы в светлицу, велели то увязывать, то развязывать вещи. Княгиня Ольга за эти дни вовсе выбилась из сил, выслушивая их вопросы и расспросы о далекой дороге. Не спали всю ночь и дворовые люди — они готовили одежду княгине, дары, еду. Терем напоминал улей, из которого собирается вылететь рой: все в нем гудело, шумело, звенело, перекликалось на разные голоса.

Одна только княгиня Ольга оставалась спокойною. Малуша разбудила ее, как было приказано, после второй смены ночной стражи. Тогда к ней вошел Свенельд, ожидавший уже внизу, в сенях.

— Вот я и еду,— начала она.— Болит сердце, ноет тело, вовек бы не покидала Киева, но, сам знаешь, я должна ехать...

— Не тревожься, княгиня, поезжай спокойно,— сказал Свенельд.

— Как же мне не тревожиться, как быть спокойною! — всплеснула руками она.— Киев, все земли — как они будут без меня?

Она и в самом деле не представляла, как тут будет без нее.

— Оставляю я на столе Святослава,— продолжала княгиня,— пусть чинит суд, дает правду людям, говорит с воеводами, боярами, пусть учится. Но ты, Свенельд, будешь его правой ру-

кою. Спрошу не с него. Что Святослав? Он еще молод, дитя. Если возвращусь живою, спрошу с тебя...

— Не тревожься, княгиня, езжай спокойно,— еще раз повторил Свенельд.

— Ну ладно,— махнула рукою княгиня,— пойдем, там меня уже весь почет ждет.

Золотая палата киевских князей выглядела в это утро необычно. Тут горели все светильники, но на помосте не сидели князья, на лавках не было воевод и бояр. Послы, купцы, родичи княгини и вся челядь собрались тут, шумели, переходили из угла в угол, перетаскивали какие-то мехи, мешки, корчаги, горнцы, бочонки.

Когда княгиня вышла из своих покоев, все это разноголосое сборище онемело, остановилось. Долгим взглядом княгиня посмотрела на родственниц своих, на купцов, послов, помолчала немного.

— Сотворим по обычаю! — произнесла она наконец.— Сядем.

И все они сели: обычай велел перед дорогой сесть, принести жертву предкам, попросить, чтобы они тут оберегали дом, а также чтобы помогали в далеком и трудном пути. С такими думами сидели они некоторое время молча.

И даже священник Григорий, стоявший в углу палаты с небольшим узелком, в котором было Евангелие, написанное русскими словесами, да еще облачение для богослужения, не выдержал и тоже сел; он, как и княгиня Ольга, временами колебался — когда нужно поступать согласно обычаю, а когда по божьему слову.

— Вставайте! — сказала Ольга.

Княжий терем ожил, на лестницах и в палатах появились тиуны, ябедники, гридни, дворовые; они таскали мехи, узлы, горнцы, корчаги, катили бочки. Шум и крики вырвались наружу, где у крыльца уже стояли наготове возы, ржали оседланные кони. Где-то в темноте у Подольских ворот уже скрипели цепи на мосту, перекликалась стража. При свете факелов возы тронулись с места, захрапели кони под князьями и воеводами. Обоз, как гигантская змея, пополз в ворота, растянулся по мосту и исчез в ночной темноте.

Княгиня Ольга осторожно спустилась по мосткам в лодию и, опираясь на плечи родственниц и гребцов, прошла на корму, где для нее был приготовлен уголок.

Она остановилась и внимательно его осмотрела. Там был сделан и покрыт мехом помост, на котором можно было сидеть и лежать, дощатые загородки должны были защищать княгиню от ветра и волн, навес сверху — от дождя. Это был неплохой уголок, княгине он понравился, и она сказала:

— Что же, как-нибудь доедем.

И тут же вспомнила еще о чем-то: тронула рукой завесу, которой можно было закрыться от любопытных глаз тех, кто сидел в челне, сдвинула ее и раздвинула.

— И это хорошо,— деловито произнесла она.— Дорога дальняя!

И только тогда уверенно вошла, села, потуже завязала шаль на голове, подняла воротник, спрятала руки в широкие рукава.

— Закутайте мне и ноги! — велела она служанкам.

И они мехом обернули ей ноги, закутали княгиню.

На берегу все поняли, что наступила последняя минута перед отъездом, и замолчали, словно онемели. Ближе всех к лодии княгини стоял на обрыве Святослав, он беспокойно рыл правой ногой в красном сапожке песок, непрестанно осыпавшийся в воду. За ним стояли Улеб, воеводы и бояре во главе со Свенельдом, множество мужей с Горы, тиуны, огнищане.

Отдельно и поодаль от них, между редкими кустиками ивняка и молочая, толпились дворовые люди, среди которых можно было разглядеть и Малушу. Она была насторожена и встревожена, словно боялась, что княгиня вот-вот позовет ее.

Еще выше, у самой дороги, что вилась среди холмов по направлению к Киеву, стояли гридни, дружинники, возчики, сгрудилось много возов, кони грызли молодую траву.

А княгиня все сидела в лодии, как в санях перед далекой дорогой, суровая, задумчивая.

— Ну,— произнесла она наконец,— в путь!

— В путь! В путь! — зашумели в лодиях.

— Отплывают! — отозвался берег.

Лодийные мастера подняли якоря, бросили на берег веревки, которыми лодии были привязаны к деревьям, на мачтах тяжело поднялись, затрепетали в воздухе и надулись, вспухли крапивные ветрила, одна за другой лодии — насады, однодеревки — стали отрываться от берега.

— Отцы наши! Перун! Даждьбог!! — хватались за борта и звали на помощь всех богов родственницы княгини и служанки.

Княгиня сердито посмотрела на них и отвернулась — сидела на корме первой лодии хмурая, молчаливая, смотрела на неспокойный голубой плес, расстилавшийся меж зеленых берегов.

Дул верхний ветер, и лодии быстро убегали от Витичевой горы. Вот они стали сворачивать к острову у левого берега, вот, вытянувшись ключом, исчезли одна за другой в голубом тумане.

Тогда на кручах, где все стояли в молчании, зашевелились, задвигались, заговорили. Княжич Святослав вскочил на коня и двинулся вместе с дружиной. Воеводы окликали своих гридней и тоже садились на коней, бояре влезали на возы и пристраи-

вались на сене. У кого же не было на чем ехать, тот шел пешком. Вместе с дворовыми пошла и Малуша.

Впрочем, на берегу осталось еще несколько человек, которые, должно быть, хотели отдохнуть на зеленом просторе, у голубого Днепра, а может, и поговорить кое о чем.

Тут были князь переяславский Добыслав, только что отправивший с княгиней жену свою Сбыславу, роднянский тысяцкий Полуян, старые воеводы князя Игоря Бождан и Остер.

— Что бы сказал князь Игорь,— засмеялся, обнажив свои щербатые зубы, воевода Бождан,— если бы видел, какая рать двинулась на Царьград...

— Молчи! — хитро подмигнув, перебил его воевода Остер.— Ведь с этой ратью послал свою жену и князь наш переяславский.

— И что же, если моя жена!..— выругался князь Добыслав.— Коли бы сам посылал ее, то только на копье к Перуну. Велела княгиня Ольга — вот и поехала моя Сбыслава. Пускай едут, рать...

Все засмеялись, представив себе, как плывут лодии по Днепру и как ведет их княгиня Ольга.

— Не так ходили мы когда-то против ромеев,— раздраженно произнес воевода Бождан, вспомнив, как стояли они с князем Игорем под стенами Константинополя, и посмотрел старческими, но еще ясными голубыми глазами на далекие просторы за Днепром.

— И ведь ведала когда-то княгиня наша, кто есть враг Руси, а кто друг,— снова начал Добыслав.

— Где на Руси суть враги, она знала,— ответил на это Бождан,— примучивала, да еще как примучивала и древлян, и тиверцев, и уличей! А вот кто враг всей Руси — не знает, клянусь Перуном — не знает.

— Если бы она сидела не в Киеве, а на окраинах, то знала бы, какая угроза движется с поля и кто ее насылает на нас! — вконец рассердившись, крикнул Добыслав.— Пускай бы приехала да посидела на Переяславской земле! Кровью там обливаемся.

— Еще как обливаемся,— добавил тысяцкий Полуян из Родни.— Каждый день среди стражи на поле гибнут люди, а насылает на нас беду один враг — император ромеев.

И задумались воеводы, стоя над Днепром, уносившим их лодии в родное Русское море. Носил не с женами и слугами, а с дружиной и воями, они ни крови своей, ни жизни не жалели, лишь бы только стояла Русь.

— Неправое дело задумала княгиня,— сказал Добыслав,— и будем молиться, чтобы она живой и здоровой воротилась из Царьграда. Не словом надо бороться с врагом, который с оружием пошел на нас, а силою. На том стояла и стоять будет Русь!

4

Долго пришлось княгине Ольге со свитой своей добираться до Константинополя. Далекий и трудный путь расстилался перед ними через Днепр и Русское море. Но они миновали его счастливо: опасные пороги прошли по полой воде, море было спокойное, тихое, с суши за ними до самой земли уличей следила дружина и дымами подавала знак, что там все спокойно.

Разумеется, не обошлось и без приключений. И купцы, и послы, да и сама княгиня не боялись моря, выдерживали качку. Но с княжескими родственницами хлопот было немало. Как только налетал легонький ветер и вокруг разыгрывались волны, их мутило, валило с ног, они призывали на помощь всех богов, проклинали море, Константинополь. Княгиня Ольга, сидя на корме, наблюдала их муки и страдания, сжимала пересохшие от ветра и морской воды уста и отворачивалась, всматриваясь в даль.

Она впервые в жизни видела море и теперь все время любовалась его бесконечным простором, то голубым, то синим, то ярко-зеленым лоном, рассветами, ясными днями, чудесными вечерами.

Лодии плыли не только днем. Если стояла хорошая погода, продолжали плыть и ночами. Тогда на лодиях все спали, не слышно было ни голосов, ни крика, над морем стояла необычная тишина. Только гребцы поднимали и опускали весла да за бортами журчала вода.

Но эти звуки не мешали, а помогали думать, мечтать, любоваться. Княгиня Ольга смотрела на чудесный ночной мир, на звезды, ярко горевшие вверху, на их отблески, мерцавшие, как угольки, на ровном водном плесе, слушала далекие крики заблудившейся чайки.

«...Русское море! — думала княгиня.— Как и вся Русь, оно велико, необъятно, прекрасно в своих берегах. Сколько тут простора, воли, неземной красы!»

И она снова и снова задумывалась над тем, хорошо ли поступила, отправившись в Константинополь. Ведь она не с оружием двинулась в путь, не ведет за собою рать. С нею жены, послы, купцы, все они хотят сказать императорам, что Русь велика и могуча, у нее есть вдосталь солнца, земли и моря, она ничего не требует от Византии, хочет только жить в мире и любви, торговать.

И еще хочет сказать княгиня от всех русских людей императорам Византии, что у русов есть свое солнце, свои земли и моря, они никогда не посягали и не посягнут на Византию, но не хотят и не допустят, чтобы Византия посягала на Русь.

И княгиня верила, что сумеет добиться согласия с импера-

торами, что будет между ними спокойный, задушевный разговор. Когда-то древние князья, а позднее Олег и Игорь с оружием ходили на Константинополь, с копьями и мечами. Сейчас идет она с добрым словом, как христианка, есть с нею и пресвитер истинной веры — священник Григорий.

Только об одном думала с беспокойством княгиня — о возвращении обратно на Русь. В темные ночи, когда не видно было берегов, позади ее уголка стоял у кормила старый Супрун. Он еще с Игорем ходил в Константинополь, знал пути в безбрежных просторах моря, уверенно вел вперед лодию княгини.

Но он говорил:

— Все это ладно, матушка княгиня, плывем в мае-размае, когда на море тишина и покой, знай себе плыви да плыви. Хорошо будет, коли мы вскоре будем назад возвращаться. Но что будет, матушка княгиня, если мы замешкаемся в том Константинополе...

— А что такое, Супрун?

— Страшно море Русское осенью, когда начинается ревун,— отвечал Супрун.— Тогда, матушка моя, дует здесь такой ветер, что волны встают горами. В море пойдешь — потопит, к берегу двинешься — разобьет о скалы. Страшно Русское море осенью.

«Скорее,— думает княгиня,— в Константинополь — и обратно в Киев».

Среди темной ночи длинным ключом плыли лодии, и на всех однообразно скрипели весла, налегали на них гребцы. Они спешили, боялись грозного Русского моря.

### 5

Император Константин узнал, что лодии русов движутся к Константинополю, еще тогда, когда они проходили устье Дуная.

В Византии всегда интересовались тем, что творится в землях над Русским морем. На протяжении столетий императоры Восточной Римской империи расширяли ее границы и покорили мечом бо́льшую часть тогдашнего мира на западе и юге. Но на европейской суше у них был только клочок земли у Пропонтиды, и поэтому они стремились расширить свои владения на восток и север.

Что за земли лежат там, в Константинополе достоверно не знали, что за люди живут там, представления не имели. И поэтому историки их писали:

«Земля там хлебородная, воздух чистый и животворный. Они живут дольше и счастливее других людей, ибо не знают ни

болезней, ни злобы, ни войны, а проводят дни свои в невинных, беспечных утехах и в гордом спокойствии. Жильем им служат прекрасные леса и дубравы, плоды древесные — их пища; умирают они спокойно, и только когда жизнь теряет для них всякую ценность, тогда они устраивают пир для родичей и внуков, украшают венками головы свои и бросаются в волны морские...» (Плиний).

Разумеется, такая чудесная земля, да еще населенная столь незлобивыми, счастливыми людьми, которых ромеи называли гипербореями, очень привлекала императоров римских. Они были не прочь покорить эту землю, а людей ее, как и множество других народов Азии и Африки, превратить в рабов империи.

Греческие купцы садятся на свои корабли и выходят в Русское море, достигая его северных и даже далеких восточных берегов. Их встречают там местные жители — гипербореи — и радушно их принимают, называют гостями своими, ибо первейшим обычаем людей, живущих у Русского моря, было принимать гостей, как братьев. И греки, возвращаясь на родину, называют море, в котором они побывали, Понтом Евксинским.

У себя на родине эти первые купцы рассказывают необычайные вещи о Понте Евксинском и людях, живущих на его берегах. Это, оказывается, вовсе не гипербореи, а скифы, анты, склавины. На берегах Днепра, где стоит град Киев, издавна живет Русь, еще дальше на север — другие племена, которых купцы не видали, и все это очень мирные, гостеприимные, подчиненные Киеву люди.

И земля у них богатая: в ней бесчисленное множество городов и селений, а на полях вокруг них сеют зерно, пасут скот, в лесах бьют дорогого зверя, в реках ловят рыбу. Это поистине богатая земля.

Тогда к берегам Русского моря отправляются уже не только купцы. С большими дружинами едут туда греческие патрикии — полководцы, стремящиеся, как это делалось везде и повсюду, захватить плодородные земли у моря. Они высаживаются на берег, закладывают там города, оседают в низовьях Днепра, вторгаются на большой полуостров, что врезается в Русское море, пробиваются на далекое восточное побережье.

Так проходили века, и города эти то рассыпались в прах, то снова вырастали, разрушались и опять возрождались. Ибо, как оказалось, люди у Русского моря охотно принимали у себя греков, если они приезжали как гости, но брали в руки оружие и нещадно били, если видели в них завоевателей. Так были разрушены все города на низовьях Днепра, у Русского моря, на восточном его побережье. И завоеватели удержались только на полуострове, врезавшемся в море,— в земле Корсунской. Именно

тогда в Константинополе стали называть Русское море Понтом Аксинским.

А потом и сами князья Руси, во главе с князьями киевскими, с большими своими дружинами, на сотнях лодий переплыв Русское море, явились в Константинополь. И были это не те гипербореи, о которых писали историки ромейские, а сильные, непобедимые люди.

Русские князья приходили в Константинополь не приневоливать ромеев. Они говорили, что у них есть вдосталь земли и богатства, что русские люди хотят водить любовь и дружбу с другими народами, но не могут терпеть, когда чужеземцы-ромеи строят свои города на берегах их Русского моря, лезут на восточные берега этого моря, вторгаются даже на Итиль-реку.

В ответ на это, чувствуя грозную силу русских людей, императоры нового Рима клялись по закону своему — перед крестом, что не будут трогать русов. Русские же люди, по обычаю своему положив перед Перуном мечи и щиты, давали клятву, что будут охранять мир с императорами, пока светит солнце.

Русские люди говорили правду — они желали только мира и дружбы с ромеями. Ромеи же клялись облыжно — они и не думали убираться с берегов Русского моря, продолжали строить города на его берегах, лезли на Дон и Итиль, породнились даже с хозарскими каганами, хотя те исповедовали иудейскую веру, а их зодчий Петрона помог хозарам построить на излучине Дона, где проходил волок русских купцов на Итиль, могучую крепость Саркел.

И снова русские князья не раз приходили на своих лодиях под стены Константинополя, чтобы мечом решить, кто из них деет по правде, а кто творит лжу. В Константинополе трепетали, когда слышали имена князей Олега и Игоря. Эти имена заставляли содрогаться всю империю.

К тому же Русь была не одинока. Между ее землями и империей лежала еще одна страна, которая тоже не хотела покоряться империи,— Болгария. С этой землей и ее людьми у Руси была старинная дружба и мир. И язык и обычаи у них были почти одинаковые. Болгария делилась с Русью своей письменностью. Ее учителя, Кирилл и Мефодий, бывали в Киеве и даже в Корсунской земле, патриархи болгарские посылали на Русь своих священников, князь киевский Игорь и каган Болгарии Симеон, желая добра землям своим, один за другим ходили на Константинополь. И ромеи одинаково трепетали перед русскими и болгарами.

Император Константин VII Порфирородный хорошо знал, как его предки — и Михаил II Косноязычный, и Михаил III Пьяница, и Василий I, и Константин VI, и особенно отец его Лев Философ — боролись с болгарами и русами. Ни на шаг не

отступая от замыслов и заветов предков, он считал, что Восточная Римская империя неминуемо сразится с Русью и должна победить ее. Правда, император был уверен, что произойдет это позднее, уже при его сыне, Романе. Обладая склонностью и любовью к сочинительству, он написал даже обширный трактат «Об управлении империей».

Что и говорить, император Константин долго и тщательно собирал сведения для этих своих трактатов. Когда послы его и купцы ездили на Русь, а потом возвращались в Константинополь, они прежде всего являлись к императору и рассказывали ему о ее городах, землях и людях... Но самый лучший рассказ не может заменить собственных глаз. Император Константин так и не мог постигнуть, что это за земля Русь, каковы ее люди. Для него это были схожие между собою гипербореи, тавроскифы, варвары, что ходят в звериных шкурах, жадные к деньгам, неверные и худородные жители севера. И Константин в своих трактатах доказывал одно: нужно ссорить болгар с русами, исподтишка подкрадываться и уничтожать болгар — соседей Византии, а потом... потом бить и русов, захватывать их богатые земли. Разделяй и властвуй,— так писал император.

Так он писал и действовал не напрасно. Уже задолго до этого в Болгарии умер лютый враг римских императоров болгарский каган Симеон, на престоле в Преславе сидел сын его Петр. Жена Петра Мария была внучкой императора Романа, дочкой императора Христофора и ненавидела болгар. Теперь Византия держала в Болгарии свое войско, строила крепости на берегах Дуная. Единственное, что имели болгары — веру, церковь: их патриарх не признавал главенства константинопольского патриарха и сидел на своем столе в Доростоле.

Как только лодии княгини Ольги достигли Дуная, каган Болгарии Петр световыми знаками от фара в Преславе до фара у Большого дворца в Константинополе передал известие:

«Лодии русов под знаменами идут в Константинополь».

Одного только не знал император Константин — кто и зачем едет на этот раз из Руси в Константинополь. Купцы? Они не поднимают знамен. Послы? И им не принадлежат знамена. Киевский князь Святослав? Но от своих купцов и послов император Константин знал, что он еще молод, не стал еще князем и вряд ли пойдет на Константинополь...

«Может быть, это хитрая ловушка русов,— думал император Константин,— может, идут они с небольшим числом людей, а за ними двинется тьма лодий?»

И на всякий случай император Константин велел выслать за Босфор, в Русское море, фалангу быстрых хеландий с легионерами и греческим огнем, надежно охранять входы в Босфор, а от берега до берега Золотого Рога протянуть тяжелую железную цепь.

## 6

Больше сорока дней плыли лодии княгини Ольги и ее купцов — сначала по Днепру, потом вдоль берегов Русского моря до устья Дуная, а дальше, чтобы сократить путь, оторвались от суши и двинулись по безбрежным морским просторам, направляясь к юго-западу.

Все время погода благоприятствовала им: на море стояли тихие дни, душные ночи, на горизонте не видно было ни облачка, кормчим нечего было опасаться, что налетит буря и забросит их куда-нибудь в Ираклион или Синоп. Впрочем, эта тишина весьма затруднила их путь — приходилось продвигаться вперед на веслах, вои гребли и день и ночь, в кровь изранили руки.

Время от времени они догоняли или встречали в море различные суда. Это были греческие хеландии, корабли херсонитов, остроносые кубары из Абхазии, Армении, Пафлагонии, Халдеи. Одни из них плыли, как и они, в Константинополь, другие возвращались из столицы Византии.

А неподалеку от Босфора они встретили не совсем обычные суда. Это были греческие корабли, которые могли идти под ветрилами и на веслах, очень большие — на восемьдесят гребцов каждое, обшитые высокими бортами по бокам, с закованными в броню воями. Корабли эти — а было их больше десяти — прошли утром поблизости от русских лодий и медленно исчезли в морском просторе. Но к вечеру они появились снова, уже сзади, и так шли полукругом, словно окружая русские лодии, весь день, ночь, следующий день.

— Это военные корабли ромеев: вон те, большие — дромоны, поменьше — скедии,— сказали бывалые вои.— Но зачем они появились здесь и словно гонятся за нами?

На этот вопрос никто ответить не мог. Только вои на лодиях гребли все сильнее и сильнее, часто сменялись.

И вот далеко на небосклоне показалась земля. Сначала никто не поверил. Некоторые даже лезли на мачты, стараясь разглядеть, что это за синяя полоска выступила далеко впереди в слепящем солнечном блеске. Но сомнения не было — там, на западе, поднималась из моря и все больше росла, стеною возникала земля.

Это был Босфор, цель их многодневных скитаний,— глубокое, наполненное водою ущелье между Русским и Мраморным морями, ровный, уже теперь безопасный путь к Константинополю.

Греческие дромоны и скедии, преследовавшие их в последние дни, остались далеко в море. Но на смену им появились но-

вые корабли ромеев. И сколько ни плыли лодии меж двумя высокими берегами Босфора, повсюду в заливах под скалами стояли другие кубары и скедии. Похоже было, что они готовы в любую минуту поднять якоря и наброситься на лодии русов. Но те продолжали тихо, спокойно продвигаться между берегами.

— Стерегут ромеи Босфор,— говорили на лодиях,— боятся за Константинополь. И видать, больше всего на свете боятся русского духа.

— Оборони бог,— отзывался на лодии другой голос,— встретиться с ними малым числом. Да еще далеко в море...

— А что? Нападают?

— Еще как! У гречина совести нет: на торге готов с тебя шкуру содрать, а в море один на один встретит — отнимет все добро и душу. Сколько тут на дне лежит наших лодий, а сколько людей похоронено без могилы и тризны!

Княгиня Ольга слушала эти разговоры и представляла себе, как когда-то муж ее, князь Игорь, плыл с дружиной своей на лодиях по Босфору, поспешая в Константинополь. Нелегко было это сделать, не только лодии — чайке трудно пролететь между этими двумя мрачными, скалистыми берегами, а на каждом шагу тогда можно было ожидать сопротивления, измены...

Теперь лодии княгини Ольги миновали последние узкие ворота Босфора, плыли после этого еще одну ночь, а на рассвете следующего дня их глазам открылась такая величественная, прекрасная, неповторимая картина, что люди не могли усидеть на своих лавках — встали, а гребцы выпустили из рук весла.

Перед ними, куда только хватал глаз, лежало бесконечное, теплое, нежно-голубое, почти зеленое Мраморное море, над которым там и сям, отражаясь в воде, рождались, плыли и исчезали белые облака, плескались похожие на лебедей с крутыми, длинными шеями волны, а над ними летали с криками, носились, как сверкающие молнии, белокрылые чайки.

Направо же, на краю неба, но, казалось, совсем близко, высился, круто обрываясь над морем, огромный полуостров; четко видны были зеленые леса, серые стены. Дальше в глубину на многочисленных горах — золотые купола дворцов, церквей и среди них несколько куполов чуда тогдашнего мира — собора святой Софии.

— Константинополь! Царев город! Царьгород! Чудо из чудес! Красота несравненная! — слышались женские, да и мужские голоса на лодиях.

Только бывалые, израненные в битвах вои-гребцы, опустив весла, стояли молча и невеселыми взглядами окидывали Царьград. Им не впервые приходилось бывать здесь, они хорошо знали Константинополь, а у некоторых из них заныли кости и заболели рубцы на теле,— это были те, кто ходил сюда с князем

Игорем, кто стоял и дрался под этими высокими серыми стенами.

Молчала и княгиня Ольга. В этот поистине прекрасный и неповторимый час она думала о судьбе родной земли, о заботах которые привели ее сюда, в далекое Мраморное море. Княгиня видела Константинополь и вспоминала далекий Киев, вдыхала солоновато-горькие запахи моря и вспоминала, как в эту пору у Днепра, на Полянской земле, сладко пахнут спелые хлеба.

Лодии еще недолго плыли морем и вскоре достигли Суда. Тогда от берега смело и дерзко отчалило и пошло рядом с русскими лодиями множество греческих хеландий.

— Встречают? — удивился кто-то.

— Не встречают, а осматривают,— отвечали ему бывалые вои.

Это, однако, никого не обеспокоило. Осматривают — ну и пусть осматривают, ничего они на русских лодиях не увидят. Все устремили взгляды на Золотой Рог, берег с правой стороны и, главное, на полуостров, выдававшийся слева далеко в море.

На этом полуострове, за серыми стенами и четырехугольными высокими башнями с переходами и мостками, которые, казалось, вырастали прямо из скалистого, каменного берега, на семи зеленых холмах раскинулся огромный город Византион, как называли в старину тогдашний Новый Рим Восточной империи — Константинополь. С левой стороны, на оконечности полуострова, над самым морем виднелись между стройных кипарисов дворцы императоров ромеев, церкви и соборы с позолоченными куполами и крестами. Надо всем этим высилась, словно висела в голубом небе, святая София. И повсюду были стены да стены, которые, по утверждению греков, помогали строить боги Аполлон и Посейдон. Но можно ли верить сказкам? На самом деле нечеловеческим трудом рабов своих построили их императоры Нового Рима — Константин Великий, Феодосий I и II, Ираклий, Феофил и их преемники.

И сейчас новые императоры были там, за этими стенами. Подальше от их дворцов город выглядел иначе. Словно по ступеням, поднимаясь все выше и выше, громоздились постройки и церкви; серые, мрачные, унылые, они тянулись до самого горизонта, сливаясь с тучами.

Увидели гости и Суд, который в красноватом свете угасающего дня действительно напоминал золотой рог. Широкая горловина его выходила к морю, узкий конец терялся где-то среди равнин и лесов; и русские лодии долго плыли этим заливом, пока не очутились перед монастырем св. Мамонта, где обычно останавливались русские купцы и гости.

В этот вечерний час в Золотом Роге от бесчисленных кораб-

лей со всего света, которые, бросив якоря, отдыхали на его спокойных волнах, не было видно воды. Тут были суда, проделавшие долгий и трудный путь по Русскому морю,— на них ехали купцы из государства Шахарменов, из Ширвана, Ховерезма, Багдада, Кашгара и даже из китайского Чанваня. Рядом покачивались корабли, прибывшие с Пелопоннеса, из Аравии, Египта и других южных земель. А были еще корабли, прибывшие через Средиземное море с конца света — с западного океана, с раскинутых на нем островов.

На кораблях слышались различные голоса и различные языки заморских гостей, уже тут, на воде, они обменивались, что-то покупали и продавали, торговались.

До захода солнца с лодий выбросили якоря, и княгиня, купцы русские и послы увидели берег за Золотым Рогом — Перу, напоминавшее Киевское предградье. Там местами высились церкви и башни; одна из них, башня Христа, стояла над самым морем, против оконечности полуострова,— там виднелись убогие хижины, землянки, пещеры в скалах, помосты, на которых строились корабли. А там далеко, в последних лучах теплого солнца, нежно голубели горы.

Когда лодии остановились, к ним сразу же приблизилось несколько челнов; с них сошли русские купцы, прибывшие из Киева раньше княгини и уже две недели стоявшие тут, на Суде.

Купцы были очень рады, что здесь, на чужбине, увидели людей с родной стороны. И еще больше обрадовались, узнав, что с этими лодиями приехала и княгиня Ольга. Они тотчас же подплыли к ней, низко поклонились, приветствовали ее. Тут же посыпались жалобы и нарекания.

— Мать наша, княгиня,— плакались они,— погибаем! Защити нас, заступись!

Купцы стояли перед княгиней в лодии, качавшейся на слабой волне, и говорили:

— Закрыты, заперты для нас врата Царева града. Для других гостей — из Египта, Азии, для испанцев, франков — они открыты. А мы разве для них гости? Привезли вот в Царьград свое добро: меха, мед, воск — все как золото, хотели взять то, в чем у нас на Руси надобность, и получить хоть малый прирост. А они нас, только встали мы на Суде, повели к эпарху, назначили свою цену, а цена такая, что один убыток. И хочешь не хочешь — продавай, ибо один только месяц имеешь право стоять на Суде. А если не распродал свой товар, тогда эпарх с ним что хочет, то и сделает, и можешь ты в одних портах домой возвращаться.

— И опять же,— продолжали купцы,— коли уж и продадим свой товар за бесценок, так разве можем купить, что захотим? Нет, матушка княгиня, нам продают только то, что дозволит эпарх и что им самим не нужно: шелк — самый худший, бар-

хат — прелый, и то каждому положено купить только на пятьдесят золотников. Вот вина, благовоний и мастики бери у них сколько хочешь. А мы, что же, приехали сюда вино пить, натирать мастикою рожи или бороды, прости нас, княгиня, умащать благовониями? Вот мы и доторговались. В лодиях наших лежат бархат, мастика и духи, ходим, сама видишь, под винными парами, а царевы мужи нас уже из Суда выгоняют, словно псов каких. С чем мы поедем на Русь?

И, уже не в силах удержаться, купцы из Руси говорили:

— Про Царьград и империю говорят, будто тут собраны богатства со всего света. Что и говорить, богатств тут вдоволь. Египет, Аравия, Армения, Сирия с Месопотамией — все сюда везут. Только богатства эти собраны в одном Большом дворце, у императора и его патрикиев. А империю они жрут и нас уже сожрали. Спаси, матушка княгиня!

Княгиня Ольга смотрела на едва заметный под покровом ночи длинный полуостров над Судом, на краю которого изредка вспыхивал фар и тускло сверкали окна дворцов и теремов. Выше же, на холмах, было темно и тихо. Темным было и лицо княгини.

### 7

Как только рассвело, к лодиям прибыли царевы мужи — в темных одеждах, с золотыми цепями на шее, с толмачами и писцами.

Поднявшись на лодии, они спрашивали, откуда приехали купцы, что привезли с собою, что желают продать и купить.

И они не только спрашивали, но и ходили по лодиям, поднимали покрывала, рассматривали товары, словно там могло быть что-либо недозволенное или краденое. Купцы сжимали кулаки, бросали сердитые взгляды на царевых мужей...

Позднее, когда лодии были осмотрены, мужи заявили, что русским купцам разрешается сойти на берег и поселиться в монастыре св. Мамонта под городской стеной. Но предупредили, что в город они могут ходить только с ними, не более пятидесяти человек в один раз, а в монастыре св. Мамонта могут жить и получать покорм только месяц, после чего должны покинуть Суд. Снова все повторялось — купцам уже были знакомы греческие порядки.

Тогда взялись за дело толмачи и писцы. Вооружившись дощечками, покрытыми тонким слоем воска, писцы принялись опрашивать и записывать имена купцов. Что они там писали, кто их ведает; произносили они вместо Прастена — Фрастьон, вместо Степана — Стандер.

— Так,— смеялись купцы,— прочитают в Большом дворце, да и подумают, что мы не русские люди, а какие-то варяги... Да

уж пишите как вздумается, только в варяги не записывайте. Русские мы люди, из Киева, слышите?

Царевы мужи переписали купцов, приехавших на торг, после этого спросили:

— Все?

Но купцы ответили:

— Нет, не все, ибо с нами, со своими послами вместе, приехала еще и великая княгиня русская Ольга.

Царевы мужи переглянулись:

— Княгиня Ольга?.. Да ведь в Киеве князь Икмор?

— Был в Киеве великий князь Игорь, а не Икмор, но он помер,— ответили купцы.— А с нами приехала его жена и великая княгиня Ольга.

Царевы мужи растерялись. У них был приказ эпарха хорошенько присмотреться, кто приехал на этот раз на стольких лодиях из Руси. Они старательно осмотрели лодии и переписали всех мужей, но на женщин внимания не обращали — мало ли купцов приезжает в Константинополь с женами, сестрами или рабынями!

И только теперь увидели они суровую, уже пожилую женщину, сидевшую в одной из лодий, в темной одежде, с красным корзном на плечах. Царевы мужи поклонились ей, но не знали, как им быть.

Поэтому они решили за благо попрощаться с русскими купцами, пообещали, что скоро принесут им грамоты и пришлют других мужей, которые отведут их в монастырь св. Мамонта, а сами, поспешно покинув лодии, направились к воротам и исчезли за стенами города.

Однако ни утром, ни в течение всего долгого дня к лодиям, на которых приехала со своими купцами и послами княгиня Ольга, никто из царевых мужей не пришел. А без их разрешения сами они не имели права сойти на берег.

Наступил вечер. Княгиня Ольга сидела в своей лодии и смотрела на Константинополь. В городе было темно, только по мысу полуострова светились огни. Горели огни и на лодиях, стоявших в заливе. Вверху, в темном небе, сияли бесчисленные звезды, каких она не видала в Киеве.

И подумала княгиня Ольга: не ошиблась ли она, приехав в этот чужой город?

Но на следующее утро все как будто наладилось. Как только начало светать, на лодиях опять появились царевы мужи. Они даже просили прощения, что не смогли прийти накануне, потому что в городе, мол, не было эпарха. Зато теперь они разрешили всем высадиться на берег, сами отвели в монастырь св. Мамонта, где уже были даже приготовлены покои — по келье на четверых купцов, по келье на каждых двух женщин, а для княгини Ольги келья с опочивальней и сенями.

И еще царевы мужи уведомили, что русские купцы могут получить тут же, в монастыре, месячное, а послы — слебное, дали им две дощечки, на одной из которых были записаны имена купцов, на другой — имена послов, а вместе с ними и княгини Ольги.

Княгиня Ольга, услыхав об этом, вышла из кельи и гневно сказала царевым мужам:

— Не как посол прибыла я в Константинополь, а как княгиня Русской земли — с послами своими, купцами, свитой. И не к кому-нибудь приехала, а к императору для беседы.

— Наши послы в Киеве известили нас,— ответили мужи,— что, после того как князя Икмора убили немцы, на Киевском престоле сидит его сын Сфендослав.

Княгиня Ольга раздраженно махнула рукою:

— Я — жена князя Игоря, и не немцы его убили, а погиб он на своей земле. Владею я столом Киевским, имею сына не Сфендослава, а Свя-то-сла-ва и приехала от себя и от него говорить с императорами. Примут они меня?

— Императора Константина,— отвечали мужи,— нет ныне в Константинополе; когда вернется, не знаем. Как только приедет, скажем ему про княгиню. А пока просим купцов торговать, послов — ждать. Месячное купцам и слебное послам готово.

И еще добавили мужи:

— Если же княгиня Ольга желает посмотреть Константинополь, мы ей поможем и покажем все, что она захочет.

Стоя у двери и держась рукою за косяк, княгиня Ольга, бледная, утомленная то ли от дальней дороги, то ли по другим причинам, сказала царевым мужам:

— За то, что приняли меня, послов моих и купцов, императору ромеев спасибо. Спасибо и за то, что даете месячное купцам,— возьмут они его по надобности. Что же до слебного, то ни я, ни послы мои в нем потребы не имеют. Не нищие люди суть князья киевские, и если едут в Константинополь, то не на покорм к императору.

Произнеся это, княгиня добавила:

— А пока императора вашего, как вы говорите, нет, я и в самом деле посмотрю Константинополь. Не для того же ехала я сюда, чтобы торчать на Суде.

С тем и ушли царевы мужи, а русские купцы, послы и княгиня Ольга разошлись по своим кельям.

Но вскоре княгиня позвала к себе старейшего из купцов, Воротислава, и повела с ним разговор.

— Так что же,— обратилась к нему княгиня Ольга,— готовятся ли наши купцы идти на торг? И если пойдут, то ныне или завтра?

Высокий, седобородый, с гордой статью, Воротислав стоял перед княгиней и, сведя темные брови, отвечал:

— Не знаем, матушка княгиня, что и делать. Вчера, услышав про торг, и ныне, послушав, как царевы мужи разговаривают с тобою, не знаем, как торговать, что продавать.

— А вы им ничего не продавайте.

— Как, матушка княгиня? Куда же девать наши меха, мед, воск?

— Я покупаю у вас все ваше добро,— сказала княгиня.— И не по той цене, какую назначит эпарх, а по нашей, русской. Знайте — я не обижу вас. Тут,— она показала на келью,— мое государство, за все я заплачу золотниками. Слышишь, Воротислав, купцы мои пусть не идут на торг!

— Слышу, матушка княгиня,— вздохнул Воротислав.— Какие убытки! Убытки понесешь, княгиня!

Княгиня Ольга посмотрела в окно, на Суд, где, как лес, стояли лодии со всего света.

— Не ради золота приехали мы сюда,— закончила она,— а ради добра и покоя земли Русской... Делай, как сказала.

Наутро на подворье монастыря св. Мамонта загремели колесницы, закричали, принялись звать на торг русских купцов царевы мужи.

Но случилось то, чего мужи не ожидали и не могли ожидать. Русские купцы вышли к ним, поздоровались, поговорили, а потом сказали, что не имеют нужды ехать на торг, потому что все их товары уже проданы.

Царевы мужи, среди которых, разумеется, было немало торговцев и которые надеялись с помощью эпарха за бесценок приобрести то добро, что лежало в лодиях,— а они видели его собственными глазами,— были очень встревожены, обмануты в своих корыстных намерениях. Ведь не для кого-нибудь собирались они с большой выгодой приобрести все эти ценные вещи, а для императора и его двора.

— Какое же вы имели право торговать без позволения эпарха в Константинополе?

— А вы спросите про то у княгини,— отвечали русские купцы.

Царевы мужи направились к княгине. Им сказали, что княгиня еще спит. Мужи сели и долго ждали под стенами кельи. Им сказали, что княгиня одевается. Солнце поднималось все выше и выше, начало припекать. Мужам сказали, что она завтракает.

И уже когда солнце достигло полудня, княгиня вышла из кельи. Мужи бросились к ней, начали жаловаться, что русские купцы нарушают все законы империи, не хотят торговать.

— Они уже расторговались,— ответила им на это княгиня.— Я купила у них все их добро.

— Но торг в Константинополе,— не унимались мужи,— должен идти через эпарха, с его разрешения.

— Я купила у моих купцов все добро еще в море, а не на константинопольском торге. Тут буду делать с ним что захочу, может, и потоплю в Суде.

Что могли сказать на это царевы мужи?

— Я хотела бы посмотреть Константинополь,— сказала княгиня.— Где мои купцы и послы? Кто с нами поедет, царевы мужи? И по пятьдесят будете нас пускать или, может, больше? Ну, говорите — боитесь моей рати?

## 8

Теперь император Константин знал, кто приехал из далекой Руси в столицу империи. Знал он и то, как сошла княгиня Ольга на берег, как отказалась от слебного, как не позволила своим купцам ехать на торг, а сама закупила все их добро.

Все это, а особенно последняя выходка княгини Ольги, вконец рассердило императора. От эпарха Льва он знал, какие чудесные меха привезли купцы из Руси, и хотел, как уже договорился с эпархом, купить эти меха для себя.

— Северная княгиня,— говорил император Константин в своих покоях в Большом дворце, обращаясь к паракимомену Василию,— весьма горда, дика и неприступна, но я думаю, мы сумеем ее проучить. Я хотел бы, Василий, чтобы княгине показали все богатства Нового Рима, а уж потом мы примем ее в Большом дворце.

И день за днем чиновники императора водили княгиню в собор святой Софии, в церковь на Влахерне, дважды на императорском дромоне возили ее в море, чтобы она издали увидела всю красоту и величие Константинополя.

Чиновники не только возили ее, но и просвещали:

— Император Константин скоро вернется в столицу и, мы надеемся, примет русскую княгиню... Но в Большом дворце существует церемониал, которого должны придерживаться все, кому выпадает счастье видеть василевса. Согласно этому церемониалу, всех послов, идущих на прием к императору, сопровождают особые лица, и, когда император дает согласие принять, они вводят посла в зал под руки, где он, увидев императора, должен упасть перед ним ниц. А далее уже будет все так, как прикажет император.

Идя по площади Августеона рядом с царевыми мужами, княгиня Ольга слушала эти слова и отвечала:

— Я бы хотела, чтобы вы, мужи, передали императору, что я прибыла сюда не как посол. Я — русская княгиня и хочу прийти к императору с женами моего рода, а такожде с послами

своими... И еще я бы хотела передать, что твердо стою на ногах и не вижу нужды, чтобы меня, когда я буду во дворце, держали под руки. Да и по закону нашему перед князьями земными не след падать ниц. Это относится и к императору ромеев.

Император Константин знал об этом, но был убежден, что когда княгиня Ольга увидит величие Большого дворца, она, ошеломленная и пораженная, сама упадет на колени.

Однако ошеломить русскую княгиню было нелегко.

По свету еще неслась и ширилась слава о могучей, непобедимой Восточной империи, величественной Византии, богатом Константинополе, но на деле это была не такая уж могучая империя, не такая уж величественная Византия, не так богат был и Константинополь.

Греки Восточной империи называли себя законными наследниками Рима, императоры Византии кичились своим происхождением от Августа Цезаря. И называли они себя не греками, а римлянами — ромеями.

Однако Новому Риму было далеко до подлинного, Древнего Рима. Сей новый Рим со столицей Константинополем ютился на маленьком клочке земли между Пропонтидой и Золотым Рогом. А со всех сторон его окружали чужие земли, чужие племена и народы, враги.

Были времена, когда Новому Риму — Византии — удавалось захватывать в Европе, Азии, Египте большие пространства земли, покорять целые народы, отнимать их богатства, порабощать людей.

История Нового Рима — Восточной Римской империи — знавала времена, когда среди этой пышности, добытой ценой человеческой крови, расцветали науки и искусства, культура и письменность. Мир удивлялся — и не напрасно — Константину Великому и Юстиниану: Константинополь достиг тогда не меньше, а может, и больше, чем Древний Рим.

Однако это было неустойчивое, беспокойное владычество. Столетие за столетием Византия вела жестокие войны не где-нибудь, а в своей же империи; все границы Византии, до самых стен Константинополя, были политы кровью. Что ни год — вспыхивали восстания против Византии то в Азии, то в Африке, то в Европе.

Императоры Византии владели, правда, одним могучим средством: они вооружали и натравливали народ на народ, сеяли между ними вражду и раздоры, имели многочисленное наемное войско и флот, ужасали своих врагов таинственным греческим огнем, который казался непросвещенным, темным людям небесными молниями, стрелами самого бога.

Но все же и это крайнее средство не смогло спасти Византию. Да, Восточная Римская империя существовала. Византия

долгое время процветала, славилась. Но это был лишь блестящий метеор. Тот, кто смотрел на него, не мог не поражаться, но, чем ярче он сверкал, тем скорее должен был сгореть.

Не удивительно, что среди императоров ромеев было так много никчемных, неспособных. Начиная от Юстиниана и до конца империи их было пятьдесят девять. Среди них попадались умелые полководцы, кое-кто занимался и наукой. Но большинство из них — развратники и пьяницы, бездарности или звери в человеческом облике: они убивали друг друга, резали, отравляли, топили, залили Соломонов трон кровью.

И Константинополь был не так богат, как кое-кому казалось. Императоры приходили и уходили, и после каждого из них уменьшались богатства Византии, ее золото и серебро раздавались, раскрадывались. Для того чтобы устроить прием в какой-либо из палат, приходилось уже собирать паникадила, ковры, посуду из других палат. Облачения императора, его сановников, чиновников, духовенства давно уже были в весьма плачевном состоянии. Недаром посол франкский Лиутпранд писал своему королю об «убогой пышности» Большого дворца.

И сейчас, в то время как княгиня Ольга странствовала по Константинополю, император Константин не раз призывал к себе эпарха города — Льва, паракимомена Василия, великого папию и советовался с ними, как принимать княгиню Ольгу, через какие залы следует ее проводить, в каких палатах угощать, чтобы она, избави боже, не узнала правды о дворце императоров.

## 9

И наконец восьмого сентября 957 года царевы мужи известили княгиню Ольгу, что император Константин на следующий день примет ее с купцами и послами в Большом дворце.

Девятое сентября! В своей келье, загибая палец за пальцем, княгиня Ольга подсчитывала, сколько же дней прошло с того времени, когда она со своими лодиями остановилась на Суде. И не только дни — надо было считать и ночи, которые росли, удлинялись вместе с тревогой, печалью и возмущением княгини Ольги.

Но она молчала, терпела, ждала. Императора Константина, говорят мужи, нет в столице, император приехал, но болен... Солнце вставало над Перу и садилось в голубые воды Пропонтиды; в Суд приходили и опять уходили корабли из разных земель; только лодии русской княгини все стояли там и стояли, а в сердце ее нарастали отчаяние и обида.

Но она ждала не напрасно! Девятого сентября, завтра, княгиня Ольга будет в Большом дворце, увидит императора, будет говорить с ним...

Для приема княгини Ольги была назначена Магнавра — Золотая палата, в которой обычно принимали иноземных царей и послов. За тем, чтобы Магнавра была достойно убрана, следил великий папия, все диэтарии во главе с примикарием, десятки ламповщиков, уборщиков. Несколько дней и ночей они мыли и натирали мраморные полы, наливали масла и оправляли фитили в кадилах на стенах и в паникадилах, висевших под куполом.

В условленный час Магнавра сияла. В углу ее, на высоком, покрытом темно-багряными коврами помосте, стоял большой, отлитый из серебра, позолоченный и украшенный эмалью и инкрустациями Соломонов трон — для императора, пониже — кресло для соцарствующего императора Романа II, еще ниже — золоченые, покрытые пурпурной тканью кресла для семьи императора.

В Магнавре не могли вместиться все приглашенные на прием члены сената и синклита, а потому часть их стояла в приделах, отделенных от палаты высокими арками. В восточном и северном приделах теснились хоры из святой Софии и церкви святых Апостолов, но арки этих двух приделов были завешены — певчим запрещалось видеть василевса.

Час приема близился. В Орологии уже было полным-полно сановников, патрикиев, чинов кувиклия; одни из них, собираясь группами соответственно рангам, беседовали между собою, другие, поважнее, сидели на лавках и незаметно дремали. Они ждали, что вот-вот из-за завесы палаты появится папия, даст знак входить...

Но папия не входил. Уже в его приделе — первом слева от входа — диэтарии приготовили кадило, уже пахучий дымок пробивался из-за завесы в палату, но серебряные двери покоев императора были закрыты, два кувикулария возле них стояли безмолвно, неподвижно.

Императоры Константин и Роман одевались. Это была сложная церемония. Диэтарии принесли из кладовой придела святого Федора большие сундуки с царским одеянием — дивитиссиями, мантиями и ларцы с венцами. Когда диэтарии вышли, безбородые евнухи начали одевать императоров...

На этот раз император Константин заставил себя долго ждать. Уже все сановники — евнухи, патрикии, высшие чины гвардии — стояли позади и по обеим сторонам трона, жались друг к другу и старались не шевелиться, уже папия — который раз! — в своем приделе раздувал и раздувал кадило, певчие, стоявшие за завесами, обливались седьмым потом, а императора все не было.

Наконец среди напряженной тишины, царившей в Золотой палате, послышались шаги множества ног из южного придела, примикарии диэтариев широко распахнули серебряные двери,

и император ромеев Константин, а за ним соцарствующий Роман появились на пороге.

За завесой послышалось мелодичное пение хора Софии:

Многая лета венценосному императору...

А император в багряном, золотом шитом дивитиссии, перехваченном широким поясом, с мантией на плечах, выйдя через серебряные двери, остановился перед иконой Христа, поклонился, поднялся по ступеням и очень медленно опустился на трон.

Тогда папия взял свое кадило, прошел с ним по палате, начиная от дверей на запад, до трона императора, обкурил царя, подгоняя в его сторону струйки ладана и смирны.

— Многая лета богохранимому нашему василевсу! — гремел хор.

Так сидел на троне император Византии, наместник бога на земле, василевс Нового Рима, властелин миллионов людей.

— Логофета! — начал он церемонию, обращаясь к папии.

Далее все пошло очень быстро. Раздвинув завесу, папия вышел в Левзиак, где его уже ждал адмиссионарий. Тот сразу кликнул логофета. И вот логофет появился в западных дверях, упал ниц перед императором, а позади него показалась княгиня Ольга.

## 10

Княгиня Ольга не напрасно провела так много времени на подворье монастыря св. Мамонта. Среди людей, которых она там встречала, попадались и те, кто побывал в Большом дворце, и от них княгиня Ольга уже знала, какие палаты и чудеса находятся в этом дворце, как и где принимают императоры, слышала, конечно, и про Золотую палату — Магнавру.

И все же княгиня не могла представить себе всего, что ее ждет, и, остановившись на пороге Магнавры, на мгновение растерялась. Перед нею тянулась длинная и широкая, вся залитая огнями палата, вдоль стен ее стояло бесчисленное множество людей, а в конце палаты, где было больше всего света и где все сияло золотом, высился покрытый багряными коврами, украшенный золотыми деревьями, под которыми стояли позолоченные львы, помост, на нем — золотой трон, на троне же, как сразу поняла княгиня Ольга, сидел император Константин.

Тысячи глаз были в эту минуту прикованы к ней. Все знали, кого в этот день принимает император Византии, каждый из этих людей много слыхал о русах и хотел их увидеть, хотел узнать, какова из себя северная княгиня, как она одета, как будет держаться в Большом дворце.

Княгиня стояла на пороге Магнавры. Она была чересчур

бледна, слишком сурова, со своими темными глазами, сжатыми устами... Одета была княгиня в белое платно из тонкого шелка с серебряными крестами, с золотой каймой по подолу, подпоясана широким красным поясом; на плечи ее легко было накинуто корзно из алого бархата, отороченное соболями; голову княгини прикрывала белая шелковая повязка, концы которой спускались на плечи. На шее висел знак княжеского рода — золотая гривна с подвесками; от висков спадали большие, украшенные дорогими самоцветами колты.

Жены, стоявшие позади княгини, одеты были проще, но достойно; на них были не пышные золотые или серебряные одеяния, а темные платна; только на двух, принадлежавших к княжескому роду, платна были багряные, с золотой искрой. Пояса у всех, вставки на груди и плечах, головные повязки ткали искусные киевские мастера, бравшие свои узоры с цветов, трав, диковинных зверей.

Еще дальше, за женами, стояли длинноволосые, с большими бородами купцы и послы, своей статью и одеждой напоминавшие воинов. Они были в темных, шитых золотой и серебряной ниткой свитах, подпоясаны высокими кожаными поясами с карманами для ножа, огнива, горсти соли. Не было только у них мечей.

Когда княгиня двинулась с места, случилось чудо. Все в палате стояли неподвижно, никто не произносил ни слова, и внезапно в этой тишине послышались чарующие звуки — это на позолоченных деревьях пели сделанные каким-то умельцем птицы, потом зашевелились, открыли свои пасти и ударили хвостами о землю позолоченные львы, они высовывали длинные языки, рычали.

Но княгиня уже слыхала об этих чудесах и не обращала внимания на позолоченные деревья и львов. Она видела другое — несколько евнухов подставляли ей свои плечи, чтобы она оперлась, но княгиня решительным жестом отказалась. Когда же логофет, шагавший впереди нее, подал ей знак остановиться и пасть ниц, она не остановилась, а продолжала идти вперед, за нею шли жены из ее свиты, послы, купцы, толмачи и слуги — больше ста человек.

И только когда до трона было уже совсем близко, княгиня Ольга остановилась, а за нею встала и вся ее свита. Теперь княгиня ждала, что скажет логофет.

Но логофет молчал, молчали и все в палате. На их глазах, под торжественное пение хоров, несшееся одновременно с двух сторон, трон Соломона стал подниматься вверх, покачнулся на одном месте, остановился. Теперь император Византии был выше всех в этой палате. Он, казалось, повис в воздухе, а сзади него, на стене, виден был лик Христа.

— Император ждет слова! — прошептал логофет.

— От рода русского и всех князей его прибыли мы сюда, чтобы имать любовь с царем греческим, совершенную на все лета...

В торжественной тишине логофет, рядом с которым стоял толмач, громко повторил слова княгини Ольги.

— А в знак любови нашая принесли мы царю греческому дары наши, просим их принять на многие лета...

Хор в приделе запел:

Многая лета императорам,
многая лета!

Купцы и послы вышли вперед и стали складывать перед троном императора дары...

Тут, в Золотой палате византийских императоров, привыкли уже к подаркам послов разных земель, и чем, казалось, могла удивить императора княгиня из какой-то северной, суровой и холодной земли после послов из Египта, Аравии, Армении и еще более дальних земель? Все ждали, что это будут вполне обычные, а может, и жалкие для Золотой палаты дары.

Но уже с самого начала стало ясно, что Руси есть что показать в Византии и что княгиня Ольга знала, что привезти и чем поразить императора ромеев.

Купцы из Руси положили перед престолом императора меха горностая, такие белые, что от них, казалось, исходило сияние; за ними легли меха лисиц, черных, как небо ночью, ровные, блестящие; вот растянулся мех медведя, страшный, грозный; вот закачались целые связки куниц, тускло засияли шкуры бобров, за ними — соболей и еще какого-то зверя...

В Золотой палате было очень тихо, без знака императора тут никто не смел произнести ни одного слова. Но когда меха устлали мрамор, в этой тишине слышно стало тяжелое, сдерживаемое дыхание множества людей, послышался шум — все переступали с ноги на ногу, чтобы разглядеть дары киевской княгини.

И это было лишь начало. Как только отошли первые купцы, несшие меха, их место заняли другие: на ковры и мрамор начали сыпаться грозди горючего камня, рядом с ними выросла целая гора изукрашенного лучшими новгородскими мастерами рыбьего зуба... В Магнавре раздался стук предметов, падавших на пол, но еще явственней слышалось громкое дыхание людей.

А купцы уже принесли на вытянутых руках и положили перед самым престолом императора, неведомо когда успевшим опуститься на помост, окованные золотом, выложенные жемчугом, украшенные эмалью и самоцветами, излучавшими огни,

меч, шлем, золотой щит — изделия золотых дел мастеров из Киева и Родни.

Император Константин смотрел на дары княгини Ольги, и блеск его глаз, руки, вцепившиеся в поручни престола, говорили о том, что он, как и все присутствующие в Золотой палате, весьма поражен тем, что произошло, что он не ждал таких щедрых и драгоценных даров. Однако император, как и приличествовало его особе, старался не выдать своих чувств, а потому сдержанно и холодно велел логофету передать северной княгине, что он благодарит за дары и принимает их как знак любви и дружбы, которые издавна существовали и должны существовать между империей и Русью.

А потом быстро, так быстро, что княгиня и ее послы даже не успели заметить, погас свет в приделе, где стоял трон императора, и сам он исчез, будто здесь, в палате, его и не бывало.

Прием в Магнавре закончился...

Но весь прием в Большом дворце еще не был закончен. Как только император Константин покинул Золотую палату, княгиню Ольгу и ее свиту окружили придворные. Они повели ее галереями, переходами в палату Юстиниана, где княгиню должна была принять императрица.

Из Золотой палаты до палаты Юстиниана было совсем близко, какая-нибудь сотня шагов — через Левзиак или еще ближе — через галерею Сорока мучеников и Дафну. Но княгиню Ольгу повели совсем иным, длинным путем — через галерею Триконха, Апсиду, портик Золотой Руки, триклин девятнадцати аккувитов,— бесконечными переходами, галереями и, наконец, через внутренний Ипподром дворца.

Делалось это, конечно, умышленно. Во всех палатах, галереях, переходах, на колоннах и арках, мимо которых они проходили, были развешаны роскошные ткани, стояли золотые, эмалевые и литые из серебра амфоры и вазы, повсюду висело оружие — мечи, кольчуги, щиты, а во многих местах в стеклянных ларцах лежали короны, кресты, царские одежды...

Если бы кто-нибудь из сопровождавших княгиню Ольгу и ее свиту ошибся и повел их не этим путем, а через другие палаты и галереи, гости из Руси удивились бы, увидев бедность и убожество Большого дворца. Но княгиню Ольгу вели через помещения, куда были снесены богатства не только Большого дворца, но и всего Константинополя. Эти богатства поражали княгиню и особенно тех, кто был на приеме вместе с нею.

Так дошла она наконец до палаты Юстиниана, одной из лучших палат Большого дворца. Высокий потолок, откуда через окна потоками вливался свет, поддерживали колонны из зеленого мрамора, а на нем лучшие мастера высекли похожие на

кружево тончайшие узоры. Над колоннами были сделаны мозаики, изображавшие покойных императоров и их подвиги.

В конце палаты, как и в Магнавре, на высоком, покрытом пурпурными коврами помосте стояли два позолоченных кресла; в одном из них, посередине, сидела императрица Елена, а справа от нее — ее невестка, жена императора Романа, Феофано.

И царица Елена, и ее невестка оделись ради приема как можно богаче. На императрице была пурпурная мантия с золотой каймою, на Феофано — лиловая мантия с серебряной каймою. На обеих августах сияли золотом и самоцветами диадемы, а на грудь спадали ожерелья из драгоценных камней. Феофано вплела в волосы еще несколько нитей жемчуга.

Императрица и ее невестка были не одни в зале. Перед пх помостом и вдоль стен стояли знатные придворные дамы с высокими, похожими на башни, прополомами на головах. Каждая дама имела свой ряд и свое место. А впереди всех стояла высокая женщина — так называемая опоясанная патрикия, правая рука императрицы, главное лицо в гинекее, от одного слова которой зависели успех, почести, слава, а порой и жизнь каждой дамы из свиты императрицы.

Но сейчас в палате Юстиниана руководила приемом не опоясанная патрикия, а препозит двора со своими слугами. Он первый поспешил в зал, за ним вошла княгиня Ольга. В зале было необычайно тихо, слышался только шелест шелка на женщинах.

Среди этой тишины препозит торжественно провозгласил:

— Княгиня русов Ольга.

Императрица Елена склонила голову, подавая знак, что она согласна принять русскую княгиню.

Княгиня Ольга пошла вперед. За нею одна за другой шли княгини и боярыни. По знаку препозита княгиня остановилась.

Обычно на этом месте послы и гости, которых принимала царица, также должны были падать ниц. Но княгиня Ольга и перед императрицей не опустилась на колени, она только поклонилась; вслед за нею склонились все русские жены.

И снова, как и в Золотой палате, княгиня Ольга приветствовала императрицу; снова жены киевские положили перед троном дары — эмали, чудесные ожерелья, шкатулки из рыбьего зуба, а императрица благодарила княгиню.

Тогда за завесами заиграли два органа, и под их мелодичные звуки императрица Елена и ее невестка Феофано вышли из палаты, а опоясанная патрикия еще с несколькими женщинами в прополомах повели русскую княгиню в Кентургий — большой высокий зал, потолок которого поддерживали шестнадцать мраморных колонн.

Княгиня Ольга была уже очень утомлена, ходить ей пришлось немало, за все это время никто из них не присел — их



водили, либо же они вынуждены были стоять. Очевидно, и сами хозяева понимали, что их гости устали. Опоясанная патрикия предложила княгине Ольге сесть в Кентургии и отдохнуть, пока их не позовут в китон императоров.

Княгиня Ольга села и сразу же забыла об усталости. «Вот теперь,— думала она,— будет случай поговорить с императором».

В покое, стены которого были обиты пурпурным бархатом, у небольшого позолоченного стола сидела вся семья императора — он сам, его жена Елена, сын Роман с женой Феофано и несколько дочерей.

Тут все было гораздо проще и, должно быть, лучше, чем в больших залах, где только что побывала княгиня Ольга. Там не утихал шум человеческих голосов, музыки, пения; там глаза болели от яркого света и нечем было дышать. А в этой палате было тихо; несколько светильников, горевших по углам, успокаивали глаз; за широко распахнутыми на балкон дверями видна была аллея пышного парка, ряды стройных кипарисов, залитые лунным сиянием серебристые воды Пропонтиды.

Когда княгиню Ольгу ввели в покой, император Константин, успевший уже переодеться в легкий коловий, встретил ее просто, приветливо.

— Я думаю,— сказал он,— что в наших палатах княгиня Ольга вкусила достаточно горького, и поэтому пригласил сюда — отведать сладкого.

На блюдах и мисках, стоявших на столе, горою лежали финики, виноград, цареградские рожки, прекрасные вазы были наполнены фруктами, а кувшины — вином.

За столом здесь прислуживали лишь знатные придворные дамы, они неслышно появлялись из-за завес, ставили на стол новые и новые плоды, наливали вино и незаметно исчезали.

Так в этом укромном уголке Большого дворца началась беседа княгини киевской с семьей императора Константина. Княгиня Ольга еще в Киеве, от своих священников, неплохо узнала греческий язык. За время вынужденного ожидания в Золотом Роге она уже выучилась говорить бегло и теперь довольно свободно отвечала на вопросы императора и членов его семьи.

А вопросов этих было много. Княгиня Ольга понимала, что они ничего, вовсе ничего не знают о Руси и даже не представляют себе той далекой страны, откуда она приехала. Смакуя вино и закусывая нежными плодами юга, они спрашивали: правда ли, что люди ее страны ходят голые, а когда холодно, залезают в норы и укрываются мехами; правда ли, что в Киеве приносят в жертву богам много людей; живут ли за Рифейскими горами одноглазые люди?

Не только члены его семьи — сам император Константин, писавший трактаты о Руси, не представлял себе по-настоящему, что это за земля, какие там люди. Он почему-то думал, что Русь расположена по правому берегу Днепра, да и то лишь в его верховьях, а на левом берегу живут какие-то усы да еще хозары; он считал, что печенеги владеют всем берегом Понта Евксинского, до самого Херсонеса с Климатами, и всеми землями от Дуная до Дона.

— Нет, император,— отвечала княгиня Ольга,— Русь живет и на правом и на левом берегах Днепра, а печенеги — это лишь туча, что бродит по землям русским.

— Четыре колена печенегов,— начал император: — Халовои, Явдергим...

Княгиня Ольга усмехнулась.

—Я знаю эти четыре колена, и они знают Русь... Но у Руси гораздо больше колен, племен, земель. Русь спокон веку сидит над Днепром и дальше, до самого Студеного моря, а печенеги только приходят и уходят.

И княгиня Ольга терпеливо рассказывала, какова на самом деле Русь, как живут люди над Русским и Студеным морями, рассказывала кратко и об обычаях, вере, быте русских людей.

Все очень внимательно слушали рассказ княгини Ольги, и было заметно, что они следят не только за ее словами, но и за каждым движением, взглядом, жестом...

Особенно же внимательно следила, не отрывая от нее глаз, невестка императора Феофано. От своих послов и от многих людей уже здесь, в Константинополе, княгиня Ольга слыхала историю этой девушки, которая была гулящей дочерью кабатчика, а стала женой молодого императора Романа. Послы говорили княгине и о том, что Феофано считается самой красивой женщиной в мире.

Княгиня Ольга пристально смотрела на Романа и Феофано. Они безусловно были друг другу под стать: у Романа, стройного, как кипарис, были прекрасные глаза, светлое лицо, говорил он тихо, вдумчиво, а Феофано напоминала очаровательный южный цветок — она была сильной и в то же время нежной, волосы у нее были темные, а кожа на лице и теле напоминала мрамор, в глубине темных глаз играли неуловимые огоньки. Она могла смеяться, но вдруг в ее лице появлялось что-то хищное, злое.

Но не только это увидела в тот вечер наблюдательная княгиня Ольга в глазах Феофано. Несколько раз, когда император Константин обращался к сыну Роману, княгиня Ольга перехватывала взгляд Феофано, которым она впивалась в императора. И почему-то ей казалось, что это не невестка смотрит на свекра,

а хищная, дикая кошка, змея — что-то зловещее и страшное появлялось в эти минуты в глазах Феофано.

Император и все члены его семьи удовлетворили свое любопытство, кое-кто уже начинал расходиться. Сославшись на усталость, простилась и ушла императрица Елена, попрощавшись с княгиней, удалились Феофано и Роман. Заметно было, что и сам император хотел бы уже закончить прием. Он сделал знак, и опоясанная патрикия подала блюдо, на котором горкой были насыпаны золотники. Это было добротное золотое блюдо, выложенное драгоценными камнями и эмалью с изображением Христа на дне.

Император Константин, подавая это блюдо княгине Ольге, сказал:

— Я дарю это блюдо с образом Христа в знак нашей любви, и да живет она, пока светит солнце.

Княгиня Ольга встала, приняла блюдо и поцеловала образ Христа. Она понимала — на этом заканчивается прием,— но она не могла допустить мысли, что не сделает того, ради чего шла в Большой дворец: ведь она еще ничего не успела сказать императору.

И, воспользовавшись этой последней минутой, она задержала блюдо в своих руках и произнесла:

— От земли Русской принимаю я в дар это блюдо, благодарю императора за щердость и ласку, но хочу спросить о том, за чем ехала сюда...

Император выслушал княгиню, и облачко недовольства появилось на его лице. После дара императора, согласно церемониалу двора, гостям надлежало только поблагодарить и прощаться...

Она видела, что император недоволен и не хотел бы ее слушать, но не знала, увидит ли его еще раз, и потому вынуждена была продолжать.

— Я, великий василевс, хочу сказать немного... Приехала я сюда и все ждала, чтобы договориться о нашей торговле, говорить хотела о городах греческих на Русской земле и про город Саркел, построенный на нашем пути к Джурджанскому морю, да еще про Климаты и о том, чтобы императоры, а паче молодые, да и дщери царского рода приехали как-нибудь в Киевград, где я живу и княжу с сынами моими Святославом и Улебом...

Император Константин внимательно выслушал княгиню, улыбнулся и ответил:

— Много вопросов задала мне княгиня русская, и много пришлось бы мне говорить, чтобы ответить на них. Но сейчас уже поздно, княгиня Эльга, к тому же я нездоров... Что ж, мы встретимся еще раз и тогда поговорим обо всем подробно... Сегодня прощай, княгиня Эльга!

Он едва наклонил голову и вышел из китона.

На этом все и кончилось в тот вечер в Большом дворце. Императоры удалились, ушла и опоясанная патрикия со своими помощницами; остался только паракимомен Василий, он и проводил княгиню Ольгу из Большого дворца.

Идя площадками и темными переходами, минуя залы, где тускло поблескивали фонари, паракимомен спрашивал, довольна ли княгиня приемом, не устала ли она.

Княгиню Ольгу удивило, что это знатное лицо в империи, правая рука императора, первый его боярин и воевода, разговаривает с нею по-русски так, словно он долго жил на Руси. Но она не осмелилась ни о чем спросить его и ответила, что очень довольна приемом и что в самом деле немного устала... Но под конец, когда до ворот было уже совсем близко, она остановилась и прямо сказала паракимомену:

— Я хотела ныне поговорить с императором, но он почему-то не смог.

— О,— отвечал паракимомен,— император Константин просто болен и через силу вел прием.

— Но когда же я теперь смогу с ним поговорить?

— Когда? — задумался паракимомен.— Думаю, что скоро. Мы известим княгиню Ольгу, когда император сможет ее принять и говорить с нею... Ведь княгиня остановилась там, где и все послы,— на подворье Мамонта?

Стоя под фонарем у ворот Большого дворца, княгиня посмотрела на безбородое лицо улыбавшегося паракимомена и направилась к колеснице.

## 11

Василевс Константин, хоть и говорил о своей болезни, на самом деле был вполне здоров. И когда русская княгиня покинула китон, он вышел из покоев в сад над морем.

Там и нашел его паракимомен Василий, который, проводив княгиню, вернулся в китон убедиться, что император уже спит, и, не найдя его там, поспешно прошел в сад.

— Я вижу, императора сильно встревожила беседа с русской княгиней,— тихо произнес паракимомен, приблизившись к императору и кланяясь ему.

Константин оторвал взгляд от сверкающей поверхности моря, над которым, склоняясь к горизонту, плыла большая красноватая луна.

— Ты прав,— ответил император,— эта беседа с княгиней очень меня встревожила. Я думал, что княгиня Ольга простая, непросвещенная женщина, а она умна и хитра.

— Неужели княгиня может настолько подняться над своим диким народом?

— Боюсь,— оглянувшись по сторонам, прошептал император,— что мы не знаем этого народа. Русь, как мы думаем и утверждаем повсюду,— многоплеменный варварский народ, рабы, убогие эллины, не знающие военного строя. Но почему же они уже не раз заставляли содрогаться нашу империю? Ведь их князья Олег и Игорь стояли вон там,— он простер правую руку и указал в темноте на Перу и Галату,— под самыми стенами Константинополя. Откуда сей гиперборейский ветер?

Паракимомен посмотрел в ту сторону, куда указывал император, и плотнее укутался от холодного ветра в свой плащ.

— Но теперь там сидят не Олег с Игорем, а женщина... княгиня Ольга,— смеясь, сказал паракимомен Василий.

— Женщина эта не лучше своих князей. Те шли с мечом и копьем, она же хочет воевать словом.

— Разве княгиня сказала нечто неприятное или обидное императору?

— Она ничего не сказала, но спросила меня о наших городах над Понтом и еще про Саркел, который будто мешает Руси на пути к Джурджанскому морю, она завела речь о торговле в Константинополе и о Климатах. Еще она приглашала меня и молодых императоров вместе с дочерями моими приехать в Киев, где у нее есть два сына... Сфендослав, Гузлеб...

— Княгиня и в самом деле хитрая и дерзкая женщина,— согласился паракимомен.— Но на такие дерзкие речи у нас найдутся и ответные слова.

— Я, как мы уговорились, ничего ей сегодня не сказал. Нужно знать, что думает твой враг, но не спешить, выбрать подходящее время.

— Что ж,— хищно засмеялся паракимомен,— княгиня получила сполна все, что ей полагалось. Надеюсь, сегодня она не будет спать — ей есть о чем поразмыслить и над чем призадуматься. А чтобы она и впредь не спала много дней и ночей, я сказал ей, что мой император еще встретится с нею.

— Она просила меня об этом.

— Она просила, император, и будет ждать. Это очень упрямая женщина... Но уже близка осень, в Понте и сейчас страшно, а что там будет через месяц?

— Ты сделал все, как мы условились?

— Конечно, император,— ответил паракимомен.— Все сделано, как мы условились. Василики наши давно выехали к печенегам с дарами, а те уж встретят княгиню у моря или у Борисфена.

Император вздрогнул, почувствовав, как дохнул со стороны моря свежий ветер.

— Я хочу отдохнуть,— сказал он.

— Пора, император, пора,— взял его под руку паракимомен.

Паракимомен Василий проводил императора в опочивальню, побыл там, пока Константин раздевался и ложился, после этого постоял у дверей опочивальни, прошел по коридорам Большого дворца, где на всех поворотах стояли вооруженные этериоты, и возвратился в парк, где только что был с императором.

Большой дворец теперь спал; спал весь Константинополь; красноватая громадная луна медленно опускалась в море, словно тоже хотела уснуть; тихо шелестели, навевая сон, ветки; сонные волны устало бились о берег.

Только Василий не имел права спать. Он был паракимоменом — постельничим императора. Когда император просыпался, постельничий уже его ждал; когда император входил в Золотую палату, паракимомен шел впереди него; когда император спал, постельничий охранял его покой. Он, и только он, обязан был быть первым другом и помощником василевса.

И в то же время не было, должно быть, во всей Римской империи человека, который ненавидел бы императора Константина так, как его паракимомен Василий. Именно об этом он и думал, оставшись в полном одиночестве в саду над Пропонтидою.

Постельничий Василий считал себя не менее достойным быть императором, чем Константин, у них был один отец — Роман I, Константин был братом Василия.

Но Константин был императором, его называли Порфирородным, ибо он родился в Большом дворце, в Порфирной палате, матерью его была императрица, жена Романа I.

Мать же Василия была рабыней-славянкой, она прислуживала императору Роману, когда он был в походе в Болгарии, отдала ему душу и тело, родила сына Василия.

Император Роман, возмущенный тем, что рабыня-славянка родила сына, велел оторвать его от материнской груди, привезти в Константинополь, сделать так, чтобы он никогда не узнал, кто его отец, да еще повелел оскопить его, чтобы он оставался в живых, но не имел потомства.

Однако спустя много лет после смерти императора Романа Василий узнал, кто был его отец, узнал правду и о своей матери — она не смогла жить без сына и бросилась в море.

Ни одной слезы не проронил Василий, услыхав страшную историю о жизни и смерти своей матери. В то время он жил в Большом дворце, где на рабов смотрели, как на скотину. И хотя рабыня, о которой ему рассказали, была его матерью, он навсегда забыл о ней, ибо не хотел быть сыном рабыни.

Но он хотел быть сыном императора, почему и хвалился своим происхождением, пробивался вверх по ступеням иерархии Большого дворца, втерся в царские покои, как безбородый долго

работал в гинекее императрицы Елены, потом стал куропалатом, а еще позже — паракимоменом императора Константина.

Так Василий, сын императора Романа от рабыни-славянки, достиг своего. Он был правой рукою, ближайшим другом, помощником императора Константина, его допустили туда, куда не смел входить никто из смертных,— к царскому ложу.

Но постельничему Василию этого было мало. Он завидовал императору Константину, потому что тот был порфирородным; он ненавидел его, ибо считал, что тот захватил его место; он ждал часа, когда сможет отобрать это место для себя: он готов был ускорить смерть Константина, но не знал, на чью руку ему опереться.

Сейчас постельничий Василий был неспокоен. Княгиня Ольга почему-то напомнила ему мать, которую он не знал и боялся, которую забыл и проклял. Сын рабыни ненавидел славян, ибо, как ему казалось, они были повинны в его униженном положении. В саду над Пропонтидой постельничий Василий размышлял о мести и убийстве.

## 13

В одну и ту же ночь может произойти множество событий, которые, на первый взгляд, ничего общего между собой не имеют, но которые, однако, связаны, как листья на одной ветке.

Паракимомен и постельничий Василий считал, сидя в парке над морем, что только он один не спит в Большом дворце и что, безусловно, он один думает об императоре Константине.

Но совсем недалеко от него, в том же Большом дворце, в царских покоях, находился человек, который тоже не мог уснуть и тоже думал об императоре Константине. Это была Феофано.

Спал ее муж, наследник престола Роман, который и в этот вечер, как обычно, выпил много вина. А Феофано лежала, смотрела на луну, все ниже спускавшуюся к морю, и мечтала.

Перед нею проходила вся ее жизнь. Жизнь эта была коротка — Феофано было лишь восемнадцать лет. Но какой кипучей, полной неожиданностей, бурной была эта жизнь!

Феофано закрывала глаза и видела старый, наполовину ушедший в землю кабак ее отца, до ее ушей, казалось, долетал шум голосов его постоянных и случайных посетителей. Она, казалось, слышала песенку, постоянно звучавшую под сводом кабака:

> Мы нищие люди, но мы богаче всех на свете...
> У нас есть вино, музыка и женская ласка!

А отец ее, старый толстый Кротир, расхаживал и подливал людям вина, чтобы громче звучала песня, чтобы веселее было

гостям, чтобы деньги сыпались в его сундук. В углу кабака, на помосте, играет музыка:

Мы нищие люди, но мы богаче всех на свете...

И впереди музыкантов — девушка в короткой юбке, в сорочке без рукавов, готовая полюбить каждого, кто подарит ей золотую или серебряную монету.

Это была она, Феофано, называвшаяся тогда иначе — Анастасией или еще проще, как кричали пьяные, обнаглевшие мужчины, обнимая ее стан: «Анастасо! Наша Анастасо!»

Однажды темной ночью, когда на дворе лил дождь, в кабак зашел и подсел к столу молодой человек с бледным лицом, прекрасными темными глазами, стройной фигурой. На его плаще сверкали капли дождя. И случилось так, что в эту ночь молодой человек остался у Анастасо...

Утром Анастасо узнала, кто ласкал ее всю ночь, называя новым именем — Феофано. Она отдавала пыл своего растленного тела, страсть и ласки сыну императора Константина — Роману...

Он ее полюбил. Любила ли она его — кто знает? Но она любила Романа, как сына императора, как свою безумную мечту, которая могла родиться только в хмельном чаду кабака, среди падения и разврата, среди денег и крови.

И должно быть, самое большое значение имело то, что Анастасо-Феофано, какова бы ни была ее душа, была одной из самых красивых женщин Византии, а возможно, и всего мира, была той великой грешницей, которой все прощается за ее чары.

Под властью этих чар, в то время как отец, император Константин, сидел на троне и писал трактаты «О церемониях византийского двора» и «Об управлении империей», сын его Роман пил вино в грязном кабаке Кротира, обнимал Феофано и был убежден, что вся его империя целиком может вместиться в кабаке и что для счастья такого императора достаточно одной Феофано.

Но если наследнику престола императора Константина было просторно в кабаке Кротира, то вскоре этот кабак стал тесен для Феофано. Она сказала об этом Роману шепотом между двумя поцелуями, она стала говорить об этом громче, когда Роман страстно вымаливал у нее все новых и новых ласк, она во весь голос закричала об этом, когда почувствовала, что станет матерью.

Император Константин, всю свою жизнь посвятивший установлению церемониала византийского двора, сильно разгневался, просто рассвирепел, услыхав то, что не укладывалось ни в одну из изученных им и вписанных в книгу церемоний: сын его Роман заявил, что хочет жениться на дочери кабатчика Кротира из Лакедемонии. Это известие вначале лишь рассердило

императора ромеев. Когда же Роман добавил к этому, что у Анастасо-Феофано скоро будет к тому же ребенок, император схватился за голову.

Дело уладила сама Феофано. Она добилась того, что Роман провел ее в Большой дворец, а там сумела найти путь в царские покои. Прекрасная лакедемонянка упала ниц перед императором Византии, потом встала, посмотрела на него, и он увидел ее стан, который мог служить образцом совершенства, ее темные глаза с живыми огоньками — таких, должно быть, не было больше во всем мире, — ее уста, на которых, казалось, запекся сок граната, ее лицо, нежное, как лепесток розы, ее тонкий нос, свидетельствовавший о необычайной чувственности, ее грудь, руки, ноги... «Прекрасная лакедемонянка!» — подумал император Константин.

И вскоре, ибо приходилось уже спешить, поздним вечером, во Влахернской церкви на окраине Константинополя был освящен брак Романа и Феофано, а еще через несколько месяцев, уже в Порфирной палате, она родила сына Василия.

Казалось теперь, в эту чудесную ночь, после всего, что случилось с нею, Феофано должна была спокойно отдыхать. Но сон не приходил, она не хотела и не могла уснуть.

Глядя на большую красную луну, краем своим касавшуюся воды, так что казалось, на самом горизонте висят две одинаковые луны, Феофано чувствовала, как безудержно бьется ее сердце, как горит тело, разрывается грудь. Все то, что она имела,— хотя имела она много,— казалось теперь ей будничным, слишком простым. Простой казалась ей опочивальня, выложенная мрамором, с дверями из слоновой кости, с позолоченными кадилами, широким ложем. У нее уже не было никакого чувства к Роману, который совсем близко, рядом, что-то шептал во сне... Возможно и даже наверное, отцовский кабак, песня «Мы нищие люди...», кубок вина и поцелуй незнакомого легионера дали бы ей в эту минуту больше, чем Большой дворец, тишина его палат, царское ложе.

Но возврата к прошлому уже не было, где-то далеко-далеко затихала песня:

Мы нищие люди, но мы богаче всех,
У нас есть музыка, вино и женская ласка.

Теперь на горизонте оставалась только одна луна, состоявшая из двух половинок: одной — настоящей и другой — отраженной в воде. Эти половины быстро уменьшались — луна заходила. И Феофано непременно хотела, прежде чем зайдет луна, решить, что ей нужно делать.

Она напряженно думала. И когда на горизонте осталась только тоненькая полоска, Феофано решила: император Кон-

стантин должен умереть, императором станет Роман, она будет императрицею.

Когда же луна зашла, Феофано тихо выскользнула из китона и вышла в сад. Там она и встретила постельничего Василия.

— Что случилось? Почему молодая василисса не спит? — спросил он, узнав ее стройную фигуру.

Она посмотрела на его безбородое лицо с блестящими глазами, с хитрой усмешкой в уголках губ. Это лицо было хорошо видно в полутьме.

— Почему-то не спится сегодня,— ответила она.— В китоне душно, сердце болит, вот я и вышла сюда, в сад.

— Но император Роман может быть недоволен.

— Император Роман спит после ужина и крепкого вина так, что его и гром не разбудит.

Она посмотрела на постельничего:

— Тут все много пьют и еще больше пьянеют. Скажи, постельничий, ты тоже много пьешь?

— Я пью ровно столько, чтобы не опьянеть,— ответил он,— ибо, чем больше пьют вокруг меня, тем яснее должна быть моя голова.

— Это правда,— сказала Феофано,— я замечаю, что ты пьешь меньше других и, должно быть, меньше, чем хотел бы сам.

— Да,— искренне согласился он,— я всегда делаю меньше, чем хочу.

— А постельничему много хочется?

— Нет,— глухо отозвался он,— многого я не хочу, но все же кое-чего хотел бы...

— Чего же ты хотел бы, постельничий?

— Я хотел бы,— ответил Василий,— спать, когда спят все, работать так, чтобы люди ценили мою работу, да еще...

— Что же еще?

— Я хотел бы иметь то, что мне принадлежит.

— А разве постельничий не имеет того, что ему принадлежит? — удивилась Феофано.— Он — самая приближенная к императору особа, он — первый среди всех, он, наверное, самый богатый человек в империи... Чего же еще может желать постельничий?

— К чему мне слава паракимомена, к чему богатство и почести, если я не тот, кем меня считают, и не таков, каким быть хочу?

— Послушай, паракимомен, но кто же тогда ты?

— Неужели ты до сих пор не знаешь, Феофано, кто я?

— Не знаю...

— Я такой же, как и ты.

— Не понимаю...

— Ты — дочь кабатчика Кротира, а теперь жена императора Романа. Моя мать — рабыня-славянка, но отец — император Роман...

— Погоди. Значит, ты брат императора Константина и дядя моего мужа Романа?

— Да, Феофано.

— И ты не любишь брата-императора?

— Как и ты, Феофано...

— Так вот почему тебе не спится! Тогда поговорим, дорогой мой дядя! Я думаю, что мы — ты и я — сумеем понять друг друга...

— Они сделали меня безбородым, и в моем сердце осталась только ненависть.

— Если ненависть добавить к мести, будет страшный напиток.

14

Возвратившись поздним вечером на монастырское подворье, княгиня застала там всех жен, купцов, послов, служанок — их привезли из Большого дворца гораздо раньше, сразу после окончания приема в Золотой палате и в Юстиниане, но все они еще не спали, ходили из одной кельи в другую, громко выражали свое восхищение, похвалялись подарками.

Как только княгиня Ольга очутилась в своей келье, несколько жен зашли к ней

— Не ведаем,— горячо говорили они,— на небесах были мы или на земле... онде бог с человеки пребывает. Мы не можем забыти красоты тоя, всяк бо человек, аще вкусит сладкого, после того горечи не приемлет...

Они рассказали княгине, кто из них какой подарок получил в Большом дворце: купцы — по шесть милиарисиев, священник — восемь, послы — по двенадцать, все жены — тоже по двенадцать милиарисиев. Жены показывали княгине эти золотые кружочки, на которых стоял знак императора — голова Константина с короткой бородой и толстыми усами.

— А что тебе подарили, матушка княгиня? Покажи!

Она кивнула головой в угол, где на лавке лежало завернутое в шелк блюдо с золотыми, и они бросились туда, развернули шелк, вынули блюдо, рассыпали деньги, кинулись их собирать.

— Чудо! — визжали они.— Нет, нет на земле красоты такой...

— Идите-ка вы спать! — остановила наконец княгиня Ольга жен, которые готовы были сидеть до утра и рассказывать о чудесах Большого дворца.

Жены вышли из ее кельи, но успокоиться не могли и долго еще стояли на подворье, болтали, всплескивали руками.

Лишь когда все утихло, княгиня Ольга позвала служанку, велела пригласить к ней в келью купцов Воротислава, Ратшу, Кокора и нескольких послов.

Они не спали и сразу явились. Заметно было, что они немало выпили в Большом дворце, впрочем, на ногах они держались твердо.

— Сядьте, купцы мои и послы! — обратилась к ним княгиня, оперлась на стол, посмотрела на свечу, оплывавшую воском, на блюдо с золотыми...

Потом подняла голову, обвела всех взглядом...

— Ну как, купцы мои и послы? Видели чудеса Большого дворца — птиц певчих, львов рыкающих и самого императора?

— Видели,— отвечал купец Воротислав,— и вельми любовались... Там, в Золотой палате, чудес собрано много.

— А вокруг пустота, тлен и мрак,— засмеялся вдруг купец Ратша.

— Как пустота и мрак? — с любопытством спросила княгиня.

— Купец Ратша выпил через меру грецкого вина и всуе говорит про пустоту и тлен,— заговорил, поднявшись, купец Воротислав.— Да уж, если начал, скажу и я, матушка княгиня... Долго сидели мы с ним на приеме в Золотой палате, где нас вельми угощали всяким зельем, а потом по надобности своей вышли из палаты и пошли. Идем да идем. И вот, по правде скажу, княгиня, такую мы увидели там пустоту и тлен, что и не сказать... Они ведь все посдирали, чтобы ту Золотую палату разукрасить. А пошли мы вокруг нее всякими там сенями да переходами, а там пустота, тлен, кой-где каганцы горят, повсюду плесень, сырость. Обошли повсюду, еле до Золотой палаты добрались, и везде одинаково!

Княгиню Ольгу развеселил рассказ купцов.

— Правда,— согласилась она,— великая Византия богата, мудра, но пустоты и тлена в ней довольно... Коли бы такое богатство нам...

— Не такие уж мы нищие, матушка княгиня,— промолвил Воротислав.— Если бы не орды да эта вот Византия, да еще пробиться бы со своими товарами на восход солнца и сюда на заход, мы бы их засыпали своим богатством... Ты поглядела бы, княгиня, что с ними было днесь, когда мы свои дары выкладывали! Даже остолбенели — такого они не видели и не ждали. Вот так чудо из чудес! И ты хорошо сделала, княгиня, что взяла у нас все товары. Знай — не купила ты у нас их, мы тебе их подарили, и не ты принесла дары императорам — вся Русь! А они нам что дали? По десять милиарисиев каждому, а по-нашему, значит, по гривне? Да я слугам своим больше даю.

— Вот мне еще блюдо дали,— произнесла княгиня.

Воротислав подошел, взял блюдо, взвесил его на руке, попробовал на зуб.

— Что же,— сказал он,— наши киевские кузнецы не хуже сделают, а золото это нечистое, есть в нем медь, сиречь — ржа.

— Затем я и позвала вас сюда,— сурово сказала княгиня.— И вы и я с одним ехали сюда: говорить с императорами, установить ряд, чтобы мы могли торговать здесь, а гречины — у нас и чтобы я могла взять у них науку.

Княгиня умолкла и долго смотрела на свечу, продолжавшую истекать воском.

— Император ныне не стал об этом говорить, но обещал еще раз встретиться и тогда обо всем договориться. Как быть, купцы, и послы,— ждать ли?

— Горе, горе с этими императорами! — вздохнули они.— Делать нечего, будем ждать, княгиня!

## 15

Император Константин заставил княгиню Ольгу выстоять несколько месяцев на Суде, потому что хотел как можно сильнее поразить, ошеломить гордую северную княгиню, показав ей Новый Рим, величие его соборов и дворцов, красоту и пышность города.

Он достиг своего. Побывав на первом приеме в Большом дворце, посетив, в сопровождении царевых мужей, святую Софию, торг между форумом Константина и площадью Тавра, пройдя вдоль и поперек известную всему миру главную улицу Константинополя — Месу, останавливаясь там, где останавливались чиновники, и осматривая то, что они хотели ей показать, княгиня Ольга была поражена, удивлена, очарована.

И в самом деле, это был чудесный, большой город на рубеже Европы и Азии. Сюда стекались богатства со всего света; этот город над Пропонтидой с его дворцами, большими, украшенными мрамором, мозаиками и фресками соборами строили лучшие в мире мастера. Тут расцветала наука, собирались ученые, звучала музыка, творили художники. Тут на торге княгиня видела арабов из Багдада, которые продавали харалужное оружие и шелк, китайцев, соперничавших с ними, итальянцев, распродававших изделия из слоновой кости и бронзы, оправленные в золото и серебро, видела испанцев — торговцев коврами, кельтов из заальпийских стран и с берегов далекого океана, финикийцев и египтян и еще множество людей, прибывших сюда из далеких, неведомых краев.

Император Константин — в этом убеждалась княгиня Ольга — был богат, он показывал пример того, как может жить

человек, имея в своих руках бесчисленные сокровища; на него старались походить патрикии, сановники. Они тоже жили, как боги на земле.

Но наблюдательная, хитрая киевская княгиня увидела в Константинополе и другое. Она ходила с царевыми мужами, слушала их, запоминала все, что видела и слышала. А видела она много, глаз у нее был острый, цепкий, слышала тоже немало.

Когда же возле нее не было царевых мужей, она отправлялась в город с кем-нибудь из своих купцов или послов — людьми бывалыми, сведущими, которые хорошо знали Новый Рим и рассказывали совсем не то, что царевы мужи. Позднее, когда княгиня запомнила улицы Константинополя и где находится подворье монастыря св. Мамонта, она ходила и днем и вечером уже одна, без докучливых царевых мужей.

Тогда наряду с богатством и красотою, которые показывали ей старательные мужи, княгиня Ольга увидела бедность Константинополя, мерзость и грязь, которые обычно заводятся у спесивого, но неопрятного хозяина; увидела людей, живших у высоких стен Константинополя в землянках, норах, а часто и под открытым небом, и тяжко работавших на василевса и его синклит; женщин, у которых руки и ноги опухали от соленой воды; детей, грызших вонючие кости, и рабов, навсегда прикованных тяжелыми железными цепями к хеландиям.

В один из вечеров княгиня долго блуждала по улицам Константинополя, прошла улицей Месы, долго стояла на площади Августеона, перед святой Софией, а потом медленными шагами вместе с множеством людей вошла в собор.

Она уже была тут днем, и тогда собор произвел на нее величественное впечатление. Ей казалось, что она попала в подлинный храм, где человек может забыть обо всех житейских невзгодах, соединиться с богом.

Ночью собор казался еще более величественным. Он был весь залит огнями, повсюду блистало золото, серебро, мрамор, бархат. Посредине высился амвон, на который вели украшенные гирляндами цветов ступени, в алтаре виднелся престол с драгоценным балдахином, за ним сиял огромный, золотой, весь осыпанный алмазами и жемчугом крест.

В соборе было тихо, слышался только глухой топот ног, шелест одежд, покашливание множества людей. Над головами тянулись вверх восемь колонн из порфира, привезенных сюда из храма Солнца, и восемь мраморных зеленых колонн, доставленных в Софию из Эфеса. Они заканчивались высоко вверху резными капителями, вокруг которых, между мраморными сводами, были выполнены на голубом и золотом фоне композиции из мозаик. А над ними на четырех громадных каменных опорах лежал самый большой, единственный в мире

купол Софии, который словно опускался на золотой цепи с небес.

Тут, в соборе Софии, где все сверкало золотом, серебром, драгоценными камнями, в этот вечер перед тысячами свечей молились Иоанну Крестителю, просили его послать людям здоровье, долголетие, счастье.

«Там,— вспомнила княгиня Ольга,— в далеком Киеве и по всей Руси, в этот вечер заплетали деревья, жгли огни, пели песни, водили хороводы, славили Купалу, Ладу, Полеля, просили их дать счастье и любовь».

Княгиня Ольга молитвенно думала об Иоанне Крестителе, с трепетом вспоминала Купалу и молилась им обоим. Прижавшись лбом к холодному полу собора, она молилась за Русь, за людей ее, за сыновей своих Святослава и Улеба...



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

В ночь на Купалу ворота Горы не запирались. Как только начало темнеть, оттуда вышла толпа гридней и юношей дворовых. Не со щитами и мечами шли в этот день юноши, рядом с ними были девушки. На головах у всех них красовались венки, в руках — цветы.

С громкими песнями, в которых славились Купала, богиня Лада и дети их — Лель и Полель,— двинулось вслед за юношами и девушками с Горы предградье, зазвучали песни на Подоле и далеко-далеко по Оболони.

Со всех сторон шли туда, где Почайна вливалась в Днепр. Там, на широком лугу, еще засветло было приготовлено высокое дерево. На нем висело множество венков, цветов, всяческих украшений. Едва стемнело, вокруг дерева и по всему

лугу запылали костры, началось игрище. Зазвучали голоса юношей.

Идет Купала, несет немало,
Меды и жито, прирост, присып,
Славим Купала, не спим до рана,
Не спи, девица, юнак не спит!

И в то же время с другой стороны отозвались девушки:

Ой, Ладо, Ладо, Леле, Полеле,
Сплетем цветы мы в один венок,
Ой, Ладо, Ладо, славим все радо,
Ой, Ладо, Леле, Леле, Полель!

А где-то уже играли музыканты — пронзительно свистели дудки, гудели роги, гремели бубны.

Теперь уже повсюду над Почайной и Днепром горели, как свечи, огни, отовсюду неслись музыка и песни, возбужденные голоса слышались в темноте, что стеной стояла сразу за кострами. Веселые крики, смех раздавались даже на воде, по всей Почайне и Днепру.

Да и как было не веселиться, не радоваться: душистая, теплая ночь разлилась над землею; вверху мерцали яркие звезды, и серебром отливал Перунов путь; умытые росою, остро пахли цветы; в далеких лугах неистово били перепела и дергачи; между кручами играла и, казалось, закипала вода от купальских огней.

И горе было тому, кто посмел бы не верить, осквернить или поносить праздник великого Купалы! Вот и в эту ночь толпа стариков с Подола и предградья, захватив с собою немало и молодых парней, двинулась к ручью у оврага под горой, где стояла христианская церковь. Они надвигались, как черная стена, посреди темно-зеленых, освещенных огнями деревьев. Остановившись неподалеку от церкви, они кричали всякую хулу, задирали сорочки и показывали христианам тело. Вскоре послышались вопли, крик — люди старой веры стали бросать в церковь и в людей, собравшихся молиться за Иоанна Крестителя, камни и дубины. А все те, кто веселился вокруг купальских огней, смеялись до упаду, наблюдая, как люди старой веры воюют с Христом.

Из окна терема княжич Святослав видел, как молодежь шла с Горы на праздник Купалы, слышал веселые, задорные песни. Потом он увидел огни над Почайной, но ему самому было невесело, тоскливо.

Пока княгиня Ольга была в отъезде, на Киевском престоле согласно ее воле должен был сидеть он, Святослав, сын Игорев. Он поступал так, как велел обычай: просыпался на заре, умывался холодной водой, одевался, набрасывал на плечи красное с золотой оторочкой корзно, обувался в красные сафьяновые са-

ноги с длинными, загнутыми носками, надевал меховую шапку, украшенную дорогими самоцветами, на шею вешал золотую княжескую гривну.

Когда княжич выходил из своей светлицы, проходил через Золотую палату и спускался по лестнице в сени, там его уже ждали Свенельд, воеводы, бояре, брат Улеб; на крыльце и во дворе терема слышались голоса тиунов, гонцов земель, огнищан.

Но княжич Святослав не выходил к ним сразу, а направлялся в трапезную. За ним следовали Улеб, Свенельд, воеводы, бояре. В трапезной Святослав, как полагалось, приносил жертву, все молча ждали, пока ее примут боги, а потом садились за стол.

Еду им подавала ключница Малуша. Она уже привыкла к своей работе; входя в трапезную, низко кланялась князьям, вносила миски, наливала вино, прибирала посуду и делала все быстро, ловко, проворно.

После еды княжич Святослав шел наверх, садился в Людной или Золотой палате, справа от него стоял воевода Свенельд, слева — брат Улеб, сбоку садился ларник Переног; воеводы и бояре стояли позади. И княжич Святослав говорил с тиунами, принимал гонцов земель, послов, если они прибывали в Киев, чинил суд и правду людям.

Собственно, делал все это не он. С тиунами, гонцами, со всеми, кто приходил в княжий терем в этот ранний час, разговаривал Свенельд, воеводы и бояре, они же вели переговоры с гонцами земель, творили суд и правду людям.

Но у княжича Святослава были уши, он все слышал. Тиуны говорили об оскудении княжьей казны — княгиня Ольга, мол, много взяла с собою,— требовали увеличения уроков и уставов. Приходили и становились на суд бояре, которые в ссорах из-за пахотных земель, пчелиных ухожаев и бобровых гонов рвали друг другу бороды, ломали руки и ноги, дрались мечами, дубинами, а то и просто телеснёй. Княжич слушал воевод, похвалявшихся, что не кто иной, а только они кровью и жизнью своей защищают земли, и просивших за это пожалованья.

Святослав и раньше иногда сидел возле матери, когда она творила суд и правду. Но тогда судила мать, она знала правду и обычай. Да и не всегда приходилось ему сидеть рядом с матерью, он больше проводил время с Асмусом, ездил с ним в поле.

Теперь он обязан был слушать тиунов, бояр, воевод, и часто ему казалось, что они не судятся, не правды ищут, а раздирают родную землю. Каждый из них старается урвать себе побольше, получше, и в жадности своей они становятся хищными, безжалостными, такими, что у них даже кровь брызжет из-под ногтей.

Эти мужи, становясь на прю перед ним, князем, обзывали друг друга скверными словами, ссорились и даже тут, в палатах, чуть не дрались. Но все равно не он разрешал их дела, ибо они, ссорясь и мирясь, невзирая на свои споры, были заодно, а у

князя лишь вымогали и выпрашивали пожалованья за свои убытки.

Впрочем, они становились поистине жестокими и безжалостными, когда приходилось судить не их, когда сами они судили других. Они часто приводили на суд людей своих: смердов, рядовичей, закупов и простых обельных холопов. Один бежал от своего господина, другой ночью тайком залез в житницу, третий взял чужого коня, четвертый убил княжьего мужа; и они, воеводы и бояре Горы, карали эту чернь, как только могли: бросали в порубы, отдавали на поток и разграбление, обрекали на смерть. Ибо так, мол, велит древний закон и обычай.

И княжич Святослав должен был десницей своею утверждать этот закон и обычай, судить и творить правду, хотя временами у него и сжималось при этом сердце. Он знал и любил древний закон, который велел воину не щадить жизни и стоять насмерть перед врагом в поле, но он не знал еще неумолимых законов и обычаев Горы.

Так в то время, когда мать путешествовала в далеких землях, княжич Святослав впервые столкнулся с властью Горы и на себе почувствовал силу своих мужей.

«Хорошо,— думал он,— что сила эта не может судить князя».

Гораздо лучше княжич чувствовал себя, когда оставлял город и выезжал в поле. Случая для этого долго искать не приходилось — оттуда, как крики раненой чайки, все долетали и долетали недобрые вести; оттуда приходили чуть ли не каждый день купцы, ограбленные и искалеченные в далекой дороге; там очень часто погибали на страже вои — от меча, отравленной стрелы, от разбойничьей руки.

Услышав далекий клич, княжич Святослав не посылал других, а сам с малой дружиной переезжал через Днепр, мчался гостинцем в сторону восхода солнца, иногда сворачивал вправо — к Переяславлю и Родне, рыскал вверх по Десне — до Чернигова.

Они ревностно искали врага. Это были печенеги, черные булгары, отряды великих орд, бродивших за Итиль-рекою. Как тать, крались они по ночам в поле, подбирались к городищам и селениям, молнией обрушивались на мирные хижины, грабили добро, забирали скот, убивали людей, а юношей и девушек угоняли в неволю.

Не раз княжич Святослав со своею дружиною сражался с этими врагами родной земли. Он шел по следу, искал их в буераках и оврагах, проходил через леса, пересекавшие путь, мчался в широком поле, где под копытами коней свистел ковыль, высокие курганы указывали путь, а на горизонте вставало марево.

Иногда это было и не марево. То, поднимая за собою столбы пыли, мчались в безвестность к Итиль-реке чужаки, увозя с собою с Русской земли добро, угоняя скот, уводя людей.

Словно ветер, будто гром, что неудержимо несется вперед и

в безмолвии становится все сильнее, неслись по полю вои княжича Святослава, а впереди летел он сам — решительный, сильный, беспощадный.

И они догоняли орду, сходились с нею, рубились, отбивали своих людей, прогоняли разбойников далеко в поле, уничтожали, убивали. И княжич делал это охотно, ему было любо защищать родную землю, ее людей.

На всю жизнь осталась у него памятка об этих днях. Однажды, догоняя орду, он столкнулся с глазу на глаз с ее каганом. Чуть косоглазый, темный, с оскаленными зубами, каган был высок, ловок, здоров. И словно вложив всю свою силу в кривую саблю, бросился он на княжича Святослава.

Святослав сражался с врагом, держа в руках меч своего отца. Этот меч ковали князю Игорю кузнецы-умельцы из Родни; был он обоюдоострый, закаленный, с золотой крестовиной и серебряной рукоятью, усыпанной самоцветами. Меч этот рассекал в воздухе лист, а дерево словно срезал...

Но проклятый ворог все увертывался, конь у него был юркий, не раз и не два каган подбирался к княжичу со спины.

На помощь Святославу спешили вои. В погоне за ордою они рассыпались по полю. Заметив опасность, угрожавшую Святославу, они торопились к нему. Но если бы княжич не был храбр и силен, они бы не успели. Каган, вконец рассвирепев, яростно отбивался, налетал на Святослава. Один раз ударил его по голове, еще раз — в грудь. Но княжич удержался в седле и ударом меча оборвал жизнь кагана. Когда вои подскакали, каган умирал в густом ковыле. Но и у Святослава была ранена голова, перебито ребро.

Да что эти раны! На молодом теле быстро все зажило и забылось, и он вскоре уже опять несся во главе своей дружины по полю, вечерами отдыхал где-нибудь на кургане, слушал диковинные рассказы Асмуса, а рядом, вокруг костра, сидели вои.

Как привольно было ему и всем им в поле! Где-то далеко была Гора, тиуны, бояре, воеводы, брат Улеб, с ненавистью смотревший на него. Тут были только земля и небо, высокие курганы; в тумане могли спать спокойно городища и селения.

И, лежа на теплой земле, слушая, как где-то далеко-далеко в поле перекликается стража, он долго смотрел на звезды, а потом, казалось ему, легко взлетал к ним на невидимых крыльях и крепко засыпал.

Но чем больше буйствовала весна, чем сильнее пахли травы и цветы в поле, тем настойчивее заползали в душу княжича Святослава тревога и беспокойство. Временами случалось, что, едучи в поле опушкой леса или вдоль реки, он внезапно останавливал коня, долго всматривался вперед, словно ждал — вот-вот кто-то появится в тени деревьев... Иногда без всякой причины у него начинало бешено стучать сердце, ему казалось — он забыл взять

с собою в дорогу, оставил в Киеве что-то очень дорогое. И он поворачивал коня, спешил обратно в Киев, но не видел, не находил там ожидаемого.

И все чаще и чаще мучила его бессонница в безлюдье и безмолвии полей. Он лежал, ждал чего-то, чего-то желал, начинал искать среди звезд на небе самые красивые, приятные глазу... И он находил их — это были две манящие голубоватые звезды; они, как две сестрицы, светились на северной стороне неба, они переливались, играли, как жемчужины. Не в силах оторваться от их красоты, он хотел, как бывало раньше, устремиться, полететь к ним на невидимых крыльях, но не мог — глаза не смыкались, сон не приходил.

Две звездочки, казалось ему, светили все ярче и ярче; не он, а они смотрели на него, звали, манили. С великим трудом он наконец отрывал от них взгляд, поднимался, вставал, смотрел на укрытое ночной темнотой поле, на холм, на склонах которого там и сям лежали под открытым небом уже спавшие гридни, глубоко вдыхал настоянный на чабреце и мяте воздух, снова ложился и закрывал глаза...

Но проходило немного времени, и глаза его открывались, сразу же почему-то обращались все к тем же звездочкам-сестричкам. И они казались уже не звездочками, а глазами — знакомыми, любимыми, родными...

Засыпая, княжич Святослав силился вспомнить: чьи глаза напоминают ему эти звезды?

Пережил Святослав и еще одно — смерть своего наставника Асмуса.

Он умер, как подобает воину, ранним утром, на рассвете, когда роса становится такой тяжелой, что сама сыплется с трав, когда в поле немеет все вокруг и стоит извечная тишина, когда солнце на востоке из-за горизонта начинает поднимать против ночи сверкающий клинок своего меча...

На рассвете Асмус почуял за Росью топот коня и свист. Тихо, чтобы не разбудить Святослава, он встал, взял с собою несколько гридней и помчался вдаль, где еще лежала ночь и колыхались туманы.

Гридни возвратились и привезли с собою тело Асмуса. Там, за Росью, в лугах, оказались три печенега. Асмус с гриднями долго гнались за ними и покарали их, но один из печенегов в последнюю минуту перед смертью натянул тетиву лука и послал стрелу, угодившую Асмусу в сердце.

Смерть Асмуса опечалила Святослава. Стоя над его могилой, он почувствовал, что прощается не только с наставником, а с человеком, часть души которого он вобрал в себя и живет ею.

«Прими его, Перун, под свою сень,— думал Святослав,— а если и мне доведется прощаться со светом, я хотел бы умереть, как Асмус!»

Если выйти за древнюю Родню и встать под Княжьей горой, у самого ее подножия, где ныне спеют хлеба, буйно растут травы, цветут цветы, падают туманами и опять плывут над безграничными просторами облака,— там и есть могила Асмуса!

Обо всем этом думал княжич Святослав, стоя вечером в праздник Купалы у окна терема. И ему почему-то снова стало невесело, тоскливо, захотелось покинуть светлицу, где за день воздух раскалился, стал горячим, захотелось выйти вместе со всеми на луг над Почайною, кого-то искать и кого-то найти.

Желание было настолько непреодолимым, что княжич не выдержал, надел темное платно, накинул корзно на плечи, незаметно покинул Гору, перешел через мост и направился к Почайне.

## 2

Вместе с другими дворовыми на праздник Купалы пошла и Малуша. Еще дома, в родном селении, она любила праздники: холодные, но шумные вечера Коляды, веселые дни веснянок, расцвеченную огнями ночь Купалы, пьяные от ола и медов обжинки. Маленькая девочка в рваной сорочке стояла тогда поодаль от всех, боялась подойти ближе, но ей было так радостно.

В Киеве-городе праздники еще больше привлекали Малушу. Тут так много огней, так призывно звучат песни! Но все же она, простая дворовая девушка, а потом — ключница, и на этих праздниках стояла в сторонке, боялась смешаться с шумной, веселой толпой, где веселились и подоляне, и дети ремесленников из предградья, и даже боярские и воеводские дети.

Они постоянно звали Малушу погулять с ними. Особенно зазывали ее, просили пойти с ними на праздник гридни с Горы. Да и как им было не звать ее? Она уже не та маленькая, худенькая, испуганная девочка, что дрожала от страха когда-то в лодии, въезжала на Гору, съежившись под щитом.

Малуша изменилась. Если бы отец теперь подбирал ей имя, он, наверное, не назвал бы ее Малушею, а нашел бы другое имя — более ласковое, красивое!

Она вытянулась, стала стройной; у нее были крепкие, упругие ноги, красиво очерченные бедра, тонкая фигура; в ее маленьких грудях было еще что-то детское и в то же время зрелое — женское, манящее. У нее было круглое лицо с губами, напоминавшими лепестки цветка, небольшой, лукавый носик, темные брови и прекрасные русые волосы.

Но больше всего поражали ее глаза — карие, глубокие, живые; от одного холодного слова они могли затуманиться, от малейшего солнечного луча — засмеяться. Только на людях они никогда не бывали грустными, но и не смеялись — ведь Малуша жила на Горе.

Однако сейчас, приблизившись к толпе, Малуша забыла о Горе и о тереме. Ею овладело приятное возбуждение; она вошла в хоровод, двигавшийся вокруг костра. Вместе с другими девушками, крепко держась за руки, она убегала, когда юноши пытались их щекотать. Когда же девушки и парни стали прыгать через огонь, Малуша долго боялась, колебалась, а потом изо всех сил разбежалась, оторвалась от земли, пронеслась над костром, опустилась на землю и не останавливаясь побежала дальше, чтобы сделать круг и, вернувшись, опять прыгнуть через огонь...

И так — много раз. Купала — великий чародей, и тот, кто приходит на его праздник, словно выпивает крепкого вина. Малуша совсем опьянела, исчезли куда-то ее страх и колебания, теперь она, как и все, была в плену у Купалы, в вихре любовного огня.

А разве она не мечтала, не думала о любви? Тяжелая работа не оставляла ей времени отдохнуть, помечтать. Но уже не раз во сне кто-то желанный и странно знакомый приходил в ее каморку, не раз она с ужасом просыпалась среди ночи, потому что ей чудилось — только что кто-то был рядом с нею, привлекал к себе, склонялся, близко светились, пламенели его глаза...

— Спаси меня, Перун, спаси! — шептала тогда она и касалась рукой материнского подарка — богини Роженицы.

Зато теперь она поступала, как все, и, как все, могла дать волю своей душе и сердцу. Еще прыжок, еще один прыжок, еще один, Малуша,— священный огонь Купалы очищает тело, приближает любовь.

И когда девушки начали плести венки и бросать их в Почайну, чтобы спросить судьбу, суждено ли им иметь пару, а если суждено, то с какой дороги, сплела венок и Малуша. Разве ей, как и всем, не хотелось узнать, поплывет ее венок или потонет, найдет она себе пару или никогда не узнает, что такое любовь?

Пустив венок на воду, она пошла вдоль берега, пристально следя, тонет он или плывет. И если плывет, то куда, к кому?

Венок не тонул, он плыл и плыл; в отсветах огней, игравших на воде, выступал его темный круг.

И вдруг Малуша увидела, что кто-то возник перед нею, а потом схватил ее за руки.

— Кто это?— испуганно крикнула она.

— Неужели ты меня не узнала? — услышала Малуша знакомый голос.

— Княжич Святослав?

— Да, я... Чего же ты испугалась?

— Я пришла с дворовыми на праздник, пустила свой венок, а он приплыл сюда...

— Хорошо, Малуша... Сам Купала привел тебя сюда...

— Ой, нет, княжич! Это — к несчастью. Тут так темно... И я пойду обратно, к кострам... Там все дворовые...

— Нет, ты никуда не пойдешь...

— Почему, княжич? Как же так — никуда не пойду?

— Так, Малуша! Садись вот тут, на круче, и я сяду рядом с тобою...

Она села, потому что княжич не отпускал ее руку. Его рука была такой сильной и горячей. Села она и потому, что не могла преодолеть очарования этой беспокойной, тревожной ночи...

Они помолчали немного; до них долетали звуки купальских песен, тихий плеск воды, чьи-то голоса в темноте, но все это было так далеко.

— Ты веришь в судьбу? — спросил Святослав.

— Верю... Нет, не верю! — смутившись, ответила она.

— А для чего же ты бросала венок? Значит, хотела знать, к кому он приплывет?

— Хотела...

— Выходит, веришь в судьбу. Верю в нее и я. Так учил меня Асмус.

— Но ведь судьба, княжич, обманывает, ей нельзя верить.

— Нет, она не обманывает,— уверенно сказал он,— и ей нужно верить.

Отпустив руку Малуши, Святослав долго сидел и смотрел на черную воду, словно мог что-то там увидеть.

— Ты когда-нибудь думала обо мне? — внезапно спросил он, обернувшись к ней, и она увидела его глаза и губы, освещенные огнями. Только эти глаза и губы сейчас были не сердитыми, как в тереме на Горе, а такими, какие она видела во сне.

— Думала,— искренне призналась она,— и всегда тебя боялась. Когда ты говорил, когда молчал... и когда кричал на меня.

— А может,— сказал он Малуше, но больше, должно быть, самому себе,— может, я был суров с тобою и обижал тебя, потому что любил тебя?

— Ох, княжич,— ужаснулась она,— зачем говорить такие слова, да еще в ночь на Купалу? Ты поступал как нужно, ты княжич, а я раба. Разве можно ненавидеть и любить сразу? — Она нашла в себе силы сдержанно засмеяться.

— Можно,— ответил он.— Если я ненавижу, то от всей души, если люблю, так до конца.

— Значит, ты, княжич, сразу и любил меня и ненавидел?

— Нет, тебя я только любил. Ненавидел их, всех на Горе...

— За что, княжич, за что?

— За то, что презирали тебя, за то, что для них ты была только раба... Я сердился, и кричал, и бранил тебя за то, что ты им покорялась.

— Нет, княжич, я не понимаю, как можно ненавидеть и любить в одно время.

— Но меня ты не ненавидишь?

— Нет, княжич, как я могу тебя ненавидеть? Ты — княжич, я — раба...

— Ты снова об этом... Слушай и запомни,— перебил он ее.— Я говорю правду. Клянусь Купалой...

В тишине, наставшей после этих слов, тишине, которую, казалось, еще глубже сделала купальская ночь, он начал:

— Слушай, Малуша! Там, на Горе, и повсюду — на Днепре, в поле — мне не хватало чего-то... Сначала я не знал, чего мне не хватает, перестал спать, высматривал звезды на небе, все кого-то ждал. Теперь знаю, что я искал и ждал тебя, только тебя! Я люблю тебя, Малуша!

— Княжич! — ужаснулась она.— Как же ты можешь меня любить? Я — простая дворовая девушка!

Малуша стала рассказывать ему о себе. Впрочем, что она могла рассказать? Несколько слов о Любече, отце с матерью да еще о том, как приехал и увез ее с собою Добрыня, как он под щитом провез ее на Гору, как взяла Малушу к себе ключница Ярина.

— Значит, гридень Добрыня — твой брат? — спросил Святослав.

— Так, княжич, брат.

— Добрый гридень,— одобрительно сказал Святослав.— Никогда не думал, что ты его сестра.

И тут же он подумал о том, что нужно сделать так, чтобы Добрыня почувствовал его княжью милость: пожаловать чем-нибудь, дать хорошее оружие. Но Малуше княжич ничего не сказал об этом. Глядя на плес и огни, он продолжал:

— А может, я люблю тебя именно потому, что ты не княжья, не боярская и не воеводская дочь. Я места себе не нахожу там, на Горе, я ночей не сплю, думая о тебе, ты для меня краше всех на свете...

— Не говори так, не говори, княжич Святослав.

— Почему же не говорить?

— Мне страшно, и я очень несчастна, если ты говоришь правду...

— Клянусь Перуном...

— Княжич, если суждено несчастье, даже Перун меня не защитит.

— Не сумеет Перун — я защищу... Послушай, Малуша, разве это не счастье сидеть вот так вместе?

Она подумала и даже закрыла глаза.

— Так... счастье...

— А если я тебя обниму, поцелую?

Малуша видела звезды над головою, но теперь они сразу затуманились, погасли. Близко перед собою увидела она глаза княжича, услышала его дыхание, сильная, крепкая рука сжала ее до боли, до крика... Но боль эта длилась краткое мгно-

вение, все существо Малуши пронизала радость, счастье первой любви...

Прошло много времени. Они будто проснулись. Малуша была утомлена, обессилена.

— Я провожу тебя, Малуша.

— Не нужно, княжич, костры еще горят. Никто не должен знать, где я была.

— Хорошо, Малуша! Но завтра мы встретимся, и я скажу тебе то же, что и сегодня. Где тебя ждать, куда прийти?

— Не знаю, княжич.

— А если я приду через сени в твою каморку?

— Я буду тебя ждать, княжич. Только страшно, ой, как страшно мне.

— Не плачь, не плачь, Малуша, все будет хорошо...

Малуша пошла в сторону купальских огней; ее тонкая фигура виднелась среди трав, а потом исчезла в ночной темноте.

А княжич Святослав долго еще стоял у Днепра. Вокруг плыла тихая, спокойная ночь. Было темно, как бывает перед рассветом. Темноту не могли развеять даже слабые огни, догоравшие на лугу. Самый острый глаз не различил бы в этой тьме, где кончаются на горизонте берега и воды Днепра, а где начинается небо. Ярко светились вверху звезды; где-то глубоко внизу, под кручей, звонко плескалась вода.

Княжич Святослав был счастлив, он ощущал все величие этой ночи, вдыхал тонкие ароматы цветов, трав, воды, слушал страстную, старую, но вечно новую песню соловьев, что пели в ту ночь так же, как и сегодня.

Счастье, безграничная радость, любовь ко всему миру овладели им, согрели сердце, оживили душу, и особенной радостью была та, какую он пережил этой ночью. Княжич Святослав чувствовал себя счастливейшим человеком на свете, он глубоко верил, что любит Малушу и сможет найти с нею свое счастье.

Костры на лугу продолжали пылать, молодежь, должно быть, думала гулять до самого утра. Приблизившись к огням, Малуша сразу же очутилась в водовороте песен, криков, плясок.

Но теперь она, не останавливаясь, быстрыми шагами, прячась среди кустов, направилась к дороге на Гору, чтобы поскорее прийти домой, очутиться в своей каморке, остаться наедине со своими мыслями.

Вдруг она услыхала за собою шаги. Человек, шедший за нею, торопился, старался ее догнать. Подумав, что это, может быть, Святослав, она, боясь, чтобы их не встретили вместе у ворот, пошла быстрее, почти бегом. Но шаги позади раздавались все ближе, все слышнее.

Наконец Малуша остановилась, поняв, что ей все равно не

убежать. Кто-то в темной одежде подошел к ней и тоже остановился. Она присмотрелась и в красноватых отсветах огней на Почайне увидела лицо гридня Тура.

— Ты гнался за мною?

— Так, увидел тебя и погнался...

— Зачем?

— Чтобы тебя кто не обидел в эту темную ночь...

— Кто же меня мог обидеть?

— Разве я знаю, Малуша?! Купала — великий чародей, он то рьяный, то пьяный. С тех пор как ты здесь, на Горе, я все время боюсь за тебя...

Они шли рядом, Малуша — легкой, неслышной походкой, он — тяжело, твердо, уверенно, как ходят гридни.

Только в словах Тура не было уверенности.

— И еще я боялся,— продолжал он,— как бы ты меня не обидела...

— Чем же я, Тур, могла тебя обидеть?

— Кто знает...— ответил он.— Если бы ты была такою, как я, была бы среди нас, я бы тогда не боялся. А с тех пор как ты стала ключницей, очутилась в тереме, я боюсь за тебя...

После всего, что случилось в эту ночь, ей было трудно понять, о чем говорит, на что намекает Тур. Но ее поразили искренность и теплота этого простого гридня, который уже столько для нее сделал и сейчас так заботился о ней. И Малуша произнесла:

— Послушай, Тур! Ведь ты сам, встретив меня на Горе, сказал, что, раз я въехала сюда под щитом, будет у меня и честь и слава...

— Так, говорил...

— Неужели же теперь ты не желаешь мне чести и славы?

— Желаю!

— Помолись за меня!

— Молюсь! — Он остановился и посмотрел на усеянное звездами небо.— Пусть Перун даст тебе тут, на Горе, великую честь, славу, счастье...

— Не торопись, Тур! — сказала Малуша, заметив, что он хочет идти дальше.— Я тоже постою и помолюсь. Перун, дай счастье мне и гридню Туру. Дашь? Он даст, Тур, видишь, как нам улыбаются звезды? А теперь пойдем. Тут так темно, дай мне руку.

Он взял ее за руку и осторожно повел вверх по дороге. Невдалеке на фоне синего неба уже видны были мост и ворота.

— Перун каждому посылает его судьбу,— тихо говорил Тур.— Но у меня нет, не было счастья...

— Не говори так, Тур,— возразила она.— И тебе и мне Перун пошлет одинаковую, счастливую судьбу...

## 3

Княгини Ольги нет, но на Горе все идет, как и при ней. Обычай княжьего двора — закон, сложившийся веками. Так было когда-то, так делается сейчас, так будет вовеки.

Княжич Святослав просыпается, разбуженный ударами в медное било на стене. Спал он или нет? Кто знает?! Может, и заснул, упав на ложе, не раздеваясь. Но теперь он должен вставать. Нет в Киеве княгини Ольги, на столе сидит он, Святослав, надо вставать и идти в трапезную, творить с воеводами и боярами суд, с ними же ехать за Днепр на ловы. Княжич Святослав идет в угол опочивальни, где стоит ведро, умывается ключевой водою, одевается, выходит.

В сенях, где красноватые огоньки нескольких светильников спорят с зеленоватыми лучами рассвета, его уже ждут брат Улеб, воевода Свенельд, тысяцкий Маркел, бояре Ратша и Хурс. Когда княжич Святослав спускается по лестнице, они, низко кланяясь, приветствуют его. Улеб едва склонил голову перед братом. Потом идут вместе через длинные сени, где догорают светильники, в трапезную: впереди — княжич Святослав, рядом с ним — Улеб, позади — воеводы и бояре.

В трапезной давно уже все готово для завтрака. На покрытом белым полотном столе — хлеб, соль, кувшины с квасом, веприна и зелье, всевозможные яства. Вокруг стола уже расставлены тяжелые дубовые стулья с высокими спинками.

К очагу подходит княжич Святослав. Он бросает туда кусок хлеба, веприны, щепотку соли, выливает немного меда. Все молятся за счастье родной земли, за благополучие города Киева, за княгиню Ольгу в далекой дороге.

Только княжич Святослав молится о другом — перед его глазами стоят огни купальской ночи, венок на воде, глаза Малуши. Огонь поглощает жертву. Должно и будет так, как задумал Святослав. Все садятся к столу.

Тогда из дверей, ведущих в кухню, выходит ключница Малуша, останавливается, прижав руки к сердцу, низко кланяется.

Но на этот раз Малуша долго стоит склонившись. А может, так только кажется княжичу Святославу?

Наконец она поднимает голову. Стоит против княжича Святослава, смотрит на него, хочет увидеть в нем то, что стремилась увидеть,— любовь и нежность. Но видит обычные, спокойные, холодные глаза, слышит, как всегда, тихие слова:

— Ставь еду, ключница!

Подавая миски, она боялась посмотреть ему в глаза. Впрочем, возможно, так было и лучше. Если бы она присмотрелась внимательно, она заметила бы, что княжич Святослав бросает

недовольные взгляды на воевод, бояр, брата Улеба, заметила бы его взволнованность, беспокойство.

Так закончился завтрак. За окном уже сверкал день, оттуда долетали человеческие голоса, конский топот. Гора оживала, звала, требовала. Княжич Святослав рывком встал из-за стола, за ним поднялись брат Улеб, воеводы, бояре.

Святослав на мгновение остановился у стола и задумался, приложив руку ко лбу, словно старался что-то припомнить. Потом медленно направился к дверям, а за ним — все, кто был в трапезной.

Ухватившись рукою за край стола, Малуша стояла и смотрела, как, окруженный боярами и воеводами, вышел из трапезной, идет по сеням княжич Святослав. Там уже ждали его другие мужи и бояре, они здоровались, присоединялись к идущим, теснее окружая княжичей. Вот уже и не видно Святослава.

Холодные пальцы Малуши оторвались от края стола. Княжич Святослав встал, вышел, так и не взглянув на нее. А чего же Малуша ждала? И в самом деле, чего она могла ждать? У княжича Святослава много дела: сейчас он будет судить людей, потом, как слыхала Малуша, поедет с воеводой Свенельдом на ловы, еще позже — обед, вечер, ночь. Размеренной жизнью живет Гора: сегодня — как вчера, завтра — как сегодня.

Но иначе идет жизнь у Малуши. Такой, как сегодня, она будет завтра и в следующие дни, но такой, как вчера, не будет уже никогда. Так что же делать, как ей жить?

На глаза набегают слезы. Малуша смахивает их рукою. Нельзя плакать! Еще слеза — опять смахнула. Не плачь, Малка, не плачь! Через окно потоком льется розовый утренний свет — не дай бог кто-нибудь увидит, что ключница княгини Ольги плачет! Вот и сейчас в трапезную входит красавица Пракседа, что-то спрашивает у нее, смотрит на Малушу своими большими, красивыми, но хищными и завистливыми глазами. Малуша, не плачь!

И она уже не плачет. Завтрак окончен, но впереди еще обед, ужин, надо идти в клети, все взять, приготовить. А разве мало дела помимо этого? Княжий терем велик, нужно повсюду прибрать, перестелить ложа, накрыть столы, подмести, смахнуть каждую пылинку.

Малуша проходит по терему, выходит во двор, направляется к кладовым, медушам, бретяницам, клетям. У ее пояса гремит тяжелая связка ключей. Тут ключи от всего, в ее руках все богатства княгини, княжичей, всего княжьего двора. Она идет, останавливается у кладовых и клетей, запертых тяжелыми замками, и начинает перебирать ключи.

О, как много у нее ключей! Вот ключ — отопри им замок, и перед тобою появятся все драгоценности княгини, вот другой —

и она может одеть всю Гору, предградье, Подол, третий ключ — и перед нею окажутся сокровища, сокровища... Но она все перебирает и перебирает ключи, никак не может найти тот, который ей нужен сейчас. Она понимает, что полюбила княжича Святослава и без этой любви не сможет жить. О, если бы кузнецы умели ковать ключи к сердцу человека!

Напрасно волновалась Малуша, напрасно, прибежав после долгого дня к себе в каморку, думала, что опоздала, волновалась, что княжич Святослав не придет, даже всплакнула.

Княжич Святослав не мог прийти в ее каморку, пока в тереме расхаживали бояре, родичи, гридни, не мог прийти и тогда, когда на городницы выходила первая ночная стража, потому что в тереме еще не спали.

Когда же княжич убедился, что вокруг все уснули, он погасил светильник в своей светлице, очень тихо, чтобы никто не услышал, как скрипят половицы, вошел в Золотую палату, где в полутьме тускло поблескивали оружие и доспехи предков, миновал верхние сени, спустился по лестнице в дальний угол нижних сеней и отворил дверь в каморку Малуши.

Как только Святослав переступил порог и закрыл за собою дверь, он почувствовал на шее руки, теплое дыхание,— о, как сладки были уста Малуши, каким упругим и в то же время гибким было ее тело!..

За окном темнела ночь, над городом совершали свой вечный путь звезды, на городских стенах стояли стражи и медными билами вели счет времени, а они были вдвоем, для них не существовало времени.

Быстро убегали ночные часы, каждый из них спрашивал себя — была ли эта ночь; а на стене стражи уже звонили в била, уже скрипели блоки моста, который опускали на день, во дворе раздавались шаги, а далеко за Днепром прорезывалась полоска рассвета.

## 4

Всем хорошо в этот ранний час, всем хочется жить, каждый с наслаждением, глубоко вдыхает свежий воздух,— о, как чудесно пахнет он водою, травами! — каждый любуется голубым небом, розовыми облачками, что повисли, как ожерелье, на горизонте, цветами, которые всеми красками играют среди безбрежного зеленого простора.

Но самым счастливым в этот час, должно быть, чувствовал себя Добрыня. Он еще не понимает, что случилось с ним, не понимает и того, как, почему это случилось. Вчера он был гриднем в княжьей дружине, как сотни и тысячи других, и думал, что ходить ему в гриднях до тех пор, пока не наткнется где-нибудь на копье печенега и не погибнет.

И вдруг на рассвете позвал его в гридницу воевода Свенельд и сказал, что он, Добрыня, поедет с княжичем Святославом на ловы и поведет за собою сотню гридней. Но это было не все: их тысяцкий, который был при этом в гриднице, добавил, что отныне, по княжьей милости, Добрыня всегда будет водить сотню. Значит, он сотенный, отныне и навеки — сотённый!

Радость переполняет душу Добрыни. Был бы он один — ударил бы коня, с гиком-криком помчался бы в поле, чтобы земля гудела под копытами, а ветер бил в лицо. И долетел бы он туда, где висят над горизонтом облака. Сотенный! Слышите? Любечанин Добрыня — сотенный!

Но мчаться нельзя. Сдерживая резвого коня, едет он первый за княжичем Святославом, остальные гридни — им вслед. Так будут ехать они до дарницы княгини Ольги за Днепром — бобровых гонов княжича Святослава.

Все молчат. Не пристало говорить, когда молчит княжич. А он едет, отпустив поводья, иногда только, когда конь засбоит или свежий ветерок повеет со стороны Днепра, поднимет голову, задумчиво поглядит вокруг. О чем думает княжич и чем он озабочен? Почему в его серых глазах то светится радость, то промелькнет тревога?

Да разве может гридень, пусть даже и сотенный, знать княжьи мысли? У князя — свое, у гридня — свое. Добрыня опять и опять спрашивает себя: почему так случилось? в чем причина?

Гарцуя на коне за княжичем Святославом, пощипывая время от времени тонкий ус, то опуская, то натягивая поводья, играя копьем и крепко сжимая щит, Добрыня сегодня казался сам себе гораздо более красивым, чем вчера, и, разумеется, красивее остальных гридней. Он вспомнил дни, когда ему не раз приходилось вместе с другими гриднями сопровождать княгиню Ольгу, а несколько раз и княжича Святослава. И хотя тогда ничего не происходило необычного, Добрыне теперь все казалось значительным: однажды он первый помог княгине выйти из лодии, однажды первый подвел княжичу Святославу коня... Видишь, Добрыня, как ты хорош, видишь, чем заслужил честь и славу? Так выше же голову, туже натягивай поводья, сотенный!

5

Быстро проходит в жизни человека весна, быстро летят теплые, щедрые дни лета, но быстрее всего проносятся дни и ночи любви...

Княжич Святослав переживал настоящую свою весну. Он ездил, как и раньше, на ловы, побывал летом с дружиною своею за Переяславом, в Родне, ездил в леса за Любечем.

Но теперь, где бы он ни был, где бы ни ночевал в поле, где бы ни стоял в степи или на высоком кургане, он видел ее лицо, мечтал обнять ее, впиться в упругие губы, снова и снова гореть в чаду любви.

Даже дружина не узнавала своего князя. Раньше он бывал задумчивым, настороженным, молчаливым. А теперь словно кто подменил их князя: на лице его все время играла улыбка, движения стали тверже, он бил орла на лету, смело шел с копьем на тура, настигал в степи дикого коня.

Особенно бывал он счастлив, когда возвращался с дружиною в Киев. Это бывало обычно к вечеру, когда Днепр дышал теплом, воздух был полон запахом спелых яблок, меда и цветов, где-то далеко-далеко в лугах рождалась песня.

Напоенные солнцем, овеянные ветрами, слегка усталые, но сильные, молчаливые и счастливые, они молча переплывали верхом Днепр и Почайну, выходили на берег, купались в теплой, манящей воде и ехали через торг Подолом, поднимались по дороге в предградье, по мосту, гремевшему и содрогавшемуся под копытами коней, въезжали на Гору.

И снова ночь любви, чудесная ночь, когда не хватает слов, когда все вокруг, кажется, воспевает и славит любовь.

А неизбежное и неумолимое уже подкрадывалось к княжичу Святославу и Малуше, только они не знали, не чувствовали этого.

Был месяц червен — прекрасная пора, когда в Киеве и вокруг него созревали плоды и виноград, на полях пахло рожью, в лесах — медом. В этом приволье, среди неописуемой буйной красоты, цвела и их любовь.

Настал зарев, заскрипели возы, встали столбы пыли над дорогами — богатство садов, безграничного поля, лесов потоком вливалось в княжьи клети, сусеки, медуши на Горе. Малуша рук не чуяла, поднимая кади, коробы, бочонки, ведра, от тяжелой работы у нее подкашивались ноги. Но приходила ночь — все забывалось, молодость не знает усталости, а любовь для нее — отдых...

Потом пришел ревун, повеяло холодом над Днепром, студеной стала вода, завяли травы и цветы на берегах, птицы улетали на юг, а у Малуши заболело сердце.

Она не знала, когда это началось, но ходила сама не своя. По ночам не спала, днем не ела, побледнела, похудела, только глаза блестели все так же. Правда, иногда в них вспыхивала тревога.

Однажды ночью она долго, прислушиваясь и вздрагивая от ударов собственного сердца, ждала Святослава. И когда он пришел, призналась.

— Княжич, милый,— робко начала она,— не знаю, и говорить ли, но что-то грустно, нехорошо мне...

По ее щекам катились слезы.
— О чем тебе грустить? — пытался успокоить ее Святослав.— Не плачь...
— Я, должно, непраздна есмь...
Она пристально всматривалась в его лицо и глаза: хотела узнать, что думает Святослав.
Но прочесть на его лице ничего не смогла. Княжич Святослав слышал ее слова, понял, что произошло, но смотрел не на нее, а в оконце, где высоко в небе висела серебристая луна.
— О чем ты думаешь, княжич? Ты, должно быть, теперь ненавидишь меня, теперь я тебе не нужна?
— Нет, Малуша,— ответил он,— не об этом я думаю, а о том, что будем делать. И мы сделаем, все сделаем так, что будет хорошо...
— А что нам делать?
— Не торопись, Малуша, дай подумать...

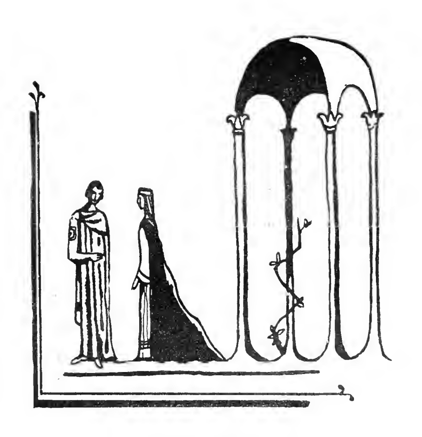
В следующую ночь она очень беспокоилась: придет ли к ней княжич Святослав? А если и придет, будет ли таким, как раньше?.. О, с каким нетерпением ждала она в эту ночь шагов за стеною в темноте, прикосновения руки к замку (как хорошо она знала это прикосновение!), тихого скрипа двери, а потом — его самого, любимого, единственного.
И она не только ждала, но и готовилась: прибрала в каморке, нарвала цветов и поставила их в глиняном горнце около ложа. Долго думала, нельзя ли сделать еще что-нибудь приятное для княжича, да так и не придумала — что ж, она еще раз отдаст ему свое сердце.
Малуше пришлось ждать очень долго. На Горе уже все успокоились и заснули, стражи один и второй раз ударили в била, месяц выплыл из-за Днепра и хитро посмотрел через зубчатую стену, но знакомых шагов все не было слышно — княжич Святослав не шел.
Отчаяние и страх охватили смятенную душу Малуши, она решила, что княжич уже не придет, и не знала, что же ей делать, как дальше жить.
И когда она уже совсем потеряла надежду и подумала, что счастье и любовь навеки покинули ее, шаги послышались не за стеною терема, а рядом, во дворе, знакомая рука притронулась к замку, тихо скрипнула дверь...
— Малуша!
Она вышла из темного уголка, где стояла, прижав руки к сердцу, разрывавшему грудь.
— Улеб — аки тать! Стоит и стоит в сенях, разговаривает

со своими воеводами и боярами. Я уж вышел другим ходом. Через сад...

Малуша не слыхала его слов, она смотрела и смотрела на залитое лунным светом лицо Святослава, на его глаза, в которых вспыхивали такие знакомые ей искорки.

Святослав также ничего не слышал, он пришел к ней, как раньше, он придет завтра и послезавтра, он не оставит тебя, Малуша!

Но если бы они прислушались, то услышали бы, как рядом, во дворе, под деревьями, прозвучали чьи-то шаги. Там шелохнулась женская фигура. Замерла на мгновение и исчезла.



## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Прошло еще много дней, много долгих, бессонных ночей провела княгиня Ольга в монастыре св. Мамонта, пока удалось ей снова увидеть императора Константина.

Прилетали холодные ветры с севера, и опадали листья с тополей, росших под стенами города, приходили в Суд, выгружались и спешили отплыть в обратный путь, к своим землям, корабли со всего света, с каждым днем темнее и холоднее становились воды Суда и Пропонтиды, а Ольга все сидела в монастыре св. Мамонта, ждала встречи с императором Константином.

Порой княгиня закипала от возмущения: доколе же ей сидеть здесь и ждать этой встречи? Не лучше ли сказать купцам, чтобы они поднимали ветрила и вели лодии к Русскому морю,

к родному Днепру? Временами она говорила царевым мужам, которые приходили без конца в монастырь и все справлялись о здоровье княгини, что чувствует себя плохо, собирается уезжать на Русь, ибо только там ей будет хорошо.

Царевы мужи слушали, обещали передать это императору, исчезали, приходили снова и каждый раз измышляли новую причину: то, мол, император Константин прихворнул, то выехал ненадолго в Македонию или Фракию, то у него просто нет времени. Но все же они обещали, что вот-вот император пригласит княгиню Ольгу в Большой дворец, встретится с нею, что у них состоится важный разговор.

И княгиня ждала. Она должна была ждать, ибо дело шло о справедливом праве, о благополучии русских людей, о чести Киевского стола. Неужели может статься, что император Византии, который ежедневно принимает князей и послов со всего света, не примет еще раз и не будет говорить с нею — русскою княгинею?

И вот наконец — это было через полгода после того, как княгиня Ольга выехала из Киева, и через восемьдесят три дня после того, как русские лодии остановились на Суде,— царевы мужи, запыхавшись, прибежали в монастырь св. Мамонта и уведомили княгиню, что император Константин будет ждать ее в воскресенье, восемнадцатого октября.

Восемнадцатое октября! Тут, над Пропонтидою, было еще тепло, но на душе у княгини Ольги царил холод. Сколько дней и ночей! Что даст ей еще одна встреча с императором?

И снова они со всеми церемониями пришли в Большой дворец, снова их заставили ждать выхода императора. В Золотой палате на позолоченных деревьях пели птицы, рычали и били тяжелыми хвостами о пол золотые львы, а император Константин возносился на троне и высился там наравне с образом Христа.

После этого состоялся обед. Купцы и послы за отдельными столами обедали в Золотой палате, где сидел и император Константин, императрица же с дочерьми и Феофано — в Пентакувиклии святого Павла, куда была приглашена и княгиня Ольга.

На этот раз княгиня Ольга сидела за одним столом с императрицей и Феофано, разговаривала с ними, имела случай еще раз вблизи на них посмотреть. И снова, как и во время первого приема, ее неприятно поразили сухость и черствость императрицы Елены, вызывающее, подчеркнуто заносчивое поведение Феофано.

Время от времени в Пентакувиклии начинал звучать орган — тогда все присутствующие на обеде должны были вставать и слушать музыку. Несколько раз во время обеда в палату входили карлики-шуты и фокусники, они развлекали гостей различными шутками, показывали удивительные превращения, гло-

тали огонь, заставляли вещи исчезать и снова находили их, взбирались по тонким, гибким прутьям до самого потолка. Перед гостями выступил даже черный великан, который мог поднять сразу восемь человек.

Но, хотя все это было необычайно любопытно, княгиня Ольга не могла забыться. Она думала, почему император обедает с купцами и послами, а она — с императрицей и Феофано; ждала и гадала, позовет ли ее император.

И вот в дверях Пентакувиклия появился паракимомен Василий. Император Константин приглашал княгиню Ольгу для беседы.

Стояла поздняя осень, но здесь, на берегу Пропонтиды, еще не ощущалось ее дыхания. В саду, по которому шли император и княгиня, еще цвели цветы, и их терпкие ароматы кружили голову. Где-то внизу, в темноте, глухо бились о скалы морские волны, вдалеке, за стенами, тускло поблескивал Константинополь, вверху изменчиво переливались звезды.

Император и княгиня Ольга остановились на скале над морем, и то, что открылось их взорам, можно было поистине назвать сказкой. Прямо перед ними расстилался бесконечный голубоватый простор Мраморного моря. Высоко над ним и, казалось, совсем близко от земли плыл серебряный, перевитый темными полосами месяц. Вокруг него, потонув в его сиянии, померкли все звезды; небо было там такое же голубое и чистое, как и море внизу. Только на севере, где небо окутывало темное покрывало, тлели, будто прятались, красноватые звезды. От скалы, на которой стояли император и княгиня, и до самого горизонта море светилось, прямо к месяцу по воде тянулась широкая дорожка, но не только в этом месте, а по всему водному простору каждая капля излучала зеленоватое сияние.

И, упиваясь ночной тишиной, вбирая в себя лучи месяца, отдыхая в лоне своем, море время от времени вздыхало, будто дышало, и тогда в глубинах его рождалась волна, с тихим, похожим на шепот журчанием катилась к берегу, разбивалась о камни и маленькими струйками, звеневшими, как струны, возвращалась в бездну...

— Я хотел показать княгине русской красоту Пропонтиды. Вот она,— сказал император Константин.

— Я благодарна императору за почет,— ответила княгиня,— но за три месяца я уже нагляделась на эту красоту, а вон там, над Перу, висит туча, и оттуда дует холодный ветер.

— Княгиня Эльга, я вижу, обижается, что я так долго не мог с нею побеседовать. Но ведь я то болел, то уезжал из Константинополя... Теперь я очень внимательно слушаю княгиню.

— Так, император, я долго ждала и хотела говорить о мире и любви, что должны быть между Византией и Русью...

— Да разве между нами нет мира и любви, княгиня? — притворно-искренне удивился император.— Насколько я знаю, они ныне есть между нами...

— Мир и любовь начертаны в хартиях римских императоров и князей Олега и Игоря, стоявших когда-то здесь, у стен Константинополя. Но на деле их нет, и Русь в том неповинна.

— Не разумею, о чем говорит княгиня.

— Я говорю о том, что на востоке нашей земли, на далеком Танаисе, где проходит наш путь к Итиль-реке и Джурджанскому морю, Византия построила свой город Саркел и преградила нам путь...

— Саркел? — засмеялся император Константин.— Но ведь это не наш город, его построил хозарский каган, мы ему, правда, продавали мрамор и камень, железо и стекло... Там, как я припоминаю, был и наш зодчий, спафарокандидат Петрона... Но, княгиня, строили этот город не мы, а хозары. Точно так же мы строим города и другим народам. Захочет Русь — поможем и ей... Разумеется, за деньги, за золото...

— Что ж! — произнесла, сдерживаясь, Ольга.— О Саркеле мы будем говорить с хозарским каганом, но императоры ромеев строят города не только в Танаисе и не только за золото, а и на берегах Русского моря от Истра до Тмутаракани, где стоит Русь...

— Княгиня Эльга ошибается,— сурово возразил император Константин.— Когда-то, в очень древние времена, мы, греки, называли Русское море Понтом Аксинским и не ходили туда, но позднее это море стало Понтом Евксинским, и тогда множество греков поселилось над Истром, в Климатах, в Тетрамархе, которую княгиня называет Тмутараканью.

— Я знаю,— ответила княгиня Ольга,— что в прежние времена много греков поселилось в Климатах, и мы с тех пор находимся с ними в дружбе. Но в Тмутаракани, которую император называет Тетрамархою, и повсюду у моря были наши земли... Почему же империя ныне посылает туда своих людей, и не зодчих, а воев? Почему они нападают на наших людей и не дают торговать с Климатами?

— Древние наши города над Понтом мы не собираемся разрушать,— сказал император,— и на новые земли не поедем.

— Но пусть они не мешают нам торговать с Климатами.

— В Климатах есть свой синклит, стратиг, протевон, Русь должна сама договариваться с ними.

— Мы сумеем договориться с ними,— согласилась княгиня,— лишь бы нам не мешала империя. Но, император, не все ладно у нас с торговлей и в самом Константинополе...

— Почему же? Ведь мы торгуем с Русью так, как начертано в хартиях, подписанных нашими императорами и русскими князьями.

— Хартии эти написаны очень давно, а жизнь идет, и все меняется. Наша земля богата, император, богаче, чем думают тут, в Константинополе.

— Я знаю это, княгиня, и это известно всей империи.

— Тем паче, император! Мы хотим продавать свои богатства, у нас есть что продать. Многое мы хотим и купить в Константинополе... Но мы не можем торговать! Ведь когда наш купец приезжает сюда, он должен показать свой товар эпарху, тот назначает цену... Где же это видано, чтобы не сам купец, а кто-то другой назначал цену?! У нас в Киеве заведено иначе. Ваши купцы назначают цену, дело наше — покупать или нет...

Император Константин, казалось, внимательно слушал княгиню Ольгу.

— Опять же,— продолжала она,— в Константинополе купцы наши могут покупать вино, мастики и благовония, а вот тканей, шелка и бархата — только на пятьдесят золотников каждый... Почему так, император? Я хочу не вином напоить, а одеть Русь.

— Наши императоры,— сказал упрямо Константин,— установили ряд с князьями русскими о торговле, и я не вижу надобности менять его.

— Отцы наши думали, что их договоры будут выполняться.

— Я позабочусь, княгиня, чтобы они выполнялись,— сухо произнес император.— Но почему Русь не выполняет договоров?

— О чем говорит император?

— Я говорю о том, что еще при императоре Льве Премудром патриарх Фотий установил на Руси христианскую митрополию, но вот уже сто лет Русь и ее князья не принимают этой митрополии...

— Я христианка,— сказала княгиня Ольга.

— Знаю это и тем более удивляюсь.

— Удивительного тут нет,— запальчиво сказала княгиня,— не только я, много уже христиан есть на Руси. Есть у нас и храмы и священники. Но Русь не хочет быть под патриархом константинопольским.

— Почему?

— Должно быть, потому, почему и болгары-христиане не подчиняются константинопольскому патриарху, а имеют своего. Мы, император, очень любим и бережем законы наших предков. И хотя изменяем эти законы, но и новые законы — наши, свои. Русские люди не терпят никого над собою, они не умеют быть рабами...

— Так неужели же христианство — рабство?

— Я христианка и знаю, что христианство не рабство. Но быть под патриархом константинопольским — все равно что быть под империей.

— Княгиня Эльга очень откровенна и резка на слово, и

очень жаль, что она не хочет, чтобы я был ее крестным отцом.

— Так, император, я крещена презвутером болгарского кесаря Симеона... Но разве нет путей, чтобы породнить Византию и Русь?

— О каких путях говорит княгиня?

— У императора есть несколько дочерей, пошли бог им здоровья... А у меня есть два сына, старший из них — Святослав. Княжич Святослав уже взрослый, скоро посажу его на стол Киевский... А что, если бы киевский князь Святослав породнился с императором Византии?

— Он — эллин, язычник.

— Так, он язычник! Но ведь иудеи-хозары — и те в родстве с римскими императорами!

— Те императоры римские,— ответил Константин,— что породнились с хозарами, преданы анафеме, я же хочу для себя не анафемы, а жизни вечной...

— Жаль, император! Когда-нибудь князь Святослав побывает в Константинополе, и император убедится, как он смел, справедлив...

С невеселыми мыслями покидала княгиня Ольга Большой дворец императоров ромеев. Она вышла из покоев Константина в поздний час. Вся свита ждала ее у Орологии и, как видно, уже беспокоилась.

Темными улочками, площадками, на которых высились стройные кипарисы и журчали фонтаны, длинными, гулкими переходами, окруженные сановниками, царевыми мужами, охраной, прошли они молча до ворот Большого дворца, попрощались, уселись в колесницы и поехали через широкую площадь, а потом улицей Месы.

За то время, что они были во дворце, погода изменилась. Над Золотым Рогом и Галатой нависла черная, грозовая туча, время от времени в ней вспыхивал огонь, глухо гремел гром, на землю летели, врезаясь в нее, ослепительно белые острые молнии.

В такие мгновения видна была вся вереница, мчавшаяся по улице,— возницы, кони, пугливо вскидывавшие головами, княгиня, ее спутники, которые, вцепившись в поручни, старались не выпасть из колесниц.

— Ну как? — один только раз спросила княгиня Ольга у своих родственниц и боярских жен.— Такого чуда мы сроду не видели? Красоты тоя не забудем?

Жены молчали. Чудес и красоты Константинополя словно не бывало, в эту ночь в Большом дворце они увидели нечто иное.

Они ехали по улицам Константинополя очень долго, перед

ними с обеих сторон в полутьме возникали и убегали назад дома, кипарисы, памятники и колонны. Повсюду было пусто, лишь изредка встречались ночные сторожа; кое-где в окнах теплились огоньки, похожие на светлячков.

Княгиня Ольга не видела всего этого, не смотрела на призрачный ночной Константинополь. Горькая обида, боль, злость сжимали ее сердце, терзали грудь.

## 2

Историки разных времен и разных народов истратили горы бумаги и реки чернил, описывая, как лета 957-го княгиня Ольга на лодиях с купцами своими ехала в Константинополь, какие дары везла она с собою, как принимали ее императоры и о чем говорили с нею. Спорили о том, в какие дни император Византии ее принимал — девятого сентября или восемнадцатого октября или в какие-нибудь другие? Наконец они пришли почти единогласно к мысли, что императоры принимали княгиню Ольгу во второй раз восемнадцатого октября, ибо только в лето 957-е воскресенье приходится на восемнадцатое октября. А о том, принимали императоры княгиню Ольгу в первый раз девятого сентября либо в другой день,— об этом спорят и до сих пор.

И почему-то никто из них не задумался над тем, что же делала княгиня Ольга после второго приема у императоров. Вопрос этот может кому-нибудь показаться лишним, возможно, кто-либо из историков ответит на него словами летописца: «возвратилась в Киев и, обиженная императорами, сказала: «Ты такожде постоише у меня на Почайне, якоже аз на Суде...»

Но это не будет ответом на вопрос, ибо в самом деле — что же делала княгиня Ольга после ночи восемнадцатого октября, когда во второй и последний раз принял ее император Константин? Вернулась в монастырь св. Мамонта, уснула, а потом поехала в Киев? Как? Ведь было уже восемнадцатое октября, Русским морем вряд ли можно было ехать. Там в это время творилось такое, что от лодий и щепок бы не осталось. О Днепре и думать не приходилось, ибо до него нужно было еще добраться. А если бы они и добрались, то увидели бы там только лед. Сын княгини Ольги Святослав ехал через пятнадцать лет после того на лодиях в Киев, выехал не восемнадцатого октября, а в июле, и не из Константинополя, а из устья Дуная, да и то не смог доехать — лодии вмерзли в лед в устье Днепра, у выхода в море...

Нет, вопрос о том, что делала княгиня Ольга после ночи восемнадцатого октября, лета 957-го, не праздный, и ответить на него нужно.

Когда колесницы, в которых везли княгиню Ольгу и ее свиту из Большого дворца, остановились возле монастыря св. Мамонта, все вышли, толпой прошли в ворота, остановились на вымощенном камнем дворе. Родичи княгини, собираясь еще поговорить между собою, поклонились княгине и быстро ушли в свои кельи. Молчала некоторое время, кутаясь в свое корзно, чтобы защититься от ветра, княгиня Ольга, а потом сказала, обращаясь к купцам:

— А вы зайдите сейчас ко мне...

Вскоре все они собрались в ее келье. Там горели две свечи, освещая убогую монастырскую обстановку: стол, несколько лавок, серые каменные стены, узкие оконца, через которые долетал шум ветра и стон разбушевавшегося залива.

Княгиня успела переодеться и была в своей обычной одежде, с темной повязкой на голове, и это еще больше подчеркивало ее бледное, утомленное лицо, пересохшие губы.

Сев на лавку у стола, княгиня прислушалась, как шумит ветер за окном и как стонут волны на Суде, озабоченно покачала головой и начала:

— Не лиха хотя, а ради добра и тишины земли Русской ехали мы сюда с бременем тяжким, везли дары достойные, дали их императорам, говорили о потребах наших и все сделали по надобности...

На минуту княгиня задумалась, вспоминая, как она несколько месяцев высидела на Суде, как долго добивалась приема и наконец побывала в Большом дворце.

Надежды? На что она надеялась, на что уповала? Нет, прежние князья русские Кий, Олег, Игорь, ходившие к ромеям не с подарками, не с ласковыми словами, а с мечами и копьями, хорошо знали, зачем и ради чего идут они против Византии.

Лукавы, хитры ромеи и их императоры, лживыми словами они всегда старались обмануть и усыпить русских князей и всех людей русских, клялись Христом, но сами Христа в сердце своем не имели.

Тщетны слова, что императоры ромеев согласны жить в дружбе и любви с русскими людьми. Императоры эти, как пауки, высасывают все силы из Египта, Азии, Европы, мечтают о большем, стремятся покорить Русь.

О, как ясно ощущала теперь княгиня Ольга ненависть ромейских императоров к Руси! Содрогаясь всем телом, чувствуя, как гнев закипает в сердце, вспоминала она недели, когда сидела в Суде, вспоминала оба приема в Большом дворце, где ее свиту различными способами унижали и оскорбляли, вспомнила и последний разговор с императором Константином.

— Вотще ехали мы в Царьград,— сердито продолжала она,— лучше бы не были тут, ибо что хотели — не сделали, что искали — не нашли, добра и тишины не добыли. Днесь я вновь го-

ворила с Константином, да что то был за разговор! Великую гордость взяли императоры, двоеручат, про любовь говорят — пагубу нам чинят, тайно деют, черны их затеи и помыслы...

За этими словами послы и купцы земли Русской почувствовали великую обиду княгини, что была и их обидою, всю боль, которая была и их болью.

— Что теперь делать будем, послы мои и купцы? — спросила княгиня Ольга и посмотрела на их лица.— Ведь Константин три месяца заставил нас сидеть на Суде не токмо, чтобы поразить честь и гордыню нашу, а паче чтобы лишить нас выхода. Скажите мне, купцы,— обратилась она к ним,— разве можем мы ныне лодиями ехать на Русь?

Купцы молчали, и в этой тишине еще явственнее стало слышно, как шумит за окном ветер, как ревет Суд... Княгиня же вспомнила тихую, спокойную ночь на Русском море, когда они ехали сюда и когда рулевой Супрун говорил ей: «Страшно море Русское осенью, княгиня...»

— Не примет нас ныне Русское море,— сказал, вставая с лавки, Воротислав, который на своем веку много раз ходил в Константинополь.— Разбросает наши лодии, потопит, разобьет о камни... Бурно, страшно Русское море осенью, княгиня,— произнес он те самые слова, которые она слышала от Супруна.

— А если бы мы доехали до белых берегов,— все же спросила княгиня,— что тогда?

И опять ответил тот же купец, а его поддержали другие купцы и послы:

— Спаси боже, матушка княгиня, попасть через месяц на белые берега. Там уже будет лед, лодии наши вмерзнут, до Киевграда нам не добраться, ибо херсониты коней не продадут. А печенеги, должно быть, уже подстерегают нас... Спаси боже!

Сурово было лицо княгини Ольги, огоньки свечей отражались в глазах.

— Так вот зачем три месяца держал нас Константин на Суде! — гневно произнесла она.— Нет, не только честь и гордость нашу хотел бы поразить император, смерти нашей на белых островах жаждет он...

— Матушка княгиня,— раздалось сразу множество голосов,— отколе ездим из Киева в греки, так и допрежь было: стоим на Суде — тяжела гостежба наша, в море идем — души не чуем.

— Ну, подождите,— зло промолвила княгиня, глядя в окно,— приедете вы в Киев, постоите у меня на Почайне, якоже аз на Суде...

Но какой вес могли иметь эти слова княгини Ольги не в Киеве, на Почайне, а здесь, в чужом, враждебном Константинополе, в монастыре св. Мамонта над Судом?

— Надо нам что-то делать,— сказала княгиня.— Я уже много дней думаю и вижу, что ехать нам придется не морем...

В келье все замерли.

— Если император хотел отрядить нас в море ныне, в октябре,— продолжала княгиня,— то пускай едет сам... Вы же, купцы мои и послы, продайте лодии тут, на Суде, купите коней и колесницы, и поедем мы на Русь через землю Болгарскую.

— Наши лодии они с руками вырвут,— зашумели купцы и послы,— коней и колесницы возьмем у них на торге, а путь через Болгарскую землю нам знаком. Ходили по нему не раз.

— Так и сделайте,— закончила княгиня Ольга.— Побывали мы в Византии — поедем еще и в Болгарию. Не нашли счастья здесь — поищем в другом месте.

Но княгиня Ольга не сказала, какое именно счастье она собирается искать.

3

В Большом дворце внимательно следили за каждым шагом княгини Ольги и потому сразу узнали, что киевские гости не требуют ни месячного, ни слебного, ни ветрил и харчей на дорогу. А вместо этого продают на Суде свои лодии, на торге в Перу покупают лошадей и колесницы. Император Константин сам вызвал эпарха города, Льва, долго разговаривал с ним, полюбопытствовал, какую цену запрашивают киевские гости за свои лодии, сколько коней и колесниц желают купить.

— Они требуют за свои лодии очень высокую цену,— отвечал эпарх,— но наши купцы рвут их из рук: в Константинополе знают, что эти дубовые лодии вечны и очень удобны. Что же касается коней и колесниц — гости не скупятся, платят за них, сколько запросят, хотят только, чтобы кони были выносливыми, а колесницы — удобными.

— Киевская княгиня очень осторожна и хитра,— сказал император Константин паракимомену Василию, когда эпарх ушел из дворца.— Разумеется, она решила возвращаться в свою землю не морем.

— Жаль,— вздохнул паракимомен.— К печенегам давно уже выехали с богатыми подарками наши послы, и, я уверен, те хорошо бы встретили княгиню.

— Конечно, жаль, что она едет не морем,— согласился император.— Я тоже был уверен, что она, повидав Константинополь, не увидит Киева. Однако, Василий, меня беспокоит не то, что княгиня нас перехитрила, а то, что она поедет на Русь через землю проклятых болгар, что грызут сырую кожу.

— О василевс! — воскликнул паракимомен Василий.— Пока дочь императора Льва сидит в Преславе рядом с кесарем Петром, мы можем быть спокойны за Болгарию...

— Если бы киевская княгиня имела в Болгарии дело только с кесарем Петром, я был бы спокоен. Не он, так василисса Ма-

рия всегда нам поможет. Но в Преславе есть не только кесарь, есть там и бояре во главе с Сурсувулом, на западе Болгарии стоят непокорные комиты.

— Я думаю, что, прежде чем колесницы киевской княгини доедут до Преславы, туда должны прибыть наши василики с богатыми дарами...

— Именно об этом я и хотел сказать,— согласился император.— Что ж, отправим еще раз приданое василиссе Марии.

— Это приданое,— тяжело вздохнул паракимомен Василий,— а мы посылаем его каждый год,— стоит нам очень дорого. То мы шлем приданое василиссе Марии, чтобы Болгария не браталась с уграми, то платим им за то, чтобы они отреклись от печенегов. А казна наша не так уж богата.

— Лучше взять из казны последние солиды и бросить их псам болгарам,— произнес император Константин,— чем ждать, пока они накинутся на нас и искусают... А сейчас я согласен отдать и всю казну — не с уграми или печенегами могут побрататься болгары, а с русами. А Болгария и Русь совокупно с ними — это смерть для Византии. Константинополь уже видел у своих стен войско кесаря Симеона и князя Игоря. Наша империя спаслась тогда только чудом.

Император Константин задумался, потом сказал:

— Пока мы ссорим между собою Болгарию и Русь, в Константинополе можно спать спокойно. Если же они, сохрани боже, сумеют объединиться, нам не устоять даже за стенами Юстиниана... поэтому не следует жалеть ни денег, ни оружия, ни людей. Мы должны их ссорить, разделять и властвовать.

Это говорил уже не тот император Константин, который так мягко, спокойно беседовал в Большом дворце с киевской княгиней Ольгою. Что-то хищное, яростное было в его лице и глазах.

— Я понимаю, что тебя беспокоит, Василий,— закончил он.— Деньги, деньги. Да, империи нашей сейчас очень тяжко, подати, установленные нами, крайне велики. Ты говоришь, что всюду начинаются восстания. Знаю! Но что поделаешь, империя велика, империя сильна, и тот, кого она защищает своим знаменем, должен за это платить. Хлебом, деньгами, кровью!..

В эту же ночь в саду над Пропонтидою, там, где беседовали император Константин и княгиня Ольга, только гораздо позже, когда уже заснул весь Большой дворец и спал на своем ложе император Константин, состоялась еще одна встреча и еще одна беседа, только никто ее не слышал.

Не удивительно, что паракимомен Василий не мог спать в этот поздний ночной час и очутился в саду у моря: как постельничий, он был обязан бодрствовать, когда почивали императоры.

Удивительно было то, что именно в это время и в том же самом месте очутилась Феофано. Кто-кто, а она могла и должна была спать рядом с мужем — молодым императором Романом.

Но Феофано не спала. Выйдя в сад, она долго стояла на одной из его аллей, заметила в конце ее темную фигуру человека и мгновенно прижалась к стволу кипариса. Долго и напряженно ждала, пока человек приближался к ней, слышала шаги, дыхание, потом внезапно выступила вперед, прошептала:

— Я тут, Василий... Жду!

Они покинули аллею, вошли в тень. Там стояла скамья, их никто не мог видеть.

— О, если бы ты знала, Феофано,— сказал, опустившись на скамью, паракимомен Василий,— как мне тяжело...

— Отчего? — склонилась она к нему.

Где-то над Галатой время от времени раздавался гром, и эхо его глухо гудело над морем. В свете зарниц Феофано увидела перекошенное мукой, сухое, безбородое лицо постельничего.

— Они сделали из меня получеловека,— шептал он.— У меня есть голова, сердце, но тело мое мертво...

— Неужели у тебя ничего не осталось?

— У меня осталась месть,— вырвалось у него.— Если я достигну своего, тогда, может, и успокоится моя душа...

— Если ты достигнешь своего,— поощрила она его,— тогда ты захочешь жить, у тебя появятся желания...

— Ты говоришь правду?

— Да, Василий! И желания, и страсть...

— Ты принесла, что обещала?

— Да. Это порошки из Египта, они действуют очень медленно, но неумолимо — конец, смерть!

— Дай мне!.. Сколько их тут? Два? Ты говорила, что будет три.

— Третий я оставила для себя... Но я дам тебе и его, если будет нужно...

### 4

Очень скоро, намного раньше, чем могла прибыть туда со свитой княгиня Ольга, в столице Болгарии Преславе появились василики императора Константина.

Странным, правда, было то, что, явившись в Преславу, они не добивались приема у кесаря-василевса Болгарии Петра, а сразу, похлопотав, были приняты женою Петра, василиссою Ириною.

Василисса Ирина имела греческое имя Мария, она была дочерью императора Христофора, внучкой Романа I Лекапина и, наконец, стала женою болгарского кесаря Петра, Ириной.

Появлению василиссы Ирины в Преславе предшествовало

много событий, ибо с тех пор, как на узком полуострове над Пропонтидой и Судом появился Новый Рим — Константинополь и Византия,— между ним и болгарами, жившими на Балканах, на протяжении столетий шли жестокие войны. Не Болгария стремилась покорить Византию, нет! Славянские племена и болгары, ославянившиеся среди них, гораздо раньше, чем Византия, обосновались, жили, трудились на Балканах. У них и в мыслях не было нападать или тем более порабощать Византию, но Византия всегда стремилась поработить и уничтожить Болгарию.

Уже император Константин IV Погонат воевал с болгарами, но победить их не смог. Позднее воевал с каганом Тервелем Юстиниан, воевал император Константин V. А император Никифор I залил кровью всю Болгарию и сжег ее древнюю столицу Плиску.

Но болгары не покорялись Византии. В ответ на жестокую расправу Никифора каган Крум собрал большое войско, подняв всю Болгарию, окружил войско Никифора, уничтожил его, а из черепа императора велел сделать чашу для вина.

Особенно же ненавидел ромеев и люто мстил им за все их злодеяния и убийства каган Болгарии Симеон. Всю свою жизнь этот кесарь посвятил борьбе с римскими императорами, всю свою жизнь он и вместе с ним его зять, болярин Георгий Сурсувул, водили болгар на Византию. В этой борьбе соратником кагана Симеона был и киевский князь Игорь. То Симеон, то Игорь вешали свои щиты на воротах Царьграда.

И каган Симеон добился своего, он доказал, что и небольшой народ может победить в борьбе против хищной империи.

Сам каган Симеон был высокообразованным человеком, знал языки, изучал множество наук, наполнил палаты своих теремов книгами, творениями искусства, сам оставил грядущим поколениям ряд произведений, переводил на болгарский язык лучшие книги того времени, в том числе и греческие.

Но он ненавидел тех греков и их императоров, которые на протяжении столетий порабощали Болгарию, хотели отнять у этого малого народа его богатства, мечтали после покорения Болгарии двинуться дальше — на север и восток.

В многочисленных битвах болгары неизменно громили войска ромеев. И хотя императоры похвалялись, что им помогает бог, на этот раз и он не мог помочь, ибо болгары боролись за свою землю, а у императоров было наемное войско.

Каган Симеон со своим войском бил ромеев под Адрианополем, подчинил себе солунскую, драчскую и адрианопольскую фемы Византии, войско его стояло под самыми стенами Константинополя, дошло до Босфора.

И тогда каган Симеон провозглашает себя кесарем болгар и греков, болгарские епископы объявляют болгарскую церковь

независимою от константинопольского патриарха и выбирают своего, болгарского, патриарха, а сам Симеон готовится к новому походу, чтобы добить императоров.

Но как раз тогда, когда кесарь Симеон готовится окончательно разгромить императоров и научить их уважать другие народы, он перед своим дворцом падает мертвый с коня. Яд? Возможно, что и так. Кто? Это оставалось тайной Константинополя.

Георгий Сурсувул, главный болярин, зять и близкий друг Симеона, повел войско нового кесаря — сына Симеона Петра — на Константинополь. Кони уже мчались по Фракии и Македонии, уже близка была победа...

Но вдруг войско болгар останавливается. Императоры шлют молодому кесарю Петру богатую дань, и он ее принимает. Затем кесарь Петр объявляет, что он женится на дочери императора Христофора Марии, а немного спустя кесарь прибывает в Константинополь, стоит перед престолом церкви на Влахерне, которую жег его отец Симеон, венчается с Марией, ей даже нарекают новое имя — Ирина, что означает — мир. Императоры обещают впредь жить в мире и любви с болгарами, ежегодно давать василиссе Ирине приданое — дань Болгарии.

### 5

Василисса Ирина радушно принимала в своем китоне василиков из Константинополя.

Это была уже не та восемнадцатилетняя стройная, прямая, гибкая, как кипарис, гречанка, владевшая сердцами многих и настолько пленившая молодого кесаря Болгарии Петра, что он забыл заветы отца, продал свой народ и изменил отчизне.

Василиков из Константинополя принимала теперь стареющая женщина, с длинной шеей и тонкими руками, некрасивая, к тому же больная — василисса Ирина страдала в этой горной стране от зоба.

Но она была и осталась гречанкой — говорила только по-гречески, читала книги, написанные в Константинополе, заботилась о том, чтобы в Большом дворце болгарских кесарей все напоминало Константинополь.

Иногда это выглядело смешно. В Большом дворце в Преславе, как и в Константинополе, были свои Магнавра, Орология, Левзиак, Ипподром, китоны, тут все так же сверкало мрамором, золотом, серебром. Но все это было каким-то мелким, недозрелым, как листва на дереве, растущем на голой скале.

За тридцать лет, проведенных василиссой Марией в Преславе, она добилась того, что здесь были заведены порядки византийского двора. Тут, как и в Большом дворце Константино-

поля, кесаря называли василевсом, а ее — василиссою; их окружал синклит, который денно и нощно славословил обоих; синклит этот получал от кесаря щедрые подарки, владел Преславою, а по всей Болгарии кметы и топархи старались во всем подражать Преславе. И теперь, когда василики императора Константина явились в китон василиссы Ирины, она принимала их, как и в Константинополе, а возможно, еще сердечнее и теплее, расспрашивала, как идет жизнь в Большом дворце, интересовалась, как поживают ее брат и сестры.

Василики, разумеется, первым делом отдали василиссе свои дары. Это были ценные ткани, изделия из кости и змали, золотое оружие — меч, щит, шлем, вина и благовония из южных стран, золото и серебро в слитках и монетах с изображением императора Константина.

Василисса Ирина просила передать императору Константину ее искреннюю благодарность за зти дары —очередное приданое. Ткани она возьмет себе и раздаст придворным, чтобы они были одеты, как в Константинополе, оружие и вино василики пусть преподнесут кесарю Петру, золото и серебро она употребит на украшение Большого дворца Преславы.

Василики рассказали и о том, что заставило их в ненастье добираться до далекой Преславы.

— У нас в Константинополе все зто время была киевская княгиня Ольга,— сказали они василиссе Ирине.

— Что понадобилось северной княгине в Константинополе? — сразу заинтересовалась она.

— О, северная княгиня очень хитра,— отвечали василики.— Ей хотелось бы иметь много льгот... Больше, чем у ее соседей и у Болгарии...

— Чего же именно хотела зта княгиня? — поджала губы василисса Ирина.

— Она хотела бы, чтобы ее купцы без ограничений торговали в Константинополе, возмущалась, что мы помогли хозарам построить город Саркел на Итиль-реке, удивлялась, что императоры породнились с хозарскими каганами, и, как видно, была бы не прочь, чтобы сын ее Сфендослав обвенчался с одной из девиц царского рода...

— Ого! — засмеялась василисса Ирина.— Северная княгиня знает, чего хочет, а хочет она немалого. Породниться с императором ромеев, женить Сфендослава на одной из василисс?! Надеюсь, император Константин ответил зтой эллинке как следовало?

— Император Константин проучил северную княгиню: несколько месяцев держал ее с послами в монастыре Мамонта, потом принял и выслушал. Но ничего ей не дал и не пообещал. Что может быть общего между богоспасенной Византией и некрещеной Русью?

— Ха-ха-ха! — долго смеялась василисса Ирина.— Несколько месяцев в монастыре, а потом отказ! Похоже на императора Константина, он хороший политик.

— Однако,— продолжали василики,— княгиня Ольга, поскольку разговор с императором Константином ничего ей не дал, решила ехать и уже едет домой через Болгарию...

— Через Болгарию? — искренне удивилась василисса.— Что ей здесь, у нас, нужно?

— Именно поэтому мы и приехали сюда,— хором отвечали василики.— Насколько мы понимаем, княгиня Ольга, уехав несолоно хлебавши из Константинополя, хочет навязать Болгарии то, что ей не удалось навязать Византии...

— Ха-ха-ха! — снова расхохоталась василисса Ирина, отчего ее зоб, грудь и все дородное тело содрогалось.— Ну, скажите, какая любовь и дружба может быть у нас с Русью?

— Кто знает! — отвечали василики.— В прошлом каган Симеон и князь киевский Игорь, побратавшись между собою, причинили Византии очень много зла. Каган Симеон тогда же, как нам хорошо известно, послал на Русь немало своих священников, дал им книги, и многие русы ходили сюда, в Болгарию... Еще бы — они друг друга понимают, у них схожие обычаи...

— Довольно! — крикнула василисса Ирина.— То, что было в Болгарии при кагане Симеоне, больше никогда не повторится. Болгария теперь такова, какой ее хочет видеть Константинополь.

И василисса Ирина закончила:

— Пусть княгиня Ольга приезжает в Преславу, мы примем ее тут так же, как принял ее Константинополь.

6

Кесарь Болгарии Петр долго беседовал со старшим болярином, или, как часто называла его василисса Ирина, паракимоменом Георгием Сурсувулом.

Стар был болярин Сурсувул, поседели его волосы, глубокие морщины изрезали лоб, густые седые брови низко нависли над острыми темными глазами. Только длинные усы сохранили почему-то свой прежний темный цвет.

Впрочем, болярин Сурсувул все же сохранил со времен молодости статную фигуру воеводы, глаза у него были зоркие, пытливые, исполненные беспокойства, тревоги.

— В покоях василиссы опять гости из Византии,— сказал он сердито, входя в светлицу кесаря.

— Знаю,— спокойно отвечал кесарь Петр.— Что ж, это неплохо. Они привезли приданое василиссе — дань.

— К чему нам эта дань? — недовольно махнул рукою Сур-

сувул.— Кости с царского стола... Но они привезли не только дань, но и весть о том, что в Преславу скоро прибудет киевская княгиня Ольга.

— И это знаю,— уже раздраженно процедил Петр.— Что ж, пусть приезжает, дороги наши и на восход и на заход солнца открыты.

— Я думаю,— возразил Сурсувул,— что княгиня Ольга не только проедет через Болгарию, но и остановится в Преславе. Если же она не собирается это сделать, так, может, кесарь, мы постараемся, чтобы она тут остановилась, и поговорим с нею...

Кесарь Петр поднял брови и удивленно посмотрел на своего старшего болярина.

— С какой это стати стал бы я просить, чтобы княгиня Ольга останавливалась в Преславе, а тем более разговаривала с нами? — спросил он у него.

Болярин Сурсувул ответил не сразу, он раздумывал, что-то вспоминал, что-то взвешивал, и тень сомнения, казалось, пробегала по его лицу.

— Кесарь Петр! — наконец сказал он.— Я хочу сегодня говорить с тобою откровенно и прямо, как говорили мы, когда умер твой отец, каган Симеон, когда шли мы с тобою против ромеев, когда советовались, брать ли тебе в жены дочь императора Христофора.

— Послушай, Георгий! — удивился кесарь Петр.— Ты не только мой старший болярин, но и родной дядя, и мы, казалось бы, никогда ни в чем не таились друг от друга.

— Ты сказал правду,— ответил на это Сурсувул.— Мы, кесарь, ни в чем не таились друг от друга, ибо никогда мы с тобою и не беседовали откровенно. Поэтому слушай, кесарь! Тридцать лет тому Болгария заключила мир с Византией, и все эти тридцать лет...

— Все эти тридцать лет,— перебил его кесарь Петр,— Болгария не вела ни одной войны, не пролила ни одной капли крови.

Сурсувул с сожалением покачал головою.

— Да, кесарь,— сказал он,— за эти тридцать лет Болгария действительно не вела ни разу войны и не пролила ни одной капли крови, но за это время потеряла так много, как не теряла ни в одной войне: она обливается кровью...

— Как ты смеешь так говорить! — крикнул кесарь Петр.— Да ведь тогда, тридцать лет тому, сразу после внезапной смерти отца, ты сам говорил мне, что нужно заключить с Византией мир — и немедленно...

— Да,— согласился Сурсувул,— тогда, тридцать лет тому, я сказал тебе, что нужно заключить с Византией мир. Но разве я мог дать иной совет? Когда умер кесарь Симеон, против тебя пошел и мог захватить престол брат твой Михаил, нам угрожали сербы, хорваты, печенеги, угры, всех их ссорила с нами и

науськивала на нас Византия. Я видел тогда, что народу нашему угрожает смерть, и советовал тебе и сам делал все для того, чтобы помириться с Византией... на некоторое время, пока мы не наведем порядок в своем государстве, пока не заключим мир с сербами и хорватами — нашими же братьями, пока не получим помощи от русов. Но тогда пришла сюда василисса Ирина — и погиб наш мир с сербами и хорватами. Это Ирина ссорит нас с русами, из-за Византии уже тридцать лет гибнет Болгария...

— Болгария гибнет! — засмеялся кесарь Петр.— Ты ослеп, Георгий! Открой глаза, посмотри, что творится в Болгарии! Мы исправно получаем дань от Византии, живем не в какой-то там Плиске, а построили нашу славную Преславу. Все тут напоминает Константинополь, мы воздвигли множество храмов, соборов, монастырей, у нас расцветают науки и искусство.

— У нас, кесарь, расцветает вражда и распри,— возразил на это Сурсувул.— И никогда, никогда еще Болгария не была такой нищей, раздробленной, бесславной, как теперь. Слушай, кесарь! Все эти тридцать лет, с тех пор как мы заключили мир, Византия крепнет, расширяет свои владения, копит богатства, готовит и уже имеет сильные войско и флот. А Болгария все эти тридцать лет беднеет, у нас в селах царит голод, население стонет от чрезмерных податей, люди проклинают христианскую веру и молятся богу под открытым небом. Да и кметы наши и топархи не только не верят нам, но и враждуют друг с другом.

— Это ложь! — крикнул кесарь Петр.— Наш посол сидит в Константинополе выше посла императора Оттона, наши купцы торгуют со всеми землями и с Византией. Богомилы, те, которые молятся под открытым небом,— еретики, не познавшие истинной веры. И я, и кметы мои, и топархи имеем сильные дружины. А когда у меня возникала или, сохрани бог, возникнет надобность — на помощь мне всегда придет Византия...

Болярин Сурсувул все ниже и ниже опускал голову.

— Какая польза от того,— сказал он,— что наш посол сидит за столом в Константинополе на первом месте? И кто он, наш посол? Он даже не болгарин, а брат василиссы Ирины. Какой прок, что купцы наши торгуют с Византией? У них берут только то, что нужно ромеям, а нам продают то, что им без надобности, а нам в тягость. Ты говоришь, кесарь, богомилы — еретики, не познавшие истинной веры. На самом же деле все наши богомилы были христианами. Но они прозрели, увидели, к чему стремятся император константинопольский и патриарх, и отказались — не хотят константинопольского креста; они — враги Византии; сам наш патриарх Дамиан против Византии, он не хочет жить в Преславе, а сидит в Доростоле. Еще говоришь ты, кесарь, что тебе на помощь уже приходила, а когда будет надобность, опять придет Византия... Да, Византия при-

ходила нам на помощь со своим войском, но лишь для того, чтобы оторвать от нас сербов, хорватов и другие племена, чтобы раздробить Болгарию. Да и сейчас ромейское войско стоит в городах над Дунаем. Зачем мы пустили их в свой дом?

— Ты хочешь меня запугать? — крикнул кесарь.— Все это ложь, ложь, ложь... Я не хочу, не могу тебе верить, Сурсувул. Я верю в Христа, я не хочу войн, я люблю тишину и мир, я хочу под конец моей жизни принять постриг и уйти в монастырь...

— Сын императора Симеона, заставлявшего трепетать ромеев и стоявшего у стен Константинополя, слушай меня! — сказал Сурсувул.— Неужто ты совсем забыл наказ своего отца, неужто ты не видишь, куда идет Болгария и до чего она дойдет?

— Значит, ты хочешь войны? — подозрительно посмотрел на него кесарь Петр.— Ну, говори, говори: хочешь, чтобы я воевал с Византией? Говори же!

Сурсувул тяжело вздохнул и с презрением посмотрел на кесаря Петра.

— Нет! — ответил он.— Куда Болгарии, куда тебе, кесарь, воевать с Византией! О, императоры ромеев были бы рады начать с болгарами войну и добить нас! Но пока что не смеют, ибо, благодарение богу, за нами стоят угры, нам на помощь могут прийти печенеги. Верю я — и это знают императоры,— если Болгарии придется тяжко, нам поможет Русь... Только поэтому Болгария еще живет на свете, только потому Византия платит нам дань... И пока, кесарь, мы в мире с уграми и русами, до тех пор мы можем еще жить. Только это хотел я сказать тебе, кесарь!

— Но ты не договорил,— насмешливо процедил кесарь,— что же мне, брататься с русской княгиней, заключать мир, договариваться о союзе против Византии?

— Я уверен, что русская княгиня и не станет этого добиваться. Между нами и Русью издавна царят мир и любовь; каган Симеон и киевский князь Игорь не заключали договоров, но они верили и всегда приходили на помощь друг другу. Я думаю, кесарь, нужно, чтобы княгиня Ольга почувствовала это... Может, будет случай еще как-нибудь иначе скрепить наш мир. Русские люди, я знаю, очень правдивы, слово держат.

## 7

До столицы Болгарии Преславы поезд княгини Ольги добирался больше десяти дней. Пока колесницы катились по утрамбованным дорогам Фракии и Македонии, все шло хорошо. На передках колесниц сидели рулевые с лодий — знающие, бы-

валые морские вои. Они берегли лошадей, подкармливали их на каждой даже самой маленькой стоянке. Если колесницы увязали — не жалея рук и ног, вытаскивали. Делал так и рулевой Супрун, бывший возницей у княгини Ольги.

Но чем дальше они ехали, тем сильнее становилось бездорожье: перед ними все выше и выше поднималась Планина, путь пересекали реки и горные потоки, на крутых перевалах воям и всей свите приходилось вставать и подталкивать колесницы. Порой путь вился среди облаков над такими ущельями и безднами, что кружилась голова.

Но все же ни княгиня Ольга, ни ее спутники не жалели, что поехали через горы. Это была прекрасная земля, в ее долинах и на равнинах они встречали людей, говоривших на понятном им языке, одевавшихся так же, как одевались у них в Приднепровье. Их песни были так же печальны, как русские. Все было иначе, чем в разноплеменной, многоязычной Византии. Если бы не горы и перевалы, можно было подумать, что они едут по Полянской, Северской либо другой родной земле.

Преслава предстала перед ними ранним утром, когда они одолели еще один, пожалуй самый трудный, перевал. Остановившись, вышли из колесниц, долго любовались городом, напоминавшим гнездо орла среди гор. На фоне гор, там и сям уже покрытых снегом, город как на ладони стоял перед ними — на крутых скалах, с высокими каменными стенами вокруг теремов и церквей, с башнями, на которых ветер развевал знамена. Казалось, до него было совсем близко.

Однако колесницы петляли по склонам гор еще целый день. И только когда солнце уже касалось вершин далеких гор, а в долине начали подниматься туманы, они очутились перед высокой каменной стеною, которая утром казалась такой близкой, у моста и ворот Преславы.

В Преславе в Золотой палате болгарских кесарей все блестит и сверкает. Палата и в самом деле напоминает Магнавру — Золотую палату византийских императоров. В восточной части, как и там, стоит позолоченный трон, над ним в конхе — образ Христа, перед троном — кресла для членов семьи кесаря, слева — серебряные ворота, через которые входит кесарь, справа — завесы, за ними во время церемоний стоит хор, в глубине — завеса и дверь, через которую входят после того, как дозволит кесарь.

И разве только эта палата напоминает в Преславе Византию? Все в Преславе делается, как в Византии; кесарь хочет быть похожим на византийского императора, его окружают боляре, кметы, топархи, он щедро раздает им земли, леса, париков.

В Золотой палате было полно боляр, кметов. Они, как столбы, стояли у стен, заносчиво, искоса поглядывали на княгиню Ольгу. А в конце палаты, на высоком помосте, сидел в кресле, окованном золотом, кесарь Болгарии Петр — в пурпурной мантии, перехваченной широким красным поясом, в багряных башмаках,— а рядом с ним в белом, украшенном золотом платье, с красным корзном на плече и в царских башмачках — василисса Ирина.

Княгиня Ольга вошла, как полагалось по русскому обычаю, гордо, смело, в сопровождении нескольких жен и послов, низко поклонилась кесарю и василиссе, а жены и послы положили перед престолом кесаря дары — меха, белый зуб, серебряное оружие для кесаря, киевские эмали для василиссы Ирины. В это время за завесой запел хор из Преславского собора девы Марии, славивший кесаря и василиссу.

Потом кесарь спросил у княгини Ольги, как ехала она из Константинополя, как ее здоровье, куда думает направиться дальше.

Княгиня Ольга ответила и в свою очередь пожелала здоровья ему, василиссе и детям.

Тогда кесарь поблагодарил княгиню за ее пожелания и пригласил отобедать с его семьей. Все было так же, как в Константинополе, с тою разве только разницей, что кесарь не задерживал княгиню в Преславе, а, наоборот, поскорее хотел покончить с нею все дела.

И обед у Петра напоминал Константинополь. Там, правда, за столами сидело несколько сот человек, а тут всего двадцать — тридцать. Во время обеда княгиня Ольга хорошо рассмотрела кесаря Петра: всем обликом своим, длинными волосами, бородкой, тихим голосом, осторожными движениями,— словом, всем существом своим он напоминал священника или монаха. После каждого слова упоминал имя Христово, очень часто складывал персты для крестного знамения.

Зато жена его, василисса Ирина, являла полную противоположность кесарю. Одетая в царские одежды, отягощенная всевозможными регалиями, висевшими у нее на шее и на груди, с перстнями и браслетами на руках, она казалась собранием ценностей, царской казной, которую выставили людям напоказ.

Все эти вещи и драгоценности тяжелым бременем лежали на ней, сковывали ее, и василисса сидела, тяжело дыша, позеленевшая от болезни и усталости.

Впрочем, было заметно, что она внимательно следит за всем, что происходит за столом, прислушивается к каждому слову, особенно же следит за княгинею Ольгою. Изредка Ирина вме-

шивалась в разговор, бросала кесарю одно-два греческих слова.

Разговор за столом шел вяло. Но, собственно, на иное нельзя было и надеяться: тут сидели кесарь и василисса, старший болярин Сурсувул, он доводился, как сказали княгине Ольге, родным дядей кесарю, три дочери кесаря и двое его сыновей, несколько родственниц василиссы, дальние родственники кесаря, несколько молчаливых боляр и кметов, а со стороны Ольги были две княгини — ее родственницы, три купца, три посла да еще священник Григорий.

Вероятно, княгиня Ольга, ее купцы и послы были самыми разговорчивыми за столом; они пытались заводить беседу и о торге, и о старинной дружбе болгар и русов, и даже припомнили, как когда-то ходили вместе на Константинополь. Но в этой небольшой светлице, где принимал их кесарь, все было гласом вопиющего в пустыне, в пропасти, где голос звучит громко, но никогда не вырвется наверх, не пробьет твердых каменных скал.

Правда, к беседе один и другой раз присоединялся старший болярин Сурсувул. Он, как оказалось, еще при князе Игоре бывал в Киеве, встречался с покойным князем, хорошо помнил его. Княгиня Ольга вздрогнула, услыхав эти слова. Она бы слушала Сурсувула без конца, но, заметив, что кесарю и василиссе не слишком по душе рассказ старого воеводы, принялась расспрашивать Сурсувула о другом.

Обед закончился. Все молча благодарили кесаря и василиссу, вставали из-за стола, а где-то далеко, в сенях дворца, хор пел протяжную молитву.

Но княгиня Ольга сочла бы свою поездку в Болгарию бессмысленной, если бы не смогла с глазу на глаз поговорить с кесарем. И поэтому, вставая из-за стола, сказала кесарю, что приехала в Преславу, чтобы поговорить с ним.

— Да ведь мы как будто обо всем уже поговорили,— виновато ответил кесарь, ища глазами василиссу.

Но василиссы в светлице уже не было, она вышла из-за стола, как только окончился обед, следом за нею поспешно вышли все ее дети и родственницы. Боляре и кметы еще немного потоптались у дверей и тоже поспешили уйти. Потому случилось так, что в светлице остались только кесарь с болярином Сурсувулом и княгиня Ольга со своими родственницами, купцами и послами.

— Нет, кесарь,— резко произнесла княгиня Ольга,— я приехала в Преславу издалека и хотела поговорить с тобою, но пока еще ничего не сказала.

— Так говори! — неохотно промолвил кесарь Петр и сел в кресло у стола.

— Вы ступайте! — приказала княгиня своей свите и, когда все вышли, села напротив кесаря...

Теперь они были вдвоем — кесарь и княгиня, да еще болярин Сурсувул стоял поодаль. Он хотел было уйти, но не успел и теперь уже должен был оставаться подле своего кесаря.

— Я, кесарь, хотела сказать,— начала княгиня Ольга,— что ехала сюда с великими надеждами, как приезжали сюда когда-то князья Олег и Игорь, как всегда приходили сюда русские люди...

Хор, певший вдалеке, умолк; за окнами вечерело; синие сумерки вползали в светлицу, где сидели кесарь и княгиня, и лица их погружались в темноту.

— Я хотела сказать,— продолжала княгиня, не услышав ответа кесаря,— что в прежние времена наши люди были связаны между собою, наши князья и ваши каганы любили и почитали друг друга, и тогда никакие враги нам не были страшны, все боялись Руси и Болгарии...

— Болгарии и теперь боятся,— гордо заявил кесарь Петр,— на Болгарию никто не нападает, мы тоже бережем мир и любовь...

— Русь тоже ни на кого не нападает,— усмехнувшись, ответила княгиня Ольга,— и на Русь ныне никто идти не смеет — мы бережем мир и любовь... Но, кесарь Петр, ныне мир не таков, каким был когда-то, и чем дальше, тем больше он будет меняться. Сейчас я объехала много земель и вижу, что на свете есть вражда, вижу, что у Руси и Болгарии нет доброго мира с Византией...

— Византия тридцать лет живет в мире с болгарами, мы получаем с нее дань...

— Я хотела бы,— возразила, вздохнув, княгиня Ольга,— чтобы Болгария жила в мире с Византией не тридцать, а триста лет, но чтобы и между нами был прочный мир. И Болгария и Русь хотят мира. Но что будет, кесарь, если кто-нибудь нападет на Болгарию или на Русь?

— Я не хочу войны, я тридцать лет...— твердил кесарь.

— А если кто-нибудь нападет на Болгарию или на Русь? — повторила свой вопрос княгиня Ольга.

Кесарь молчал, и тогда княгиня Ольга сказала:

— Памятуя дружбу отцов наших, я приехала сюда, чтобы утвердить ее ныне и заключить уговор: аще кто нападет на Болгарию — Русь защитит ее, аще нападет на Русь — болгары будут моими союзниками и друзьями...

— У Болгарии ни с кем нет договоров. Я не хочу войны... Я тридцать лет не воевал... Нет, княгиня, нет...

— А может, кесарь Петр приехал бы, вот как я в Преславу, к нам на Русь?

— Нет! — громко крикнул, вскочив со стула, кесарь Петр.— Я не воевода, я болен, я молюсь... и никуда не поеду.

— Тогда прощай, кесарь Петр,— закончила княгиня Ольга, вставая.— Пойду. Болят мои кости и сердце.

Она поклонилась кесарю и тихими шагами вышла из светлицы в сени, где дожидалась ее свита. Кесарь Петр стоял и смотрел ей вслед. В светлице темнело. Сурсувул подошел и остановился против кесаря.

— Болгария вовеки будет жалеть,— сказал он,— что ее кесарь Петр так говорил с киевскою княгинею.

— Что ты сказал?

— Я сказал и вижу, что, если камень брошен в пропасть, его уже ничто не может остановить. Горе Болгарии, кесарь Петр!

После приема русской княгини кесарь Болгарии Петр направился с женою Ириною в свои покои. Час был поздний, спала Преслава; затих шум во дворце, пора отдохнуть и василевсам.

И вот они остались вдвоем. В опочивальне горели светильники. Это давняя опочивальня каганов Болгарии; вдоль ее стен на коврах развешано оружие, на полках стоит посуда, среди которой тускло поблескивает окованная серебром чаша, сделанная из человеческого черепа.

Кесарь Петр знал, что это за чаша: покойный отец его, кесарь Симеон, не раз говорил сыну, что каган Болгарии Крум сделал чашу из черепа императора Никифора, который, пытаясь уничтожить Болгарию, залил ее кровью, но сам погиб, аки пес, у Анхилоя... В тяжелые минуты своей жизни — а жизнь его была почти всегда тяжелой, ибо он либо отбивал нападение ромеев, либо сам наступал на них,— кесарь Симеон пил только из этой чаши.

«И ты, сын, когда тебе будет тяжко, пей из этой чаши»,— говорил сыну каган Симеон.

Но кесарь Петр давно забыл про чашу, и стоит она, покрытая пылью, на полке в опочивальне, не играет, как бывало, серебром, а тускло блестит в углу среди пыли.

Забыл кесарь Петр и о книгах, написанных рукою его отца,— они лежат рядом с черепом, на той же полке. В этих книгах написано, как Византия веками хотела покорить болгар и как каганы боролись с императорами. Этих книг кесарь Петр давно не перелистывает, он забыл слова своего отца.

Ныне он внимательно прислушивается к речам жены своей Ирины. С тех пор как она здесь — а прошло уже много лет,— все делается в Преславе так, как скажет василисса.

И теперь, сбрасывая свою пурпурную мантию и такие же башмаки, кесарь внимательно следит за выражением ее лица, ждет, что она скажет о приеме русской княгини.

Но василисса пока ничего не говорит,— наоборот, она сама обращается к Петру с вопросом:

— Что же говорила тебе эта княгиня?

— О,— тихо отвечает кесарь, поняв, что Ирина и в самом деле не знает, о чем он беседовал с княгинею,— она говорила о дружбе, что спокон веку существует между болгарами и русами, напомнила о совместных походах моего отца и киевского князя Игоря на Константинополь...

— И ты слушал эти нечестивые слова?

— Я, Ирина, вынужден был слушать,— оправдывался кесарь Петр,— но я сказал, что времена Симеона и Игоря давно миновали и что теперь Болгария больше связана с Византией, чем с Русью...

— Ты ответил ей не так, как следовало,— возмущается василисса Ирина.— Ты должен был сказать ей, что между Болгарией и Русью нет и никогда не будет сговора.

— Я надеюсь,— виновато говорит кесарь Петр,— что она сама это поймет.

— О, ты ошибаешься! — заканчивает василисса и гасит светильник.— Эти русы и их княгиня,— раздается уже в темноте ее голос,— гордые и опасные люди. Болгарию защитит, всегда придет ей на помощь только Константинополь...

Княгиня Ольга лежит в светлице, которую ей отвели во дворце, и не может заснуть. Только что вышел от нее священник Григорий. Она позвала его в надежде, что услышит о Болгарии много такого, чего сама не может понять. Ведь священник Григорий пришел в Киев из Болгарии, у него тут должно быть много знакомых, друзей.

Священник долго сидел у княгини и рассказывал, что не узнаéт Болгарию и не может ее понять. «Тут все,— говорил он,— не так, как было раньше. Была когда-то Болгария христианскою, а стала византийскою, даже патриарх Дамиан сбежал из Преславы, а священники и подавно. Поедем же и мы, княгиня, поскорее в Киев!»

За открытым окном шумит без устали Большая Камчия, где-то далеко-далеко в горах слышна печальная песня, очень похожая на те, что поются у Днепра. На стенах крепости время от времени перекликаются ночные сторожа, вот они ударили раз и второй в медные била.

Но не только эти звуки мешают спать княгине Ольге — смутная обида тяжестью легла ей на грудь, сжимает сердце.

«Зачем,— думает она,— я ехала сюда, чего искала?»

Печальная песня разносится в горах, словно дает ответ на этот вопрос: одни и те же песни поют люди у Дуная и у Днепра, без толмачей понимают друг друга, с незапамятных времен жили они как братья и в трудные годины своей жизни помогали друг другу.

Княгиня Ольга вспоминает своего мужа Игоря, который не раз, прощаясь с нею, говорил: «Пойду помогу брату Симеону»,— и шел, не зная, вернется ли. Может быть, проходил он через Преславу, может, отдыхал когда-то в этой светлице, лежал, слушал далекую ночную песню в горах.

Но затихает печальная песня вдали, где-то далеко-далеко затерялись следы кесаря Симеона и князя Игоря, а те, что пришли им на смену, уже не похожи на своих отцов.

Княгиня Ольга припоминает лицо кесаря Петра, с которым разговаривала в этот вечер, и думает: «На кого он похож, кого напоминает?»

И тогда всплывает перед нею еще одно лицо — лицо императора Константина: та же усмешка, те же движения и такие же злые огоньки в глазах.

«Вот на кого похож кесарь Болгарии,— думает княгиня Ольга.— Нет, напрасно я приехала сюда, в Болгарию. Преслава — тот же Константинополь, только поменьше, совсем маленький...»

8

Чем дальше на север, тем становилось холоднее. Шел снег, крепчали морозы, дороги замело. Передвигаться дальше на колесницах нечего было и думать. Княгиня Ольга велела обменять их на сани в каком-то болгарском городе, где начиналась равнина. Но вскоре выяснилось, что и на санях им не пробиться через заснеженные просторы... Тогда они бросили и сани.

Княгиня Ольга, вся ее родня, послы, купцы сели на коней. Перекрестившись на восток, влез на коня и священник Григорий, ловко вскочили в седла служанки княгини — полянским девушкам это было не в диковину. Последними сели верхом, вооружившись луками и копьями, вои с лодий — вместе с дружиною они должны были охранять едущих.

На большое пространство растянулась вереница: впереди ехали дружинники, за ними — княгиня со своими спутниками, замыкали шествие лодийные вои.

Перед ними расстилался долгий путь, предстояло степное бездорожье, дни и ночи среди снегов, в лесных чащах и просто на мерзлой земле, под открытым небом.

Но слух о том, что киевская княгиня Ольга едет из Болгарии на Русь через Угорскую землю, летел, обгоняя ее, и в лесах над Тисою обоз княгини встретил отряд закованных в броню всадников во главе с братом князя Такшоня — князем Митлашем. Этот отряд сопровождал княгиню во время всей дальнейшей дороги, а в лице князя Митлаша она обрела умного спутника.

От него княгиня Ольга узнала, как живут угры на равнине над Тисой. Князь Митлаш говорил о том, как трудно было найти клочок земли между землями славянских племен и как долго приходилось налаживать связи с этими племенами. Потом князь Митлаш рассказал, как угры — уже вместе с русскими племенами — отбивали набеги соседей, рассказал об ужасной битве с германским императором Оттоном у реки Леха, происходившей два года назад...

Но княгиня Ольга сама знала, что угры, сто лет назад выйдя из далеких земель на восток, двигались на запад и стояли некоторое время недалеко от Киева, разыскивая свободные земли, а найдя такие земли, осели на широкой долине Тисы, побратались со славянами, многому уже от них научились, сошли с коней, оставили свои шатры.

Сколько ни ехала княгиня со свитою вдоль Дуная, а затем Тисы, повсюду она видела большие селения, обработанные нивы, стада...

Во дворце князя Такшоня княгиня Ольга не встретила ни роскоши, ни византийского блеска. Это была настоящая крепость посреди степей и гор, а обитатели ее — мужественные люди, вои.

И случилось почему-то так, что княгиня Ольга, не сумевшая свободно говорить и не встретившая поддержки ни в Константинополе, ни в Преславе, поняла этих суровых воев.

Они хотели жить, обрабатывать землю, держать в руках не меч, а рало, но на них накатывались вражеские волны с севера и юга; людей этих, как и ранее жившие здесь племена, хотели уничтожить с севера германцы, с юга — ромеи. Потому-то князь Такшонь очень радушно встретил княгиню Ольгу, которая явилась к нему с дружбой и миром: имея страшных врагов на севере и юге, угры искали друзей на востоке.

И нечто большее, чем добрососедская дружба, родилось в эти дни и длинные вечера, которые княгиня Ольга провела во дворце, в семье князя Такшоня. Она приглашала князя с женой побывать в Киеве-граде, предлагала дочери князя Такшоня — Ильдико поехать с нею в Киев, посмотреть на русских людей, познакомиться с ее сыновьями...

Больше она ничего не сказала, но и князь Такшонь, и жена его поняли, что княгиня Ольга неспроста приглашает Ильдико в Киев, неспроста называет ее Предславою, а хочет по-своему,

по-женски скрепить мир любовью. Что ж, угорский князь не запрещает Ильдико-Предславе погостить в Киеве, а княгини договорились и о большем — о приданом.

Так заканчивалось далекое путешествие княгини Ольги в Византию. Перед нею еще лежал трудный путь по широкой равнине, где протекала быстрая Тиса, через высокие Карпаты, леса, дебри, червенские города...

Но княгиню уже не страшил этот путь — тут, над Тисою и в Карпатах, жили родные русские люди. Князь Такшонь и княгиня посылали с Предславою много разного добра, большую дружину, множество коней. С такой свитой княгине не страшны были ни зима, ни звери, ни злой человек.



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

Дни становились короче и короче, морозы все сильнее сковывали Днепр, от стен города до самого небосклона белели нескончаемые снега...

Наконец наступил и Корочун — самый короткий зимний день, в который, как тогда верили, бог солнца сходился с богами тьмы, боролся с ними и побеждал.

Закутанные в звериные шкуры, дрожащие, озябшие люди от всего сердца стремились помочь доброму богу спасти солнце — гибель солнца была бы гибелью и для них,— и в самую длинную зимнюю ночь они выходили с оружием в руках на снежную равнину, угрожали злым богам, жгли огни, чтобы прогнать богов тьмы.

Так было и на Горе. Как только настала ночь, перед изображением Перуна, вокруг огромного костра, зашумела толпа мужчин, женщин, детей. Впрочем, разобрать, кто здесь муж-

чина, кто женщина, было трудно: в эту ночь боги тьмы не должны были знать, кто на них наступает. Всех злых, хищных богов нужно было напугать, а потому многие мужчины натянули на себя женские платна, женщины же надевали мужскую одежду, лица у многих были закрыты скуратами и ларвами, люди держали в руках щиты, копья, мечи, кое-кто нес с собою дудки, бубны, гудки...

Поднялся страшный шум: вои ударяли мечами о щиты, гремели копьями; кто умел, тот свистел в свирели, гудел в гудки; иные просто кружились у костра и кричали:

Корочун, Корочун, выходи на рать,
Корочун, Корочун, днесь тебе погибать!
Вертит коло огненное Коляда, Коляда,
Удирай, Корочун, со двора, из гнезда!
Корочун, Корочун, не таись, выхожай,
Помирай, Корочун, погибай!

Потом в круг входил кто-либо из жрецов, надевавший ради этой ночи устрашающую маску — голову быка с рогами и большими глазами, бил в бубен с медными бубенцами. Став посреди круга, жрец через отверстия в шкуре всматривался в скураты и ларвы окружающих, потом начинал кружиться все быстрее и быстрее, высоко подняв вверх звенящий бубен.

Вслед за ним быстрее начинали кружиться и остальные, громче бряцало оружие, пищали сопели и гудки — таков был устрашающий танец перед Перуном.

Неожиданно жрец останавливался. Останавливался и круг. Жрец несколько мгновений переводил дух, всматривался в темноту, окружавшую Перуна.

— Вижу Корочуна, вижу! — внезапно вопил он.

И, выхватив головешку из костра, он поднимал ее над головою, устремлялся в темноту, где еще с вечера стояла большая разукрашенная сосна, а под нею — обвязанное соломой и смазанное смолою колесо.

— Гоните Корочуна! — кричал он.

— Славьте Коляду! — кричали люди.

Жрец подносил головешку к сосне, и огонь сразу охватывал ветви, начинал ползти вверх, к вершине.

— Гоните Корочуна! — вопил жрец.

И уже несколько человек поджигали колесо, пускали его по снегу с горы, на которой стоял Перун, и оно катилось, освещая снег вокруг, рассыпая искры, мчалось в пропасть и там исчезало.

— Корочун удирает! Нет Корочуна! Слава Коляде! — кричали люди, глядя на освещенные снега и веря в то, что они боролись с богами тьмы и победили их.

За это им полагалась награда, все на Горе должны были

узнать, что Корочун побежден; и люди в скуратах и ларвах с мечами, копьями и щитами, распевая торжественные песни, шли к домам бояр и воевод, стучались в терема, чтобы вызвать хозяев, пели им колядки — песни, в которых повествовалось о начале мира, о борьбе светлых и темных сил, о победе над злыми силами. Так повелось испокон веков, так было и в эту ночь.

Когда не было начала света,
Тогда не было земли и неба,
Земли и неба, а только море,
А среди моря да два дубочка...

Двери домов отворялись, на крылечки со свечами и светильниками выходили бояре и воеводы со своими семьями, они весело смеялись, глядя на скураты и ларвы, сами пели вместе с людьми, подносили им гостинцы — вино, пиво, мед, орехи...

2

Святослав не пошел к Перуну, когда там гнали Корочуна и славили Коляду,— как хозяин и князь, он должен был оставаться в тереме, ждать колядников, чтобы выйти на крыльцо, когда они начнут петь, поглядеть на скураты и ларвы, дать щедрые дары...

Был чудесный вечер. Еще днем ключница Малуша с дворовыми приготовили в трапезной все для праздничного ужина, накрыли стол и поставили яства, на сене в углу светлицы — пшеничную кашу и медовую сыту — для умерших, которые в праздничный вечер слетались домой и якобы ужинали вместе с живыми.

В тереме было тихо. За окнами поскрипывал мороз. Маленькие стеклянные оконца с оловянными рамами затянула серебряная изморозь, в сенях, светлицах, трапезной горели свечи и светильники; было тепло, пахло свежим сеном, вкусной едой.

Под окнами терема то и дело слышался топот ног — это молодежь спешила к Перуну. Потом донеслись звуки бубнов, свирелей, гудков, послышалось пение. Святослав, а за ним Свенельд и Улеб, Малуша, дворовые, гридни вышли на крыльцо, чтобы посмотреть на танцы вокруг Перуна.

На дворе свирепствовал мороз. Вверху холодным светом искрились звезды, повсюду намело сугробы, но никому не было холодно, все с увлечением смотрели на толпу, кружившуюся вокруг костра, слушали крики и пение.

Запылала сосна за Перуном, огненное колесо умчалось в темноту, чтобы сбить с ног Корочуна, и люди в скуратах и ларвах двинулись по всей Горе...

Колядники с факелами в руках приблизились к княжескому терему, распевая:

Добрый тебе вечер, наш славный княже,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье...

— Несите дары! — приказал княжич Святослав.

Но что случилось? Колядники, шедшие улицей к терему и весело распевавшие, вдруг остановились, умолкли...

От ворот, с Подола, ехало много всадников, следом за ними лошади тащили несколько больших саней, вереницу замыкал еще один конный отряд. У крыльца все остановились, всадники начали соскакивать с коней, из саней начали вылезать путники.

В желтоватом свете факелов стали видны спешившиеся всадники, люди, вылезшие из саней.

— Княгиня Ольга! — бросились с крыльца на улицу Свенельд, Улеб, дворовые.

Да, это была она, княгиня Ольга, в праздничный вечер вернувшаяся в Киев из далекого путешествия.

Святослав вышел вперед, обнял мать. У нее было холодное, обмороженное лицо.

— Со святым вечером! — обратилась княгиня ко всем.

— Здорова будь, княгиня! — все поклонились ей в пояс.

А колядники уже приближались с факелами в руках к крыльцу, танцевали, показывали свои уродливые скураты и ларвы; опьянев от боярского угощения, они кричали и пели, а с крыльца им сыпали дары — пироги, орехи, коржи...

## 3

Так наступило то, чего Малуша ждала, в глубине души надеясь, что оно минует ее, то, чего она хотела, но не могла избежать, чего боялась, зная, что оно все равно придет, падет на ее голову тяжкой карой.

Войдя в терем, княгиня Ольга велела накормить путников. Малуша и сама знала, что они приехали с далекой тяжелой дороги, озябшие и голодные. К тому же княгиня Ольга приехала не одна — вместе с нею в терем вошли какие-то чужеземцы, а среди них Малуша заметила даже какую-то девушку. К счастью, думать об ужине не приходилось, для святого вечера у нее все было приготовлено.

И вот княжеская семья — княгиня, Святослав, Улеб, племянники Игоря, а за ними Свенельд, несколько воевод и бояр вошли в трапезную. Стоя на пороге, Малуша встретила всех их поклоном, позади нее стояли и тоже низко кланялись князьям Пракседа и дворовые, работавшие на кухне. В этот вечер им разрешалось постоять на пороге княжьей трапезной.

Князья входили, отвечали на приветствия. Малуша стояла и смотрела на княгиню Ольгу. Теперь было заметно, как княгиня бледна, как она устала, ослабела. Справа от нее шел княжич Святослав; он был будто бы такой, как всегда, и в то же время не такой — в глазах княжича Малуша увидела тревогу; слева от княгини шел княжич Улеб, он весь сиял, лукаво улыбался, а за ним шагали Игоревы племянники, бояре, священник Григорий.

Но, войдя в трапезную, где все было приготовлено для ужина, они не сели за стол, а стояли молча, словно кого-то ожидая.

Вдруг в сенях раздались шаги, послышались голоса, и на пороге светлицы показалось еще много бояр, ездивших с княгиней за море, их жены, разодетые как на праздник, а с ними несколько чужестранцев и молодая, необычайно красивая девушка — черноволосая, очень бледная, с золотой короной-обручем на голове, в темной одежде.

Княгиня Ольга ласково улыбнулась девушке, взяла ее за руку, подвела к княжичу Святославу, Улебу, Свенельду, называя их имена, а один из чужестранцев, который, как видно, понимал слова княгини, говорил что-то девушке,— только Малуша не понимала его языка.

Впрочем, ей и некогда было слушать. Княгиня Ольга уже пригласила всех к столу, рукой сделала Малуше знак, и та побежала на кухню, чтобы начать подавать ужин. Своих и гостей оказалось больше, чем ожидали, и дворовые спешили изо всех сил, наполняя миски, накладывая мясо, наливая вино в кубки, убирая посуду...

Малуше было очень трудно. Трапезная, кухня, огни, посуда, кубки мелькали перед глазами; у нее немели руки, подкашивались ноги; она торопилась, стараясь, чтобы всего было вдоволь, чтобы все было горячо, вкусно.

Но между делом она видела, что в углу, там, где были приготовлены еда и сыта для умерших, сидит княгиня Ольга, справа от нее — Святослав, слева — девушка с золотой гривной-обручем в волосах, с темными глазами. Видела Малуша и то, что девушка посматривает на Святослава, что все они оживленно разговаривают, а один чужестранец стоит около них и то говорит с княгинею, то незнакомыми словами повторяет все девушке.

Подавая блюда, Малуша прислушивалась, хотя это было очень трудно: под самым окном продолжали петь колядники, в светлице раздавалось много голосов, звенели кубки, братины. Ей же хотелось слышать только то, о чем говорят княгиня, Святослав и девушка...

«Эта девушка — княжна, имя ее — Предслава, ей очень нравится Киев, этот город напоминает ей родину»,— вот что расслышала Малуша.

— Ключница! Почему мало вина? Греческого!.. Херсонесского!.. Меду... Пива! — кричали за столом.

И она бежала в кухню, несла корчаги с греческим, подавала херсонесское, наливала в кубки мед, пиво...

А потом, снова и снова прислушиваясь к разговору троих, она слышала:

«Княжне Предславе много рассказывали о Русской земле... Ей нравится эта земля... Княжна Предслава уже успела повидать часть этой земли...»

А Малушу тем временем зовет Улеб:

— Ключница, дай мне вина...

— Какого?

— Самого лучшего... Ты какое любишь?

Малуша смотрит на него — он, как видно, опьянел или насмехается над нею — и наливает ему греческого.

А трое продолжают разговаривать.

«Княгиня Ольга много рассказывала княжне Предславе о княжиче Святославе. Княжна знает, что княжич убил уже не одного медведя... И княжна теперь видит, что княжич Святослав может убить медведя... Он такой, как и представляла себе княжна...»

В это мгновение рука Малуши, наливающей кубок, дрожит, и несколько капель греческого вина, как кровь, проливается на белую скатерть...

— Боги! — вырывается у Малуши, и ей кажется, что пол под нею колеблется, плывут огни, что-то кричат, надвигаясь на нее, люди, сидящие в светлице.

Но это одно только мгновение!

— К счастью! — говорит улыбаясь княжна Предслава.— У нас радуются, когда проливается вино. Это к счастью!

Малуша смотрит на княжну, Святослава, встречает его спокойный взгляд.

«Ну, чего же ты испугалась, Малуша?» — словно спрашивает он.

### 4

И еще одно — последнее, а может, первое в ряду новых — страдание суждено было пережить в эту ночь ключнице Малуше.

Когда окончился ужин и все, возбужденные, опьяневшие, шумливые, выходили из трапезной, княгиня Ольга позвала Малушу и сказала ей:

— Княжна Предслава очень озябла и устала в дороге. Ты уж пойди к ней и помоги.

В тереме все вскоре затихли, уснули. Княгиня Ольга отвела княжну в светлицу рядом со своей опочивальней. Когда Ма-

луша, держа в руках ведро с теплой водою и деревянное корыто, поднималась к княжне, она заметила, как из опочивальни княгини вышла Праксeда. Увидев Малушу, она на короткое мгновение замерла у дверей, а потом обошла ключницу и быстро побежала вниз по лестнице.

Княжна была в светлице; она сидела в кресле и смотрела в окно, за которым виднелось усыпанное крупными звездами небо. Когда скрипнула дверь, княжна обернулась, посмотрела на девушку грустными глазами, но превозмогла себя и тепло ей улыбнулась.

Они не понимали друг друга, но княжна догадалась, зачем пришла к ней эта девушка, делала все, что было нужно, порой выражала свое чувство непонятно-странными, но приятными словами.

Малуша постлала ложе для княжны, разула ее, налила в корыто воды и показала, что хочет вымыть ей ноги. Княжна послушно опустила ноги в корыто — у нее были очень маленькие, почти детские ножки, холеные, нежные...

И вся княжна была нежная, хрупкая, очень тонкая, с невысокой грудью, узкими бедрами, белой кожей, с несколькими родинками на ногах.

«Это боги отметили ее,— думала Малуша,— она счастливая. А у меня нет ни одной родинки...»

Она помогала княжне, старательно мыла ей ноги, перебирала каждый палец, каждую косточку этого тела, а сама думала о том, зачем приехала сюда, в Киев, эта угорская княжна, что ей здесь нужно, что задумала княгиня Ольга?

Думала Малуша и о том, что, может быть, как раз в эту минуту княжич Святослав прошел тихо сенями терема, остановился перед дверью ее каморки, толкнул ее, но не смог открыть, потому что Малуша заперла дверь, когда торопилась утром на кухню.

«Хотя нет,— думала она,— в тереме гости, не спит княгиня, Улеб, не спят все дворовые. Сегодня ночью княжич не придет ко мне».

В корыте была теплая вода, тело у княжны было тоже теплое. Но на сердце у Малуши было холодно, она чувствовала себя такой несчастной, что слезы внезапно покатились из ее глаз, падая прямо в корыто.

Если бы княжна знала, что девушка, стоящая перед нею на коленях — ключница Малуша,— моет ей ноги днепровской водой вместе со слезами сердца! Кто еще во всем мире мыл ноги в такой купели?

Но княжна не знала этого, она была довольна, что ее так радушно встречают в этом городе, ей очень нравился простой, но приятный обычай русов — мыть ноги своим гостям, нравилась ей и девушка, стоявшая на коленях перед нею.

И, чтобы выразить свое чувство, княжна наклонилась, про-

тянула руку и положила ее на голову Малуши, на ее мягкие волосы.

Малуша сперва не поняла: почему это княжна положила руку ей на голову? Может, вода холодная? Может, она хочет что-то сказать?

Но когда Малуша подняла голову и встретилась глазами со взглядом княжны, она поняла, что княжна сделала это от радости, счастья...

А куда же девалось счастье Малуши?

## 5

Святослав понимал, что мать его не зря появилась на Горе с угорскими послами и княжною Предславою, которая за ужином сидела в трапезной рядом с ним и часто бросала на него пытливые взгляды. Видел он и то, как волнуется Малуша, чувствовал, что надвигается гроза и что ему не миновать разговора с княгинею. Он только не знал, что это произойдет так скоро.

Княгиня Ольга позвала его в светлицу в то время, когда Малуша мыла ноги угорской княжне. Она сама встретила сына, заперла за ним дверь, потом отошла в угол, остановилась там и пристально с ног до головы оглядела его.

— Как же ты тут жил, что делал, сын? — спросила она.

Святослава успокоило то, что мать тихо и кротко начала разговор, и он так же спокойно ответил:

— Я исполнял твой наказ, творил суд и правду. Помогали мне в этом Свенельд, воеводы, бояре. Они, матушка, вельми мудры, знают закон и обычай — не пристало мне им перечить. Лето было доброе, я ездил со своей дружиной за Днепр, побывал далеко в поле, ходил на ловы в леса, был в Родне...

Весь его вид — обветренное, загорелое лицо, выцветшие от солнца волосы, мускулистые руки, сильные ноги — говорил о том, что за лето княжич исходил и изъездил немало. Княгиня не отрываясь смотрела на него и думала, как был бы рад отец Игорь, увидев сейчас Святослава.

— Я слышала,— произнесла княгиня,— как ты тут без меня творил суд и правду, знаю, что ты ездил далеко в поле. У меня сердце облилось кровью, когда услыхала, что ты был ранен. Но ты, я вижу, здоров, силен. Что ж, сын, хорошо. Теперь ты знаешь, остер ли печенежский меч. И про Асмуса я слыхала. Доброго дядьку потеряли мы, вечная ему память...

Однако не только это интересовало княгиню Ольгу.

— А еще что ты делал летом, сын? — спросила она.

Святослав посмотрел на мать. Он понял, что этот вопрос княгини — стрела, выпущенная из лука, и попробовал перехватить ее на лету...

— Еще я очень беспокоился о тебе, мать. Как ты ездила? Скажи!

Она поняла, что сын отвел ее первый удар, и решила, что так, пожалуй, и лучше.

— В далекие страны я ездила,— ответила она,— и видела так много, что, должно быть, и не перескажешь. Ехала я туда, как ты знаешь, с великою надеждою, но от надежды той теперь ничего во мне не осталось. Лживы и жадны ромеи, надо мною они посмеялись, хитрят с нами, хозарами, болгарами и всеми языками...

— Значит, надо их бить,— сказал Святослав.

— А кто поведет рать на брань? — спросила княгиня.

— Я поведу Русь против Византии! — запальчиво крикнул он.

Она посмотрела на него теплым материнским взглядом.

— Может, и настанет такое время, что ты поведешь Русь против Византии. Но днесь я сижу на престоле, знаю, как тяжко живется нашим людям, затем и ехала к ромеям, чтобы напомнить императорам про давний наш мир, сказать, что мы и сейчас хотим жить в добре и любви... Разве, сын, если враг лют, мстителен и злобен, нужно только рубиться с ним? А почему не поговорить с ним ласково, с любовью? Вот каган хозарский помирился с ромеями, взял в жены дочь императора...

— Пускай хозарский каган и целует цареградскую царевну,— не сдержался Святослав,— но киевским князьям эти царевны не пара.

Княгиня Ольга грустно покачала головою.

— Это ты напрасно говоришь, Святослав. Породниться с императором ромеев, у которого пять дочерей, Киевскому столу было бы очень хорошо, и я, признаюсь тебе, говорила об этом императору Константину.

Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами.

— Но императоры ромеев,— быстро продолжала она,— носят гордыню в своем сердце, они считают нас эллинами и дикарями, и потому Константин ответил, что христианская вера запрещает императорам родниться с нами.

Нечто похожее на радостный возглас, но вместе с тем и на вздох вырвалось из груди Святослава.

— Благодарение богам,— воскликнул он,— что я до сих пор не стал христианином, теперь-то я уж и подавно им не стану!..

— Но я,— продолжала мать,— нашла девицу не хуже дочерей императора Константина и привезла ее сюда, в Киев... Ты видел ее, угорскую княжну?

— И что же? — не понял ее Святослав.

— С уграми у нас давно мир, и если мы укрепим его браком, то умножим наши силы...

— Так значит,— задыхаясь, прохрипел он,— это ты привезла мне жену?

— Так. Предслава должна стать твоею женою.

— Нет,— схватившись за голову, сказал он,— этого никогда не будет, не может быть, мать...

Она подошла к нему ближе и положила руку ему на голову.

— Ты забыл, Святослав, что я — твоя мать,— произнесла она,— и, как мать, должна печься и пекусь ныне о твоей судьбе...

— Я знаю,— возразил он,— что ты моя мать, ты — княгиня и хочешь найти мне хорошую, достойную жену. Но я не могу взять в жены угорскую княжну, потому что люблю другую, не царевну и не княжну...

— Знаю про то,— ответила княгиня Ольга.

— Что ты знаешь?

— Все знаю,— тихо сказала княгиня.— Про тебя, Малушу и про то, что она непраздна...

— Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал, мать?

— Не все ли равно, кто сказал,— у самой глаза есть, вижу...

Княжич Святослав продолжал смотреть на мать, ждал, что еще она скажет. Но она молчала,— должно быть, ждала, что скажет сын.

— Зачем ты это сделал, Святослав? — наконец спросила она.

И вдруг уже не с упрямством, а совсем иначе, взволнованным голосом, идущим от сердца, Святослав сказал:

— Да ведь люба мне Малуша, как солнце, земля, как ты, мать, ведь люблю я ее...

Княгиня Ольга чувствовала, знала, что сын ее говорит правду, что любит он Малушу так, как любят только один раз в жизни, но вынуждена была ответить:

— Неужто ты думаешь, что у меня нет сердца? Неужто считаешь, что я не люблю тебя? Нет, Святослав, я люблю тебя и желаю тебе только добра. А потому скажу: ныне ты княжич, землями правлю я, но чувствую себя плохо, старею, слабею и скоро уж окончу свой земной путь — кто же тогда сядет на стол Киевский?

— Не говори об этом, мать!

— Нет,— возразила она,— говорить об этом я должна, обязана... В великое и страшное время живем мы, сын мой. И в прежние времена тяжко было русским людям бороться с врагами, что шли и шли на нас, старались нас уничтожить, разгромить... Сколько уже крови пролилось до нас у берегов Днепра и Русского моря, сколько людей погибло ради того, чтобы мы жили! Но таких времен, как сейчас, еще никогда не бывало. Вот я ездила в Византию, была у болгар, угров, вижу и знаю — великая опасность надвигается на Русь. На восходе солнца стоят хозары, над Русским морем подстерегают нас ромеи, на

Болгарскую землю можно было бы надеяться, но кесарь Петр продал Болгарию ромеям, а Византия рано или поздно будет воевать с нами. Кто тогда поведет Русь? Почему ты молчишь, сын? Ты же только что говорил, что согласен вести...

— Так, говорил...

— Но чтобы вести Русь на Византию, надо быть князем...

Святослав молчал.

— Неужто же ты думаешь, что будешь князем, если возьмешь Малушу? Ты знаешь, что такое Гора?

— Что Горе до меня и Малуши? — крикнул Святослав.

Княгиня Ольга покачала головою.

— Сын мой, сын мой! — вздохнула она.— Ты еще не знаешь Горы, не ведаешь, где живешь. Над землями Руси — киевский князь, ныне — я их княгиня, но подпирает нас Гора, бояре и воеводы, князья земель. Тяжко мне с людьми моими, но еще тяжелее с Горою. Они льстивы,— с сердцем и очень громко говорила княгиня,— они хитры, они жадны и ненасытны, и я уж не знаю, сын мой, как ублажить их...

Она на мгновение умолкла,— заметно было, что ей трудно говорить, потом продолжала:

— Добра желая людям своим, я давала Горе все, что могла дать. Нелегко это было, сын, ибо множество врагов шло на нас, и мы должны были их отбивать, а кто же их отбил бы, если бы не воеводы, дружина? И мы держали воевод, имели дружину. Но воеводы стали боярами, княжий гридень может стать воеводою. Они ненасытны, хищны, им всего мало. Ты думаешь, почему погиб твой отец Игорь? Князь Игорь взял с древлян сполна всю дань, а Гора с дружиною заставили его идти туда же за второй данью, и он пошел, жизнью заплатил за дань. Я отомстила древлянам, ибо за кровь нужно было заплатить кровью, но увидела, что если и дальше стану брать дань, то земли эти пойдут против нас, а потом и друг против друга. Я, сын, запретила дань, установила погосты, дала уроки и уставы. Это было облегчение для людей земель, но если бы ты знал, что тогда творилось тут, на Горе, сын! Пожалованья, пожалованья, пожалованья — я раздала тогда боярам, воеводам, князьям все земли...

— Так кому же служат князья,— вырвалось у Святослава,— людям своим или воеводам и боярам?!

Княгиня Ольга посмотрела на Святослава — возбужденный, необычайно взволнованный, со вспыхнувшим румянцем, стоял он перед нею — и подумала, что ошиблась, считая, что сын ее еще отрок. Нет, он уже вырос, возмужал, стал взрослым, а если так, то надо говорить ему всю правду, какой бы горькой она ни была.

— Так,— ответила княгиня,— глава земель — это не только князь, но и бояре наши, воеводы, дружина.

— А племена, языки, все люди?

— Они погибнут без князя и бояр...

— Значит, мы служим и людям и Горе?

— Так, Святослав, за мною стоят князья и бояре, воеводы и дружина, вся Гора. Это они скажут тебе: негоже ты сделал, не быть Малуше женою великого князя...

— А я не стану их спрашивать...

— Они сами спросят у тебя, и горе будет, если тебе нечего будет им ответить. Они согласились бы, чтобы ты взял дочь императора, они молчали бы, если бы это была дочь хозарского кагана, они примут Предславу — угорскую княжну, но не допустят Малушу...

Она помолчала и закончила:

— И я сделаю так, как пожелают они.

— Ты так не сделаешь, мать! — крикнул он.

— Нет, я должна сделать и сделаю только так,— ответила княгиня.

Она помолчала, подошла к нему ближе, положила руку ему на плечо и сказала:

— Слушай, Святослав! Слушай и запомни. Не всем суждено быть князем — князь один, людей много. Раз ты родился князем, ты должен им быть. Нелегко носить корону, сын, она тяжела, знай это. Так как же быть, сын? Княгиня или рабыня? Говори!

— Мать! — ответил он.— Я хочу добра людям моим, люблю родную землю, живу только для них. Что ж, пускай не будет ни княгини, ни рабыни.

— Хорошо, что ты сказал это первое слово. Спасибо, Святослав. Не беспокойся, я сделаю все, чтобы Малуше было хорошо. Рабыня будет счастлива. А о княгине мы поговорим позже. Иди, Святослав!

Он стоял и долго смотрел на мать и в первый раз не знал — добро она творит или зло, правду или неправду.

— Иди, сын,— повторила княгиня.— Я устала с дороги.

И он вышел из светлицы.

Когда Святослав шел от матери в свою светлицу, он услышал, как позади него в сенях словно кто-то переступил с ноги на ногу. Он обернулся и увидел возле одной из дверей брата Улеба, стоявшего, тесно прижавшись к стене...

Княжич Святослав вернулся и остановился против Улеба.

— Ты,— задыхаясь, произнес Святослав,— чего тут стоишь?

— А почему бы мне тут и не стоять? — нагло ответил Улеб.

— Ты можешь стоять где хочешь,— возразил Святослав,— но подслушивать не смеешь... Слышишь, Улеб, не смеешь!

— Я не подслушивал.

— Лжу говоришь, Улеб,— после долгого молчания сказал Святослав.— А кто говорит лжу — враг мой. Не будь ты братом, я убил бы тебя...

Князь Святослав повернулся и пошел к своей светлице. Улеб, не сходя с места, долго смотрел ему вслед, потом засмеялся и исчез за дверью...

## 6

Малуша вошла в светлицу так тихо, что княгиня даже не услыхала ее шагов. Остановившись на пороге, она увидела княгиню, ступила один шаг вперед и повалилась в ноги...

Краткое мгновение! Княгиня вспомнила, как когда-то в трапезной увидела эту робкую девушку, боявшуюся поднять на нее глаза, вспомнила, как Малуша помогала Ярпне, как потом начала помогать ей, княгине. И как потом вошла в терем, стала ключницею...

Теперь эта девушка стояла на коленях, плечи ее содрогались от неудержимых рыданий...

— Встань! — сурово произнесла княгиня.

Девушка, все еще стоя на коленях, подняла голову, и княгиня увидела ее, растоптанную, униженную...

И все же даже в эту страшную минуту — на коленях, согнутая — Малуша была чудесно хороша. Высоко вздымалась ее тугая грудь, лицо раскраснелось, играло румянцем, слезы сверкали на ресницах, как самоцветы.

Княгине тяжело было смотреть на это измученное, но прекрасное лицо, трудно было начать разговор, но все же она пересилила себя. Твердо приказала:

— Встань, Малуша!

Малуша встала. В ее глазах промелькнула искорка надежды...

— Ты что же это натворила? — так же сурово сказала княгиня.— Я тебя взяла в терем, верила тебе, ключницею своею сделала, а ты так отблагодарила — прельстила княжича...

В отчаянии Малуша охватила голову руками, зашаталась от рыданий, но тотчас же, глядя прямо в глаза княгине, ответила:

— Нет, нет, княгиня, я никогда не прельщала княжича Святослава, и я неповинна, неповинна, матушка княгиня. Я только пошла к Днепру вместе со всеми на Купалу, а Купала отвел меня от огней к темному берегу, и там я увидела княжича Святослава. И княжич неповинен, Купала и его заманил, свел нас у берега... А что потом было, я не знаю, любила княжича и люблю, хоть и знаю, что не смею... Что мне делать?

— «Люблю»! — тихо произнесла, вздохнув, княгиня Ольга.— Но ведь ты еще и непраздна...

— Я не знаю, что со мною, матушка княгиня, только тоскливо мне, все тело млеет, места не нахожу, ночами не сплю... Это боги покарали меня, сил больше нету, не могу.

И Малуша умолкла, заметив, что княгиня отвела глаза и смотрит в темное окно светлицы, за которым по ту сторону Днепра переливалась большая вечерняя звезда.

— Великий грех сотворила ты, Малуша,— заговорила княгиня,— и заслужила ты кару великую. Ты — раба, Святослав — княжич, завтра — князь; он — глава всей нашей земли, защитник людей, на него смотрит весь мир. А ты посмела стать рядом с ним. Понимаешь ли ты, что натворила?

— Я понимаю, княгиня,— ответила Малуша.— Я не смею стоять рядом с князем, я не знала, что так будет, и никогда, никогда, княгиня, я не думала об этом, ничего не делала... Во всем виноват Купала... Теперь мне осталось одно — к Днепру и в воду...

— Нет,— сурово сказала княгиня Ольга.— Если ты пойдешь в Днепр, это будет еще один и еще более страшный грех, ибо не одну себя ты убьешь, но и княжеское дитя...

— Тогда, княгиня, я вернусь к отцу в Любеч...

— Нет,— возразила княгиня,— и в Любеч тебе идти нельзя. Кто там поверит, что так случилось? Родной отец выгонит тебя за блуд.

Малуша молчала.

— Когда-то,— сказала княгиня,— я тебя, Малуша, взяла ко двору и сделала своей ключницей. Ты работала хорошо, милостницею моей была...

Что-то похожее на надежду опять засветилось в глазах Малуши, она пристально смотрела на княгиню.

— И я никогда не забываю добра,— продолжала княгиня.— За то, что честно и хорошо работала, хочу пожаловать тебя...

Малуша знала это слово. О, на Горе только и было разговоров, что насчет княжьих пожалований; о пожалованьях мечтали и вслух говорили бояре, тиуны, воеводы. Но что можно пожаловать ей, Малуше? Разве можно что-либо пожаловать за то, что она любила и любит княжича Святослава? У нее сильно болело сердце, и она хотела только одного — чтобы княгиня пожалела ее...

Однако это была не жалость, а именно пожалованье.

— За твою службу и за все,— говорила княгиня,— я даю тебе село Будутин на Роси... Будешь ты в нем хозяйкой. Вот тебе моя печать.— Она протянула руку к столу и взяла дарницу на село, написанную ларником Переногом.

И тогда Малуша все поняла. Значит, княгиня Ольга не жалеет ее, а хочет пожаловать — и за службу в тереме, и за любовь к Святославу, и за дитя, которое она должна родить.

Горькая, невыразимая боль словно обручем сжала грудь Ма-

луши. Если бы это был не княжий терем, она бы закричала так, чтобы слышно было на всей земле и на небе. Это была не только боль, это было оскорбление самого святого, что носила она в своем сердце. Неужели княгиня не понимает, что у Малуши можно отнять все — здоровье, силы, самое жизнь,— но чести у нее никто отнять не сможет?

Так Малуша и сказала:

— Зачем мне село? Я не просила пожалованья и не возьму Будутина, не возьму...

Малуша уже не плакала. По ее сверкающим глазам, по сжатым пальцам княгиня Ольга увидела и поняла, что в этой раздавленной девушке проснулось то, чего раньше в ней не было, проснулся новый, еще пока непонятный княгине человек, и что Малуша сделает так, как сказала.

— Так вот ты какова, северянка! — уже с яростью произнесла княгиня.— Другие у меня пожалованья на коленях просят, а ты отказалась, когда я хотела дать? Хорошо, пусть будет по-твоему. Ты поедешь в Будутин, ты будешь там жить, но останешься, как и раньше, рабынею, рабою, слышишь?

— Слышу! — спокойно ответила Малуша.

— Но ты должна помнить,— тем же сердитым голосом продолжала княгиня,— что ты рабыня, но под сердцем носишь княжье дитя... С тобою пошлю гридня — не тебя он будет стеречь, а княжье дитя, и, когда родишь, он даст мне знать. А ты роди и выкорми. Слышишь?

— Слышу...

Княгиня Ольга шагнула вперед, остановилась, что-то, как видно, хотела сказать, но не смогла и, махнув рукою, сказала:

— Ступай!

И вдруг Малуша коснулась рукою ключей, висевших у ее пояса, и как-то испуганно спросила:

— А кто же вас завтра накормит, княгиня?

Княгиня даже вздрогнула, ей показалось, что это дерзкая выходка гордой Малуши: не все ли равно для нее в этот страшный час, кто будет кормить завтра и в последующие дни их, князей?

Но это была вовсе не дерзость. Малуша, отдавая ключи, в простоте душевной хотела знать, кто же теперь будет отпирать и запирать богатства княжьих теремов и двора; она, не имевшая отныне хлеба насущного, беспокоилась о княжьей еде.

Княгиня Ольга посмотрела на ключницу иными глазами. Ей хотелось сказать, что Малуше нечего о них заботиться, что, если не стало одной Малуши, найдется другая и что у нее уже есть новая ключница — Пракседа, которая сегодня вечером рассказала ей и про ночь на Купала, и про все остальные ночи, когда Святослав бывал в каморке Малуши.

Но княгиня не сказала всего, что ей хотелось сказать, а ко-

ротко, как когда-то: «Так и носи ключи»,— промолвила теперь:

— Положи ключи сюда, на лавку!

Когда Малуша клала ключи на лавку у дверей, они печально зазвенели. Потом Малуша поклонилась и вышла.

Княгиня долго смотрела на дверь, закрывшуюся за ней.

Малуша вернулась в каморку, в которой она прожила последние годы. Как бы она хотела, чтобы сейчас в этой каморке была Ярина,— она бросилась бы на колени перед старой ключницею, выплакала бы ей свою душу...

Но ключницы Ярины не было. Когда Малуша распахнула дверь каморки, на нее дохнуло холодом и плесенью. За работой и хлопотами по княжьему терему у нее не оставалось времени топить здесь и убирать...

И все же что-то осталось от того далекого времени, когда она была весела и счастлива. Сквозь узкое оконце в каморку, как прежде, заглядывал месяц, луч его, как когда-то, падал на пол, постель, стену.

Внезапно Малуша вздрогнула: ей показалось, что кто-то притаился там, за постелью, смотрит на нее жадными, злыми глазами. Она даже схватилась за сердце. Неужели мало у нее горя? Кто еще мог забраться сюда, в каморку?

Потом она поняла, что в каморке нет никого, да и кто теперь зайдет сюда, где живет опозоренная ключница Малуша?! Это не глаза, это она сама когда-то давно сняла свои сережки, бросила их на лавку за постелью, вот зеленые камушки и играют под лучом месяца.

— Матушка Ярина! Где ты? Где ты? — застонала она; и хотя слова ее поглотила пустота, она опустилась на колени, упала головою на холодную постель и долго выплакивала свое горе, страшась будущего.

Но вот Малуша опять вздрогнула, вскочила, остановилась возле ложа, прислушалась. Нет, она не ошиблась — за стеною послышались шаги, кто-то из княжьего терема шел сюда, к дверям, что вели в ее каморку...

Перун, Даждьбог, все силы неба — что это были за минуты! Как она молилась, чтобы это были те шаги, которых она ждала, о которых мечтала! Как она хотела, чтобы это, как прежде, шел сюда княжич Святослав, чтобы он открыл, как бывало, дверь и появился на пороге...

Шаги раздавались все ближе и ближе, теперь она уже верила, что это Святослав. О, как только он появится на пороге, она бросится к нему, расскажет о своей муке, попросит у него помощи,— ведь он не только княжич, а любовь ее, отец ребенка, которого она носит под сердцем.

И она знала, верила, что, если княжич Святослав придет, он защитит ее, не позволит, чтобы Малушу выгнали со двора, будет таким, как и прежде. Если княжич захочет, он все может сделать. «Иди же скорее, Святослав, я жду тебя!» — чуть не крикнула Малуша и шагнула к двери.

Но что это? Шаги остановились. Кто-то пальцами прикоснулся к двери, но не открыл ее, а, наоборот, притянул к себе. Послышались глухие удары — один, второй, третий. И Малуша поняла, что это со стороны терема забивают дверь в ее каморку. И опять прозвучали шаги — кто-то возвращался в терем. Но это не были шаги княжича Святослава.

Недавние слезы, а теперь эти удары молотком по гвоздям (так, припомнила Малуша, забивают крышку корсты: три удара — и конец) — все это, как ни странно, уже не усилило, а словно притупило ее мучения. В этот поздний ночной час прошлое Малуши будто бы отступило вдаль, как тяжелая грозная туча. Теперь она издали ясно увидела, какая это была ужасная, смертельная туча. Но она уже пронеслась: полюбила Малуша, но это было только обольщение, была ключницей — и снова стала рабыней, единственное, что у нее осталось, —дитя...

За открытой дверью трещал мороз, на небе висел месяц. Его зеленоватое сияние лилось в каморку. Вот оно, богатство покойной Ярины и ее, Малуши. Что же ей взять с собою?

А Святослав не шел. Теперь он не придет. Разве Малуша не знала этого? А если бы он сейчас и появился в дверях — о, теперь все равно было бы уже поздно...

## 7

Глухой ночью отрок из княжьего терема разбудил Добрыню и велел ему идти к княгине. Добрыня не на шутку перепугался. Есть, должно быть, какие-то вести с поля. Может, сразу, среди ночи, придется выступать? Он оделся в темноте, схватил свитку, прикрепил к поясу меч, поверх шапки надвинул на голову шлем.

Княгиня Ольга ожидала Добрыню в сенях терема, где горело несколько свечей. Рядом с княгиней стоял и что-то тихо говорил ей воевода Свенельд. Но как только появился Добрыня, Свенельд умолк и, поклонившись княгине, вышел из сеней.

— Ступай за мною, Добрыня! — произнесла княгиня и пошла вперед.

Стараясь шагать как можно тише, Добрыня двинулся вслед за ней.

Так он очутился в одной из светлиц княжеского терема. Там в углу на камнях горел огонь. Посредине светлицы стоял покрытый красным бархатом стол, два резных стула с поруч-

нями, вдоль стен — лавки. В светлице было так тепло, что на рубленых стенах оседал пар.

Княгиня села на стул, оперлась на поручни и, как показалось Добрыне, долго прислушивалась — не слышно ли голосов в тереме? Но там ничего не было слышно; тихо было и здесь, в светлице, только где-то за стенами скрипел мороз да еще потрескивали в очаге сухие, смолистые дрова.

Княгиня Ольга повернулась к Добрыне, и он увидел ее бледное лицо, темные глаза.

— Не кого-либо позвала днесь, а тебя, Добрыня,— прозвучал в светлице напряженный голос княгини.— Обо всем, что услышишь, молчи, что велю — сделай, на то моя княжья воля. Клянись Перуном...

— Матушка княгиня! — отвечал Добрыня.— Клянусь Перуном и Даждьбогом, заклинаюсь Волосом и Хорсом...

— Довольно,— едва усмехнулась княгиня.— А теперь слушай...

— Слушаю, матушка княгиня.

— Ты знаешь,— спросила она,— что сталось с Малушей — сестрой твоею, а моей ключницей?

— Не ведаю, княгиня... А что она — провинилась, беду сотворила?

— Неужто не знаешь? — едко засмеялась княгиня Ольга.— И того не знаешь, что Малуша непраздна?

Добрыня вздрогнул, словно ему в грудь вонзился меч. Так вот почему Малуша пряталась от него, избегала разговора! Убегала, хотела скрыть то, что все равно скрыть невозможно.

Ему было невыразимо жаль Малушу. Он любил ее, радовался, что не только сам служит княгине — служит в тереме ключницей и она.

— Малуша непраздна? Матушка княгиня! Да когда же она?.. С кем? Я же видел ее... Я ее сам... сам покараю...

— Не торопись, Добрыня,— очень сурово признесла княгиня Ольга.— Я взяла Малушу, рабу мою, а твою сестру, к своему двору, милостницею своей сделала, а она посмела... она непраздна от княжича Святослава...

— Матушка княгиня!

— Не кричи! — так же сурово остановила его княгиня.— Уже поздно, в тереме все спят.

Добрыня стоял у порога княжеской светлицы, и тысячи мыслей сразу заполонили его голову. Так вот почему княжич Святослав после Купалы стремился ночевать не в поле, а в городе и всегда летел туда как на крыльях! Значит, Малуша не так уж невзрачна, как считал Добрыня, она так хороша, красива, что даже княжич Святослав полюбил ее. И не только полюбил — Малуша непраздна, под сердцем своим она носит княжеский плод. Род князей и их простой род — как это может

быть?! Но что думает делать княгиня Ольга? Зачем она позвала Добрыню среди ночи? Неужели она задумала покарать Малушу?! Ухватившись руками за грудь, стоял Добрыня перед княгиней и ждал ее слова...

— Раба Малуша достойна суровой кары,— словно угадав его мысли, сказала княгиня Ольга.— Но сама я не стала бы ее карать: грех — ну что же, я выгнала бы ее из города, пусть идет куда хочет. Но она непраздна, у нее будет дитя от князя. А что скажут тут, на Горе, когда узнают о любви княжича Святослава, а потом о ребенке? Убьют ведь.

И княгиня сказала Добрыне, не как гридню, а как гораздо более близкому человеку, как сообщнику, таинственно, тихо:

— Малуше на Горе оставаться нельзя... Я уже видела ее, говорила с нею. Она поедет в мое село Будутин и будет жить там. Пусть она и дитя там рожает. Так будет лучше, так нужно.

— Спасибо, княгиня, спасибо,— прошептал Добрыня, чувствуя, что страшная опасность отдаляется от Малуши.

— Но и там ей нельзя быть одной,— продолжала княгиня.— Там тоже могут узнать, и опять она и дитя окажутся в опасности. Нужно оберегать их... Согласен ли ты, Добрыня, поехать с Малушей в Будутин? Там нужны мои гридни, и рабыне найдется место, а когда родится дитя, прибудешь в Киев, скажешь мне.

— Добро,— ответил Добрыня.— Все сделаю, как велишь.

— Тогда ступай и готовься,— приказала княгиня.— Воеводе Свенельду я сказала, что ты едешь по моему слову. Скоро будут готовы сани. Иди, Добрыня!

Добрыня молча поклонился княгине, очень тихо, чтобы никто не услышал, вышел из светлицы. Уже стоя на пороге, он увидел, как в очаге снова вспыхнуло пламя, как его красноватый отблеск осветил бледное лицо княгини, глаза, руку, протянутую вдоль поручня кресла. Все это, а затем сени, где горели свечи, ведро с водою, с которого, звеня, падали одна за другой капли, темное крыльцо проплыли перед ним в каком-то тумане.

Он опомнился только посреди двора, перед теремом, и долго стоял, глядя на темные рубленые стены, на одно окно, где мерцало красноватое пламя очага, потом перевел взгляд на терема бояр и воевод, напоминавшие сейчас, среди ночи, тяжелые кованые сундуки, на городскую стену, тугим черным обручем охватившую Гору.

И почему-то особенно остро и болезненно почувствовал Добрыня, что стоит он тут, посреди княжьего двора, ночью уже не как сотенный, а как простой гридень, смерд, человек совсем иной, чем князья, воеводы, бояре. И разве не об этом говорила только что княгиня: «Я взяла рабу мою, а твою сестру, к своему двору, милостницею своей сделала, а она посмела...» Не там,

в светлице, а именно здесь, посреди двора и в эту минуту, Добрыня ощутил всю горечь этих слов, острую обиду. Так, они — князья, воеводы, бояре, им все дозволено, они все могут, а он и Малуша — только смерды, рабы, они ничего не смеют. Добрыня даже сжался, словно ожидая откуда-то удара...

Но тут же и другое пришло Добрыне в голову. Ладно, пускай они смерды — и он, и Малуша, и еще множество таких же людей. А все же есть в них что-то такое, против чего не может устоять даже князь. Добрыня усмехнулся. «Княжич Святослав, ты орлом летаешь в поле, но ты знаешь, кого и где искать среди жен полянских! — Смотри-ка, он и не думал, на что способна Малуша.— Не хитростью, а красотою, так, так, Малуша, ты действовала, как жена полянская, и я тебе ничего не скажу, а в мыслях поблагодарю тебя».

И еще раз взглянул Добрыня на княжий терем, Гору, стены... Не только Малуше, а и ему теперь нет места на Горе; гонят с Горы Малушу, гонят вместе с нею и брата — гридня Добрыню. Прощай, Киев, Гора, надежды, честь и слава!

Однако они с Малушей увезут с Горы нечто большее, чем богатство. О, теперь Добрыня будет беречь сестру Малушу в далеком селе Будутине, он с мечом будет сторожить у порога их хижины...

Но вот в конце Горы послышались голоса и конский топот. Должно быть, пора в путь. А какие сборы у Добрыни? У него ничего нет. Добрыня уже готов.

## 8

Поздней ночью княгиня Ольга услышала, как во дворе терема застучали копыта, а в сенях послышались тяжелые шаги и чьи-то приглушенные голоса. Она узнала — это Свенельд и гридни.

Княгиня и до того не спала, а теперь и вовсе не могла уснуть, вскочила с ложа, подошла к окну, выглянула.

Из окон в сенях во двор падали полосы желтого света; княгиня увидела у крыльца крытые, запряженные парой лошадей сани, несколько человек, которые, тяжело ступая по снегу, пошли за терем.

Потом княгиня увидела, как гридни вышли из-за терема, впереди них шла женщина в длинном темном платне, в свитке, с высокой меховой шапкой на голове. Когда женщина подошла к саням и обернулась, княгиня узнала Малушу.

Гридни спешили, ударили лошадей. Малуша спряталась под кошмою — сани тронулись. В сенях все еще светился огонек. Посреди двора остался Свенельд, он долго стоял неподвижно, смотрел, как исчезают в серой мгле сани.

Потом медленно пошел по двору, и огонек в сенях погас.

«Как бы не простудилась,— подумала княгиня Ольга.— Дорога дальняя, в поле мороз».

Только тогда она отошла от окна, села на холодное ложе, склонила голову на руки. В светлице было мрачно, как под водою; от стен веяло холодком; где-то в сенях капала вода; далеко в тереме кто-то закашлялся.

И в этот поздний ночной час перед княгиней возникли воспоминания давно прошедших лет, когда она была молода, жила в родной Выбутской веси, вдоль которой течет река Великая, а на другом берегу тянутся леса, дебри, озера, широкая Плесковская земля.

Однажды она плыла на долбленом челне все вверх и вверх по реке, вошла в лес, хотела набрать ягод... Вдруг из лесной чащи вышел князь. Она, разумеется, не знала, что это князь, только подумала... Да и кто же это мог быть, если не князь: золотой шлем, красное корзно с золотым узором, у пояса меч с самоцветами.

— Ты откуда, девица? — спросил он, посмотрев на нее.

— Я из веси Выбутской,— ответила она.

А сама посмотрела на него и испугалась — так был он прекрасен. Отвела глаза, стала смотреть на плес, кувшинки, белые лилии, легкие волны.

— А не можешь ли ты, девица, меня через Великую перевезти?

— Могу...

Ехали через реку — она не смотрела на него, перевезла — глянула: высокий, стройный, глаза карие, усы темные.

— Спасибо тебе, девица! И скажи мне — как твое имя?

— Волга, князь... только зачем тебе мое имя?

Он постоял с нею немного на берегу, расспросил, есть ли у нее родители, а когда услыхал, что умерли, пошутил, что приедет за нею и заберет с собою...

Но это была не шутка. Через некоторое время возле ее землянки в веси остановились сани, из них вышел князь — не тот, которого она видела когда-то на реке, а другой, старый, седой. Но говорил он о том князе, которого знала Волга.

— Великий князь Игорь велел мне найти в веси Выбутской тебя, Волга, и привезти в град Киев.

Резвые кони мчали на юг, в теплые края, месяц дважды обошел круг на небе, пока они доехали, а потом очутилась Волга в Киеве, на Горе, в княжьих хоромах, увидела князя, которого перевозила когда-то через реку.

— Тут тебе теперь и жить, великою княгинею быти, Ольга! — нежно и совсем по-новому произнес князь ее северное имя.

Такого словно и не бывает на свете, но именно так случилось с Ольгою, когда была она Волгою в Плесковской земле.

«Почему же я так поступаю со Святославом? Ведь он любит Малушу, она любит его. И разве Малуша не такая же девушка, какой я была когда-то?» — спрашивала себя княгиня Ольга в этот поздний час.

Она понимала, что Малуша — такая же девушка, какой была когда-то она сама, что Святослав любит Малушу так же, как любил ее когда-то Игорь...

Но изменились времена! Тогда Игорь был властен поступать, как хочет, он мог привести в терем кого пожелает, лишь бы эту любовь освятили Купала, Лада... Он и дружина — вот кто владел Русскою землею; они брали дань, но и стерегли Русь...

Княгиня и ее дети и сейчас имели дружину. Но то была уже не прежняя княжеская дружина! Богат и славен киевский князь, но сколько вокруг него появилось богатых и знатных воевод, бояр! Не сами по себе появились они: в тяжелые годы князь опирался на них, а потом должен был их отблагодарить. Пожалованья, пожалованья — о, много русской земли роздали Олег и Игорь, а позднее и сама княгиня... Воеводы и бояре Горы, всякие князья, воеводы и бояре земель, посадники на погостах, купцы, послы — они поддерживали и поддерживают князя, борются за него и Русь, но каждый из них требует пожалованья, каждому из них все мало и мало...

И сталось так, что княгиня Ольга начала бояться своих воевод и бояр. «Мудрая»... Княгиня Ольга на каждом шагу слышала это слово и понимала, что мудрость ее состоит в том, что умеет она жить в мире с воеводами и боярами, умеет сдерживать их, когда идут они друг против друга, умеет быть мудрой с людьми земель.

Вдруг княгиня Ольга прервала свои размышления, прислушалась, вскочила.

В тереме послышались далекие шаги. Кто-то шел, осторожно ступая по деревянному полу, слышно было, как под чьими-то сильными ногами скрипят половицы. Она узнала эти шаги — так ходил Святослав; только на этот раз он ступал крадучись, тихо, чтобы не нарушить ночного покоя в тереме, не разбудить мать.

Княгиня слышала, как сын прошел сенями, открыл дверь. Подойдя к окну, она видела, как Святослав спускался по ступенькам с крыльца. Не останавливаясь, он прошел за терем, через некоторое время проехал верхом к тем самым воротам, через которые недавно увезли Малушу.

Встревоженная, стояла княгиня у окна. «Что задумал Святослав? Может, он поехал за городскую стену, чтобы там, про-

летая черной молнией среди белых снегов в поле, развеять свою тоску? А может,— со страхом подумала она,— Святослав поехал догонять Малушу? Что будет, если это так, если он привезет ее в Киев?»

## 9

Дорога на Будутин и другие селения и городища над Росью была широкая, проезжая. По ней ездила стража, вдоль нее стояли княжеские и боярские дворы, тут можно было увидеть и гостиницу, ибо этой же дорогой ездили гости из червенских городов.

И сейчас, хотя Добрыня с Малушей выехали из Киева поздней ночью, перед самым рассветом, они повсюду встречали то дружинников, верхом на лошадях возвращавшихся с поля, то смердов, что везли на подводах разное добро, то просто каких-то неизвестных им людей, которые, опираясь на посохи, сгибаясь под тяжестью заплечных мешков, шли неведомо куда и откуда.

Но им было не до того, куда и зачем идут эти люди. У каждого, должно быть, свои заботы, горькие думы, горе — ведь радость не погонит человека в темную и холодную ночь. Закутавшись в свиту, сидела в санях Малуша, она закрыла глаза и не переставая думала о последней, страшной ночи в городе Киеве. Рядом с нею, опершись на локоть, лежал Добрыня. Он смотрел на серую пелену поля, на темную дорогу, исчезавшую сразу за санями, и тоже молчал: что мог он сказать Малуше, что мог ответить на свои собственные мысли? Молчал и возница, сидевший на передке саней. Он смотрел вперед, старался не сбиться с дороги — ехать им еще так далеко. Молчал он еще и потому, что ему казалось — и Добрыня и Малуша уснули. Что ж, пусть поспят, возница не спит: «Гей, гей, кони!»

А потом где-то за Киевом, от которого они отъехали уже порядочно, зарозовело небо, и над полями вокруг потянулись золотыми нитями лучи рассвета...

Ночь боролась с рассветом. Тяжелыми синими глыбами лежали повсюду снега. Чем больше света разливалось вокруг, тем мрачнее становился небосклон, словно ночь отступила и встала там стеною. На небе ярко переливались всеми цветами, излучали сияние звезды. Одна из них, самая яркая, зеленая, висела высоко на небосклоне, мерцала, сияла.

Внезапно она потухла, исчезла, а вслед за нею исчезла и темная, непроницаемая стена вдали. Синие снега уже не лежали глыбами, а расстелились ровным покровом, на востоке пылал золотой костер: там родилась заря, начался день.

Тогда в санях все словно проснулись: молчаливый возница, погруженный в мысли Добрыня, открыла глаза и Малуша. Открыла и как-то вяло улыбнулась: на передке саней сидел знакомый ей гридень Тур.

Но улыбка сразу же исчезла с ее лица. Бледный, измученный, словно перепуганный всем тем, что происходило вокруг него, сидел гридень Тур на передке саней и смотрел на нее такими печальными глазами, что Малуша не выдержала, отвела взгляд и спросила, насколько могла спокойно, ласково:

— И ты тут, Тур?

— Тут, Малка,— ответил он, и хотя лошади шли быстрой рысью, повернулся к ним и крикнул: — Гей-гей, кони, гей!

Когда Тур, подстегнув лошадей, снова повернулся в сторону Добрыни и Малуши, на лице его уже не было того выражения, что Малуша заметила прежде. Может быть, он понял, что сейчас нужно молчать, может, и кричал он только для того, чтобы выразить свою боль, но теперь уже был спокоен.

— Ты, Малка,— сказал Тур,— закутай ноги, мороз велий... Там, позади тебя, лежит шкура...

— Мне не холодно, Тур,— ответила она,— и ногам моим тепло...

Но это была неправда. Тур сам взял шкуру, накинул Малуше на ноги.

— И поесть бы нам надо,— продолжал он.— Ты, должно, забыл и ничего с собою не взял, Добрыня? А я словно знал — взял в запас кус веприны, есть хлеб и соль...

— Не хочу я есть, не хочу! — крикнула Малуша.

— Ты не кричи, не кричи, Малуша,— встревоженно, с болью в голосе перебил ее Тур,— не надо кричать, не поможет...

— Знаю...— согласилась она.

— Эх ты, Тур, Тур! — вступил в разговор Добрыня.— Ну, так как же: кто въезжает на Гору под щитом, того ждут великая честь и счастье?

— Не вспоминай об этом,— скорбно вымолвил Тур, но тут же спохватился и добавил гораздо бодрее: — А разве честь и счастье только на Горе? Я от своих слов не отрекаюсь... Верь мне, Малуша: раз ты въехала в Киев под щитом, тебя все равно ждут великая честь и слава. Ну, не в Киеве, так в другом месте. Разве Будутин не княжье село?

Но было ясно: ни Добрыня, ни Тур не говорят того, что думают, не говорят о том главном, страшном и неумолимом, что разрушило мечты, разбило жизнь Малуши. Таковы были Добрыня и Тур — обыкновенные, простые гридни княгини Ольги.

А потом вдалеке, позади них, на ясном небе возник серый дымок. Позднее они разглядели, что по дороге им

вдогонку мчится всадник, а еще позднее узнали княжича Святослава.

Тур остановил коней, когда княжич приблизился к ним вплотную, и соскочил с саней.

— Здрав будь, княжич Святослав! — крикнул он.

Из саней выскочили Добрыня и Малуша, они тоже поздоровались с княжичем.

Святослав ответил на приветствия и спешился.

— Ты, Добрыня,— обратился он к своему сотенному,— поезжай с гриднем Туром вперед... А ты, ключница,— он не назвал ее имени,— останься тут.

И Тур, поняв, что княжич хочет поговорить с Малушею наедине, провел лошадей вперед. Задумавшись, пошел за санями и Добрыня. Никто из них не произнес ни слова.

— Княжич,— сказала Малуша, когда они остались вдвоем,— зачем гонишься за мною?

Он содрогнулся. Как могла Малуша спрашивать его об этом? Как же ему не гнаться, если он любит ее, не может жить без нее? Взволнованный, возбужденный, охваченный безудержным чувством, он готов был нарушить и уже нарушил слово, которое дал ночью матери. Он поехал вслед за Малушею, нагнал ее. И ей, может быть, достаточно сказать сейчас одно-единственное слово, чтобы все сложилось в будущем вовсе не так, как задумала княгиня Ольга. Ведь он не изменился, он остался таким, как был, он ждет, что скажет Малуша.

Но Малуша за это время изменилась до неузнаваемости. Внешне это было незаметно: она стояла перед княжичем Святославом такая же, какую он знал и любил: тонкая, стройная, немного бледная, с пятнами румянца от мороза на щеках, в необычном темном платне, в шапке...

Но что-то новое появилось в Малуше, в самой ее душе, и княжич Святослав почувствовал это сразу, когда она сказала в первый раз, а потом повторила:

— Зачем, княжич, гонишься за мною?

— Я знаю, что княгиня ночью говорила с тобою,— задыхаясь, сказал он.— Говорила она и со мною. Это было страшно, Малуша. Не она одна говорила, за нею стоят воеводы, бояре, вся Гора... И тогда я на одно какое-то мгновение заколебался, согласился: я не просто человек, я княжич, князь. Но я скоро понял, что все это неправда, я слышал, как тебя увозили, мучился, терпел, страдал, а потом... потом погнался за тобою и вот стою здесь... Слышишь, вернись, Малуша, мы вернемся вместе с тобою!..

Малуша едва усмехнулась бледными, пересохшими губами.

— Поздно ты погнался за мною, княжич! Я ведь ждала тебя всю ночь. О, какая это была длинная и тяжкая ночь! Но теперь



Киев-город далеко, ночь прошла, все прошло. Пошто гонишься, княжич?

Что-то необычайно простое, но вместе с тем обидное, горькое было в ее словах. И он крикнул ей в ответ:

— За долей своей я гонюсь, за счастьем... Ведь я люблю, люблю тебя...

Малуша обернулась и увидела, что Добрыня и Тур стоят далеко от них, возле саней.

— Княжич мой, княжич,— сказал она,— ты любил меня тогда, в купальскую ночь, я же любила тебя и тогда и теперь. Но помнишь, княжич, я говорила, что любовь наша не принесет счастья, потому что ты княжич, а я рабыня... И это правда, это Купала нас завлек. Ты остался таким, как был,— княжичем, защитником людей, а я — раба, светлый княжич, только раба, и такою мне и остаться.

— Перед такою рабою я согласен стать на колени! — крикнул Святослав.— Слышишь, Малуша, я сейчас стану на колени...

— Княжич Святослав,— испуганно ответила она,— если ты сейчас станешь передо мною на колени — это будет позор, ты перестанешь быть князем. Нет, не делай, не делай этого. Видишь, на нас смотрят Добрыня и Тур, а через них вся земля... Не ты передо мною, а я стану перед тобою на колени...

И Малуша внезапно упала на колени среди снегов, вымолвила:

— Тебя я любила, князю кланяюсь.

Он не ожидал такого поступка от Малуши и стоял перед нею, вконец пораженный, растерянный...

— Малуша! — вырвалось у него.— Так что же делать?

— Я еду туда, где должна быть,— ответила Малуша,— ты поезжай обратно в город, княжич. Дозволь мне встать!

— Встань, Малуша! — сказал Святослав.

Вдалеке, около саней, молча стояли Добрыня и Тур. Она встала.

— Но я приеду туда, где ты будешь, Малуша...

— Нет,— возразила она,— ты не приедешь, потому что об этом узнает вся Гора. Не приезжай, княжич, молю тебя.

— А если будет сын? Неужто я его не увижу?

— Почему же ты, княжич, его не увидишь? Ты — его отец, князь, позовешь, если будет надобно, и он встанет на твою защиту. Скажи только, как назвать сына?

— Нас покорила Гора,— ответил он,— так пусть сын володеет миром на всей земле нашей. Владей миром! Владимиром он будет.

— Владимиром будет,— повторила Малуша.

— А ты жестокая, Малуша! — вырвалось у него.— Страшные слова говоришь!

— Я жестокая? — тихо отозвалась она.— Нет, княжич, не я жестокая, а люди. И ничего я страшного не сказала. Знай, если станет тяжело, что я помню и люблю тебя. А сейчас — довольно, княжич! И тебе и мне ехать далеко.

Обернувшись в сторону Добрыни и Тура, она крикнула:

— Добрыня! Княжич тебя зовет!

Тот подошел — со шлемом на голове, с мечом у пояса.

— Дозволишь нам продолжать путь?

— Езжайте,— ответил княжич Святослав,— и пусть... пусть будет ваш путь счастливым.

— Будь здоров, княжич,— пожелал ему Добрыня.

Тур уселся в сани и изо всей силы стегнул лошадей.

Княжич Святослав стоял, смотрел, видел, как сели в сани Малуша и Добрыня, как быстро вскочил туда, крикнув «гей, кони, гей!», гридень Тур, как пронзительно завизжали полозья саней, а из-под конских копыт полетели комья снега.

Лошади понеслись быстро. Прошло немного времени, сани проехали полем, нырнули в овраг, медленно выползли на высокий, покрытый снегом пригорок, на несколько мгновений словно повисли там на фоне чистого неба и исчезли.

Тогда княжич Святослав остался один в поле: холодное небо вверху, серые снега вокруг, холод в душе и сердце.

«Гнаться! — мелькнула мысль.— Вернуть ее в город!»

Но тут же ему послышался голос Малуши, ее слова:

«Пошто, княжич, гонишься за мною? Зачем гонишься? Поздно ты за мною погнался, княжич. Я ждала тебя ночью, а ночь прошла, все прошло...»

И это была правда. Она ждала его ночью, и, если бы он тогда пришел, все, может, сложилось бы иначе. А теперь уже поздно. Она не вернется к нему, не будет жить в городе никогда. Как же это случилось?

Он вспомнил минувшую ночь, разговор с матерью, каждое ее слово и все понял. До сих пор он был молод и счастлив, его называли княжичем, но он был таким же, как все люди. До сих пор он думал, что ему дозволено то, что дозволено всем.

Это было счастье — ходить по Горе и быть таким, как все. Его называли княжичем, но часто — просто Святославом. Как равный среди равных, он мчался с воями в поле, преследуя врага, и, как все, мог победить врага, но мог принять и стрелу. Когда Святослав хотел, он шел в предградье и на Подол, в купальскую ночь он пошел к Днепру и встретил там Малушу...

И он полюбил Малушу. Полюбил так, как никого до тех пор. Это была его первая, светлая любовь, он готов был сделать все, чего она пожелает, он мечтал, что будет любить ее весь свой век, ибо Малуша — лучшая из всех, его мечта, его желание. И даже тогда, когда он узнал, что она непраздна, это не испугало его. Что ж, он скажет об этом матери, и она поймет его, ибо она не только княгиня, но еще и мать.

И вот миновала ночь. Не он сказал матери о Малуше, сама княгиня спросила о ней. А потом все произошло совсем не так, как он думал, мечтал и хотел.

Он вспомнил пламенные слова матери, ее суровые глаза, каждое ее слово ранило душу, сердце. Он не знал, что у него такая мать! Прошлой ночью он словно впервые увидел ее, увидел — и ужаснулся.

Но уже тогда, ночью, и теперь — в поле, под холодным небом, среди серых снегов — он понял, что это не мать говорила с ним, что он впервые в жизни столкнулся с силой, которой раньше не знал, о которой прежде не думал.

Сила эта — Гора, воеводы и бояре, мужи лучшие и нарочитые, князья всех земель, тиуны, ябедники, огнищане, купцы, послы,— о, сколько их на Горе, на Подоле, во всех городах и землях на Руси! Не княгиня Ольга правила землею— это они правят землею и княгинею, это они — хозяева Руси!

Княжич Святослав вспомнил о дружине. Да, правда, у матери-княгини и у него есть дружина. Княжич почему-то верил, что, если бы он вышел перед нею и рассказал о своей муке, дружина не осудила, а поддержала бы его. Но разве дружина может пойти против Горы — против бояр и воевод, против князей всех земель?

Княжич Святослав подумал о людях, живущих в городах и селах на Руси. Они, казалось ему, если бы узнали о его муке, тоже не осудили бы его: ведь Малуша — их дитя. Но разве он волен и разве Гора допустит, чтобы княжич Святослав ходил из города в город, из села в село? И хватит ли всей жизни на это?

Но и это не остановило бы княжича Святослава. Он согласился бы взять Малушу за руку, уйти из города, идти в поле и жить там с нею, пахать, стеречь землю. Ради нее он согласен не быть князем.

Но в словах матери Святослав почувствовал еще нечто. Собственно, он знал это и раньше: в великих трудах и потоках крови родилась и окрепла Русь, это его отцы и деды — князья Игорь и Олег,— а вместе с ними еще множество людей сложили за нее головы. И тут, в поле, и повсюду вдоль Днепра, на полдень до Русского моря, к восходу солнца до Итиль-реки, на север до Ледяного моря и на запад до Родопов земля полита кровью, усеяна костьми русских людей.

А враги не унимаются. Не сумев победить русских людей в чистом поле, они подползают к ним со всех сторон: над Итиль-рекою стоят начеку хозары, в степи у моря бродят орды печенегов, в Климатах сидят херсониты, а всех их подстрекает и сама точит оружие на Русь Византия — империя ромеев.

Он слышал ночью слова матери о Византии, он знает, что там собраны все богатства мира, там наука, культура. Но ведь эти же ромеи оскорбили мать, приехавшую к ним с миром и любовью, они оскорбили и его, княжича Святослава. Нет, не зря князья Олег и Игорь ходили с воями в Константинополь, не зря стояли у его стен...

И ромеи не только оскорбляют. Из слов матери Святослав понял, что Византия собирает силы против Руси, рано или поздно выступит, чтобы покорить Русь, а людей ее превратить в рабов.

Так кто же поведет русских людей на Византию? Мать стара, да и не женское это дело. Положиться на Гору? О, она продаст Византии Русь! Но Русь — это не Гора, не бояре и воеводы, это бесчисленное множество людей, которых надо спасать.

У княжича Святослава очень болело сердце. Шатаясь, словно в грудь ему дул неистовый ветер, княжич Святослав сделал шаг, другой. Подошел к коню, взялся за повод, поглядел еще раз в серую, туманную даль и, схватившись левой рукой за луку, одним рывком, как делал всегда, вскочил в седло, стегнул коня.

И когда он понесся по дороге в Киев, это был уже не тот юный княжич Святослав, что на рассвете того же дня выезжал из ворот города Киева.



## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

За землянкой день и ночь шумела Рось. Особенно шумела она по ночам, когда не слышно было человеческого голоса, умолкали птицы, стихал ветер. Тогда Малуша выходила из землянки, шла к берегу, садилась на первый попавшийся камень и думала свою думу.

Днем Малуше думать было некогда. Село Будутин, в котором ей суждено теперь жить, было княжьим селом, и княжьи люди жили в нем.

Здесь проходила граница Полянской земли, за рекою начиналось поле, и поэтому реку, что протекала мимо Будутина и уходила дальше к Днепру, называли Русской рекою — Росью.

Вдоль Роси, кроме Будутина, было расположено еще много княжьих сел: Межиречье, Гута, Хмельна, а там, где Рось впадала в Днепр, на Княжьей горе, высился над широкой долиной город со стенами, рвами, валами — Родня.

Неспокойной была жизнь в этом городе и селах, расположенных на краю Полянской земли. Сразу же за Росью жили черные клобуки — племя, которое в давние времена пришло из-за Итиль-реки и тут осело. Люди этого племени — скуластые, слегка косоглазые, с плоскими носами — говорили совсем иначе, чем поляне, носили на головах высокие черные клобуки. Но характер у них был хороший, они жили в мире с полянами, и если с поля налетала какая-нибудь орда, сражались против нее.

Дальше за Росью тянулось поле, в нем появлялись одни за другими, как волны в море, различные орды; саранчою налетали они на полян, разрушали и грабили города и села на берегах Роси и Днепра, угоняли людей в неволю.

Поэтому в Будутине, княжьем селе, сидели дружинники, не раз сходившиеся на Роси и в поле за рекой с многочисленными ордами, двигавшимися вдоль границ Полянской земли. В остальное время, когда в поле было тихо, они копали рвы и насыпали валы вдоль берега Роси, обкладывали их камнями и присыпали землею, в кузницах ковали мечи и броню, готовили копья и стрелы.

Но эти люди не только оборонялись от врагов, они к тому же хотели есть. Надеяться на то, что их накормят князья, не приходилось. Наоборот, князья сами жаждали выгоды от своих городов и сел, от людей, живших там. Вот почему путник, ехавший по дороге из Киева за Рось, мог видеть, как в поле шагает за сохой пахарь, а на краю борозды лежит его меч и щит — то княжьи вои с женами и детьми своими тяжко трудились, зарабатывали хлеб насущный, чтобы отдать князю княжье, а себе взять свое. Вокруг Будутина было вспахано уже много земли, люди строили хижины, долбили челны, в которых ездили по Роси на рыбную ловлю, ходили на ловы, сами на себя ткали, выделывали хорошую посуду из глины. Кузнецы на Роси, а особенно из Родни, известны были по всей Руси — они владели искусством делать эмаль, чернь, создавали прекрасные вещи из золота и серебра.

В Будутине паслись также княжеские табуны. Под охраной пастухов, у которых в руках были бичи, а за спиной, на всякий случай, луки со стрелами, табуны эти с весны до осени бродили, утопая по брюхо в высокой траве лугов на берегах Роси.

Как и в других селах, в Будутине сидели воевода Радко, водивший дружину, и княжий посадник Тедь, который собирал для князя в Будутине и окрестных селах уроки, разговаривал от имени князя с черными клобуками, ставил княжьи знамена в поле и в лесах, именем князя творил суд.

К Радку и Тедю обратился Добрыня, когда привез с Туром в Будутин Малушу. У Добрыни был с собою княжий знак —

золотая гривна. Имея ее, он мог говорить с воеводой и посадником именем княгини.

Радко и Тедь, разумеется, боялись воевод и бояр, которые очень часто наезжали в Будутин из Киева с золотыми гривнами, именем княгини забирали хлеб, скот, требовали, чтобы их ставили на покорм, давали им въездные и выездные...

Добрыня ничего у них не требовал, а просил дать ему с сестрою Малушею какую-нибудь хижину...

— Ты что же? Воеводой быть думаешь? — спросил Радко.

— Нет, воевода,— отвечал Добрыня,— гридень я княжий, им и останусь.

— Так, может, хочешь выпал получить? — полюбопытствовал Тедь.

— Нет, посадник... И выпала мне не нужно. Понадобится — и сам сумею выжечь. Мы должны жить здесь, пока не позовет княгиня.

Чудны́е дела творят княжьи мужи; воеводам и посадникам порою трудно и уразуметь, чего они хотят. Радко и Тедь посоветовались и отвели Добрыню с Малушей в землянку на берегу Роси, где жил раньше княжий пастух Пронь. Не так давно Проня смертельно ранили в лугах. В землянке осталась только жена его Желань. И так как Желань была уже стара и немощна, она с радостью согласилась принять к себе Добрыню и Малушу. Теперь жена пастуха была спокойна, что не умрет от голода и не замерзнет зимою...

Тут и распрощались Малуша и Добрыня с гриднем Туром. Он выдержал — и по дороге и в Будутине не сказал ничего, что выдавало бы его отчаяние и боль или же, не дай бог, причинило боль Малуше. И теперь, когда Малуша и Добрыня вышли из землянки проводить его, он не обмолвился ни единым словом, был очень весел, возбужден, улыбался.

— Видите,— говорил он,— доехали хорошо, очаг у вас есть, придут и честь и слава. Прощайте! А я быстро доеду до города Киева!

Но когда Тур оставил Будутин, он не поехал дорогой, ведущей в Киев, а свернул направо, к Днепру, прямо в поле. Так и брели его лошади, пока не стемнело. Тур сидел в санях, смотрел в темную даль, ничего не видел и не слышал.

Малуше в эту ночь приснился княжич Святослав. Он будто пришел в их новую землянку, тихо открыл дверь, остановился на пороге, так, что огонь очага осветил его всего, простер руки, а потом двинулся вперед, сел рядом с Малушей, как бывало прежде, положил одну руку ей на голову, а другой обнял ее... И еще она видела, как лицо княжича Святослава склоняется все ниже и ниже к ней, глаза приближаются к глазам, губы к губам...

Проснувшись внезапно среди ночи, Малуша сначала не поняла, что произошло, правда это или сон. Но вокруг была пустота, холод, сырые стены — и заплакала Малуша в холодной землянке пастуха Проня.

Через несколько дней Добрыня снял и повесил в углу землянки на колышках шлем и меч, взял у Желани баранью шапку покойного Проня, попросил у нее еще и топор...

Горькая обида терзала сердце Добрыни: он не мог забыть, что был добрым гриднем у княгини, у Святослава был сотенным, мог стать тысяцким, воеводою. А княгиня Ольга выгнала его из Киева, вместе с сестрою отослала в Будутин.

Но Добрыня верил, что все это пройдет, не будет так, как хочет княгиня. Они с Малушей должны, обязаны жить, нужно только беречь ее...

И пошел Добрыня в лес над Росью, где не было еще княжьего знака, свалил сухую ель, обрубил на ней сучья, распилил на части, приволок к землянке, принялся долбить челн, чтобы весною продать его черным клобукам.

Да и помимо того много дела нашлось в маленьком хозяйстве покойного Проня: запасти дров, наловить рыбы в Роси, подстрелить зайца на покорм... Три человека жили теперь в землянке Проня, Добрыня должен был заботиться обо всех...

2

Зимою Микуле и Висте пришлось очень трудно. Они недоедали, голодали. Спасали рыба, овощи, выросшие вокруг землянки, грибы, собранные Вистой в лесу. Ловить зверя тоже не удавалось — вепри и медведи прятались в чаще. Микула до того изголодался, что ел бельчатину.

Вся надежда была на то, что придет весна, зашумят реки и леса, выйдут из чащи звери, из голубых глубин неба, из теплых стран, вернутся птицы, выедет Микула с конем на клочок земли у Днепра, где не будет княжьего знамена, пройдет сохою, посеет зерно, соберет урожай...

Но разве человек может знать, что будет с ним завтра, разве человеку известно, когда придет к нему радость, а когда печаль? Изможденный, костлявый, но бодрый и живой, шагал Микула рядом со своим конем в весенние дни к пашне. Когда конь останавливался, тяжело дыша, стоял, содрогаясь всем телом, Микула подходил к нему, помогал, приговаривал: «Гей, коник, гей!»

Так дошли они до пашни на берегу Днепра. Микула пустил коня в молодую зеленую траву, а сам пошел осмотреть пашню.

Правда, конь почему-то не хотел есть траву и, пока Микула ходил, все стоял, вздрагивая, словно думал о чем-то...

Микула был доволен. Из-за Днепра уже поднималось солнце, все вокруг зеленело, пахло свежей землею, прелыми листьями, водой. Над Днепром носились, неистово крича, белые птицы, высоко вверху пели жаворонки. Микула даже постоял, задрав голову, чтобы увидеть, где они там поют, но, кроме бездонного, голубого слепящего неба, ничего не увидел.

Нужно было приниматься за работу, и Микула запряг в соху коня, произнес:

— Начнем, коник!

Конь двинулся. Сначала рывком, торопливо, словно он, как и Микула, понимал, что им нужно вспахать эту ниву, посеять. Микула вприпрыжку бежал за сохой. Сразу же откуда-то налетели черные грачи, они с криком кружились над пахарем и конем, падали на землю, острыми клювами разбивали комья земли...

Так было проложено несколько борозд. Микула разгорячился, ему хотелось резать и резать землю, вести борозду за бороздою. Он даже кричал на коня: «Гей-гей, быстрее! Отдыхать будем потом! Гей-гей!»

И вдруг произошло невероятное. Когда Микула прокладывал борозду у опушки, где корни выпирали из земли, конь его внезапно остановился, тяжело вздохнул и упал на теплую, свежую, пахучую землю.

Микула бросил соху и подбежал к коню. Тот лежал спокойно, не пытаясь даже подняться, только дышал тяжело, да глаза его, большие, очень темные, были выпучены, и из них катились слезы. Микула попробовал поднять коня, схватил его за шею, но конь сильным движением оттолкнул его. А потом у коня, должно быть, что-то оборвалось внутри, он вытянул ноги, ударился головою о землю, да так и застыл — с большими, темными, широко открытыми глазами.

Тяжелые, серые, мокрые, похожие на громадных коней с длинными хвостами, тучи поднимались из-за Днепра и неслись над кручами, селением, лесами. Земля была влажная, липкая, пахла тленом; в хлебной яме в землянке не было ни зернышка, возле землянки не было дров для очага...

Заболела Виста. У нее была горячка, несколько дней и ночей лежала она на деревянном помосте. Не узнавая Микулу, она тихо говорила что-то, порой кого-то звала, умоляла.

Все эти дни Микула провел подле нее, варил похлебку, а из меда, которого оставалось так мало, делал сыту, в долгие холодные ночи сидел у очага, время от времени подбрасывая в огонь сучья, и думал.

Думал он все об одном: что с ними сталось, что ему теперь делать, что будет дальше? Все это время перед ним возникало прошлое — оно было понятным и простым. Тогда они словно плыли в большой лодии по спокойной воде широкой реки, временами на их пути встречались пороги, ибо случалось ведь и обороняться, и самим ходить на рать. Но всегда, когда было трудно, они действовали сообща, преодолевали все преграды, и плыла их лодия дальше по спокойной, широкой реке.

Теперь Микуле казалось, что хотя впереди та же самая река, но она почему-то вся запружена порогами и камнями. И плывут они не в большой лодии, а каждый сам по себе — на утлой однодеревке... Есть, правда, более ровный безопасный путь между порогами, но по нему плывут Бразд, Сварг. А Микула и еще много таких, как он, пробиваются среди камней, калеча руки, ноги, сердца...

И тогда утром, как только Виста пришла в сознание, Микула решил идти к брату Бразду и, как у старшего, попросить у него помощи.

Всю свою жизнь Бразд не боялся никого, разве только орды из-за Днепра. Когда он ложился спать, то засыпал сразу, спокойно.

Теперь Бразда словно подменили. Он был встревожен, все время думал, что кто-то хочет его обмануть, чего-то недодать, что-то утаить. И он свирепо, со всей силой, какой располагал — и сам и с помощью княжьих дружинников,— дознавался, кто еще недодал князю, требовал, чтобы несли недостачу, наказывал, если людям нечего было дать.

А уж от этого пошло и другое. Бразд знал, что в Любече обиженных, обездоленных, наказанных много. Куда бы он ни шел, он чувствовал на себе их взгляды, до него доходили через других слова и угрозы этих людей.

Словам он не придавал значения. Он ничего у людей не брал — за пролитую кровь и службу его пожаловали землею, сделали посадником, ему поручено собирать уроки и чинить новые уставы, искать виноватых и карать...

Но спать он не мог. Все время ему казалось, что кто-то ходит вокруг терема, кто-то крадется под стенами, кто-то ночью пробирается на его двор. И потому Бразд велел закупам выкопать ров и насыпать вал вокруг своего двора, завел нескольких псов, способных перегрызть горло человеку.

Эти-то псы и встретили Микулу, как только он ступил во двор своего брата. Едва не искусали, хорошо, что Бразд вышел из терема, отогнал псов.

— Здрав будь, Бразд,— сказал Микула, войдя в сени.— Мир дому твоему, здоровья скотине...

— Здрав будь и ты, Микула,— ответил на приветствие Бразд.— Что с тобою сталось? Ты побледнел, брат, похудел. Хворал, должно быть?

— Так, брат,— отозвался Микула,— я хворал, у меня долго болело здесь.— И он указал сперва на голову, потом на сердце.

— Ты много работаешь, брат,— усмехнулся Бразд.— Сам видел — новые нивы пашешь, борти ищешь, на зверя ходишь, зверя ловишь... Много ли тебе надо? Ведь на старом нашем дворище остались только ты да жена...

Нечто похожее на стон вырвалось из груди Микулы.

— Ты говоришь правду,— шевельнул он сухими губами.— Мне много не надо, нам нужно очень мало, но мы... у нас совсем ничего нет.

Лицо Бразда выразило удивление.

— Как это у тебя ничего нет? — сказал он.— Послушай, Микула, ты говоришь неправду. Ведь и я и Сварг ушли с нашего старого дворища, а тебе оставили и землю, и клети, все добро в хижине, загоны для скота, ямы для хлеба...

— В ямах для хлеба пищат мыши,— горько усмехнулся Микула.

— Так ты хочешь, чтобы я у тебя мышей из ям повыгонял? — сердито процедил Бразд.

— Нет, Бразд,— сказал Микула,— мои мыши пусть мне и остаются. Но, кроме мышей, у меня никакой скотины нет. Подох отцовский конь, а без коня нет и хлеба.

— Я в этом неповинен.— Бразд отвел глаза в сторону.— Мы были равны, когда уходили из отцовского дома. А потом каждый делал то, что умел.

— Вот я и не умею работать так, как другие, как ты, брат Бразд,— вырвалось у Микулы.— Верь мне, я не щадил рук, делал все, что мог, работал больше, чем мог... Но я не умею, не могу...

— Чем же я могу помочь тебе?

— Я пришел к тебе, как к брату... Мы с тобой одного рода, одной крови... Помоги!

Бразд долго смотрел на свои руки, лежавшие на столе, потом перевел взгляд на лицо Микулы, у которого мелко тряслась нижняя губа.

— Что там кровь и твой род? — Бразд тяжело вздохнул.— Старого нашего рода уже нет, у каждого из нас теперь свой род. Ты говоришь — кровь, но и кровь у людей разная... Помочь же тебе я не знаю как. Может, хочешь, чтобы я тебя принял в свой дом?

— Нет, Бразд,— поспешно перебил его Микула,— я не хочу, не пойду в твой дом... Ты говоришь правду — старого нашего рода уже нет, у каждого из нас теперь свой род. Так помоги же мне спасти мой род. Дай мне купу.

Бразд долго смеялся.

— Что я слышу! — сказал он наконец.— Я, правда, даю купу людям. И не я даю — что я, княжий холоп,— я даю людям купу от князя. И закуп должен давать: князю — оброк, мне — урок. Если же он этого не сделает, я имею право, как посадник князя, бить его плетьми, аще же убежит, сделаю обельным холопом... А с тобою я что сделаю, если не отдашь оброка и урока?! Буду бить плетьми, сделаю холопом? Как-никак, а ты мне брат...

— Что ж,— глухо произнес Микула,— если будет нужно, бить будешь, сделаешь холопом...

Так Микула взял купу у своего брата.

### 3

Много людей собралось в этот день в Золотой палате, все скамьи из нее вынесли заранее; вдоль стен толпились лучшие мужи Руси — князья земель и городов, бояре и воеводы, тысяцкие, огнищане, княжьи тиуны.

Только в конце палаты, как всегда, стояли кресла: княгини Ольги — посередине, Святослава и Улеба — по бокам.

Вскоре из дверей вышла княгиня с сыновьями, несколько бояр и воевод. Княгиня Ольга вышла вперед, но не села, как это бывало обычно, в свое кресло, а остановилась и некоторое время стояла возле него.

Все собравшиеся знали, для чего их позвали и что им скажет княгиня. И все же она была очень взволнована и, начав говорить, сама не узнала своего голоса, часто останавливалась, чтобы перевести дыхание.

— Дружина моя,— начала княгиня,— бояре, воеводы, люди Руси! Из близких и далеких земель, со всех окраин днесь позвала я вас сюда, ибо нужда в том велика и важна... Ведомо вам, дружина моя, что вот уже много лет прошло, как не стало князя Игоря и как села я по вашему слову на Киевском столе. За эти годы я сделала, что смогла. А чего не сделала — не кляните, а поскорее выправляйте, ибо тяжкое сейчас время на Руси, мнози дела нужно сотворить. Вот почему собрала я вас, дружина моя! Дела много, а сама я стара и немощна стала, чую уже и конец свой, люди. Давайте же посоветуемся, кто теперь сядет на столе Киевском, кого наречем своим князем...

Тихо было в палате, молчала и княгиня Ольга.

— Тебя волим, княгиня... поможем! — послышалось несколько голосов.

— Нет, дружина моя,— ответила на это княгиня,— я сказала не всуе, мы должны назвать князя.

— Святослав! — раздалось тогда множество голосов одновременно.— Просим Святослава!

И уже все в палате закричали:

— Святослав! Святославу быть князем! Просим Святослава!

Когда шум затих, княгиня Ольга произнесла:

— Думала и я, кому князем быть. Святослав будет вашим добрым князем. Иди, сын, садись на столе!

Святослав сел в кресло, на котором когда-то сидели Олег и Игорь, на котором только вчера сидела его мать, княгиня Ольга. И сразу в палате прозвучал голос:

— Сел еси на Киевском столе князь великий Святослав.

Множество голосов подхватило:

— Славен князь Святослав! Славен!

Но вскоре голоса стихли. Два боярина и двое воевод взяли с пола и подняли заранее приготовленный кусок дерна, возложили его на голову князя.

Он почувствовал, как холодная земля коснулась его головы, от дерна отрывались и катились по шее и спине комочки земли.

— Где еси, князь? — спросили у Святослава.

Это была минута нерушимой клятвы, которую всегда в день вокняжения давали людям своим князья Руси. Святослав знал, что надлежало говорить и что говорили князья до него. Он ответил:

— Под родною землею есмь и под людьми моими.

— Будешь ли верно служить людям своим?

— Клянусь.

— А если отступишь?

— Пускай земля поглотит меня...

Тогда два боярина и двое воевод подняли кусок дерна и разбили его на голове князя Святослава. Земля и корни обсыпали его голову, грудь, руки. Так она засыплет его, если он забудет людей своих.

Но князь Святослав никогда не забудет этой клятвы. Вот подошло к нему несколько гридней. Острой бритвой сняли волосы с головы, оставив только одну прядь: пусть она напоминает людям, что отныне Святослав — великий князь. Вот подошла к Святославу мать, княгиня Ольга, она держала в руках скованный лучшими кузнецами из красной меди, позолоченный, осыпанный множеством драгоценных камней шлем. Гридни подали ей меч, и она опоясала им Святослава. Один из старейших бояр подал Святославу лук и тул.

— Славен наш князь! — гремели голоса, выплескиваясь из дверей и окон.

Тогда князь Святослав вышел из Золотой палаты, за ним двинулись воеводы и бояре.

Перед крыльцом, куда ни глянь, по всей Горе, на городских стенах, на крышах домов, даже на ветвях деревьев — повсюду было полным-полно людей. От самого крыльца, по обе стороны дороги, что вела к Перуну, в своих боевых доспехах, со щитами

и мечами, в несколько рядов стояли дружинники, а впереди них, во главе,— сотенные и десятники. Над ними серебром сверкали копья, под порывами ветра с Днепра развевались знамена земель Черниговской, Переяславской, Древлянской, Новгородской и еще многих, приславших сюда своих гонцов. За дружинниками стояли купцы, ремесленники, женщины и дети со всей Горы...

Как только князь Святослав вышел на крыльцо, ударили бубны, пронзительно зазвучали трубы, засвистели свирели, дружинники ударили в щиты, люди закричали. С крыш, из голубятен, когда раздался весь этот неистовый шум, тучей взлетели в небо голуби и долго кружились над Горою.

Князь Святослав вместе с матерью спускался с крыльца. За ними шли мужи лучшие, князья земель и городов, бояре, воеводы и тысяцкие, огнищане, тиуны, послы заморские, княжьи родичи, гридни. На шум и крики князь Святослав отвечал улыбкой, приветственно махал рукой. Так они и шли, среди кликов толпы, между рядами дружинников, к южной стене Горы — к Перунову требищу.

Там уже горел огонь, несколько жрецов готовили жертву. Сам Перун был украшен: на его золотых глазах и серебряных усах, начищенных еще минувшей ночью, играли отсветы пламени, туловище было увито зеленью, у ног расстелены ковры, а на них стояли корчаги с вином, лежал испеченный ради этого случая огромный белый хлеб с княжьим знаменом, повсюду были разбросаны цветы.

Когда князь приблизился к Перуну, крики на Горе утихли. Все, кто шел с князем, остановились, сам он вышел вперед и встал перед жертвенником. Тут он положил на землю щит, меч, шлем. Жрец подал ему на серебряном блюде части жертвенных животных, которые он бросил в огонь, а когда жрец подал ему корчагу, плеснул из нее в пламя и вина.

Над огнищем поднялся дымок, на мгновение притухли языки пламени.

— Боги! — громко произнес князь Святослав.— Обратите взоры свои на нас, детей ваших. Мы пришли к вам сегодня с жертвою и просим — дайте нам, боги, тепло с неба, урожай от земли, мир городам нашим, победу над врагами. Дайте, боги!

Он смотрел блестящими глазами на огонь, потом посмотрел вверх и простер руки к деревянному изваянию Перуна. Весь его вид, глаза, движения говорили о том, что Святослав верит в то, что произносит. Верит, что Перун может дать Руси тепло, урожай, мир и победу.

А рядом с князем стояла его мать Ольга, и хотя она, как княгиня, должна была присутствовать здесь, но ее скорбные глаза, бледное лицо, сложенные на груди руки красноречиво говорили,

что ее не трогает все происходящее на требище, душа ее протестует против этой жертвы, мысли ее витают где-то далеко.

— Перун принял жертву! — внезапно закричал жрец.

Огонь уже поглотил жертвенное мясо, пролитое вино усилило буйное горение дерева, и огонь перед Перуном загудел, разгорелся, в глазах и на усах бога заиграли красные отблески — казалось, что, стоя на горе, бог Перун торжествует, смеется. Князь Святослав взял свой меч и щит, надвинул шлем. Княгиня Ольга глубоко вздохнула, но никто этого не услышал.

Вынув мечи из ножен, высоко подняв их над головами, несколько десятков дружинников встали кольцом вокруг огня. Громко ударили бубны, на их шум отозвались трубы, запищали свирели, княжья дружина забрядала щитами.

Размахивая мечами, сходясь и расходясь, словно то был настоящий бой, дружинники ходили вокруг огня, исполняя священный танец своих далеких предков. Все чаще и чаще гремели бубны, все сильнее и сильнее гудели трубы, непрерывно свистели свирели, шумела вся Гора.

И долго, как велел обычай, ходили вои вокруг огня, изображая, как они встречают нежданного врага, как ожесточенно сражаются и побеждают его, как трудятся на своих нивах, как любят, веселятся.

И в то же время то тут, то там в многочисленной толпе звучали песни — одни из них были древние, как мир, другие складывались тут же:

Ой, славен, ясен красный наш князь,
Киева-города князь Святослав!

— Пускай люди веселятся! — сказал князь Святослав старшине.

Из княжеских медуш уже выкатывали бочки меда, из клетей уже вынесли и расстелили на земле холсты, на них уже лежали хлеб, мясо и различные плоды — на Горе, в предградье, на Подоле начинался праздник. Святослав, сын Игорев, вокняжился на Киевском столе.

4

Еще раз пришла весна, прилетели гуси и журавли, принесли на своих крыльях солнце, Рось вскрылась, и уплыл на волнах лед, из земли стрелками потянулись травы, наступили жаркие дни, теплые ночи.

В одну из таких ночей Малуше стало очень тяжко, нестерпимо больно. Боль зарождалась под сердцем, сводила ноги, все тело содрогалось, хотело освободиться от боли, разродиться тем, что уже само стремилось к жизни...

Малуша лежала на траве в землянке. Желань не зажигала огня, но на дворе, высоко над Росью, висел месяц, все вокруг было залито его яркими зеленоватыми лучами. Свет месяца заглядывал через отдушину и в землянку, освещал груду травы, Малушу, Желань, склонившуюся над нею.

— Кричи... стони... двигайся, сильнее двигайся, Малка! — говорила Желань.

Лицо Малуши было искажено болью. Большими глазами она смотрела на месяц, с уст ее срывались тяжелые стоны.

— Малуша! Шевелись, шевелись, Малка!

Добрыня стоял в это время неподалеку от землянки на высокой круче и смотрел на Рось. Черные тени ложились от скал, черным-черна была вода между берегов, только середина реки светилась, сияла, словно там сверкала чешуей серебристая рыба.

Добрыня ждал. Он верил, что пройдет немного времени и на небе загорится еще одна звезда, а на земле, рядом, в землянке, родится новая жизнь. Это было так просто и так обычно, что он над этим даже не задумывался. Так всегда было на свете, так должно быть и теперь.

Он думал о другом. Каждая звезда в небе имеет свой круг, будет иметь свой круг и та новая звезда, что родится в эту ночь. Но какая судьба ждет то дитя, которое рождается сейчас в землянке над Росью?

Добрыне это не было безразлично. Женщина, стонавшая и кричавшая в землянке, была его сестрою, в ней текла та же кровь, что и в Добрыне,— кровь Анта, деда Улеба, Воика... Их же кровь будет и в новорожденном ребенке, кровь полянского рода...

Но будет в дитяти и другая кровь, и, когда Добрыня думал об этом, холодок и трепет пробегали по его телу.

В землянке раздался детский плач. Вздрогнул Добрыня, медленно снял с головы шлем, положил руку на рукоять меча.

Скрипнула дверь, из землянки вышла Желань.

— Это ты, Добрыня?

— Я, Желань...

Тогда она вымолвила одно слово:

— Сын...

И торопливо стала спускаться с ведром к реке.

А Добрыня вошел в землянку. Луч месяца проникал в угол и освещал голову и грудь Малуши. Она утомленными, глубоко запавшими глазами посмотрела на него, указала взглядом на свою грудь.

Там лежало дитя, ее сын, только что появившийся на свет. Он еще не знал и не видел этого света, но хотел войти в него, хотел жить и так громко кричал.

Добрыня шагнул вперед и положил на землю рядом с ложем свой шлем, снял с пояса и положил тут же меч.

Удивленными глазами смотрела на него Малуша.

— Кланяюсь тебе, княжич! — произнес Добрыня.

— Быть ему Владимиром,— сказала Малуша,— так велел отец...

— Здрав будь, Владимир! — еще раз поклонился Добрыня.— У тебя хорошее имя. Пусть боги помогут тебе владеть миром на Русской земле, уничтожать врагов. Дай боже!

Малуша закрыла глаза. Добрыня вышел из землянки. Мимо него с полным ведром торопилась Желань.

Подняв голову, Добрыня смотрел на небо, что глубоким, бездонным шатром повисло над землею. Справа, над Росью, где плыл месяц, небо было светлое, там звезды были едва очерчены, тлели. А на севере и востоке небо было темно-синее, глубокое, и в нем, как жемчужная россыпь, мерцали, переливались, играли всеми красками большие и малые звезды. Где же, думал Добрыня, среди этих звезд та, новая, что зажглась в сегодняшнюю ночь, где звезда Владимира, сына Святослава? Звезда эта уже горела, она должна была гореть. Но Добрыня был в землянке, когда она загоралась, и теперь он уже не мог ее найти в море звезд, игравших, как жемчужины, мерцавших и сиявших, как холодная серебряная пыльца в высоком бездонном небе.

В ту же ночь, когда месяц покраснел и стал склоняться к лесу по другую сторону небосклона, а черная тень от скал покрыла плес реки, кручи, а потом и землянку, из Будутина выехал всадник.

В поле не видно было дороги, в долинах клубились туманы, они ползли, затягивали все вокруг. Но всадник крепко сидел в седле, он хорошо знал дорогу в поле, изо всех сил гнал коня, и эхо от топота копыт, как это бывает перед рассветом, разносилось далеко вокруг.

Это мчался в Киев Добрыня, он хотел поскорее привезти к княжескому столу весть о том, что в Будутине над Росью родился сын рабыни Малуши Владимир, сын Святослава.

## 5

И судьба еще раз улыбнулась Малуше...

Счастье матери! Уже в первую ночь, когда у груди лежало родное дитя, жадно сосало материнское молоко, впивая ее силы, Малуша испытала невыразимую радость, она была по-настоящему счастлива.

Все прошлое, каким бы тяжелым и страшным оно ни было до недавних пор, отступило от нее, как буря на Днепре. Теплое,

нежное тело сына лежало у ее тугой, наполненной молоком груди, она проводила рукою по этому тельцу — головке, спине, ножкам,— и это словно успокаивало, утешало ее.

Она лежала на ложе в углу землянки, покрытом травою, под нею был обыкновенный холст, твердый изголовник в головах, на полу рядом стояло ведро с водою из Роси, кружка, миска с похлебкой. Низко нависал сплетенный из лозы и присыпанный землею потолок, с которого то и дело сыпались комочки земли. В землянке не было огня, только через оконце сюда врывался зеленоватый луч месяца. А ей казалось, что у нее лучшее в мире ложе, что у нее есть все, чего только может пожелать человек, есть и самое главное, самое большое — счастье.

И так было не только в эту ночь. Утро показалось ей еще более прекрасным, чем ночь, ибо тогда она впервые увидела глаза своего сына и заглядывала в них, как в душу свою и любовь. День пробежал, как миг: в землянку приходили — так велел обычай — простые жители Будутина, и все они несли свои дары. Вечер еще раз порадовал ее, потому что теперь сын уже хотел спать, а там и сама Малуша ощутила тяжкую усталость, заснула, да так и спала всю ночь, обняв рукою сына.

А через день-другой Малуша начала работать, потому что теперь Желань не могла сама управиться по хозяйству: теперь у них в землянке был целый род — бабка, мать, сын...

Но работа не утомляла Малушу, и никогда она не работала с такой радостью и наслаждением, как теперь. Она следила за сыном, кормила его, бегала на речку, возилась в огороде, помогала Желани — да разве перечислишь все, что делала и что еще хотела сделать Малуша! Мир расцветал вокруг нее, за весною наступило лето, за летом — осень, но вокруг было все так же много солнца, тепла, радости, счастья.

И даже зимою, когда лед сковал Рось, а за стеною землянки гудела вьюга и трещал мороз, им в землянке было уютно, тепло. Бабка Желань крутила себе да крутила пряслице, Малуша сидела у очага перед люлькой, слегка покачивала ее, вспоминала песню, которую пели в Любече матери над своими детьми, которую она слышала и в своей родной землянке.

Качаю я люльку, качаю, качаю,
Малое дитятко, забота большая,—

начинала Малуша и прислушивалась к своим словам, потому что это было сказано будто про нее:

Ой, сын мой родимый, милый мой сыночек,
Не сплю я с тобою сколько уж ночек.
Тебя бы, сыночек, качала, качала,
Только я бы радость от тебя видала...

О, какие это были хорошие, радостные слова!

Вечером во дворе остановилось несколько всадников. Малушу это не удивило — княжьи дружинники часто ездили за Рось и всегда останавливались у их землянки, прежде чем переправиться через реку. Заслышав издали конский топот, она сама выходила им навстречу — подаст воды напиться, перекинется словом, а там спросит и про Киев, про княгиню Ольгу и Святослава.

На этот раз она не успела выйти воям навстречу, потому что стирала на Роси. И пока добежала, княжьи дружинники — их было четверо — уже спешились, привязали коней к дубкам, пошли, остановились у землянки. Не то разминались, не то ждали ее.

Малуша замедлила шаг, присмотрелась. Среди четырех дружинников она узнала Добрыню.

Малуша обрадовалась.

— Как хорошо, что ты приехал! — сказала она, отойдя в сторону с Добрыней.— Мы так давно не виделись с тобою.

— Я ездил в поле с князем. Далеко побывали.

— Ты сказал — с князем. Разве он...

— Так, Малуша, князь Святослав сел на Киевский стол.

— И как он? Ты его видел, говорил с ним?

— Видел, Малка, и говорил. Князь Святослав жив, здоров, он меня долго расспрашивал о тебе, велел сказать, что помнит о тебе и не забудет.

— Слава Перуну! — радостно произнесла Малуша.— Я не напрасно молилась, он услышал меня. Славен князь Святослав. А тебе, брат, спасибо.

И долго, сидя около землянки, Добрыня беседовал с сестрою. Над Росью все ниже и ниже склонялось солнце, темнели тени у скал, холодком повеяло от воды, и глубже стали почему-то складки на лице Добрыни.

— Слушай, Малуша,— сказал он, когда они вошли в землянку,— я приехал к тебе по княжьему наказу.

— Что случилось? — сжалось у нее сердце.

— Княгиня Ольга и великий князь Святослав послали меня узнать о здоровье Владимира.

У Малуши отлегло от сердца — они не забыли о ее сыне, помнят, хотят знать о нем.

— Скажи, что растет сильный, здоровый,— ответила она брату.— Да и почему бы ему не быть здоровым? Тут у нас, возле Роси, все есть, зимой было тепло, всего вдоволь.

— Но, Малуша,— продолжал Добрыня,— Владимир — княжич, придет время — князем станет.

— Знаю, Добрыня,— отозвалась она.— Так и я тоже хочу, чтобы он стал князем. Но разве я за ним плохо смотрю?

У меня никого на свете нет дороже, чем он, мой сыночек Владимир.

Она и сейчас прислонилась лицом к головке сына, несколько раз его поцеловала. И Добрыня некоторое время молчал, любуясь матерью и сыном.

— Все это так, и сердце твое я знаю, Малуша,— проговорил он, оглядывая землянку.— Только негоже княжичу жить здесь...

— Что вы задумали? — вскрикнула она.— Говори, говори, Добрыня!

— Я должен забрать княжича Владимира,— тяжело вздохнул он.— Затем и приехал.

— Забрать? — подняла она встревоженное лицо.— Оторвать его от моей груди? Нет, Добрыня, того не будет, лучше уж в Рось...

— В Рось княжича Владимира? — очень медленно и сурово сказал Добрыня.— Подумай, что говоришь, Малуша! Не твой Владимир — Киевской земли княжич.

Она закрыла глаза. Крепко сжала губы, опустила голову.

— Правда, Добрыня... Я думала, что Владимир мой, но он княжич! Что же останется тогда у меня? Был сын — и я еще жила, возьмешь его — и ничего, ничего у меня нет. Послушай, Добрыня, мне страшно, ох как мне страшно! Душу ты забираешь у меня!

Горе Малуши было так велико, что она ничего больше не могла сказать и, прижавшись к ребенку, молча плакала.

Если бы Малуша в эту минуту посмотрела на брата, она бы увидела, как из его глаз тоже выкатились одна за другою несколько слезинок. Добрыня плакал, зто была, должно быть, самая тяжелая минута в его жизни, ибо гридень еще раз почувствовал, что и он и Малуша — княжьи рабы.

Потом Добрыня смахнул слезы: ни Малуша, ни кто-либо другой не должны видеть, что гридень тоже умеет плакать.

Но Малуша и не смотрела на Добрыню; она не могла оторвать глаз и рук от своего сына, она надолго, а может, и навек, прощалась с ним.

Дальше все было как во сне. Добрыня и дружинники начали собираться в далекий путь: седлали коней, поперек седла Добрыни крепко привязали короб.

Малуша сама вынесла ребенка из землянки, передала на руки Добрыне, а он уложил его в короб. И они так осторожно все это делали, что дитя даже не проснулось.

— Прощай, сестра,— только донеслось до Малуши.— Не сам творю, десницею князя...

Он положил руки ей на плечи и поклонился:

— Прощай!

Дружинники сели на коней, четыре черных всадника, как птицы, полетели на запад, где еще пламенело багряное зарево.

Малуша вошла в землянку и, ничего не понимая, обшарила руками постельку у стены, где недавно лежал ее сын. Постелька была еще теплая, на ней в том месте, где лежал Владимир, осталась впадина. Но сына не было, не будет...

Она бросилась вон из землянки, как будто могла о чем-то умолить брата и дружинников, что недавно уехали. Но на дворе было темно и тихо, нигде не слышно ни голосов, ни конского топота. Они уже отъехали далеко-далеко...

Темная женская фигура метнулась, обогнув землянку, к дубам, у которых недавно стояли на привязи кони, к колодцу, где они поили коней, к круче, с которой она часто смотрела на Рось.

Растерянная женщина смотрела на небо, с мольбой простирала руки вверх, к звездам; но ни одна звезда ей не улыбнулась, на небе не было ни одного облачка, которое могло бы спуститься к ней.

И тогда она упала на росистую траву, обхватила голову руками и зарыдала, застонала, затужила так, как может тужить только мать — безудержно, безутешно...

— Владимир! Сыночек мой! Дитятко мое! Солнышко мое, жизнь моя, радость моя, где ты, где ты, отзовись!

Ты был со мною — и я смеялась, ты был со мною — и не было у меня большей радости, почему же ты ушел от меня, почему покинул?

Боги в высоком небе, люди на широкой земле, помогите же мне, спасите меня, верните мне сына-сыночка!

Тебя бы я, сыночек, качала, качала, только бы я радость от тебя видала...

От самого сердца шли простые слова, плакала, стонала обокраденная, обездоленная мать. Если бы у камня был голос, он отозвался бы на этот крик. Но у камня голоса нет, а больше никто не мог услышать ее среди ночи.

И за все время ей ни разу не пришла и не могла прийти в голову мысль, что она, простая женщина полянского рода, дала жизнь ребенку, который станет когда-нибудь великим князем Киевского стола, и что через тысячу лет люди вспомнят ее, рабыню Малушу, и удивятся ее великой, святой любви.

## 7

В покоях княгини Ольги не ждали князя Святослава. Когда он внезапно распахнул дверь и остановился на пороге, он увидел мать, сидевшую на лавке, священника Григория, стоявшего

перед нею и в чем-то, казалось, ее убеждавшего, да еще ключницу Пракседу, которая с чем-то возилась в углу.

В этом не было ничего необычного: княгиня всегда по вечерам звала к себе священника, каждый вечер к ней заходила и Пракседа, чтобы посоветоваться насчет завтрашнего дня.

И в светлице все было как всегда: в двух углах горели свечи, на столе лежал хлеб и стояла корчага с водою, ложе княгини прибрано, всюду подметено.

Но было в светлице и нечто необычное: в темном углу Святослав заметил люльку, а в ней — дитя...

Он стоял и думал: что ему делать? Он хотел, его тянуло броситься вперед, склониться, как велело сердце, над люлькою, посмотреть, взять на руки свое дитя. Но он не знал, колебался: может ли он выдать свои чувства, когда в светлице находятся священник Григорий, Пракседа?

Его поняла и помогла ему мать-княгиня.

— Ты ступай,— приказала она Пракседе.— И ты, отче,— виновато добавила она,—отдохни, нам с князем нужно поговорить...

Князь Святослав ждал, пока они выйдут, потом быстро прошел вперед, остановился перед люлькою. Княгиня Ольга, взяв в руку свечу, прошла за ним следом и стала позади него.

При свете свечи он увидел сына, который лежал, завернутый в белое полотно. Сын спал, у него были закрыты глаза, он дышал ровно и спокойно, нежный румянец играл на его щечках.

И было в этом детском личике то, что заставило содрогнуться сердце князя Святослава. Личико это — высокий лоб, темные брови, прямой носик, маленький рот — напоминало ему другое, родное лицо Малуши.

— Владимир... солнышко! — вырвалось у Святослава, он не нашел других слов, чтобы выразить свою радость и счастье, и очень осторожно, чтобы не задеть люльку, наклонился и поцеловал Владимира в теплый лобик.

В эту минуту он испытывал не только радость, но и боль — не сына целовал князь, а утраченную молодость, и, когда его губы коснулись теплого лобика, ему показалось, что он целует далекую Малушу.

Потом он поднял голову и увидел глаза матери, стоявшей позади него со свечой в руке. Она тоже с любовью и радостью смотрела на внука. Это были те же самые глаза, которые он видел и знал всегда, в эту минуту в них была ласка и нежность. Но тут перед ним возникли события другой, давно минувшей, страшной ночи, и он прочел в глазах матери то же самое, что и тогда. Он видел в ней мудрую, хитрую, властную княгиню.

— Что ты, мать, задумала сделать? — спросил он, указав

рукою на стол, где лежали Евангелие, крест и кропило, и на лавку, где стояла купель с водою.

Княгиня поняла — сын знает, что она задумала. Крест, и купель, и кропило... Да, княгиня собиралась окрестить внука.

Ей хотелось, чтобы сын понял ее и не осуждал, чтобы он знал, что иначе поступить она не может.

— Не зла хочу я, Святослав, тебе и внуку моему,— сказала она,— а добра и счастья.

— В чем добро? Где счастье? — крикнул он.

Она помолчала немного, посмотрела на Святослава, перевела взгляд на внука и продолжала:

— Ты знаешь, сын, какую муку я перенесла, когда, возвратившись из Константинополя, узнала обо всем и о Малуше. Это было большое горе, беда в нашем тереме и на Горе. И тогда я, чтобы спасти тебя, князя, должна была так поступить.

— Хорошо,— сказал Святослав,— ты сделала так, как хотела Гора, ты спасла свою, княжью, честь, ты дала мне княжну, которую я не любил и не люблю. Но для чего ты теперь, когда я стал князем, хочешь крестить мое дитя?

— Как хотела я и хочу добра тебе,— ответила на это она,— так хочу добра и твоему сыну, а моему внуку. Посмотри на него: кто он? Сын рабыни, язычник, даже имени нет у него. А я хочу — и это будет большая корысть для тебя,— чтобы он был сыном князя Святослава, я хочу, чтобы он имел свое, княжье имя.

— И этого снова хочет Гора?

— Так, сын мой, для этого я и хотела его окрестить,— закончила княгиня Ольга.

И тогда в светлице княгини Ольги настала долгая-долгая тишина. Мать и сын стояли над люлькою, смотрели на ребенка, который крепко спал, молчали...

Князь Святослав поднял голову, встретил острые, проницательные глаза матери и сказал:

— Не для того я пришел сюда, мать, чтобы ссориться с тобою, не для того стою здесь, чтобы настоять на своем. Нет, мать, над колыбелью моего сына стоим сейчас не только мы, ты да я,— вся Русская земля стоит днесь над колыбелью Владимира...

Большими темными глазами смотрела княгиня Ольга на сына Святослава и словно не узнавала его: тот же Святослав — и не тот, такой же — и не такой. Нет, он был теперь не таким, как раньше, теперь он был таким, как отец его Игорь...

— Слушай, мать, и подумай, что ты сотворила,— продолжал сын.— Я говорю это не для того, чтобы сказать, что ты желала зла земле Русской. Нет, ты хотела и много сделала доброго для Руси, ты отомстила за отца и примучила древлян, ты, желая

людям добра, уничтожила дань и завела уроки и уставы, ты многое сделала, устроя Русскую землю, ты была мудрой и прехитрой княгиней земли Русской, Киевского стола... Но,— продолжал Святостав,— устроя Русскую землю, ты забыла, что есть в ней тьма племен, земель, людей. Ты, мать, забыла, что есть у них множество врагов. На Гору оперлась ты, а всех людей своих стала считать врагами, ты окружила Гору высокими стенами, окружила себя боярами, воеводами, тиунами, ты отнимала у людей и отдавала Горе земли и леса, озера и реки. А когда увидела, что содеяла, испугалась и на помощь себе позвала Христа...

— Не хули Христа! — воскликнула княгиня Ольга.— Не произноси имени его всуе... Он покарает тебя...

— Нет! — дерзко ответил Святослав.— Мои боги не благословили бы того, что благословляет Христос, мои боги — это вера отцов, твой Христос — сила твоя и бояр...

— Зачем же ты идешь против этой силы? И куда ты идешь, Святослав?

Он посмотрел за окно, в ночь, что распростерлась над Горою, городскими стенами и Днепром.

— О мать,— произнес он,— кто-кто, а я хорошо знаю эту силу. Эта сила уже один раз сломила меня. Но это случилось только однажды, во второй раз она меня не сломит. Не сломит она и Руси; не бояре и воеводы, Русь сама спасет себя... Может, тогда придет на Русь Христос, может, после нас без него не обойтись.

— Душа моя радуется.— Княгиня скрестила руки на груди.— Свет истинной веры, вижу, нисходит на тебя...

— Нет! — крикнул Святослав.— Трижды, четырежды нет! Я не христианин ныне, а эллин, язычник. А ты что делаешь? Хочешь крестить моего сына, хочешь, чтобы я был язычником, а он — христианином, хочешь, чтобы я стоял за Русь, а сын мой — за Византию?

— Не того я хотела, сын мой,— попробовала возразить княгиня.— Говорю тебе: хочу, чтобы сын твой был не сыном рабыни, а князем, чтобы было у него свое, княжье имя...

Сурово было лицо князя Святослава, гневны его слова.

— Я послушался тебя, мать,— сказал он,— и выполнил твой приказ, когда ты выгоняла отсюда, с Горы, Малушу. Так тому и быть, я сделал, как ты велела. Я женился на княжне — ты этого хотела. Я стал князем — и об этом ты просила меня... Но теперь, будучи князем, я велю...

Он смотрел на сына, спавшего в колыбели.

— Не ты победила рабыню,— говорил Святослав,— она победила тебя, княгиня. Ибо родила сына, о котором мечтал я и которого ждут русские люди. Ты боишься, потому что у тебя за спиною Гора, а я не боюсь, ибо за мною стоит дружина и вся

Русь. Быть ему, как оно и есть, сыном рабыни, великим князем. Ты сказала, что у него нет имени. Нет, у него есть имя. Я и мать его, рабыня, нарекли его Владимиром, ибо хотим, чтобы он владел миром на Русской земле. И он будет владеть миром, в трудный час он спасет Русь.

Князь Святослав подошел к дверям и позвал Добрыню, ждавшего его.

— Слушай, Добрыня,— сказал Святослав,— ты сберег, привез из Будутина в Киев сына моего Владимира — быть тебе воеводой и его дядькой, расти его...

Добрыня низко поклонился князю и княгине.

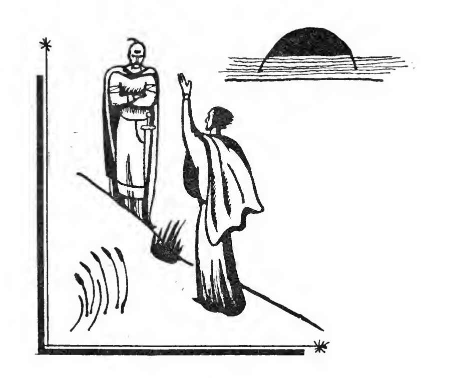
— Возьми его на руки, Добрыня, и неси за мною. Гряди, Владимир!

# Книга вторая



## НАД МОРЕМ РУССКИМ

*Перевод* **ИВ. ДОРБЫ**



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Солнце стояло еще высоко над Щекавицей, когда на низовье Днепра что-то замаячило, а потом отчетливо вырисовалось несколько лодий — это шли, рассекая встречную волну, греческие хеландии, остроносые, с высокими мачтами и множеством рей — настоящие морские чудища.

С Подола и предградья стали сбегаться к Почайне купцы, ремесленники и робьи люди. На таких коробах обычно приплывали падкие до наживы константинопольские гости: одни — купить, другие — продать.

Однако пока хеландии добрались до устья Почайны и бросили якоря против Боричева взвоза, реку и берега окутали сумерки.

Не удалось киевлянам потолковать с прибывшими еще и потому, что едва хеландии пристали к берегу, как с Горы тотчас спустились с небольшой дружиной княжьи мужи. Обругав подолян, они велели им убраться подобру-поздорову от Почайны.

Сами же, как водится, взошли на хеландии, приветствовали прибывших, спросили, что за люди и почто пожаловали.

На хеландиях приплыли гости из Константинополя, привезли паволоки, узорочье, вина. Княжьи мужи пообещали, что утром к ним явятся тиуны, взыщут положенный устав и отведут на торг. А там уже гостям вольно будет продавать и покупать.

Но оказалось, что на одной из хеландий прибыл с многочисленной и хорошо вооруженной охраной и несколькими рабами не простой цареградский гость, а василик императора ромеев.

Услыхав от охраны, что на хеландию явились мужи киевского князя, василик выбрался — с очень нехорошим, не то усталым, не то больным видом — из-под навеса, где до сих пор лежал. Выпрямившись во весь рост, он передал через толмачей, что прибыл к киевскому князю с грамотой от императора ромеев, что дело у него весьма важное и он должен поговорить с киевским князем самолично, о чем и просит сообщить.

Княжьи мужи ответили, что время уже позднее и киевский князь поди уже почивает. Однако пообещали на следующее же утро обо всем ему доложить.

Василик добавил, что надеется, князь примет его незамедлительно, а потом нерешительно спросил, не велят ли мужи поставить у хеландий стражу. Мужи обещали поставить стражу и попросили василика не бояться — Киев-де город спокойный, рад каждому гостю, никого не обидит. С тем и удалились, оставив подле хеландий воинов.

Днепр заволокло туманом, ветер в кустах над Почайной, как казалось василику, выл таинственно и грозно, на берегу чудились голоса, а окруженная стенами и башнями грозная крепость, где жил киевский князь, гордо высилась в багряном небе. Василик, вздрагивая от холода, постоял на палубе и спустился к себе. Зная церемониал византийского двора, в силу которого императоры, прежде чем принять посла, обязательно заставляли ждать, он прикидывал: как долго киевский князь продержит его на этой холодной реке?

Но киевский князь не заставил константинопольского василика сидеть без дела на Почайне. Едва над Днепром забрезжил рассвет, явились тиуны, быстро покончили дело с купцами, взяли устав, повели их на торг. Вместе с тиунами пришли те же мужи, которые были накануне, и заявили, что князю Святославу известно о василике императора, он сегодня же утром готов его принять, и попросили следовать за ними.

Нарядившись наспех в лучшее платье, в длинное черного бархата платно, в сапожки зеленой кожи и надев на голову клобук, василик приказал рабам взять дары. В розовом сиянии восходящего над Днепром солнца он последовал за мужами по глубокому Боричеву взвозу через мост и ворота на Гору и вступил в Золотую палату княжьего терема.

По дороге василик часто останавливался передохнуть, зорко оглядывал все, отмечая в памяти и сравнивая с тем, к чему так привык в Константинополе. Здесь, в Киеве, не было ни высоких, как там, стен, ни каменных зданий, ни такого множества улиц и площадей, украшений, колонн, статуй. Однако все, что видел василик: крутой Боричев взвоз — единственный ход от Днепра к Горе, старые деревянные, но крепкие стены над глубокими обрывами, утыканные острыми кольями насыпи, мост, перекинутый через глубокий ров, город на Горе с теремами, клетями, гридницы, вокруг которых толпилось множество воинов, требище, где горел огонь и приносилась утренняя жертва, Перун, который глядел золотыми глазами на Днепр,— все это удивило его и заставило содрогнуться: высоко сидят киевские князья, нелегко к ним добраться!

В Золотой палате, куда через сени и Людную палату ввели василика, все казалось таким же суровым и таинственным. Огни множества светильников, отражаясь, играли на позолоченном и серебряном оружии; вдоль стен на скамьях сидели важные, бородатые люди в темных одеждах; в конце палаты на помосте василик увидел князя Святослава.

Василик прошел вперед, низко поклонился князю и через толмача сказал:

— Божьей милостью император Восточно-Римской империи Никифор послал меня, патрикия Калокира, с дарами и грамотой к тебе, князь Руси, дабы на вечные времена закрепить дружбу с тобой и русскими людьми...

В палату вошли следовавшие за василиком рабы и положили перед киевским князем дары: дорогие паволоки, узорочье, позолоченный щит и меч.

— Грамоту я принимаю,— сказал князь Святослав, с улыбкой взглянув на богатое оружие,— и за дары спасибо... Передай, патрикий Калокир, императору ромеев, что князья русские, бояре и все люди русские берегут сущую между нами дружбу, и да не рушится она дондеже светит солнце.

Затем князь Святослав, по обычаю, расспросил посла, хорошо ли ему ехалось в долгом пути, как он себя чувствует сейчас, предложил погостить в Киеве-городе сколько вздумается, а тиунам своим велел взять отныне василика, его стражу и рабов на полный покорм, а также потчевать всякими медами из княжьих медуш.

Низко кланяясь, благодарил патрикий Калокир киевского князя, бояр и русских людей за добрые слова, за покорм и меды, пожелал от себя князю, его семье, всем боярам здесь, в Золотой палате и по всей земле Русской, доброго здоровья и счастья на многие лета.

Конечно, сказал он не все, что хотел и должен был сказать. Василик, прощаясь, выразил надежду, что князь Свято-

слав найдет удобное для него время и побеседует с ним еще раз.

Князь понял посла Византии. Все они, эти василики, льстивые, коварные люди. Что ж, он встретится еще раз с патрикием Калокиром. Может быть, он пообедает нынче с князем?

Однако и за трапезой василик Калокир не открыл князю Святославу, что привело его в Киев. Может статься, потому, что за столом сидело много людей — сам князь, его брат Улеб, мать Ольга, три сына — Владимир, Ярополк и Олег, немало воевод, бояр и разных мужей. Каждый из них задавал послу вопросы, каждому полагалось ответить,— так, среди бесед да разговоров, и проходил обед. А может, еще и потому, что интересовался, как едят и что подают за столом русского князя. Ведь в палатах Большого константинопольского двора подавали с разбором — кому ядро грецкого ореха, а кому и скорлупу...

Совсем иное увидел Калокир за столом киевского князя. Блюда разносила еще молодая и красивая женщина, которую величали Пракседой. Ей помогали несколько девушек поразительной красоты. Кушанья они приносили из кухни в трапезную быстро, без задержки.

А носить приходилось немало: когда приглашенные вошли в трапезную, на столах уже стояло холодное кабанье и медвежье мясо, всевозможные соленые и копченые рыбы — осетры, форели, судаки, всякие овощи и фрукты, во время обеда подавались вареная и жареная баранина, говядина, чечевичная похлебка, уха, меды, ол, брага, квасы.

Ели и тут же запивали без лишних слов, без потчеваний — запросто, как это бывает дома, в своей семье. Только один раз воевода Свенельд, взяв чару, сказал, что хочет выпить за князя. Все чокнулись и подняли свои кубки.

— Пьем на тя, княже!

К концу обеда все, в том числе и Калокир, почувствовали, что сыты по горло, а меды и ол из княжьих медуш изрядно крепки и пьяны.

Лишь тогда князь Святослав предложил василику прогуляться с ним в лодии, оглядеть с Днепра Киев, его строения, валы, стены. Приказав гридням приготовить лодии, князь спустился с василиком, несколькими боярами и толмачами к Почайне, и они поплыли по Днепру до самого Чертороя.

Чуден был Днепр и прекрасен Киев-город в предвечернюю пору. Весна стояла в полном цвету; от самого Верхнего волока катил Днепр свои могучие воды, но здесь, подле Чертороя, где открывался его плес, вверх до самой Десны и Вышнего города княгини Ольги, а вниз — до Витичева и Лысой горы, казалось, нет ему конца-краю.

В лодии, где разместились князь Святослав, его брат Улеб, василик Калокир и бояре с толмачами, было двадцать гребцов — по десять с каждой стороны. Под дружными ударами их весел лодия быстро неслась вперед, оставляя на прозрачном лоне вод кипенный, как полотно, след. Киев и горы уплывали и уплывали назад.

И тогда предстал перед ними во всем своем величье древний город, стены которого заложил еще князь Кий. Много воды утекло с тех пор, а стены росли, укреплялись, как росло и крепло все вокруг Киева — города над Днепром.

Вдали высились три горы, и к ним были прикованы взгляды сидящих в лодии: Киева гора, где стоял княжий город, или, как его попросту называли, Гора; гора Щекавица, над которой первые стены воздвиг брат Кия Щек; гора Хоревица — вотчина Хорива, третьего брата.

Когда-то, здесь, над Днепром, стояли три «двора-городища». Теперь над всеми тремя раскинулся Киев-город: высокие стены, башни; золоченые, сверкающие в лучах закатного солнца крыши княжьих теремов; крутые склоны, обрывающиеся над самым Днепром; густые, опоясывающие город леса, где в глубоких оврагах уже залегли синие тени ночи. Это была Гора — настоящее орлиное гнездо, со стен которого обозревались окрестности на много поприщ вокруг и куда не мог подступить незаметно ни один враг.

Неузнаваемо изменился Киев-город с тех пор, как были возведены первые стены. Жили теперь не только на Горе. Повсюду на склонах, у подножия стен, рос новый город — тут жили княгиня Ольга и немало бояр. Над Боричевым взвозом, над оврагами, а часто и в них в эту пору загорались огни и вились дымы — там ютилось и работало предградье, за ним, до самой Почайны, раскинулся Подол, а еще дальше Оболонь — рольные земли князей, воевод и бояр.

— Чуден Борисфен, и прекрасен твой город, княже! — воскликнул василик Калокир, любуясь горами и Днепром.

— А может, пристанем к берегу и оттуда взглянем на Киев? — предложил князь Святослав.

— С превеликой охотой! — восторженно воскликнул Калокир.

И только когда нос лодии уже зарылся в песок на Черторое и князь Святослав, Калокир, а за ними княжич Улеб, бояре и толмачи стали выходить на берег, только тогда василик, ускорив шаг, поравнялся с князем и тихо промолвил:

— Может, княже, мы пошли бы дальше только вдвоем?

Это было сказано русскими словами, без толмачей... Князь Святослав остановился и удивленно взглянул на посла императора.

— Хотелось бы побеседовать с тобой с глазу на глаз,— продолжал Калокир.

— Добро! — так тихо, что никто из бояр его не услышал, ответил князь.

И, когда все сошли на берег, он сказал брату Улебу, боярам и толмачам:

— Мы пойдем с патрикием Калокиром вдвоем — хочу показать ему берег. А вы меня здесь ждите...

Косы над Чертороем оранжевыми стрелами глубоко врезались в днепровскую ширь, вокруг них отсвечивала перламутром вода, чуть всплескивали набегавшие изредка на берег волны. Князь Святослав и патрикий Калокир долго шагали по плотному, влажному, скрипевшему под ногами песку. Лодия и люди остались далеко позади, а они молча шли дальше и дальше, каждый погруженный в свои думы, великая тишина стояла вокруг, ее нарушали лишь тревожные крики да хлопанье крыльев вспугнутых крякв и куликов.

— Значит, тебе знакома наша речь? — остановился наконец и нарушил молчание князь, пристально глядя на василика Византии.

Калокир тоже остановился. Его темное, загорелое лицо, острые скулы, горбатый нос были озарены красными лучами солнца. Он стоял прищурясь, смотрел на Киев, на Днепр и о чем-то упорно думал, потом улыбнулся и ответил:

— Да, княже... И язык твой и людей твоих знаю...

— Кто же ты?

С Оболони и правого берега Днепра потянул вечерний ветерок, и темное платно, перетянутое шнуром, облепило костлявую фигуру патрикия.

— Император Никифор,— промолвил Калокир,— послал меня как своего василика из Константинополя, но постоянно живу я в Климатах, в Херсонесе, мой отец — протевон этой земли. Херсониты же, как тебе, княже, ведомо, и людей Руси, и речь их хорошо знают...

— Честь и слава императорам ромеев,— заметил князь Святослав,— что василиками своими посылают к нам людей, знающих Русь. Однако если император посылает ко мне такого именитого мужа, то, видимо, не для того только, чтобы передать свой привет?

— Конечно, нет,— улыбаясь, ответил Калокир.— Император Никифор велел благодарить тебя за дружбу, сущую между империей и Русью, за то, что русские князья уже не раз помогали ему воями своими на брани. Император Никифор и теперь просит тебя, княже Святослав, еще раз ему помочь.

— Против кого же задумал идти теперь император Никифор?

— Империя сейчас не может воевать,— ответил Калокир,— неспокойно в Азии и Египте... А император Никифор разорвал дружбу и хочет наказать непокорных болгар, почему и просит

тебя, княже Святослав, пойти войной на Болгарию и покорить ее.

Калокир умолк и тотчас добавил:

— Император Никифор щедро отблагодарит князя Святослава и всех его воев... На моих хеландиях приготовлено для тебя пятнадцать кентинариев золота...

Князь Святослав не замедлил с ответом, но, пожалуй, это был не тот ответ, на который рассчитывал василик Калокир.

— Дивно мне это слышать,— откровенно промолвил князь.— Ты сказал правду — по ряду, который древние наши князья укладывали с Византией, Русь не раз помогала ей воями своими...

— О! Русские вои — добрые вои. Это известно всему миру! — восторженно воскликнул Калокир и облизнул пересохшие губы.

Князь Святослав, казалось, не слышал его слов и продолжал:

— Но как решился император Никифор просить у меня помощи против болгар? Насколько мне ведомо, между императором ромеев и Болгарией давно сотворен мир, кесарь женат на дочери римского императора, Византия платит Болгарии дань...

— Какой мир, какая дань?! — воскликнул василик и громко рассмеялся.— Все болгарские каганы, и наипаче гордый кесарь Симеон, враждовали с ромеями и наносили им большой урон. При Петре, сыне Симеона, между Византией и Болгарией был будто бы установлен мир. Кесарь Петр — это правда — взял себе в жены дочь императора Христофора. Но болгары всегда таили и таят в своих сердцах лютую ненависть к ромеям, уже давно половина Болгарии откололась от Петра и Преславы и строит козни против Константинополя. А теперь, когда дочь императора Христофора и супруга кесаря Петра Ирина скончалась, император Никифор отказался платить дань болгарам, а послов их, что прибыли за данью в Константинополь, велел бить по лицу и выгнать из города.

— Жестоко карает император,— насмешливо протянул князь Святослав,— родича своего, кесаря Петра, который так долго и верно служил ему и дослужился даже до того, что и Болгария распалась! Выходит, что после долгого мира с Петром император задумал добить, уничтожить Болгарию?

— Да, княже,— ответил Калокир, впиваясь глазами в Святослава.— Император Никифор, как всегда, действует решительно, и он, конечно, пошел бы против Петра один, но в империи неспокойно, снова начались смуты в Сирии и Антиохии, императору придется двинуться туда, в Азию... Вот он и посылает тебе золото, надеется, что ты согласишься пойти на болгар, а пока ты со своими воями выйдешь на Дунай и будешь покорять кесаря Петра, император вернется из Азии и вступит в Македонию. Так, с божьей помощью, Болгария будет наказана.

Князь Святослав долго молчал, а потом сказал:

— Страшную кару придумал для болгар император. И, если бы я в самом деле с воями своими двинулся за Дунай, а он пошел навстречу мне из Македонии, с Болгарией было бы покончено навсегда! Но, василик Калокир, я не пойду против Болгарии. Нет, нет!

— А почему не пойдешь, княже Святослав? — спросил Калокир.— Может, считаешь, что я привез мало золота? Так ведь это не все. Когда закончится война, ты получишь еще много золота и дань.

— Нет,— повторил Святослав,— не о золоте и не о дани я помышляю.

— Так что же ты хочешь?

— Когда императоры ромеев просили у нас, киевских князей, помощи и воевали со своими врагами, мы, памятуя ряд отцов наших, оказывали им эту помощь. Но сейчас император Никифор посылает золото и просит меня покорить болгар. А ведь императору ведомо, что с болгарами у нас вечный мир, что мы одноязычные народы, они — наши соседи, и ничего, кроме добра, мы от них не ведаем. Нет, василик Калокир, русские люди не печенеги, не хозары, ради золота не воюют. И если бы император Никифор прислал мне не пятнадцать кентинариев, а пятнадцать хеландий с золотом, то и тогда бы я сказал — не согласен!

— Что ж,— с явным удовольствием заметил Калокир,— любо мне слышать твои слова, ибо, едучи сюда, я знал, что скажешь ты императору: «Нет, не согласен!»

Князь Святослав удивленно взглянул на василика, не понимая, с какой стати он радуется тому, что киевский князь не хочет помочь императору.

— Вижу, княже, не понимаешь ты меня,— словно читая его мысли, сказал Калокир.— Позволь же поведать тебе и то, что император Никифор мне не поручал.

— Дивный ты какой-то, василик Калокир,— обронил князь Святослав.— Что ж, говори, я слушаю.

— Все скажу, все, князь,— вздрогнув, промолвил Калокир.— Но прежде поклянись: все, о чем поведаю, будем знать только ты да я, да еще Борисфен.

— Ты просишь клятвы, я же привык клясться только на мече. Впрочем, слово мое крепко — все останется в тайне.

— Император Никифор,— начал Калокир,— поступает как безумец, поправ мир и затевая войну с Болгарией.

Святослав усмехнулся, но тотчас погасил улыбку.

— Погоди, Калокир,— резко промолвил он.— Ты, как василик императора ромеев, только что просил меня ударить на болгар, а теперь говоришь, что император поступает как безумец, затевая войну с Болгарией. Могу ли я верить своим ушам?

— Говорю, князь, только то, что думаю,— сурово возразил Калокир.— Император Никифор давно уже выжил из ума и довел империю до голода и нищеты. Этот безумец подозрительностью, враждой и жестоким произволом вызвал ненависть тысяч достойнейших людей в Константинополе и фемах. Утратив последний разум, он совершает непоправимую ошибку, нарушая мир с Болгарией...

— Василик императора! — крикнул князь Святослав.— Зачем говоришь ты все это мне, киевскому князю?

— Сейчас ты поймешь меня, княже,— все так же сурово продолжал Калокир.— Мой отец был простым армянским монахом, но когда империя поработила Армению, он, боясь, что его убьют, бежал в Константинополь. В то время многие бежали из Армении, полагая, что лучше как-нибудь перебиваться в богатом Константинополе, чем умирать дома... Отец был весьма умным человеком. Его допустили ко двору, слух о нем дошел до императоров Романа и Константина; его послали василиком сначала к печенегам, потом к уграм, а когда после смерти кесаря Симеона Византия задумала заключить мир с Болгарией, то отца отправили василиком к кесарю Петру. Передав дары, отец уговорил Петра приехать в Константинополь, заключить мир и взять в жены дочь императора...

— Значит, твой отец был другом болгар и помог заключить мир между императорами и кесарем?

— Ты меня понял, княже. Мой отец был другом болгар. Однако на смену Роману и Константину пришел Никифор Фока, который ненавидит болгар и всех, кто способствовал заключению мира. Он решил жестоко покарать и отца. Император искал только подходящего повода, отца ждал монастырь, а может быть, даже и галеры. Но он, как я уже сказал, был человеком предусмотрительным и вовремя бежал через земли тиверцев и уличей в Херсонес.

Этот длинный рассказ, видимо, утомил василика Калокира, и он умолк, глядя на небо над Киевом, которое стало темно-вишневым, тревожным, и на быстро синеющий плес.

— Там, в Херсонесе и во всех Климатах,— снова заговорил он,— есть множество людей, ненавидящих империю, о чем, княже, тебе ведомо. Туда гонят из Константинополя всех, кем недовольны императоры, туда же бегут и те, кто недоволен императорами. И хотя Климаты — фема империи и там сидит их стратиг, в Херсонесе свой конвент, во главе которого стоит протевон. Мой отец был избран протевоном, а сейчас, когда императору Никифору понадобилось послать к тебе василика, он остановился на мне, его сыне...

— Но ведь император знает то, о чем ты мне рассказал? — спросил князь Святослав.— И кто твой отец, и кто ты сам... Как же он послал тебя ко мне?

Василик Калокир довольно потер руки, а может, ему просто стало холодно, потому что с Днепра задул ветер.

— Император Никифор,— сказал он,— прекрасно знает, кто мой отец и кто я, но ему известно и то, что если мы беремся за дело, то доводим его до конца. К тому же император немало сделал для меня, почтив высоким званием патрикия,— откровенно признался Калокир.— Мне, княже, это весьма нужно. В Константинополе у меня много друзей и сторонников, и если Никифору не отрубят голову в Сирии, он не замедлит потерять ее в Большом дворце, а тогда...

Калокир на мгновение оборвал поток слов и хищными глазами оглядел Днепр и небо.

— ...тогда,— зашептал он,— для империи настанут новые времена. Зачем ей ссориться с Болгарией и Русью, зачем протягивать руки к далекой Армении, зачем ей Климаты, да и сам Херсонес?

— Ты добрый и щедрый человек,— сказал Святослав.— Похвально и то, что ты, как сын протевона, понимаешь, что Климаты не римская, а русская земля. Говоря по правде, я тоже думаю, что император Никифор впал в ошибку, затевая войну с болгарами. Негоже князьям Руси идти супротив болгар, не станем мы помогать ему.

— Нет, княже Святослав,— воскликнул вдруг Калокир,— я не сказал, что тебе не следует идти против болгар...

— Погоди, Калокир,— перебил его князь.— Значит, по-твоему, нам идти на болгар?

— Идти, идти, князь!

— Как же мне идти против Болгарии? За что? Для чего? — уже раздраженно спросил князь Святослав.

— Для того, чтобы Византия вместе с Болгарией не напали на Русь.

— Болгария не подымется на Русь,— уверенно сказал Святослав.

Потемнело лицо патрикия Калокира, угрожающе мрачно прозвучали его слова:

— Болгария не пойдет, но кесарь Петр с императором Никифором поведут свои рати на Русь. Слушай, княже, император Никифор выгнал послов Болгарии, но всегда может помириться с кесарем Петром. Если бы Никифор послал эти пятнадцать кентинариев не тебе, а Петру, тот не колеблясь принял бы их: ему терять нечего — он все уже потерял. И тогда Никифор и Петр выйдут на Дунай. В Русском море уже полно греческих кораблей, немало легионов стоят в Климатах, в Саркеле, плывут вверх по Танаису, император собирает хозар, шлет василиков в улусы к печенегам. Видишь теперь, княже, как окружают Русь, тянутся к ней, как вокруг уже пахнет кровью?! Если ты пойдешь на болгар, то разрушишь их дьявольские козни, а если

перейдешь Дунай и разобьешь Петра, то остановишься только у стен Цареграда.

С запада наплыла темная туча, ветер усилился, у самых ног Святослава и василика закипели, ударили в берег волны.

— Понимаю тебя,— пересиливая шум ветра и волн, громко произнес князь Святослав,— теперь мне ясны замыслы императора ромеев.

— Золото императоров лежит на хеландиях,— так же громко крикнул василик,— бери его, князь, иди на Петра! Я сказал тебе правду,— иди и побеждай. А мне ты поможешь, когда я буду в Константинополе.

И это говорил уже не тот василик Калокир, который только недавно кланялся князю Святославу, его боярам и всем людям Руси в Золотой палате,— хищный, ненасытный сын протевона, рассказав об опасных замыслах императора ромеев, жаждал золота и славы.

— Я выслушал тебя,— поняв всю суть Калокира, ответил князь.— Но сейчас не могу дать тебе ответа. Не мне одному решать, пусть решает вся Русь. Уже поздно. Надвигается буря. Сядем в лодию. Придет час — я скажу тебе свое слово.

Борясь с сильным холодным ветром, они быстро направились к лодии, навстречу надвигающейся с востока ночи.

## 2

Буря утихла только ночью, и тогда, как обычно после грохота, рева и свиста, над Днепром и на берегах его воцарилась торжественная тишина. В бездонном небе затеплились неисчислимые звезды, среди них расстелился мерцающий Перунов путь; звезды потонули в бездонных глубинах утихшего Днепра, что катил и катил свои воды к понизовью, в Русское море. По-весеннему терпко и пряно пахла земля, везде на Горе и на склонах к Почайне, в лесах и кустах щелкали соловьи,— чудная ночь плыла над необъятным миром, все кругом, казалось, почивало.

Не спал только и не мог заснуть князь Святослав. Он вернулся с Днепра, когда совсем уже стемнело. Василик Калокир, попросив князя усилить стражу, остался на хеландии, где хранилось привезенное им золото.

Святослав вышел из терема в сад. Там пахло цветами, с ветвей падала роса. В темноте перед ним чернела стена. Он поднялся по ступенькам на городницу, где подле медных досок-бил стояли молчаливые стражи. Узнав князя, они расступились.

Усевшись у заборола стены на скамью, князь Святослав долго глядел перед собой. Близко вырисовывались крутые отроги Горы, обрывы над Днепром, нигде не светилось ни огонька, только над Почайной горел костер — это грелись гридни, стоя на страже у греческих хеландий.

Спала Гора, спали предградье, Подол, города и веси над Днепром, великий покой царил над просторами Руси. А среди этого глубокого покоя и безмолвия, опершись рукой на забороло, князь Святослав думал свою думу.

Вспомнилось ему, как давно когда-то над Почайной, в такую же теплую, тихую ночь, горел не один, а множество костров, и вдруг его охватила тревога, защемило сердце, стало грустно, тяжело.

В ту ночь он встретил над Почайной, как раз в том месте, где сейчас горит огонь, ключницу княжьего терема Малушу и полюбил ее так, как можно любить только раз в жизни, полюбил, казалось, навеки.

И вспомнил Святослав ее голос, ее красу, ее ласки, каждое движение, каждое слово...

Стражи на городницах вдруг задвигались, подняли молоты, ударили в била, и медные скорбные звуки гулко поплыли к Днепру и Почайне, в далекие безмежные поля.

Глубокий вздох вырвался из груди Святослава, заныла старая незаживающая рана... Вспомнил он еще одну, далекую ночь, разговор с матерью, которая велела ему, княжичу, не любить, позабыть ключницу Малушу, оторвала ее от его сердца. Вспомнилась и последняя встреча с Малушей, каждое сказанное ею слово, каждая, казалось, снежинка в поле, и вся прежняя боль вернулась и снова терзала его сердце.

Он покорился матери. Малушу услали в далекое княжье село Будутин, там родила она сына Владимира, который живет и воспитывается вместе со своими братьями, детьми от Предславы, — Ярополком и Олегом. Что ж, хоть дети его живут при нем, в Киеве.

Встречал ли он после этого Малушу? Нет, не встречал. Не мог встретить — знал: никогда она не простит, что в тот час, когда пришлось выбирать между любовью и долгом, он выбрал долг. И князь с мечом в руках выполнял его, сражаясь с дружиной против врагов Руси.

Святослав знал, что среди всех врагов Руси самый опасный и коварный — Византия. Но подняться сразу против Византии он не мог: ближайшими врагами были хозары, Русь платила им дань; если бы он двинулся на запад, они тотчас от Итиль-реки напали бы на Киев.

Примучив вятичей и разгромив черных булгар, что сидели в верховьях Итиля и платили дань хозарам, князь Святослав с многочисленной дружиной нагрянул на разбойничье гнездо —

Саркел, перекииулся иа Итиль, разгромил кагаиа с его ратью и, ие оставив следа от всего хозарского каганата, открыл путь на восток, в степи за Итилем, до самого Джурджанского моря.

Но и на этом ие остаиавливается князь Святослав: перевалив с дружиной Асские горы, ои достигает Тмутаракаии, утверждается на берегах Русского моря, диву дается, до чего велика, необъятиа Русь, и возвращается в Киев с твердым убеждением, что час последней схватки с Визаитией все ближе и ближе.

Преисполненный лютой ненавистью к императорам, ослепленный жаждой славы, василик Калокир открыл киязю Святославу много такого, о чем тот и подумать не мог. Выходит, ромеи ие отказались от Саркела, если посылают иа помощь хозарам своих воинов; значит, думают возродить каганат, если собирают рать в Климатах, мнят руками русских людей покорить Болгарию, чтобы потом сломить и Русь...

И скорбь за Русскую землю, скорбь о погибших русских людях и о тех, кто еще погибнет в трудной борьбе, терзала сердце князя. Враг притаился за Дунаем, враг точит мечи, присылает своих василиков, чтобы провести его, князя Святослава, обмануть Русь. Что же делать киевскому князю среди этой темиой ночи, которая встаст отовсюду?

### 3

Через ворота и по мосту, который теперь, когда спокойно было иа Днепре и в поле, не подиимался на ночь, хотя по сторонам и стояла иедремлющая стража, князь Святослав вышел с Горы и иаправился к Новому городу, где жила княгиня Ольга.

Когда-то здесь стоял один только терем киягиии Ольги, но за десяток лет вокруг него поставили свои хоромы немало бояр; теперь это был целый город, окруженный глубокими рвами, верхним валом с острым частоколом по одну сторону рва и нижиим валом по другую, со стороиы Днепра,— за этими валами и частоколами княгиня Ольга и бояре чувствовали себя в безопасности.

Святослав застал княгиню в опочивальне внуков. Ольга пестовала и растила Ярополка и Олега с самого их рождения; уходя на брань с хозарами, Святослав доверил матери воспитание и Владимира, которого Добрыия взрастил крепким и сильиым отроком. Святослав видел, что мать его уже стара, иемощна,— пусть, думал он, будет радостной ее старость. Впрочем, и Добрыня, поселившись в новом городе около киягиии, тоже не отходил ни на шаг от своего воспитаиика.

Святослав постоял некоторое время подле матери, сидевшей в кресле у изголовья внуков. Они спали, набегавшись за день. В мерцании светильника Святослав долго смотрел на лицо Владимира, на сильные его плечи и грудь.

Княгиня Ольга, угадав, что неспроста пришел Святослав в столь позднее время, поднялась, погасила светильник и направилась в свою светлицу.

— Что случилось, Святослав? — спросила она, усаживаясь возле окна, выходившего на Днепр.

— Все спокойно, матушка,— ответил он.— И в поле, и на Днепре...

— Да вот, вижу, ты не спокоен, Святослав. Что тебя тревожит?

— Угадала, матушка. Сейчас тишина в нашей земле, но чую далекую брань и кровь на Руси.

— Ты о чем, Святослав?!

— О греческом василике Калокире, которого ты видела у меня за столом.

— А что он?

Святослав рассказал, как после обеда они поплыли с василиком на Днепр, как Калокир предложил поговорить с глазу на глаз и что сказал на косе у Чертороя.

— Русским людям идти на болгар? — удивленно переспросила Ольга, выслушав сына.— Что-то негожее замышляет император...

Суровым и задумчивым было лицо князя Святослава.

— Нет,— сказал он матери,— император задумал только то, что ему нужно. Дело, княгиня-матушка, в том, что византийским императорам только и мнится, как бы уничтожить Болгарию.

— Ох,— вздохнула княгиня Ольга,— кто-кто, а я-то знаю, о чем мечтают императоры ромеев! Однако с Болгарией у них мир, там сидит, получая дань с Византии, василисса Ирина. Чего ради императорам ссориться с кесарем, а тем паче посылать на них русских?

— Так было раньше,— с горькой улыбкой промолвил князь Святослав,— когда ты ездила в Болгарию. Василисса Ирина недавно умерла, Византия уже не платит дани болгарам, а император Никифор велел выгнать из дворца и бить по щекам приехавших за данью болгарских послов. Мира между Византией и Болгарией больше нет.

— Так пусть император Никифор и воюет с Петром — ведь он его выкормыш.

— О,— заметил Святослав,— император Никифор рад бы двинуться на Болгарию и проглотить ее, но у него самого неспокойно в империи. А кроме того, он знает, что на защиту Болгарии станет Русь.

— Наконец я слышу то, чего ждала,— сказала княгиня Ольга.— Единый язык, единая вера. Я знаю, что бог не допустит брани с болгарами.

— Нет, матушка княгиня,— решительно возразил Святослав,— я должен идти и пойду на болгар.

Княгиня Ольга поднялась со скамьи, стала посреди светлицы, разгневанная, гордая и неудержимая в своем гневе, такая, какой ее когда-то запомнил Святослав.

— Кровожадный язычник! — крикнула она.— Неужто за пятнадцать кентинариев ты погубишь тысячи наших братьев, христиан-болгар?

— Не за пятнадцать кентинариев,— сурово ответил Святослав,— а за счастье, за славу, за честь Руси.

— Неправда, неправда это, Святослав! — с негодованием продолжала Ольга.— Ты ради золота идешь, ради дани, как твой отец на древлян...

Суровый и гневный стоял князь Святослав. Уважая старость матери, он молчал, хоть и трудно было сдерживаться и говорить с княгиней тихо и спокойно.

— Ты сказала,— начал он,— будто я похож на отца. Это правда! Я такой же, как он. А ты, что же, отрекаешься от него? И опять же — разве мой отец жил, боролся и умер только ради золота? И гоже ли тебе, княгиня, так поминать своего мужа и моего отца, Игоря? Золото ли искал он в Древлянской земле? Недавно я ходил на вятичей и примучил их, но не золота ради. Нет, нет, не ради золота воевал отец мой, так надлежит поступать и мне. В великих трудах, в тяжких битвах рождена наша земля. Долго враждовали племена, и ныне случаются распри в землях наших, но об одном помышляют люди — Руси стоять, дондеже светит солнце...

— Но разве твои предки боролись с болгарами? — пыталась все еще спорить княгиня Ольга.

— Зачем было им бороться с болгарами, раз они рука об руку с ними сражались против Византии, а греки боялись их, как грозы? Когда не стало кесаря Симеона — ты сама мне об этом говорила,— кесарь Петр предал Болгарию Византии. Только когда не стало на Руси Игоря, Киев стал бояться Константинополя и его императоров.

— Ты винишь меня?

— Днепра вспять не повернуть,— возразил Святослав,— а коли б я тебя обвинял, не пришел бы ныне на беседу. Законы и обычаи наших предков справедливы: «Аще кто задумал убить тебя — убей его; кто задумал убить ближнего твоего — не пожалей ради него своей крови; аще кто убил — воздай кровью за кровь». Император Никифор мечтает о том же, о чем и все прочие императоры: он хочет руками русских разгромить болгар, скрестить их мечи, а потом бить и тех и других...

— Тогда отправь послов к болгарам, пусть они скажут, что хочешь купно с ними стать против Византии, поступи так, как твой отец Игорь и кесарь Симеон.

— Мать-княгиня! — вздохнул Святослав.— Нет ныне князя Игоря, нет и кесаря Симеона. Язычник я, но свято блюду завет отца моего, а христианин кесарь Петр предал родного отца...

— Кто тебе сказал?

— Ты сама мне говорила, что не знаешь, где кончается двор императорский и начинается двор кесарский,— ныне стало еще хуже!

— Святослав, сын мой! — взмолилась Ольга.— Не убивай болгар, не сражайся с ближними...

— Будь по-твоему, матушка, сделаю, как просишь. Отправлю послов, пусть знает кесарь Петр, что готов идти с ним на Византию. Ежели кесарь не согласится, скажу: «Иду на вы!..»

С Днепра через открытое окно потянуло ночной прохладой, на столе колыхалось пламя свечи, над ним кружились светло-зеленые мотыльки — такие же порхают, кружатся весенними ночами над Днепром и поныне.

В ту же ночь, чуть забрезжило, князь Святослав велел позвать тысяцкого Богдана. Был это прославленный воевода; одни говорили, будто дал его людям сам Перун, другие — будто Перун любит Богдана за то, что он даже спит с мечом...

На рассвете Богдан пришел в сад за терем. Князь сидел на скамье и о чем-то беседовал с воеводой Свенельдом.

— Дело у меня к тебе,— сказал Святослав, увидав Богдана.—Потрудись для отчизны, воевода, возьми с собой дружину, дам я тебе грамоту с золотой печатью — отправляйся в землю Болгарскую, постарайся увидеть кесаря Петра.

— Добьюсь, княже. За Дунаем я бывал...

— Если же увидишь кесаря,— продолжал Святослав,— напомни ему о давней дружбе и любви между болгарами и русскими; напомни, как князь Симеон и князь Игорь купно ходили на ромеев, скажи, что кровь русов и болгар давно уже смешалась над морем Русским.

— Скажу, княже, ибо есть в том море капля и моей крови.

— А так начав, передай кесарю Петру мои дары — лучшего коня земли Русской, мой княжий меч и щит — и скажи ему, что император Никифор прислал ко мне своего василика с золотом и просит, взяв, дружину, идти на болгар. Слушай, Богдан, скажи еще кесарю от меня, что у болгар и русов был и есть один враг — ромеи, и недаром люди наши, мудрые кесари и князья, воевали с

константинопольскими василевсами. И ныне не беру я императорского золота, не хочет его и моя дружина: ведомо нам, что Византия замыслила сначала покорить Болгарию, а потом и Русь. Потому и говорю Петру: «Идем, кесарь, на Византию купно». Об этом пишу в грамоте, вот моя печать.

— Слушаю, князь, все исполню,— кланяясь, сказал тысяцкий Богдан.— Когда велишь ехать?

— Ныне же,— не задумываясь, ответил князь Святослав,— собирай дружину и, как встанет солнце, поезжай. Погоди, я еще не кончил, воевода,— сказал князь Святослав, заметив, что Богдан собирается уходить.— Обо всем, что тебе сказал, написано в грамоте. Если же кесарь Петр не примет грамоты и даров или не даст ответа, скажи ему, что русские люди не хотят погибать, не желают смерти и болгарам, скажи: «Князь Святослав идет на вы!»

— Все сделаю, княже, как велел!

За Днепром светало, заголубела вода, у берега Почайны, как черные птицы, сложившие крылья, покачивались хеландии.

## 4

Гора, предградье и Подол жили обычной жизнью. На княжьих и боярских нивах буйно колосилось, наливалось всякое жито, из-за Днепра чадь везла с бортных угодий колоды пахучего меда, уже в дарницах киевского князя на заднепровских лугах скосили травы и свезли в город, а греческие хеландии все еще стояли на Почайне...

Василик Калокир не раз добивался у князя приема, встречался с ним, спрашивал:

— Каков же будет, великий князь, твой ответ?

Князь Святослав мерил взглядом хитрого василика, понимая его беспокойство: ведь дни шли за днями, а сидеть сыну протевона на Почайне было скучно и тоскливо.

Однако князь не давал ответа — он ждал тысяцкого Богдана из Болгарии — и говорил:

— Я не император ромеев, дабы днесь решать, а заутра изменять. Русь велика, земель в ней много, должен совет держать со всеми князьями. Послал я к ним своих гонцов, теперь жду ответа. А разве тебе худо в Киеве-городе?

— В Киеве-городе мне не худо,— нетерпеливо отвечал Калокир,— однако и своя земля зовет...

— Как же ты поедешь, Калокир? Днепр пересох, твои хеландии не пройдут через пороги, вот осенью, в разлив, долетишь до моря, как на крыльях.

— Ох, княже Святослав! — сокрушался Калокир.— Так, чего доброго, и зимовать придется в вашем Киеве-граде...

— Нет, Калокир, зачем зимовать! Впрочем, коли б и на зиму остался, не пожалел бы. Чуден Киев и Днепр в летнюю пору, но не худо у нас и зимой...

— Все же хотелось бы получить ответ, пока тепло, а не в стужу.

Вскоре Калокир получил ответ.

До рассвета еще далеко, но стража на городницах дает знать, что ночь на исходе. Перво-наперво несутся медные звуки бил с главной башни, над Подольскими воротами: «Бля-а-ам!.. Бля-а-ам!.. Бля-а-ам!..» — словно о чем-то они просят...

И тотчас по всей стене им отзываются била — на башне, что высится над ручьем, на Берестовской, над воротами у Перевесища.

Одновременно раскрываются Подольские и Перевесищанские ворота, а на фоне еще серого неба видно, как по ту сторону ворот уже ждут дворовые, которые привезли всякую снедь из княжьих сел. Они медленно въезжают на мосты, гулко отдается в сводах ворот лошадиный топот.

Гора оживает. То тут, то там вспыхивают огоньки в домах по главному концу от Подольских ворот до Берестовской башни, в княжьих теремах, службах, крыши которых чернеют налево от главного конца до самой стены; еще больше огоньков вспыхивает справа, в теремах воевод да бояр, и далее у Перевесищанской стены, где живут купцы, княжьи и боярские ремесленники, кузнецы, простые дворовые, всякая чадь, рабы да черные люди.

Но не только огни показывают, что Гора проснулась, весь город уже шумит, как потревоженный улей. На городницах сменяются стражи, а они всегда одинаковы: ночью ходят неслышно, а чуть день — дерут глотки...

— Гей, там, над ручьем, чьи лодии прибыли ночью? — слышится с башни сильный хриплый голос.

— Из Родни... Ро-о-дни! — доносится откуда-то снизу, из тумана.

— А чьи стоят на плесе?

— Переяслав... Остер... Чернигов...

Во всех концах Горы ржут лошади, ревут коровы, поют петухи, скрипят двери, звучат мужские и женские голоса. Где-то глухо бьет молот, где-то плачет ребенок. А из-за городской стены, из пробудившихся лесов и долин, несется многоголосый птичий гомон.

Но оживленнее всего у княжьего терема: отовсюду тянутся туда воеводы и бояре, в серой мгле вырисовываются их темные фигуры, слышится громкий разговор, звон оружия, посохи с железными наконечниками, ударяя о камни, высекают искры...

В Золотой палате темновато, два высоких серебряных подсвечника стоят на помосте, по бокам старинного деревянного, с высокой спинкой княжеского стольца, еще несколько — по углам. Их тусклый свет вырывает из холодной полутьмы очертания бревенчатых стен, на которых висят древние шлемы, кольчуги и княжеское оружие, падает на черный резной потолок, на матицы, с которых спускаются позолоченные паникадила, на скамьи вдоль стен.

Но вот несколько гридней распахивают тяжелые двери, и в палату медленно вступают бояре и воеводы. Некоторые из них — старейшие, мужи нарочитые — направляются прямо к скамьям и садятся там, опираясь на посохи. Другие толпятся посреди палаты и тихонько беседуют.

Бояре и воеводы, как всегда, одеты богато, на них княжьи награды и знаки — гривны, цепи, кольца с печатями. На совет с князем в Золотую палату они пришли, разрядившись в бархатные или полушерстяные платны, подпоясались широкими кожаными, золотом шитыми поясами, обулись в красные или зеленые сафьяновые сапоги. У воевод золотом и серебром тканные платны, а крыжи мечей сверкают драгоценными камнями.

В это утро князь Святослав вышел из черневших тут же, за помостом, дверей не один. По правую руку шла княгиня Ольга, позади — Свенельд. Обойдя помост, воевода остановился у стены, подле скамей.

В палате раздались приветствия:

— Здравы будьте, княже с княгиней!

Князь Святослав ответил:

— Здравы будьте и вы, бояре мои и воеводы

Князь и княгиня-мать сели.

В палате воцарилась тишина; кто сидел — казалось, прилип к холодной стене, кто стоял — боялся шевельнуться.

— Бояре мои и воеводы! — начал князь.— Днесь созвал я вас, чтобы говорить про Русь, про живот наш, будущность нашу.

В узких, высоких, с круглыми стеклами окнах княжьей палаты забрезжил голубой рассвет, он смешивался с мерцающими огнями свечей, и лица собравшихся казались бледными.

— Бояре и воеводы,— продолжал Святослав,— как жили мы раньше и как живем ныне? Отцы наши и деды,— он поглядел на доспехи князей, на шлемы, в прорезях которых, под забралами, казалось, светились глаза,— отцы и деды, объединив роды и племена, боролись с врагами, которые с оружием шли на Русь, и побеждали. Но враги не дремлют и днесь, они жаждут нашей гибели и готовят поход, чтобы завладеть нашими землями.

— Хозары? — доносится голос из палаты.

— Печенеги? — спрашивает кто-то.

— Неужто греки? — раздается сразу несколько голосов.

— Хозары разбиты, им уж не брать больше дани с Руси,— отвечает князь Святослав.— С печенегами мы живем в согласии. Поход готовят императоры Византии — Нового Рима.

— Так чего же, княже, мы терпим?! — восклицают воеводы, хватаясь за мечи.

— Уже по всем окраинам ромеи убивают наших купцов...— говорит кто-то хриплым голосом.

— Уже закрыты все пути из земли нашей.

— Почто, княже, дозволяешь им приезжать к нам? — звенит еще один отчаянный, пронзительный голос.— Вон греческие хеландии все лето стоят на Почайне...

В палате становится светлее, Святослав видит бородатые злые лица бояр и воевод. Все они уже повскакивали со скамей и бьют посохами об пол.

— С давних пор,— снова говорит князь,— ромеи клятву дают жить в мире и дружбе, а на деле замышляют брань и тщатся уничтожить Русь. С давних пор, словно тати, крадутся они к нашим землям, ставят города над нашим морем, построили Саркел, чтобы преградить нам путь на восток. Это они насылали на нас хозар, печенегов и прочие орды... Но мы отбивались от них, купно с нами боролись болгары. Когда отец мой Игорь вместе с кесарем Симеоном шли на Константинополь, императоры дрожали, аки лоза, на песку седяща...

— Так пойдем же, княже, купно со болгарами на Константинополь! Веди нас! — гремело во всех углах палаты.

— Коли бы мы пошли ныне с болгарами купно,— ответил князь Святослав,— то снова водрузили бы наш щит над вратами Царьграда, но в Болгарии сидит не Симеон, а Петр, он подружился с императором так, что ныне не угадаешь, где кончается империя и начинается Болгария. И хоть они сейчас и враждуют, очи Петра смотрят не на Киев, а на Константинополь...

Святослав умолк и взглянул на мать. Ольга сидела, закрыв глаза; все в княжьей палате безмолвствовали.

— На греческих хеландиях, что стоят на Почайне,— продолжал князь Святослав,— прибыл к нам из Константинополя василик. Он привез с собой пятнадцать кентинариев золота, чтобы я роздал его вам и всей дружине и вел вас на болгар...

— А скажи, князь, сколько болгар требуют убить за это золото императоры? — гневно крикнул старый, седой воевода Хрум, стоявший впереди всех, неподалеку от помоста.

— Немало, воевода, немало... десять, двадцать, а то и тридцать тысяч.

— Дешево же ценят императоры человечью кровь! — еще раздраженнее крикнул воевода Хрум.— Слыхали? Две тысячи людей за греческий золотник.

Палата бушевала, точно Днепр в непогоду.

— Воевода Хрум правду сказал о греческом золоте! — крикнул князь Святослав, подняв руку, чтобы унять страсти.— Императоры ромеев хотели бы, чтобы я продался им за то золото, собрал дружину, перешел Дунай, истребил елико можно больше болгар, да и свою дружину загубил, а потом Византия замирится с кесарем, захватит Болгарию, утвердится на Дунае, покорит в свой черед и Русь...

— Это черная измена, княже! — кричали все в палате.— Не верь, княже, грекам! Не ходи в Болгарию...

— А потом что? — спросил князь с едва заметной усмешкой.— Аще не пойдем, императоры покорят Болгарию, выйдут на Дунай, содеют там середу своей земли[1] и ударят на Русь...

Великую задачу задал князь Святослав боярам и воеводам, и они, притихнув, в глубокой задумчивости стояли среди палаты.

— Думал я,— прерывая напряженное молчание, продолжал Святослав,— как спасти Русь и как защитить Болгарию. Мы держали совет с княгиней, я уже посылал, бояре мои и воеводы, к кесарю болгарскому Петру тысяцкого Богдана с дружиной, давал ему хартию, писал кесарю, что за поход на Болгарию Византия сулит мне золото, и еще писал, что Русь ради золота не воюет, почему предлагал ему идти купно войной на Византию... «Занеже,— писал я,— ты, кесарь, не согласен, то я иду на тя, чтобы потом не с тобою, а со всеми болгарами бороться с Византией...»

— И какой ответ привез тысяцкий Богдан?

— Тысяцкий Богдан не смог привезти ответа — кесарь Петр покарал его смертью.

— Злодей! Убийца! — загремели голоса.

И еще громче, еще грознее, точно волны, что бьются о скалы, загремело:

— Веди нас, князь, на греков, на Петра! Пойдем как один за тобою... Веди нас, княже! Пройдем через все земли. Веди!

Князь Святослав смотрел на кипящее людское море. Он понимал бояр и воевод. О, теперь они едины, знают, что Византия готовит им ярмо и смерть! А разве не то же скажут люди всей Русской земли, когда он кликнет клич?

Святослав поднял руку, в которой засверкала булава — знак власти киевских князей. Казалось, камни на золотом яблоке вобрали в себя весь блеск светильников, все краски врывавшегося в палату сияющего утра.

— Воеводы мои и бояре! — торжественно произнес князь Святослав, и слова его прозвучали как клятва.— В сей час на

---

[1] Создадут там опору (крепости) для своей земли.

нас смотрит Русь, и да слышит она! Мы, рода русского киевские князья, воеводы, бояре и все люди земли Русской, стоим на том, что, не щадя живота, будем бороться за Русь с императорами ромеев и кесарем Болгарии.

Это была необычайная и решающая для всей Руси, для ее людей и далеких потомков година. Не впервые шла Русь на Византию, с большими и малыми дружинами ходили туда и Олег и Игорь, но это были малые брани, раны от них давно уже зарубцевались.

Теперь надвигались иные, трудные времена. Византия задумала поглотить Русь, как поглотила Азию. Она хотела на долгие века надеть на Русь ярмо и сделать рабами ее сынов.

Но Русь не станет носить византийского ярма, русские люди не будут рабами Византии. С булавой в руке князь опустился перед щитом и мечом на колени. Загудел пол в Золотой палате — на колени упали воеводы и бояре. Завтра вся Русь, коленопреклоненная, произнесет священную клятву.

— К Перуну! К Перуну! — гремело в палате.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Князь Святослав знал, как трудно будет бороться Руси с империей, у которой лучшая в мире рать, и потому готовился к войне так, чтобы обрушиться на врага всей силой, а самим пролить меньше крови.

В отличие от Олега и Игоря, которые ходили к Константинополю только на лодиях, князь Святослав решил двинуться и по морю и суходолом. Да и врагов теперь было два — император и кесарь. Значит, и войск требовалось вдвое-втрое больше, чем в прежних походах, тысяч пятьдесят — шестьдесят.

Прежде всего князь велел готовить к далекому походу лодии. Он хотел посадить на них тысяч двадцать воинов. В каждой лодии могло плыть тридцать — сорок воинов; требовалось около пятисот лодий — и не долбуш-однодеревок, а набойных лодий — насадов с настилом.

Лодии строили все земли Руси: Чернигов, Любеч, Смоленск, Новгород, верхние земли. В первую же весну с полой водой по Днепру, Десне, Припяти поплыли к Киеву плоты и вереницы

однодеревок, выдолбленных или выжженных из дуба, липы, вербы.

Ниже Киева, в Витачеве, плоты эти и однодеревки встречали опытные древоделы. Они вытаскивали колоды и однодеревки из воды, однодеревки высушивали, а из колод пилили и тесали доски. Тут же, на берегу, ставили в несколько рядов подпорки для будущих насадов, выжигали на кострах и гнули крепкие дубовые брусья — кокоры, из коры и лозы готовили гужбу.

В это же время к Витачеву, через Перевесище и Берестовое, ехали и ехали возы — на них везли разную кузнь, которую мастера железа ковали в предградье: топоры, тесла, долота, крученые гвозди.

Работали день и ночь. Далеко вдоль Днепра горели костры, пахло смолой, слышны были людские голоса, стук топоров, сухие удары тесел.

И уже вдоль витачевского берега вырисовывались остовы будущих лодий: днища долбленые, кокоры прибиты железными гвоздями, к кокорам набивались или привязывались гужбою ряд за рядом доски-насады, поверх которых клали настил. Это были настоящие корабли, которым не страшно и море.

Неспокойно было в эту пору и в предградье, где в хижинах и землянках жили кузнецы, теснились седельники бок о бок с усмарями, а подле раскаленных печей возились скудельники.

С рассвета на днепровских кручах вились дымки, хрипели кузнечные мехи, ухали по наковальням молоты; подле хижин усмарей перехватывало дух от смрада кож и квасов; скудельники целыми семьями разминали в ямах зеленоватую и красную глину.

Больше всего дела было у кузнецов железа и меди. В их прижавшихся к горе корчийницах дни и ночи не угасали горны, свистели мехи, били по наковальням молоты. Сколько и какой только кузни не готовилось для дружины князя и воинов! Оружие ковали из железа и меди; лучшие дружинники заказывали мечи харалужные или из железа, закаленного в моче рыжего паробка либо черного козла. Такое железо, говорили воины-бывальцы, не щербилось, не тупилось. А рыжих юношей да черных козлов в предградье было хоть отбавляй.

И кузнецы ковали обоюдоострые полянские мечи, кривые, похожие на персианские или хозарские, сабли, длинные и острые копья, широкие секиры, легкие топорики, ножи для сулиц и маленькие, но чрезвычайно острые наконечники для стрел... Лучшие кузнецы сваривали из колец или клепали из пластин кольчуги и шлемы, готовили обручи для щитов: медные — дружинникам, золотые и серебряные — воеводам; украшали оружие чернью, вделывали драгоценные камни.

Недалеко от кузнецов, а часто и совсем рядом в больших бочках разводили квас усмари. Они мочили в нем шкуры, разминали их тут же, на траве, руками и сбивали мездру. И из умелых рук усмарей выходила добротная усма — красный и зеленый сафьян...

Близ усмарей жили чеботари, седельники. Они тачали из сафьяна сапоги с высокими голенищами и коваными каблуками, прошивали золотом, подбивали серебряными гвоздями — для воевод и тысяцких. Гнули тупоносые поршни, с длинными завязками — для княжьих дружинников. Седельники обтягивали толстой свиной усмой деревянные колодки, обивали седла золотыми и серебряными гвоздями, шили уздечки, поводья.

А разве мало было дела скудельникам? В далекой дороге дружине и есть и пить нужно. И они делали из глины горнцы, корчаги, плосквы, обжигали все это гончарное добро в печах, обливали его горячим крепким рассолом из капусты, чтобы посуда была как кремень!

Не засыпало предградье и по ночам. Гора тонула во мраке, над Почайной и на Подоле гасли огни, а в предградье то тут, то там, прорезывая мрак, поднималось багряное пламя — это кузнецы варили в глиняных домницах железо либо скудельники обжигали в больших печах посуду.

## 2

А в то же время через степи и леса, через реки и вязкие топи мчались на конях, плыли на челнах, просто шагали со своими дружинами воеводы и мужи нарочитые — князь Святослав звал людей всех земель Руси идти на рать против ромеев.

С дружиной воеводы Гудима отправился в Новгород и Добрыня. Путь был далекий, долгий, месяца на три. Поначалу приходилось плыть на лодиях до Верхнего Волока, дальше тащить лодии до Ловати, а там уж снова на веслах до самого Новгорода. Гудиму надлежало сидеть в городе, пока не соберется войско. Только с наступлением весны, в половодье, Добрыня мог вернуться в Киев.

С тяжелым сердцем отправлялся он в далекую дорогу. Охотнее побывал бы он в это время в Любече, посетил отца с матерью, посоветовался с ними. Но туда двинулась другая дружина. Болело сердце у Добрыни и о Малуше, но он не знал, чем ей пособить. Однако больше всего беспокоился Добрыня о своем любимце Владимире — живет княжич в тереме у княгини Ольги в достатке и богатстве, а все-таки трудно ему, нет любви и согласия у него с братьями Ярополком и Олегом. Дворовые, а особенно ключница Пракседа, всячески стараются обидеть отрока. Конечно, никто вслух не говорит, но известно и так: княжич

Владимир — рабичич, простого рода, не горянский, а подолянский, а может,— думали люди, но помалкивали,— и любечанский.

Хорошо, что Добрыня не отходил от него. Мудро поступил князь Святослав, приставив Добрыню к Владимиру дядькой. И Добрыня воспитывал Владимира, как водилось в его роду: будил на рассвете, купал летом и зимой в холодной воде, учил стрелять из лука, рубиться мечом, скакать на коне, ходить на ловы.

И рос княжич Владимир смелым, мужественным, совсем не таким, как Ярополк и Олег, которых воспитывала княгиня Ольга. Да и не похож он был на них: те — хилые, вялые, а Владимир — крепкий, как дубок, неразговорчивый и задумчивый, страстный, но сдержанный, как огонь, что тлеет под тонким слоем пепла, как свежий ветер на Горе.

Был он темноволосый, кареглазый. Изо дня в день, из года в год, когда бы ни взглянул на княжича Добрыня, ему казалось, что видит он Любеч, родное городище, отца и Малушу. Такой, именно такой была когда-то его сестра!

Правда, иной стала Малуша позднее, когда прогнала ее с Горы княгиня Ольга. Добрыня был хорошим братом и если не мог спасти честь сестры, то всячески старался помочь в беде. Он часто ездил в Будутин, помогал Малуше, пытался дать ей немного золота, серебра. Но Малуша не брала у брата ни золота, ни серебра. «Это княжье,— говорила она,— а ничего княжьего я не хочу... Не надо, ничего не надо мне, брат!»

И в самом деле, сестра ничего не хотела, хлеб она, вместе с Желанью, зарабатывала на княжьем дворе. А после смерти Желани Малуша трудилась одна; в землянке у нее было пусто, но Малуше казалось, что ей ничего и не нужно.

Она только жадно расспрашивала брата, когда тот приезжал в Будутин, как живет и здоров ли Святослав, как растет и мужает ее сын Владимир: «Какие у него глаза? Какие руки? Какой голос?»

И все-таки, как ни хотелось Малуше, чтобы брат погостил в Будутине подольше, она вдруг обрывала беседу, поднималась и говорила: «Что ж, поезжай, Добрыня, ведь Владимир там один...»

И Добрыня садился на коня, уезжал, а Малуша долго еще стояла на скале над Росью и глядела ему вслед — такая же стройная, только очень худая, как былинка; те же карие глаза, но с множеством морщинок вокруг; те же уста, но горестно сжатые от боли, да еще слеза на щеке. Нет, нет, не той уж была Малуша!

А когда после поездки Святослав звал его к себе в светлицу и расспрашивал о Малуше, Добрыня замечал, что и князь был уже не прежним — те же серые глаза, те же напряженно стис-

нутые губы, прядь волос, длинные усы, но морщины все глубже бороздили его лоб, а прядь на голове и усы подернулись серебром. И князь Святослав изменился, как все на свете.

Но одного не мог понять Добрыня. Каждый раз, когда он возвращался из Будутина, его вызывала к себе княгиня Ольга. Как всегда, расспрашивая его о княжиче Владимире, она исподволь выпытывала, не ездил ли Добрыня случайно в Будутин. И если ездил, то видел ли Малушу, о чем они беседовали, здорова ли она, не нуждается ли в чем...

Добрыня рассказывал княгине о Малуше все, что знал. Но почему это могло интересовать княгиню Ольгу, почему она обо всем так расспрашивает, а выслушав ответ, задумывается и вздыхает, этого дядька княжича Владимира не понимал.

Не понимал Добрыня и того, почему княгиня Ольга так часто приходила из своего загородного терема на Гору, к внуку Владимиру. А когда князь уехал на брань с хозарами, то взяла Владимира к себе, баловала и не чаяла в нем души.

Но юный княжич не отвечал на ее любовь, уклонялся от ее ласки, он любил только князя-отца и Добрыню.

Конечно, князь Святослав это понимал и потому никогда не брал Добрыню с собой в походы, не послал бы его и теперь. Но, зная, видимо, о Новгороде больше, чем другие, сказал Добрыне:

— Едешь ты, Добрыня, с воеводой Гудимом в Новгород собирать войско. Но думай не только об этом. Велика земля Новгородская, добрые люди там живут, однако далеко до них, Верхний Волок между нами точно стена стоит. Сойдись с людьми, потолкуй с ними, о Киеве расскажи, о Новгороде послушай.

И Добрыня поехал за Верхний Волок, в верхние земли Руси.

### 3

В Любеч волостелин Кожема с небольшой дружиной примчался к вечеру. Кони были в мыле, всадники шатались, как пьяные. Но задерживаться надолго не приходилось, предстояло ехать в иные села над Днепром, и любечанам было велено тотчас же собираться.

Вместе со всеми пошел и Микула. Собрались они за городищем над Днепром — там испокон веку был торг, устраивались игрища и празднества; за городищем же, в поле, покоились в курганах старейшины да и простые люди их рода.

Все стояли на круче и слушали волостелина Кожему, который, с золотой гривной на шее, сидел на коне и говорил:

— Великий князь киевский Святослав велел поведать людям своим, что греки испокон веку творили Руси великое зло, ныне же обманно замыслили убийство и смерть: думают поработить соседей наших — болгар, а потом и нас...

— Князь Святослав велел поведать людям своим,— продолжал Кожема,— что должны мы встать за честь и славу нашу, по завету отцов идти на врага. За собою кличет вас великий князь на рать!

Микула внимательно, не пропуская ни единого слова, слушал Кожему. Когда же он произнес: «За собою кличет вас великий князь Святослав на рать!» — Микула поглядел по сторонам.

Он думал, что из толпы его односельчан один за другим станут выходить почтенные люди, которые в давние времена были на брани — ведь она приносила им дань и славу,— выступят Бразд и Сварг, выйдут Гордин и Пушта. Микула думал: их будет столько, что ему не найдется места. Да и разве Микуле идти на рать — у них и кони и оружие, а у него голые руки.

Но почему же не выходит вперед, не подает голоса Бразд, Сварг? Только теперь Микула заметил, что Сварга между ними вовсе нет, а издали долетает звук ударов его молота — Сварг ковал кольчуги, мечи. Не выступили вперед и Гордин, Пушта — они стояли в сторонке и о чем-то толковали между собой.

— Мужи! — слегка растерявшись, с тревогой в голосе крикнул Кожема.— Земля наша в опасности, нам и детям нашим грозит смерть. Либо ромеи, либо мы... Князь Святослав кличет всех своих людей.

Часто и сильно забилось сердце в груди у Микулы. Теперь он был уверен — все выйдут вперед, их зовет князь Святослав, земле грозит великая беда, смерть готовят им ромеи.

Но снова никто не вышел. Стоя около коня, Бразд говорил о чем-то с волостелином, Сварг ковал оружие, Гордин и Пушта молчали.

И тогда Микула вспомнил своего отца Анта, вспомнил его слова о неведомом кладе, который Микула должен охранять, вспомнил, как отец говорил о том, что придут иные времена, другие люди, но Микула должен остаться таким же, должен помнить и охранять родную землю...

И если Микула раньше никак не мог понять, о каком кладе говорил отец, как и не знал того, где его искать, то сейчас ему казалось, что он все понял.

Он понял, что любит больше всего на свете Днепр, синие горы над ним, зеленые луга и желтые косы, теплое небо над собою, жену и детей, людей, которые стоят рядом с ним на холме, и за все это готов отдать свою кровь и жизнь.

Микула сделал шаг, другой, третий, остановился перед Кожемой и сказал:

— Иду на рать!

Волостелин окинул взглядом высокого, широкоплечего, жилистого Микулу, который смущенно переминался с ноги на ногу, и сказал:

— Добро, воин!

А вслед за Микулой стали выходить и другие люди из селищ — пожилые, молодые, совсем юные... Их становилось все больше и больше, только Бразд продолжал тихую беседу с волостелином.

Микула медленно возвращался домой; на валу городища он долго стоял и глядел, как расходятся во все стороны любечане. Поехал и Кожема, рядом с ним, держась за стремя, шагал Бразд — он вел волостелина к себе в новый терем. Когда они скрылись вдали, Микула спустился с вала и вошел в свою землянку.

Усевшись подле очага, он сказал Висте:

— Так вот, ухожу я, Виста! Собери-ка ноговицы, две сорочки и постолы. Далеко ухожу, на рать.

Виста всплеснула руками:

— Ты — на рать? Но куда?

Задумчиво глядя на огонь, на красные и желтые языки пламени, Микула ответил:

— На ромеев... далеко-далеко!

Висте трудно было понять, против кого и ради чего Микула идет на рать, и она спросила:

— Ты хочешь получить дань и стать таким же, как Бразд?

— Нет,— ответил Микула,— не за данью я иду и не стану таким, как Бразд.

— Значит, хочешь обновить отцовскую землянку и клети, купить лошадей, засыпать ямы житом?

— Ты многого хочешь,— сказал Микула.— Все сделаю, но после войны.

— А Бразд и Сварг идут на рать? — спросила Виста.

— Нет...

— Боги! — воскликнула Виста.— Богатый брат остается, хотя ему и есть что защищать, а ты, дерюжник, рваная свита, ты идешь. Зачем?

Микула долго молчал, потом, почесав затылок, неторопливо ответил:

— Бразд не идет потому, что ему нечего защищать! Свое богатство? Да если сюда и придут греки, с ними он не поссорится. Ворон ворону глаз не выклюнет, грек и Бразд друг другу зла не учинят... Вот меня он обманул — закуп я у родного брата, скоро-скоро обельным холопом его стану. А что делать — приди сюда грек, чует мое сердце, ярма у них готовы на выи наши, пропадем мы все и наша земля...

Микула долго глядел на огонь. Что в нем есть? Почему он дает людям тепло? И нет ли такого огня в людях?

— И еще вспоминаю я отца Анта,— упорно о чем-то думая, тихо продолжал Микула.— Он говорил о закопанном за городищем, над Днепром, кладе. А что за клад? Да это земля, на которой жили отец Ант, деды Улеб, Воик, все пращуры... И я хочу

жить, хочу, чтобы жили ты, Добрыня, Малуша. Но не дают ромеи, идут на нас. Бились с ними и побеждали их наши отцы и деды, а теперь я слышу их голоса, они говорят: «Ступай, Микула!» Вот я и должен идти. Собери мне ноговицы, две сорочки, постолы, а больше ничего мне не нужно.

Виста глубоко вздохнула. Сказать по правде, она не поняла всего, о чем говорил Микула, но одно, главное, ей стало понятно: Микула должен идти против неведомого врага — иначе погибнут леса, Днепр, земля, все люди. И Виста промолвила:

— Тогда и я с тобой, Микула! Ведь раньше жены шли с мужьями на рать. И мои руки там понадобятся.

— Нет, Виста! — ответил Микула.— Раньше войны были иные, сейчас они трудные и жестокие. Негоже тебе идти со мной!

И они вместе вышли из хижины и стали у порога.

Солнце закатилось. Краски меркли на небосклоне, как цветы, тронутые морозом. Над Днепром, над лугами и селищами царила тишина. Только со стороны леса доносились удары молота и звон железа.

Это Сварг ковал ратным людям оружие — мечи, копья, наконечники для стрел. Будь у Микулы чем расплатиться, он пошел бы к Сваргу, заказал себе меч с серебряным крыжем и золотым яблоком, и не простого железа, а харалужный, обоюдоострый, чтобы не щербился на черепах ромеев. Но у Микулы ничего нет, а Сварг, хоть и брат, даром ничего не сделает...

«А ведь есть у меня оружие, и, должно быть, не хуже»,— подумал Микула.

— Погоди,— сказал он Висте и скрылся в хижине.

Вскоре Микула появился на пороге. Виста даже не узнала его — с шлемом на голове, со щитом в руке, длинным мечом у пояса.

— Ты — словно отец Ант! — вырвалось у Висты.

Постояв, Микула шагнул вперед, со скрежетом вытащил из ножен заржавевший меч и взмахнул им.

— Против такого оружия ромеям не устоять,— сказал он.

Они вернулись в хижину и сели у очага поесть. Увидав за очагом на уступе, среди богов, оберегу отца, которую Ант всегда брал на брань, Микула взял ее в руки. Это была вылитая из серебра, порядком стершаяся, покрытая прозеленью фигурка женщины с вытянутыми вдоль стана руками, маленькими грудями и крошечными ножками. Голова женщины заканчивалась колечком, в него была продета цепочка, которую надевали на шею.

Сколько рук держало эту фигурку?.. Ее носил на шее, уходя на брань, отец, носили дед Улеб, прадед Воик, а может, и далекие пращуры. Делалось это недаром: фигурка изображала Мокошу, богиню плодородия, дававшую людям рождение, хлебу —

рост, земле — плоды, всему сущему — жизнь. В далеких походах, как рассказывал когда-то Микуле отец, Мокоша напоминала о родной земле и, как богиня этой земли, оберегала того, кто ее носил.

Микула взял фигурку, бережно вытер и долго глядел на нее, угадывая в ней черты Мокоши, потом надел на шею, под сорочку. Пусть оберегает его!

И вышли из селищ над Днепром мужи и юноши одного из древних полянских родов. Кто с мечом и щитом, кто с копьем и луком, кто с одним топором, а у Микулы, сына старейшины Анта, были древние, дедовские шлем, меч и щит.

Перед ними стелилась далекая, трудная дорога, сначала — в Киев, а дальше — на ромеев. Они знали, что многие не вернутся с брани, как это неизменно бывало до них и будет после них, но не сетовали, не тужили, а шли на войну, как на тяжкий труд.

И когда за вершинами гор скрылись родные землянки и хижины, кто-то затянул, а другие подхватили:

Широкий Днепр наш, Дунай глубокий,
Мосты поставим через все море,
Главу отрубим царю ромеев,
Принесем дому и честь и славу...

В эту пору по всем дорогам Русской земли, а часто и без дорог, по всем рекам, что текут с севера на юг, а подчас и волоком от одной реки к другой спешило пешком, на конях и на лодиях великое множество таких мужей и юношей.

Русь поднималась против ромеев.

## 4

В Киеве воины земель русских останавливались в предградье, на Подоле, по всей Оболони; немало их — благо стояло вёдро — дневало и ночевало у Почайны и Днепра.

Микуле повезло. Придя в Киев вместе с любечанскими воями земли Черниговской ранее воев иных, дальних земель, он нашел себе приют в предградье, у кузнеца Мутора.

Немало чудес довелось повидать Микуле в корчийнице Мутора, который справедливо считался лучшим кузнецом предградья. Он варил железо, медь, серебро, делал любую кузнь — мечи и шлемы, миски и братины, гривны и перстни; его даже называли вещуном — кудесником.

А какой на самом деле был кудесник Мутор? Большая семья: жена Талка, два сына, две дочери — все они ютились в

тесной хижине, спали вповалку на земле. Сам Мутор и работал и ночевал в корчийнице, подле кузнечного меха. И все же он дал Микуле уголок рядом с собой, беседовал с ним тепло, душевно.

В корчийнице Микула внимательно приглядывался ко всему, частенько и помогал Мутору. Было что-то таинственное, непонятное в сверкающих искрах, которые вырывались из-под меха и растапливали железо, серебро, медь. Широко раскрыв глаза, глядел Микула на Мутора, когда тот цедил из ковшика в форму жидкий металл, а позже вынимал оттуда гривны, перстни, лунницы.

И все, все вокруг казалось странным и непонятным для Микулы, который жил до сих пор вдали от Киева, в веси над Днепром,— и предградье, и Подол, и Гора. Выйдя из корчийницы, он часто стоял и смотрел на Гору, на крутые склоны, вал, стену с башнями...

Выходил из кузницы и Мутор.

— Что, Микула, на Гору глядишь?

— Да вот гляжу и думаю: что там?

Мутор улыбался.

— Там, на Горе, за частоколом, валом и высокими стенами, живет князь с дружиной, боярами, воеводами. Туда, Микула, попасть нелегко — есть земля, есть Гора, а мы живем в предградье, между небом и землей...

— А как бы мне туда попасть, на Гору? — спрашивал Микула.— Мой сын Добрыня — дружинник у князя, да и дочку давно когда-то взяли на княжий двор.

— О Добрыне узнать нетрудно,— ответил Мутор,— сходи на торг — там всех дружинников знают.

— Что же ты замолчал, Мутор? Разве княжьи дружинники недобрые люди?

— Дело не в том,— промолвил Мутор,— что дружинники плохие люди, только, видишь ли, их очень недолюбливают у нас в предградье. Что делает княжья дружина? Спит, ест да еще пьет меды из княжьих медуш. Впрочем,— добавил он,— теперь и ты дружинник...

Микуле стало горько от этих слов: ведь он шел не ради еды и питья.

— Это я пошутил,— поправился Мутор, заметив, как съежился Микула.— Ты, брат, не дружинник, а воин. Я тоже, если понадобится, стану воином. А дружинником не хочу — негоже мне ходить за данью...

В это время на Боричевом взвозе появились дружинники, и Микула с Мутором долго смотрели, как они спустились к Днепру и стали купать лошадей.

— Добрыню ты разыщешь,— повторил Мутор.— Ступай на торг, спроси. Вот дочь найти труднее — князей много, и у каждого дворов немало.

— Княгиня Ольга ее взяла...

— А ты думаешь, у княгини Ольги один двор? Нет, брат мой, есть у княгини двор и на Горе, и тут, за городом, в Вышгороде, в Ольжицах, в Будутине. Хороша наша княгиня Ольга да много дворов имеет.

О Добрыне, как оказалось, разузнать было очень просто. Первый же дружинник, к которому робко приблизился на торге Микула, ответил, что знает Добрыню-любечанина. Однако тут же добавил, что Добрыня недавно уехал в Новгород и вряд ли этим летом вернется. Значит, Микуле нечего было искать Добрыню.

Пытался Микула расспросить кое у кого на торге и о дочери, но какова она собой, как попала в Киев, где работала, толком объяснить не мог.

— Была у меня дочь,— говорил он,— молодая, кареглазая, взяла ее княгиня, а куда — не ведаю...

Кто и что мог ответить на это отцу, у которого болело сердце по дочери, который видел ее даже во сне такой, какой ушла она из землянки над Днепром?

Так Микула долго и тщетно пытался что-нибудь узнать о Малуше на Подоле, и вдруг какой-то подолянин-седельник сказал ему:

— А почему бы тебе, человече, не сходить на Гору самому?

Микула поднял глаза.

— Да разве туда пустят?

— Почему не пустить? Лишь бы по делу... Хочешь — пойдем со мной. Надо мне снести воеводе седла. Если поможешь, пойдем.

Микула охотно согласился помочь, взвалил одно седло на шею, два взял под мышки и двинулся вслед за седельником, который тащил на спине несколько седел.

Так они и поднялись на Гору. Микула боязливо прошел следом за седельником через ворота и очутился на большом дворе, где стояли княжьи терема да хоромы бояр и воевод. Позднее, когда Микула старался припомнить, что он видел на Горе, все путалось у него в голове: обливаясь пóтом, шел он мимо каких-то теремов, хором; в одном месте Микула приметил Перуна с золотыми глазами, серебряными усами — перед ним горел огонь... Все это напоминало Микуле дивный сон, и он не знал, где кончался сон и начиналась явь.

Хорошо запомнилось только одно: когда они отнесли седла во двор какого-то воеводы и Микула остался один, он отступил в сторону, чтобы не попасть в людской поток, прошел через сад и очутился у городской стены.

В этом уголке княжьего двора было безлюдно и тихо. У самой стены стояли старые груши, на их ветках — ульи. Микула

даже испугался: на ульях были такие же знаки, какие он когда-то видел в лесу.

Присев под одной из груш, он вспомнил ту далекую ночь, когда острым топором стесывал знаки с деревьев — только щепки летели на залитую лунным светом траву.

А теперь он в Киеве, на Горе, и опять над ним знаки, а скоро, может быть, завтра, он пойдет с князем против ромеев, и этот знак-знамено будет развеваться над ним...

«Что же случилось? — думал он.— Чей я теперь и какое знамено мое?»

В это время на тропинке вблизи стены послышались шаги. Микула вскочил и увидел, что к нему приближается женщина, еще молодая, красивая, в светлом платне, со связкой ключей в руке.

Заметив Микулу, женщина остановилась — она, видно, не ждала, что кого-нибудь здесь встретит, и очень удивилась, но взгляд ее был ласков, на губах играла улыбка.

Микула низко поклонился женщине, а она приветливо кивнула головой.

И тогда, обрадовавшись, что ему встретилась хоть эта женщина, Микула подошел ближе и сказал:

— Дозволь мне, жено, спросить. Была у меня дочь... Малуша. Давно когда-то взяла ее к себе княгиня Ольга. Вот я и зашел сюда ее поискать.

Женщина вздрогнула — верно, не ждала, что этот человек подойдет к ней, да еще и заговорит,— даже ключи зазвенели в ее руке.

«А может,— подумал Микула,— она княжьего роду? Защити меня копьем своим, Перун, помоги спуститься с Горы на землю!»

Женщина смотрела на Микулу, и теперь он увидел, что глаза у нее не такие добрые, как ему показалось сначала, не таким красивым было и ее сердитое лицо.

— А ты почему тут очутился, на Горе? — спросила женщина.

— В Киев пришел и сюда, на Гору, попал потому, что иду на брань, за Русь и земли,— бормотал бессвязно Микула.

Тогда женщина вздохнула с каким-то, казалось, облегчением, поглядела на драную сорочку Микулы, на его лапти и почему-то улыбнулась.

— Знала я Малушу,— промолвила она,— встречались когда-то. Рабыней она была на дворе у княгини Ольги.

— Точно,— согласился Микула и засмеялся.— Я — холоп, дочка — рабыня, такие мы все, робьи люди... А жива ли она?

— Дочь твоя Малуша жива,— ответила женщина.

— Слава Перуну! — вырвалось у Микулы.— Где же она?

— Жива,— продолжала женщина,— только живет не в Ки-

еве. Она работала на Горе, да не справлялась, вот княгиня и отослала ее в свое село...

— Добро! — промолвил Микула.— Малуше, пожалуй, лучше в веси, нежели здесь, на Горе. Теперь мне больше ничего и не нужно. Лишь бы Малуша была жива и здорова. А если вернусь с войны, то разыщу ее, отвезу в свое село, к Висте. Скажи, кого благодарить мне, что узнал всю правду о Малуше, и как тебя величать?

— Пракседа я, ключница княжьих теремов.

— Хвала Перуну, что он свел меня с такой высокою женою! Спасибо тебе, Пракседа, за все и за Малушу!..

Микула хотел, видимо, еще что-то сказать, но не успел и сошел с тропинки.

— Это наш княжич Владимир меня ищет,— промолвила Пракседа.— Княжич, а княжич! Я тут! — крикнула она.

По тропинке быстро шел юноша в белом платне, подпоясанный золотистым шнуром.

— Пракседа! — крикнул он.— Я хочу пойти на городницы. По Днепру лодии из Новгорода плывут...

Но, увидя, что Пракседа стоит не одна, он умолк и, убавив шаг, подошел к ним.

Микула стоял и смотрел на княжича. Так вот какой Владимир, сын князя Святослава! Здоровый юноша, с добрым лицом, ласковым взглядом...

— Кланяюсь тебе, княжич! — тихо промолвил Микула.

Но почему, взглянув в глаза Владимира-княжича, Микула вздрогнул? Ему показалось, что он давным-давно видел эти глаза, смотрел в них, знает...

Но это длилось одно лишь мгновение — Микула никогда и нигде не мог видеть княжича Владимира.

«Гляди, какие добрые глаза у князей!» — только и подумал Микула.

Пракседе же показалось, что и княжич Владимир слишком внимательно поглядел на холопа Микулу, сделал даже почему-то шаг вперед. Но опять это длилось лишь мгновение, княжич снова повернулся к Пракседе.

— Я пойду на стену,— сказал он.

— Ступай, княжич, ступай,— ответила Пракседа.

И Владимир, направившись к стене, медленно стал подниматься на городницу. Микула долго смотрел ему вслед. Вокруг него летали и гудели пчелы.

Вечером Микула рассказывал Мутору:

— Ну, теперь я все разузнал. Добрыня уехал по велению князя собирать воинов, дочь моя, Малуша, была на Горе, а сейчас работает у княгини в селе. Все теперь знаю, хвала Перуну...

А что не повидались, то успеем в другой раз, после брани. Время терпит...

— А теперь, наверно, скоро будете выступать? — спросил Мутор.— Ждали, слышал я, новгородцев и воинов верхних земель. А ныне приплыли по Днепру и новгородцы, и чудь, и весь — разные земли. Ты погляди только, Микула, что творится на Почайне и Днепре!

— И верно,— согласился Микула, поглядывая на Почайну и Днепр, где стояли сотни лодий с диковинной резьбой и цветными ветрилами.— Немало, как вижу я, прибыло, велика наша Русь. Теперь и впрямь скоро двинемся. Спасибо тебе, брат мой, что пригрел в своей корчийнице! Когда-нибудь еще встретимся, поговорим...

— Почему когда-нибудь?

— А как же иначе?! Брань начинается, брат, и я иду!

— «Я иду»! — с досадой повторил Мутор.— Думаешь, мне легко, что ты идешь, а я — нет? Да разве только ты — вся земля поднялась, вся Русь...

— Кого князь кличет, тот и идет...

— Разве надо звать? — крикнул Мутор.— Слушай, Микула! Сам видишь, живется мне трудно. Кто я? Кузнец-кудесник. А что у меня есть? Погляжу вокруг — сердце надрывается... Кругом горы, Днепр как море. Любо мне все это: и город Киев, и Днепр, и эти луки.

— Любо,— задыхаясь, повторил Микула.

— Так как же я могу сидеть здесь, если вы уходите туда?

— Так ты пойдешь с нами?

— Пойду, брат, Русь зовет...

## 5

Вместе с воеводой Гудимом из далекого Новгорода вернулся и Добрыня. Новгородцы и вся словенская земля встретили их добром; побывали Гудим с Добрыней и у кривичей, полочан, мерп, клич киевского князя долетел до Кеми, Корелы, Чуди — тьму людей привел с собой воевода Гудим в Киев-город. Большинство приплыло на лодиях, захватив с собою для далекой, трудной дороги все необходимое, многие другие спешили за ними пешие и конные.

Князь Святослав еще раз держал совет с матерью, пригласил на беседу воеводу Свенельда и брата Улеба.

— На Днепре половодье,— говорил князь,— и наши лодии пролетят через пороги, как птицы. Но, думаю я, надобно нам добираться к Дунаю не только по Днепру. Часть нашей рати пусть идет на конях и просто пеше через Тиверскую и Уличскую земли, а там соединимся и перейдем Дунай.

— Добро решил, князь,— согласился Свенельд,— чтобы с большими силами стать у Дуная. В поле пройдем спокойно, там ныне тихо, тиверцы и уличи дадут подмогу. Прикажи идти, не будем терять времени, княже!

— Еще об одном думаю,— продолжал князь, глядя в окно на берег Почайны, где видно было множество воинов, а на плесе стояли сотни прибывших из земель лодий.— Лодии через пороги поведу я, пешее же и конное войско пусть ведут князь Улеб с воеводой Свенельдом...

— Верно рассудил, княже,— согласился Свенельд.

— А может, лучше князю Улебу остаться в Киеве? — вмешалась в беседу княгиня Ольга.— Тебя не будет — кто останется править землями?

— Ты, мать-княгиня, будешь править, как и раньше,— ответил Святослав.— Негоже сынам Игоревым дома быти, аще люди их идут на брань. Так ли я говорю, брат?

Князь Улеб, который сидел, бледный и задумчивый, возле окна, громко ответил:

— Воля твоя, князь, и как велит наша мать-княгиня.

С этими словами он низко поклонился княгине Ольге и с какой-то мольбой и в то же время покорностью посмотрел ей в глаза.

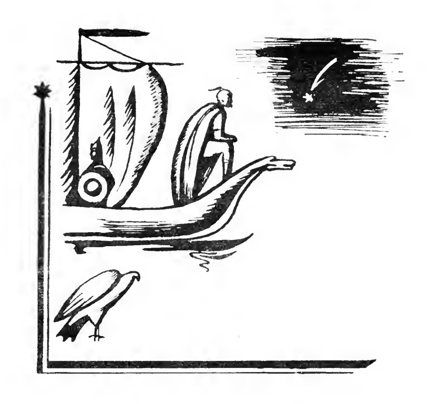
— Будет так, как сказал Святослав,— промолвила Ольга.— Я останусь оберегать Киев и земли.

— Тогда скоро и двинемся,— закончил князь Святослав.— Велика наша земля, добрые в ней люди, не ждал я, что столько их придет на мой клич! Вон они, ждут у Днепра.

Стоя у окна, он как зачарованный долго глядел на ярко-зеленые, усыпанные весенними цветами горы, на голубые воды Почайны и Днепра, на заднепровские леса и луки, на небо, по которому плыли нежные, почти прозрачные облака.

Князь Святослав не заметил даже, как подошли и стали позади, любуясь буйным цветением земли, небом, Днепром, княгиня-мать и Свенельд.

Только князь Улеб не подошел к окну. Опершись на руки, он сидел в углу светлицы и, будто в пустоту, глядел перед собой.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Было чудесное утро месяца травня 968 года. Высоко, на макушке горы, и ниже, на склонах, сверкая позолоченными крышами, среди зеленых садов, омытый грозовыми весенними дождями, раскинулся Киев.

В это утро ворота на Горе — и Подольские и Перевесищанские — были раскрыты, мосты опущены, на городницах и башнях реяли знамена, а везде на заборолах в шлемах и с копьями стояли гридни со старшиной.

Со стен им хорошо видны зеленые, крутые, изрезанные оврагами склоны гор, новый, окруженный верхними и нижними валами город, хижины и землянки предградья, что тянулись темной полосой к Щекавице и далее, за Хоревицу и до Оболони, Подол, серебристая лента Днепра, уходящая в необъятную даль — к Вышгороду и Десне-реке.

На плесе Днепра, там, где среди лугов Оболони льнула к нему с правого берега голубая Почайна, колыхались на воде сотни лодий. Мастера не жалели сил, чтобы воину любо было глядеть на них, а врага охватывал бы страх: они красили их в различные цвета — красный, зеленый, голубой, вырезывали из дерева носы наподобие рогатых чуров с выпученными глазами, кабанов с острыми клыками, водяных с лысыми головами и надутыми щеками, див с длинными распущенными волосами. Когда налетал ветер и лодии начинали покачиваться на волнах, эти чудища, отражаясь в воде, смеялись, строили рожи, угрожали.

Надеяться на ясную погоду в Русском море не приходилось, там всегда могли налететь ветер, буря. Поэтому воины внимательно проверяли мачты и реи, делали заплаты на старых крапивных ветрилах, шили новые, к длинным цепям приковывали якоря.

Позже, когда стало известно, кто на какой лодии поедет, воины уложили свое оружие, щиты, копья, мечи, запас стрел. На самые большие лодии погрузили пóроки, огромные луки и сохи для самострелов, мешки с мукой, пшеном, кадки с соленой свининой, с медом, порожние бочки для пресной воды, когда придется плыть по морю.

В это весеннее утро здесь, на берегу Почайны, собралось немало воевод, чтобы еще раз осмотреть лодии. Все было готово для далекой дороги, воины заканчивали грузить оружие и запасы еды. Тогда с Горы к Почайне спустилось еще много воевод и бояр, а с ними князья Святослав, Улеб и княгиня Ольга с внуками.

На одном из насадов, который предназначался для князя Святослава и морского воеводы Икмора, принесли жертву: зарезали петуха и его кровью окропили нос насада с княжеским знаком — двумя скрещенными внизу серебряными копьями.

После этого на лодиях и насадах начали поднимать якоря, ставить ветрила. Ветер крепчал. Лодии вздрагивали. Ветрила ползли все выше и выше, вот они достигли наконец рей. Насады и лодии тронулись с места, направились к противоположному берегу Почайны, круто повернули и, миновав ослепительно желтую косу, выплыли на днепровский простор. За тяжелыми насадами и лодиями двинулось множество небольших челнов — однодеревок и стругов.

Впереди мчался двухпарусный насад князя Святослава, точно большая птица, которая, расправив сильные крылья, летит над самой водой. За ним ключами — по три в ряд — плыли остальные лодии. Однодеревки и струги спешили по тихой воде, под самыми берегами.

Княгиня Ольга и воеводы с боярами долго смотрели с бе-

рега Почайны, как тают в голубой дали темные очертания лодий и как исчезают на небосклоне белые ветрила.

Князь Святослав стоял на помосте насада и глядел на берега, которые они теперь надолго покидали. Быстро текли днепровские воды; на всех насадах и лодиях ветер надувал паруса, а берега стремительно убегали в туманную даль.

Но князь долго еще видел на желтых прибрежных песках голубой жертвенный дымок, который стрелой поднимался высоко в небо, бояр, дружинников и всех киевлян, провожавших их в далекую дорогу, видел мать-княгиню Ольгу, которая стояла выше всех, над темным обрывом, с тремя его сыновьями.

Мысленно прощался он с берегами, которые неумолимо уплывали назад, с вербами, что низко склонялись над самой водой, с горами, обрывами, желтыми песками. Любы были ему эти места, словно частица собственного сердца. Прощался он и со всеми людьми города Киева — в далекую, трудную дорогу двинулись вои, нелегко будет теперь киевлянам. Что ждет их здесь, над быстрым Днепром?!

И еще об одном думал князь Святослав. В эти минуты прощания перед ним возникало бледное, будто озаренное внутренним светом, лицо Малуши. Чайка с криком летела за насадом, почти касаясь крылом щоглы, а ему казалось, что это летела, скорбя о нем, Малуша; волна все била и била в корму лодии — это Малуша хотела его догнать; теплый ветер из Киева обвевал его лицо — это Малуша прощалась, обнимала его своими руками.

Только когда за крутым поворотом исчез Киев, люди, берега, князь повернулся и стал смотреть вперед. Перед ним открывался широкий плес. Разъяренные ветром, мчались по Днепру высокие, пенящиеся волны; по небосклону, в яркой синеве, двумя широкими рядами плыли облака, а еще дальше лежала голубая непроницаемая дымка...

Лодии, не останавливаясь, плыли весь день. Сразу за Витачевом ветер совсем рассвирепел, берега еще быстрее побежали назад, в изменчивых маревах постепенно растаяли киевские горы.

Только вечером, когда на небосклоне засверкала вечерняя звезда, а позже все небо усыпали звезды-самоцветы, ветер утих, и паруса пришлось опустить. Но лодии не остановились, вои взялись за весла, на мачтах зажгли светильники, и на воде запрыгали их мигающие отблески.

Лодии плыли в несколько рядов. На носу каждой стоял воин и следил, чтобы не налететь на переднюю. Гребцы менялись. Было уже за полночь, когда князь Святослав тоже взялся за кормило. На крутом повороте князь оглянулся: казалось, по Днепру плывут не лодии, а упали в воду и переливаются всеми красками множество ниток мониста.

С вечера на лодиях долго звучали песни, а сейчас, в позднюю пору, вокруг было тихо; только скрип весел в уключинах отдавался на далеких косах да еще вода шумела за кормой.

Вдруг где-то на севере, в безмерной глубине темного неба, вспыхнула звезда. Большая, ослепительно яркая, она летела по небу прямо через Днепр. Стало вдруг светло, как днем. Кто глядел на реку, увидел желтые косы, каждую былинку на них, куликов и крякв, которые, спрятав головы под крыло, стояли и спали у самой воды.

Но в эту минуту мало кто смотрел на Днепр. Дружинники, подняв весла, замерли. Их взгляды были прикованы к звезде, которая, оставляя после себя яркий след, с необычайной быстротой летела по небу. Она промчалась над Днепром, над горами правого берега, все больше наливаясь густой красной краской, и догорела где-то на далеком западе...

Стало необычайно темно. Лодии, казалось, застыли на месте. Никто не греб, все сидели молча, потрясенные виденным, ослепленные блеском звезды.

Из мрака до князя донеслась беседа двух дружинников, сидевших за веслами недалеко от него:

— Звезда упала, помер кто-то...

— Не звезда это, а копье Перуна, знамение воям Руси.

— А о чем? Сложим головы или вернемся со славой?

— Не ведаю... Но знаю, что это знамение Перуна.

Дальше дружинники заговорили совсем тихо, князь ничего уже не мог слышать. А тем временем глаза привыкли к темноте, обрисовался плес, выступили темные берега, замерцали светильники, с неба глянули звезды, в воду опустились весла, и лодии поплыли дальше.

Появление звезды поразило не только дружинников, но и самого князя. Святослав был уверен, что это не простая, порой пролетающая по небу звезда, а знамение. Но почему именно в эту ночь звезда прочертила небо, какой знак им дает Перун?

Стоя у кормила, князь глядел по сторонам, будто видел все впервые. Острый, привычный глаз его подметил, как далеко-далеко за Днепром чуть заалело небо. Скоро рассвет. И роса падает на одежду, на дубовое кормило — скоро новый день.

И вдруг Святослав отчетливо услышал, как всегда бывает перед рассветом, что совсем близко у берегов поют соловьи. Они пели рядом, в кустах, мимо которых проплывали лодии, и дальше, в лесу, и где-то по ту сторону Днепра.

Святослав вслушивался в это соловьиное пение, и ему чудилось, будто поют не соловьи, а вся земля, жаждущая жизни, любви и счастья. И не то ли подтверждало небо на востоке, откуда лился свет, стремясь поглотить ночь, развеять тьму?!

Так почему же людям не жить среди этой красоты и приволья тихо, мирно, счастливо? Об этом и только об этом мечтали

сидящие в лодиях вои. Не за ратной добычей шли они в далекую сторону, а ради покоя и мира.

«Но был ли когда-нибудь мир на земле? — думал Святослав.— Брани велись до наших дедов и отцов, мир стоит до брани, брань стояла до мира. Вот и сейчас — тихо над Днепром, тихо в лугах, вокруг поют соловьи, спят вои, жаждущие мира и любви, а где-то уже подстерегает, точит меч враг, хочет поработить этих людей, уничтожить Русь».

Князь Святослав сильной рукой повернул кормило. Нос лодии разрезал плес, за упругами всплескивала вода, а за кормой рябила волна да кипели буруны.

Звезда на небе указывала им путь на запад — это было знамение победы.

2

Воинам князя Святослава сопутствовала удача. На всем пути, до самых порогов, стояла необычайно ясная погода, ветер простился с ними недалеко от Киева и улетел в другие края...

Но в счастье таилось и несчастье. Паруса на лодиях пришлось свернуть и плыть только на веслах; гнать тяжелые лодии становилось все труднее; дни стояли жаркие, палящие, зной не уменьшался даже по ночам.

Вода быстро спадала. У Киева, Родни и еще некоторое время лодии несло течением, если на них даже не гребли, и они плыли, казалось, по необъятному морю. Однако дальше воды отшумели, река вошла в свои берега, на крутых склонах уже засыхал нанесенный паводком мусор. Все теперь беспокоились: как будет на порогах, посчастливится ли проскочить их на веслах или придется обходить волоком?

Недалеко от порогов, где громоздились скалы, а плес темнел от камней, лодии остановились. Бывалые вои, не раз уже плывшие этим путем еще с Игорем, покинув лодии, прошли плавнями до первого порога,— к вечеру они вернулись с невеселыми вестями.

Воды, рассказывали они, еще много, первые три порога проскочить можно на веслах, удастся, верно, проскочить и три нижних порога. Но главный порог -- Ненасыть — проходить на веслах они не решались.

Всю ночь лодии стояли в плавнях у берега. Еще засветло вои приготовили еду, поужинали, чтобы ночью не зажигать огней, а на скалах и дальше, в поле, поставили стражу. Тут, над порогами, рыскали со своими улусами печенеги, и следовало быть начеку. Ночь прошла спокойно, ничто не потревожило усталых после долгой дороги воев. Едва только затеплилась на востоке денница, все проснулись. На лодии поставили новые, длинные дубовые кормила, гребцы укрепили весла, многие вои

стали с длинными шестами у бортов, чтобы в случае нужды отталкиваться от камней, и подняли якоря.

Не все лодии шли в пороги одновременно. Они отчаливали от берега одна за другой, выплыв на течение, отыскивали стрежень и летели вперед... Гребцы даже не брались за весла: течение было до того быстрое, что достаточно было одного кормила — и лодия послушно находила путь среди камней. Когда одна лодия исчезала из глаз, трогалась следующая...

Первый порог, который одни воины называли Будилой, другие — «Не спи!», а греки с перепугу повторяли за ними: «Ессупь!» — едва виднелся под водой. С обеих сторон в Днепр врезывались две каменные гряды — две забо̀ры; от берегов они уходили под воду, а на самой быстрине над заборой широким потоком неслась вода, кипели волны. Одна за другой, точно выпущенные из лука стрелы, пролетали лодии этот порог и выходили на чистоводье.

А вдали уже виднелся остров — новый порог. Днепр здесь был очень узок, стрежень проходил между двумя утесами. Нужны были хороший глаз и твердая рука, чтобы лодия проскочила, не задев каменные глыбы.

Однако и этот порог лодии одна за другой миновали счастливо. А впереди уже шумел новый порог — более спокойный, но страшный, потому что за ним, совсем близко, рокотала страшная Ненасыть.

Уже издалека было видно, как бурлит и пенится вода в Ненасыти. Предательская подводная гряда камней пересекала здесь Днепр от берега к берегу. То тут, то там из воды высовывались острые, как клыки, камни. Вода кружилась, клокотала, яростно билась между камнями и скалами, ревела так, что эхо катилось по далеким берегам.

Вои боязливо смотрели на порог. Они были уверены, что там, под водой, живут страшные водяные; высунув из воды острые клыки, вечно ненасытные, жаждут они человеческой жертвы, ловят своими щупальцами каждую плывущую через пороги лодию, присасываются, переворачивают ее, пожирают людей. Бороться с Ненасытью? О! Человеку это не под силу.

Лодии остановились выше Ненасыти, вои вытащили из них еще в Киеве приготовленные волоки — деревянные катки. Волочить приходилось по низкому берегу, а близко, в оврагах и лесах, всегда рыскали печенеги. Поэтому часть воев укладывала катки, вытаскивала на берег лодии и волочила их вдоль всего порога, а остальные, с копьями и луками наготове, шли в близлежащие овраги и леса, чтобы на случай, если налетят печенеги, отбить их.

Волоком нужно было пройти шесть тысяч шагов. Вои князя Святослава знали, что стоит каждый этот шаг. Грузы перетаскивали до самого конца порога на плечах, но и порожние ло-

дии были тяжелы, скользили по каткам медленно, а в небе висело палящее солнце, горячий песок обжигал ноги, люди обливались пòтом.

С раннего утра до позднего вечера волочили лодии по песчаному берегу, и даже ночь не остановила работы. Рассвет следующего дня застал их на кручах, против скал Ненасыти. Но спокойная, тихая гладь была уже близка, и к полудню лодии одну за другой спустили на воду. Ненасыть осталась позади.

Никого уже не пугали оставшиеся за Ненасытью три порога — Вольный, Вручий и последний, на стрежне; лодии прошли их уверенно и быстро.

Еще некоторое время Днепр катил свои воды между высокими каменистыми берегами, напоминавшими узкие ворота, а там вои опустили в воду весла и могли отдохнуть на широком плесе, за которым высились скалы и зеленел остров Григория.

Издалека, в начале острова, зеленела большая поляна, на поляне стоял ветвистый, старый дуб. Под ним гости и вои, которые готовились идти через пороги или благополучно прошли их, обычно приносили жертву.

Жертву — пса и петуха, как требовал покон, принес Святослав; в походе он был не только князем, но и жрецом. Святослав подошел к высокому дубу, с совсем молодой еще, трепетной листвой; среди его ветвей висели истлевшие убрусы, заржавленные, щербатые мечи, пробитые шлемы и копья — жертвы многих людей, плывших мимо священного острова.

Теперь перед дубом на острове положил свой меч и щит Святослав. Поблагодарив богов за то, что помогли его воям перейти пороги, он просил и дальше помогать им.

Позади князя стояли вои. Когда жертва была принесена и землю перед дубом оросила кровь пса и петуха, вои опустились на колени, из уст их полилась молитва — древняя молитва пращуров:

Боги, помогите нам и помилуйте,  
Боги, дайте нам победу на брани и мир на земле,  
Славим вас и молимся вам, боги!

Князь Святослав стоял против дуба, смотрел на огромное, похожее на жернов, багряное солнце и думал: придется ли ему и всем им стоять тут еще раз и приносить благодарственную жертву?!

### 3

За островом Григория Днепр становился широким, полноводным. Здесь берега его не пересекали высокие горы, не обрывались над плесом кручи, не врезывались в воду желтые косы; с той и другой стороны зелеными стенами тянулись плавни — топкая, болотистая, низменность, поросшая ковылем, в котором

не видно было и всадника, да непроходимой чащей приземистых дубов, лип, ольхи, верб и лозы.

Только далеко впереди, по обе стороны Днепра, высились песчаные холмы, увенчанные купами сосен. Сосны эти, необычайно высокие, с голыми стволами и зелеными шапками, напоминали дозорных, которые стояли и будут стоять многие века и глядеть, и запоминать, что происходит в далеком поле и здесь, на Днепре.

С лодий князя Святослава было видно, как то тут, то там в глубину плавней тянутся узкие рукава, за ними голубеют тихие заводи, а от них отходят новые рукава. Но куда они бегут, где прячутся, где кончаются, никто не знал. Княжьи вои не останавливались, их лодии спешили на юг.

И вот наконец Днепр еще раз сомкнулся между двух высоких берегов, словно кто-то пытался загородить ему дорогу. Лодии плыли некоторое время между горами — и вдруг перед взором воев открылась такая безбрежная ширь, такой необъятный голубой простор, что дух захватило. «Море»,— подумали молодые вои.

Но это было еще не море, а только устье Днепра — Белобережье, последний мостик между Днепром и Русским морем, белые берега, к которым рвались заморские гости, где в последний раз прощались с родной землей перед далекими походами люди Руси.

Летом берега эти никогда не бывали безлюдными. Справа от Днепра до самого Истра тянулись земли уличей и тиверцев. Они наезжали и торговали здесь, на Белобережье, с заморскими гостями. Слева недалеко были и Климаты, где жили греки-херсониты — хитрые, ловкие, сметливые люди, всегда перехватывавшие здесь гостей и умевшие торговать лучше, чем уличи и тиверцы.

И сейчас, не успели лодии князя Святослава появиться на плесе, как херсониты на быстрых конях подлетели к берегу. Однако, увидав, что в лодиях сидят не русские купцы, а вои, тотчас подтянули подпруги, вскочили в седла, и только пыль столбом поднялась за ними в поле.

Князь Святослав следил, что же станет делать Калокир, увидав земляков, и был уверен, что тот, встретив их на белых берегах, поинтересуется, что делается в Климатах, передаст что-нибудь отцу в Херсонес.

Но Калокир спрятался и не выходил из лодии, пока херсониты не убрались восвояси. Казалось, ему даже неприятно было присутствие земляков. Только после того как херсониты сели на коней и с гиканьем умчались в поле, Калокир вышел на берег, чтобы размяться.

«Тяжко жить человеку без племени, без родной земли»,— подумал Святослав.

Когда же Калокир предложил князю пройтись по косам — ему-де надо что-то сказать,— князь Святослав не пожелал идти, отговорившись тем, что занят с воями, а с василиком побеседует уже в Болгарии.

Долго еще стоял Калокир на ослепительно белой косе, похожий в своем черном платне на высокое пугало, и все глядел и глядел на безбрежное море, на выплывшие из-за небосвода тучи, на волны.

К вечеру все лодии собрались у белых берегов и еще засветло поплыли к острову Елферия, чтобы там, в полной безопасности, наполнить бочки пресной водой и осмотреть перед далеким плаванием мачты, реи, ветрила.

На рассвете, едва затеплилась в небе денница, на лодиях подняли якоря и поставили ветрила. Под свежим утренним ветром лодии, точно расправившие крылья чайки, отрывались одна за другой от белых берегов и выходили ключами в безбрежное Русское море.

На темно-синем небосклоне, где еще не угасли звезды, вырисовались очертания щогл и парусов, а далеко по морю неслась тревожная перекличка голосов да скрип весел в уключинах.

Сделав большой полукруг, лодии развернулись по четыре-пять в ряд и, то взлетая на высокой волне, то вместе с ней утопая в бездне, направились на запад.

Море в этот предрассветный час, точно утомившись после бессонной, шальной ночи, казалось гневным, злым. На востоке едва заметно прорезывалась золотая ленточка зари. Низко над морем мчались разорванные в клочья облака. С шумом и плеском вздымались и вздымались из морских глубин валы; порываясь куда-то вперед, мчались разгневанные волны. Они рассыпáли соленые холодные брызги и сбивали серую пену. А над самыми волнами, порой касаясь крылом воды, метались испуганные чайки и кричали: «Ки-и-ги... Ки-и-ги!..»

Вдруг по небу поплыли сиреневые, потом розовые и, наконец, голубые ленты. И тотчас погасли, словно провалились в пропасть, все звезды; только одна из них, ясная, с зеленоватым отблеском, точно драгоценный изумруд, трепетала еще, как пойманная в сети рыба, и тоже погасла. Последние клочья разорванных облаков упали на волны росою, небо стало прозрачным, голубым, дыхание ветра теплым, над морем воцарилась тишина — волны улеглись, чайки умолкли. И тогда на краю неба вспыхнула, загорелась и поднялась золотая корона, еще какой-то миг — и корона превратилась в раскаленный багряный круг, еще миг — и над небосклоном уже сияло солнце, такое жаркое, такое ослепительное, что на него больно было смотреть...

На лодиях никто не спал: кто занимался уборкой, кто возился с ветрилами, кто готовил оружие — чистил щит, острил копье, точил меч — а кто готовил пищу,— все, следуя обычаю, встали, чтобы встретить поднимавшееся из-за небосклона ярило. Ведь солнце — подарок богов, солнце — жизнь, радость, счастье. Все произносили слова молитвы:

Солнце! Ты уходишь от нас — и наступает холодная
темная ночь.
Солнце! Ты встаешь — и вокруг появляется жизнь,
зацветает земля и радуются люди.
Спасибо Перуну, что каждое утро посылает нам солнце.
Славим тебя, ясное, горячее, жизнь дающее солнце!

Князь Святослав, умывшись холодной соленой водой, стоял, как и его вои, на носу лодии, слушал эти слова, и душу его охватывали трепет, радость, счастье жизни.

4

В то время как князь Святослав на пятистах лодиях, с двадцатитысячной ратью плыл по Днепру к Русскому морю, вои земель Руси, которых было тысяч тридцать, во главе с князем Улебом и воеводой Свенельдом двигались к Дунаю сухопутьем.

Тут, в поле, им следовало остерегаться печенегов, четыре орды которых кочевали между Доном и Днепром, а еще четыре, во главе с каганом Курей, рыскали у порогов и на правом берегу Днепра.

На низкорослых, но бойких и неутомимых лошадях печенеги тучами мчались по степи без всяких дорог, останавливались на ночь улусами, а тем временем подтягивались на кибитках жены с детьми и скарбом. А наутро лишь одинокий дымок, примятый ковыль да конский навоз оставались на том месте, где стояли печенеги.

Вои Руси, конечно, не боялись этих орд, не страшно было бы столкнуться и со всеми ими сразу. А все-таки, начиная с самого Киева, далеко впереди, так, что его не было даже видно, ехал, рассыпавшись широким полукругом, дозор. Ехал дозор и вдоль Днепра, и на западе, со стороны поля. По двое, по трое всадники подвигались полем, а завидев высокий древний курган, подъезжали к нему, лошадей пускали пастись, а сами взбирались на вершину и долго, приложив руку ко лбу, чтобы защитить глаза от слепящих лучей солнца, смотрели вдаль.

Широкое, бесконечное поле лежало перед ними, в эту весеннюю пору еще такое свежее, пахучее, устланное травами, усыпанное цветами. В долинах, которые виднелись то тут, то там среди поля, еще серебрились озера талой воды; на их берегах качались под дуновением ветра и шумели камыши; по земле

стелилась молодая, сочная трава гусятница, которая в самую жару освежает ноги. А чуть повыше, среди волнующейся травы, желтыми и красными огоньками ярко горели тюльпаны, мерцали голубые гиацинты.

Поле было бескрайним, необъятным, исполненным величественного покоя, не нарушаемого ни единым звуком. Оно напоминало тихое безбрежное море; только высокие курганы, синевшие вдали над Днепром, длинными рядами тянулись по всему полю и свидетельствовали о том, что не всегда здесь было так тихо и спокойно, что земля, где теперь так буйно росли травы и рдели цветы, полита человеческой кровью.

И сейчас, пристально вглядываясь в бесконечную даль, дозорные следили, не появится ли где враг, чтобы предупредить своих воев и не проливать даром человеческую кровь. Но поле оставалось безлюдным. Вдали проплывали табуны, однако это были неоседланные, дикие кони. Должно быть, испуганная ими, круто повернув, мчалась прочь горбоносая сайга. Далеко в поле, точно воины, шагали дрофы; на кургане рядом с дозорными выползал из норы и начинал свистеть суслик; из травы вспархивали, словно по невидимым ступенькам поднимались в небо жаворонки и повисали так высоко, что их нельзя было уловить глазом. Тихо, спокойно было в поле.

И все-таки печенеги рыскали и в поле, и у берегов Днепра. Часто на рассвете дозорные наталкивались на огнище, под серым пеплом которого еще тлел жар, широко вокруг была вытоптана трава, валялись объеденные кости. Печенеги были где-то близко, за небосклоном. Они знали, что в поле движется рать князя Святослава, но знали также ее силу, а потому убегали. Пристально вглядывались в даль дозорные, вслед за ними осторожно двигались вои.

Впереди войска шел головной полк — чело, тысяча гридней князя Святослава с князем Улебом, воеводой Свенельдом и воеводами полков земель, все на ретивых конях, под знаменами, в шлемах, с мечами у поясов. Позади гарцевали рынды, которые везли про запас кольчуги и брони.

Два полка во главе с князем черниговским и переяславским ехали справа и слева от чела — чтобы отбить врага, если он осмелится ударить со стороны Днепра или от червенских городов, и поддержать чело, если враг появится впереди.

Следом за конными полками, оторвавшись на поприще, два, а то и три, медленно двигались пешие — вои земель. Шли они не ватагой, а тысячами, каждая земля во главе со своим воеводой, который ехал на коне с небольшой дружиной.

Множество разных полков двигалось по полю. Наряду с несколькими тысячами полян шла тысяча воев-древлян, шли новгородцы, радимичи, северяне, даже вятичи и чудь заволоцкая. Все больше бородатые, усатые люди, но среди них немало и

юных. Шли они в постолах, черевьях, а порой и босые, кто с мечом, луком, копьем, кто с рогатиной или ножом за поясом.

А еще дальше, за всеми тысячами, снова полукругом, как бы прикрывая войско сзади, на возах, запряженных лошадьми и волами, везли оружие: большие самострелы, пороки, луки, стрелы. На них же везли харч: муку, соленую свинину, мед, соль, за возами воины, а порой их жены гнали стада коров, телят, овец.

Грузным, медленным шагом, оставляя после себя тучи ржавой пыли, с шумом уходили они все дальше и дальше от Киева, шагали от зари до зари, останавливались только на ночь. Станом становились большей частью на берегах озер и рек, где вдосталь было воды для питья и леса на топливо.

Полки смыкались, у берегов зажигались костры, повсюду звучали голоса, ржали лошади.

Однако никто не забывал и о коварном враге — около стана полукругом ставили и связывали возы, небольшие дружины ходили вокруг всю ночь по полю, конные дозоры отъезжали подальше и сторожили на курганах.

Стан быстро затихал, угасали костры. Люди засыпали под открытым небом, упав на траву, чтобы проснуться задолго до рассвета, быстро собраться и идти все дальше и дальше от Киева, к Дунаю.

## 5

Вместе со всеми воями во второй тысяче, с воеводой Гринем во главе, в сотне Добыслава и в десятке, который вел кузнец Мутор, шел и Микула.

Трудно ему было поначалу, очень трудно — все вспоминалась родная весь, жена... как она там без него? И все снилось ему: Виста мечется на одном берегу реки, он — на другом, Виста протягивает к нему руки, зовет, а он не может откликнуться. Трудно было и потому, что Микуле еще не приходилось ходить на брань, жить среди княжеских воев. Отец Ант, дед Улеб, братья Сварг и Бразд — другое дело, они ходили в походы и на брани, умели обращаться с оружием, знали, что с ним делать.

А какой из Микулы воин? Оглядывая себя, он диву давался: ноги длинные, кривоватые, ступни что у медведя, руки тоже длинные, не знаешь, куда их деть, на голове целая грива, борода и усы отросли, выцвели на солнце.

Опять же оружие! У многих оно новое, кольчуги клепаны из тонких пластин, мечи кое у кого харалужные. А у Микулы все кованое, дедовское, неудобное. Щит и лук болтались на веревке за спиной, тул со стрелами все время сползал на живот.

Даже Добыслав, оглядев Микулу со всех сторон, заметил:

— Ты, Микула, вешаешь лук не так, как нужно. Повесь как следует, будь настоящим воем.

Трудно, очень трудно приходилось в первом походе сыну старейшины Анта. Вышел Микула в поле босой — постолов хватило на один день, а плести новые некогда. Однако его это не беспокоило — он мог так идти не только к Дунаю, но и за море. Не увиливал Микула и от работы: когда останавливались на ночь, он катил возы, связывал их веревками и ремнями, копал вместе со всеми ров вокруг стана. А за ужином Микула ел свинину, закусывал черствой лепешкой, запивал водой и тотчас засыпал.

Немного поспав, Микула просыпался, садился и уже не мог уснуть. А почему — и сам не знал. Как-то тревожно, тоскливо становилось на сердце, словно он чего-то не понимал, чего-то не знал. Но чего, чего?

Началось это с тех пор, как, выйдя из Киева, они миновали Перевесище и двинулись червенским путем. По дороге изредка встречались пустые гостиницы, в оврагах и на берегах рек стояли княжеские села и просто веси, где жили робьи люди и смерды.

Здесь им не угрожала никакая опасность, сюда печенеги никогда не захаживали. О чем же, казалось, было думать и беспокоиться Микуле? Однако он шел тяжелым шагом, лук болтался у него за спиной, тул со стрелами сползал на живот, а по ночам Микула не мог спать.

Через несколько дней войско подошло к границам Полянской земли. Над Росью раскинулось еще одно княжье село, как говорили вои — самой княгини Ольги. Вои как вои: многие из них ушли на ночь в село, молодые — погулять, пожилые — побеседовать. Люди в княжьем селе, как и всюду, были простые поляне; немало их пришло в стан над Росью; в ночной мгле то тут, то там можно было разглядеть, как у костров рядом с воями в шлемах сидят темные, бородатые смерды, княжьи люди.

Микула никуда не пошел. Поужинав вместе со всеми, он лег под кустом, у скалы над Росью, подложив под голову шлем и свиту, зажмурил глаза и в тишине, нарушаемой далекими голосами у костра да пересвистом соловьев в чаще за скалами, заснул...

Но спал он недолго, не более часа. И вдруг проснулся, сел, протер глаза.

Ничего необычного, что могло бы разбудить Микулу, казалось, не произошло. Вверху, высоко в небе, пас свои отары больших и малых звезд месяц, на нем темнел знак Перуна — воин с копьем-трезубцем. К месяцу подкрадывались тучи — злые силы — и уже закрывали его. Но он плыл по небу справа и казался посыпанным серебристым пеплом.

Под лунным светом по всему полю дотлевали огнища, откуда-то издалека доносились голоса стражи, вокруг Микулы вповалку и порознь, часто ногами в разные стороны и положив голову друг другу на плечи, почивали русские вои.

Одни спали спокойно, тихо, будто задумавшись, другие — тревожно, и из их уст вырывались отрывистые слова.

— Ладо! Ла-а-адо! — страстно шептал один.

— Матушка! Отче! — бормотал во сне другой.

Микуле стало почему-то страшно, по спине пробежал холодок, и, сунув руку за пазуху, он нащупал оберегу, которую взял из дома, уходя на брань. Когда становилось на сердце тяжело, Микула всегда касался рукой Мокоши. Вот и сейчас он медленно вытащил ее из-за пазухи.

Серебряная с прозеленью Мокоша лежала на его широкой ладони — с темными глазами-точечками, вытянутыми вдоль тела руками, короткими ножками, такая простая, но таинственная, родная, а подчас и страшная.

— Помоги мне, Мокоша, помоги! — прошептал Микула.

Вдруг он услышал за собой шорох и, обернувшись, увидел сидящего на траве воина, который смотрел на месяц.

Микула узнал его — он был из их десятка. Раньше Микуле не приходилось с ним перекинуться словечком, но сейчас, обрадовавшись, что он не один бодрствует в эту лунную ночь в огромном стане, Микула тихо спросил:

— Не спишь, человече?

— Не спится,— ответил тот.

— А откуда ты?

— Из Новгорода.

— Долго, верно, ехали?

— Не очень... Зимой выехали, к весне прибыли. Все реками да волоком. Паводком, сам знаешь, быстро.

— Тогда скажи, человече,— спросил Микула,— как тебя звать?

— Радышем,— ответил воин.

— А меня Микулой.

— Добре,— промолвил Радыш и впервые улыбнулся.

Помолчали. Где Новгород, где Киев, а вот сидят рядом в стане среди поля. Этим двум воинам было о чем подумать и потолковать!

Поглядев на белую сорочку Радыша, на его широкий кожаный пояс, Микула тихо промолвил:

— Ты, видать, из гридней князя, а может, и боярский сын?

Радыш рассмеялся, но тихо, чтобы никого не разбудить.

— Куда нам до гридней,— сказал он,— а тем паче до бояр! Они, брат Микула, в шлемах, в броне да со щитами, а у меня сорочка да пояс. Может, потому, что сорочка чистая?

— Да нет, Радыш, что ты! Просто к слову пришлось.

Микуле стало неловко — перед ним сидел такой же простой человек, как и он сам, но именно это всколыхнуло в его груди что-то теплое, и он спросил:

— Как у вас в Новгороде?

— Так, как и всюду...

— Платите дань или как?

— Раньше платили,— откровенно признался Радыш,— и очень худо было: ведь к нам, Микула, приезжали за данью и свои князья и киевские, а из-за моря налетали на города и веси варяги. А теперь дани нету...

Радыш умолк, но видно было, что сказал он не все, о чем думал.

— А как же теперь, без дани? — шепотом спросил Микула.

— Еще труднее... Урок да устав...

— Значит, и у вас посадники?

— И у нас, Микула.

— И тиуны?

— Конечно...

— И вирники наезжают?

— Наезжают. Даем и вирникам, и тиунам, и посаднику, и волостелину, и князьям.

— Что-то месяц затянуло,—заметил, поглядев на небо, Микула.— Злые силы и на земле и на небе. Видишь, темно как, и холодно стало.

И, пододвинувшись ближе к Радышу, Микула спросил:

— Значит, не выдерживают закупы, холопы и прочие смерды?

— Не выдерживают. Купы берут, а вернуть нечем. Закупов бьют розгами и обельными холопами делают.

— И тебя били? — едва слышно произнес Микула.

— Били...— так же тихо ответил Радыш.

— Так скажи: куда мы идем? — спросил Микула и, придвинувшись еще, сел вплотную к Радышу.

Радыш, казалось, не удивился вопросу. Он сразу ответил:

— Может, Микула, потому и идем, что очень трудно.

Но ответ не удовлетворил Микулу.

— Осаждают нашу землю,— продолжал Радыш.— Раньше дань платили, а теперь урок, устав. А для чего? Ромеи идут с запада, юга, востока, наседают с трех сторон, чтобы брать дань, сделать нас холопами. А я, Микула, холопом ромеев быть не желаю и не буду. Лучше уж в воду... А князья наши — что ж, им тоже нелегко: надо иметь города, дружину большую, лодии... Вот и платим оброки да уставы...

Помолчав, Радыш закончил:

— Потому мы, Микула, и идем! Русскую землю боронить. Ромейскими холопами быть не хотим. А коли разобьем ромеев, может, уроки да уставы отменят. Как полагаешь, Микула?

— Думаю, Радыш, что разобьем ромеев... И тогда мы уже платить такие уроки и уставы не будем.

На этом беседа оборвалась. Микула, притворившись, будто хочет спать, сладко зевнул. Они улеглись рядом, и Радыш тотчас заснул.

А Микуле не спалось. Он долго лежал с закрытыми глазами, потом осторожно приподнял голову, оперся на локоть и снова сел.

В небе по-прежнему, только чуть пониже, плыл месяц, облака растаяли, и знак Перуна виден был теперь отчетливее; серо было в поле, вокруг лежали люди.

Микула смотрел на них уже другими глазами. До сих пор он шел среди воев чужим, и они казались ему чужими, Микула сторонился воев, не мог найти среди них свое место.

А разве эти люди ему чужие?

Вот Радыш говорит словно бы не так, как Микула, а твердо, тягуче. Дреговичи и радомичи, которые идут с ними, гуторят звонко, как птицы поют. А вятичи словно совсем позабыли русские слова.

Однако Микула хорошо знал, что все это простые люди, одного рода. Судьба разлучила их, разбросала в разные стороны, но горести и радости у них одни.

Микула лег, вскоре уснул и во сне, сам того не ведая, положил руку на плечо Радыша. Теперь в стане все притихло, как бывает поздней ночью. Умолкли и соловьи.

### 6

Впрочем, не все кругом спало. Совсем недалеко от Микулы и Радыша, на скале у Роси, стояла женщина,— она смотрела на стан, где дотлевали огнища, на месяц в небе, на плес реки. В призрачном, холодном свете белело ее лицо с острыми скулами, большими темными глазами и тонкими губами. Она была очень утомлена и худа, но в ней таилось что-то привлекательное, теплое.

Женщина стояла на скале уже давно; она видела, как вокруг костров ужинали, а потом улеглись спать на траве, видела, как недалеко вдруг проснулся один, потом другой воин, как они долго сидели и вели тихую, невнятную беседу.

Женщина не знала этих людей. Здесь, в огромном стане, не было, казалось, у нее ни родных, ни близких, однако все: и красное пламя костров, и приглушенные голоса воев, и далекий скрип возов, и конское ржание — напомнило ей так много.

Полянка вспомнила, как когда-то давно, еще уноткой, она жила в тихой веси Любече над Днепром, вспомнила отца Микулу, мать Висту, деда Анта, вспомнила, как после смерти деда

приехал к ним брат Добрыня и увез ее из отчего дома в далекий Киев.

Глубокий, похожий на стон, вздох вырвался из груди женщины, которая когда-то называлась Малушей. Один стон, один вздох из сотен и тысяч, вырывавшихся из этой груди за много-много лет.

Вспомнились чудесный, зеленый Киев-град, Гора с ее теремами, предградье и Подол, паруса на Почайне и голубая речная гладь.

Но в памяти неумолимо, точно капля крови в чистой голубой воде, выплывала еще одна ночь — и гневный голос княгини Ольги, которая разбила ее любовь, изгнала ее в это село Будутин, и рассвет за Киевом, топот коня в серой мгле, холод одинокой землянки.

И вот сейчас, стоя на скале над Росью, Малуша взглянула на землянку старой Желани, на вытоптанную тропинку, ведущую к воде, на деревья, которые она помнила еще кустами, на холодный камень под собой, — он вытерся от многих ног и стал таким гладким. Нет больше у Малуши радости, даром проходит жизнь.

Правда, и здесь, в Будутине, была у нее отрада: даже в этой землянке, пока с ней был сын Владимир, Малуша была счастлива и ничего не хотела. Но княгиня Ольга не только убила ее любовь, она оторвала от груди и сына.

Заблестев при лунном свете, из глаз Малуши скатились и упали на холодный камень несколько слезинок. Она их не стыдилась — ночь поздняя, никто не увидит...

Малуша прожила в селе Будутине много лет. Никто здесь — ни воевода Тедь, ни посадник Радко — не знал, кто такая Малуша, от кого родила она сына. Велела княгиня дать Малуше пристанище в Будутине — и делу конец. С Малушей прибыл гридень Добрыня и ютился вместе с нею в землянке. Малуша родила ребенка — не все ли равно было Тедю или Радко, чей он? Увез ребенка гридень Добрыня — и делу конец. За много лет в селе привыкли к Малуше. Княжья раба Малка — так теперь ее называли.

И трудилась Малуша, как все, от раннего утра до поздней ночи, поначалу с Желанью, а когда та померла — одна. Работы в княжьем селе хватало: в поле за Будутином пашня, над Росью — стада; все княжье, за всем надо приглядеть, все требует рук рабов. И кто знает, может, хлеб, который ключница Пракседа преломляла в трапезной на Горе, а князь Святослав брал в руки, был взращен и на ее поте?

И все-таки, работая в княжьем селе, Малуша никогда не забывала Киева и, как только представлялась возможность,

жадно прислушивалась к словам тиунов, дружинников, ябедников, часто наезжавших в Будутин; она знала, как живут княгиня Ольга, князь Святослав, как растет Владимир.

В былые годы частенько наведывался к ней в Будутин и Добрыня. Он был добрым братом, не забывал сестру, старался ей помочь — то трудом рук своих, то золотником, то серебряными резанами.

Но Малуша не принимала помощи брата — у нее свои руки, не ищет она ни золота, ни серебра. Осиротевшая мать хотела только одного: знать, как живет ее детище, ее Владимир.

И хоть сын был далеко — в Киеве, на Горе, Малуша со слов Добрыни знала, как он растет, как мужает, каков собою, какой у него голос. Конечно, выразить все словами Добрыня не мог, но много ли нужно матери, чтобы представить себе, увидеть, узнать родного сына?!

Рассказывал Добрыня и о княгине Ольге, и о князе Святославе, а Малуша все спрашивала, переспрашивала — одна она из всех людей знала, как трудно живется князю Святославу.

Вот почему в эту чудесную лунную ночь, когда через Будутин и дальше в поле над Росью двигалось войско князя Святослава, у Малуши так болело сердце.

«Может,— думала она сначала, услыхав конской топот и тяжелый шаг тысяч людей,— едет со своей ратью князь Святослав?»

Но князя Святослава не было. Когда вои приблизились, Малуша, половшая на княжьей ниве бурьян, бросила, как и прочие смерды, работу. Остановившись у дороги, она тотчас узнала князя Улеба, воеводу Свенельда, многих воевод, тысяцких и простых воинов, которых видела когда-то на Горе. Но князя Святослава среди них не было.

Позднее, через других смердов, она узнала, что рать идет на греков, а князь Святослав повел еще много войска на лодиях по Днепру. Вечером в землянке, поставив перед собой оберегу — богиню Роженицу, Малуша долго молилась ей, просила помочь князю Святославу в далекой брани и защитить сына Владимира в Киеве, на Горе.

Хотелось Малуше, как и всем жителям Будутина, чем-нибудь помочь воям, идущим на брань. Кое-кого из воев повели ночевать в теплые хижины, многие смерды ушли в поле, к кострам, и понесли дары — кто хлеб, кто птицу, кто горнец меду. По обычаю, полагалось отдать все, что было: вои шли на брань, шли ради них.

Малуше дать было нечего, и все-таки она взяла свежий хлеб, вышла из землянки, остановилась на скале... и почему-то не

смогла двинуться дальше. Может, боялась того, что ее кто-нибудь узнает, может, того, что дар ее слишком убог?

Малуша долго глядела в поле, где горели и гасли один за другим костры. Услышав тихие, невнятные голоса Микулы и Радыша, она заплакала... Что делать, если еще и сейчас сердце обливается кровью?!

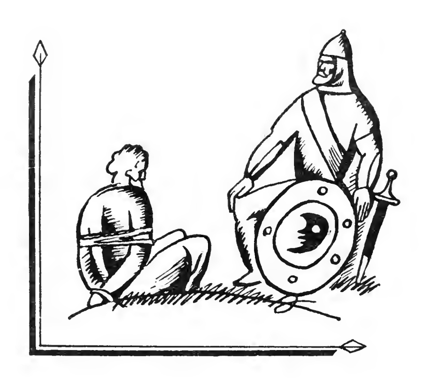
Тихо было в поле, огнища погасли, месяц склонился к закату, стал большим, красным. Соловьи молчали.

Малуша вздрогнула, тихими шагами прошла вперед, положила хлеб на траву, где спали Микула и Радыш, и быстро повернула к землянке.

Микула проснулся до восхода солнца. Тотчас вскочил и стал надевать на себя оружие и Радыш. Спали они хорошо, ничто не потревожило их в эту ночь — теперь нужно было поспешать. Кругом уже слышались голоса людей, ржали лошади, в Будутине пели петухи.

— Что это? — спросил Микула, увидав на траве, подле своего щита, свежий хлеб.— Не ты ли положил, Радыш? Эй, кто положил хлеб, отзовись!.. Что ж, —улыбнувшись, сказал Микула,— если никто не отзывается, значит, хлеб подарила мне Мокоша. Нá тебе, Радыш, кусок, съем и я...

И, стоя под высоким синим небом, перед темным полем, уходящим в бесконечную даль, они ели хлеб земли Русской, перед тем как отправиться в далекую, неведомую дорогу.



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Едва синие тени легли над морем, где-то далеко, перед устьем Дуная, напротив Сулинского лимана, из-за небосклона выплыла темная туча. Но туча эта была необычная. Сумерки длились долго, и ночь надвигалась с востока не торопясь, а туча все висела и висела, не ширясь и не поднимаясь. Может, это была и не туча! Может, это птицы метались над морем, беспомощно борясь с резким встречным ветром с лимана, и, не в силах преодолеть его, кружились на небосклоне?

Но это была не туча и не птичья стая. Когда стемнело, близ лимана во мраке послышался все нарастающий шум, напоминавший далекие раскаты грома. Еще позднее, когда черная, как уголь, ночь закрыла все вокруг, уже подле самого берега в бурных волнах послышался перестук многих тысяч весел и человеческие голоса. Это входили в дунайское гирло вои Святослава — после многих дней и ночей скитания по морю, после нечеловеческой борьбы со встречным ветром и высокой волной.

И когда лодии ключ за ключом, одна за другой, вырываясь из открытого моря, приставали к берегу в тихих водах Сулинского лимана, вои, у которых до крови были натерты руки и ноги, вои, которые много дней и ночей не знали отдыха, вои, которые уже несколько дней томились от нестерпимой жажды, выходили на берег, ставили в пвняках и камышах свои лодии, припадали к воде, казавшейся им сейчас слаще меда, тут же валились на песок и засыпали. Так велел князь Святослав. Это была награда за трудный путь по Русскому морю.

Не спали только князь Святослав и старшая его дружина. Здесь, на берегу Сулинского лимана, Святослава уже ждал дозор князя Улеба. Князь передавал брату, что его вои, конные и пешие, выйдя из Киева-града, счастливо миновав поле над Русским морем, подходят сухопутьем к Дунаю.

Впрочем, вскоре и простым ухом можно было услышать, как на левом берегу Дуная, где-то далеко в глубинах ночной тиши, словно туго натянутый бубен, по которому барабанит сильная рука, гудит, шумит степь под конскими копытами.

Всю ночь шумели, гудели берега. Дунай ожил, заполнился лиман, в темноте бряцало оружие, слышался конский топот, звучали голоса.

— Здрав будь, князь Святослав!

— Здравы будьте и вы, брат Улеб, Свенельд и все вои. Как прошли в поле и по земле уличей и тиверцев?

— Слово тиверцев и уличей твердо, послали под твое знамя не одну тысячу воев...

— Добро творят уличи и тиверцы. А как печенеги?

— Дивное дело, князь! На всем пути наши дозоры находили их следы, но живого печенега мы не видели. Верно, убегали от нас.

— Добро, если только убегали,— сказал князь Святослав и задумался.— Не примечали мы их и у Днепра, хоть улусы у порогов есть. Печенеги — только стрелы греческого лука, и кто знает, куда они полетят завтра! Будем остерегаться, дружина моя! Пусть всадники наши твердо стоят на левом берегу и оберегают нас... Ты,— князь обратился к воеводе Волку,— останешься с нами, следи за полем. Здесь, в лимане, останутся с дружиной и наши лодии. Ты, Икмор,— обратился князь к морскому воеводе,— остерегайся другого зверя — ромеев, посылай дозор далеко в море и вдоль берегов.

И еще задолго до рассвета войско князя Святослава переправилось на правый берег. По пятьдесят и более воинов садилось в каждую лодию, по десять, а то и больше раз каждая из них переплывала лиман. Теперь все войско стояло на дунайских кручах. А на левом берегу — в камышах Сулинского лимана, среди густых зарослей, в плавнях — остались лишь конные вои, следить за тем, чтобы из южных степей к Дунаю не

налетели внезапно печенеги или какая другая орда. Среди камышей, зарослей и повсюду в плавнях над лиманом были спрятаны лодии — им следовало остерегаться хеландий ромеев.

На рассвете князь собрал всю старшую дружину.

— Не с мечом и копьем хотел я идти сюда,— промолвил князь Святослав,— шли мы, чтобы протянуть руку болгарам и вместе с ними двинуться на ромеев. Но днесь со всеми болгарами не могу еще говорить, а потому посылал к кесарю Петру воеводу Богдана, велел сказать, что иду не кровь проливать, а чтобы не допустить кровопролития и нашей гибели. Но кесарь Петр оттолкнул нашу руку и убил воеводу Богдана.

— Отмстим, княже! — зашумели под шатром.— Отмстим!

Сурово и задумчиво было лицо Святослава.

— Отмщение падет на голову кесаря Петра,— сказал князь,— он не уйдет от него. Пусть падет оно и на его боляр, всю дружину, что ходит с мечами ромеев...

— Веди, княже! — зашумели воеводы и тысяцкие.

Но князь еще не окончил:

— Однако, мужи мои, всем нам надлежит помнить, что, ратоборствуя с болгарским кесарем, болярами его и дружиной, мы не воюем с болгарами, а, напротив, будем стоять на том, чтобы, одолев Петра, вкупе с болгарами идти на ромеев. Будем вместе с ними — победим ромеев, порознь пойдем — погибнут болгары, но трудно придется и нам.

— Веди, князь! — гремело под шатром.

Князь Святослав ступил вперед и откинул полог шатра. Вверху, в синем небе, еще пылала уходящая денница, весь небосклон, будто широкое знамя, затянуло розовым сиянием, а ниже, совсем рядом, нес свои воды необъятный голубой Дунай.

Князь Святослав коснулся тула, вытянул из него стрелу. Это была замечательная тонкая кипарисовая стрела с наконечником из рыбьего зуба и орлиными перьями на конце...

— Несите эту стрелу кесарю Петру,— промолвил Святослав,— и скажите ему: «Иду на вы!»

## 2

Весть о том, что лодии князя Святослава появились в Русском море, долетела до Константинополя очень быстро. Ее передал не только фар из Преславы. Рыбаки, уходившие за Босфор ловить рыбу, и купцы, возвращавшиеся Русским морем на груженных солью, хлебом кубарах из Херсонеса, также подтверждали, что к дунайскому гирлу подошло множество русских лодий.

Это известие, конечно, всполошило Константинополь. И в Большом дворце, и за его стенами, в городе, повсюду над Золо-

тым Рогом и Пропонтидою с ужасом говорили, что лодии, видимо, плывут к Византии, вспоминали имена русских князей Олега и Игоря...

Днем каждый житель Константинополя, где бы он ни находился, что бы ни делал, все время прислушивался: не подул ли ветер с востока? — и вглядывался: не видать ли русских лодий в голубых водах Босфора?

Ночью жители столицы не спали, часто выходили из своих жилищ, смотрели в сторону Большого дворца, где на высокой скале стоял фар, передававший сигналы из Болгарии, из Преславы.

Только императора Никифора, его паракимомена Василия и еще немногих приближенных к императору особ не удивляло это известие. Они знали больше, чем другие. Прошел почти год с тех пор, как, по велению императора Никифора, в Киев выехал василик — патрикий Калокир. Грамота от кесаря Петра, в которой он писал, что киевский князь Святослав грозит ему войной, свидетельствовала, что Калокир действует, а князь Святослав готовится к войне с болгарами. Так готовилось и должно было свершиться то, что задумал император Никифор: князь Святослав пойдет на Дунай, разобьет болгар, загубит свое войско, а тогда скажет уже свое слово и Никифор.

Удивляло императора ромеев иное: выехав из Константинополя, патрикий Калокир в течение целого года не подавал о себе никаких известий. Молчал он и теперь, когда лодии князя Святослава стояли уже на Дунае... Почему молчит василик Калокир, почему не отзывается князь Святослав? Ведь за войну с Болгарией Византия уже дала ему и еще даст много золота.

Конечно, император Никифор даже представить не мог, что князь Святослав прибыл к Дунаю не на какой-нибудь сотне лодий, а на многих сотнях насадов и что, кроме того, немало его войска — пешего и конного — надвинулось, словно туча, с поля на востоке. О, если бы василевс знал об этом, он действовал бы иначе и без промедления.

Позднее, правда, когда кесарь световыми сигналами, а потом и через своих гонцов сообщил императору, что князь Святослав напал на его войско с сотнями лодий, не считая пешего и конного войска, и слезно умолял императора Никифора, ни часу не медля, прийти к нему на помощь, спасти его, обещая сделать все, что только пожелает император, и клялся в вечной дружбе и любви, император, прочитав эту грамоту, задумался. «Перепуган кесарь, трус! — подумал император Никифор.— Вечная дружба и любовь за безотлагательную помощь! У кого просил помощи кесарь? Если бы он знал, что русских воев послал в Болгарию сам император Никифор!»

Однако император Никифор не высказывает, да и не может высказать своих тайных мыслей послам кесаря Петра. Он при-

нимает их в Большом дворце, долго разговаривает с ними, удивляется и возмущается, как это осмелился дерзкий киевский князь напасть на Болгарию, клянется в любви к кесарю Петру, однако просит передать, что в Византии большие трудности и он не может бросить против Святослава свое войско. Немного попозже, в самый решительный час, он обязательно придет на помощь, и они вместе разобьют Святослава наголову.

Император Никифор разговаривает с послами, как отец и подлинный друг Болгарии. Он всячески хочет укрепить и утвердить любовь и мир между Византией и Болгарией. Он знает, что у болгарского кесаря есть сын Борис, который учился здесь, в Константинополе, и намекает, что если кесарь Петр пошлет его в Константинополь, то Борис сможет жениться на одной из дочерей императоров...

Обливаясь потом и до крови натирая в седлах ноги, мчались обратно в Преславу с этими вестями боляре — послы кесаря Болгарии. Вскоре в Константинополе появляется сын кесаря Петра, Борис, и Никифор принимает его как высокого гостя в Большом дворце и поселяет не где-нибудь, а в Буколеоне, вблизи себя.

Император Никифор на этот раз держит свое слово. В Буколеоне кесаревича Бориса знакомят с внучкой императора Константина Порфирородного Марией, а вскоре и обручают с ней. Еще через некоторое время во Влахернской церкви патриарх Полиевкт возлагает на счастливую пару венцы.

Так действует император Никифор, так, казалось, укрепляет любовь и мир между Болгарией и Византией. Правда, когда кесаревич Борис выражает желание вернуться с молодой женой в Преславу, ссылаясь на то, что его отец, кесарь Петр, болен, а князь Святослав вторгается со своим войском все глубже и глубже, император Никифор советует Борису остаться еще на некоторое время в Константинополе, обещает двинуться в Болгарию вместе с ним, во главе византийских войск, когда наступит решительный момент. И кесаревич Борис соглашается. Конечно, ему лучше двинуться в Болгарию в решительную минуту и с императором Никифором во главе большого войска.

Однако в душу императора все глубже и глубже вползают тревога и страх. В своей грамоте кесарь Петр писал, что рать князя Святослава движется на лодиях, пешком и на конях и что болгарское войско не может с ней бороться. Значит, их намного больше, чем того ждал император, больше, чем киевский князь мог послать за пятнадцать кентинариев. Но почему же молчит Калокир, что он думает? Ведь если у Святослава так много воев, то он может быстро пройти всю Болгарию, появиться в фемах империи, стать под стенами самого Константинополя!..

Император Никифор вместе с паракимоменом Василием обдумывают, что делать. То, что князь Святослав напал на Бол-

гарию, хорошо — значит, римское золото действует. То, что русы уничтожают болгар, тоже хорошо — они обескровливают друг друга, и позже можно будет быстро расправиться и с Болгарией и с Русью. Лучше всего было бы, пожалуй, выступить против князя Святослава уже сейчас, но он еще слишком силен, может, чего доброго, повести за собой еще и болгар. И потому император Никифор вместе с паракимоменом Василием замышляют иное.

Ночью паракимомен Василий привел в императорские покои епископа Феофила. Император знал Феофила не только как священнослужителя, но и как хитрого, опытного василика, услугами которого пользовались еще императоры Константин и Роман.

Император и епископ разговаривали с глазу на глаз в одной из комнат, выходивших окнами на море.

— Не сумел бы епископ съездить в Понт? — спросил Никифор.

— Император хочет послать меня в Херсонес или к хозарам? — вместо ответа спросил епископ.

— Нет, епископ, к хозарам сейчас ехать незачем — они рассеялись, как песок. А в Херсонес я послал бы не православного епископа, а кого-нибудь из павликан.

— Я слушаю, василевс, и выполню любое поручение.

— На этот раз тебе придется поехать в степи над Понтом. Ты должен найти печенегов и их кагана Курю.

— О чем должен я говорить с каганом?

— Сейчас на Болгарию с большим войском напал киевский князь Святослав. Его войско очень быстро продвигается вперед, и есть угроза, что скоро подойдет к Преславе. Ты, епископ, должен отыскать кагана, дать ему золото и уговорить немедленно выступить и ударить...

— В спину князю Святославу на Дунае? — улыбаясь, спросил епископ Феофил.

— Ты почти угадал, епископ, в спину Святославу, но не на Дунае, а в Киеве.

Епископ Феофил не сдержался и промолвил:

— Это очень мудро, василевс, и страшнее, чем удар по Святославу над Дунаем.

— Ты сумеешь, епископ, разыскать кагана?

— Когда я должен выехать? — вместо ответа спросил тот.

— Надо выехать как можно скорей... Цепь в Золотом Роге поднята, корабль готов к отплытию. Готово и золото — тебе дадут тридцать кентинариев... Счастливой дороги, епископ! И удачи!

— Многая лета тебе, великий василевс!

## 3

Лодии князя Святослава, до сих пор скрывавшиеся в гирле по камышам, поплыли вверх. Быстро продвигалась вдоль Дуная пешая и конная рать. Идти было трудно. В устье, у порога Русского моря, Дунай разливался на множество рукавов, под предательским ковылем таились болота, бездонные трясины, людей одолевали комары, под ногами шипели змеи.

Но вои Святослава бесстрашно проходили все эти места. Очень пригодились тиверцы и уличи — они жили тут же, за Дунаем, и хорошо знали все тропы на правом берегу. Вооружившись длинными шестами, они шагали через трясины и болота впереди воев, оглядывали берега, ныряли в высокий ковыль и шли все дальше вперед.

Всех удивляло: идут они с раннего утра, но не белеет на дунайском плесе ни одно ветрило, не видно на курганах, желтеющих то тут, то там среди низин, ни чабанов, ни воев. Ехавший впереди войска дозор, время от времени возвращаясь к челу, сообщал, что нигде вражеских воев не замечено.

Когда же рать приблизилась к устью Сулинского лимана, стало понятно, почему никто не повстречался ей на пути. Дозор, добравшийся в вечерних сумерках почти до Переяславца, доложил, что болгарское войско собралось, затворив за собой все ворота, в Переяславце над Дунаем, а лодии болгар за день до этого ушли вверх по Дунаю.

Тогда князь Святослав велел двум тысячам конных воев сразу переплыть Дунай и мчаться по левому берегу к Доростолу, чтобы перехватить болгарские лодии. Сам же собрал к себе, когда стемнело, воевод и бояр, чтобы посоветоваться, как брать Переяславец.

Ночью же воеводы подвели полки и окружили город, а к его стенам подтянули из лодий пороки и метательные машины. В ночной тишине видны были полыхавшие за стенами Переяславца костры; оттуда доносились голоса болгарских воев, ржанье коней; голоса слышались на стенах и на башнях.

Чуть только начало светать, князь Святослав велел трубачам выехать за стан, а послам сказать, что русский князь предлагает воям кесаря Петра сдать город без боя, за что обещает не чинить никакого вреда.

Болгарские боляре ответили со стен бранью и насмешками. Тогда князь велел воям браться за оружие и наволочить стяги. В стены города ударили пороки. Засуетились вои и подле самострелов, которые стояли недалеко от стен: одни вертели вóроты, натягивали на харалужных луках тетивы из воловьих жил, другие подкладывали под них острые камни. Тетивы натягивались — вои спускали храпы, — и со свистом и ревом на стены и в город летели камни.

В это же время лучники, стоявшие впереди всех, натягивали свои тетивы, и в воздухе свистели тысячи стрел, обычных — камышовых и лучших — кедровых, яблоневых, а то и кипарисовых.

Пороки с тяжелым уханьем били в нескольких местах стены, неутомимо выбрасывали камни самострелы, лучники натягивали и натягивали свои тетивы. И тогда в сиянии нового дня из-за лучников выступили мечники и одетые в броню вои. Легко преодолев расстояние до валов, окружающих стены, они повалили частокол, спустились в рвы, приставили к стенам лестницы, забросили железные крюки и, становясь друг другу на плечи, лезли на стены.

На поле перед Переяславцем стоял великий шум и крик. Кое-кто из воев надрывался, чтобы напугать врагов, кто кричал, чтобы поддержать своих побратимов, кому — что греха таить — было просто страшно, и он подбадривал себя криком. Вои были отважные и хотели взять город копьем.

Но и болгарские вои, во главе которых стояли именитые боляре, бились смело. Их обнадежили, что скоро подойдет большое войско кесаря Петра, а вместе с ним и римские легионы. На стенах у них заготовлены были кучи камней, за заборолами — бочки с горячей смолой, на городницах стояли меткие лучники и пращники.

Когда ударили пороки и в Переяславец полетели тысячи стрел, многие вои погибли на стенах и в самом городе. Но боляре знали, что им угрожает, и гнали на стены других. Обезумев от испуга, они наставили против своих же воев мечи.

Вот почему воям Руси пришлось под стенами Переяславца очень трудно. Сверху на них лилась горячая смола, падали тяжелые камни. Если кто-нибудь добирался до заборола, то против них высовывались копья, над головами блестели секиры.

В нескольких местах под стенами города начались пожары, и тогда с заборол полилась вода, тучей посыпался песок. И когда в одном месте пороком пробили стену, то оказалось, что поблизости нету воев, которые могли бы ринуться в пролом. А по ту сторону стены быстро выросла присыпь — земляной вал.

После первого приступа в городе и в поле наступила тишина. Вои отошли от Переяславца, стали тысячами, каждая под своим знаменем. Князь Святослав вместе со Свенельдом и еще несколькими воеводами объехали войско и остановились на высоком холме, откуда были видны Дунай, город и поле за ним.

— Как думаете, воеводы,— спросил Святослав,— будем брать дальше Переяславец копьем или перейдем к осаде?

Одни воеводы, а с ними и Свенельд, полагали, что город следует брать только копьем. Другие, как Икмор, думали, что лучше стать вокруг города станом.

Князь Святослав внимательно слушал своих воевод, но в то же время пристально вглядывался в низовье реки, где Дунай делился на несколько рукавов. И вдруг на его лице заиграла улыбка.

— Плывут! — сказал князь Святослав.

Далеко на низовье, в голубом водном просторе, пронизанном розовыми солнечными лучами, обозначились темные точечки — это русские лодии спешили на помощь воям.

— Стоять под стенами города мы не можем, воеводы,— промолвил Святослав.— Это только на руку врагу. Будем ждать — чего доброго, и ромеи подтянут силы. Вряд ли усидят и боляре в Переяславце. Они, верно, не ждали, что из Киева так быстро подойдет подмога, не думали, что подплывут и лодии. Но они уже здесь, вон плывут по Дунаю. Подождем до ночи, воеводы, и будем брать город копьем.

Князь Святослав не ошибся. Едва солнце стало склоняться к западу, в Переяславце сразу распахнулись все ворота, а из них скопом ринулась рать. Вои заполнили рвы, вышли на валы, остановились и рассыпались по полю.

В русском стане все были готовы, и спустя короткое время началась великая сеча. Болгарские боляре бились свирепо, они шли и шли против воев земель Руси, чтобы прорваться и бежать на запад. Но русские вои не выпускали их из кольца.

К ночи Святослав одолел болгар и взял город копьем...

## 4

В этом первом бою Микуле пришлось очень трудно.

Правда, лук и меч у него на сей раз были там, где и полагалось, тул со стрелами, которые он нарезал из вербы, высушил оперил еще в поле, был туго привязан к правому боку, в туле находилось немало и камышовых стрел — тонких, легких, с железными наконечниками,— от такой стрелы не ушла бы и быстрая белка. Перевязал Микула, уже на берегу Дуная, и тетиву своего лука, положив ее перед тем на целую ночь, по совету бывалых воев, в теплый конский навоз. Тетива распарилась, стала мягче и накрепко увязалась с подзорами, а когда пригрело солнце и тетива высохла, то кибить и весь лук даже звенели. Оружие Микуле теперь уже не мешало: тул — у пояса, лук — в левой руке, правая — свободная, чтобы стрелять, а ежели понадобится, взяться за меч. И бился Микула, как и тысячи других воинов, крепко. На рассвете, когда выехали вперед трубачи, а послы стали кричать болгарским болярам, что русские вои пришли сюда не проливать кровь, а биться вкупе против ромеев, и предложили сдать город без боя, и когда боляре ответили бранью и насмешками, сильно забилось сердце

у Микулы. Это же они, вои Руси, с таким трудом пришедшие сюда, призывают не к крови, а к миру. Почему же смеются боляре, неужели не видят смерти, которая нависла над Днепром и Дунаем?

Полный гнева, шел вперед со своим десятком Микула. Поначалу стрелял из лука, затем, когда лезли на стену, выхватил меч, а что было потом, Микула помнил мало. Знал только одно: лук его не подвел, меч не зазубрился, и хоть тело его было покрыто синяками, а из ран хлестала кровь, Микула этого не чувствовал.

Ночью, когда вои, взяв Переяславец, отдыхали, перед тем как идти дальше, к Доростолу, Микуле поручили сторожить нескольких болгар, таких же израненных, как и он сам.

Внимание Микулы привлек пленник; он лежал неподалеку, прямо на земле, связанный по рукам и ногам, сорочка его была в крови. Болгарин был очень измучен, но что-то не давало ему спать. Раскрыв глаза, он со страхом озирался.

— Да ты спи, человече,— сказал наконец Микула, которому надоел беспокойный пленник.— Ты же видишь, я не сплю.

Болгарин сел и внимательно посмотрел на Микулу.

— Не буду спать,— промолвил он.— Не, не...

— Как хочешь, человече,— согласился Микула,— сиди!

Они помолчали.

— Чего тебя связали? — громко спросил Микула.

— Асен бяше убит,— ответил пленник.— Болгарияче ще не имат такава войска, аки рустии...[1]

— Не имат такого войска? — засмеялся Микула.— Так чего же ты бился с нами?

— Бояхом руски войници.

— Боялся? — удивленно протянул Микула.

Слова болгарина о том, что он боялся, удивили Микулу. Боялся — и бился. А почему же он не поднял руки? Тогда и Микула и прочие вои не подняли бы меча.

«Что-то тут не так»,— упорно думал Микула и спросил у пленника:

— А почему же ты боялся русских войников, человече?

— Руски войници имам смрт,— ответил болгарин.— Ты хочешь мене мати рабом, убьешь...

— Это я тебя хочу иметь рабом? — спросил Микула и почему-то показал на свое сердце.— И это я тебя убью?

— Ты и твой каган,— быстро ответил болгарин.

— Погоди,— промолвил Микула.— Ты говоришь неправду. Кто сказал, что я возьму тебя в рабство и убью? И как тебя зовут?

---

[1] Боялся, что убьют. У болгар еще нет такого войска, как у русских.

— Ангел. А тебя?
— Микула... Микула.
Тогда болгарин протянул вперед свои связанные веревкой руки и спросил:
— То аз не буду ти рабом? [1]
— Ты что? Да я сам как раб... закуп...
— Закуп...— повторил Ангел и опустил руки на колени.— А боляре говорили: страшна бура се надвига в Подунависто, войската на князя Святослава се прийде по всички страни, будемо ми рабы — аз и Цвитана, и вси, вси [2].
— Не ведаю, о чем говоришь, человече. Какая Цвитана, кто все?
— Цвитана — жона, а вси — болгары, смерды, парики,— тихо ответил Ангел.
— Смерды?
— Так, смерды...
Они умолкли. Безмолвствовал и стан. Далеко на лугу горел костер, и оттуда долетали едва слышные голоса — там сжигали мертвых. Повсюду царил покой.
И вдруг Микула услышал, как где-то близко среди темной ночи бил перепел. Удивленный, Микула повернул голову, чтобы лучше слышать знакомый звук. Поняв, что́ привлекло внимание Микулы, повернул голову и Ангел. Оба они долго слушали, как страстно бьет в жите перепел, и даже зажмурили глаза от невыразимого наслаждения, переполнившего их сердца.
— Чувай... Добер глас,— сказал Ангел.— Чудо!
— Правду говоришь,— согласился Микула,— голос звонкий.
Микула понимал не все его слова. Но он понимал главное: вот здесь, на лугах у Дуная, и далее, в горах, есть города, села, и повсюду тут живут болгары. Они корчуют леса, сеют разное жито, в горах пасут скот. Еще недавно жили они большими родами, кочуя по долинам и горам, а сейчас, когда везде стали города, осели.
— Не бува човек сам да иска смерти си,— продолжал Ангел.— Но каган — далеко, бог — высоко.
Трудно, как понял со слов Ангела Микула, жить сейчас в долине и в горах. В Преславе сидит кесарь с болярами, в городах, как в этом Переяславце,— боляре, в жупах — кметы. А у них орава тиунов — перпераков, и житаре, и винаре, десеткаре и сенаре — жито берут кадями, вино — бочками, от скота — десятину. А над всеми — ромеи, и это хорошо знал Ангел.

---

[1] Значит, я не буду твоим рабом?
[2] А боляре говорили: страшная буря надвигается на Дунай, войско князя Святослава пройдет по всей земле, будем мы рабами — я, и Цвитана, и все, все.

— Брат ми загина од руката на ромеец... докато очити ми выждат, аз ще буду враг на ромеите... Нека буду трижды проклят, ак се откажа от думите се...[1]

— Вижу, больно тебе,— сказал Микула,—развяжу-ка я тебе лучше руки.

— Боли... Розверж, Микуло...

Микула развязал веревку на руках Ангела и сказал:

— Ноги сам развяжи!

Ангел быстро развязал ноги.

— Ты, верно, есть хочешь? Возьми хлеба.

— Много ты благодаря,— промолвил Ангел.— Ты, Микуло, си ми као брат...

И он взял кусок хлеба, протянутый ему Микулой.

Спокойно было на душе у Микулы. Он спросил:

— Ты никуда не уйдешь, Ангел?

— Ой, нет,— ответил болгарин.— И камо? Чувай, Микуло, срам ми йе. Бог да ти даде долг живот и да позлати ти уста за думп, аще мени сказав. Сляп аз бях. Не войник аз теперь на цар Петро, страх, страх то бул [2].

Микула подложил руку под голову и задремал. Слипающимися глазами видел он далекие огни в поле, напоминавшие ему огни над Днепром. Огни приближались, вскоре Микула увидел Висту — совсем близко. Она глядела на него большими добрыми глазами, а потом положила ему на голову руку. Так и заснул Микула.

Когда он проснулся, едва начинало светать. Прямо перед собой Микула увидел росистую траву, веревки, какими был связан Ангел, чью-то спину, за ней — головы, ноги. Люди еще спали.

Не было только Ангела. Трава, на которой он лежал вечером, покрылась росой. Микула сел. Огляделся. Ангела не было.

Тогда Микула быстро вскочил, озираясь, лежат ли на земле его шлем, лук со стрелами и меч. Оружие было на месте.

Он обошел людей, вповалку лежавших на траве. Горько стало, что Ангел убежал, обидно.

И вдруг Микула остановился. На пригорке он увидел Ангела. Тот сидел спиной к нему, но Микула сразу узнал болгарина по широким плечам. Ангел говорил о чем-то, размахивая правой рукой, а его внимательно слушали несколько русских воев.

---

[1] Брат мой погиб от руки ромеев, и я, пока видят мои глаза, буду врагом ромеев. Трижды проклят буду, если нарушу слово.

[2] И куда? Слушай, Микула, стыдно мне. Пусть бог даст тебе долгую жизнь и озолотит твои уста за то, что ты мне сказал. Слепым я был. Не воин я теперь царю Петру, это от страха, от страха все было.

— Там путь на Преславу,— говорил Ангел.— Ведаю, как пройти в горах.

Обойдя людей, чтобы не помешать их беседе, Микула сошел с пригорка, опустился на колени перед источником и стал пить свежую воду.

5

Ночь опустила полог над Доростолом, зажглись и отразились в плесе Дуная звезды, с моря повеял вечерний теплый ветер.

Стихли крики и бряцание оружия,— сеча закончилась, город пал, вои русские ждали повелений князя, жители трепетали от страха.

Боялись они недаром — здесь, в Доростоле, где сходились ветры с Русского моря и Родопов, скрещивались два пути: один с севера на юг по Дунаю, и другой великий путь — с востока на запад — вдоль моря. У того, кто сидел в Доростоле, были ключи от Дуная, моря, поля.

Вот почему еще с давних времен императоры ромеев, которые всегда стремились расширить свои границы на восток, с жестокими, смертельными боями приходили сюда, строили вдоль Дуная крепости — города, они же заложили и первый камень Доростола.

Но местные племена, жившие здесь испокон веку и говорившие на том же языке, что и племена над Днепром и Русским морем, а позже и пришедшие сюда с далекого востока болгары, которые породнились и слились с местными племенами, не хотели быть под властью римских императоров. Тут, на берегах Дуная, они били их не раз и гнали до самого Константинополя.

Много пришлось пережить и выстрадать Доростолу от византийских императоров. Кроме римских легионов, стены города видели немало иных орд, и все они, приходя сюда, убивали, грабили, угоняли в неволю, делали своими рабами мужчин, юношей, девушек.

И в этот вечер, когда закончилась под Доростолом сеча, люди в домах, хижинах и землянках города не спали. Каждый из них думал, что будет дальше. Отцы с сыновьями собирались убегать в Родопы, матери прятали дочерей в пещерах.

Темной ночью русские вои с горящими факелами в руках ходили от хижины до хижины, стучали в двери и велели всем собираться на площади, возле дворца кмета.

Вскоре площадь была полна, мужи болгарские тихо разговаривали между собой. Невеселые это были беседы — у ворот и на стенах города стояли русские вои, ночная стража ходила по улицам, вои окружали и площадь.

Еще позже факелы замелькали и у дворца кмета. Ровными

рядами, в броне, с мечами у поясов, с копьями и щитами в руках, стали там русские вои, а на крыльцо вышел и остановился впереди них воевода.

Жители Доростола не знали, кто он, но поняли, что это не простой воевода. На бритой его голове темнела прядь волос, у пояса висел позолоченный меч с камнями в яблоке, в серебряных ножнах и с усыпанным жемчугом огнивом.

— Князь Святослав! — покатилось по толпе.

Славословить русского князя так, как кметы велели им славословить кесарей, когда те приезжали в Доростол, никто не приказывал. Толпа безмолвствовала. Все смотрели на князя Святослава, стараясь угадать, чего он хочет. А князь Святослав смотрел на тысячи людей, словно хотел прочесть их мысли.

— Мужи болгарские! — начал князь Святослав, положив правую руку на меч.— Прежде чем идти сюда, в Болгарию, и стать на брань с вами, я посылал послов своих к кесарю Петру и писал ему, что болгары и русы — родные люди, что отцы наши купно боролись с ромеями и что ныне мы тоже должны сообща бороться с ними, ибо льстивы они и хитры, ибо дума у них одна: сокрушить и Русь и Болгарию, чтобы василевсам ромейским стать василевсами всего мира. Вот что писал я кесарям вашим и боилам, я протягивал руку Петру, как отец мой Игорь протягивал ее кесарю Симеону; когда же кесарь Петр не захотел вести с нами речь, отверг мир и любовь, я с воями своими приплыл сюда, к Дунаю, и пришел борзно, взял копьем Переяславец, взял Доростол и хочу теперь держать совет только с вами.

Болгары стояли молча. Князь Святослав говорил с ними на том же языке, на каком говорили и они. Он сказал, что обращался к кесарю Петру и не получил ответа и тогда пошел на Переяславец и Доростол. Князь сказал также, что хочет посоветоваться с ними. Так ли это? Ведь до сих пор с ними разговаривали только мечами!

— Мужи болгарские! — продолжал Святослав.— Испокон веку мы с вами вкупе, и князья наши еще до Симеона и Игоря боролись с ромеями, которые хотели сделать нас своими париками. И Болгария была тогда сильна, ей помогала Русь. Но кесарь Петр забыл обычай своих отцов, он продал вас, болгар, ромеям, изменил и Руси.

Болгарские боляре, стоявшие впереди в богатых одеждах, молчали, но где-то позади, в толпе, в этот миг послышались выкрики:

— Кесари и болярины могут да стати предателями, народ — никогда... Да мислим за цяла Булгария...[1]

---

[1] Кесари и боляре могут стать предателями, народ — никогда. Мы думаем обо всей Болгарии.

Но это были только робкие, одинокие выкрики. Тех, кто кричал, подталкивали, заставляли замолчать. И снова на площади воцарилась тишина.

— Я говорю правду,— громко сказал князь Святослав.— Ромеи прислали нам много золота, чтобы мы шли и поработили для них Болгарию. С нами здесь находится и василик императора ромеев, который привез в Киев это золото.

Василик Калокир, стоявший все это время позади князя, выступил вперед и, давая клятву, высоко поднял руки.

— Но не ради этого золота пришли мы сюда,— продолжал Святослав.— Византия хотела бы, чтобы мы ныне разбили болгар, завтра она купно с болгарским кесарем будет бить Русь. Не порабощать, не убивать, не грабить болгар пришли сюда русские люди, а принесли свой меч, чтобы вы придали к нему свой меч, чтобы стали плечом к плечу с нами и вместе шли на ромеев. Я,— торжественно промолвил он,— князь Святослав, и все русские вои говорим вам: да будет покой и мир в вашем городе, да будет здесь середина земли, что идет на ромеев. Вои мои сейчас отворят ворота. Кто хочет быть с нами — пусть остается тут, кто боится и не верит нам — пусть уходит отсюда. А всем говорю: идите по Болгарии и говорите людям, что князь Святослав сидит с воями в Доростоле и пойдет дальше, но меч его уготован не на болгар, а против ромеев. Князь Святослав, как и князь Игорь и кесарь Симеон, зовет всех болгар на брань с ромеями!

Толпа забурлила, зашумела, то тут, то там раздавались голоса. Впереди о чем-то шептались боляре, позади, где было темней, кто-то громко говорил о неволе, о горькой доле париков.

— Да живе князь Святослав!

Князь Святослав стоял и глядел на этот людской поток. Он понимал, что этими людьми владеют противоречивые чувства — ненависть и любовь, страх и отвага. А есть среди них и такие, которыми руководят ложь и лицемерие.

Вои князя Святослава быстро шли вперед, в их руках уже находились устье Дуная и Малый Преслав, они продвигались вверх по Дунаю и брали крепость за крепостью, наводнили долины между Дунаем и Русским морем, стремясь все дальше и дальше на юг вдоль берега, занимая там заливы и города — до самой Варны.

Много жестоких битв помнил этот уголок земли между Дунаем и Русским морем; каждый камень здесь и каждая песчинка были обагрены человеческой кровью. Каждая крепость высоко в горах над Дунаем в разные времена знала осады, вторжения, голод. Случалось, легионы императоров, а позднее войска болгарских каганов долгие месяцы держались в крепо-

сти, и никакая вражеская сила не могла их взять. Было время, когда кесарь болгарский Симеон, окруженный уграми, заперся в Доростоле, несколько месяцев выдерживал осаду и, наконец, сам пошел в наступление против угров, прогнал их в Ателькуз.

Воев князя Святослава не задержала ни одна крепость. За короткое время было взято восемьдесят придунайских городов, сотни городищ в долине, немало городов у Русского моря. Никогда, никогда, с тех пор как стояли Родопы, с тех пор как пять морей бьются о крутые берега Болгарии, ни одна рать в такое короткое время не доходила до родопских вершин, ни одна рать не продвигалась так стремительно.

Вои князя Святослава беспощадно, не жалея крови, боролись с болярами и их дружинами. Бедняки же, все те, которых боляре называли простым людом, смердами, париками, примыкали к рати князя Святослава.

Когда князь Святослав взял Доростол, к нему прибыли гонцы из-за Родопов, от комита Шишмана и его четырех сыновей, недавно поднявших восстание против Петра и не признававших теперь Преславы...

Гонцы уведомили, что там, у Адриатического моря, ждут Святослава и, как только он займет Преславу, присоединятся к нему, чтобы вместе идти против ромеев.

Планина горела — теперь здесь повсюду вспоминали кесаря Симеона, его именем приветствовали друг друга, имена Симеона и Святослава открывали ворота крепостей. Кольцо вокруг Преславы сжималось все туже и туже, с ее стен уже видны были зарева пожарищ над Дунаем, зарева в горах на западе, зарева со стороны Русского моря. Только в одной стороне не полыхали зарева — на юге от Преславы, в Византии. И туда, через горные ущелья, к Константинополю, и обратно, из Константинополя к Преславе, мчались и мчались гонцы.

### 6

Обо всем этом, конечно, слышит, все это знает император Никифор. Вои князя Святослава идут не так, как бы ему хотелось. Молчит патрикий Калокир, молчит Святослав, страх и отчаяние начинают постепенно охватывать императора.

О, если бы он знал, то никогда не стал бы звать русов сюда, в Родопы, да еще платить золотом князю Святославу! Испуганный василевс начинает стягивать к Константинополю войска. Сюда идут легионы, стоявшие до сих пор в западных фемах. Стратиги, по велению императора, высылают свои войска,— они заливают серым потоком берега Золотого Рога.

На противоположном берегу Золотого Рога, в Галате, прини-

маются чинить старые, разбитые и строить новые дромоны, хеландии, скедии. Из голубой дымки Пропонтиды к Константинополю спешат корабли с легионерами из Азии.

Большое войско требует оружия, и его куют в мастерских на Галате и у Влахерна,— куют мечи, копья, день и ночь, беспрерывно. Там же, в мастерских, готовят огромную цепь и протягивают ее через Золотой Рог — от Сотенной башни Юстиниановой стены к Галатской башне на противоположном берегу. Эта башня до сих пор была известна тем, что в ней жили несколько монахов, которые будто вылечивали женщин от бесплодия. Теперь прикованная к ней цепь должна была преградить путь лодиям Святослава к Большому дворцу.

Казалось, Константинополь и все его прибрежные фемы были отлично защищены с суши и моря. Все ждали, что император Никифор выступит со своими легионами против Святослава. И сенаторы и все чиновники открыто и давно поговаривали об этом.

Однако Никифор не спешил. Император Византии не колебался, идти или не идти против Святослава. Вопрос этот император Никифор решил давно, еще когда посылал в Киев своего василика Калокира. Иные причины принуждали Никифора задержаться с походом в Болгарию.

В империи было неспокойно. Сидя в Константинополе, император Никифор чувствовал горячее дыхание Европы. По Южной Италии двигался со своими войсками император Оттон Первый, он вышел уже к морю, близ Сицилии корабли его столкнулись с многочисленным, могучим флотом Византии...

Произошло что-то непонятное. Византийский флот со своими дромонами, с замечательными хеландиями и кубарами, имея в своем распоряжении греческий огонь, все же был разбит и потоплен...

Неспокойно было также и в Азии. Там, в Сирии, и вокруг — в Исаврии, Киликии, Финикии — уже в продолжение нескольких лет вспыхивали восстания против империи, и Никифор давно послал туда своего доместика схол, знаменитого полководца Иоанна Цимисхия, с приказом во что бы то ни стало подавить восстание.

Но вот уже год Иоанн Цимисхий не мог подавить восстание в Азии и все стоял под стенами Антиохии. Императору Никифору пришлось послать туда лучшие легионы во главе со стратопедархом — патрикием Петром, о котором все говорили, что он храбр и с врагами жесток. Одновременно разгневанный император повелел Иоанну Цимисхию немедленно вернуться в Константинополь.

В самом Константинополе также было трудно. Три года подряд в империи был неурожай, в фемах, которые граничили с Болгарией, свирепствовал голод, не хватало продуктов уже и в

самой столице. Всю торговлю хлебом захватил в свои руки, конечно, с ведома императора, его брат — куропалат Лев Фока. Он скупал весь привозимый в Константинополь хлеб и продавал его по высокой цене, наживая тысячи кентинариев.

Лев Фока был не один. Каждый патрикий, сенатор и даже самый мелкий чиновник, кроме большого жалованья, получаемого из царской казны, старался еще что-нибудь заработать. Все торговали домами в городе, имениями в фемах, тысячи рабов трудились на императора и его сторонников. Голодное, обедневшее население Константинополя и ближайших фем было доведено до отчаяния.

Канцелярию эпарха города, которая находилась недалеко от Большого дворца, каждое утро осаждали мясники, хлебопеки, торговцы мылом, воском, полотном. Они жаловались, что Колхида и Керосун не продают им полотна, что никто не хочет гнать баранов и скотину из Сангарии и Никомидии, а в Тавре будто никогда и не было свиней...

Но не одни торговцы толпились подле канцелярии эпарха. Сюда шел и голодный люд столицы, жалуясь на отсутствие работы, а если она и случалась, то на заработок нельзя было купить хлеба.

Чем дальше, тем все больше и больше ширились в столице грабежи, разбои, убийства. По ночам то тут, то там вспыхивали пожары, то тут, то там грабители разбивали лавки. Поджигателей и воров ловили, колодниками была забита вся претория, но зто не помогало. Город кипел, волновался.

Волнения и беспокойство еще больше всколыхнули город, когда туда дошли слухи о победах князя Святослава в Болгарии.

Во время игр на Ипподроме, в самый торжественный момент, когда на арену вышли все участники игр и император Никифор вместе с императрицей Феофано появились в своей ложе, чтобы приветствовать собравшихся, со скамей раздались выкрики: «Хлеба!.. Хлеба!..» — потом свист. В императорскую ложу полетели камни.

Императору Никифору и Феофано пришлось бежать с Ипподрома. Через узкие проходы Кафизмы, подвалы храма Дафн и галерею Маркиана они тайком пробрались в Буколеон.

Буколеонский дворец император Никифор велел выстроить еще в самом начале своего царствования: он боялся жить в Большом дворце, где царствовали и погибали насильственной смертью императоры — предшественники Никифора.

Свой новый дворец император построил южнее Большого дворца, над узким и глубоким заливом, в котором можно было держать наготове несколько кораблей. Дворец этот и снаружи и внутри напоминал крепость — высокие стены, бойницы, башни, подземелья. Туда трудно было войти, но еще труднее выйти.

Император успокоился после событий на Ипподроме, только когда очутился в Буколеоне.

— Они жестоко расплатятся за эти камни,— сказал император паракимомену Василию.— Наша зтерия должна перевернуть весь город.

Над Константинополем нависли тяжелые тучи, с галатского берега дул холодный ветер. Лицо у императора было сердитое, он стоял молчаливый, задумчивый, его длинные, когда-то черные волосы, обильно подернутые теперь сединой, растрепались на ветру. Темные глаза из-под густых, косматых бровей хмуро глядели на берег Галаты.

Через несколько дней тревога императора Никифора улеглась — в Константинополь вернулся стратопедарх патрикий Петр. Со своими легионами он быстро прошел Сирию, окружил Антиохию, поставил тараны и метательные машины, зажег город греческим огнем и взял Антиохию. В Константинополь он привез несметное количество рабов и сокровищ.

Император Никифор чувствовал себя победителем. Он собственноручно вручил большую награду патрикию Петру. Поскольку известие о падении Антиохии было получено накануне праздника архистратига Михаила, Никифор велел готовиться к выходу в святую Софию.

Однако еще до выхода он встретился в Буколеоне с Иоанном Цимисхием. И тогда императора охватил страшный гнев.

— Как мог ты допустить,— закричал он на Цимисхия,— чтобы в эту трудную для Византии пору я снимал большие силы с границ Болгарии и посылал их в Сирию?!

— Великий император,— ответил Цимисхий,— я делал, как ты велел: берег Антиохию, которая является третьим по красоте городом в мире, и старался взять ее измором.

— Безумец! Твоя осада затянулась на целый год. А патрикий Петр взял Антиохию за день.

— Он разрушил стены, сжег полгорода, не оставив камня на камне.

— Бывают времена,— повысил голос раздраженный император,— когда надо разрушать не только города, а целые страны, не жалея никого и ничего. Патрикий Петр так и поступил — и прибыл в Константинополь с несметными сокровищами.

— Это правда! — промолвил Иоанн.— Антиохия теперь беднейший в мире город, не скоро она подымется из руин и пепла.

— Ты смеешь меня осуждать?! — неистово вопил Никифор.— Паракимомен Василий! Отныне Иоанн Цимисхий не доместик схол! А ты, бездарный полководец, убирайся в свою Армению, нет тебе места в Константинополе!

Только после этого император Никифор, обуздав свой гнев, направился в камары Золотой палаты, чтобы надеть свой пыш-

ный наряд и начинать большой выход, под торжественное пение хоров, славословия димотов.

Однако теперь эти славословия не приносили ему, как бывало, услады, не бросали в священный трепет, не успокаивали душу. Он шел, седой, сгорбленный, время от времени боязливо озираясь...

Это был уже не тот славный полководец, от одного имени которого трепетали Сирия и Палестина, который повелел когда-то своему войску рубить головы критянам и бросать их на врагов, ходил на Антиохию, разрушил и сжег до основания города агарян, которого все предпочитали иметь союзником и даже господином, только не врагом.

Теперь наступало время, когда император Никифор испытывал страх перед другими, мрачные предчувствия охватывали его...

И сейчас эти предчувствия не обманули императора. Он стоял и молился в своем паракиптике, время от времени падал на колени и склонялся лбом к холодному мраморному полу.

Но что это? Быстро оторвав тяжелую голову от пола, он увидел перед собой монаха в темной рясе, с закрытым лицом, который протягивал ему руку.

— Что это? Кто ты? — прошептал император, невольно коснувшись холодной руки монаха.

Монах исчез так же неожиданно, как и появился.

В руке императора осталась бумажка. Он развернул ее, поднес к глазам и при мерцающем свете лампад прочел:

«Государь! Провидение открыло мне, ничтожному червю, что ты по прошествии сентября в третий месяц переселишься из сей жизни...»

Император сделал шаг вперед, открыл полог паракиптика, отделявший его от мутатория. Там один за другим, все в темных рясах, шли монахи. Но который из них дал записку?

## 7

У императора оставалась единственная отрада, единственный человек, которому он пока что верил в Большом дворце,— его жена, императрица Феофано.

Ей в то время исполнилось тридцать лет, и если раньше, в дни молодости, она напоминала лозу, на которой только наливаются покрытые нежной пыльцою и таинственно влекущие гроздья, то теперь лоза эта созрела.

У Феофано были совершенные, будто выточенные из мрамора, формы; нежные руки с длинными, гибкими пальцами напоминали лебединые крылья, упругие груди — сочные плоды, ноги — о, ее ногам завидовали все женщины Константинополя!

Прелестным было и ее лицо — с большими, темными, как две маслины, под черными бровями глазами; нежная кожа напоминала бархат; когда Феофано волновалась, на щеках ее расцветал, точно чудесные розы, румянец, рот был небольшой, но четко очерченный, без единой морщинки. Нет, императрицу Феофано недаром называли прекраснейшей из прекрасных женщин Византии и всего мира!

Рядом с ней император Никифор — седоватый, не в меру полный, обрюзглый, неразговорчивый и неподвижный — казался старым, мешковатым, нескладным. Но он не сдавался, он безумно любил и хотел, чтобы его любила Феофано, единственная, лучшая в мире...

Многое ему пришлось пережить из-за нее. Ведь еще тогда, когда царствовал император Константин с престолонаследником Романом, он, как приближенный к царской семье человек, был приглашен и стал крестным отцом сыновей Феофано — Василия и Константина. Тогда зто удовлетворяло его. Крестный отец порфирородных — так началась связь между Феофано, Никифором Фокой и еще паракимоменом Василием.

Позже, правда, зто кумовство Никифора Фоки обернулось против него же. Когда после отравления Константина, а потом и Романа вчерашний полководец, теперь император Византии, обратился на следующий день к патриарху Полиевкту с просьбой благословить его брак с Феофано, патриарх возразил, что Феофано, как мать крещенных Никифором детей, не может стать его супругой, и новоявленному императору не оставалось ничего, как пуститься на обман — он заявил и доказал патриарху, что крестным отцом является не он... а его брат, Лев Фока. Феофано стала супругой Никифора.

Наступило, казалось, счастливое время: он был с Феофано, дарил ей несметные сокровища, жаловал города и целые земли в Европе и Азии. Когда же Никифору пришлось двинуться в Азию, на агарян, восставших против империи, он взял с собою Феофано...

При каждом удобном случае она проявляла свою любовь к императору: это она велела затевать для его развлечения малые выходы — в Софию и большие — в город; это она старалась, чтобы в Большом дворце каждый день устраивались торжественные приемы; зто она приходила каждый вечер к своему василевсу.

И в зтот вечер, когда император Никифор, испуганный запиской монаха, вернулся из собора Софии в Буколеон, она пришла к нему в опочивальню, в легкой тунике, возбужденная, прекрасная.

Император Никифор стоял на коленях в углу перед образом и, отбивая частые поклоны, горячо молился.

— Император! Мой василевс! — обратилась она к Никифору.— Ты проводишь дни и ночи в своем китоне, ты избегаешь радости и развлечений, ты забыл обо мне, своей Феофано. Почему?

— Я не забываю,— поднимаясь, ответил Никифор,— и я никогда не забуду тебя, Феофано. Но сейчас мне трудно, тяжелые мысли не покидают меня ни на минуту, я не сплю по ночам... Это началось с тех пор, как мы были с тобой на Ипподроме, когда они бросали в меня камнями...

— Император,— перебила его Феофано,— разве впервые императорам ромеев приходится видеть, как в них бросают камни? Тех, кто бросал камни, нет уже в живых, а если кто из них и остался, то сидит и будет сидеть на Проте... Забудь об этом, император.

— Ты говоришь,— продолжал Никифор,— что все они погибли либо сидят на Проте. Но кто же тогда пророчит и хочет моей смерти?

Император показал Феофано записку, которую дал ему монах в соборе. Феофано очень внимательно прочла до конца, и на ее лице выступил румянец. Однако она сдержалась и как только могла спокойно, словно шутя, сказала:

— Мой император! Василевс мой! Разве можно так страдать из-за каждой глупой записки? «...в третий месяц переселишься из сей жизни...» Ничтожный червь! Недаром он так и подписал эту записку. Ну кто, скажи мне, может знать, когда человек уйдет из этой жизни? Бог? Но ведь бог этого не скажет, потому что, когда приходит срок, он зовет; если же судьба судила жить, человек побеждает даже смерть. У нас с тобой, император, есть враги — и здесь, в Большом дворце, и в Константинополе, и в империи. Но, василевс, мы не были бы императорами, если бы их не имели. А разве у них не было врагов?

Она указала на стены опочивальни, украшенные мозаичными изображениями императора Константина, Юстиниана, Михаила и Василия Македонянина... Как живые, шли и шли они, высоко подняв руки. За ними, с молитвенниками в руках, следовали их жены, дети...

— Это правда,— вырвалось у императора Никифора.— Македонянин,— он указал пальцем на одного из них,— убил этого самого... Михаила Мефисоса, а тот — этого...

— Да,— подтвердила Феофано и громко рассмеялась.— Они убивали даже друг друга. Чего же ты испугался? Ничтожный червяк пророчит тебе смерть, и ты ему веришь?! Подумай, император! У тебя надежная этерия, от тебя не отходит твой паракимомен Василий, ты построил — и хорошо сделал — этот дворец Буколеон, куда не проползут ни мышь, ни червяк, наконец, подле тебя и я — твоя радость, твоя опора.

— Это правда,— согласился император Никифор.— Здесь, в

Буколеоне, возле тебя, я в безопасности... Но врагов много, они там, за стенами Буколеона...

— Кто же они?

— Оттон немецкий.

— Вряд ли Оттон пойдет против Византии,— возразила Феофано.— Он сейчас в Италии, успокоился и далее не двинется...

— Но и вся Азия в огне, Феофано!

— О,— Феофано засмеялась,— после того как ты сам, а потом Вард Склир прошли по Азии, там не посмеет даже ветер дохнуть...

— А Болгария?

— Болгария — в самом деле ненадежная земля, и не так она, как Русь.

Феофано на минутку задумалась и продолжала:

— Когда-то... это было давно... еще при жизни императора Константина, я видела в Большом дворце киевскую княгиню Ольгу... Это страшная, опасная женщина. Я до сих пор не могу забыть ее глаз, лица, губ. Таков, верно, и ее сын Святослав. Но почему ты не идешь против него, император?

— Видишь ли,— задумчиво ответил Никифор,— я сам позвал князя Святослава и даже заплатил ему, чтобы он громил непокорных болгар...

— Он громит их, об этом говорит весь Константинополь. Но Константинополь боится, что Святослав может явиться и сюда...

— О нет,— уверенно сказал император,— болгары не допустят его сюда...

— Кто не допустит? — с презрительной улыбкой спросила Феофано.— Их косноязычный кесарь Петр, этот монах с Афонской горы?

— У него есть сын Борис... наш родственник, Феофано.

— Так почему же ты держишь его здесь, при дворе?

— Он завтра уезжает в Преславу,— сказал Никифор.— Правда, на Петра полагаться далее нельзя. Но, Феофано, я и не рассчитывал на него. Уже давно, еще в то время, когда Святослав вторгся в Болгарию, я послал епископа Феофила своим василиком к печенегам, дал ему золото, чтобы они напали на Киев.

— Паракимомен Василий не говорил мне об этом...

— Об этом до сих пор знали только я да он, а теперь будешь знать и ты, Феофано.

— Это очень хорошо,— согласилась Феофано.— Но на Святослава должен идти и ты.

— Как только ударят печенеги, двинусь и я. А потом, ты знаешь, было неспокойно в Азии. Сейчас я готов и пойду, пойду...

— О, теперь я вижу, что ты действительно мудр! — горячо воскликнула Феофано.— Иди, иди на них!.. Помнишь,— задум-

чиво сказала она,— как ты когда-то, сразу же после нашей свадьбы, уехал в Азию... и взял меня с собой? Я жила в твоем шатре. Как ты был тогда прекрасен, император! Я помню тебя на коне, в позолоченных доспехах, в шлеме, с мечом...

— Да,— согласился он,— это было чудесное время. Но разве я сейчас уж так стар? Феофано, я еще сяду на коня и поведу войско на Русь... И тебя я тоже возьму с собою...

— Но покуда ты молишься, а не готовишься к войне.

— Я перебрасываю войска из Азии, мои легионы уже стоят во Фракии и Македонии, скоро будет готов и мой флот...

— Нет, ты не готовишься,— решительно промолвила Феофано,— потому что не думаешь о своих полководцах. Почему ты пренебрегаешь мужем, который прославился подвигами и не раз спасал тебе жизнь, помог стать императором?

— О ком ты говоришь?

— Об Иоанне Цимисхии, твоем двоюродном брате, которого ты безо всякой вины отрешил от должности доместика схол и заставляешь уезжать в Армению. Зачем ему, человеку знаменитого рода, сидеть в глуши в то время, когда он должен стоять во главе войска, вести его? Кроме того, у Цимисхия большое горе — только что умерла его жена... Никифор, пусть он останется в Константинополе и женится на дочери благородного патрикия... Сделай это для меня...

— Разве только ради тебя,— промолвил император.— Но я не хочу видеть его здесь, во дворце. Пусть он живет в городе, пусть женится, но не показывается мне на глаза.

— Спасибо,— поблагодарила Феофано.— Сейчас ты поступил как император. За это тебя любила и любит Феофано...

Император Никифор последовал совету Феофано и на другой день пригласил для беседы своего нового родственника, кесаревича Бориса.

Император выбрал удобное место и подходящее время для беседы. Он сидел в большой палате, окна которой были завешены. Через раскрытую дверь виднелись отливающие бирюзою воды Пропонтиды и длинная цепочка кораблей, уплывающих куда-то вдаль...

Величественное зрелище! Спокойное море искрилось под ослепительными солнечными лучами. И тем грознее казались на нем тяжелые боевые корабли: дромоны, по сторонам которых плыли по два разведывательных судна — усии, за ними памфилы — тоже боевые корабли, только поменьше, потом длинные, веретенообразные — кумварии и более короткие — хеландии, на которых обычно перевозили легионеров, лошадей, оружие.

До ушей кесаревича Бориса доносился перестук весел,— па

одних только дромонах сидело по сто — двести гребцов с каждого борта. Кесаревич видел, как серебристые брызги летят из-под тысяч весел, как за кораблями тянется длинный пенящийся след.

— Большая сила в твоих руках, василевс! — вырвалось восторженное восклицание у кесаревича Бориса.

— Я повелел этой силе выйти из Золотого Рога и направиться за Босфор, к Дунаю,— сказал император Никифор.

— Значит, они идут на помощь Болгарии?

— Да, кесаревич, Византия идет на помощь болгарам.

— Спасибо, василевс! Если эти корабли станут на Дунае, тесно будет князю Святославу в Родопах...

— Да, кесаревич! — сурово промолвил император Никифор.— Настал час поднять меч над обнаглевшими тавроскифами и их князем. Как только наши корабли станут на Дунае, из Фракии и Македонии в Родопы двинутся и наши легионы. Однако, насколько я знаю, да и ты, кесаревич, мне говорил, кесарь Петр болен. Лучше было бы тебе сразу же выехать в Преславу.

— Великий василевс! Я давно об этом мечтаю и сразу после женитьбы просил отпустить меня.

— Ехать тебе в Преславу в то время было еще рано, а теперь пора, час настал.

— Я готов, василевс!

Император Никифор с минуту помолчал и, как показалось кесаревичу, сказал от чистого сердца, по-отцовски:

— Слушай, Борис! Я надеюсь, что ты поддержишь сейчас своего отца, а если на то будет божья воля, то и сам сумеешь защитить Преславу и города Болгарии. Помни, что падение Преславы будет твоей гибелью, закатом славы всех болгарских каганов... В твоих руках будут все сокровища каганов Омартога, Крума, Симеона,— император Никифор тяжело вздохнул, вспомнив об этих богатствах,— в твоих руках будет и главное сокровище — корона болгарских кесарей. Помни: завоюет Святослав Болгарию — все погибнет, погибнут все сокровища, корона твоя будет повержена в прах. Ты должен бороться с ними до конца!

— Понимаю, император, и клянусь!

— В этой борьбе ты будешь не один. Когда-то между нами и болгарскими каганами случались разногласия и споры, были войны, проливалась кровь...

Император Никифор снова умолк, ему не хотелось вспоминать, как болгарские каганы не только боролись с императорами ромеев, но и били их и как каган Крум сделал себе кубок из черепа императора Никифора I...

— Все это в прошлом,— промолвил Никифор Фока,— уже много лет между империей и Болгарией царит дружба и лю-

бовь. Мы укрепляем нашу любовь, посылая тебя в Преславу, и надеемся на тебя. Но это только начало. Мы хотим еще больше укрепить любовь и дружбу между Болгарией и Византией... У тебя, Борис, две сестры, а у нас два сына императора Романа. Если твои сестры приедут сюда и познакомятся с царевичами Василием и Константином, мы еще раз подтвердим любовь между ромеями и болгарами.

— Ты, василевс,— отец Болгарии...

— Пути Болгарии и империи сошлись давно,— продолжал император Никифор,— а сейчас помни, что вслед за тобой я посылаю свое войско. Корабли вышли, Вард Склир и патрикий Петр уже стоят в Адрианополе, по первому слову они двинутся тебе на помощь.

— Единственно, чего я хочу, василевс,— промолвил Борис,— чтобы ты жил вечно, как море, как солнце...

— Это слишком много даже для василевса,— улыбаясь, сказал Никифор.— Иди, Борис, выполняй мою волю.

Когда кесаревич Борис вышел, император Никифор и паракимомен Василий долго еще смотрели на корабли, которые плыли и плыли вдаль.

— Пройдет немало времени, пока они дойдут до Сицилии и вернутся обратно,— угрюмо процедил император.

— Если они только вернутся...— добавил паракимомен Василий.

## 8

Поздней ночью в овраге у западной стены Буколеонского дворца раздался свист. Тотчас со стены спустилась веревочная лестница, кто-то поймал ее внизу и стал медленно карабкаться вверх.

Вскоре в китоне императрицы Феофано отворилась дверь.

— Кто там? — спросила Феофано.

— Я пришел, василисса!

— Иди смелей,— ответила она.— Дай свою руку...

— Ты ждала меня?

— Да, мой любимый Иоанн, ждала. Садись вот тут, расскажи, что у тебя случилось.

Иоанн Цимисхий сел рядом с Феофано.

— Никифор сошел с ума,— сказал бывший доместик схол.— Он забыл, как я спас ему жизнь и на полях Кесарии провозгласил его императором ромеев, в то время когда постельничий Василий посылал меня за его головой...

— Это правда, Иоанн, и Никифор всегда вспоминал тебя, когда об этом заходила речь.

— Да разве я только это сделал? Сколько раз рисковал я собственной жизнью из-за него! Сколько сокровищ прислал ему

из Азии и Египта!.. Даже этот дворец он построил на мое золото. Я мог бы стать самым богатым человеком в империи...

— Я знаю, Иоанн, что взял у тебя Никифор. Но разве ты не богаче сейчас, чем он?

— Это правда,— согласился Иоанн и положил руку на плечо Феофано.

— Что же у вас произошло? — спросила она.

— В прошлом году,— начал Иоанн свой рассказ,— когда Никифор был в Азии, он тщетно пытался, но не мог взять Антиохию. Тогда, оставив меня у стен, он велел, не разрушая Антиохии, осадить город. И я, как дурак, стоял под Антиохией мало не год и морил ее жителей голодом. А тем временем подходит с войском патрикий Петр, разбивает стены, берет приступом город и сжигает его.

— Ты ошибся, Иоанн,— сказала Феофано, и в темноте послышался ее смех.— Ты должен был взять город внезапно, силой...

— Но ведь я выполнял волю императора,— оправдывался Иоанн.— Кто же из нас тогда дурак — он или я?

Феофано не ответила на его вопрос и тихо промолвила:

— Многое приходится делать внезапно, брать силой.

— Именно так и сделал сегодня Никифор,— заметил Иоанн.— Совсем неожиданно, силою василевса он лишил меня в одно мгновение звания доместика схол и велел выехать в Армению.

— Сила побеждает силу, а ты победил Никифора,— прошептала Феофано.

— Да, за все, что он мне сделал, я имею право его убить. Но сейчас еще рано. В Кесарии за мной стояли войско и полководцы. В Константинополе у меня только один друг — ты...

— Не все делается сразу, исподволь ты соберешь сторонников и в Константинополе.

— Он повелел мне выехать из Константинополя.

— Никифор позволил тебе остаться здесь, ты только не сможешь посещать Большой дворец.

— Феофано! — прошептал он.— Если ты мне поможешь, я отыщу дорогу не только во дворец, но и до самого неба. Я люблю тебя так, как никого никогда не любил, и, если его не станет, я положу к твоим ногам всю Византию.

Феофано помолчала, перебирая тонкими пальцами его волосы.

— Напрасно ты думаешь,— тихо промолвила она,— что и сегодня Византия не моя. Пустые слова, что ею управляет Никифор. Я управляю им... и Византией. Но мне этого мало. Наступило время, когда империя должна управлять всем миром. А Никифор не может этого сделать.

— Кто же, Феофано, может это сделать?

— Ты, вместе со мной. Можешь не торопиться. Мои люди стоят у стен гинекея.

Иоанн Цимисхий покинул Буколеон перед рассветом тем же путем, каким и попал в него. Евнухи, сторожившие в сенях гинекея, вывели его потайным ходом к западной стене Буколеона. Там Иоанна ждали несколько легионеров. Вместе с ними он направился по оврагу на север, далеко обогнул Ипподром, вышел к юго-западным стенам Большого дворца и очутился в городе. Там бояться было уже некого.

Феофано не спала. Она лежала с закрытыми глазами в своей опочивальне, усталая, бессильная, но удовлетворенная и счастливая.

Много могла бы рассказать опочивальня василиссы ромеев, где сейчас лежала Феофано. Если бы вещи могли говорить, то выложенный из белого каррарского и зеленого фессалийского мрамора, расписанный порфиром, серебром, золотом и мозаикой потолок, пол, напоминавший цветник, и увешанные иконами стены кричали бы и стонали от того, что им довелось увидеть.

И все-таки эти стены не видели и не знали всего, что делала Феофано. В слабом, призрачном свете нового дня, что просачивался сквозь завешенные окна опочивальни, Феофано вспоминала, как паракимомен Василий дал ее свекру, императору Константину, яд, который готовила она сама, как вместе с Василием они подсыпали яд и ее мужу, императору Роману, как вместе с тем же Василием и еще несколькими полководцами, их соучастниками, венчали на престол Никифора...

Василевс Никифор! О, Феофано надоел этот увалень, который забыл, как нужно держаться в седле и который проводит больше времени перед иконами, чем на золотом троне! И он еще помышляет о покорении Азии, Болгарии, Руси?! Нет, не о таком императоре мечтала Феофано!

Ее выбор давно уже пал на Цимисхия. Любовь? Нет, Феофано не любила и его, как не любила никогда и никого,— ей просто нравилось, что Иоанн страстен, ловок, он — Феофано видела это собственными глазами — мог, разбежавшись, перепрыгнуть через шесть лошадей.

Феофано давно уже решила убить Никифора, императором должен быть Иоанн. Она только не знала, как это сделать. Паракимомен Василий? Нет, ему было опасно отравлять третьего императора.

Феофано помышляла еще об одном. Ее начинал беспокоить постельничий Василий, который был ее сообщником в отравлении двух императоров, а теперь должен помочь убить третьего.

Такой сообщник был опасен: он слишком много знал — его следует убрать.

Когда в опочивальне стало светлее, Феофано встала, пошла к тайнику в стене, раскрыла дверцы и вынула оттуда яд, приобретенный у египетских купцов. Яд действовал мгновенно и предназначался паракимомену Василию.

## 9

Поздно вечером Георгий Сурсувул с несколькими боилами и небольшой дружиной примчался в Преславу. Они были покрыты пылью, измучены, у Сурсувула зияла на лбу рана.

Сурсувула, видимо, ждали с нетерпением — едва он остановил перед дворцом коня, к нему кинулись со всех сторон боляре. Сурсувул ничего не ответил на их вопросы и, раздраженно махнув рукой, направился прямо в покои кесаря Петра. По виду Сурсувула боляре поняли, что нечего ждать добра.

А Сурсувул бежал по царским покоям. Стража угодливо расступалась перед ним и провожала глубокими поклонами.

Но что это? Войдя в один из покоев, он услышал, что где-то близко поет большой мужской хор. Хор пел торжественно и громко:

Слава в вышних богу, и на земле мир...

Раздраженный Сурсувул раскрыл еще одну дверь. Кто смеет в царском дворце говорить и петь о мире, когда у Дуная гибнет слава Болгарии?

И когда Сурсувул сильной рукой распахнул еще одну дверь, он увидел, что у стены стоит хор, а посреди покоя несколько священников подняли кресты над коленопреклоненным монахом, склонившимся до самого пола.

— Что тут делается?! — крикнул Сурсувул.

Монах поднял голову, и Сурсувул узнал кесаря Петра — в черной рясе, бледного, с длинными волосами, совсем не похожего на самого себя.

— Кесарь! — воскликнул Сурсувул.— Мы отступаем... Идет последний бой...

Больше всего, видимо, слова эти поразили певчих и священников. Первые, оборвав пение, на цыпочках вышли в соседний покой, священники опустили кресты и отступили...

Только кесарь Петр не дрогнул, не переменился в лице, услышав слова Сурсувула,— видимо, то, что он переживал до появления болярина, было страшнее слов Сурсувула. Все еще стоя на коленях и равнодушно глядя на Сурсувула, кесарь протянул:

— Ты ищешь кесаря? Его здесь нет...

— Что ты говоришь, кесарь? Что я слышу?

— То, что я сказал... Кесаря Петра, которого ты ищешь, здесь нет. Есть только чернец Петр. Продолжайте, священники! — сказал он безучастно.

— Проклятье! — крикнул Сурсувул.— Прочь! Прочь отсюда! — заорал он, двинувшись с кулаками на священников.

Те, зная нрав главного болярина, стремглав бросились из покоев.

— Кесарь Петр,— сказал Сурсувул, когда священники и хор покинули светлицу,— встань, негоже кесарю стоять на коленях здесь, перед священниками, монахами и передо мною, твоим болярином.

Не поднимая глаз, кесарь Петр медленно встал в ожидании, что еще скажет Сурсувул.

— Болгария гибнет,— продолжал главный болярин.— И ты в этом повинен...

— В чем я повинен? — уныло спросил кесарь.

— Во всем,— коротко ответил Сурсувул.— Не будем сейчас об этом говорить. Но в эту ночь, в этот час, еще можно спасти Болгарию. Пойдем в твою опочивальню. Иди же, дай мне руку...

И, взяв кесаря Петра под руку, болярин отвел его в опочивальню.

— А теперь,— сказал он,— я налью тебе чару, из которой пил каган Симеон, и ты должен будешь выпить ее до дна, каким бы горьким ни показалось тебе это вино...

Торопливо он взял с полки чару, которую каган Крум велел сделать из черепа императора Никифора I, и налил в нее из корчаги красного вина.

— Пей! — сказал он властно.

— Почему я должен пить?

— Ты должен выпить, чтобы ненавидеть, как прежде, императоров Византии, чтобы подать руку русам и их князю Святославу.

— Руку Святославу? Идти на Византию?

— Да, идти на императора Никифора вместе с князем Святославом. Пей это вино либо умри, кесарь!..

Кесарь вяло принял чару, подержал ее какой-то миг перед собой и вдруг выпустил из руки...

Час спустя боляре, как им было приказано, собрались в одной из палат Преславского дворца. Не зная, что происходит в этот час в покоях, они теснились в углу палаты, ведя между собой тихую беседу.

Наконец двери покоев распахнулись, оттуда вышли и стали с копьями в руках закованные в броню вои. Боляре вздрогнули, умолкли и замерли на месте.

Из покоев кесаря вышел болярин Сурсувул. Тяжело ступая, он прошел вперед и остановился подле трона кесарей.

— Боляре! — Голос его прозвучал как удар по билу среди темной ночи.— Кесарь Болгарии Петр, сын Симеона, только что скончался в своей опочивальне. Умирая, он выпил из чары кагана Симеона и завещал нам...

Но болярин Сурсувул не закончил свою речь — внезапно у дверей палаты послышались шаги, шум, лязг оружия. Несколько человек быстро вошли в палату, за ними следовали закованные в броню вои.

Впереди прибывших шел кесаревич Борис.

— Где отец? — спросил он у болярина Сурсувула.

— Кесарь Петр почил...

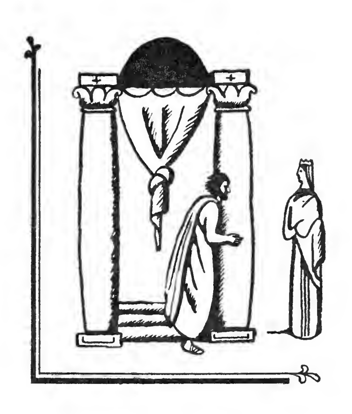
Кесаревич Борис взошел на помост и остановился у трона.

— Вечная память кесарю,— начал он.— Жаль, что мне не удалось прийти из Константинополя с большой дружиной, еще более сожалею, что сюда еще не подошел с многочисленным своим войском император Никифор. Но он скоро будет здесь...

Болярин Сурсувул только теперь, казалось, понял, что произошло, но делать что-либо было уже поздно, поздно было бороться с кесаревичем и императором Византии. Они еще раз победили болгар.

А в палате уже гремело:

— Да здравствует кесарь Борис! Многая лета кесарю Борису!..



## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Паракимомен Василий внезапно, к удивлению всех, захворал. Конечно, все — и божественный император и простые смертные люди — время от времени болеют, лечатся, выздоравливают и снова заболевают. Но паракимомен болеть не имеет права — ведь он сопровождает императора, когда тот здоров, и не отходит от его постели, когда император болен.

И все-таки паракимомен Василий захворал. Несколько дней он жаловался всем в Буколеоне, что нездоров,— и в самом деле у него лихорадочно, особенно под вечер, блестели глаза. Когда он подавал императору, у него дрожали руки, говорил он задыхаясь, его сухой кашель слышался по ночам в покоях Буколеона. Наконец болезнь свалила его с ног, и несколько рабов отнесли паракимомена на носилках в собственный дом, стоявший на развалинах Акрополя, над Золотым Рогом.

Императора Никифора это выводило из себя. Мысленно он ругал и проклинал паракимомена, который ему сейчас был нужен как никогда. Часто посылал к нему этериотов во главе с начальником Львом Валентом, расспрашивал их о здоровье больного, советовал обратиться к врачам-болгарам, которые понимали в травах, самолично послал к Василию египетского врача Уне-ра, который с успехом лечил константинопольских патрикиев и их жен крокодильей печенью и змеиным ядом. Но паракимомену ничто не помогало.

Император много пил вина и мало ел, в долгие осенние ночи его мучила бессонница. Едва успев лечь в постель, он вскакивал от подозрительного шума за окном, шагов в покоях или в самой опочивальне... Тогда император звал великого папию Михаила или начальника этерии Льва Валента и спрашивал их, спокойно ли во дворце и в заливе, а сам глядел на лики прежних императоров, падал на колени перед иконами и молился, молился...

Конечно, продолжаться так без конца не могло; великий папия Буколеона Михаил забирал все в свои руки, этому потворствовал и сам император: ему казалось, что Михаил всецело ему предан, он, как тень, следовал за императором, не смыкал ни на минуту по ночам глаз, по первому зову являлся на пороге.

Не забывала своего возлюбленного императора и Феофано. Она понимала, что теперь нужна ему больше, чем когда-либо, и проводила с ним долгие вечера, а часто и ночи, заставляя его молиться не деревянным образам, а ее живому, горячему телу.

Однако на этом не закончились беды императора Никифора. В эти же дни умер его отец Вард Фока.

Смерть его не явилась неожиданностью. Вард Фока прожил на земле почти сто лет, он долго хворал, и пора ему давно было переселиться в иной мир. Но император Никифор тяжело переживал утрату отца и очень печалился, когда пришлось хоронить его. Император шел за гробом, под охраной этерии, через весь Константинополь на кладбище за Софийскую пристань. Рядом шагал его брат Лев Фока, торговавший хлебом, и несколько его племянников...

Вечером накануне десятого декабря император повелел править в Софии службу. Служило множество священников и диаконов, в алтаре на почетном своем троне сидел патриарх Полиевкт, старый, немощный, глухой,— его всегда приводили в собор, когда там молился император.

Никифор, как обычно, стоял в паракиптике и видел сквозь щелку занавесей залитый огнями собор, тысячи людей и сверкающие ризы священнослужителей.

И вдруг случилось то же самое, что было с ним недавно,— сквозь щель к нему протянулась чья-то рука, в стиснутых пальцах он увидел бумажку.

Император Никифор схватил бумажку и сразу же широко раздвинул занавеси, но увидел лишь нескольких священников в сверкающих ризах. Помахивая кадилами, они пели величальную молитву.

Задернув занавеси, император, казалось, окаменел. Он стоял и думал: что это было — сон, видение? Но это был не сон, не видение — в стиснутых пальцах правой руки он чувствовал сложенную бумажку, новую записку...

Он развернул ее, поднес к щели в занавесях, сквозь которую падал свет ярких паникадил, и прочитал:

«Государь! Да будет тебе известно, что в сию ночь тебе готовится ужасная смерть. Это истина: прикажи осмотреть гинекей — там найдут вооруженных людей, готовых убить тебя».

Впервые за все время своего царствования император Никифор, не дослушав службы в Софии, попрал церемониал византийского двора и бежал из храма...

Он шел потайными ходами Большого дворца, садом, через подземные галереи, портики, окруженные тесным кольцом этерии. Но ему чудилось, что за каждой колонной, каждой аркой, каждым кустом притаился неведомый враг. И только когда перед ним распахнулись, а потом плотно захлопнулись железные ворота Буколеона, император почувствовал себя лучше — теперь, казалось, никто не сможет добраться к нему за высокие, неприступные стены крепости над Пропонтидой.

Но в записке было сказано, что враг притаился и подстерегает его в самом Буколеоне, в гинекее... Как же обнаружить этого врага? Кто это сделает?

У ворот Буколеона императора встретил и потом уже ни на шаг не отходил от него великий папия Михаил. Тут же, во дворце, был, к счастью, и Лев Валент. О, если поручить им обыскать дворец и гинекей, они сделают это на совесть! Правда, ни Михаила, ни Льва Валента Феофано не любит. Но что делать? Император Никифор должен избрать в эту ночь не тех, кого любит или не любит Феофано, а тех, кому он доверил свою жизнь.

И еще одну безнадежную попытку делает император Никифор: уже поздно, холодно, сыро, но он посылает этериотов к паракимомену Василию и просит его, хотя бы на носилках, прибыть в Буколеон.

Затем император Никифор зовет паппю Михаила и Льва Валента к себе в опочивальню, садится с ними за стол и торопливо начинает:

— Я позвал вас, чтобы вы сей же час осмотрели дворец.

— Что случилось, император?

— У меня есть сведения,— откровенно признался император,— что здесь, во дворце, притаились и угрожают нашей императорской жизни враги...

— Великий император,— заискивающе сказал папия Михаил,— если ты поручишь это мне, я переверну все вверх дном.

— Божественный василевс,— прошептал Лев Валент,— я вместе с этериотами обшарю сейчас все углы...

— Вы должны особенно внимательно осмотреть гинекей,— таинственно прошептал император Никифор.— Эти изменники,— виновато добавил он,— могут угрожать не только моей жизни, но и жизни всей императорской фамилии.

Лев Валент пристально посмотрел на императора, стараясь понять истинный смысл его слов, потом коснулся рукояти своего меча и произнес:

— Если они прячутся в гинекее,— глаза его сверкнули,— мы их и там отыщем.

В конце беседы вернулись этериоты, посланные императором к паракимомену Василию, и доложили, что он не узнал их и, видимо, умирает.

Император Никифор остался в своей опочивальне один. У дверей опочивальни стояли этериоты, они же дежурили в коридорах. Император немного успокоился.

Опочивальня императора считалась одним из лучших покоев Буколеона; окна ее выходили на Пропонтиду. Днем отсюда открывался прекрасный вид на голубое море, в ясный день на далеком небосводе можно было разглядеть острова.

Сейчас за окнами стоял мрак, только тени высоких кипарисов покачивались за ними,— казалось, будто кто-то снаружи заглядывает в окна. Император подошел и задернул пурпуровые, висящие на серебряных прутьях занавеси.

В опочивальне было светло. Вдоль стен стояло несколько светильников, вверху горела большая позолоченная люстра; она заливала потоками света усыпанный золотыми звездами потолок и выложенный из зеленой мозаики крест, освещала пол с четырьмя искусно выполненными посередине мозаичными павлинами, окаймленными черным мрамором, орлами и райскими птицами по углам.

Вся опочивальня блестела и сверкала в эту ночную пору — и дверь, сделанная из серебра и слоновой кости, и драгоценная мебель, украшенная инкрустациями из перламутра и кости...

Только мозаика вдоль стен опочивальни с изображениями императоров скрывалась в темноте. Императоры шли и шли с крестами и скипетрами в руках, за ними, подняв глаза и воздев руки, следовали жены, сыновья, дочери...

«А сколько их было убито?» — подумал император Никифор.

— О великие императоры! — зашептал он.— Вы — творцы и создатели Нового Рима. Вы построили крепости и храмы, об-

несли неприступными стенами земли империи, присоединили мечом своим острова Средиземного моря, далекую Мавританию и Нумидию, Африку, Бизацену, Триполитанию и Египет, в Малой Азии вы покорили аравитян, сирийцев. Перед вами склонялись города ассирийцев и финикийцев, вы покорили Тарс, прогнали варваров с Крита и Кипра, Восток и Запад трепетали перед вами, Ливия и Нил отдавали вам свои богатства... Так помогите же мне, помогите, императоры!

Молитва принесла ему некоторое успокоение. Он слышал, как где-то в коридорах шагают этериоты. Вскоре пришли папия Михаил и Лев Валент.

— Великий император,— сказал Лев,— я лично обыскал гинекей и никого там не нашел. Мы осмотрели также и весь дворец, но врагов нет.

— Спасибо вам,— поблагодарил император.— Теперь я усну спокойно. Ступай домой, Лев!

И Лев Валент вышел из опочивальни.

— Великий василевс,— сказал на прощание императору папия Михаил,— ложись и спокойно спи. Всю ночь, не смыкая глаз, я буду стоять у дверей опочивальни. У тебя есть завистники и враги, но есть и настоящие друзья, которые отдадут за тебя жизнь. Спи спокойно, василевс!

Поцеловав красную сандалию императора, он удалился.

И тогда к Никифору вошла Феофано...

Он не бросился к ней навстречу, как это делал всегда, заслышав ее шаги, а стоял в углу опочивальни и глядел из-под густых темных бровей хмурыми, как ей показалось, злыми глазами.

Тогда Феофано сама пошла вперед — в золотистой тунике, с яркой розой на груди, с ниткой жемчуга, тускло мерцавшей в волосах, в маленьких красных сандалиях на босу ногу.

— Император! — услышал он ее голос.— Что с тобой? Ты болен, мой василевс?

И тотчас же его словно ударило в грудь, к нему долетел аромат розы — запах ее тела.

— Феофано! — сказал он.— Я не болен, но у меня очень болит сердце.

— Что случилось? — она остановилась совсем близко от него.— Скажи мне, мой любимый император: почему у тебя болит сердце?

Никифор поглядел ей в глаза — темные, глубокие глаза, на самом дне которых мерцали искорки. И Феофано выдержала его взгляд, словно не мучили ее никакие сомнения, словно душа ее была чиста и прозрачна, словно несла она с собой только правду.

— Феофано! — прошептал он.— Я открою тебе всю душу, но обещай, что ты не станешь на этот раз сердиться на меня.

— Император! Неужели ты хоть минуту сомневаешься?

— Тогда читай,— сказал император и протянул ей записку.

Она взяла записку, подошла к светильнику и стала так, чтобы он видел малейшую черточку на ее лице, неторопливо разгладила своими тонкими пальцами бумажку, скомканную рукой императора, и принялась читать.

Император следил за ее лицом. Феофано подняла голову,— она была совершенно спокойна. Никифор увидел на ее лице улыбку.

— Так вот почему,— промолвила Феофано,— приходили к нам в гинекей Лев Валент и папия Михаил? Я хотела их выгнать: ведь у меня там сегодня гости — две царевны из Преславы. Но потом решила не мешать им делать свое недостойное дело, обещала,— виновато добавила она,— не сердиться. Но зачем же ты, император, оскорбляешь меня, твою Феофано? Неужели, вместо того чтобы посылать этериота Валента и никчемного Михаила, ты не мог позвать меня и показать эту глупую записку?

— Прости меня! — воскликнул Никифор.— Но, Феофано, я уже не знаю, кому верить, кому не верить!

Она шагнула вперед и положила свою теплую руку на его плечо.

— Мой император, мой василевс, краса и гордость Византии,— сказала она, склоняя голову на грудь Никифора,— я понимаю, у тебя много забот — ты грустишь о покойном отце, тебя беспокоит война в Болгарии, в такое трудное время заболел еще и паракимомен Василий. Но, император, почему ты забываешь, что у тебя есть Феофано, которая тебя любит и живет только для тебя?..

Она смотрела ему в глаза так, как может смотреть мать или ребенок.

— Тебя взволновала эта записка, но ты забыл, что она оскорбляет и меня. Вооруженные люди в гинекее! О император, будь уверен, Лев Валент и Михаил осмотрели и обыскали все покои. Я не знала, кто и почему их послал в гинекей, и пришла жаловаться на них. Оказывается, это твой приказ...

— Прости меня, Феофано,— повторил Никифор,— я вовсе не хотел тебя обидеть...

— Я уже позабыла про обиду,— промолвила она.— Будь покоен, император,— не кто-нибудь, а Феофано тебя охраняет. Ты хорошо поступил, император,— продолжала она, оглядев опочивальню и останавливая свой взгляд на окнах,— что превратил этот дворец в крепость. Сюда никто не пробьется. Босфор закрыт на цепь. Твое войско готовится к походу... Ты снова ся-

дешь на коня, снова полетишь перед легионами! Помнишь, как ты когда-то ходил походом на агарян, стоял под Каппадокией, брал Тарс?.. Тогда в твоем шатре непрестанно, день и ночь, была и я...

— Это было чудесное время! — восторженно воскликнул император.— Но и сейчас ты так же прекрасна, Феофано, как и тогда. Я могу без конца смотреть в твои глаза, без конца целовать...

Феофано сама поцеловала его — долгим, страстным поцелуем.

— Ты хочешь побыть со мной эту ночь? — спросила она.

— Только с тобой... А разве ты хочешь уйти?

— Да, мне нужно сходить в гинекей, попрощаться с болгарскими царевнами. Сумасшедший Лев Валент так напугал меня и царевен! Я с ними немного поговорю, а потом вернусь. Ты спи, император. Я приду к тебе...

— Я жду тебя, василисса, благочестивейшая и всеблаженная.

**2**

Наступил час, когда заступает вторая смена ночной стражи. В Буколеоне по-прежнему несли стражу этериоты. Бряцая оружием, закованные в броню, молча прошли под командой диангелов и стали у ворот, на всех стенах и башнях Буколеона топотериты. Они подняли щиты и наставили копья,— никто живой не проник бы теперь в крепость над морем.

За стенами Буколеона лежал темный, точно вымерший, Константинополь. От Перу и Галаты через Золотой Рог мчался, завывая на форумах и улицах, порывистый, холодный ветер. С неба сыпался необычный для юга снег. Непогода и холод удерживали жителей дома. Крепко спали все в Константинополе, крепко спал и Буколеон. И никто не видел, как из одной комнаты гинекея выскользнули несколько человек, крадучись миновали двор и сад, проникли на южную сторону крепости и поднялись по ступеням на крышу над морем.

Там было темно. Внизу, глубоко под ними, шумела, пенилась, катила валы раздраженная, холодная Пропонтида. Волны бились о стены дворца с такой силой, будто старались его разрушить.

Долго и напряженно прислушивались на крыше Буколеона люди, но ничего, кроме грохота валов да всплесков волн на море, не было слышно.

Потом к ним долетел свист. Тому, кто не ждал его, он показался бы обычным завыванием ночного ветра. Даже и те, кто стоял на крыше Буколеона, вначале не были уверены, ветер это или человек.

Свист повторился. Теперь уже можно было разобрать — он доносился со стороны моря, как раз с того места у берега, где над самой водой бронзовый лев проглатывал быка.

В темную бездну над морем начали спускать веревочную лестницу. Ветер перекатывался через крышу, рвался в море и отбрасывал лестницу далеко от стены,— казалось, она никогда не достигнет подножия стены, моря...

И вдруг лестница дрогнула, замерла, дернулась — кто-то стоял внизу и пробовал ее крепость.

Это были необычайно напряженные минуты. Внизу кто-то вцепился сильными руками в лестницу, она натянулась, как струна, ветер силился откинуть ее от стен — в пропасть, в море, однако неизвестный упорно и смело подымался все выше и выше. В темноте послышалось тяжелое дыхание, вот уже появились руки, туловище.

Стоявшие на крыше подхватили качавшегося над бездной мужчину.

— Руку! Руку! — испуганно шептали они.

— Наконец-то! — сказал неизвестный.— Проклятый ветер! Думал, что попаду на ужин акулам Пропонтиды. Все ли собрались?

— Все собрались и ждут тебя. Пойдем!

Крадучись, тронулись друг за другом по крыше Буколеонского дворца и спустились во двор.

Порывистый, холодный ветер мчался через Золотой Рог, завывал на форумах, в улицах и уносился в черную бездну Пропонтиды. На краю крыши Буколеонского дворца извивалась забытая веревочная лестница, и уже не было силы, которая могла бы ее наклонить к земле, к стенам, к разбушевавшимся волнам холодного, грозного моря. Да и кому она была теперь нужна? Сооружая из камня и железа свой дворец над морем, Никифор Фока не мог предвидеть, что с его неприступных стен можно спустить к морю тоненькую веревочную лестницу...

Император Никифор заснул очень поздно, и не на царском ложе, а просто на полу, на шкуре барса. Чтобы не замерзнуть, император накрылся теплой мантией своего дядьки, монаха Михаила Мелаина. Эта мантия, казалось, защищала его.

Проснулся император от того, что кто-то сорвал с него мантию и сильно ударил в грудь. Испуганный, он приподнялся, хотел вскочить на ноги, но не смог — страх сковал его тело, отнял язык...

То, что он увидел в опочивальне, было страшнее, чем могло представить болезненное воображение. Опочивальню наполнили воины с мечами в руках. На пороге, также с мечом, стоял Иоанн Цимисхий.



— Господи! Что это?! — крикнул Никифор, не понимая, как эти люди очутились в такую глухую пору ночи здесь, в его опочивальне.

И тотчас, словно все только того и ждали, один из воинов (император узнал его — это был начальник этериотов Лев Валент) выступил вперед, взмахнул мечом и ударил его. Удар пришелся по голове, император почувствовал нестерпимую боль, глаза залило кровью...

Но император не потерял сознания. Он понял, что эти люди пришли его убить. И, хотя знал, что теперь ему спасения нет, закричал:

— Богородице! Спаси! Спаси!

Тогда несколько человек схватили его за руки, потащили по полу, бросили на мрамор.

— Чего кричишь? — услыхал Никифор.

Сидя на полу, он молчал. Прямо перед ним, на его царском ложе, сидел Иоанн Цимисхий.

— Чего кричишь? — еще раз спросил Иоанн.

— Иоанн! Брат! — не сказал, а скорее прошептал Никифор.

— К кому ты обращаешься? — спросил Иоанн и засмеялся.— Брат? Кто кому брат? Как смеешь называть меня братом, ты, севший при моей помощи на престол, но от зависти и безумия забывший мои благодеяния, ты, который оторвал меня от войска и хотел выслать, как преступника, в Армению?

— Иоанн! Прости! — завопил Никифор.

— Молчи! — перебил его Иоанн.— Никто и ничто теперь не вырвет тебя из моих рук. Говори! Я слушаю,— может, ты скажешь, что не виноват?

— Богородице! Умоляю! Спаси! — снова взмолился Никифор.

— Безумный, глупый император! — крикнул Иоанн.

Он выхватил меч и кинулся к Никифору. Со всех сторон к Никифору подступили и воины. Иоанн схватил его за бороду и рвал ее. На императора сыпались удары, его били голоменями мечей.

Наконец Иоанн ударом меча отсек голову императору Восточно-Римской империи Никифору Фоке. Еще одного римского императора постигла насильственная смерть. Подле дверей его опочивальни в луже крови лежал великий папия Михаил.

И только тогда проснулся, зашумел Буколеон. Ворота дворца были заперты изнутри, и стражи, стоявшие по ту сторону, хотя и слышали шум и крики во дворце, но помочь не могли. Когда во дворце зажглись повсюду огни и зазвучали победоносные крики, стражи принялись бить в ворота.

Этериоты подошли к воротам.

— Чего вы стучите? — спросили они стражу.

— Мы — стражи императора Никифора.
— Императора Никифора нет...
— Не верим... Мы требуем императора!

Кто-то из этериотов, держа в руках светильник, подошел к воротам, поднял одной рукой светильник, а другой — кровавую, страшную голову Никифора.

— Многая лета императору Иоанну! — гремели крики в Буколеоне.

Стражи за воротами, подняв мечи, тоже закричали:
— Многая лета императору Иоанну!

Ворота Буколеона распахнулись. Над Галатой затеплился рассвет. Снег перестал идти, но за ночь он покрыл крыши, берег моря за Буколеоном, где, неподалеку от бронзовых фигур быка и льва, лежал обезглавленный труп бывшего императора.

По улицам Константинополя ходили этериоты и бессмертные, они останавливались среди форумов и на улицах и кричали: «Многая лета императору Иоанну!»

Перепуганные сенаторы и патрикии спешили к Большому дворцу, собирались на Ипподроме, толпились у двери Левзиака, которую ежедневно ровно в семь часов утра вместе с этериархом отпирал великий папия.

В это утро двери Левзиака отворились также в семь, но на их пороге появился не великий папия, а окруженный этерией паракимомен Василий.

— Многая лета Иоанну Цимисхию! — крикнул он.

А Иоанн Цимисхий, едва рассвело, поспешил в Софию. Он шел из Буколеона к собору путем, каким обычно ходил и Никифор,— через галерею Маркиана, Дафны, Илиак, Святой кладезь.

Но шел Иоанн не так, как императоры, не со свитой, под пение и славословия димотов и димархов,— впереди шагал отряд с мечами наголо, другой отряд окружал Иоанна, а еще один следовал за ними. В галереях и покоях Большого дворца, через которые шел Иоанн, отдавалось эхо тяжелых шагов этериотов, бряцало оружие.

У ворот Софии Иоанн остановился. Там его уже поджидал извещенный обо всем, что произошло ночью, патриарх Полиевкт. Патриарх в течение многих лет оставался лютым врагом императора Никифора.

— Я жду благословения святейшего патриарха,— сказал Иоанн, остановившись перед Полиевктом и низко склонив голову.

— Я не могу позволить тебе переступить порог святого храма, пока ты не огласишь и не покараешь убийцу императора Никифора.

Иоанн обернулся к этериотам.

— Убил Никифора,— тихо произнес он,— начальник этерии Лев Валент... Сегодня же он будет мертв.

Но патриарх не кончил:

— Именем святого престола я требую покарать и выслать из Константинополя Феофано.

Иоанн ответил не сразу, и патриарх понял, что Иоанну не так легко удовлетворить это требование. Но прошла минута, и Цимисхий ответил:

— Корабль с Феофано сегодня же покинет Константинополь.

Патриарх Полиевкт продолжал:

— Ты обязан отменить грамоту, направленную против церкви, подписанную безумным Никифором.

— Отменяю,— не задумываясь, ответил Иоанн.

Тогда патриарх сделал знак, и служители распахнули врата святой Софии.

Сенаторы и патрикии хоть и поздно, но все же дождались: к вечеру новый великий папия Роман вместе с новым этериархом отворили серебряные врата Левзиака — император Византии Иоанн Цимисхий принял их в Золотой палате.

Как раз в то время, уже в сумерки, когда рабы подняли обезглавленный труп Никифора, лежавший на снегу у бронзовых фигур быка и льва, положили в деревянный ящик и понесли по оврагу в храм Апостолов, чтобы тайно похоронить в склепе, где покоилось тело великого Константина, как раз в то время безбородые надевали дивитиссий и багряную хламиду на императора Цимисхия, возлагали на его главу венец, обували в красные сандалии.

Иоанн был маленького роста, как и его предки-армяне, за что, вероятно, и назывались Цимисхиями[1]. Но когда логофет, отворив западные ворота Золотой палаты, впустил патрикиев и сенаторов и они пали перед императором ниц, всем показалось, что он высок и грозен.

Иоанн Цимисхий опустился в западном приделе на золотой трон под выложенным мозаикой образом Христа — величественный, увенчанный золотой короной, в багряной хламиде.

— Многая лета! — пели за завесами два хора — из Софии и храма Апостолов.

И было забыто, что здесь, в Константинополе, в этом же Большом дворце, есть еще два императора — сыновья отравленного Романа и Феофано — Василий и Константин. Эти императоры были сейчас не нужны, многих лет желали только Иоанну.

[1] Цимисхий — маленький.

Он повелевает выбросить на рынки Константинополя как можно больше хлеба и вина, устанавливает на них низкие цены, вызывает одного за другим сенаторов и полководцев и каждому из них дает награду и назначение... Император Иоанн знает, кто его друг, а кто враг: Варду Склиру он надевает на грудь золотую цепь и назначает его начальником всего войска, Иоанну Куркуасу вручает золотую печать и велит быть начальником метательных машин, однако назначает нового друнгария флота, нового начальника этерии, нового великого папию.

Особые почести воздает император Иоанн паракимомену Василию, который неизменно был при императорах Константине, Романе и Никифоре и теперь останется при нем, но называет его не паракимоменом, а проэдром.

Новый император жестоко карает всех тех, кто был связан с императором Никифором, всех, кто может быть ему помехой. С обрыва бросают в море Льва Валента, привязав камень к его ногам; в ближайшую же ночь высылают на остров Лесбос брата убитого императора Никифора Льва Фоку, а сына его Варда и трех двоюродных братьев — в далекую Каппадокию, в Амазию.

3

Поздней ночью император Иоанн и проэдр Василий остались в покоях Буколеонского дворца одни. Отныне им всегда придется быть вместе. Проэдр Василий будет первым в синклите, он вместе с императором станет решать государственные дела, вместе жить в Большом дворце, на выходах станет сразу же за императором, выше всех магистров и препозитов, а ночью, когда император заснет, проэдр должен будет оберегать его покой и жизнь.

И хотя Василий был паракимоменом уже четвертого императора, а трем его предшественникам уготовил могилы, сейчас все это забылось. Они — император и его проэдр — в позднюю пору сидели в покое, окна и дверь которого выходили на море, упивались царящей во дворце тишиной и радовались своей победе.

В золотых кандилах горели свечи, освещая выложенные на стенах мозаичные изображения императоров — все они вместе с женами и детьми, с молитвенниками в руках, подняв очи горѐ, суровые и молчаливые, шли вокруг всего покоя.

А внизу, на мягких ложах перед столом, на котором в кувшинах стояло вино, возлежали император Иоанн и проэдр Василий.

— Устал я очень,— произнес Иоанн.— Впрочем, кажется, со всем покончено.

— Мой василевс,— вкрадчиво ответил проэдр,— мы хорошо подготовились, предвидели все мелочи, потому я был уверен, что все закончится успешно...

— Последняя ночь была ужасной,— вспомнил Иоанн.— Но, слава богу, она миновала, теперь мы может отдохнуть.

Они вышли на просторный балкон, остановились возле увитой виноградом колонны и стали смотреть на море.

Буря, бесновавшаяся прошлой ночью, утихла. С Босфора веял теплый легкий ветерок. Море было спокойно, небо чисто, над самым горизонтом повис тонкий серебристый серп молодого месяца.

В его призрачном сиянии и при свете фара они увидели большой корабль, который выходил из-за мыса в море. Паруса на корабле были подняты, но ветер с Босфора едва веял, корабль шел очень медленно и, казалось, все не мог оторваться от берега.

Когда корабль проплывал мимо Буколеона, проэдр Василий сказал:

— Это твой дромон, василевс... Он направляется к Проту.

— И она на нем? — спросил император.

— Да, василевс, она там.

И хотя император и проэдр ничего не могли увидеть на корабле, но им обоим показалось, что они видят Феофано, будто она стоит на палубе дромона и смотрит на дворец, в котором еще только вчера была василиссою.

— Надо сделать так, чтобы она сюда никогда больше не вернулась,— сказал Иоанн.

— О василевс, она никогда больше сюда не вернется,— ответил Василий и даже улыбнулся.

А корабль с поднятыми парусами то появлялся в лучах фара, то исчезал в ночном мраке, уплывая все дальше и дальше — мимо Буколеона, мимо стен Константинополя, в темную даль, в неизвестность...

Так корабль и исчез, словно растаял в синей дымке Пропонтиды.

— Нет больше Феофано,— облегченно промолвил Цимисхий,— но есть другой враг...

Он повернулся к городу и Галате, где над Золотым Рогом то там, то тут поблескивали огоньки, а вдали сливались с небом черные горы.

— Разве враг только один? — спросил проэдр Василий.

— Ты прав,— согласился Иоанн, и лицо его стало хищным и злым,— у нас с тобой немало врагов в Константинополе и даже в святой Софии. Беззубый, глухой Полиевкт, я скоро рассчитаюсь с тобой за то, что ты сделал сегодня. До каких пор императоры ромеев должны терпеть над собою власть патриархов?.. Однако самый страшный наш враг ныне — Русь...

От Галаты дохнуло холодом.

— Только от отчаяния,— сказал Иоанн,— Никифор мог сделать то, за что мы сейчас должны расплачиваться. Зачем он послал Калокира к русам? Зачем дал им золото, чтобы шли на болгар? Не будь того, Святослав сидел бы сейчас в Киеве, а мы — здесь... Со временем же, собрав силы, мы постепенно покорили бы болгар и пошли на Русь.

— Это правда,— согласился проэдр Василий,— это был неудачный шаг императора Никифора.

— Ты говоришь — неудачный? Безумный, глупый шаг, и только дурак Никифор мог это сделать! Подумай,— Иоанн вздрогнул,— Святослав захватил уже всю Дунайскую низменность, взял Данаю и Плиску, идет к Преславе. Так он может дойти и до Константинополя.

— А все же покойный император сделал другой, удачный шаг.

— О чем ты говоришь?

— Несколько месяцев назад Никифор, узнав о том, что лодии Святослава стали на Дунае, послал к печенегам наших василиков во главе с епископом Феофилом.

— Но ведь его еще нет?

— Он скоро вернется. Император Никифор дал ему с собой много золота, печенеги его любят, и я уверен, что они скоро обратят свои копья против русов...

— Там же, на Дунае?

— Нет, император, печенеги должны взять Киев.

Император Иоанн сначала не сообразил, почему печенеги должны взять Киев и что это даст империи, но, поняв, рассмеялся.

— О,— сказал он,— наконец-то я вижу один разумный шаг императора Никифора! Спасибо тебе,— глумливо бросил он, глядя на мозаику стен,— безголовый василевс! С печенегами ты действительно задумал неглупо. Сейчас Святослав уже не перейдет через горы, а мы соберем силы. Мы победим. Не так ли, проэдр?

— Мой василевс,— ответил проэдр,— империя лежит перед тобой. Но не пора ли тебе лечь, император? После всего, что пережито сегодня, можно и нужно отдохнуть. Спи спокойно, император! Твой проэдр бодрствует!

Спит Буколеон. Усталый после напряженных дней, опьяневший от вина, спит и новый император Византии.

Не спит только и не уснет до самого утра паракимомен, отныне проэдр императора Иоанна, Василий.

Он стоит у двери царской опочивальни и слушает, не проснется ли император Иоанн, слышит, как с уст спящего вла-

дыки империи срываются слова: «Воины!.. Феофано!» И на лбу проэдра собираются морщинки, губы складываются в улыбку — он понимает, как пылает у нового императора сердце, как горит возбужденный мозг. Ничего, император скоро успокоится, корона охладит его мозг, царские бармы утихомирят сердце. Проэдр поможет, чтобы это случилось поскорее.

А сейчас, опираясь на кипарисовый, украшенный серебряной головой льва посох, проэдр Василий идет осматривать Буколеон... В коридорах душно, всюду горят светильники, вдоль стен застыли закованные в броню молчаливые ночные стражи. Проэдр идет, они встречают и провожают его блестящими глазами, но не шевелятся, стоят неподвижные, немые.

Коридор за коридором, палата за палатой... Проэдр Василий заходит в опочивальню, где прошлой ночью был убит император Никифор, в гинекей, где все еще напоминает Феофано, в палату, куда прошлой ночью спустился с крыши Иоанн Цимисхий и где до того прятались вооруженные этериоты...

Сейчас здесь необычайно тихо, только время от времени потрескивают фитили в светильниках. Проэдр Василий садится в кресло, опирается руками на посох и склоняет голову.

И в эту ночную пору проэдр чувствует, что здесь, в Буколеоне, среди всех людей, он самый усталый, самый изнемогший. Каждый из них имеет право отдохнуть, и сейчас все отдыхают. На каждом шагу в Буколеоне и всюду вокруг стоят стражи. Но и стражи меняются. Первую ночную смену скоро заступит другая.

Только он один — паракимомен вчера, сегодня проэдр, постельничий императора,— не имеет права заснуть до утра и будет всю ночь блуждать по Буколеону. Утром разбудит императора, вместе с папией Романом откроет серебряные врата Левзиака. Весь день, подобно тени, будет сопровождать императора, может быть, на какое-то время, когда император закончит свои дела и ляжет вторично на покой, проэдр Василий забудется, чтобы проснуться вечером и сделать ночь своим днем.

«...Четвертый император,— думает проэдр Василий,— и ты будешь царствовать недолго. Когда же придет мой черед, когда исполнится моя мечта?»



## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Среди белого дня над Подольскими воротами внезапно прозвучали удары в била. Сразу же отозвались била и над Перевесищем. Киев всполошился. Стоял ясный, солнечный день, над предградьем курились дымки, на Подоле шел торг, по Днепру и Почайне сновали лодии,— город жил, как обычно, в такую пору стражи никогда не звонили.

Но вскоре не только с Горы, но и с низкой Оболони стало видно, как на юге, где-то за Витачевом, высоко поднялись в голубое небо черные дымы. Немного погодя по Соляному шляху вдоль Днепра промчались всадники.

— От Родни идут печенеги! — кричали они.

А на стенах все стонали и стонали била, поднимали людей, сеяли тревогу.

И тогда, как бывало и раньше, со всех сторон через ворота на Гору начал вливаться бесконечный людской поток: шли от

берегов Почайны и Днепра, вытащив на берег лодии; с торга со своими пожитками; на волах и конях из предградья, захватив молоты, секиры, с детьми на плечах. С тревогой в глазах шли пожилые люди, испуганно озирались женщины, плакали дети. А те, кто помоложе и поздоровее, принялись копать, углублять рвы вокруг Горы, вбивать на нижнем и верхнем валах острые колья, запасать на Горе воду и харчи...

Только к вечеру оборвался тянувшийся к Горе людской поток. Холодно, безлюдно и тихо стало в предградье и над Почайной. В этой тиши громко заскрипели журавцы на воротах, натянулись цепи, тяжело поднялись и словно прилипли к стенам города мосты. Окруженная глубоким рвом, Гора была теперь отрезана от всего света. Сумерки быстро сгущались.

Ночь случилась темная. Двор на Горе и все улицы были забиты людьми. Матери с детьми спали под открытым небом, на земле; мужи таскали на стены камни, укрепляли городницы, ставили туда большие луки-самострелы.

Неспокойно было в боярских и воеводских хоромах. И там никто не спал. Во дворах слышались шаги, хлопали двери, время от времени от хором к княжьим теремам медленно пробирались, постукивая посохами и обходя лежащих на земле людей, бояре, тиуны, мужи нарочитые.

Бояре собрались в Золотой палате. В одном из углов, у завешенных окон, горело несколько свечей, их слабый свет поблескивал на княжеских доспехах и едва освещал мужей города. Никто из них теперь не сидел на скамьях, все толпились у стен и среди палаты, переступая с ноги на ногу. Окна и двери палаты были закрыты, от острого смрада кожи и дегтя трудно было дышать.

Княгиня явилась позднее. Покинув еще засветло свой терем в новом городе, она перебралась с внуками на Гору и теперь вышла к мужам, глухо постукивая посохом об пол. Бояре и воеводы приветствовали ее тихими голосами. Но княгиня, казалось, не слышала их приветствий,— пройдя через палату, она остановилась у княжеских доспехов, где горели свечи. Их сияние озарило ее лицо, бледное, утомленное, неспокойное. Темные глаза княгини смотрели на бояр и мужей.

— Дружина моя! — начала она.— Все слышали — печенеги в поле. Дымы встали над Родней, гонцы сказали, что идет Залозным шляхом большая орда. Дымы встали и к Переяславу — печенеги рвутся сюда напрямик с поля и хотят зайти с Понизья...

— Заходят уже,— послышалось среди мужей,— думают, верно, взять город в кольцо...

Раздались и другие голоса:

— Нужно послать к Святославу, скажем: «Чужая земля ищеши, свою ся лишив...»

— Худо сделал князь, в такую пору покинул...

И еще:

— К древлянам надо обратиться...

— Не надейтесь на древлян — в их лесах Киев не горит...

— К северянам!

— К Новгороду!

Золотая палата гудела, люди громко перебрасывались словами. К княгине тянулись длинные руки, глухо стучали посохи.

Ольга, стиснув губы, долго глядела на мужей киевских.

— Мужи мои,— сказала она,— разве мы впервые видим врага под стенами города? Все князья,— княгиня поглядела на доспехи на стене,— и весь люд уже не раз рубились на стенах и валах киевских, станем и теперь...

— Мала сила наша, княгиня,— робко промолвил кто-то из бояр.

— А ведомо ли тебе,— обратилась к нему Ольга,— с большими ли силами идут печенеги? Нас много, бояре и мужи мои, у нас дружина, станут гридни, потреба будет — станут наши дети, все дворяне, и я стану с вами, мужи!

Гневная и суровая, княгиня Ольга продолжала:

— И не возводите напраслину на князя Святослава! Не чужой земли он ищет, а стоит за честь своей, не сам пошел — мы его послали. Кто сказал, будто наш князь оставил свою землю?

Никто не ответил на вопрос княгини, и, помолчав, она продолжала:

— И про древлян неправда. Уж кто-кто, а я знаю древлян и ведаю: аще кликнем — придут, помогут. И Чернигов поможет, и Остер — там уже видели дымы на Понизье. А мы еще пошлем гонцов — пусть летят, кличут.

В палате стояла тишина. От духоты свечи заплывали воском. Наступило время, когда на стенах сменялась стража и звучали била. Но сейчас била безмолвствовали.

— Так и станем! — закончила княгиня.— Ты, Добрыня,— обернулась она к нему — будешь с воями на стене. Вы, бояре, договоритесь, кто станет у Подольских, а кто у Перевесищанских ворот. И еще, бояре мои и мужи, отпирайте свои клети. Не одни алчем, надо кормить все воинство... Пойдем, мужи,— печенеги, верно, уже близко. А Святославу,— добавила она,— мы тоже пошлем весть: «Спеши к нам, княже, тяжко тебе на Дунае, но горе и вотчине твоей...»

И кто-то в палате досказал:

— «Аще жалеешь мать, стару суще, и детей своих...»

Выйдя из палаты и направляясь переходами к покоям, где она когда-то жила и куда теперь вернулась опять, княгиня Ольга почувствовала, до чего она больна, до чего устала. Отя-

желевшие ноги не слушались, сердце колотилось в груди, в глазах плыли красные и зеленые круги. Напрягая силы, опираясь на Добрынину руку, она миновала свои покои, вышла в сени и остановилась возле опочивальни княжичей.

— Ступай на стены,— сказала она Добрыне,— печенеги, что тати, зло творят ночью.

Добрыня поклонился и исчез, княгиня же Ольга вошла в опочивальню княжичей. Ей хотелось закрыть глаза, отдохнуть, подумать над тем, что произошло.

Она села... Когда-то здесь жил и рос сын Святослав, сейчас тут находились внуки — Владимир, Ярополк, Олег. Окно опочивальни было завешено. В углу, прямо на полу, стоял светильник. Около него сидела ключница Пракседа. Княгиня сделала знак рукой, чтобы Пракседа шла спать, и та удалилась.

Княжичи спали на трех стоявших вдоль стен ложах. Ярополк и Олег — в глубине, в тени, а Владимир — ближе, так что свет каганца блуждал по его лицу.

Лицо Владимира казалось спокойным, задумчивым, он ровно и глубоко дышал. Княгиня взглянула на него и подумала: «Как он похож на свою мать — Малушу!» — и задумалась княгиня Ольга. О, как много нужно было решить княгине Ольге после тяжелого дня, в эту ночную пору...

Княгиню Ольгу удивляло, почему именно сейчас у Киева появились печенеги. Обычно они кочевали улусами в низовьях Днепра, около порогов, редко осмеливаясь даже там, в безлюдном краю, нападать на русских воев. Почему же сейчас они зашли так далеко?

Гонцы, примчавшиеся днем Соляным шляхом, рассказывали, что печенеги несколько дней назад перебрались ночью через Рось, обошли стороной Родню и целым улусом направляются к Киеву. Гонцы из Переяслава сказывали, будто там тоже идет улус. Это волновало и беспокоило княгиню — на Киев двигался не один улус, печенеги собрали всю орду.

Княгиня полагала, что появление под Киевом орды печенегов, видимо, связано с тем, что нет князя Святослава. Но вряд ли печенеги осмелились бы напасть на Русь даже в отсутствие князя. Кочуя в поле у Русского моря, они дорожат миром с Киевом и боятся Руси.

Потом мысли Ольги перенеслись в далекую Болгарию, где князь Святослав со своими воями борется с ромеями. Он — далеко от родной земли, ему и его воям и днем и ночью угрожает смерть. А теперь смерть нависла и над отчизной, над Киевом.

Она вспомнила, что произошло только что в палате, голос одного из бояр: «Чужой земли ищеши, а свою ся лишив»,— и кровь снова ударила ей в лицо. Нет, не понимают они, чего добивается Святослав со своими воями в Болгарии.

Даже она, его мать, долго не понимала сына и лишь потом

убедилась: есть только два пути — либо быть рабами василевсов, либо жить, как надлежит людям. Поняла и благословила как княгиня и мать, перекрестила его, язычника.

Ну, а если?.. Кровь сразу отхлынула от ее лица, когда она подумала, что будет, если Святослав не победит на брани ромеев. Видимо,— она об этом боялась даже думать, но эта мысль все всплывала и всплывала,— видимо, печенеги именно потому и появились под Киевом, что со Святославом на Дунае стряслась беда? Ведь будь он в Киеве, печенеги никогда не осмелились бы двинуться в Полянские земли.

И что теперь делать? За стенами и валами Горы — княгиня была уверена в этом — они продержатся день, два, неделю. А что дальше? Дружина их невелика, харчей немного, воды мало...

Но тут княгине Ольге пришлось прервать ход своих мыслей. В постели заворочался и что-то пробормотал спросонья княжич Владимир. Потом он медленно раскрыл глаза, протер их кулаком и поднял голову.

Сначала, казалось, княжич не понимал, где он очутился, почему на полу горит светильник, потом взгляд его упал на княгиню.

— Ты почему не спишь? — спросил он.

Вопрос был до того простым и обыденным, что она улыбнулась.

— Сидела и думала,— ответила княгиня.— А сейчас лягу. Спи, Владимир, спи спокойно...

Она склонилась к внуку и поцеловала его в голову. Владимир тотчас уснул... В ночной тиши на стене города ударили в била.

Поднявшись на южную башню стены и перегнувшись через забороло, Добрыня долго вглядывался в темноту.

Перед ним лежала глубокая черная пропасть, небо затягивало тучами, не видно было ни одной звезды. Но глаза Добрыни уже привыкли к темноте: среди полного мрака он увидел за стеной глубокий ров, вал с частоколом, а дальше — деревья на самом склоне горы, черное предградье на серых кручах, Днепр. Все как обычно, врага, казалось, не было нигде.

Однако у Добрыни было не только острое зрение, но и тонкий слух. И хотя за городом, в темноте, было тихо, он уловил множество звуков, которые обеспокоили его: на далеком левом берегу ржали лошади, слышались всплески на Днепре, топот коней и людские голоса на берегах Почайны и Лыбеди. Потом голоса послышались в предградье и даже за частоколом вала...

Теперь Добрыня знал, что враг подкрался, стоит у самых стен города и может напасть каждую минуту. Он обошел все городницы, поговорил с мужами, гриднями, ремесленниками

предградья и Подола, которые стояли у заборол, хотел уже спуститься со стены, чтобы рассказать обо всем княгине.

Но он не успел этого сделать — в предградье и на Подоле вспыхнули огни: печенеги поджигали дома, чтобы при зареве пожара лезть на стены города.

— Печенеги! — послышались голоса.— Враг на валу!

И тогда сразу ударили била. Била стонали, будили, призывали: все на Горе должны были знать, что враг под стенами; пусть не думают печенеги, что подкрались, как тати,— город Киев и люди его готовы встретить их грудью.

Добрыня быстро обошел южную стену. Пожар в предградье и на Подоле ширился, багряные зарева освещали стены, и Добрыня видел подле заборол воев с луками. Некоторые из них готовили камни, чтобы бросать на врагов, кое-где на городницах раздували огонь под казанами со смолой, готовили воду и песок. Немало воев стояло с копьями и топорами, чтобы колоть и рубить тех, кто будет взбираться на стены.

Наконец била умолкли. Внизу и на городницах наступила тишина. Тихо было вокруг, за стенами, на кручах, на Почайне, на Днепре. В предградье и на Подоле бушевал такой пожар, что тучи над Горой стали кроваво-красными, на городницах стало светло, как днем, на валах за стеной отчетливо виднелся острый частокол.

И тогда на стенах увидели, как в переменчивом отсвете пожара из темноты за валами появились печенеги и принялись валить частокол. Их было много, они кишели у частокола, как черви.

В тот же миг в воздухе послышался тонкий, пронзительный свист стрел. Ударяясь о заборола, они падали на городницах, летели дальше, на Гору.

Княжьи вои на заборолах тоже натянули свои луки, и их стрелы роями полетели в темноту — за городницы, за валы, за частокол...

На валах поднялся крик; видно было, как печенеги, падая, корчатся среди острых кольев. И все-таки некоторые из них повалили частокол, спустились в ров, рыли и насыпали землю, другие тащили и ставили лестницы, чтобы лезть на городницы, третьи пытались поджечь ворота.

Со стен сыпались камни. Не боясь стрел, которые летели с валов, многие вои повисали у края заборол, над рвом, и сверху кидали в печенегов копья, стреляли из своих луков.

Крики, вопли, лязг на городницах, под стенами во рву и на валах сливались в один сплошной, непрерывный гул — угрожающий, страшный, беспощадный шум битвы. Озверелые, обезумевшие печенеги, еще до боя пьяные от вина, а теперь от крови, сбились во рву, присыпая землю к стенам. Когда землю покрывали трупы, на них сыпали новую. Лестницы печенегов уже до-

ходили до заборол. Цепляясь за них, печенеги взбирались на стены.

Вот бой завязался на самой стене, на южной ее стороне. Несколько десятков печенегов, карабкаясь по лестнице, становясь друг другу на плечи, обливаясь кровью, выскочили на заборола. Они стояли, размахивая кривыми саблями, вытаскивали длинные ножи. А за ними по лестницам лезли, карабкались, выдирались новые враги.

Это был страшный бой. У заборол стояли печенеги, против них, во главе с Добрыней, лавой сгрудились вои. С мечами в руках, обливаясь кровью, они рубили печенегов, которых все больше и больше взбиралось на заборола.

И вдруг, заглушая окружающий шум, огромный кусок заборола затрещал, покачнулся, оторвался и рухнул вместе с цеплявшимися за него печенегами вниз, в бездну. Он летел среди ночи с треском — ломая лестницы, калеча людей. Бой на южной стороне стены утих...

Но тут поднялся страшный шум и крик на стене у Подольских ворот. Добрыня похолодел — ведь большинство воев находилось с ним, на стене, выходившей к Днепру. Он увидел, что стало светлее, и уж не от зарева пожара: за Днепром заалело небо, скоро взойдет солнце.

В зареве нового дня он бежал по городницам впереди других воев к Подольским воротам, откуда доносились шум и крики, где снова шел лютый бой, где печенеги уже карабкались на стены.

Но Добрыня не успел добежать до ворот, как прозвучал победный крик: вои, сбросив взобравшихся на стену печенегов, заливали водой начавшие гореть ворота.

И там, на городницах близ Подольских ворот, Добрыня увидел княгиню Ольгу. Опираясь на посох, она стояла у заборола и, глядя на Днепр, говорила:

— Теперь они не скоро полезут. Киев стоит!

## 2

Точно пущенные из тугого лука стрелы, летели на юг от Киева три гридня — три брата: Горяй, Баян и Орель...

Горяй — старший — был белокур, как и мать, да и лицом походил на нее: голубые глаза, тонкий нос, небольшой рот. Правда, мать была невысокой, тоненькой, а Горяй — дюжий великан. Такому только и сидеть на коне.

Баян, напротив, пошел в отца, кожемяку Супруна: невысокий, но жилистый, с загорелым, смуглым лицом, руки — только шкуры мять, ногой топнет — земля гудит!

Орель был не похож ни на одного из братьев: волосы русые,

глаза карие, сам статный, а голос — запоет на городской стене, за Днепром слышно.

Получив приказ княгини, они сразу же вышли из Киева. Затемно спустились со стены, над Лыбедью ползком пробрались через стан печенегов, видели, как вспыхнул пожар, слыхали, как печенеги ринулись на Гору... Но как ни болели у них сердца, они не вернулись, да и не могли вернуться в Киев, а побежали в зареве пожара лесом к Берестовому, оседлали на княжьем дворе коней и поскакали в темную, непроглядную ночь на юг...

Рано утром они были уже далеко от Киева, вечером очутились на краю Полянской земли, над Росью, ночью, немного отдохнув, миновали селение, где жили черные клобуки, а к рассвету углубились в дикое поле.

Здесь, в диком поле, братьям следовало остерегаться. Сколько видел глаз — тянулось оно, ровное, кое-где изрезанное оврагами, в которых текли речки. Радостно было здесь весной и летом, когда буйно рос, зеленел, волнами переливался под ветром ковыль, когда зацветали голубые колокольчики, желтый шалфей, синие васильки, белые ромашки.

Но сейчас поле было мрачным, выгоревшим за долгое лето под лучами яркого солнца, почерневшим, травы и цветы завяли, засох на корню ковыль. Только сухие будяки, точно сединой, окутывали поле. Казалось, здесь бушевал пожар, даже пахло гарью.

Среди темного поля, по сухой земле, всадники мчались и мчались вперед, время от времени останавливаясь в оврагах, чтобы дать отдых лошадям, напоить и покормить их, передохнуть самим. Потом осторожно выбирались из оврагов и внимательно оглядывали поле.

Братья оглядывались не напрасно. Перед самым закатом солнца, передохнув у речки и поднявшись на берег, чтобы двинуться в поле, Горяй, задержавшийся на пригорке, долго смотрел, приложив правую руку к челу, на далекий небосвод и вдруг сказал:

— Свернем направо и поспешим...

Кони полетели. Братья слышали, как гудит под копытами земля, чувствовали, как в грудь и лицо бьет горячий воздух: они скакали прямо к солнцу, чтобы его яркие лучи слепили врагов и не позволяли их заметить. Долгое время, оглядываясь назад, они видели на горизонте черные точки — гнавшихся за ними печенегов.

Это была бешеная скачка. Солнце склонялось к западу, за солнцем мчались три всадника, за ними — печенеги... И солнце спасло братьев: когда, словно прощаясь с землей, оно вспыхнуло нестерпимым, ослепительным блеском, черные точки на западе исчезли, будто растаяли во мгле. Но три всадника по-прежнему долго еще летели за солнцем. Они не остановились и тогда,

когда поле в вечернем сумраке слилось с небом, и, только когда молодой месяц стал на страже среди звезд, наконец свернули на юг.

Братья остановились у берега речки. Кони долго стояли на месте, и по ним пробегала дрожь. Братья упали на траву.

— Много ли их было? — спросил Орель.

— Много,— ответил Горяй.— Но они далеко отстали.

— Добро, что мы поскакали посолонь,— задумчиво произнес Баян.— Спасибо солнцу, оно нас спасло.

В темноте стреножили коней. Поели хлеба с вяленой рыбой, запили речной водой, которая показалась им слаще вина.

— Теперь заснем,— сказал Горяй.— Но спать будем по очереди. Ложитесь, братья, я отдохну позже.

Когда братья улеглись на траве и заснули, Горяй долго стоял на берегу речки, потом вышел в поле, лег там, приложив ухо к земле, и стал слушать. Но он не уловил в поле конского топота, земля была холодная и немая.

И долго-долго среди темной ночи неподалеку от крепко спящих братьев сидел Горяй. Он сидел, видимо, дольше, чем следовало, потому что проснулся Орель.

— Ты почему нас не будишь, Горяй?

— Словно бы еще рано.

— Нет, давно пора. Видишь, месяц заходит. Ложись, Горяй.

Горяй лег на землю и сразу уснул. Теперь на страже стоял Орель.

Перед самым рассветом он тихо разбудил Баяна. Но проснулся и Горяй. Они поглядели на небо, на траву...

— Росы нет, трава сухая,— промолвили они.— Следа нашего не будет видно. Пожалуй, поедем...

Лошади тоже отдохнули, да и попаслись за ночь. Услыхав шаги братьев, они весело заржали. Братья оседлали их.

Еще один день ехали спокойно. Все ближе и ближе был Буг; путь им порой преграждали леса, и в них приходилось ехать медленнее. Зато здесь они не боялись печенегов, которые со своими кибитками кочевали только в поле.

И все-таки к вечеру они наскочили на печенегов. Это был, видимо, дозор какой-нибудь орды в десять — пятнадцать всадников. Братья столкнулись с ними, выезжая из оврага.

И снова братья помчались в поле, за ними устремились печенеги. Но теперь их гиканье звучало совсем близко. Братья слышали, как то и дело мимо их ушей свистели стрелы, однако чувствовали, что смогут убежать. Печенеги отставали, крики их отдалялись. И вдруг на полном скаку один из братьев — Баян — выронил поводья, откинулся в седле и, обливаясь кровью, свалился на землю. Крики печенегов слышались все дальше.

В эту ночь два брата не спали. Они тихо сидели на высоком кургане, возле высеченного из камня изваяния древнего бога-

тыря. Перед ними раскинулось поле, с кургана все было слышно, но поле оставалось безмолвным.

— Брат Горяй,— с горечью промолвил Орель,— нам нужно было, видно, остаться и умереть с Баяном.

— А князь Святослав? — вместо ответа спросил Горяй.— Кто отвезет ему весть?

И, хотя оба были храбрыми мужами, они заплакали,— очень уж щемило сердце по брату. Им казалось, что Баян ходит близко, что ему будет легче, если он услышит их печаль. А когда Горяй вытащил из-под седла узелок с хлебом, то отломил кусок себе, кусок Орелю и еще один положил рядом на траву.

— Это тебе, Баян,— сказал он, и только тогда братья принялись за еду.

Уже совсем поздно в поле послышался шум, и далеко, у самого небосвода, раз и другой блеснул огонек. Стоя на кургане, они долго вглядывались в темноту и напряженно слушали. Огней в поле больше не было видно, но шум слышался еще долго; среди шума они улавливали ржанье, топот коней и стук колес. Потом шум в поле стал утихать и наконец прекратился.

Тогда Горяй снова сел на траву и сказал:

— Спешат к Киеву. Надо торопиться и нам, но давай условимся, брат... Если я погибну в поле, ты не останавливайся — скачи дальше.

— А если погибну я, Горяй, торопись ты!

— Добро, брат!

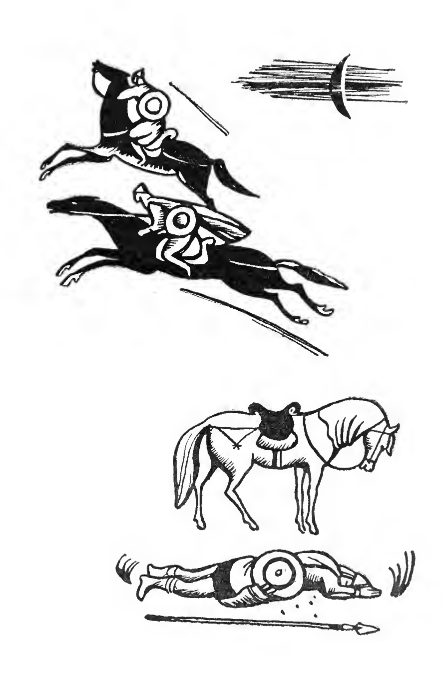
Ночью они тронулись дальше. На рассвете наткнулись на следы орды — пепел, конский навоз. Так по следу и поехали — ведь печенег никогда вторично не поедет по своему следу.

Утром они вплавь, держась за гривы коней, переплыли Буг. Здесь, на правом берегу, вся земля была утоптана конскими копытами, чуть повыше, над логом, был насыпан высокий курган. Повсюду вокруг кургана темнели в поле следы огнищ, валялись кости коней и овец,— печенеги, видно, стояли тут долго и хоронили кагана или кого-нибудь из его родни, свершали по нем всей ордой тризну.

А вечером братья были уже у самого Днестра и по земле тиверцев поскакали вдоль берега, от селища к селищу. Тут им нечего было бояться — тиверцы приветливо принимали гонцов из Киева.

Так доехали Горяй и Орель до города Пересеченова, среди лесов на правом берегу Днестра, взяли у тиверцев свежих коней и, не отдыхая, помчались дальше, на юг.

Два дня скакали они по земле тиверцев, потом уличей. На третий день к вечеру далеко по левую руку заголубели воды Русского моря. Спускаясь с гор, преграждавших им путь, братья увидели Дунай и очутились в широкой долине, где, как и под



Киевом, купами стояли вербы. И вдруг из-за верб вырвались и полетели в них стрелы...

Братья ударили по коням. Но одна стрела впилась в глаз лошади Горяя. Лошадь стала на дыбы и упала. Орель хотел взять Горяя на своего коня. Но пал конь и Ореля.

Тогда братья от вербы к вербе побежали к Дунаю. Они видели, как несколько печенегов, прячась за вербами, гонятся следом за ними, время от времени пуская стрелы.

До реки оставалось несколько десятков шагов, когда стрела попала в Горяя. Он успел только крикнуть:

— Беги, беги в Дунай!

И упал мертвый.

Орель побежал к Дунаю. У самой воды он еще раз обернулся и, увидев недалеко печенега, натянул свой лук и пустил стрелу. В тот же миг Орель почувствовал боль возле сердца и даже увидел стрелу, которая впилась ему в грудь.

Но у Ореля были еще силы, он знал, что перед ним Дунай, и, сделав прыжок, кинулся в воду...

Он не сознавал, что произошло потом, не знал, сколько прошло времени, не помнил, долго ли плыл, но вдруг увидел себя в лодии, над ним было голубое небо и чьи-то на диво знакомые лица. Это были вои князя Святослава.

И он крикнул им:

— Скажите князю... меня послала княгиня... Киев окружили печенеги... Княгиня Ольга... Киев зовет князя на помощь...

И в тот же миг у Ореля нестерпимо заболело сердце. Он повернул голову,— стрела все торчала у него в груди, она жгла, разрывала сердце. Он схватил ее обеими руками и вырвал...

### 3

Фар за Большим дворцом работал теперь каждую ночь, с раннего вечера до рассвета. Его холодный зеленоватый луч пронизывал темноту, ложился над Золотым Рогом, тянулся к Галате, к горам, и угасал — это вдаль посылались тайные световые сигналы.

И там, вдали, в ночной мгле, где днем на горизонте синела полоса гор, всю ночь также вспыхивали таинственные сигналы, которых никто из жителей Константинополя не понимал.

Однако эти сигналы отлично разгадывали в Большом дворце, император Иоанн знал, что происходит в Болгарии: фары извещали, что вои князя Святослава продолжают двигаться вперед, кесарь Борис умолял императора Никифора прислать ему подмогу.

Но на Соломоновом троне в Большом дворце сидел уже не Никифор, а Иоанн Цимисхий, это он должен был дать кесарю

Борису немедленный ответ: ведь Святослав угрожает не столько Борису, сколько ему самому, Цимисхию.

Новый император ни на минуту не сомневался, что ему придется столкнуться со Святославом. Пути империи давно вели и теперь привели к решительной битве Константинополя с Киевом. Цимисхий одобрял прежних императоров Византии, которые неуклонно вели к этому.

Понимал Цимисхий и то, что битва будет жестокой. То, что должно было произойти на востоке, никак нельзя сравнить с тем, что происходило в Азии, Египте. Там покорялись земли и народы, здесь сталкивалось два мира: блестящая, богатая Византия, опиравшаяся на свои легионы и миллионы рабов, и неизвестный, неведомый, таинственный и весьма опасный мир тавроскифов, или русов, как они сами себя называли.

Иоанн Цимисхий — вчерашний и, надо сказать, неплохой полководец — рвался в этот бой. Однако он — трехдневный император — еще не знал своих сил, не знал, на кого может положиться; он, наконец, боялся, как и его предшественник Никифор, столкнуться в бою со Святославом; страх охватывал его, когда он думал о неведомых русских воях.

Поэтому он действовал так же, как и Никифор. Сначала уведомил кесаря Бориса, что он, Иоанн Цимисхий, сидит на императорском троне, и в ответ получил от Бориса искреннее, верноподданническое приветствие. После этого, узнав, что в гинекее Феофано еще ждут решения своей судьбы две дочери болгарского кесаря, приехавшие сюда, чтобы повенчаться с особами царской крови, Иоанн Цимисхий пошел к ним и сказал, что не прочь породниться с ними. Наконец, он послал к кесарю Борису своих доверенных василиков с грамотой, в которой писал о любви и дружбе к болгарам, и с дарами — немного золота и много вина — и одновременно поручил василикам разузнать, что же происходит в Болгарии, в Преславе. Новый император боялся князя Святослава, который преодолел восточную стену Юстиниана, взял за короткое время восемьдесят городов на Дунае и ведет своих воев к Преславе.

Боялся не только император, а и весь Константинополь; все соседние фемы были охвачены неистовой тревогой, страхом перед тавроскифами. В большом городе тайком, из рук в руки, передавали письмо патриарха Фотия, написанное им в давние еще времена против тавроскифов:

«...Этот неведомый народ, подобный рабам, не имел до сих пор значения, но его узнали и он прославился после похода на нас; народ ничтожный и бедный, но такой, что достиг высоты и стал богатым; варварский, кочевой народ, который живет где-то далеко от нас, гордится своим оружием, беззаботный, упрямый, не признающий военной дисциплины; этот народ быстро, в один миг, подобно морской волне, сметет наши границы».

Проэдр Василий, который теперь словно тень сопровождал нового императора, показал Иоанну это письмо. Цимисхий хотел порвать его, швырнуть в море, но сдержался — разве можно уничтожить документ, который носится, подобно осенним листьям, по всему Константинополю?

В один из этих дней император узнал еще об одном ужасном случае, происшедшем в Константинополе. На гробнице Никифора Фоки появилась эпитафия, в которой намекают на него и Феофано:

«Тот, кто раньше был сильнее всех мужей и ничего не боялся, стал легкой добычей женщины и меча. Тот, кто держал раньше в руках власть над всей землей, покоится теперь на маленьком клочке земли. Того, кто раньше был особой священной, убила жена, член, казалось бы, единого тела.

Так встань же, царь! Подними свое пешее и конное воинство, фаланги и полки! На нас идут дикие скифские орды, в безумном порыве стремятся к убийству, разные языки разрушают твои города...»

— Уничтожить! Уничтожить эти проклятые стихи! — приказал император Иоанн проэдру Василию, узнав о надписи на гробнице своего предшественника.

Проэдр Василий усмехнулся, услышав эти слова императора, и ответил:

— Я немедленно сделал бы это, василевс, но стихи высечены на мраморе склепа, где покоится и Константин, их можно уничтожить только вместе со склепом...

— Тогда нужно уничтожить...— начал было, но не кончил император. Он не боялся и убил живого императора Никифора, но теперь стал бояться его трупа: Иоанну казалось, что мертвый император начинает мстить.

Мстил не только Никифор,— за тенью императора стояли его родственники, сторонники, Феофано...

Феофано! Он думал о ней, ему не хватало ее, хотелось, чтобы она пришла к нему из покоев гинекея, он мечтал о встрече с Феофано.

Да, она великая грешница, эта женщина, которая попала прямо из кабака на трон в Большом дворце. Это она влюбила в себя и доводила до безумия императора Романа, Никифора Фоку, а потом их убила. Иоанн также был близок с ней и все же сейчас, будучи уже императором, завидовал всем, кто обладал коварной, безжалостной Феофано, содрогался от одной мысли, что кто-то в эту минуту касается ее мраморного лба, упругой груди, горячих губ, смотрит в ее бездонные глаза, гладит волосы.

А кроме того, император Иоанн, на щеках которого еще не остыл след от ее поцелуев, знал, что руки Феофано способны дать и яд...

Как и новый император Византии, новый кесарь Болгарии напрягал все силы. Мог ли он знать, что уподобился кроту, который роет и роет над обрывом, пока не сорвется в бездну?! Император Иоанн пишет, что поможет ему,— когда же придет эта помощь? Василики привезли золото, правда, мало, но зато много чудесного вина. Сестры-кесаревны пишут, что их со всеми почестями принимают в Большом дворце и что вскоре они выйдут замуж,— будет заключена тройная связь с троном Соломона. Жена его, дочь императора Романа, подтверждает все это своими поцелуями и ласками. Болгария победит, да здравствует Византия!

И кесарь Борис поднимает всех боляр, сажает на коней своих кметов; он зол и безжалостен, но многие принимают это за смелость. Есть, правда, один человек в Преславском дворце, который знает, что кесарь Борис, как и его отец, трус, что им руководят страх, отчаяние, безумие. Этот человек — Сурсувул, но теперь он уже не старший болярин, он — только тень в покоях кесаря Симеона. И Сурсувул сам выпивает наконец из кубка Симеона... но не вино, а яд.

Кесаря Бориса это нисколько не удивляет. Нет Сурсувула, но есть другие — молодые боляре, которые учились в Константинополе, знают церемониал императорского двора, умеют пить, петь, веселиться. Гуляй, Болгария!

## 4

Князь Святослав знал, что произошло в Константинополе; доходили к нему вести и из Преславы.

Не только русских воев вел теперь князь Святослав. Где бы он ни появлялся, к нему примыкало множество болгарских свободников, смердов и все парики. Они знали здесь каждый камешек, каждый куст и бились плечом к плечу с русскими воями.

И когда князь Святослав шел с этим войском вдоль Дуная и далее Планиной, он видел, какая великая угроза готовилась с давних пор для Руси: здесь, вдоль Дуная, была выстроена стена и стояли города-крепости, восемьдесят — над Дунаем, несколько сот — в горах, возведенные руками рабов, и не для того, чтобы от кого-нибудь отбиваться, а чтобы отсюда идти на Русь, на Русь. Теперь эти крепости были позади русского войска, жестокая сеча между воями князя Святослава и нового кесаря Бориса шла на длинной, широкой полосе земли — от берегов Русского моря до реки Колубары...

Однако вои князя Святослава одолевали, они безудержно, подобно огромному морскому валу, катились вперед. Преслава была уже недалеко.

Микула шагал в эту пору со своим приятелем, болгарином

Ангелом. В ту ночь, когда Микула развязал ему руки, что-то словно бы развязалось и в душе Ангела,— оказался он смелым мужем, шел впереди воев, туда, куда влекло наболевшее сердце.

Однажды утром они приблизились к какому-то селению.

— То Росава, мое село,— сказал Ангел.

Микула остановился, широко расставив усталые ноги, долго стоял, приложив к глазам правую руку, прищурив глаза, и дышалось ему легко-легко.

— Чего же ты, другарь мой, остановился? — спросил Ангел.— Может, недоброе мое село?

— Нет,— поспешно возразил Микула,— не потому я остановился, что твое село плохое, а потому, что похоже на мое... У нас — Днепр, здесь — Дунай, и тут и там вербы, птицы. И хижины такие же... Ну, пойдем!

Но Микуле пришлось еще раз остановиться. Приблизившись к одной из землянок над самой кручей Дуная, они увидели женщину: та стояла и пристально смотрела, что за люди направляются к землянке, и вдруг, протянув руки, кинулась им навстречу.

— Ангел! Ангел! — услышали они отчаянный крик.

Ангел остановился, стал и Микула.

— Жона, Цвитано! — промолвил Ангел, и Микула увидел, как у болгарина побледнело лицо и задрожала челюсть.

Но он пересилил себя и обнял жену.

— Ангел! — говорила она.— Чула всички, аще убпен есть на войне то... Горе, плакала тяжко.

— Аз бях там,— ответил он, указав на долину,— и мнози бяше убиты, но сам здрав...

И он рассказал Цвитане, что было с ним и что произошло у Дуная, и указал на Микулу.

Цвитана обернулась к Микуле и согрела его приветливым взглядом. Это была еще молодая, красивая женщина в белой сорочке и юбке, состоявшей из двух кусков красно-зеленой ткани, стянутых поясом, и, как ему показалось, похожая на Висту. Цвитана, окинув Микулу внимательным взглядом, низко, в пояс, поклонилась ему. Так же поступил он: «Иная земля — иные обычаи...»

И только тогда они двинулись к землянке Ангела. Сам Ангел, правда, называл ее колибой. Как напоминала она Микуле их землянку над Днепром! Колиба была выкопана у самой горы, благодаря чему ее, сделанная из хвороста, с земляной насыпью, лежавшая на бревнах, покровина сливалась со склоном горы и поросла травой. На покровине среди травы краснели цветы.

Даже приблизившись к колибе, Микула не понял, где они очутились.

В колибу вело несколько выкопанных прямо в земле ступеней. Когда Ангел отворил дверь, они сразу очутились в гривице,

где стоял ткацкий станок. За гривицей находилась просторная землянка с выложенными досками стенами, с очагом посередине, от которого к покровине вел плетенный из лозы и обмазанный красной глиной дымоход.

— Клянусь Перуном,— сказал Микула,— как у меня дома!

И все время, пока они сидели у очага, на котором варилась еда, и, запивая вином, ели, Микула оглядывал землянку: в одном углу — сундук и ларь для муки, в другом — деревянный помост-ложе, в третьем — дверка, ведущая в тесную клеть.

— А что это за кушанье? — спросил Микула, когда Цвитана поставила перед ним еще одну миску.

— Каша,— ответил Ангел.

— Что каша, вижу,— засмеялся Микула,— кашу едят повсюду, а вот из чего она?

Ангел подошел к клети, захватил пригоршню зерна. Микула взял одно на зуб.

— Доброе жито! — промолвил он.

— Аще много беден чловек, то суть его жито,— пояснил, как мог, Ангел.— Орну землю имам малко, тоя жито сею дваж всяко лето. Грецка жито суть, гречка...

— Гречка! — Микула громко рассмеялся.— Другарь Ангел, дани я нигде не брал и не возьму, а эту дань — гречку — дай мне.

Всадники, которые примчались из долины, привезли с собой и подали князю Святославу стрелу.

— Что это за стрела? — спросил он.

Ему рассказали о воине, который погиб на берегу Дуная от этой стрелы и, умирая, сказал, что под Киевом стали печенеги, а княгиня Ольга просит помощи у князя...

Князь Святослав, задумавшись, глядел на Дунай и горы. Уже близко, казалось, была победа над ромеями, казалось, за Преславой и горами станет он купно с болгарами против Иоанна и одолеет его. Но хитры, вероломны, коварны императоры ромеев! В то время, когда воям его предстоит еще один, возможно, последний бой, когда он идет против врага честно, с поднятым забралом, императоры действуют, как и всегда,— заходят со спины, загоняют нож под лопатку.

Не по своей воле стали печенеги под Киевом. О, князь Святослав знал их каганов! Они бродят, как псы, над Днепром, боятся русских людей и никогда бы не пошли на Киев и Русь. А если пошли, то, значит, их подкупили своими кентинариями императоры ромеев...

Невыразимая обида наполняла сердце князя Святослава. Но на вероломство императоров он мог ответить только одним — силой против силы.

— Сохраните эту стрелу для того, кто послал ее в сердце моего воя,— сказал Святослав.— Я слышу твой голос, Русская земля, слышу тебя, мать-княгиня! — закончил он.

И тогда Святослав повелел позвать к себе брата Улеба, воевод, тысяцких и всю старшую дружину.

В глубоком раздумье стоял он с ними на берегу Дуная, долго смотрел, как волны набегают и набегают на песок. А рядом с ним стояли князь Улеб, Свенельд, Икмор и еще немало воевод и тысяцких земель Руси.

— Дружина моя! — начал князь Святослав и поднял глаза на своих соратников.— Много нашей крови пролилось здесь, дерзно боролись вои русские, ворог уже кажет нам спины, рукой подать теперь и до Византии, до справедливого суда на брани. Но императоры ромеев, по своему христианскому обычаю, совершили великую гнесь, позади нас вред сотворили. Получил я весть, что печенеги стали под Киевом-городом, княгиня Ольга кличет спасать землю Русскую, дать помощь Киеву...

Воеводы молчали, но их сверкающие взгляды, положенные на мечи руки, стиснутые губы говорили об их обиде и ненависти.

— Полагаю так,— продолжал князь Святослав.— Откладывать брани с императорами мы не можем. Станем здесь и будем стоять. Я же с малой дружиной поспешу к Киеву. Будем бороться обапол — вы тут, я там. Знаю, будет вам ослаба, дружино, но ведаю — станете насмерть, и супостат вас не одолеет. Не нам, а императорам ромеев пагуба будет.

— Делай, княже! — ответили все.

В ту же ночь, переплыв Дунай, князь Святослав с дружиной поспешил к Киеву.

5

Печенеги несколько раз пытались взять копьем Гору. Они рвались к стенам днем, подползали и лезли на городницы ночью, подтаскивали дрова и старались поджечь ворота.

В то же время они рыскали на своих конях по всей округе, грабили княжьи дворы в Берестовом и на Оболони, жгли боярские вотчины на Щекавице и Хоревице.

У Лыбеди, где сбилось печенегов столько, что негде было и коня напоить, на Подоле, а также и в предградье звучали зловещие, пронзительные голоса печенегов: напившись медов в княжьих и боярских медушах, они ходили пьяные.

От Лыбеди и Подола порой долетали и другие крики, от которых содрогались люди на Горе: печенеги мучили и убивали тех, кто не успел убежать на Гору и прятался в лесах и оврагах.

Так протекло много дней. Сначала у людей на Горе была надежда, что печенеги постоят под Киевом и вернутся в поле. Но

те и не помышляли покидать Киев. И чем дольше они стояли, тем, казалось, их становилось все больше,— видимо, с поля подходили новые орды.

На Горе было трудно. Гридни день и ночь стояли на стенах, отбивали врага, укрепляли городницы. Уже многие были изранены, немало их лежало в земле подле ворот на Перевесище.

Гридням помогали ремесленники из предградья, смерды из Подола,— стоя на городницах у стен, они подавали камни, носили песок, готовили стрелы.

Не отставали и полянские жены — их руки тоже пригодились, у многих из них был острый глаз, и они метко стреляли из лука.

А позже люди стали страдать от голода и недостатка воды. Княжьи и воеводские клети все больше пустели. Чем жарче становилось, тем слабее струилась вода из источников у берестянских стен.

Немощна, больна была княгиня Ольга. Правда, она старалась, чтобы никто об этом не знал, и потому часто после бессонной ночи княгиня вставала, как и всю жизнь, до восхода солнца, спускалась в сени, беседовала с боярами и тиунами, советовалась с ними, как сделать, чтобы людям было легче.

Заботилась княгиня и о внуках, оберегала их в трудные часы. Когда печенеги бились под самыми стенами, оставалась с княжичами — боялась за них.

Особенно беспокоилась она о Владимире. Он становился все более похожим на Малушу — те же глаза, нос, рот. Но княгине Ольге внук напоминал еще и молодого Святослава — такой же молчаливый, упрямый, отважный, дерзкий. Впрочем, он напоминал княгине не только молодого Святослава,— а разве его дед Игорь не был таким же?

Ярополк и Олег жили как княжичи, много времени проводили с княгиней, с Пракседой выходили в сад за теремом, со своими пестунами учились ратному делу, хоть это им и не нравилось.

Княжич Владимир был безотлучно с Добрыней. Только тогда, когда Добрыня сражался на стене, Владимир оставался в тереме.

Впрочем, разве поймешь, что в голове у этого юноши? Однажды на рассвете, когда на стенах было очень трудно, княгиня кинулась в опочивальню и увидела, что княжичи Ярополк и Олег спят в своих постелях, а княжича Владимира и след простыл. Княгиня Ольга обошла терем,— княжича никто не видел, выбежала во двор, но не нашла его и там. Тогда она поднялась на Подолянскую башню и там увидела, как Владимир, прижавшись к забороду, целится и пускает стрелы в лезущих на стены печенегов.

— Владимир! — сказала она потом внуку.— Почему ты не бережешь своей жизни?

— А разве жизнь у князя не такая же, как и у его воев? — дерзко возразил Владимир.

Княгиня Ольга покачала головой. «Такой, такой же точно, как и Святослав! А впрочем,— подумала она,— может, именно такими и должны быть они? Ведь такова и Русь!»

Княгиня просила Добрыню беречь Владимира, ведь ему поручил князь Святослав своего сына.

И не только об этом, а обо всех делах советовалась княгиня с Добрыней. Он был хорошим воеводой, смело стоял на стене, умел вести за собой людей, да и люди ему верили.

Поэтому каждое утро княгиня расспрашивала Добрыню обо всем, что делалось на Горе.

— Трудно, очень трудно на Горе, княгиня,— говорил Добрыня.— Люди уже начинают жаловаться, будто их Перун покарал, против христиан говорят... Кое-кто сказывает, что надо принести...

— Чего же ты умолк, Добрыня?

— Надо принести человека в жертву...

Воспаленными глазами смотрела княгиня на Днепр, ее запекшиеся губы шептали молитву.

— Ты погляди, погляди, Добрыня: не видно ли лодий из Чернигова?

— Не видно, княгиня.

— Так что же делать? — шептала она.— Господи, вразуми, вразуми!

Добрыня, подумав, сказал:

— Надо послать, княгиня, в Чернигов, в земли наши, звать на помощь.

— Но как, Добрыня, кого?

— Дай подумать. Все будет сделано как надо, княгиня.

Стояла темная, душная ночь начала месяца червена. На Горе не светился ни один огонек. Темно было и вокруг стен. Только в одном месте в предградье бушевал огонь, оттуда же долетали рокот бубна и гортанные песни печенегов.

Вместе с Добрыней к краю стены подошел один воин, остановился у заборола и поглядел вниз. Там было темно, дна не видно,— казалось, он стоит над глубокой пропастью. Но воин знал, что внизу ров, твердая земля, он неторопливо привязал крепким узлом к забороду один конец веревки, а другой, пристально вглядываясь, медленно опустил вниз, за стену.

— Прощай, Добрыня!

— Прощай, Тур!

Гридень Тур ловко перелез заборало и, крепко ухватившись

за веревку, стал спускаться. От городниц до дна рва было далеко, веревка раскачивалась в воздухе, вместе с нею делал круги и Тур.

Раз он надолго задержался, повиснув над самым рвом,— ему показалось, что внизу кто-то зашевелился. Но нет, во рву никого не было. Тур спустился на дно, встал, а потом лег на склоне рва.

Так лежал он долго, прислушиваясь, потом дернул за конец веревки, давая знак, что ползет дальше. Вверху тоже дернули за веревку — там все стоял Добрыня, он желал Туру удачи.

Тур пополз. Его глаза уже свыклись с темнотой, на ночном небе вырисовывались черные бугорки — кусты. Видел он и поваленный печенегами частокол, кучи кольев издалека напоминали людей.

И если бы кто-нибудь спросил Тура уже позже, как все это произошло, он не смог бы объяснить. Тур переполз высокий вал за рвом, частокол, овраг, еще раз спустился по узкому ровику и вдруг увидел, что очутился перед костром, а рядом с ним сидят на траве несколько печенегов.

Однако никто на Тура не обращал внимания — черная баранья шапка, кожаная безрукавка и кривая сабля у пояса, которые он снял с убитого на стене врага, делали его похожим на сидящих рядом печенегов.

Вокруг творилось что-то невообразимое. Печенеги лежали на шкурах, на попонах и просто на земле, некоторые из них лакомились чуть поджаренной на огне кониной, все пили из корчаг вино и мед, а несколько десятков, взявшись за руки, притопывая ногами, кружились хороводом вокруг костра.

Плясали они под пронзительный визг трех дударей, игравших, надувая щеки, двух музыкантов, которые скрипели смычками по натянутым на длинные чурбаны струнам, да нескольких бубенщиков — они-то и шумели больше всех.

Но и те, которые лежали на шкурах и на земле, не оставались равнодушными к музыке и пляшущим — они хлопали в ладоши, кричали, подзадоривали. При неверном свете костра Тур видел совсем близко от себя пьяные, красные лица печенегов, их косоватые, масленые глаза. Даже пьяные, они говорили о Киеве, поглядывали и указывали на Гору.

И, увидя перед собой эти загорелые от ветра и солнца, свирепые лица, Тур подумал о том, что будет, когда они прорвутся в город, вспомнил отца своего, мать, Малушу, которая может погибнуть от их рук, и его охватила дрожь. Скорее за Днепр, дойти до первого села, взять коня и мчаться в Остер, в Чернигов, звать на помощь!

Но как сейчас пройти к Днепру? Он боялся озираться, чтобы не привлечь внимания врагов, и сидел, будто пьяный,

опустив голову и слегка покачиваясь. Он знал, что позади него, куда ни ступи, повсюду сидят, стоят, бродят враги, что пройти здесь сейчас не сможет, проползти не сумеет. Однако еще больше его беспокоило то, что короткая червенская ночь была на исходе,— за Днепром уже начинало светлеть небо.

И вдруг он увидел, что прямо на него от костра идут несколько печенегов. Они были совсем пьяные — это заметно было по их походке: сейчас они пройдут мимо него — и, очевидно, вниз, к Днепру.

Когда они приблизились, он уже стоял на ногах, а когда проходили мимо, взял под руку одного из печенегов. Печенеги шли дальше, Тур плелся между ними, он казался даже более пьяным, чем они. Не выпуская руки печенега, он чуть не падал и что-то ревел... Его сосед, печенег, даже обнял его и, прижавшись лицом к плечу, что-то лепетал. Как хотелось Туру убить его!

Но он думал только о том, чтобы поскорее добраться до берега Днепра. А печенеги, как назло, еле передвигали ноги, останавливались, кричали, падали. И уже при бледном свете зари видны были их лица. Тур, точно совсем опьянев, все ниже и ниже опускал голову, чуть не падал и все тащил их к Днепру.

И вот наконец Днепр. Стало уже совсем светло, да и утренний ветерок, видимо, протрезвил головы печенегов, потому что они вдруг остановились, закричали.

Тур поднял голову и взглянул на печенегов. И хорошо сделал, потому что они уже поняли, кто с ними шел,— один из них успел выхватить саблю и поднял ее над головой.

Тур не побежал к Днепру, понимая, что сабля печенега рассечет ему голову. Гридень кинулся на печенега и ударил его с такой силой кулаком в грудь, что тот выпустил оружие,— в тот же миг Тур выхватил саблю и одним ударом отрубил печенегу голову.

Безголовое туловище печенега пошатнулось и тяжело упало на землю, а Тур кинулся к Днепру, стал на круче у обрыва, взмахнул руками и, как птица, начинающая лёт, оторвался и черной стрелой полетел вниз. Высоко взлетели брызги, и только круги пошли по воде.

Тур вынырнул далеко. На берегу уже догадались, что случилось: многие печенеги стреляли из луков, другие, поджидая, когда покажется неизвестный, стали на колено и натянули тетивы.

Стрелы падали в воду близко от Тура. Он слышал их свист, слышал, как рядом кипит вода, и нырнул еще раз. А там переплыл Днепр, вышел на левый берег и исчез в кустах.

Поздней ночью на южной окраине города, в хижине у ворот на Перевесище, вспыхнул пожар. Люди закричали, кинулись к воротам. Возник ли пожар от неосторожности, залетела ли горящая вражеская стрела — никто об этом не думал. Пожар,— каждый знал, чем он грозит деревянному городу.

— Тушите его, тушите! — слышалось со всех сторон.

Но воды не было. И тогда люди бросились вперед, тушили огонь руками, телом, с воплями ломали хижины, падали, задыхались в дыму, среди красных огненных языков.

Стонами и мольбой встречали утро обессиленные обожженные люди. Они просили воды, глоток воды!

Но не только искалеченным, даже здоровым печем было дышать в городе. Воздух среди стен был отравлен дымом, из-за Днепра встало и быстро поднималось в небе палящее солнце, за ночь земля остыла, а теперь ее немилосердно раскаляли безжалостные лучи.

И тогда в самой середине Горы, напротив княжьих теремов, вблизи требища Перуна, стали собираться люди. Их никто не звал, но, казалось, кто-то подсказывал, что всем нужно идти со всех концов к теремам.

Шли мужчины, женщины, шли ремесленники предградья, простой люд Подола. Опираясь на посохи, тяжело передвигались калеки, с ужасающими стонами подходили обожженные, на которых страшно было смотреть.

И вот среди толпы, будто выброшенный волной, поднялся над всеми, встав на камень, старик с длинной седой бородой и усами, с большими горящими глазами — главный жрец Перуна.

Подняв высоко правую руку, он кричал:

— Перун проклял нас!.. Боги посылают на нас несчастья!.. Мы должны очиститься... Боги требуют жертвы!

И, как стон из жаждущей груди, как крик изнемогающего сердца, вырвалось из толпы неумолимое:

— Жертву! Жертву! Жертву!

— Перун требует человеческую жертву! — кричал жрец.

Теперь ничто не могло остановить людей. Они смотрели только на жреца, который стоял на камне, и следили за тем, на кого укажет его рука. Над толпой взвились секиры.

И вдруг жрец опустил руку — на стенах Горы ударили била. Оттуда прозвучал победный крик:

— На Днепре лодии Святослава!

Рано утром в стане печенегов у Днепра и дальше, до самой Лыбеди, поднялась тревога: зазвенели щиты, зазвучали испуганные голоса...

Рано утром ударили била, загремели щиты и тоже послышались голоса на городницах Киева.

Рано утром, едва лишь заалело над лесами левого берега и вдруг стало голубым небо, на Днепре, напротив Киева и выше, по всему плесу, точно из воды, вынырнули лодии; на них трубили в трубы, слышались громкие крики, а лодии плыли через Днепр — к кручам и Почайне.

В это же время на Горе отворились ворота, пронзительно заскрипели цепи, гулко лег на другую сторону рва мост; с Горы стала выбегать княжья дружина, за ней ремесленники, подоляне.

Со стен Горы было видно, как носы лодий зарываются в прибрежный песок, как из них выскакивают вои, как они взбегают на кручи, кидаются наперерез печенегам. Множество печенегов было порублено, только некоторые из них, кто успел сесть на коня, умчались вдоль берега Почайны, вдоль Днепра, к лесу над Лыбедью.

Люди с Горы пили воду. О, до чего сладка в то утро была днепровская вода, как после долгих дней и ночей хотелось ее пить и пить! Люди пили, набирали в ведра, что стояли в лодиях, несли их на Гору — женам и детям, у которых не было даже сил спуститься к Днепру.

— Слава, слава воям Святослава!

Но это были не вои Святослава. Это гридень Тур, добравшись на левый берег, отыскал воеводу Претича и рассказал ему, где и как стоят печенеги. И тотчас черниговская дружина и все вои, что оставались на левом берегу, подплыли ночью к Киеву и одолели печенегов.

Однако печенеги не спаслись и от меча князя Святослава. Он встретил бегущую от Киева к Роси орду подле Родни, вступил с нею в битву, и печенеги тотчас обратились в бегство, а их каган Куря сдался на милость князя Святослава.

Князь Святослав позвал к себе кагана Курю. Они сели на увядшей траве друг против друга, скрестив под собою ноги,— о мире, по обычаю, следовало говорить только сидя, касаясь руками земли, чтобы она слышала каждое слово.

Князь Святослав сказал:

— Дивно мне видеть тебя с ордою здесь, под Киевом. Печенеги и русы не воюют между собою... Захоти я — давно бы разбил и сбросил вас в море. Зачем же ты, Куря, пришел с ордою под Киев?

Печенежский каган, избегая пристального взгляда Святослава, стал юлить:

— Зима была у нас голодная... Орда шла в поисках хлеба...

— Ты врешь, Куря! — крикнул Святослав.— Голодные зимы случались и ранее. Почему не погнал табунов к херсонитам? За коней они дали бы тебе и хлеба и вина. Да и русские люди приняли бы от вас табуны.

Каган пытался выкручиваться дальше:

— Мы хотели гнать табуны, но русские вои напали на нас в поле...

— И вы тогда пошли на Киев? — засмеялся Святослав.— Нет, Куря, не верю я, что русские вои напали на вас в поле. У нас много дел и без печенегов... Возьмись за землю и скажи правду.

Куря царапнул рукой землю.

— Говорю правду...

— Нет, врешь!

— Земля знает,— твердил Куря,— говорю только правду.

Тогда князь Святослав повел беседу иначе.

— Слушай, каган,— сердито промолвил он,— ты хочешь выйти живым со своею ордой в поле?

Куря молчал.

— Отвечай, каган,— повысил голос Святослав,— заключим мир или учиним сечу? Вои мои готовы...

— Мир,— глядя в землю, промолвил каган.

— Тогда говори правду.

Куря молчал.

— Я помогал ромеям,— наконец сказал он.

## 6

Чем ближе подъезжал князь Святослав со своей дружиной к Киеву, тем больше разрушений открывалось его взорам... Лес над широкой, быстрой Лыбедью был вырублен, кусты поломаны, над лугами, чувствуя обильную поживу, тучами летало воронье. Порублены, сожжены были деревья и на Перевесище, среди травы белели конские кости, повсюду чернели пожарища.

И вот князь Святослав останавливается перед Перевесищанскими воротами. Громко кличет его дружина, на опаленных, черных стенах города появляются стражи,— наконец пришел князь! — скрипят жеравцы, опускается мост.

Князь Святослав ехал по Горе опечаленный: всюду пожарища, повсюду разрушения, вдоль стен могилы, могилы. Услыхав топот княжьей дружины, из хижин на Горе, из теремов выбегали люди. На них страшно было смотреть,— что делает война!

Подле княжьего терема, где собрались все дворяне, Святослав, круто осадив коня, поздоровался и, ни о чем никого не спрашивая, быстро поднялся по ступеням на крыльцо, вошел в сени.

В сенях уже стояли и, видимо, ждали князя сыновья Ярополк, Олег, Владимир вместе с боярами. Князь Святослав поздоровался с боярами, подошел к сыновьям.

Прошло немного времени, с тех пор как видел он их в последний раз, но как они изменились! Ярополк вытянулся, окреп, смотрел на отца каким-то жгучим взглядом. Олег был такой же бледный, робкий. Только Владимир кинулся к отцу и поцеловал его. Но, видя, что братья обиделись, тотчас отступил.

— Как княгиня? — спросил у бояр Святослав.

Слова его услышал священник Григорий, выходивший из светлицы княгини.

— Вельми немощна наша княгиня,— ответил священник.— Но о твоем приезде уже слышала, кличет...

Княгиня сидела в светлице, окна которой выходили к Днепру, глаза ее были закрыты,— может, думала, может, дремала.

— Мать! — тихо промолвил Святослав с порога, боясь ее разбудить.

Ольга открыла глаза — как глубоко они запали! Узнав сына, протянула вперед руки...

— Значит, приехал? — очень тихо спросила она.

— Приехал... примчался, получив весть о Киеве.

— Спасибо, сынок!

Святослав пошел вперед, склонился перед матерью на колени, а она положила руку ему на голову и поцеловала.

Материнская рука! Он хорошо знал эту когда-то сильную, теплую руку. Почему же теперь она такая слабая, холодная?

— Мать! Что с тобой? — спросил Святослав.

— Видишь, немощна я,— с болью ответила она.— Не могу ни есть, ни пить, болит... все тело... сердце.

— Так позовем лекарей, принесем жертву...

— Ни лекари, ни жертвы мне уж не помогут... молюсь богу, чтобы кончились мои страдания... Молись, сын, и ты!

Она смежила глаза, немного помолчала, потом, словно очнувшись, сказала:

— Что́ я и мои немощи, сынок? Тяжко было в Киеве, печенеги едва нас не одолели. Но люди стояли твердо...

— Знаю, мать, я встретил орду у Роси и гнал ее до Днепра. Говорил и с каганом Курею. Печенегам заплатили и послали их на нас ромеи...

— Опять они,— тяжело вздохнула княгиня.— Нет, ты не ошибся, что пошел на них, Святослав. Как там?

Святослав рассказал все, что случилось с тех пор, как вои двинулись к Дунаю, рассказал, как брали болгарские города, как он только немного не дошел до Преславы.

Бледная, утомленная, княгиня, напряженно, часто и тяжело дыша, слушала его рассказ и, казалось, забыв о своей болезни, следила за каждым шагом сына и его воев в Болгарии.

— А сын мой Улеб? А Свенельд? А Икмор? Говори, сынок, говори!

Святослав ответил на все ее вопросы.

— Добро! — сказала она, когда Святослав умолк.— Нет кесаря Петра — что ж, такая ему и слава. А с сыном его не ссорься: может быть, он вспомнит деда Симеона,— заключи мир с Борисом...

— О нет! — с горечью возразил Святослав.— Что Петр, что Борис — оба под греками ходят. А в Константинополе Бориса поддерживает новый император — Иоанн Цимисхий.

— Тогда пошли подмогу своей дружине на Дунай — пусть блюдет наши границы, а сам побудь здесь, в Киеве...

— Нет, мать, негоже мне быть в Киеве, пока кесари и императоры не разбиты, пока насылают на нас печенегов. Там, на Дунае, стоит моя дружина, там все блага когда-то сходились, а теперь сошлась вся лжа. Там рядом со мною стояли не кесари, а болгары — там середа нашей земли, там и мое место.

— А Киев-город? — с болью промолвила княгиня.— Не ведаю всего, но боюсь за наши земли. Который уже год идет брань...

— Думаю о Киеве-городе и о землях наших,— пытался успокоить ее Святослав.— Ведь тут сидишь ты...

— Что я? — промолвила она с усмешкой.— Сани мои стоят уже у порога, каждую ночь кличет меня Игорь...

Княгиня Ольга снова помолчала некоторое время, отдыхая, а потом промолвила:

— Нет, сынок, не сидеть мне больше на Киевском столе.

— С тобой будут мои сыновья...

— Нет, Святослав, не сидеть мне на столе. Коли так — посади сыновей.

— Но кого же посадить на стол Игорев?

Княгиня задумалась.

— Три сына, и все три разные,— вздохнула она.— Ярополк крещеный, но злой, дерзкий... Олег — добрый, да больно тих... Владимир...

Княгиня снова помолчала.

— Владимир добр, хоть и язычник, да бояре его не примут...— Княгиня умолкла и закончила: — Нет, придется Ярополка.

— Так, матушка, и сделаю, а тогда уйду.

— Ты, сынок, погоди... Погреби меня и иди...

— Не покину тебя, пока ты жива, мать! — воскликнул Святослав.— И все сделаю по твоему слову.

— Вот и хорошо! — промолвила княгиня и, закрыв глаза, казалось, уснула.

Князь Святослав точно во сне провел три дня в Киеве, исходил всю Гору, спустился с дружинниками в предградье и на Подол.

И всюду его сердце бередили опустошения и развалины, всюду он встречал тревожные глаза и немые вопросы, слышал сетования:

— Когда же конец разрушениям и войне? Видишь, княже, как страдает Русская земля?

Возвращаясь на Гору, он шел к сыновьям и матери. Княгиня мучилась, ей трудно было даже говорить, но она хотела, чтобы сын не знал этого. Когда Святослав заходил, она взглядом просила его сесть, и так, в молчании, проходили часы...

На третий день вечером он, как обычно, пришел к ней, но задержался в сенях: у матери был священник Григорий, и Святослав не хотел мешать их беседе.

Священник вышел, чем-то, видимо, встревоженный, неспокойный, и сказал Святославу:

— Иди, князь, она кличет тебя.

Святослав зашел в светлицу и остановился у порога. В углу горела свеча. Мать лежала на своей постели, необычайно бледная, но тихая, спокойная.

— Сядь, Святослав! — сказала она.

Он сел у ложа.

— Вот я и исповедалась во всех своих грехах...

— Кому ты исповедовалась и в чем? — не понял ее Святослав.

— Пресвитеру Григорию, а через него Христу... Конец, сынок...

— Зачем ты, мать, говоришь о конце? Тебе, княгиня, еще жить и жить...

Слабая улыбка пробежала по ее лицу.

— Всякая жизнь приходит к концу, и княжья тоже,— сказала она.— Не утешай меня, сынок, я готова к своей далекой дороге.

Она немного помолчала, собираясь с мыслями и превозмогая боль.

— Об одном только хотела просить тебя... Прости меня, сын...

— За что я должен тебя прощать? — спросил Святослав.— Ведь ты мне делала только добро...

— Добро — это так, я желала тебе, сын, только добра. А все же ты, должно быть, гневаешься, Святослав, за то, что я так поступила с Малушей?

— Это было давно, пожалуй, не стоит и вспоминать! — тихо промолвил Святослав.

— Не говори так. Чем дальше дорогое прошлое уходит от нас, тем дороже о нем память... Ты страдал все это время, Свя-

тослав. Мне тоже было больно и тогда и теперь, когда вспоминаю Малушу... Но разве могла я поступить иначе? Верь мне: коли бы я поступила так, как подсказывало сердце, то не ты, а Улеб сидел бы на Киевском столе. А он сделал бы все не так, как ты. Он вовек не свершил бы того, что ты, Святослав!

— Мать! — сказал Святослав.— Я знаю Гору и Улеба. А делал я только то, что был должен и мог...

— Что должен и мог,— повторила за ним княгиня.— Нет, Святослав, ты сделал больше, чем мог... Когда-то... я мучилась, колебалась. В трудное и страшное время жила я, сын мой: твой отец Игорь не закончил собирать земли, довелось мне... Ты был со мной, помнишь Искоростень?

— Помню...

— Люди говорили, будто я мстительная, злая. Но не месть, а страх за наши земли, за Русь, вел меня к древлянам. Стоило отпасть от нас древлянам — иные племена наши могли содеять то же. И, может, не было бы днесь и Руси!..

— Ты мудра, мать! Я видел, как ты тогда поступила, знаю и то, почему ты заменила дань уставом.

— Что устав,— княгиня указала за окно,— если бояре думают только об одном? Я, сын мой, раздала им все земли, леса и реки...

— Но ведь есть, мать, еще и люди... Русь — не только Гора, а много племен, языков, городов.

— Верно,— согласилась княгиня,— Русь — это множество племен, языков, городов... Они теперь объединились, и ты веди их против врагов, веди против Византии. А за Малушу меня прости, сынок! Прощаешь?

— Прощаю, мать!

— И во другой раз прости...

— Прощаю...

— И в третий...

— Прощаю...

— Спасибо, сынок.— Княгиня долго лежала, сомкнув глаза, будто отдыхала.— Все кончается,— промолвила она и взглянула на Святослава.— Вот так угасает жизнь. Пройдут годы, минут века... и узнают ли когда-нибудь люди правду о том, как трудно было нам и всем людям на Руси?

— Узнают, матушка,— уверенно сказал Святослав.

— Когда умру,— продолжала княгиня,— не совершай по мне тризны... есть пресвитер... пусть похоронят как христианку...

— Матушка! — вырвалось у него.— А позволишь мне взять Малушу?

Княгиня Ольга долго не отвечала, потом, словно ей надо было сказать что-то очень важное, попыталась подняться. И она поднялась, оперлась на руку, села...

— Знаешь ли ты, Святослав,— сказала она, глядя на сына, и глаза у нее стали большие-большие,— что тогда... в ту ночь... когда Малуша уезжала из города.. я пожаловала ей село... Будутин...

— Пожаловала село?

— Да... но она его не взяла. Отказалась... потому что не подарка хотела, а любила тебя... такого светлого... какой ты и есть... Знаешь теперь, какая Малуша...

Ольга перевела дыхание.

— Малуша,— закончила княгиня,— она... она сильнее меня... разыщи... возьми ее...

И вдруг глаза ее погасли, голова откинулась на подушки...

Святослав не спал всю ночь. В Киеве давно уже знали, что княгиня неизлечимо больна. И как только черное знамено, вестник смерти, появилось над стенами города, зашумела, заклокотала Гора, боярские и воеводские жены кинулись к княжьему терему, оттуда послышались их скорбные, полные отчаяния крики,— они обряжали и готовили княгиню в далекий путь.

Лучшие мужи Горы, которые были своими людьми в княжьих теремах, поспешили тотчас к князю Святославу — у них к нему было теперь много дел.

Князь Святослав был не один. Он сидел в своей большой светлице, что выходила высокими окнами на Днепр, окруженный тремя сыновьями. Близ них стояло несколько воевод — они прибыли вместе с князем с Дуная; у дверей светлицы, чтобы быть под рукой, ждали слуги.

Горянские бояре и воеводы заходили в светлицу, останавливались перед князем и, низко поклонившись, молча отходили в сторону: душа умершей княгини в эту пору, как все они думали, блуждает где-то близко, и не годилось о чем-либо говорить.

Молча склонили голову им в ответ князь Святослав и его сыновья. Люди сочувствовали их большому горю, горе князей — их горе.

За окнами быстро темнело. Еще видны были темно-синие воды Почайны, остров, голубой плес Днепра, желтые косы, леса, небо. Но все это меркло, угасало. С востока надвигалась ночь...

В сенях дворовые высекали кресалом и раздували огонь. Потом кто-то со свечой в руках зашел в светлицу и принялся зажигать у стен светильники. За окнами совсем потемнело.

И сразу стало видно всех толпившихся у стен бояр и воевод. Бородатые, опаленные солнцем мужи переминались с ноги на ногу, прятали руки с высокими шапками за спиной и упорно молчали.

Но молчать так целый вечер не было сил. Один из бояр —

это был лучший муж Лаврит,— сделав шаг вперед и прокашлявшись, спросил:

— Когда же мы отдадим, княже, погребальные почести нашей княгине?

Князь Святослав, смотревший, как за Днепром вспыхивает зеленым светом первая звезда, казалось, проснулся.

— Что ж? Похороним, как надо...

— Покон велит,— продолжал Лаврит,— похоронить до вечера другого дня, чтобы душа покойной не заблудилась в небесных лугах, а попала прямо в вырий...

— Верно, верно,— зашумели бояре,— похоронить нужно завтра, по покону...

— Но я хотел бы,— князь поглядел на своих мужей,— чтобы на погребальные почести успели приехать люди. Гонцы уже скачут во все земли, хоть вернутся и не скоро. Однако Вышгород, и Белгород, и Родня должны быть.

Боярин Лаврит молчал, но изо всех углов светлицы и даже из сеней послышались голоса:

— Это правда! Вышгород, Белгород и Родня должны быть. Они, верно, уже едут. Покойная княгиня была так больна...

Но боярин Лаврит сказал еще не все, что думал. Он сгреб широкой пятерней волосы на затылке и громче прежнего, раздраженно спросил:

— А когда тризну совершать будем, княже? Ведь подготовиться след — лодию, и слуг для жертвы, и коней, и всякий запас на дорогу...

Говоря по правде, князь Святослав хоть и не ждал этого вопроса от своих мужей, но понимал, что задать его могут. Напряженное молчание в светлице подтверждало, что спрашивает не один Лаврит. Рядом с ним, как только теперь это заметил князь, стоял и седой, старый жрец Перуна.

— Что ж,— ответил Святослав,— воздать почести, конечно, следует, и я уже велел все приготовить, но жертвы не хочу, тризны по княгине совершать не будем...

— Как же так? — внезапно озверев, заорал Лаврит.— Все князья русские, иже за Кия и после него, похоронены были по нашему покону, и над ними совершали тризну.

Князь Святослав медленно поднялся со стула, шагнул вперед и остановился перед боярами и воеводами Горы. О, в этот вечерний час он почувствовал, что привело их сюда, почему они стояли молча, почему глубоко и тяжко дышат, почему впились в него горящими глазами!

— Моя мать, Ольга,— сказал он так, чтобы все слышали,— была христианкой и завещала мне похоронить ее по-христиански, а не по нашему обычаю, без тризны...

— Не по обычаю... без тризны... христианка,— прокатилось по светлице многоголосое, хищное, точно змеиное, шипение.

— Твоя мать, княже,— громче всех крикнул Лаврит,— была христианкой, а мы принесем жертвы, помолимся, чтобы Перун простил ее! Она была нашей княгиней, почему и хотим похоронить ее по обычаю, как хоронили деда твоего Олега, отца Игоря... Погребальная почесть должна быть выполнена!

Дед Олег! Отец Игорь! Погребальная почесть княжеского рода! О, боярин Лаврит знал, куда целить, и попал князю Святославу в самое сердце. И это говорит не один Лаврит — колышутся у стен светлицы жаркие огни свечей, в красноватом отсвете проходят перед взглядом князя бородатые, загорелые лица мужей Горы, на него уставилась сотня злых, раздраженных глаз.

— Я все сказал,— промолвил князь Святослав.— Будет так, как велела княгиня.

Два дня горели огни на Воздыхальнице, на краю Киева-города, густые черные дымы вздымались высоко к небу, возвещая о печали и скорби старой Горы. Гонцы мчались, сменяя на погостах лошадей, от веси к веси, от города к городу. Но далек был путь от Киева до Новгорода, Итиль-реки, червенских городов, и там намного позже узнали о смерти великой княгини. Киев один хоронил Ольгу.

Погребальный обряд начался на второй день перед вечером. У княжьего терема, в котором положили княгиню, собралась вся Гора, а тем, кто был родовитее, ближе к княжьему двору, удалось пробраться и в Золотую палату, постоять подле гроба. Большинство же горян толпилось во дворе, у крыльца, вдоль стен терема.

Окна в тереме были затворены. Но было слышно, как там время от времени поет хор из церкви святого Ильи, как рыдают и причитают, по старому обычаю, женщины. Потом все затихло, и вдруг на пороге появились воеводы и бояре, неся на плечах дубовый гроб с телом княгини.

Гора молчала. Гроб поставили на сани, усыпали свежими цветами, положили гроздь калины, которая начинала уже краснеть... Так и двинулись, громыхая по камням, сани. За ними шел князь Святослав с сыновьями, потом родственники, воеводы, бояре и прочие горяне.

Миновав Гору и ворота, похоронное шествие растянулось, выровнялось. Теперь это уже был настоящий княжий ход, в котором каждый знал свое место. Впереди всех, как и надлежало, шагала дружина — в шлемах, с луками и мечами у поясов, на долгих древках развевались княжьи знамена.

Восемь лучших гнедых коней из княжьих табунов тащили сани, те самые сани, на которых княгиня Ольга когда-то объ-

езжала свои земли. Только теперь на санях стоял дубовый гроб, а впереди лежала крышка...

Лицо княгини было необычайно бледным, спокойным, задумчивым — словно она хотела еще что-то услышать на этой земле и прислушивалась.

Впереди саней шел с крестом в руках священник Григорий, рядом с ним — дьяки Ираклеон и Прокопий и несколько девушек, исповедующих греческую веру. Священник скорбно произносил молитвы, а девушки на один голос пели: «Господи, помилуй...»

За санями шел Святослав в белой одежде — длинная сорочка, перехваченная широким кожаным поясом, на котором висел меч, белые штаны, в красных сапогах, корзне, без шапки, с бритой головой, сивый чуб спадал к левому плечу, а длинные усы — до шеи. Рядом с князем шли его сыновья — Ярополк, Олег, Владимир... За ними шагали воеводы, бояре, послы, гости.

По обе стороны дороги, где проходило погребальное шествие, стояли люди киевские — ремесленники из предградья и Подола, гонцы из Вышгорода, Белгорода, Родни, которые поспели к тому времени в Киев, смерды из княжьих и боярских дворов. И когда похоронное шествие проходило, они вливались в толпу, шли следом за всеми.

Солнце склонялось к Щекавице, когда сани с телом остановились подле свежей могилы на Воздыхальнице, где княгиня Ольга велела ее похоронить. Там уже стояла высеченная из вручайского красного камня гробница. Готова была к ней и каменная крышка.

Священник Григорий со слезами на глазах прочитал последнюю молитву, женщины Горы и Подола завели плач, но и слова молитвы, и плач утонули в пучине других звуков — на стенах Горы стража ударила в била, княжья дружина забряцала щитами и мечами.

И под эти звуки женщины покрыли лицо княгини черным бархатом, священник положил в гроб крест, одна из женщин насыпала жита, кинули гроздь калины, поставили корчагу с водой... Княгиню хоронили по старому обряду и новому закону, который победно входил на Гору.



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Князь Святослав сидел в Киеве-городе, но знал, что делается на Дунае. Трудно было гонцам князя Улеба и воеводы Свенельда добираться от устья Дуная к Киеву. Они мчались по ночам, а днем прятались в лесах и оврагах,— в степях и у моря стояли улусами печенеги. Некоторые из гонцов погибали в поле, но кое-кто все же добирался до Киева и привозил князю Святославу вести.

Брат Улеб сообщал, что держатся они в городах твердо, но к зиме сомкнутся, станут плотнее, и советовал великому князю не торопиться, навести порядок в землях и только тогда возвращаться на Дунай.

А воевода Свенельд писал:

«Зане ты, княже, ушел от Дуная, неспокойно стало у нас, в городах придунайских, и уже из многих нам пришлось отсту-

пить. Кесарь же Борис кликнул клич всем боярам и кметам и, слыхать, собрал уже большое войско. Из греков в Болгарию тоже идет подмога. Спеши, княже, чует мое сердце лжу, ждут тебя вои!»

Князь Святослав читал эти послания, думал над тем, что происходит на Дунае, и мрачным становилось его лицо, глубокие морщины бороздили лоб. Не стало княгини Ольги, пахнет еще гарью после печенегов, много дела в Киеве и землях. Чувствовал он, что на Дунае готовится что-то страшное, и хотелось не ехать, а лететь туда; ведь там решалась судьба всей дружины, а значит, и всей Руси.

Но лететь на Дунай он не мог, неладно было в самом Киеве. Направляясь в стольный град, князь Святослав думал не только о том, чтобы вызволить его от печенегов. Он намеревался и в самом Киеве, и во всех землях получить подмогу для дружины на Дунае — много крови пролили там, а вои ходят раздетые, требуют оружия.

Однако, как выяснилось, подмогу в Киеве получить было трудно. Бояре, купцы, мужи нарочитые и лучшие, которые когда-то сами посылали Святослава на Дунай, думали, верно, что все там закончится с первого же набега. Но война тянулась уже три года, погибло много людей, и ушло немало средств, великое зло причинило вторжение печенегов. А князь Святослав снова кличет людей, опять требует оружия... Шли вести, будто неспокойно и в Древлянской земле. Гонцы с севера уведомляли о нападении Свионии — земли Руси содрогались от края до края.

И князь вершил дела. В один из ближайших дней он велел боярам, всем лучшим, нарочитым и иным мужам собраться к нему на совет.

Услыхав приказ князя, они поспешили в Золотую палату ранним утром, когда на Днепре и над Подолом еще стелился туман, а волны его перекатывались через стены Горы. Мужи и бояре шли среди серой его пелены, сердито высекали искры ударами своих посохов о мостовую главного конца и глухо, будто в воде, перекликались между собой.

В палате было холодно и сыро. Сквозь окна вливались зеленоватые лучи рассвета, пока еще слабые,— внизу горело несколько светильников. Мужи и бояре садились на скамьи вдоль стен либо оставались стоять в углах палаты.

Они были неспокойны, встревожены. Поспешая к княжьему терему, они не нарядились в свои бархатные и полуяровые шубы и опашни, не обулись в сафьяновые сапоги, не повесили гривн на шеи и цепей на груди. Они пришли в черных и серых домотканых свитах, грубых сапогах, и палату наполнил тяжелый дух овчины и дегтя.

Все думали об одном: давно они уже не собирались; с тех

пор как князь Святослав приехал, он к ним не обращался. Что же задумал теперь князь, зачем созывает их?

И, как всегда, мужи разделились: те, что сидели на скамьях вдоль стен, стали перешептываться:

— Неужто Святослав думает вести брань и дальше?

— Станем все и скажем: «Сиди, княже, в Киеве да воюй с гостями и послами».

Но были и другие, те, что стояли среди палаты и, не скрывая своих мыслей, громко рассуждали:

— Доколе сие будет? Греки идут с запада, в землях над морем печенеги. Доколе сие будет?

Когда князь Святослав тихо вошел из темных дверей за помостом и остановился возле своего кресла, увидел взволнованных людей, услышал их раздраженные голоса, он понял, что их тревожит.

— Будь здрав, князь Святослав! Челом тебе, княже! — прозвучали во всех углах хриплые, приглушенные голоса.

Князь Святослав поклонился, поднял голову и долго молча глядел на бояр, мужей, воевод.

Потом сел на деревянное старое кресло и медленно поднял руку.

— Я собрал вас, мужи и бояре мои,— начал он,— чтобы говорить про Русь и о том, как быть дальше. Из далекого края ехал я сюда и думал сразу же держать с вами совет. Но сами знаете, не стало княгини Ольги, долго печалился и думал думу я один, теперь хочу думать вместе с вами.

— Скажи, княже,— встал со скамьи у стены боярин Коснячок,— кончилась ли брань на Дунае?

— Нет, боярин,— спокойно ответил Святослав,— брань с ромеями еще не кончилась.

— Так когда же, князь, она кончится? — продолжал Коснячок.— Вои наши третье лето стоят на Дунае. Киев-град мало не взяли печенеги, завтра явятся еще половцы либо торки... Враги Руси нам угрожают, в землях смута, торговля наша с херсонитами, греками и всем миром захирела, а мы воюем и воюем на Дунае...

И тотчас рядом с Коснячком поднялся боярин Судислав.

— Ищешь ты, княже, чужих земель и ходишь с дружиной по далекую дань,— дерзко крикнул он,— а Русь от того не только не имеет корысти, а повсюду уже над полями черное воронье каркает.

В палате становилось светлее, и князь Святослав уже различал раздраженные лица бояр и мужей, видел их горящие глаза, стиснутые кулаки.

— Для того и собрал вас,— молвил он,— дабы знали, для чего я с воями стою на Дунае и долго ли еще черное воронье будет каркать над Русью. Вы,— обращаясь к мужам, сидевшим

у стены, гневно сказал Святослав,— корите меня за то, что ищу чужих земель и хожу по далекую дань... Ой, бояре мои, когда бы вы знали, как трудно искать чужие земли, когда бы ведали, как трудно брать дань кровью и мечом! Не за данью я хожу с воями и не чужих земель ищу. С мечом и щитом стал я на Дунае, ибо хочу видеть Русь свободной, а не греческой.

— Два лета тому назад,— продолжал Святослав,— когда собирал я вас здесь, в палате, то говорил, что нам приходится идти на Дунай, биться с кесарем Петром, поднимать болгар и с ними вкупе идти против ромеев. Я выполнил вашу волю, пошел к Дунаю, разбил войско кесаря Петра, да так, что он помер со страху. Все города над Дунаем примкнули к нам, и люди их вкупе с нами согласны были идти на Византию...

Князь Святослав умолк, и скорбная тень легла на его лицо.

— Ныне же,— продолжал он,— греки наслали на Киев печенегов, в Константинополе воцарился новый император — Иоанн Цимисхий, новый кесарь Болгарии Борис принял от него дань, и они вкупе замыслили разбить на Дунае всю дружину нашу, а потом идти на Русь и Киев...

— Правду молвит князь,— заговорили воеводы, стоявшие среди палаты.— Веди, княже, и далее воев на рать. Нас позовешь — мы пойдем.

Но мужей, которые сидели вдоль стен, слова князя Святослава, видимо, не убедили. Сердито постукивая посохами о деревянные доски пола, они бросали:

— Опять на брань... Лучше бы поехать на лодиях гостить на торг в Царьград... И с Херсонесом нет гостьбы. Все земли закрыты.

— Княже! — гремели воеводы.— Веди воев на брань, зови нас...

— Добро! — сказал князь Святослав.— Повинен я и поведу воев своих на брань. Но, мужи мои, не стало княгини Ольги, а я хочу спокойствия в Киеве, чтобы не стоял без князя стол отцов наших. Хочу посадить на столе одного из сынов своих, а двоих возьму с собою на Дунай — пусть смолоду к брани приучаются.

— Сиди, князь Святослав, один на столе и рать веди,— послышались голоса в палате.

— Не оставляй нас, князь!

— Не покидай стола отцов своих...

Но вдоль стен, на скамьях, где сидели мужи, слышны были и другие голоса:

— Стол без князя — аки земля без солнца... Стой, княже, на Дунае... Волим княжича имати князем... Волим Ярополка имати!

Грустными глазами смотрел князь Святослав на своих мужей. Во имя Руси, ради счастья всех ее людей и тех, которые находились здесь, в палате, он отрекался от стола отца своего

Игоря. Но Святослав видел и чувствовал, что не все понимают, что он задумал и какое тяжелое бремя берет себе на плечи.

Но разве не знал этого князь Святослав раньше? Разве, собирая мужей и поднимаясь по ступеням в палату, он не понимал, что ждет его здесь, и разве не решил заранее, как поступить? Нет, князь Святослав давно, может, еще на Дунае, решил, что́ сделает в Киеве. Не знал разве только того, что это произойдет так быстро.

И потому сейчас, в эту решающую для Руси годину, князь встал со стола отца своего, протянул вперед руку и промолвил:

— Я иду на Дунай и, покуда не одолею врагов Руси, в Киев не вернусь. Сидеть на столе и разом вести рать — не могу, мужи... На стол отца моего посажу сына Ярополка... Согласны вы на это, мужи? Что скажете, то и вся Русь подтвердит...

Наступила продолжительная тишина. На дворе уже рассвело, и сквозь окна вливалось розоватое сияние нового дня. В его лучах отчетливо вырисовывалось лицо князя Святослава. Усталый, бледный, держась правой рукой за поручни кресла, стоял он перед мужами города. Они же в глубокой задумчивости склонили перед ним головы.

Ярополка? О, трудно им будет с этим князем-христианином! Взять Олега? Но он еще хуже Ярополка — робкий, боязливый. Все же лучше Ярополк. Мужи, купцы и послы уже давно с ним в уговоре, заставят делать по-своему.

Правда, был у князя Святослава еще один сын — Владимир, но его имени киевские мужи не упомянули. Что̀ Владимир — сын какой-то рабыни, простой крови?

— Будь по-твоему! — первым подал голос Коснячок.— Волим Ярополка!

— Волим Ярополка...— прокатилось в палате.

На стене города ночные стражи ударили в било — из-за Днепра вставало солнце.

Весть о том, что князь Святослав в Киеве, докатилась до Искоростеня, и оттуда на черных насадах приплыли мужи нарочитые — послы Древлянской земли. Привезли они богатые дары от всей земли, присягались, что будут блюсти ряд, установленный Ольгой, обещали прислать Святославу воев для нового похода.

У мужей нарочитых было еще что-то на уме, но подступали они к делу осторожно, издалека.

— Ты, княже, всегда на брани, далеко, а мы сидим в лесах нехоженых.

— Далеко до меня, но близко к Киевскому столу,— ответил на это князь.— Посадил я в Киеве сына Ярополка, к нему приходите — он учинит суд и правду.

— Покуда в Киев ехать, лучше бы ряд и суд творить на месте.

— Кто же вам даст ряд и суд на месте?

— Просим дать нам князя. Ведь, кроме Ярополка, есть у князя Святослава еще два сына.

Князь Святослав глядел на мужей нарочитых Древлянской земли и старался угадать, о ком они думают.

Из далекого прошлого всплывали воспоминания о сече под Искоростенем,— неужели древляне думают, посадив своего князя, снова начать вражду, пойти, чего доброго, против Киевского стола?

Но нет, мужи не навязывают своего князя, а просят дать им внука Игорева. Может, и в самом деле лучше посадить одного сына в Древлянской земле, нежели ждать, что они сами посадят своего князя?..

— Даю вам сына,— сказал князь Святослав.— Которого из княжичей любо вам взять?

Он не назвал имени, желая услышать, который древлянам по душе. Три сына у князя Святослава, но один из них — князь Киевского стола, а еще один — сын рабыни Малуши.

— Волим взять княжича Олега,— попросили древляне.

— Быть по сему! — согласился Святослав.

Защемило отцовское сердце: даже Древлянская земля не хочет иметь князем сына рабыни! Что ж, он возьмет Владимира с собой, отец и сын станут с мечом и щитом на Дунае!

Однако не суждено было княжичу Владимиру на этот раз побывать на Дунае и встретиться с ромеями. Встретился он с ними и узнал им цену гораздо позже...

В эти же дни как-то к вечеру приплыли и стали на Почайне несколько лодий. Подоляне, знавшие хорошо лодии всей Руси, сразу увидели, что они из верхних земель. Уже темнело, когда к лодиям спустились с Горы несколько бояр. Они поговорили с гостями и вернулись в город. В ту же ночь бояре побывали у лодий еще раз,— князь Святослав приглашал гостей посетить утром Гору.

Как оказалось, это были мужи нарочитые из земли Новгородской во главе с тысяцким Михалом. Тысяцкий ходил когда-то вместе с князем Игорем на греков, хорошо знал княгиню Ольгу, принимал ее вместе с боярами в Новгороде и устанавливал с нею ряд.

Михало привез и сейчас богатые дары княгине Ольге, имея наказ веча поговорить с ней, напомнить об установленном ряде. Однако мужи нарочитые долго ехали из Новгорода в Киев и только в дороге узнали, что княгини не стало.

Поднимаясь утром на Гору, куда их звал князь Святослав,

тысяцкий Михало и все мужи новгородские остановились на Воздыхальнице, мимо которой шла дорога в город, и поклонились могиле княгини.

Потом они степенно, по два в ряд, в богатой одежде, в островерхих черных шапках, с золотыми цепями на груди, с посохами в руках, прошли через распахнутые настежь ворота и направились по двору, недалеко от требища свернули налево и вступили в княжий терем.

Встречал гостей князь Святослав с сыном Ярополком. Вокруг них стояли воеводы и бояре.

— Челом великому князю, его воеводам и боярам, всем людям города Киева,— начал Михало, сняв шапку и кланяясь.— Нас послал Великий Новгород, дабы мы поклонились вам, принесли дары и говорили про ряд с княгиней Ольгой. Поскольку же княгини Ольги, матери нашей, не стало, вкупе с вами молимся за ее душу, величаем и просим князя Святослава с сынами своими принять дары, выслушать нас и блюсти установленный княгиней ряд.

Дружинники, стоявшие за тысяцким, после этих слов положили перед князем дары — шкуры, горючий камень, белый рыбий зуб.

— Спасибо Новгороду и всем людям вашей земли,— поблагодарил князь.— Молитву вашу о княгине мы приобщим к нашим молитвам, дары принимаем и благодарим, а ряд, установленный княгиней, да будет между нами и вами во веки веков.

После этого князь Святослав сел, рядом посадил Ярополка. Киевские мужи попросили гостей из Новгорода сесть на скамьи в палате, но тысяцкий Михало все стоял перед столом князя и ждал знака Святослава.

— Слушаю вас, мужи новгородские,— промолвил князь Святослав.— Что скажете о нуждах ваших?

— Нас послали новгородцы,— начал тысяцкий Михало, он говорил нараспев, немного не так, как поляне, но понятно и просто,— и люди всех верхних земель, дабы поведать, чо блюдем ряд с княгиней Ольгой и служим Киевскому столу. Не токмо Новгород и люди земель верхних — чудь заволоцкая, весь, меря, водь и еще множество волостей тянутся к Киевскому столу. Посылаем мы, княже, и все, чо положено рядом: люди наши ратоборствуют вкупе с тобой против греков, весной наши лодии с уставом будут волоком в Киеве. Одначе тяжело нам: есть в Новгороде вече, посадник и тысяцкие, но в волостях неспокойно,— не вече и посадник новгородские должны рядить и судить волости, для того надобно князя имати. И не токмо потому мы должны князя имати: ужо конунг Свионии точит меч за морем, ужо видим мы на море шнеки их викингов, ужо в Ладоге олонесь они предали огню и мечу веси и по-

госты наши. Будет князь — скажем: «Веди нас против варягов». Так желает вся Новгородская земля.

Князь Святослав выслушал тысяцкого и почувствовал всю горькую правду его слов. Княгиня Ольга сделала хорошо, подтвердив старый и уложив новый ряд с Новгородом. Но сейчас люди новгородские звали Киев на помощь: к землям Руси подкрадывался враг с юга, а еще один, коварный и хитрый враг угрожает из Свионии, из Упсалы.

— Разумею вас, мужи,— сказал князь Святослав,— но кого же хотите вы князем? Сын мой Ярополк сел князем Киева, Олега дал Древлянской земле, есть еще сын Владимир, но хочу имать его подле себя.

Тогда Михало сказал:

— Ведаем, княже, сколь тяжкое ныне время для Руси. Ведаем и то, что должен стоять ты на Дунае против ромеев; победишь, княже, и наш колокол тоже возвестит о твоей победе. И о Киеве мыслим: Ярополку тут сидеть, Олегу же — у древлян. Затем просим: дай нам Владимира. Советовались ужо мы и желаем его у себя князем имати.

Князь Святослав задумался, потом сказал Добрыне, стоявшему неподалеку от него:

— Кликни, воевода, Владимира сюда.

Добрыня вышел из палаты и тотчас вернулся с княжичем Владимиром.

Как только тот вошел, мужи новгородские поклонились и разом заговорили:

— Просим тебя, Владимир! Держать те, княже, Новгород по ряду, как установила княгиня Ольга.

Князь Святослав радостно улыбнулся. Ему было приятно, что в это трудное время славная земля Новгородская обращается к Киеву и что новгородские мужи просят к себе князем его сына. Радостно было князю Святославу еще и потому, что мужи новгородские просят себе князем Владимира — сына Малуши.

— Владимир! — обратился князь Святослав к сыну.— Новгород, великий город, просит тебя быть князем. Поедешь ли в Новгород?

О, если бы кто мог угадать в эту минуту мысли княжича Владимира! Он знал все, что произошло за последние дни здесь, на Горе: отец-князь посадил на Киевском столе брата Ярополка, посылает к древлянам Олега, сам уезжает на Дунай...

Княжич Владимир не знал о том, что отец собирается взять его с собой. И тревога охватывала душу княжича, когда он думал о том, как без бабки-княгини, без отца останется в Киеве. Ведь брат Ярополк его ненавидит и не остановится ни перед чем. Не в чести он и у бояр и мужей нарочитых. От кого ждать

защиты, если он всем здесь, на Горе, чужой, ждет его только презрение, а может быть, и смерть?

Да вот и сейчас! На княжьем месте, рядом с отцом, сидит брат Ярополк. Владимир встретил его жесткий, колючий взгляд; Ярополка, очевидно, очень беспокоило то, что происходило в палате, и ненавидящими глазами он смотрел на брата.

Однако что́ Ярополк и его вражда, если мужи новгородские просят Владимира себе в князья? Вот они стоят, ждут его слова. Пусть Ярополк замышляет что хочет, отец смотрит на Владимира теплым взглядом и чуть улыбается, словно подбадривает его.

— Воля твоя! — тихо ответил Владимир.— Я согласен, княже!

Князь Святослав встал, подозвал к себе Михала и соединил его руку с рукою Владимира.

— Вот вы и есть! — коротко промолвил он.

Тысяцкий Михало сделал шаг вперед, крепко обнял и поцеловал княжича Владимира. Стали подходить к нему и другие мужи новгородские. Князь Святослав сидел на столе и думал свою думу. Может статься, помышлял он о близкой брани на Дунае, может, задумался о далеком будущем Руси... Но князь верил, что все идет к добру, легкая улыбка блуждала на его устах.

И только новый князь Киевского стола Ярополк, охватив пальцами поручни, был заметно недоволен — он по-прежнему не сводил ненавидящих глаз с Владимира, словно желал брату не счастья, а гибели.

В далекий и весьма нелегкий путь должен был отправиться княжич Владимир. И князь Святослав, прежде чем попрощаться, хотел поговорить с сыном. Он позвал его вечером в тот же день, когда мужи новгородские высказали свое желание.

— Я хотел видеть тебя и говорить с тобой,— начал князь Святослав, когда Владимир остановился на пороге его светлицы.— Иди ближе сюда, сын мой.

Владимир нерешительно пошел вперед, к отцу, который сидел на широкой скамье недалеко от окна, и остановился, глядя на его чисто выбритую голову с подернутым сединой чубом, на длинные усы, рот, серые глаза, смотревшие далеко-далеко, за Днепр.

— Чего же ты стал? — обернулся Святослав к Владимиру.— Сядь тут, напротив меня, Владимир.

И Владимир сел напротив отца, готовясь внимательно слушать, что тот скажет.

— Радуется мое сердце,— начал князь Святослав,— что зовет тебя Новгород — верх нашей земли. Ты, должно быть,

сам еще не знаешь, что это за земля и куда ты едешь. Тогда слушай, сын...

Он на минуту задумался и сказал:

— Когда-то и я, как сейчас ты, сын мой, не знал, какая наша земля, да и думал, что она совсем невелика. Но позднее, когда прошел ее из конца в конец и стал на ее украине, над Джурджанским морем, сердце забилось у меня в груди, дух захватило, как на брани... Велика наша земля, необъятна: на одном ее конце солнце всходит, а на другом заходит, на одном конце ледяные горы, на другом — Русское море... Такова наша земля, такова Русь...

И еще увидел, когда проходил из конца в конец нашу землю,— продолжал князь Святослав,— что были между нашими племенами и землями усобицы. Однако, сын, слушай и запомни: не оттого это, что враги они суть, нет! Давным-давно, от дедов и прадедов, живут тут наши люди, многих и многих врагов они одолели, чтобы спасти свою жизнь. А враждовали они между собою, утверждая Русь, устроя родную землю... Потому и дед твой Игорь ходил в землю Древлянскую: не зла хотел древлянам, а единства со столом Киевским. Потому и я ходил в верхние земли к вятичам: не зла хотел им, а освобождал и освободил от хозаров. И сейчас,— голос князя Святослава окреп,— воедино стоят племена и земли наши там, на Дунае, против ромеев стоят под моим знаменем и поляне, и древляне, и вятичи — вся Русь!

— Вся Русь! — тихо повторил Владимир.

— Потому я и радуюсь,— сказал князь Святослав,— что зовут тебя в верхние земли. Не ведаю, Владимир, что ждет в будущем Русь. Снова иду на брань, а вернусь ли оттуда — не знаю. Там, в Новгороде, ты, сын, должен помнить, что здесь, на юге, нашим вечным врагом остается империя, и с нею я сейчас веду великую брань. Но и на полуночи у нас есть опасный враг; тысяцкий Михало говорил, что конунги Свионии точат мечи за морем, что шнеки викингов ходят неподалеку от Новгорода. А уж я знаю варягов, не раз имели с ними дело и отцы наши. Есть среди них добрые. Здесь, в Киеве, много их служит у нас. Воевода Свенельд — один из таких честных варягов.

— Слушаю, отец!

— Ты, Владимир,— продолжал Святослав,— блюди и держись старой веры. Говори за мною: «Аз верю в Перуна и во всем буду поступать по закону и покону отцов моих...»

— «Аз верю в Перуна и во всем буду поступать по закону и покону отцов моих»,— слово в слово повторил княжич Владимир.

— «И с братьями своими — князьями земель — должен быть в одну душу и тело. Аще братья твои будут поступать по

покону отцов своих — будь с ними воедино... Аще же забудут покон — быть им в татя место...»

— «Буду воедино с ними, аще же забудут покон — быть им в татя место»,— повторил княжич Владимир.

— И еще одно.— Князь Святослав встал, подошел ближе к сыну, положил правую руку на его голову, немного отклонил ее назад и, заглянув прямо в глаза, сказал: — А если, сын, придет время, когда сгинет покон отцов наших и наступит новый покон, когда люди отрекутся от Перуна и захотят Христа, ты не перечь им... Только принимай христианство не так, как того хотят императоры ромеев, а как равный у равного... Сделаешь ли так?

— Сделаю, отец! — поклонился княжич Владимир, хотя в то время он еще не мог понять всего того, что сказал ему отец. Вспомнить слова князя Святослава, осознать их и поступить так, как завещал отец, князь Владимир смог гораздо позже.

— Тогда ступай, сын,— закончил князь Святослав.— Ждет тебя далекий путь. Собирайся, Владимир. Погуляют мужи новгородские — и в дорогу!

— Добро, отец!

Князь Святослав наклонился к Владимиру, поцеловал его в голову, сын крепко прижался к отцовской руке.

— Иди!

И Владимир медленно направился из светлицы, но на пороге остановился, обернулся, и Святослав почувствовал, что сын хочет то ли спросить что-то, то ли сказать.

— Что ты? — обратился он к сыну.

Владимир нерешительно вернулся, но ответил не сразу.

— А ты не разгневаешься на меня, отец?

— Нет,— ласково ответил Святослав,— говори!

— Я давно хотел спросить тебя, отец,— начал Владимир,— но не смел, боялся тебя и бабки Ольги...

— Чего же ты боялся?

Что-то детское появилось в этот миг в глазах княжича Владимира, но были они и не по-детски печальны.

— Не знаю, добро ли я делаю или нет, спрашивая тебя об этом,— искренне признался Владимир,— но когда я был маленьким, да и сейчас, мои братья насмехались надо мной, называли рабичичем. Почему это так, почему они княжичи, а я рабичич, отец?

Князь Святослав задумался, лицо его стало суровым. О горькой правде спросил у него сын. И мог ли не спросить об этом? Ведь правда эта жила с ним здесь, в Киеве, эта правда уедет с ним в далекий Новгород; и сейчас, и позднее, до конца дней своих, они, Ярополк и Олег, будут князьями, а он, Владимир, хоть и будет князем, но клеймо рабичича останется на

нем до самой смерти. Да исчезнет ли оно и после смерти, забудут ли об этом люди?

— Ты хорошо поступил, что спросил меня об этом,— сказал он сыну.— И я скажу тебе правду, Владимир...

Святослав умолк — у него, сильного, смелого князя, в жизни не знавшего, что такое отчаяние, а тем более слезы, вдруг подступило что-то к горлу, сжало и не давало говорить.

— Погоди! — промолвил он только.— Погоди... Пойдем сюда и сядем, сынок.

Он направился к окну, где стояла скамья, опустился на нее, рядом с собой посадил Владимира и, глядя на Днепр, катившпй к понизовью свои воды, на лодии с белыми ветрилами, что застыли на его голубом лоне, на облака, которые, точно розовые раковины, повисли над далеким небосводом, заговорил:

— Было у меня, Владимир, в жизни две жены. Одна из них — княгиня, дочь угорского князя, от нее родились Ярополк и Олег. И я, сынок, могу теперь тебе сказать — ведь она давно умерла, а ты уже вырос, стал мужем: не любил я ее, но должен был жениться,— того требовала моя мать, твоя бабка Ольга.

— Значит, она недобрая, моя бабка Ольга,— вырвалось у Владимира.

— Нет,— твердо ответил князь Святослав,— да простится ей, княгиня Ольга не виновата, она поступила так, как требовали бояре, воеводы, вся Гора. И если бы я не выполнил их волю, то не был бы и князем, не совершил бы того, что успел и что еще должен совершить...

И снова князь Святослав помолчал, прикрыл глаза руками, словно его слепил блеск неба, облаков и воды.

— А любил я только одну женщину,— оторвав от лица руки, продолжал он,— и была она, правда, рабыней у княгини Ольги, ее ключницей...

— Как звали ее, отец?

— Малушей,— тихо произнес князь Святослав.— Малуша... Малка... Мала...— несколько раз повторил он.— И любил я ее так, как любят это небо, облака, Днепр, родную землю. Понимаешь, как я ее любил?

— Понимаю, отец!

— Вот от нее,— закончил князь Святослав,— и родился ты, Владимир. Запомни, что твоя мать — Малуша, Малка, рабыня, но никогда не стыдись этого, сын, ибо это не позорное клеймо, а любовь и честь моя. Пусть же останется она честью и моего сына! Разве суть в том, что один князь, а другой рабичич? Суть в том, кто из них любит Русь, людей наших, землю... Люби и ты ее!

— Я люблю и буду любить землю, как и свою мать,— торжественно произнес Владимир.— Но, отец, где же сейчас моя мать, Малуша?

Вопрос был так прост и естествен — сын хотел видеть свою мать. А разве самому Святославу не хотелось бы в эту минуту увидеть здесь, в светлице, свою любовь — Малушу?

Но он не знал, сможет ли сейчас исполнить желание сына, и потому сказал:

— Малуша жила в селе, куда выслала ее моя мать, и я не мог возвратить ее, привезти в Киев, пока была жива княгиня Ольга. Но, умирая, княгиня Ольга позволила вернуть ее в город, и я найду ее. Ты увидишь ее либо здесь, либо в Новгороде, я верну твою мать...

— Что же вы сделали?! Привези, дай мне мою мать, отец! — вырвалось у Владимира.

## 2

Прошло много лет с тех пор, как княгиня Ольга выслала свою ключницу Малушу в Будутин на Роси. Много воды утекло в Роси, много горя изведала Малуша, а передумала столько, что если бы теми думами засеять землю, то все поля и дороги от Роси до Киева поросли бы шиповником да терном.

Но и в тени терна и шиповника всегда поднимаются голубые цветы — незабудки. В подъяремной жизни, среди трудов и забот о хлебе насущном, Малуша все чего-то ждала, все на что-то надеялась. Чего ждала? А разве есть на свете человек, который живет без надежды?

Часто, почти каждый день, утомившись после тяжелой работы, сидела Малуша на завалинке хижины, смотрела на Рось, которая отсвечивала багрянцем под лучами угасающего солнца, на хижины Будутина, где курились вечерние дымки, а потом ее взгляд устремлялся к далекому небосклону, туда, где пролегал путь на Киев.

Она знала, что делается в Киеве. В Будутин часто наезжали княжьи люди, ездили из Будутина в Киев и смерды; Малуша жадно ловила каждое слово о стольном городе.

Малуша знала, когда князь Святослав сел на стол, когда женился на угорской княжне. Очень печалилась и тяжко пережила она годы, когда князь Святослав ходил в хозарские земли, потом двинулся на ромеев.

Она видела и воев Святослава, которые шли тогда на брань и ночевали под Будутином, очень печалилась, что не было с ними Святослава. «Может,— думала она,— хоть издали погляжу на него». Но князя не было, он плыл по Днепру. Она отдала воям то, что имела,— хлеб. Может, тот, который его ел, помянул ее страждущую душу.

А потом в Будутин докатились новые вести: под Киевом стоят печенеги... Вести всполошили село: печенеги под Киевом, со дня на день они могут появиться и в Будутине.

Тогда все жители Будутина покинули свои хижины и попрятались по лесам, тянувшимся вдоль Роси, до самого Днепра. Малуша тоже пошла со всеми. Долго-долго жили они в лесах и оврагах, по ночам со страхом прокрадывались в село, чтобы выкопать что-нибудь на огороде.

Как-то, когда орда печенегов, проезжая через Будутин, остановилась в скалах у Роси, опасаясь ночевать в полянских хижинах, будутинцы, а вместе с ними и Малуша, вооружившись ножами, серпами и вилами, убили нескольких печенегов, а нескольких догнали и утопили в Роси. Малуша была рада, что ходила со всеми и что все закончилось счастливо. Ведь она помогла этим князю Святославу, мстила за муки сына Владимира в Киеве.

Как-то ночью в поле по ту сторону Роси послышался топот. Всадники ехали всю ночь, будутинцы слышали, как кони бредут через Рось, к ним доносились и далекие голоса. Но выйти из леса боялись, не спали всю ночь и ждали...

Только утром они узнали, что ночью через Рось переправились русские вои, направлявшиеся от Дуная к Киеву, и что с ними был князь Святослав...

О, если б кто-нибудь знал, как забилось Малушино сердце, когда она услыхала, что в прошлую ночь тут проезжал князь Святослав! Он был здесь, ехал мимо хижины, в которой она прожила столько лет. Может, перебравшись через Рось, он сошел с коня и стоял у ее двери?! Боги, боги, как близко возле сердца Малуши проложили вы путь князя Святослава! Почему же вы не проложили этого пути через самое сердце Малуши! Впрочем, она была рада уже тому, что князь Святослав вернулся в Киев,— значит, он жив!

Но у Малуши болело сердце о сыне. Хоть бы услышать, узнать: не случилось ли с ним чего во время набега печенегов, как он сейчас, здоров ли?

И тогда, впервые за много лет, Малуша почувствовала, что не в силах больше оставаться в Будутине. Она решила — будь что будет — уйти, а не пустят — хоть ползком пробраться в Киев.

Малуша знала, что там она для всех чужая, лишняя, что в Киеве и без нее много рабынь.

Знала, что в Киеве ей придется оберегаться: упаси боже, узнают о ней на Горе, на княжьем дворе — схватят, замучают, покарают...

Она понимала, что не сможет встретиться ни с князем Святославом, ни с сыном Владимиром — у них свои пути, у нее своя горькая доля...

И все же Малуша ушла. Ведь человека тянет пепелище и сгоревшей хижины, а птица все равно летит к разоренному гнезду.

Но, вернувшись на пепелище, человек может потужить, выплакать свою боль в слезах, птица может покружиться, покричать над разоренным гнездом... А Малуша должна молчать, она ни с кем не может поделиться своим горем.

Малуша шла от леса к лесу, от веси к веси; в одной убогой хижине дадут ночлег, в другой покормят... Люди и вдоль Днепра и вдоль Роси, на которых постоянно нападали то печенеги, то половцы, охотно помогали ей, как и другим бездомным.

Однако эта женщина вела себя не так, как иные. Она не протягивала руку, не жаловалась на горе и бедность, ничего не просила, а только расспрашивала, как ей пройти в Киев и далеко ли до следующей веси.

Да, эта женщина, одетая в простое домотканое черное платно, повязанная таким же убрусом, в веревочных постолах на босу ногу и с небольшим узелком в руках, была бедна, бездомна, как и тысячи других, но держалась с достоинством, гордо... Кто она, эта женщина с усталым, измученным, но прекрасным лицом и большими карими глазами?

К Киеву Малуша подошла вечером Перевесищанской дорогой и остановилась на Щекавице, откуда видны были Гора, предградье, Подол, Днепр и Почайна.

На диво красив был Киев в эту предвечернюю пору. За лесом, по ту сторону Щекавицы, опускалось большое багряное солнце, лучи его золотым потоком заливали княжий двор с теремами, согревали черные хижины предградья, тянулись к Днепру и дальше — к лесам и полям на той стороне.

И Малуше казалось, что исполнилась ее многолетняя мечта. Она хотела побывать в Киеве, и вот он перед нею, она представляла его дивным и красивым, а он оказался еще краше.

Между тем солнце зашло, с Днепра подул холодный ветер, приближалась ночь. Где приютиться Малуше?

Она торопливо направилась к хижинам, похожим на грибы, разбросанным поодаль от Горы, вдоль дороги, которая вела в лес, к Перевесищу. Там, у одной из них, она заметила во дворе пожилого смерда, вертевшего жернов. Рядом стояла женщина. Малуша направилась к ним. Смерд, услыхав за собой шаги, оторвался от работы, поднял голову и бросил на нее сердитый, раздраженный взгляд. Лицо у него было злое, угрюмое. Малуша уже пожалела, что подошла.

Но искать убежища где-нибудь еще было уже поздно, и Малуша виновато спросила:

— Не пустите ли, люди добрые, переночевать?

Смерд посмотрел на нее исподлобья.

— Откуда идешь?

— Из поля я, роднянская... Погорели... а муж помер от горячки...

«Погорели... помер от горячки»! Ну, эта беда — пожары да

моры — ведома на Руси повсюду, и в диком поле, и в Киеве. Хорошо еще, путница не назвала третьей беды — печенегов.

— А теперь куда?

Малуша вздохнула:

— Куда же идти? В Киеве никого не знаю, передохну, да и дальше. Может, и мои руки где понадобятся...

— Руки всегда дороги, дешевы только головы,— заворчал смерд.— Верно, верно, кому нужны наши головы?! Что голова, что головешка...

Он, вероятно, долго бы еще рассуждал, не вмешайся стоявшая рядом жена:

— Будет уж тебе... Расходился! Зови лучше в дом женщину — видишь, издалека идет.

— А я что ж?! — виновато сказал он, разводя руками.— Заходи, жено, в хижину... Живем мы, как князья: я сижу на дубовом престоле — на пне, у жены корона — седина, есть и бояре — двое сыновей, челядь наша — дочери, а скотина — пес, кошка да мыши...

— Пойдем, полянка,— сказала жена,— этому конца не будет.

Вскоре Малуша сидела в хижине у очага, на котором в горнце закипала похлебка, и как бывало в родной хижине далеко над Днепром, так и теперь ждала, пока хозяин возьмет немного хлеба и другой еды и бросит в огонь жертву. Но хозяин жертвы не приносил. Войдя в хижину, он взглянул на очаг и сказал:

— Если бы только боги видели, что мы едим!

Малуша поглядела на него удивленно, но ела молча.

Позже она вышла во двор и долго смотрела на Гору. Там горели огни: один, большой,— на требище перед Перуном, а еще несколько — в окнах княжьих и боярских теремов. Когда с Горы подул ветер, Малуша услыхала однообразное пение.

— Гуляют князья с боярами,— прозвучал голос позади нее.— Одни мрут, другие пьют...

Она узнала голос хозяина-смерда,— он вышел из хижины и стоял в темноте недалеко от нее.

— А что? — спросила она, и холодок пробежал по ее спине.— Неужели кто из князей помер?

— Княгиня Ольга померла,— сказал смерд.— Несколько дней назад похоронили на Воздыхальнице... Вечная ей память...

— А как князь Святослав? — быстро спросила, замирая, Малуша.

— Что Святослав? — угрюмо бросил смерд.— Не видим мы его в Киеве, воюет да воюет. А тут бояре, воеводы да тиуны все уже захватили. Князь добрый — Гора наша зла... Вот и сейчас примчался он в Киев. А видно, не задержится, опять уедет на рать. Посадил уже на Киевский стол Ярополка, к древлянам по-

слал Олега. Трудно нам будет с Ярополком. Дал бы Святослав нам князем Владимира!

— А что княжич Владимир?

— Ой, жено, жено! Здесь, в Киеве, все говорят про княжича Владимира. Наш княжич не от какой-нибудь угорки, а от простой русской девушки, пусть она будет здорова и счастлива.

— Где же эта девушка? — спросила Малуша, не понимая, должно быть, что в эту минуту она подслушивает тайную думу многих людей Руси.

— Того, жено, никто и не ведает,— сказал смерд.— Что была она, то была, что любил ее князь — любил, родила она и княжича Владимира, а вот где сейчас — никто не знает, да, может, и лучше не знать.

— Почему?

— Потому что она — наша княгиня, и лучше уж ей не попадаться в боярские лапы... Пусть живет в поле, в хижинах, с нами, пока не возмужает и не придет к нам княжич Владимир.

На этом их беседа и кончилась. Смерд пошел спать. Малуша осталась во дворе одна. Глядя на огонек, который все мерцал и мерцал в княжьем тереме, она представляла себе, что там у окна стоит и думает тяжкую думу князь Святослав. Как много пришлось ему пережить — воюет он и воюет за Русь. Только что померла мать, княгиня Ольга, сейчас посадил он Ярополка в Киеве, посылает Олега к древлянам, а сам снова на брань! Трудно князю Святославу, никто не согреет его душу. Вот и не спит по ночам, стоит у окна, смотрит и думает тяжкую думу.

И если бы Малуша могла очутиться в этот миг возле князя Святослава, она положила бы руку ему на голову, закрыла ему глаза и сказала:

«Спи, Святослав, отдохни!»

### 3

В честь мужей новгородских, во славу сыновей Ярополка, Олега и Владимира — каждый из них занимал теперь стол в своей земле — князь Святослав велел устроить большой пир, пригласив на него послов из Новгорода, Искоростеня, а также лучших мужей Горы и нового города.

Пир князь велел начать с утра и кончить до сумерек, чтобы не зажигать на ночь глядя в деревянном городе огней, чтобы люди, выпившие много меда и вина, могли без увечий добраться до дому.

В Золотой палате поставили столы и скамьи, застелили их полотном и коврами, выкатили из медуш бочки с греческим вином, медом, олом, квасом; на столы подали мясо, жаренное на

углях, на рожнах, сваренное в горнцах,— все обильно посыпанное перцем и чабром; были тут и свинина, и баранина, и говядина, и конина; подали разную птицу — гусей, уток, лебедей и кур, всякую рыбу, которой богат Днепр,— осетров, карпов, сомов, и, наконец, различные овощи и фрукты — сливы, орехи виноград.

Чтобы было из чего есть и пить, столы уставили серебряными и глиняными корчагами и горнцами, братинами, мисками, кубками и чарами, положили и ложки.

Но пировали не только в Золотой палате. Там для всех не хватило бы места — ведь на пир мог прийти каждый, кто хотел славить князя. Поэтому повсюду — в Людной палате, в светлицах, сенях, по всему терему и даже во дворе — поставили столы с кушаньями и медами, а под ноги постелили пахучую траву с оболонских лугов.

И спозаранку стали сходиться к княжьему терему бояре, лучшие мужи, тиуны, старосты, купцы. Позднее, когда почти все уже собрались, от Почайны привезли на возах мужей новгородских и древлянских.

Каждый обрядился по этому случаю во все лучшее. Бояре надели платна из фофудии и обояри, тканные золотом и серебром, с кружевами вдоль пол, с золотыми застежками, драгоценными камнями, надели на шеи гривны, золотые цепи.

Воеводы земель были в бархатных жупанах, туго стянутых поясами, в шапках с подпушкой, украшенных драгоценными камнями, с цветными корзнами, ловко перекинутыми через левое плечо, с мечами у поясов, в сапогах из красного и зеленого сафьяна.

Купцы пришли в темных длинных платнах, только некоторые надели гривны и цепи. Но платна были из самого дорогого греческого бархата, гривны и цепи — тонкокованые, витые, из чистого золота, с чернью.

Труден и далек был путь мужей новгородских, но они знали, что их ждет в Киеве пир, и привезли с собою богатые наряды из тяжелых франкских и свионских гексамитов, надели тяжелые гривны, цепи.

Один князь Святослав, казалось, не готовился к пиру. Он вошел в палату, когда там собралось полным-полно людей, в белом платне, с накинутым поверх красным, отороченным черной узкой каймою корзном. Никаких украшений, только тяжелая усерязь-тройчатка в левом ухе с двумя жемчужинами и рубином да красные сафьяновые сапоги с загнутыми носами — вот и весь его наряд.

Когда князь с сыновьями вошел в палату, все затихло.

— Что же вы умолкли? — громко спросил князь.

Мужи новгородские нашлись, как ответить князю Святославу.

— Желаю на тя пити! — промолвил Михало.

— Пей! — сказал князь и взял со стола доверху налитую красным вином чару.

Княжьи слуги зазвенели уполовниками, бегая между столами и наполняя чары вином и медом.

— Чего ж не пьешь? — спросил князь, видя, что Михало держит в руках свою чару, но не пьет.

— Не могу я из такой посудины пить,— промолвил Михало.

— А из какой хочешь? — засмеялся князь, указывая на столы,— есть чары, а есть корчаги... Выбирай, тысяцкий...

— Хотел бы, князь, выпить на тя из братины, да с тобою вкупе.— И Михало указал на большую серебряную братину с двумя ручками.— Ты почнешь ее, а я уж докончу, князь?

— Налейте! — сказал князь.

Одному из слуг, чтобы наполнить братину, пришлось набрать уполовников десять. Князь Святослав взял ее в обе руки. Все в палате примолкли, и князь среди этого безмолвия поднес братину к устам, не переводя дух выпил половину и подал посудину Михалу.

— Пей! — промолвил князь.

Но у Михала был суровый, новгородский нрав.

— Не могу,— решительно сказал он.

— Почему не можешь? — грозно нахмурясь, спросил князь, и в палате, где до сих пор было шумно, наступила напряженная тишина.

— Ежели ты, князь,— промолвил Михало,— выпил на нас, новгородцев, половину, то мы хотим выпить на тя всю братину.

— Смелый ты человек,— громко засмеялся князь Святослав,— люблю таких! Пей, Михало, полную братину... И чтобы так пили вовек!

Тысяцкий Михало подождал, пока ему долили в братину несколько уполовников, поднес ее к устам и с трудом, правда, с передышками, но выпил до дна.

И тогда зазвенели кубки и чары. Воеводы, бояре, купцы киевские, мужи новгородские, выпив за князя, налили снова, пили без здравиц, потому что пить еще за кого-нибудь после князя было негоже. В сенях заиграла музыка — несколько медных труб, свирели, цимбалы и бубны.

Загомонила, зашумела многими голосами палата, казалось, сюда со двора ворвался свежий, теплый ветер. Хвала богам и князю — после долгих страдных дней тихо в городе Киеве, в землях мир, враги далеко, можно вволю есть и пить, можно не опасаться за свою жизнь и за жизнь детей,— слава, слава князю Святославу, князю киевскому Ярополку, древлянскому князю Олегу, новгородскому князю Владимиру!

Князь Святослав, сидя с сыновьями за столом, слышит эти крики, но хмель не берет его. Чуткий, точно охотник в засаде,

сидит, задумавшись, князь Олег. Ярополк смотрит на мужей в палате, словно кого-то ищет, искоса поглядывает на брата Владимира — и до крови закусывает губу.

Князь Святослав чувствует, что не все ладно между его сыновьями, но утешает себя мыслью, что причина тому одна — молодость. Покуда молод, в жилах бурлит кровь, и разве не был когда-то он сам таким же? А минует молодость — и братья почувствуют, что они одного рода, мир и согласие воцарятся между ними.

В палате запели. На помост, где обычно сидел князь, выходили юноши и девушки, пробовали, кто дольше вытянет, выходили вдвоем, втроем, вчетвером и пели, чтобы звучало на один голос, становились по углам палаты и перекликались на разные голоса.

Но это были не те песни, которых жаждала услышать душа князя Святослава.

— Позовите Баяна! — велел князь.

А тот уже шел из Людной палаты между рядами расступившихся перед ним бояр, седой, все еще статный, мужественный Баян, в белой одежде, с гуслями в руках.

— Спой нам, Баян! — попросил князь.

Баян остановился, низко поклонился князьям, но с места не тронулся.

— Знаю, Баян,— молвил, улыбаясь, Святослав.

Баяну налили кубок, он выпил его до дна, вытер усы.

— Спасибо, князь, а дружине слава!

Он сел перед князем на помосте. В палате стало тихо, точно на Днепре перед рассветом. Баян коснулся рукой струн — и, казалось, зарокотала волна прибоя...

— Гей, поведаю я, братья, простыми словами про землю Русскую, трех братьев — Кия, Щека, Хорива — и сестру их Лыбедь и о многих князьях наших да о всех людях Руси, гей, гей!!

И под эти слова, под тихий рокот звонких струн князь Святослав задумался, вспоминая далекое прошлое, представляя будущее...

Но почему так грустно сейчас князю Святославу, почему так бьется его сердце, так болит душа?

Позади недолгая, но трудная жизнь, да иной жизни он не хотел и вряд ли принял бы. Впереди большой ратный труд, может быть, и смерть, но и этого он не боялся: так должно быть, он не отступит от него вовеки.

И все-таки ему хотелось среди трудов и брани, среди жизненных невзгод стать свободным, как ветер, человеком, пожить хотя бы недолго, но так, как все, и любить, как все,— об этом он мечтал всю жизнь...

И когда Баян пел, а все в палате подхватывали его слова,

князь понял, что должен он сделать и чего дольше откладывать никак нельзя.

— В великих трудах жили люди наши, на многие брани ходили, костями своими землю засевали, кровью-рудою поливали, гей-гей...

Князь Святослав слушал, как пел Баян, слова его западали глубоко в сердце. И тихо, чтобы никто не заметил, он встал из-за стола и вышел из палаты.

Только к вечеру разошлись из княжьих теремов новгородские гости, бояре киевские и воеводы. Кое-кто из них так упился, что пришлось выводить под руки, кое-кто держался на ногах, но лепетал неведомо что и хватался за оружие. Однако все были живы-здоровы, и никто не нанес увечий ни себе, ни другому.

С большим почетом вынесли из палаты новгородского тысяцкого Михала,— он долго пел и даже пытался показывать, как русские люди воюют с варягами, а потом мирно уснул. Тогда его положили на греческий ковер, восьмеро новгородцев взялись за концы, подняли Михала и тихонько понесли. Он спал спокойно, положив на грудь жилистые руки.

Еще некоторое время на Горе слышались крики и шум, то тут, то там бряцало оружие; кто-то пытался петь, да не хватало уже голоса. А там зашло солнце, сумерки окутали Подол и предградье, поползли по крутым склонам на Гору. Киев засыпал.

Не спалось только князю Святославу. Он пил вино, мед и ол, но оставался трезвым, сидел в палате на веселом пиру, но не смог превозмочь тоски. Когда все на Горе утихло, он еще долго оставался в покоях. Наконец он велел позвать Добрыню.

Добрыня выпил, верно, не одну братину, но на ногах держался. Впрочем, сколько надо было выпить этому богатырю, чтобы пошатнуться?! Добрыня, правда, и сам не давал себе воли — он знал, что вскоре предстоит ехать с князем Владимиром в Новгород.

— Как гуляют наши гости? — спросил Святослав.

— Начали не худо,— ответил Добрыня,— дня три теперь будут опохмеляться.

— Пускай погуляют,— улыбаясь, промолвил Святослав.— У нас найдется чем угостить и повеселить гостей. А впереди великая честь перед тобою, Добрыня.

— Знаю, князь, и все сделаю.

— Ты едешь с князем Владимиром в Новгород,— глядя на Днепр, который среди темных круч и узких кос стелился серебристой дорожкой вверх, продолжал князь,— и там будешь ему вместо меня — правой рукой, отцом. Гляди, Добрыня, большие дела перед вами, только великим трудом вы добьетесь победы.

Сидя в Новгороде, прислушивайтесь к Киеву, нужно будет — спешите на подмогу.

— Слушаю. И все сделаю, княже!

— И еще об одном прошу тебя, Добрыня: если в чем станет сомневаться Владимир, дай совет, трудно будет — помоги, опасно — защити! Он — князь, но разве князьям не нужна помощь?! Паче всего помоги, если кто посмеет упрекнуть, что он не князь, а рабичич! Блюди его. Я уже сказал ему, что он сын рабыни Малуши. Хотел порадовать, привезти в Киев мать. Но сам видишь, не судьба.

— Княже! — промолвил Добрыня.— А ежели я найду и привезу Малушу?

Князь Святослав зажмурил глаза, словно хотел припомнить что-то из далекого прошлого, а потом поглядел на Добрыню.

— Добро. Три дня тебе хватит?

— Хватит, князь! — воскликнул, вскакивая, Добрыня.

— Поезжай, воевода!

Темной ночью два всадника проехали через ворота на Горе, где начиналась дорога на Перевесище и к Роси. Стражи на воротах не задержали всадников: они узнали Добрыню и пропустили его. Не задержала всадников и стража за городом: она следила за тем, чтобы никто не подкрался с поля, а кого выпустили стражи с Горы, тому счастливый путь!

Всадники ударили по коням. На дороге зазвучал громкий, ровный перестук копыт: отзвук его катился и катился, точно волна, среди черной ночи, пролетел поле, хижины смердов и ворвался в леса Перевесища.

Два всадника мчались по дороге — впереди Добрыня, за ним гридень Тур. Кони неслись все быстрей и быстрей. Увлеченные скачкой, всадники низко склонялись к лукам, словно приросли к шеям коней.

Они ехали Перевесищем: по обе стороны дороги стояли высокие вековые деревья, ветви которых сливались в сплошной шатер. Топот конских копыт бился о стены этого леса, а где-то в его чаще отзывались потревоженные звери и вспугнутые ночные птицы.

Потом лес закончился, и путь им преградила речка. Всадники не искали брода, а, рассекая воду — только брызги полетели,— кинулись в реку, быстро переплыли ее и выбрались на берег.

Дальше они помчались по безмолвному, тихому полю, где не светилось ни одного огонька. Только большие звезды мерцали над ним да еще, точно жар под пеплом, теплился Перунов путь.

На рассвете всадники были уже далеко от Киева. Остановившись в дубраве, они пустили попастись коней, сами поели, напились воды из источника и чуть передохнули. Но не успел Добрыня смежить глаза, как Тур разбудил его. Они поднялись,

поймали лошадей, подтягнули подпруги и помчались дальше в потоках розовых лучей, заливавших поле.

В диком поле, по которому они мчались, куда ни глянь, высились курганы с каменными изваяниями на вершинах, которые, словно вечные часовые, смотрели вокруг. Всюду виднелись городища и за ними валы; кое-какие из этих городищ уже обвалились, размытые дождями и разрушенные ветрами. Но во многих еще жили люди,— в этот ранний час над городищами вставали и вились по полю дымки. А еще дальше от дороги виднелись села и веси — княжьи, боярские и с вольными людьми.

Славно было ехать поутру в поле, любоваться городищами и селами, смотреть, как землепашцы собирают жатву, суетятся на нивах. Но и позднее, когда солнце поднялось высоко в небе, припекло, высушило землю, согрело воздух, всадники не останавливались и весь день мчались по дороге, все дальше и дальше на юг.

К вечеру в раскаленной мгле на небосводе обозначились невысокие горы, леса, село.

— Будутин! — воскликнул Добрыня.

В ответ на это гридень Тур ударил коня, вырвался вперед, они помчались еще быстрее, но все-таки добрались до села, когда уже стемнело. Молча проехали из конца в конец и остановились на скале у Роси, где стояла старая, черная хижина.

Первым соскочил с коня Добрыня, подбежал к двери, ударил кулаком раз и другой.

— Малуша! — позвал он.

Никто не откликался.

— Малуша! Малуша! — крикнул громче Добрыня и еще сильнее, обоими кулаками, заколотил в дверь.

Из хижины никто не ответил, никто не вышел. Темная ночь лежала вокруг, черная хижина стояла среди этой ночи, нигде ни огонька, всюду безмолвие. Только близко, за скалой, шумела и звенела, переливаясь среди камней, Рось.

Тогда Добрыня налег всем телом, выломал дверь и ввалился в хижину. Вслед за ним вошел и Тур. Там пахло тленом, прелой соломой, листом...

И все же они обошли всю хижину. Добрыня и Тур касались холодных, влажных стен, наткнулись на колоду, на которой, видимо, сидели когда-то люди, нащупали руками ложе, на котором зашелестело пересохшее сено.

— Ее нет, Тур...

— Слышу, Добрыня! Но мы должны ее разыскать, она где-нибудь здесь, в селе.

Два всадника на вороных конях поехали вдоль села, зашли и разбудили тиуна, спросили его, куда делась женщина, которая жила много лет в хижине над Росью.

Тиун узнал, что за муж разбудил его ночью.

— О, это ты, Добрыня?! Чего тебе надо?

— Куда девалась Малуша? — крикнул Добрыня.— Мы с ней жили в землянке у Желани.

— Помню, помню, Добрыня. Хорошая была женщина Малка, но ушла из села, а куда — не ведаю...

Добрыня и Тур кинулись искать Малушу по селам вокруг Будутина.

Малуша? Что могло сказать это имя людям?! Много городищ и сел в поле, много в них и Малуш. Которую из них ищут мужи? Простую — так они все простые, красивую — так сколько их, красавиц, среди русских женщин! Самую красивую,— а которая из них самая красивая?

Всадники мчались все дальше и дальше в поле, где на высоких курганах лаяли лисы, а над лесами и оврагами реяли хищные птицы.

Много раз Добрыне казалось, что гридень Тур, погоняя коня, стонет, как измученный, тяжко раненный, несчастнейший человек... Но кто знает, может, это стонал ветер, бешено ударявший им в грудь.

На рассвете Добрыня и Тур еще раз выехали к Днепру и остановились на высокой горе за Родней, откуда открывались голубой плес, зеленая полоска лесов, желто-синее поле с рядами курганов на левом берегу.

Добрыня долго глядел на Днепр, леса, поле и вдруг, бросив поводья на луку седла, приложил руки ко рту и крикнул:

— Ма-а-лу-у-ша! Гей, Малуша!

Эхо прокатилось над плесом, достигло поля, отозвалось, прошумело там. Но никто не ответил Добрыне, не прозвучал голос Малуши.

Тогда и Тур, у которого больно щемило сердце, напрягаясь, крикнул:

— Малуша! Ге-е-ей! Малуша!

Далеко за Днепром прозвучало:

— Ге-е-й...

Всадники натянули поводья, и кони пошли по искрящейся росою траве, все выше и выше, вверх вдоль Днепра.

## 4

Торжественно провожал город Киев послов новгородских, а вместе с ними Владимира, сына Святослава, князя Новгородского стола. До самого Днепра шли с послами князь Святослав, воеводы его и бояре, мужи лучшие и нарочитые, всюду их встречали и валом валили за ними подоляне.

Среди этих людей была женщина в темной одежде и таком же темном убрусе. Она долго стояла в толпе, собравшейся там,

где дорога из предградья сворачивает к Подолу, и ждала, пока с Горы сойдет князь с боярами своими и воеводами да гостями новгородскими.

Никто бы не узнал в ней юной, красивой девушки, которая когда-то жила здесь, на Горе, и была ключницей у княгини Ольги. И совсем не потому, что она изменилась, постарела.

Нет, Малуша все еще была красива, миловидна, ей было не так уж много лет. Изменил ее строгий, темный наряд, да еще очень утомленным, измученным было лицо. Печать глубокого горя лежала на нем. Только глаза, большие, карие, глубокие, не изменились.

Она все еще жила у смерда Давила, который дал ей приют. Человек этот, как скоро убедилась Малуша, был вовсе не злой, как ей показалось сначала, а добрый, трудолюбивый, тихий, и только бедность, голод, нужда озлобили его, сделали непримиримым к князьям, боярам. И жена его была добрая, сердечная, простая. Оба они так радушно отнеслись к Малуше.

И она отвечала им тем же. У смерда было много работы во дворе, Малуша, как только могла, помогала. И жене его не приходилось просить — Малуша сама видела, когда может быть ей полезна.

Однажды вечером, у семейного очага, Малуша рассказала, как они садились с отцом Микулой у очага в своей землянке и как он приносил богам жертву.

— Какую жертву?! — спросил Давило.— Кому должны мы теперь приносить жертву? Веками сидели наши пращуры на Горе, там был очаг моего рода. Потом Гору захватили князья, и нам пришлось переносить его за валы. Но бояре захватили землю и за валами, и мы перенесли очаг еще дальше. А я уже перенес его сюда, к лесу.

Он помолчал, отломил себе хлеба, взял кусок мяса, съел и закончил так:

— Нас всех они принесли в жертву, и здесь, на земле, никуда от них не уйдешь. Вон в Киеве христиан уже немало, счастливую жизнь обещают, только не здесь, а в раю, а где он, этот рай? .

Таким был смерд Давило. Сам изведав немало горя, он сочувствовал горю других. Потому и он, и его жена уговаривали Малушу не спешить, пожить у них.

Но, говоря по правде, смерд сомневался, в самом ли деле Малуша такая простая, как о себе говорит. Полянка, женщина с дикого поля?! Нет, там словно бы женщины не такие. Но кто она, зачем пришла в Киев? Однако смерд молчал. Женщину Малушу постигло большое горе — зачем ее расспрашивать?! Откуда свалилось оно на ее голову — не все ли ему равно. Женщина несчастна, ее надо поддержать.

А Малуша, помогая смерду, понимала, что этому бедному

человеку трудно ее прокормить, что скоро ей придется идти дальше, куда глаза глядят, и жадно ловила каждое слово, долетавшее оттуда, с Горы, из княжьих теремов.

Так она узнала, что в Киев прибыли гости из Новгорода, позже услышала, что гости эти попросили Владимира к себе на княжение, далее смерд сказал ей, что Владимир вот-вот уплывет в Новгород, а князь Святослав собрал дружину и, как только проводит сына, двинется на брань к Дунаю.

Теперь она хотела только одного: увидеть, как Киев будет провожать в Новгород ее сына, князя Владимира, да еще посмотреть, как князь Святослав пойдет на брань.

И Малуша дождалась. Однажды вечером стало известно, что на следующий день утром из Киева уезжают мужи новгородские, а вместе с ними и князь Владимир.

Всю ночь Малуша не спала, выходила из хижины во двор, стояла возле молодых, терпко пахнущих сосенок, глядела на небо, в котором теплились, как далекие зажженные свечи, звезды.

А когда на Горе, в предградье и на Подоле запели петухи и когда проснулись Давило и его жена, Малуша уже с первыми лучами рассвета заспешила к Горе, обошла слева стену и стала там, где путь из предградья сворачивает к Подолу.

Вскоре здесь собралось много людей. По обочинам дороги стояли гончары, жившие на склонах гор, кожемяки, разные мастера вместе со своими женами и детьми. Малуша могла не опасаться, что ее кто-нибудь увидит и узнает в этой большой толпе.

Людям пришлось стоять долго, и Малуша услышала немало нового о князе, его детях и боярах.

— Доброе дело делает князь, посылая сына в Новгород,— говорил один ремесленник, стоявший рядом с Малушей,— что Новгород, что Киев — одна земля.

— Отдаем доброе, а себе оставляем негожее,— возразил другой.

— Ты про Ярополка?

— Про Ярополка с боярами. Не сам князь вокняжается, бояре ему на голову шапку кладут. Худо нам будет с Ярополком.

Ремесленники, понизив голоса, заговорили между собой шепотом.

А тем временем послышалось:

— Идут! Идут!

И все умолкли.

Малуша замерла, поднявшись на цыпочки, чтоб все видеть и запомнить на всю жизнь.

Стояло чудесное утро месяца зарева, когда над Днепром пахнет хлебами и медом, все вокруг утопает в цветах, на землю капает сок из гроздий винограда.

По широкой извилистой дороге, которая вела с Горы к предградью и далее, к Подолу, медленно двигалось, поднимая пыль, большое шествие, над которым реяли знамена различных цветов — Киева, Новгорода, земель Руси.

Впереди всех шли княжьи музыканты — молодые, одетые в белые одежды юноши дули в волынки, гудели в рога, свистели в свирели, били в огромные накры.

За ними шагали со знаменами рынды. Первым несли знамя Святослава — два перекрещенных копья на сверкающем голубом бархате.

Сразу же за знаменами шел князь Святослав, по обе руки от него — Ярополк, который оставался в Киеве, и Владимир, уезжавший в это утро в далекий Новгород. Князя Олега с ними не было, он еще раньше выехал в Искоростень. За князем и сыновьями следовали воеводы, бояре, мужи нарочитые и лучшие, старшая дружина и вои князя Святослава. Шествие замыкали прочие мужи Горы вместе с женами и детьми.

Все они облеклись в лучшие одежды из греческого красного бархата, темных шелков — адамашки, цветных альтабасов, на шеи падели золотые и серебряные гривны и цепи.

Проще всех, пожалуй, был одет князь Святослав. Слегка склонив бритую голову, на которой с левой стороны темнел знак княжеского достоинства — прядь волос,— с длинными, свисающими на грудь усами, с серьгой в левом ухе, в белой одежде, в расстегнутой сорочке и широких шароварах, он медленно шел по дороге, погруженный в свои думы. И только на плечи его было накинуто алое корзно, да еще у пояса в позолоченных ножнах висел тяжелый меч.

«До чего же изменился мой князь! — подумала Малуша, увидав Святослава, когда шествие стало сворачивать к Подолу.— Какой он стал... что с ним случилось?! О боги, боги!»

Она видела лицо князя Святослава, и сердце ее охватила невыразимая скорбь. Это был не тот княжич Святослав, которого она когда-то знала, ласкала, любила.

Суровое и задумчивое лицо, прищуренные глаза, на лбу и в уголках рта залегли глубокие морщины,— казалось, князь давно-давно уже думает какую-то тяжкую думу и никак не может ее разрешить.

Увидела Малуша и сына своего Владимира — в белом платне, с красным корзном на плечах, в отороченной собольим мехом темной шапке, в красных сапожках из сафьяна. Он шел статный, веселый, глядя на людей, стоявших вдоль дороги.

Малуша поймала на себе его взгляд. Да, князь Владимир смотрел на нее, и, как ей показалось, смотрел долго, дольше, чем на других. Малуша даже испугалась: почему он смотрит на нее?

Но Владимир уже перевел взгляд на других людей, которые

приветствовали князя Святослава, молодых княжичей, гостей из Новгорода.

Рядом с князем Владимиром шел Добрыня. Малуша увидела его и сначала не узнала. Неужели это ее брат Добрыня? Он был в богатом, темном, золотом шитом наряде, с двумя гривнами на шее, цепью на груди, подпоясанный широким кожаным поясом, на плечах колыхался опашень из зеленого бархата с черной оборкой, у пояса висел меч.

Малуша обрадовалась, что брат ее идет рядом с князем Владимиром. Только Добрыня был почему-то невеселый, задумчивый; он шагал насупившись,— видимо, о чем-то упорно размышлял.

«Это он, верно, о Владимире беспокоится,— подумала Малуша.— Идут рядом — значит, и поедут вместе».

Но смотрела она на Добрыню один миг — взгляд ее был прикован к Владимиру, к сыну.

И единственное, что осталось в душе Малуши,— это радостная улыбка Владимира, тепло его карих глаз. Если бы он знал, какой бесценный подарок сделал он в тот день, и не кому-нибудь — своей матери Малуше...

Когда шествие повернуло к Днепру, Малуша тоже двинулась за людьми. Теперь она шла уже без того волнения, с каким встречала князя Святослава и сына. Дивный покой воцарился в эти минуты в ее измученной душе.

Точно во сне, видела Малуша все, что произошло позже, на берегу Почайны. Вот шествие спустилось к Почайне и остановилось пред священным огнем, который развели на песке жрецы.

— Князь Святослав принес жертву — черного петуха,— услышала рядом с собой тихий голос Малуша.

Загудели рожки и свирели, ударили накры,— мужи новгородские с князем Владимиром сели в лодии, лодии отчалили от берега и Почайной вышли в Днепр. Там поставили паруса, и ветер с низовья погнал лодии вверх...

Малуша видела, как князь Святослав и его воеводы сели на поданных им коней, быстро поскакали на Гору. Они проехали так близко от Малуши! Следом за князем от Почайны пошел весь люд — кто на Подол, кто в предградье.

Но Малуша не покинула берега Почайны. Одна-одинешенька сидела она у высокой кручи и все смотрела, смотрела, как в голубой дали колышутся белые ветрила новгородских лодий. Ей хотелось, чтобы эти ветрила не исчезали долго-долго.

И в мыслях своих в эти минуты женщина в темной одежде, сидевшая на круче над Почайной, желала сыну счастья, силы, здоровья.

Но вот ветрила стали таять в голубой дымке. Она видела их — и не видела. Вот ей показалось, что ветрила снова замая-

чили вдали, но, вглядевшись пристальнее, до боли в глазах, поняла, что это уже не ветрила, а крылья белых птиц, которые то застывают на месте, то падают вниз.

И Малуша позавидовала птицам: они могут догнать лодии, с легким криком кружиться над ними и лететь, лететь за князем...

Так и растаяли лодии в голубой дымке.

Но не только лодии скрыла даль в своей дымке. Ночь шла с востока, охватив поле за Днепром, надвигалась на Почайну, неторопливо покрывала Подол, Гору. В сумерках этой ночи исчезла у Днепра, на белых песках над Почайной, и одинокая женщина.

Наконец она оторвала взгляд от далекого небосклона, где так внезапно все потемнело, и растерянно, боязливо огляделась.

Ночь. О, как боялась теперь Малуша надвигавшейся с востока ночи! Ей казалось, что эта ночь угрожает ей.

Много лет жила она в Будутине. Будь она там сейчас — могла бы жить и дальше. Но думать об этом было поздно.

Впрочем, Малуша не жалела, что покинула Будутин. То, что она увидела в Киеве, стоило того, чтобы его покинуть. Ради этого стоило не только оставить Будутин. Если бы понадобилось отдать жизнь — Малуша и ее не пожалела бы.

Теперь она была счастлива. Как порой мало нужно человеку, чтобы он почувствовал себя счастливым! Одному для этого нужно золото, другому — земля, третьему — любовь... После многих лет, после бесконечных мечтаний, после такого трудного и опасного пути, после всего того, что, казалось, не в силах был выдержать даже мужчина, Малуша на мгновение (это и в самом деле было лишь мгновение!) увидела свою мечту — Святослава, увидела свою надежду — Владимира. И это было вершиной счастья, о котором она мечтала, ради которого страдала, к которому так долго стремилась.

Но вечного счастья нет. Тело Малуши еще вздрагивало от радостного волнения, сердце еще усиленно билось после желанной, но тяжелой встречи, в глазах еще стояли Святослав и Владимир, а она уже чувствовала, что счастье ее теперь кончилось навсегда, навеки.

И Малуша задумалась: как же быть дальше, куда идти, где искать пристанище?

Идти к Давилу? И смерд и его жена охотно примут ее, она переночует еще ночь, останется на день, на другую ночь... Но спасет ли это Малушу? Что делать дальше? Придет осень, зима. Если кусок хлеба так дорог для Давила сейчас, то потом он станет еще дороже. У него просто не будет этого куска. Нет, к бедному смерду лучше не возвращаться.

Может быть, направиться в Любеч? Ведь там, наверное, еще живы отец с матерью, они примут ее в родной дом, дадут кусок хлеба. Да Малуша и не станет просить этот кусок, она сможет добыть его собственными руками.

«Нет! — подумала Малуша.— Если уже столько лет я не была там, то теперь и подавно идти туда поздно. С чем я приду к отцу-матери, что принесу им — срам да позор? Ведь, упаси боже, если кто узнает, что со мною случилось, кто поверит, что я — мать князя Владимира?!»

И еще вспомнила Малуша о богах. Она не могла не вспомнить о них. Ведь все, что существует на свете, думала она, подчинено богам. От богов приходит человек, к богам уходит. Боги владеют всеми благами земли, злые боги насылают на людей всякие беды... Это боги принесли Малуше счастье, они же и отняли его.

«Боги! — вырвалось у Малуши.— Так спасите, спасите же меня!»

Но боги и на небе и на земле молчали — им не было дела до Малуши.

А разве она не обращалась к ним раньше? О, сколько раз еще тогда, когда Малуша была на Горе,— а особенно позже, когда судьба забросила ее в Будутин,— сколько раз просила она их, умоляла.

Молила Перуна, Даждьбога, Ладу, пращуров, лесовиков, домовых помочь, дать ей капельку счастья. И сейчас маленькое изображение богини Роженицы было с нею.

Но боги молчали, как молчат и сейчас, не хотят помочь Малуше. Да и могут ли? Что может Перун или Даждьбог, Лада или Роженица сделать для Малуши?

Необъятен и чудесен мир, когда ты можешь глядеть и любоваться небом и землей, цветами и заходом солнца. Но как тесен и темен этот мир, если у тебя никого в нем нет, если ты только песчинка на берегу, порошинка, которую среди тучи пыли несет ветер. Малуша была только песчинкой, порошинкой на этой большой земле.

И Малуше казалось, что у нее остался только один путь. Кругом ночь, из-за Днепра налетает холодный резкий ветер, у ног сердито кипит черная вода... Один миг — кинуться в омут, в черную воду... и все будет кончено. Никому не нужна Малуша, и ей самой ничего больше на свете не нужно. Она подошла ближе к воде и почувствовала, как неумолимо тянет ее к себе, зовет черная пропасть...

Но что это? Среди ночи далеко-далеко зазвучало пение. Пел не один человек, многие голоса тянули грустный, как эта ночь, однообразный, как это небо, но неодолимо призывный напев. Что это могло быть?

Малуша словно пробудилась. Пение среди ночи? Кто может

петь в эту страшную пору, почему так властно затронула ее душу эта песня? Куда, куда ты идешь, Малуша?!

Но она уже отошла от воды. Вот ее ноги, погружаясь в сыпучий песок, ступили раз и другой по берегу Почайны. Вытянув руки, словно боясь в темноте на что-нибудь наткнуться, Малуша шла вперед, туда, откуда, доносились призывные слова песни.

Так она очутилась у церкви христиан над ручьем. Об этой церкви Малуша знала еще тогда, когда работала в княжьем тереме на Горе. Несколько раз ночью она провожала в церковь княгиню Ольгу. Но тогда Малуша не задумывалась, куда они ходят. Княгиня Ольга всегда оставляла Малушу во дворе, в храм заходила одна. Помолившись, княгиня Ольга выходила из церкви, звала Малушу, и они молча возвращались по тропинке на Гору.

«Как же я сейчас очутилась тут? — подумала Малуша.— Что я здесь найду?.. Но ведь меня будто кто-то сюда позвал?»

Она стояла в небольшом дворе у церкви, откуда доносилось многоголосое пение. Вокруг было темно, из церкви струился отсвет многих свечей. В их лучах Малуша увидела неизвестную ей женщину, которая сидела в стороне, на траве, и делала рукой однообразное движение — поднимала и опускала руку, а потом касалась ею правого и левого плеча.

Женщина тоже заметила Малушу и вглядывалась в нее горящими глазами.

— Ты чего тут стоишь? — спросила она.

— Мне почудилось, что меня позвали,— ответила Малуша.— Только я не знаю зачем. Что тут делается?

— Молимся, жено,— сказала женщина и тихо добавила: — Христиане мы.

— А о чем вы молитесь? — поинтересовалась Малуша.

Сидевшая на земле женщина посмотрела вдаль и, едва шевеля запекшимися губами, произнесла:

— На Горе боги деревянные, они не помогут. Я молилась Перуну и Даждьбогу, а муж утонул в Днепре, детей унесла моровая язва, хижину и землю бояре забрали. Нет мне места на земле, ничего у меня теперь не осталось.

Она пошевелила рукой, раскрыла ворот сорочки, и Малуша увидела темное тело, острые ключицы, высохшую грудь. А на груди у женщины крестик на тоненьком шнурке.

— Поняла? — спросила женщина и тотчас прижала руки к груди, поглядела на церковь, в которой затеплилось еще больше желтых огоньков, и заговорила каким-то другим голосом: — Крест ношу, жено, и за это мне Христос воздаст и не забудет. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Только Христос может,— запричитала женщина,— он всеблагий, многомилостивый, он все даст...

Малуша со страхом смотрела, как женщина, произнося эти слова, дрожит всем телом. Но в ее словах о том, что Христос всеблагой, всемилостивый, все может дать, было что-то заманчивое, слышалось обещание, надежда.

— Где же даст Христос? Когда? — торопливо спросила Малуша, чувствуя, что и сама начинает дрожать.

— Здесь, на земле,— тотчас ответила женщина, и было видно, что она вот-вот заплачет.— Я молюсь, мы молимся: «Господи, помилуй, господи, помилуй...» А если не тут, то там, в раю, где нет ни болезней, ни печали, а жизнь бесконечная... Господи, помилуй, господи, сподоби, господи! — крестясь и кланяясь до земли, повторяла она.

— Где же там? В каком раю? Где не будет ни болезней, ни печали, а жизнь бесконечная? — взволнованно спросила Малуша.

— На том свете! Человек не умирает, а вновь рождается... Там рай, там жизнь бесконечная... Господи, помилуй... господи, сподоби! — снова запричитала женщина.

Над Днепром было темно. Мрак окутал все вокруг, и тем заманчивей, тем теплее мерцали среди окружающего мрака и безлюдия желтые огоньки в церкви над Почайной.

И Малуша вдруг позавидовала сидевшей рядом с ней женщине. Она потеряла мужа, детей, хижину, землю, у нее ничего не осталось на свете, но есть что-то большее — она верит.

А разве у Малуши не то же самое? Она потеряла отца, мать, родной дом, землю, она любила, имела сына — и все утратила... Так что же остается у нее на этом свете? Ничего! Она думала об этом и раньше, но сейчас будущее вставало перед ней как черная бездна. Жизнь кончена, ни Перун, ни Даждьбог не помогут. Верить — но во что?!

Однако эта женщина верит! Вот она рядом — черная, высохшая, голодная, но она счастливее Малуши, ибо верит, что есть жизнь вечная, она спасена, потому что верит...

— Господи, помилуй! — вырвалось у Малуши.— Господи, сподоби! Сподоби, господи!

— И крест сотвори! Твори, твори крест! — властно, схватив костлявыми руками Малушину руку, приказывала женщина.— Твори крест!

— Господи, сподоби! — промолвила Малуша и перекрестилась.

— Вот тебе и стало легче. Ведь легче, легче?

— Легче,— ответила Малуша, утирая слезу.

— Тогда пойдем туда,— женщина схватила Малушу за руку.— Пойдем!

Малуша почувствовала, что не может больше противиться, и пошла за женщиной.

Без этой женщины Малуша, наверное, не попала бы в цер-

ковь. В глубине церкви горели свечи перед писанными на дереве дивными образами, было много мужчин и женщин, некоторые стояли на коленях на пороге церкви. Малушу встретили два бородатых мужа. Они преградили ей путь толстыми палками.

Женщина, которая вела за собой Малушу, приблизилась к бородачам, раскрыла пазуху, где на шнурке висел блестящий крестик.

— Иди, сестра,— промолвил один из бородачей.— А это кто? — И он взглянул на Малушу.

— Оглашенная,— ответила женщина.

Но вопрос бородача оказался лишним, потому что второй, стоявший по ту сторону двери, отвел палку и дал Малуше дорогу.

Она вздрогнула. Что-то очень знакомое было в лице этого человека, на которое падал отсвет свечей. Высокий, перерезанный шрамом лоб, глаза, рот... Глаза, правда, угасли, седина покрыла голову, усы, бороду, и рот уже не тот. Но она видела все это раньше, знала этого человека...

— Тур,— едва слышно прошептала Малуша.

Кто знает, может быть, он услышал это слово, может быть, просто понял, что она его узнала. Но Тур склонил голову и промолвил:

— Иди и ты, Малка!

И Малуша с легким сердцем переступила порог и вошла в церковь.

В церкви Ильи над ручьем молились христиане. Они приходили сюда тайком с Горы, где перед Перуном целый день горел огонь; с Подола, где непрестанно приносили жертву Волосу,— христианам ходить в свою церковь и молиться было опасно.

Когда служба закончилась, женщина повела Малушу к священнику Григорию и оставила их.

— Дочь моя,— сказал священник,— я вижу, тебе тяжело, знаю, как много ты пережила, знаю — думаешь ты, что и жить тебе не стоит. Ведь так?

— Так, отче,— ответила Малуша,— жить уже не стоит...

— Бедная, заблудшая душа! — сочувственно промолвил священник. —Как жестоко ты ошибаешься! Что твое горе перед тем, какое пришлось пережить Христу! Что твои муки в сравнении с теми, какие перенес он! Почему ты думаешь о грешной жизни, если она вечна?

— Жизнь вечна? — повторила Малуша, не понимая, о чем говорит священник.

— Да, дочь моя, жизнь вечна! — властно подтвердил он.—

Слушай! Много людей на свете, но что их жизнь? Все мы ходим под богом, по его, божьей, милости. В его воле дать одному богатство — золото и серебро, скотину и жито, другому не дать ничего,— на то его господня воля. Разными он создает и людей: одного — князем, другого — воем, третьего — смердом, рабом. И на то его господня воля...

Малуша все это уже знала. Новым было лишь то, что делается это по воле божьей.

— Но что богатство, золото, серебро, что князь или смерд, если все это может уничтожить искра огня, если все на свете — и князья и смерды — умирают? — продолжал священник.— О, суета сует мирская! Что сто́ят князь и его смерд, если приходит смерть и они оба рядом ложатся в землю? Перед смертью все люди равны — такова воля божья, таков наш земной путь.

Священник указал на суровый лик иконы.

— И Христос-бог,— продолжал он,— сошел на землю... Он родился здесь, на земле, от такой же простой женщины, рабы божьей Марии, как и ты, и эта женщина, Мария, сподобилась того, о чем не могла и мечтать,— стала матерью бога, василевса...

Если бы священник знал, какую бурю вызвал он этими словами в душе Малуши! Мать бога, Христа, василевса,— а разве не такая же жизнь у нее, у матери князя земли Владимира?

— И, сойдя на землю,— продолжал священник,— сын матери божьей Марии Христос стал сеять повсюду свое слово, говорить людям, ученикам своим, о бренности жизни на земле и о вечной жизни на небе. И были у Христа апостолы — верные слуги, а множество людей приходило к нему и спасалось во имя его. Но многие люди — язычники — не верили в него, и схватили его, и судили, и распяли на кресте, убили...

— Убили? — вскрикнула Малуша.

— Да, дочь моя, убили. Но на третий день он воскрес, вознесся на небо и сейчас восседает там во всей славе своей...

— А Мария?

— И Мария, матерь божья, вместе с ним.

Малуша вздрогнула. За всю жизнь никто не спрашивал у нее, как она живет, о чем думает, что тревожит ее душу. Главное же — никто никогда не обещал ей, что за муки на этом свете она получит награду. Это было совсем новое, неожиданное, неслыханное.

А дальше случилось то, к чему уже давно шла, сама того не замечая, Малуша.

Глядя на икону Христа, священник сказал:

— Согласна ли ты идти по его стопам, служить ему здесь, принимая муки и страдания ради того, чтобы там, на том свете, обрести радость и счастье?

— Согласна, отче!
— А согласна ли ты принять крещение от него?
— Согласна.
— Тогда я по слову господа крещу тебя, раба божья...

Он, взяв Малушу за руку, повел к большой каменной купели, стоявшей у двери, взял кропило, опустил его в воду и окропил Малушу.

— Во имя отца, сына и святого духа крещается раба божья, нареченная...

Подняв глаза, священник задумался.

— Даю тебе имя Мария,— закончил он.— Малушей ты была, Марией вознесешься...

С тем Малуша и покинула церковь над ручьем. Священник проводил ее до самого порога, тихо шепнул о чем-то женщине, которая ждала Малушу, и вернулся в церковь.

Он вышел оттуда не скоро. Согнувшись в углу, у восковой свечи, он вел летопись этих суровых дней. Написал и о Малуше.

Закончив, священник встал, спрятал летопись в тайник, вделанный в стене, за одной из икон за престолом, потушил свечу в алтаре. Тихо прошел через узенькую дверь в храм и погасил там светильник. Потом шаги его прозвучали на каменных плитах. Снаружи было темно, и священник долго возился, запирая двери. Над церковью в ветвях свистел ветер, на берегу ревели волны.

— Тур! — позвал священник.

Две темные фигуры вышли из-за кустов и приблизились к священнику.

— Пойдемте!— утомленно промолвил священник, и они зашагали на Гору.

Бородатые христиане — гридни — постоянно сопровождали священника из церкви. Здесь, над Почайной, на Подоле и в предградье, люди старой веры часто нападали на христиан. Совсем недавно, когда после вечерни священник возвращался поздней ночью к себе домой, в него полетело несколько камней. Не раз случалось, что язычники тайком приходили в церковь и учиняли здесь драки. Священник шел осторожно, крадучись, хотя впереди него и шагали два здоровенных мужа с толстыми палками в руках. Нелегко утверждалась вера Христова на берегах Днепра, ой как нелегко!

Что невзгоды, если веришь, что все это минует, а впереди жизнь вечная и счастливая? Из церкви Малуша пошла с женщиной, которая крепко держала ее за руку, то и дело повторяя:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Идти им пришлось недолго. Близ церкви в чаще деревьев, сплетавшихся между собой ветвями и корнями, по склону горы

еще в древние времена воины князей выкопали немало пещер. В одну из них тайной тропинкой женщина и привела Малушу.

В углу пещеры горел светильник. При слабом его свете Малуша разглядела зеленоватые глиняные стены. Воздух в пещере был тяжелый, вдоль стены на прелом сене лежали несколько человек.

— Ложись! — прошептала женщина, указав место у стены. Малуша легла, женщина улеглась рядом.

— Как тебя зовут? — спросила Малуша.

— Во крещении София... что значит — премудрость божья.

— А я теперь Мария,— промолвила Малуша.

— Спи, раба божья Мария!

Сквозь отверстие пещеры с Днепра врывался холодный воздух. Там шумел ветер, и Малуша слышала, как вздрагивают и скрипят деревья; ухо улавливало и шум волн, которые начинали сердито биться о крутые берега. Но здесь, в пещере, было тепло, уютно, после всего, что произошло, ей хотелось только спать, спать.

Засыпая, она подумала: «А каково теперь Владимиру? Днепр сердитый, холодный. Найдется ли у него местечко заснуть в тепле?»

А сон уже смежал веки.

## 5

Волны за насадом вставали все выше и выше, они налетали на лодию, швыряли ее с боку на бок, трудно было понять, где небо, где земля. А ветер снова и снова надувал паруса, лодия стрелой мчалась вперед; в темноте на сером небосклоне маячило еще несколько черных лодий, они, как и первая, то появлялись, то исчезали; по левую руку высилась громада гор, справа лежал покрытый лесами низкий берег.

Добрыня сидел на носу передней лодии и пристально вглядывался вперед. Пусть лютует ветер, пусть гуляют по Днепру высокие волны — перед ними далекая дорога в Новгород, задерживаться нельзя, они должны плыть день и ночь; на Днепре лодии ведет Добрыня, за волоком у кормила станет Михало.

Крепко погуляли в Киеве мужи Новгородской земли. Выпив на прощание меду и ола, забрался под навес, укрылся шубой и спит боярин Михало. Повсюду вдоль лодии и прямо на днище лежат и храпят бояре, спит и дружина. Ветер помогает, весла сохнут, почему и не передохнуть! Только по два воина не спят на каждой лодии: один сидит у паруса, другой держит кормило — и хватит!

Спит и князь Новгородской земли Владимир, сын Святослава. До поздней ночи, пока киевские горы не исчезли в дымке,

князь Владимир и Добрыня сидели па корме, прощались с отчиной,— кто знает, когда доведется вернуться... Потом князь улегся под навесом, и Добрыня покрыл его теплым опашнем — пусть спит. Не сомкнет глаз Добрыня.

Но не только из-за этого бодрствует Добрыня. Голова его полна дум. Все вокруг шумит, ревет, волна налетает за волной, вода бурлит, будит мысли.

А Добрыня думает о том, как когда-то давно плыл он этим путем, оттуда, где сейчас серая мгла,— из Любеча, с такими же, как и он, отроками, в Киев, в дружину князя.

Добрыня, как и другие отроки, хотел попасть в Киев, но боялся неведомого будущего. Что могла сулить ему судьба — коня, лук да, пожалуй, еще, как и его предкам, могилу где-то в сыпучих песках?!

Широкий Днепр, Дунай далеко,
Мосты поставим через все море,
Главу отрубим царю ромеев,
Принесем дому и честь и славу...

Получил он в княжьем дворе коня, лук, надел порты, на голову шлем, взял в руки щит. Убить его стало труднее, но смерть подстерегала по-прежнему.

И вдруг она отступила. Вспоминая в эту ночь прошлое, Добрыня не мог сказать, где и когда легла та межа, за которой он перестал быть отроком княжьего двора, а стал дружинником, первым дружинником князя. Однако так было. Там, на Горе, Добрыня долго оставался, как и тысячи людей, гриднем. И вдруг вышел в старшины, стал близким князю человеком.

Он перебирал многие случаи из своей жизни и не знал, какому из них обязан счастьем. Добрыня ходил с князем Игорем на древлян, но тогда ничего особенного не произошло. Приходилось ездить с княгиней Ольгой на полюдье, но и тогда ничего не случилось. Ездил еще он с княжичем Святославом на ловы, в далекие дозоры к Родне, но у княжича были свои мужи.

Вспомнил Добрыня и Малушу. Может, это она принесла ему счастье? Но сразу же отогнал эту мысль: не она, а он дал сестре в руки счастье, он, пожалев отца, вывез ее из Любеча, тайно, под щитом, провез на Гору. Только потому, что Добрыню знали на Горе, княгиня Ольга взяла Малушу, только из-за Добрыни княгиня Ольга пожалела Малушу, когда та совершила грех с княжичем Святославом.

Добрыня вспомнил ночь, когда покойная княгиня Ольга позвала его в терем и кинула в лицо презренное слово «смерд», вспомнил, как стоял он тогда во дворе и ждал Малушу и как сказал ей, когда она вышла: «Что ж ты натворила, Малка!»

Но уже до того Добрыня чувствовал, что он не тот, каким уходил из Любеча: он — правая рука князя во время похода,

сотенный в дружине. Должно быть, и княгине было любо иметь ключницей сестру сотенного. Нет, счастье, как заключил Добрыня, давно ходило по его стопам, только он не умел в свое время его поймать.

Однако, почуяв свое счастье, Добрыня крепко ухватился за него, и то, что иному казалось бы бедой, он умело обращал себе на пользу. Потому-то, узнав, что Малуша непраздна и что ее высылают в село, он так охотно согласился с ней ехать, потому он так внимательно оберегал ее и в Будутине, молился звездам, когда она родила сына, крепко прижимал к себе Владимира, когда по приказу княгини забрал его у Малуши и вез на княжий двор.

Потому он так легко забыл тогда о Малуше... А когда вспоминал ее, то боялся только одного — лишь бы она не появилась на княжьем дворе. Ведь сраму на Горе тогда не оберешься, покойная княгиня крепко держала свое слово — сказав раз, не перерешала. Ну что бы она сказала, увидав Малушу на Горе? Правда, после смерти княгини Добрыня охотно взялся разыскивать сестру, но что поделаешь, не нашел. Пропала Малуша. «Нет,— думал Добрыня,— у каждого человека своя доля, что выпало Добрыне, то не было суждено Малуше».

А вот о княжиче Владимире Добрыня заботился. Если бы только кто знал, как он ни на шаг не отпускал от себя княжича, оберегал его от дурного глаза, как не спал по ночам, боясь, как бы кто не причинил ему порчи! Ведь судьба княжича стала его судьбой, и если Добрыня сейчас только пестун, то когда-нибудь станет ближайшим родственником великого князя...

«Князь Добрыня»,— подумал он, и ему стало даже душно среди этой ночи.

«А почему бы и не князь? — Холодок внезапно пробежал по его спине.— Был когда-то Добрыня отроком, стал сотенным, а сейчас носит на шее золотые гривны. В Новгороде Владимира ждут великие почести. А разве может слава Владимира обойти Добрыню? Родичи, одного корня и крови...»

В этот миг встречная волна со страшной силой ударила лодию, и, чтобы не упасть, Добрыня обеими руками схватился за мокрое сиденье. Еще раз ударила волна, обвисло, захлопало влажное от росы ветрило. Лодия остановилась, а Добрыня, подставив лицо ветру, глядел в темноту, прислушивался. Но нет, это, должно быть, только вихрь пролетел над Днепром; с низовья по-прежнему дул сильный ветер, он снова надул ветрила — лодия сделала скачок, заскрипела и помчалась во тьму.

«Добро,— подумал Добрыня,— если низовка будет так дуть дальше, через два дня будем дома, в Любече...»

Дома! Он улыбнулся. Конечно, хорошо было бы остановить лодию у высокой кручи, сойти на берег, пройти с мечом у пояса, с гривнами на шее и опашнем на плечах к родному пепелищу,

где когда-то жили его славные деды, где родились отец с матерью и он сам.

Нет! Добрыня не поднимется на кручу близ Любеча, он проведет лодии вдоль правого берега, дальше от родного двора. Отца, наверное, нет дома, но, избави Перун, мать выйдет к берегу, да еще повиснет, как водится, у сына на шее. Что скажут тогда мужи новгородские, что скажет князь Владимир? Воевода Добрыня — и смерд Микула... Нет, он поведет лодии подальше от Любеча!

В эту ночь Добрыня, как это уже случалось и раньше, почувствовал, будто душа его разрывается на две части.

В одной что-то больно щемило, как только он вспоминал родное жилище, Любеч над Днепром, курганы и степи, деда, родителей, бесталанную сестру Малушу.

А в другой медленно-медленно и очень мучительно рождалось и крепло новое чувство. Он не любил князей, не любил бояр и воевод, но понял, что если останется таким, как его отцы, то погибнет. И потому он хотел быть таким, как воеводы, и уже становился таким, как они...

Сильно билось Добрынино сердце, лицо пылало как в огне. Что с ним? Все, кажется, решено, лодии их плывут среди темной ночи к Новгороду, спит князь Владимир.

Добрыня опустил за насад лодии руки и несколькими пригоршнями остудил лицо и напился. Хороша была днепровская вода! У него сразу будто бы прибавилось сил.

## 6

В эту же ночь, перед рассветом, в Киев прискакал гонец. Он зашатался и чуть не упал, когда соскочил с коня у ворот, но его подхватили под руки стражи. А когда стражи зажгли огонь и взглянули на лицо гонца, они ужаснулись. Это был княжий дружинник Коста, но на него страшно было смотреть — на голове зияла рана, глаза глубоко запали, губы запеклись.

— К князю... Святославу! — прохрипел он.

Когда спустя короткое время князь Святослав быстро вышел, Коста стоял у крыльца.

— Челом, княже! — промолвил он.

— Это ты, Коста?

— Я, княже!

— Можешь говорить?

— Могу, княже!

— Тогда говори!

Они стояли вдвоем. Стражи, которые привели гонца, вернулись к воротам. В тишине было слышно, как вдали затихают их шаги. На востоке от городской стены светлело небо, вокруг уже

разливался серебристый свет; князь видел бледное лицо гонца, рану, полузакрытые глаза.

— Я скакал много дней и ночей, княже. Конь падал за конем... На Днепре меня схватили было печенеги... В поле рыскали половцы, ранили меня, княже... И вот я тут... Киев... Ведь это Киев?..

— Это Киев, Коста. Говори дальше.

— Воевода Свенельд велел сказать, что болгарские боляре идут вместе с ромеями, а измена есть и у нас. Уже много городов оставили, стоим только в Переяславце. Там очень трудно, идет великая брань, там ждут тебя, княже!

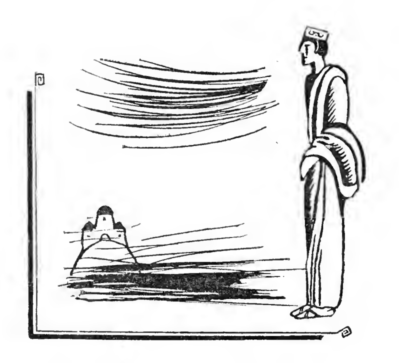
Коста пошатнулся. Становилось все светлее. Князь Святослав увидел, что глаза у Косты совсем закрылись. Поддерживая воина, князь поднялся на крыльцо и ступил в сени.

Ведя дружинника, князь почувствовал, что тот спит. Как только он отпустил руку, Коста покачнулся, сел, опираясь руками, и лег. Так, лежа у стены в сенях, он и спал.

Князь Святослав вышел на крыльцо. Вокруг ползли серые нити рассвета. В голубом небе на востоке темнела стена с башнями, высоко над ней сверкала денница, на Горе уже вырисовывались хоромы, терема.

Где-то близко во дворе пронзительно запел петух. И тотчас же забили крыльями и так же громко ответили петухи в других дворах, отозвались за воротами — в предградье, на Подоле.

Наступало утро, последнее утро Святослава в Киеве.



## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Еще в Киеве, уговаривая князя Святослава идти походом на Болгарию, и позднее, получив от него согласие, василик императора ромеев Калокир испытывал гордость; он был уверен, что вошел в доверие к Святославу.

Василик полагал, что оба они поступают честно и обоюдовыгодно. Он рассказал Святославу о намерениях императора Никифора, пославшего его своим доверенным лицом, и передал греческое золото; князь Святослав знает теперь о тайных намерениях императора и берет его золото...

Калокиру казалось, что они договорились с киевским князем обо всем и теперь каждому из них остается только выполнить то, что было задумано. Князь Святослав соберет свое войско, двинется в Болгарию, выйдет к стене Юстиниана и станет угрожать Никифору. А Калокир? О, для хитрого василика этот вопрос не представлял трудностей! Если Святослав станет под

Константинополем, Никифор должен умереть, а он, василик и патрикий, разве не достоин стать императором ромеев?

Василик Калокир представлял себе и то, что произойдет дальше,— впрочем, мечтал об этом уже не василик, а будущий император Византии: он воссядет на троне Соломона, всюду поставит своих людей, утвердит границы империи, щедро заплатит князю Святославу — сто, двести, триста кентинарпев,— даст небольшую дань и болгарам — зачем ему ссориться с соседями?

В дальнейшем же, думал будущий василевс, он накопит в казне много, очень много золота, соберет большое войско, которое станет на защиту империи и ее императора, потом откажется, конечно, платить дань болгарам — ведь этот грубый, варварский народ другого и не заслуживает. Император Калокир станет на Дунае, выйдет в Понт, достигнет и Климатов, где его отец, будучи протевоном, соберет к тому времени многочисленное войско...

О том, что произойдет потом, будущий император Калокир боялся думать. Но подобные мысли настойчиво лезли ему в голову, и если не наяву, то хотя бы во сне он видел, как развеваются знамена империи над легионами, которые стоят на берегах Понта Евксинского, как тяжелой поступью идут они на Киев... Да разве может быть иначе? Разве князь Святослав и все люди Руси не враги империи?!

Патрикий Калокир видел это сначала в снах. Потом стал думать об этом и днем. А вскоре подобные мысли не давали ему покоя ни днем, ни ночью.

Князь Святослав не был его другом, Калокир чувствовал это еще в Киеве, когда начал с ним откровенную беседу и обещал золото. Князь Святослав не стал его другом и тогда, когда сообщил, что Русь решила послать свое войско в Болгарию, и взял золото. Не стал князь Святослав его другом и в Болгарии — ведь он проходил над Дунаем не как победитель и василевс варварского народа, а как его единомышленник.

Патрикий Калокир молчал. Впрочем, если бы он и хотел, ему не с кем было поговорить. Все — и князь Святослав, и его воеводы, все вои русские, болгарские, среди которых находился Калокир, были ему чужды, как чужд был им и он сам. Что же делать дальше? Неужели родители ошиблись, нарекши ему имя Калокир? [1]

И вдруг произошло то, чего Калокир никак не мог ждать. На поле брани в Болгарии он услышал, что императора Никифора не стало и на Соломонов трон в Константинополе сел Иоанн Цимисхий. Полководец, богатый армянин Цимисхий,— о, Калокир знал его очень хорошо! Как быстро Цимисхий сумел выполнить то, о чем только мечтал Калокир! Но что же де-

[1] К а л о к и р — хитрый.

лать?! У Иоанна было все — и золото и легионы. Он — ловкий, хитрый, дерзкий полководец, который, наверное, сумеет удержаться на троне. И конечно, соберет большое войско, разобьет болгар и Святослава. Но если так, разве патрикий Калокир и его отец, протевон, не смогут счастливо жить под защитой этого императора? Как же ему благополучно пройти между мечом князя Святослава и скипетром Иоанна?

Патрикий Калокир снова почувствовал себя тем, кем он был, уезжая из Константинополя на север,— василиком императора ромеев. Он думал только об одном: как дать императору знать, что он, как было ему поручено Никифором, находится здесь, со Святославом. Он молчал, пока был жив Никифор, а теперь от всего сердца приветствует и обещает верно служить новому императору Византии Иоанну Цимисхию.

В долгие осенние ночи василик Калокир сочинял послание, в котором излагал все это императору Иоанну. Позднее, разыскав в Переяславце богатого армянина Изота, который даже в это тяжелое время вел торговлю с византийскими купцами, он послал письмо императору Иоанну. Вскоре Калокир получил из Константинополя ответ, правда, не от императора, а от его проэдра Василия.

И тогда он начал действовать.

Кто об этом мог догадаться? Патрикий Калокир, всем известно, приехал в Киев-город как василик Византии, но отрекся от императора Никифора, стал доверенным лицом князя Святослава. Патрикий Калокир уважает русов, выучил их язык, разговаривая с воеводами, тысяцкими и простыми воями, клянется, что любит Русь, болгар... Калокир стоял в темном хитоне на берегу Дуная, ветер раздувал его волосы; он смотрел вдаль, туда, где бушевало море, где серые тучи низко нависли над небосклоном. Он был доволен, улыбка играла на его устах.

А вечером Калокир сидел в покоях армянского купца Изота, которого еще кесарь Петр называл своим болярином и даже наградил золотой гривной. На столе перед ними стояло чудесное греческое красное вино, они грызли цареградские рожки.

— А как, Изот, боляре?

— Они согласны сделать все, что повелит император...

— Пусть готовят оружие, а покончим со всем тогда, когда подойдет войско кесаря Бориса.

— Добро, Калокир!

## 2

Судьба свела василика Калокира и с сыном Игоря, князем Улебом.

Уже с малых лет княжича Улеба раздражало, делало злым и завистливым то, что Святослав был старшим братом, что его

больше любила княгиня Ольга, уважали бояре и воеводы. Раздражение росло и перешло в жажду мести, когда Святослав стал князем. Князь Улеб думал, да и говорил матери, что готов, дабы не оставаться князем при князе, получить княжение — в Новгороде, Чернигове или Переяславе. Когда брат Святослав двинулся примучивать вятичей, а потом на брань с хозарами, князь Улеб нетерпеливо ждал... что Святослав, как и отец Игорь, из похода не вернется.

Очень радовался и тешил себя надеждой князь Улеб, услыхав о близкой брани с Византией. От своей матери, от многих послов и купцов князь Улеб знал, как могущественны императоры ромеев, как велико и сильно их войско — с кораблями и страшным греческим огнем!

Князь Улеб мечтал о том времени, когда он утвердит мир с Византией... А почему бы, в самом деле, думал он, не быть миру между императорами ромеев и князьями Руси? Христиане они, христианин и он, князь Улеб.

Однако Святослав разбил мечты брата. Как великий князь и сын Игоря, он, может быть, поступил и справедливо: если отчизна поднялась на супостата, князья ее должны стоять впереди своих воев. Великий князь Святослав велел, а брат его, князь Улеб, вынужден был подчиниться и идти сражаться против ромеев. Тем паче, сам Святослав повел воев морем, а Улеба и Свенельда поставил во главе рати, что шла сухопутьем.

А потом началась брань — более жестокая, чем полагал Улеб, потому что против кесарей Болгарии и императоров Византии боролись и русы и болгары; более страшная, потому что враг неистово оборонялся, а князь Святослав упорно шел все дальше и дальше, к самому сердцу империи.

Однако он старался не обнаружить своей робости: не казал спины во время сечи, не отступал, когда враги мчались на него. Во многих схватках, которые произошли на Дунае, князь Улеб шел впереди своего войска, но, оставшись ночью в шатре, наедине с самим собой, молил бога закончить брань и установить мир.

Вот почему князь Улеб и сошелся с Калокиром. В этом не было ничего удивительного. Василик чувствовал себя одиноким среди чужих людей. И князь Улеб чувствовал себя одиноким среди русских воев. Василик сказал, что он христианин, князь Улеб ответил, что они могут вместе помолиться. Так они и сделали: помолились за победу на брани и мир между землями. Но разве не молились за это, только каждый по-своему, все в этом стане?

Так было до тех пор, пока они шли вдоль Дуная; так продолжалось и тогда, когда русские вои стояли уже недалеко от Преславы и князю Святославу принесли стрелу печенега, кото-

рую воин Орель вырвал из своего сердца; так было и позже, когда во главе с князем Улебом и Свенельдом вои остановились и долго боролись с врагом, который преградил им путь у Преславы.

А потом произошло что-то непонятное. Русские и болгарские вои рубились, как и прежде, даже еще ожесточеннее: ведь приходилось драться на две стороны — и здесь и в Киеве. В стан приходили новые и новые болгарские вои. Но все больше и больше боляр со значительными отрядами вставало перед ними. А потом — и это было самым страшным — неизвестные многочисленные отряды стали появляться позади, у Переяславца, Доростола.

Князь Улеб говорил со Свенельдом:

— Что делать, воевода? Вперед нам нет пути, за спиной льются реки крови, князь Святослав далеко, а скоро осень, зима.

Воевода Свенельд снял шлем, и под солнечными лучами его голова засеребрилась сединой.

— Соберемся, князь, здесь большой силой и ударим на Преславу...

— Но ведь тогда мы еще больше оторвемся от Дуная и Руси...

— Преслава — середина земли, откуда ползут змеи, что жалят нас здесь и всюду над Дунаем. Возьмем Преславу — ближе будем к победе, а значит, и к Руси.

Князь Улеб не послушал старого воеводу, велел поднять знамена, но идти не вперед, а назад, к реке Колубаве, чтобы там, дескать, собрав все силы, ударить на Преславу.

Но, когда князь Улеб стал со своим войском на Колубаве, двигаться вперед было уже поздно, потому что как раз в это время у Данаи появился неизвестный большой отряд. Когда князь Улеб поспешил к Данае, вспыхнуло восстание в Плиске.

И вот однажды вечером, придя в княжий шатер, василик Калокир долго беседовал с князем Улебом о поражениях в горах и на долине, осуждал коварных, вероломных болгар, а потом сказал:

— Думаю, что князь Святослав поступил правильно, когда за пятнадцать кентинариев помог императорам подчинить непокорных болгар. Император Иоанн, конечно, дал бы еще много золота князю Святославу, да и сам князь мог наложить на Болгарию дань...

Князь Улеб задумался.

— Но ведь у князя Святослава и в мыслях не было остановиться в Болгарии, он хотел пройти ее и ударить на Византию. Да и ты сам, патрикий, склонял его к этому.

Василик Калокир улыбнулся.

— О,— ответил он,— в то время, когда в Большом дворце

сидел безумный Никифор, а я был его василиком, я не только убеждал, но молил князя Святослава разбить, уничтожить его. Но теперь в Константинополе на троне сидит не Никифор, а Иоанн Цимисхий...

— Ты знаешь его? — тихо спросил князь Улеб.

— Иоанн Цимисхий,— так же тихо ответил Калокир,— мой земляк, армянин. Это очень храбрый полководец, победитель многих земель и городов Азии. Об Иоанне говорят, что лучше покориться ему, чем враждовать с ним. Его все знают.

— Но если это так, то он опасен для Руси...— начал князь Улеб, но вспомнил, что Калокир — василик императора, и умолк.

Однако Калокиру и не нужно было много говорить. Он сразу понял князя Улеба.

— А зачем императору Иоанну воевать против Руси? Не думаю, чтобы Иоанн хотел воевать и с Болгарией. Ведь всю эту кровавую брань затеял безумный Никифор. Император Иоанн, я убежден, желает только мира. Он хотел бы, как и прежние императоры, жить в любви и дружбе и с Русью и с Болгарией. Чтобы этого добиться, он согласился бы, наверное, и на дань... Мир, только мир и любовь! — закончил василик Калокир.

— Мир и любовь,— повторил князь Улеб.— К миру и любви стремятся люди, жажду этого и я!

— Так почему нам не подумать об этом, княже? — быстро промолвил Калокир.— О том и помолимся!

— Молитва очищает душу! — согласился князь Улеб и стал на колени.

3

Император Иоанн готовился к войне со Святославом. Еще его предшественник Никифор ввел в фемы Фракии и Македонии, граничащие с Болгарией, множество войска. Правда, фемы эти были крошечные, Фракия являлась, по сути, окраиной Константинополя и тянулась тоненькой полоской от Понта до Эгейского моря. Из столицы Македонии Адриаполя до Константинополя пешком добирались за два дня.

Но фемы и города были забиты войсками. В Родосте, Аркадиополе и повсюду до Солуни, в Агатополе у моря и до самых гор — к Филиппополю — всюду стояли пешие и конные легионы. Император Никифор только ждал удобного момента, чтобы двинуться в Болгарию и напасть на войско Святослава.

Императору Иоанну легче всего было исполнить свой замысел, когда в Константинополь дошли слухи, что печенеги напали на Киев. «Печенеги согласились. Так будет»,— с радостной вестью примчался на легкой скедии из Босфора епископ

Феофил. «Это случилось, князь Святослав с конной дружиной помчался в Киев»,— уведомлял фар из Преславы... Да и кесарь Борис просил, молил, заклинал императора Иоанна прислать ему помощь.

Но император не мог послать свое войско. Не в Болгарию, а в Азию перебрасывал он легионы из Фракии и Македонии. Туда же вынужден был послать и лучших своих полководцев во главе со славными Вардом Склиром и патрикием Петром.

Там, в далекой Азии, в Каппадокии, против него подняли восстание племянники убитого императора Никифора — Вард со своими двоюродными братьями, а с острова Лесбоса бежал и присоединился к ним брат императора Лев. Они проходят по городам и селам Азии, присоединяя земли. Угроза нависает и над Константинополем.

Император Иоанн знал, кого против них послать. Полководца Варда не напрасно прозвали Склиром![1] Вместе с ним Цимисхий направил знаменитого своими походами в Азию патрикия Петра, который только недавно сделал то, чего не мог сам Иоанн,— превратил в развалины и пепел жемчужину мира Антиохию. Эти два полководца, Иоанн был уверен, разыщут в пустынях Каппадокии всех родственников покойного императора и покарают их.

Но император Иоанн помышлял не только о том, чтобы покарать их. Он хотел, чтобы родственники Никифора никогда больше не могли ему мешать, и велел Варду Склиру и патрикию Петру, если они изловят Льва Фоку, сыновей его и всех племянников, судить по своему усмотрению и сурово: оскоплять, ослеплять, а то и просто убивать. Такова его императорская воля!

Вард Склир и патрикий Петр, разумеется, верой и правдой служили Никифору. Но что значат вера и правда, если бы Никифор не платил за них золотом? А теперь и Вард Склир, и патрикий Петр получат много кентинариев от Иоанна — в зависимости от того, сколько они привезут из разрушенных городов Азии.

Император Иоанн хотел снискать любовь не только полководцев. Ему было известно, что население Константинополя доведено до голода, голод свирепствует и в фемах — три года в Византии был страшный неурожай, а во времена Никифора никто не заботился о голодающем населении Константинополя.

Иоанн Цимисхий посылал корабли за хлебом в Азию и Египет, хотя люди там тоже голодали. Но какое дело Иоанну до Азии? Его беспокоил только Константинополь. В Азии взяли последнее зерно, погрузили на корабли и повезли в Константинополь.

---

[1] Склир — жестокий.

Император Иоанн велел продавать хлеб жителям Константинополя за бесценок; люди, которые до этого несколько лет подряд голодали, получив хлеб и не понимая, откуда на них свалилось такое счастье, восклицали:

— Многая лета императору Иоанну!

А он, новый император Византии, гарцуя на коне, совершал большие выходы и повсюду — на площади Августеона, на Месе, в предместьях Влахерна — его встречали толпы людей, осыпали цветами, славословили его.

Теперь на Ипподроме, который когда-то гремел и сверкал, но в царствовании Никифора стал зарастать бурьяном, снова устраивались соревнования, игры, по арене пролетали колесницы, мчались бегуны — здесь лилась, как и в древние времена, кровь рабов-гладиаторов; сенаторы, патрикии, чиновники, димоты и димархи безумствовали, прославляя императора Иоанна.

Он тоже присутствовал здесь — сидел в закрытой ложе, смотрел на неистовствующую толпу, иногда показывался народу, слушал крики, приветствия, и на лице его сияла счастливая улыбка.

Но порой по этому лицу пробегало облачко тревоги: он вспоминал далекую Каппадокию, откуда все нет и нет вестей, думал о недалеком острове Проте, где на высокой скале, в монастыре над морем, живет Феофано.

Проэдр Василий склонился к уху императора и тихо прошептал:

— Константинополь ликует, он счастлив — это твоя победа!

— Феофано! — вырвалось у Иоанна.

Так непрестанно, где бы он ни был, император думал о Феофано, не мог забыть ее ласк, поцелуев, объятий...

О, если бы император мог, он полетел бы к Феофано на крыльях, вернее — на легкой скедии, велел бы вернуть ее в Буколеон. Но над ним висит проклятие церкви, жив еще старый патриарх Полиевкт, а его слово священно, нерушимо.

Император Иоанн сердился на Полиевкта не только из-за Феофано. В то утро, когда он пришел к нему в Софию, патриарх принудил его покарать Льва Валента, добился больших льгот для себя и всего духовенства. Какие льготы могут иметь служители бога в то время, когда Византия воюет, когда все золото надо отдать полководцам и легионерам, когда приходится кормить только тех, кто завтра должен умереть?

Наконец желание императора Иоанна сбылось. Поздней ночью его уведомили, что патриарх Полиевкт умер. Иоанн Цимисхий облегченно вздохнул. Обещание, данное патриарху, можно и нарушить.

Император так и поступил. Сразу же после похорон Полиевкта в Константинополе был созван собор епископов для избрания нового патриарха. Иоанн явился на собор, сел на трон и предложил избрать патриархом самого нижнего чина в церковной иерархии — малограмотного монаха, схимника Олимпийской горы Василия.

Собор был обескуражен. Здесь, в святой Софии, собрались мужи, достойные звания патриаршего сана, из митрополий Азии и всей империи, епископы — философы, ученые, образцы благочестия.

Но Иоанн Цимисхий, присутствовавший на соборе, смотрел холодными глазами на епископов, и они знали, что их ждет, если воля императора не будет исполнена. Монах Василий был избран новым вселенским патриархом. Отныне император Иоанн будет василевсом и главою над монахом-патриархом; он может делать все, что захочет, может, если только захочет, торжественно бракосочетаться в Софии или Влахерне с Феофано.

И император бракосочетается. Будущую василиссу ввели в Софийский собор, как велел обряд, с покрывалом на лице. Ей навстречу вышел и накинул на плечи пурпуровую, освященную патриархом Василием хламиду сам император Иоанн. Взяв за руки невесту, повел ее к алтарю, где стоял патриарх.

И в тот миг, когда патриарх возлагал на главы императора и императрицы венцы, чтобы соединить их и провозгласить многолетие, император Иоанн согласно обряду поднял покрывало, за которым скрывалось лицо невесты, и все присутствующие на торжественной церемонии увидели непривлекательное, морщинистое лицо перезрелой дочери покойного императора Константина — Феодоры.

Никто в соборе не мог понять, почему так поступил император Иоанн, как и когда это получилось. Все ждали, что он — молодой, здоровый, сильный — возьмет себе под стать и василиссу. Рядом с ним после смерти Полиевкта — и об этом все поговаривали — могла стать и Феофано. Однако все присутствующие, увидав Феодору, восторженно закричали:

— Многая лета наисвятейшей и наиблаженнейшей Феодоре!

— Многая лета василевсу Иоанну!

— Многая лета нашим императорам!

Конечно, никто из них не знал, как не знала и Феодора, что, стоя здесь, в соборе святой Софии, с венцом на голове, глядя на образ богородицы под куполом алтаря, император Иоанн думал о Феофано.

Да, он не мог ее забыть даже в эту минуту. Еще недавно, когда был жив Полиевкт, Иоанн мечтал вырвать Феофано с Прота, вернуть в Буколеон, войти с ней в Золотую палату. Он знал, что

это никого в Константинополе не удивило бы, все к тому были готовы.

Но, стоя над гробницей патриарха, император Иоанн понял, что Полиевкт действовал мудро. Лучше сидеть в Большом дворце одному убийце, чем двоим. И конечно, лучше, если здесь не будет Феофано, которая убила уже трех императоров.

Иоанн вздрогнул: Феофано убила трех, так почему бы ей не убить четвертого — его, Иоанна? Стоя над гробницей патриарха, он усердно крестился. Страх перед Феофано, раз появившись, все больше и больше охватывал его душу. Освободившись от клятвы патриарху, император Иоанн дал себе клятву у его гроба никогда не возвращать в Константинополь Феофано и тогда же подумал о Феодоре. Она некрасива — это Иоанн Цимисхий знал, в ней нет ничего привлекательного — и это он видел. Но она была дочерью порфирородного императора Константина, василиссой по рождению, становясь с ней рядом, он делался преемником славы Константина.

— Многая лета, многая лета! — кричали в соборе.

4

Недалеко от Константинополя, среди голубых просторов Пропонтиды, точно стая серых чаек, которые, перелетая море, утомились и сели отдохнуть, лежат девять островов. Издали они кажутся одним большим островом. С давних пор их называют Принцевыми островами.

Чудесны эти острова издали — с желтыми, оранжевыми, круто обрывающимися над голубыми водами скалами, с златоглавыми церквами и монастырями, с садами, рядами высоких кипарисов, тихими заливами.

Но на этих островах могил гораздо больше, чем кипарисов. Испокон веку императоры Византии высылали сюда, а главным образом на один из островов—Прот—всех тех, кто был им не угоден. Там были монастыри с подземельями, куда никогда не достигает солнечный луч, скалы, с которых не могло спуститься к морю ни одно живое существо, заливы, которых не заприметил бы самый острый глаз... Вот почему императоры и ссылали сюда своих врагов. Одних они оскопляли, других ослепляли, третьих топили, а кто и сам умирал в подземельях. И никто-никто на свете этого не знал,— прекрасны издали острова, дивен Прот!

Именно здесь, у Прота, через день после убийства императора Никифора, поздно вечером, в тихом заливе остановился дромон. С него на берег вывели женщину со слугами и двумя детьми — девочками. Это была Феофано.

Ей никогда не случалось быть на этом острове, но она знала, что тот, кто сюда попадал, живым в Константинополь не возвра-

щался. Впрочем, и сама Феофано десять лет тому назад велела вывезти сюда пять сестер своего первого мужа Романа — конечно, пожизненно, до смерти!

И все же она гордо, как и надлежит василиссе, поднялась на крутой берег, смело ступила в свою келью с зарешеченным оконцем, выходившим на море. Всю эту ночь не спала Феофано, а ходила по келье, помышляя о бегстве.

Впрочем, Феофано думала о бегстве не только в первую ночь,— она ни на минуту не допускала мысли, что останется здесь на всю жизнь. Самоуверенная, избалованная василисса была убеждена, что стала жертвой выжившего из ума патриарха Полиевкта и что о ней думают и стараются ее спасти император Иоанн и паракимомен Василий. В Константинополе остались и будут соцарствовать с Иоанном два ее сына — Василий и Константин. Если же Иоанн ее забудет, отречется от нее, то помогут, вырвут с Прота другие. Жив брат императора Никифора Лев, сын его и племянники,— они будут считать убийцей Никифора Иоанна и никогда не узнают, кто направлял его руку. Есть у Феофано и то, что может сделать в Римской империи все. Выезжая на Прот, она успела захватить с собой большие сокровища — золото, драгоценные камни.

И еще одно понимает Феофано: она была, есть и долго еще будет самой красивой женщиной империи. Феофано видит себя в зеркале,— может, слишком бледную, немного испуганную, взволнованную, но молодую. Что тридцать лет для божественной Феофано, которая к тому же знает цену своей красоте?!

Сколько долгих, несказанно мучительных месяцев проводит она в монастыре, который, наподобие огромной крепости, со множеством подземелий, подвалов, тайников, рвов и валов, высился на большой скале над самым морем! В этом монастыре в разные времена и разными лицами были заточены, ослеплены, убиты многие императоры, видные люди и даже патриархи империи: императоры Михаил Куропалат, Лев с четырьмя сыновьями, дед Феофано по мужу Роман I Лекапин. Здесь сидели в кельях и пять сестер Романа II, сосланных Феофано. Теперь сюда угодила и она сама.

Это был мрачный и страшный монастырь. Феофано окружали молчаливые безбородые монахи-скопцы, следившие за каждым ее шагом; они стояли у ее двери и время от времени заглядывали в зарешеченное оконце, даже когда она спала. За другим, тоже зарешеченным, оконцем билось о крутые скалы разъяренное Мраморное море. Казалось, Феофано нечего ждать, не на что надеяться.

Но Феофано ждала, надеялась, что кто-нибудь явится ей на помощь, вырвет ее с Прота. И она дождалась.

В одну из долгих осенних ночей, когда все в монастыре затихло и Феофано уже собиралась ложиться, безбородый страж,

стоявший у двери кельи, внезапно отворил ее, вошел в келью и погасил светильник.

— Кто это? — прошептала, затаив дыхание, Феофано.

— Я — твой друг и пришел от твоих друзей.

— Кто же ты?

— Я — этериот Вард Валент из Буколеона.

— Погоди! Ты — брат Льва Валента, который убил Никифора?

— Я — брат Льва, который убил Никифора. Но Льва велел умертвить император Иоанн.

Феофано стало жутко. В темной келье перед ней стоял Вард, брат этериота Льва, который убил ее мужа — императора Никифора. Значит, это сообщник ее и Иоанна... Но Вард говорит, что Льва велел умертвить Иоанн. Кому же тогда служил Вард?.. «Тише, молчи, Феофано! — сжав зубы, сказала она себе.— Малейший твой промах грозит гибелью. Надо ждать, что скажет Вард».

И она узнала, что случилось: Иоанн Цимисхий отстранил от царства ее сыновей Василия и Константина,— молчи, Феофано, молчи! — император Иоанн велел сослать на остров Лесбос брата императора Никифора, Льва, а его сына Варда и племянников — в далекую Амазию,— Феофано узнает неистовый нрав Иоанна; патриарх Полиевкт умер, и император принудил собор епископов избрать патриархом монаха с Олимпа Василия,— Феофано не пропускала ни одного слова из рассказа Варда.

— А сейчас,— тихо шептал Вард,— Лев Фока с сыном подняли восстание в Каппадокии, и, хотя в Болгарии неспокойно, император Иоанн снял из Фракии и Македонии несколько легионов и послал их во главе с Вардом Склиром и патрикием Петром в Азию. Император Иоанн боится, он засыпал хлебом Константинополь.

Но Феофано по-прежнему молчала, она все еще не могла понять, кому служит Вард и кто послал его к ней.

И только под конец Вард Валент сказал:

— Поэтому проэдр Василий послал меня сюда, василисса, сказать тебе, что он думает о тебе, заботится. Проэдр ждет, чем кончится восстание в Азии и что произойдет в Константинополе. А тогда даст тебе обо всем знать и поможет... Жди, василисса. Здесь, на Проте, среди безбородых есть наши люди, и я приду к тебе, как только прикажет проэдр!

Феофано почувствовала и поняла, что в этой империи, где она живет, где все делается ради славы, чести и богатства немногих людей, где эти немногие люди друг друга убивают, режут, вешают и казнят, должен быть и такой человек, как проэдр Василий...

Феофано, казалось, видела его в эту минуту — костлявого, незаметного, с ласковой улыбкой на лице, с тихим, приглушен-

ным голосом, длинными, тонкими пальцами. В эту ночь он, как обычно, ходит по Буколеону, охраняя покой василевса.

«Василевс!» — Феофано улыбнулась, вспомнив это слово.

Она подумала, что в империи должно быть, да и есть место для такой женщины, как она. Это она украшает и должна украшать черные ее палаты, залитые кровью опочивальни. И она, цветок Пропонтиды, должна терпеливо ждать приказания своего соучастника и друга, проэдра Василия.

Феофано ступила шаг вперед, взяла руку Варда Валента. Эта рука дрожала. Она коснулась своими горячими губами его лица. Он был не безбородым.

5

Как черный вихрь, как буря, летел с дружиной своей из Киева князь Святослав. Рядом с конем Святослава, как и у его воевод, бояр и даже у воев, скакало еще два-три запасных коня. Всадники часто пересаживались с коня на коня, спали по нескольку часов — и мчались дальше и дальше...

Не все вои выдержали. Кое-кто из них остался в полянских городах и селах, в Уличской и Тиверской землях, чтобы нагнать князя позже. Кони падали на полном скаку, но ржали уже другие — Дунай был все ближе.

В холодные осенние ночи всадникам было жарко, среди дневного жара их освежал встречный ветер, на рассвете они проглатывали черствый кусок хлеба, а вечером запивали его водой.

Когда выехали из Киева, их было тысяч десять, но, когда перебрались через Буг и Днестр, их стало больше, потому что вокруг лежала родная земля, и в эту тяжкую годину голос князя Святослава слышали и тиверцы и уличи.

Но не только там, где пролетал князь Святослав со своей дружиной, шумела и подымалась земля. Чем далее на юг от Киева мчалась дружина Святослава, тем дальше на север, на запад и восток летела весть о том, что на Дунае мечи высекают искры, к тучам летят стрелы, болгарские боляре вместе с греками идут вспять Руси.

И, как это случается перед страшной грозой, когда не шелохнет листва, умолкают воды, замирает земля, так и в это грозное время, сколько ни ехала дружина князя Святослава, она не видела не только печенегов, но даже их следа. Только издалека было слышно, как гудит под копытами коней земля в степи. Это печенеги удирали со своими улусами на восток, к Днепру, и на юг, к морю Русскому.

Так и мчался князь Святослав со своей дружиной — через земли полянские, через дикое поле, земли уличей и тиверцев, все ближе к Дунаю.

А когда до Дуная осталось полночи езды, перед заходом

солнца князь Святослав, ехавший под своим знаменем впереди дружины, внезапно остановил коня.

Солнце садилось. На далеком небосводе сверкал багряный плес, по ту сторону реки синели горы. За князем стала дружина, недоумевая, из-за чего произошла задержка.

— До Дуная рукой подать,— сказал князь,— полночи езды туда, полночи обратно. Что там делается, мы не знаем, а знать должны. Пусть наш дозор поедет к Дунаю и к утру вернется. А дружина пусть отдыхает — неизвестно, что будет завтра.

И тотчас несколько всадников, оторвавшись от войска, поскакали к багряному морю, что стелилось далеко над Дунаем. Все же прочие вои сошли с коней, стали станом, не зажигая огня, пустили пастись коней и далеко во все стороны — от чела и с тыла — выслали дозор.

Когда стемнело и на востоке выплыла большая красная луна, она увидела в поле стан князя Святослава. Раскинувшись на земле, положив под головы седла, а под себя попоны, спали вои князя. Они заслужили этот короткий сон — за ними черным следом в серой степи стелилась дорога от Киева. Дружине нужно было отдохнуть: ведь завтра у Дуная могла начаться великая сеча. Дружина стояла за правое дело, и, хоть многих воев, может, ждала близкая смерть, все спали спокойно, крепко. А вместе со своей дружиной, подложив под голову седло, а под себя попону, уснул и князь Святослав...

Проснулся он до рассвета — где-то далеко в поле гудела от конских копыт земля. Князь сел. Прислушался. Вскочил. Конский топот доносился со стороны Дуная. Ехало лишь несколько всадников, они скакали во всю мочь.

Вскоре всадники появились в стане перед князем Святославом.

— Беда, князь! Вчера болгары взяли копьем Переяславец. Вои наши стоят на берегу Дуная, ждут тебя, княже!

Дружина уже была на ногах. Быстро светало, но князь велел людям поесть. Усевшись на попону, поел и сам — кусок соленой конины с хлебом. По росе вои вели коней. Со всех сторон из голубых туманов съезжались дозорные. Небо было чистое, все предвещало ясный день.

Отдохнув и подкрепившись едой, вои сели на коней, которые уже выпаслись за ночь, и помчались на запад, к Дунаю.

Солнце стояло еще высоко в небе, когда они остановили коней в камышах левого берега Дуная, где в тиховодье ждали их лодии. И тотчас начали переправляться на другой берег, где находилось главное войско.

Князь Святослав встретился с князем Улебом, воеводой Свенельдом и другими воеводами на высокой круче и рассказал, что произошло за это время в Киеве: о смерти княгини Ольги, о

вокняжении Ярополка, Олега и Владимира, о печенегах и встрече с каганом Курей.

— Ромеи делают свое черное дело и здесь,— начал Свенельд.— Уже оставили мы, князь, многие города и стоим только тут, у Дуная.

— Почему же оставили города? Где наши вои, где болгары? — крикнул князь Святослав.

— Все они стоят здесь, на берегу,— ответил Свенельд.— Но кесарь Борис и его боляре собрали много отрядов, которые расползлись повсюду и жалили нас, как змеи...

— Как же вы допустили, чтобы боляре собрали эти отряды, почему не пошли на них сразу, всей силой?

Воевода Свенельд молчал.

— А ты что скажешь, брат? — обернулся к князю Улебу Святослав.

— Я собирал такую силу. Но мы опоздали, потому что началась усобица в Данае, а потом в Плиске...

— Кто опаздывает на брани, чинит пагубу себе и своим людям...

— Кроме того, берег я и воев, не хотел проливать много крови.

— Кто кровь свою на брани жалеет, позже прольет ее много и без пользы,— промолвил князь.— Худо ты сделал, брат Улеб, мало сделал и ты, воевода Свенельд. Потягнем же теперь, моя дружина, погибать здесь не станем!

Подняв голову, князь Улеб глядел вдаль, на низовье Дуная. Взявшись за рукоять меча, молча стоял Свенельд и, казалось, боялся смотреть в глаза князю Святославу.

К вечеру дружина Святослава переправилась на правый берег. Туда же, оставив в гирле дозор, подошли и лодии. Князь повелел воям на лодиях, не теряя времени, плыть по Дунаю к Переяславцу. Туда же он повел через болота и трясины, известными уже воям тропами, всю свою дружину.



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

И ведет князь Святослав всю свою рать на запад. Сам он с головной дружиной идет дорогой, что тянется от Дуная к Плапине; брат Улеб ведет дружину по правую руку, куда князю на подмогу уже поспешают угры; по левую же руку, в предгорье, где больше всего блуждает болярских отрядов, впереди своих воев, с сыном Лютом, едет на борзом коне суровый, задумчивый воевода Свенельд.

А уже в городах и селах Болгарии, услыхав о том, что князь Святослав с ними, поднимается все живое. Болгарские дружины заливают все пространство между дружинами русов, и кажется, что вдоль Дуная с громами и молниями движется страшная грозовая туча, которую ничто остановить не может.

А позади всего воинства на болгарской телеге с высокими колесами, которую тащит четверка волов, сидит угрюмый василик Калокир в черном платне, низко надвинув на лоб высокую баранью шапку, бросает по сторонам злобные взгляды из-под густых черных бровей. В Переяславце он подходил к князю Свя-

тославу, сожалел, что без него война затянулась, выспрашивал, скоро ли думает Святослав взять Преславу.

Чудно ответил на это василику князь Святослав:

— А Преслава уже давно наша.

— Как?! — воскликнул Калокир.— До нее так далеко, впереди еще много боев...

— Преслава давно уже наша,— промолвил князь,— и жаль, что ты не побывал там, друг мой.

Об этих непонятных словах и думает Калокир, надвинув на лоб шапку и поглядывая вокруг хищными, злыми глазами.

Низкие тучи стелются над болгарской землей, над голыми полями моросит частый дождик; скрипят возы на дорогах, всюду ржание и топот коней. А впереди слышен многоголосый крик, там уже бряцает оружие, началась великая сеча: кровь — за кровь, смерть — за смерть. Так вторично падают Плиска, Даная, русские вои сокрушают врага и вступают в Преславу.

## 2

За Преславой в Вышнем граде вои захватили множество боляр, которые не успели бежать.

Среди просторного двора стояли большие возы, в высокой колымаге сидела на подушках женщина, видимо, знатного рода, с двумя детьми; рыжий мужчина с длинной бородой и усами, одетый в багряницу и красные сандалии, гарцевал у колымаги на коне. Их окружал многочисленный отряд, вооруженный мечами и копьями. Это был кесарь Болгарии Борис, его жена и старшая дружина...

...Кесарь и князь встретились в Преславе в старом тереме болгарских каганов, в одной из светлиц, где когда-то жил и умер кесарь Симеон. Узкие окна светлицы были завешены. В углу горело два светильника, их лучи вырывали из темноты вещи, которые напоминали о кесаре Симеоне и его делах.

На полках вдоль стен стояли книги, написанные Симеоном. На одной из полок тускло поблескивали золотые и серебряные корчаги, кубки, а среди них и кубок, сделанный каганом Крумом из черепа императора ромеев Никифора...

Когда воевода Свенельд с двумя воями ввел кесаря Бориса в светлицу, князь Святослав сидел за столом, опершись подбородком на руки. Он встретил кесаря долгим, пытливым взглядом.

Кесарь Борис, не успевший даже переодеться, стоял перед князем бледный, с непокрытой головой и смотрел широко открытыми, испуганными глазами.

— Здравствуй, князь! — наконец вырвалось у него.

— Здрав будь, кесарь,— холодно процедил Святослав и обер-

нулся к Свенельду.— Ты ступай... и вои пусть уходят. Мы поговорим с кесарем одни.

Свенельд дал знак дружинникам, и они покинули светлицу.

Князь Святослав и кесарь Борис остались вдвоем, с глазу на глаз.

— Куда же ты, кесарь, собрался? — спросил Святослав.— Чего молчишь, не отвечаешь? А впрочем, что тебя спрашивать! Сам ведаю куда. В Константинополь, к императору ромеев? Ведь так?!

— Ты прав,— сухо промолвил Борис.— В Константинополь. А куда я еще мог бежать?

Князь Святослав покачал головой.

— Горе кесарю болгар, которому уже некуда бежать,— сурово сказал он.— Не такова была когда-то Болгария, при жизни деда твоего Симеона. Он умел биться и знал, к кому обращаться в трудный час. Спроси о нем у кого хочешь и в Болгарии, и у нас на Руси,— о, скажут, добрый был каган, справедливый, в ту пору и Болгария была непобедима, и Византия дрожала перед ней.

Потупившись, кесарь Борис молчал.

— Твой отец Петр изменил Руси,— продолжал Святослав,— ты довершаешь дело своего отца, продал Болгарию императорам. Из-за вас Болгария раскололась надвое, истекает кровью, ты повинен в том, что от Дуная до Преславы сложили свои головы тысячи русских и болгарских воев,— ведь и отцу твоему, да и тебе я предлагал мир, а не войну. Что же мне с тобой сделать? Убить, что ли?

И вдруг, будто только теперь поняв, что ему угрожает, кесарь Борис впился своими большими, испуганными глазами в Святослава и хрипло крикнул:

— Князь Святослав! Ты прав, прав, княже! То е справедливо, наша грешка, мо́я грешка. Но мы жием тако — до Киева далеко, до Константинополя близко, а императоры имают велику силу. Боялся аз их, и не токмо сам, все боляре. Смилуйся надо мной! Даруй живот!

Князь сидел в углу светлицы, скрестив на груди руки. Жарко горели светильники, колыхались длинные огненные языки, по стенам бегали тени, кесарь, казалось, метался среди серых стен.

— Ничтожный кесарь! — поднимаясь, крикнул Святослав.— Не умел жить, не умеешь и умереть.

Он прошелся по светлице, остановился у окна и сильным взмахом руки раздвинул занавес.

И тогда стало видно, как за Преславой бушует пожар, а на небе пламенеет багряное зарево. В тишине слышались тревожные удары в била за окном и далекий, похожий на морской прибой многоголосый крик.

— Как бы я хотел,— сказал Святослав, указав рукой за окно,— чтобы тебя, вот такого, как ты сейчас, видели и чтобы

слышали нашу с тобой беседу все болгары... Но они ее не слышат. Что ж, может быть, когда-нибудь вспомнят мои слова... Я должен был бы убить тебя, ибо такой кесарь, как ты, Болгарии не нужен. Но без кесаря Болгария не может остаться. Кто поведет ее на эту брань, от которой сегодня содрогаются горы, и на те брани, что еще предстоят в будущем? Кого мне поставить кесарем? Брата твоего Романа? Но ведь вы друг друга стоите...

Кесарь поднял голову и внимательно следил за Святославом.

— И не за вас, кесарей,— продолжал Святослав,— болит у меня сердце, болит оно за Болгарию. Сильной хочу ее видеть, знаю — великие сокровища собрали каганы. Не за данью я сюда пришел — хочу, чтобы Болгария сохранила свои сокровища.

— Князь Святослав! — крикнул Борис.— Ты даруешь мне живот?

— Хочу подарить...

— Князь Святослав,— торжественно промолвил Борис,— тогда я весь живот, всю свою душу отдам за тебя...

— Не за меня надо жизнь отдавать,— прервал его князь Святослав,— за Болгарию...

— Така, князь Святослав, така,— торопливо вторил Борис.— За Болгарску отдам живот, за любав и другарство меж Болгарске и Руси... Напоред Византии!

Князь Святослав отошел от окна, остановился перед кесарем Борисом и вынул из ножен меч.

— Кесарь! — сказал он.— Я призываю в свидетели всех богов, каким веришь ты и я... Ты заслужил смерть — Русь дарит тебе жизнь. Ты обесчестил, запятнал свою багряницу — но оставляю ее тебе. Мои вои идут разутые и нагие — мы не возьмем сокровищ болгарских каганов. Только клянись, что не продашь еще раз Болгарию, не изменишь Руси, будешь бороться против Византии.

— Давам клятва! — ответил на это кесарь Борис и холодными губами коснулся меча.

Князь Святослав вложил меч в ножны и позвал Свенельда.

— Воевода! — сказал князь.— Отныне кесарь Борис наш друг, проведи его в Вышний град, и да будет ему как кесарю...

— Прощай, князь Святослав,— кесарь Борис низко поклонился.— Много си благодарен...

И долго князь Святослав слушал, как в глухих переходах дворца гремели шаги кесаря Бориса и Свенельда, как они затихали и наконец замерли где-то вдали.

За Преславой всю ночь бушевал пожар, багровое зарево то разгоралось, то угасало на небе, а на тучах, которые плыли и плыли с севера, вырисовывались стены и башни каменного города на скале.

Неспокойной была эта ночь. Где-то в темноте то тут, то там раздавались людские голоса, на крутых тропах испуганно ржали

кони, слышался топот копыт, выли, подняв морды к багровому небу, городские собаки.

Тихо было только в Вышнем граде, у врат которого стояли утомленные русские вои. Нигде — ни на стенах его, ни в окнах — не светилось ни одного огонька. Вышний град спал.

Не спал лишь кесарь Борис. Прислонившись лбом к холодному стеклу окна, он стоял в одной из палат, глядя на зарево пожаров, багровые тучи, Преславу, Камчию, которая, подобно красному ужу, извивалась по долине.

Кесарь жалел, что не успел выехать из Преславы. О, если бы русские вои хоть немного опоздали, он скакал бы сейчас далеко от Преславы, по горным ущельям, прямо в Константинополь...

Но все сложилось не так уж плохо, как мог того ждать кесарь Болгарии. О, когда его вели в преславский дворец, он очень испугался! Когда с ним заговорил Святослав, кесарь был уверен, что его ждет смерть.

А сейчас ночь, все страшное отступило. Вышний град, как видел сам кесарь, охраняют русские вои. Русские вои — это, пожалуй, надежнее, чем своя дружина. Ведь когда в Вышний град ворвались русские вои, почти вся его дружина кинулась наутек, оставив на произвол судьбы его, жену, детей...

«А дальше? — думал он.— Что делать дальше?»

Кесарь вздрогнул, услыхав позади себя шаги. Но это не русские вои, их лишь рисует болезненное воображение кесаря,— к нему подходила жена, василисса Мария.

— Ты не спишь, Борис? — тихо спросила она.

— О нет, Мария! Как могу я спать? Все погибло.

— Мой любимый,— сказала василисса,— ты напрасно отчаиваешься. Слава богу, ты был и остался кесарем. Этот Святослав — князь-дикарь, варвар, он не понимает даже, что такое золото, и все сокровища оставил тебе. Слава богу, мы живы, богаты, и если не можем уехать в Константинополь, то император придет к нам.

— Ты думаешь, что он о нас не забудет?

— О нет, Византия о нас не забудет, она и сейчас думает о нас. Сегодня,— шепотом закончила василисса,— я видела среди воев русского князя василика императора Калокира...

## 3

В Константинополе знали, что происходит в Болгарии. С тех пор как Святослав вновь стал на берегах Дуная и вторгся в Восточную Планину, фар у Большого дворца принимал световые сигналы непрестанно. Кесарь просил, умолял о помощи, особенно когда вои Руси и Болгарии приблизились и стали у Пре-

славы. Еще одну ночь после этого мигал фар в горах и потух — Преслава пала.

Вскоре тайком, крадучись по ущельям и загоняя насмерть коней в долинах, в Константинополь примчались гонцы кесаря и болгарские боляре с купцами, которым удалось бежать из Преславы. Среди них был и друг василика Калокира — армянский купец из Переяславца Изот. Император Иоанн знал, что Святослав взял в плен кесаря Бориса, но пощадил его жизнь. Он был уверен, что князь Святослав стал хозяином сокровищ болгарских каганов, понимал и то, что Святослав не остановится в Преславе, ринется дальше — в долину, к Византии. Одного только не знал император ромеев — когда это произойдет, сколько воев осталось у русского князя и на кого он теперь намерен опираться.

«Однако,— размышлял Иоанн,— Византия своего добилась, много сил потратила Русь, пройдя раз и другой всю Болгарию, до Преславы. По́том и кровью умылся князь Святослав, помчавшись отбивать от печенегов Киев, а тем временем кесарь Борис со своими болярами и лазутчиками ромеев причинили много зла и нанесли немалый урон русской рати. Князь Святослав через силу — не в седле, а за хвостом коня — дотащился до Преславы. Вот в какую войну ввергли русов императоры ромеев и я — Иоанн Цимисхий!»

В Константинополе было неспокойно, все знали, что русские вои, тавроскифы, где-то недалеко.

На склепе Константина, во мраке которого лежит и будет лежать безглавый Никифор, чья-то рука продолжает писать:

«На нас во всеоружии устремляются русские, скифские народы в безумном порыве стремятся к убийствам, разные языки спешат к нашему городу, на вратах которого когда-то был высечен твой образ. О император Никифор, не презри, сбрось с себя камень, придавивший тебя! А не хочешь встать из гроба, то хоть отзовись. А не хочешь и этого, то прими нас в могилу. Ибо — даже мертвый — ты побеждаешь всех, кроме жены, победившей тебя...»

Император знает, что творится в Константинополе,— проэдр Василий читает ему написанные над могилой Никифора строки. Но василевс уже не тот, каким был недавно. Тесным кольцом окружают его сенаторы, димоты, димархи, они непрестанно славословят, женой его стала порфирородная василисса Феодора, во Фракии и Македонии полным-полно войск. Император Иоанн верит в свою звезду, верит в победу над Святославом.

И есть еще причина, задерживающая Иоанна Цимисхия в Константинополе. Во Фракии и Македонии во главе войск стоит патрикий Иоанн Куркуас, в прошлом он выдающийся полководец, но сейчас горький пьяница; а лучшие полководцы — Вард Склир и патрикий Петр — все еще преследуют в Каппадокии

повстанцев во главе со Львом Фокой, его сыном Вардом и племянниками...

Среди этих забот и ожиданий быстро промелькнула осень. И вдруг однажды ночью над Константинополем начинает падать необычный для этого города снег. Все выходят на улицу, подставляют руки, щупают: правда ли это снег? Да, снег! Пушистый, холодный, мокрый, он валит все гуще и гуще, идет всю ночь, следующий день, еще ночь...

Мчатся всадники из Фракии, Македонии,— там тоже выпал снег, на Планине засыпало все ущелья. Теперь князь Святослав мог бы со своими воями добраться до Константинополя только в том случае, если бы у них выросли крылья. Все успокаиваются — до весны воям Святослава не пройти Планины и Родопов.

И никто не знает того, что князь Святослав остановился в Преславе и не идет в горы вовсе не из-за снега. Думает он перед новым походом тяжкую думу.

Идучи на брань с ромеями, князь Святослав понимал, насколько она будет трудна. Что эта брань неизбежна, он знал, еще выступая из Киева. Здесь, в Болгарии, он тоже видел римских легионеров. Но императоры ромеев воевали с ним чужими руками: кесаря Бориса и с тыла — печенегов. В Преславе он узнал, что на запад от Родопов уже давно стоит войско ромеев. Оно готово к бою, и, если Святослав не пойдет на него, оно ударит ему в спину.

Знал Святослав от своих гонцов и то, что в гирло Дуная вошли корабли ромеев со множеством воинов и греческим огнем. Значит, император Иоанн окружал его — Византия шла на Русь.

Вот почему, пройдя вторично Болгарию, взяв множество городов и, наконец, Преславу, князь Святослав остановился там и не шел вперед.

Зима? Да, зима в тот год была лютая. От людей князь Святослав знал, что в горах, на перевалах, в ущельях лежит снег, дороги пересечены реками. Пройти с большим войском через горы в эту пору было трудно.

Кроме того, еще в то время, когда вои Святослава продвигались от Дуная, к северным границам Болгарии подошло и очень помогло князю Улебу угорское войско. В Преславу к князю Святославу прибыли гонцы угорского князя,— их полководцы предлагали вместе с войском князя Святослава ударить на ромеев. Это было похоже на правду — римские императоры причинили много зла не только болгарам, но и уграм.

Святослав послал к уграм воеводу Свенельда. Он вернулся через месяц и привез радостное известие: угорский князь согласился поставить на борьбу с ромеями, под знамя киевского

князя, несколько тысяч всадников. Свенельд договорился, что эти вои выступят немедленно и направятся прямо в долину за Преславой, где и будут ждать сигнала Святослава.

Наконец, помня о своей встрече в поле у Днепра с печенежским каганом Курей, Святослав послал гонцов и к нему, пообещав много золота, ратной добычи. Князь Святослав полагал, что золото кагану дать следует. Если печенеги и не очень охотно станут биться с ромеями, все же за спиной не будет коварных врагов.

Путь от Преславы до Днепра и обратно занял у гонцов несколько месяцев. К весне они вернулись с вестью, что кагана Курю не нашли, но договорились с ордой кагана Илдея. Печенеги уже стали на берегах Дуная и двинутся вдоль моря, чтобы через Месеврию выйти к Филиппополю.

Началась весна. Засинели на западе горы, растаяли снега, зашумели реки в ущельях, подсыхали дороги.

Князь Святослав повелел воям готовиться.

Вечером, когда уехали гонцы печенегов, князь Святослав встретил близ стен Преславы Калокира. Василик императора ромеев стоял на пригорке и любовался горами, залитыми багряным светом.

— Великий князь! — Калокир кинулся к Святославу.— Я так давно не видел тебя, ты совсем забыл о своем старом друге.

— Нет, патриций,— ответил князь Святослав,— о своих друзьях и обо всем, что им обещано, я никогда не забываю. Сам видишь: договаривались мы в Киеве, что пойду в Болгарию,— вот и пришел, обещал, что пойду на императора,— и уже выступаю.

Калокир поглядел исподлобья на Святослава.

— А не мало ли у вас сил, княже? — опасливо спросил он.— Были кровавые бои, а император собрал большое войско.

— Ох, патриций,— засмеялся Святослав,— если б я боялся императора, разве выступил бы из Киева? И неужели ты здесь, в Болгарии, за это время ничему не научился?

— У тебя есть соратники? Не правда ли, княже?

— На брани,— ответил князь,— я полагался и полагаюсь только на свои силы.

. Калокир облизал пересохшие губы.

— Я и мои друзья отблагодарим тебя, князь, за все в Константинополе во сто крат... Когда же ты полагаешь выступать?

— Очень скоро.

И оба поглядели вдаль, где в багряных лучах вилась дорога: вправо — на Средец, а влево — в горы, через перевалы и ущелья — на Константинополь.

Лицо у Калокира было хмурое, длинные, сухие пальцы сжимались в кулаки. Он ждал, что князь Святослав обмолвится, расскажет, как и когда думает выступать в горы, проговорится о

количестве своих сил. Тогда бы и Калокир решил, как быть ему дальше, что делать.

А князь Святослав думал, как тяжко будет ему воевать против ромеев. Много, очень много потратили сил и пролили крови русские вои у Дуная. Истерзанная болярами Болгария не может дать необходимой помощи, приходится просить ее у печенегов и угров. Но придет ли эта подмога? Что ждет их по ту сторону Планины?

Когда в горах таяли снега, а в ущельях мчались быстрые потоки, над Пропонтидой, в Константинополе и фемах уже цвела весна.

Как раз в эту пору в Константинополь прибыли со своими легионами Вард Склир и Патрикий Петр. Они долго гонялись за повстанцами в пустынях Каппадокии и наконец изловили их.

Вард Склир поступил так, как велел император. Он ослепил брата Никифора Фоки — Льва, постриг в монахи племянника Никифора — Варда и выслал на остров Хиос вместе с женой и детьми, жестоко покарал и всех их родственников.

С такими вестями полководцы возвратились в Константинополь. Император Иоанн встретил их радостно: отлично иоступили его полководцы, изловив родичей императора Никифора и покарав их. Гнить им теперь до конца дней своих в монастырях, не видеть вовек солнца. Такие императоры не страшны Иоанну Цимисхию. Все реже и реже, наслаждаясь радостями этого мира, вспоминает он и Феофано — ей тоже до смерти томиться в келии на Проте, ее стерегут не только безбородые монахи, но даже этериоты.

Император Иоанн, вручив большие награды Варду Склиру и патрикию Петру, повелел им выступать во Фракию и сам собирался ехать с ними. Если Святослав не выйдет в долину, Иоанн поведет свои легионы в горы.

Готовясь к походу, император долго советовался со своим проэдром Василием. Когда в столице отсутствует василевс, его заменяет василисса, но и у нее проэдр должен быть первым. Проэдр склонил голову.

— Известен ли тебе историограф,— спросил Иоанн,— которого я мог бы взять с собой и который сумел бы достойно описать, как войска империи пройдут по Болгарии и разобьют Русь?

— Я знаю Иоанна,— ответил проэдр,— сына сановника Феодора, священника...

— Священник Иоанн всю жизнь славил Никифора,— сердито заметил император,— и сейчас пишет славословия на его гробнице... Все эти историографы — сторонники либо Константина, либо Никифора...

— Я слышал, что среди молодых диаконов святой Софии выделяется своим талантом Лев, родом из Азии, простого происхождения, но знаменитый своим красноречием.

— Очень хорошо, если он молод. А красноречие его вдохновят воинские подвиги ромеев. Позови Льва, поговори с ним и дай ему серебряную чернильницу. Пусть идет вместе с нами. Лев — диакон. Что ж? Пусть и он живет в веках! Империя должна знать свою историю.

Иоанн Цимисхий был еще далеко от Адрианополя, а в долине Марицы уже появились полководцы и виглы и вместе с ними вооруженные длинными веревками и шестами менсураторы. Виглы рыскали по лесам и оврагам в поисках вражеских лазутчиков, а менсураторы, выбрав просторную равнину, к которой с двух сторон подходили леса, наметили, как разместить на ней стан.

Прежде всего они выбрали место для шатра императора в середине лагеря и там установили знамя. Отсюда отмерили веревками по тысяче оргий во все четыре стороны. Чтобы обозначить границы лагеря, натянули между ними веревки.

А тем временем в долине уже появились тучи рыжей пыли. К месту будущего лагеря приближались оплиты, их было более десяти тысяч, и они сразу принялись копать широкий и глубокий ров, насыпать вал. Посреди вала и во рву они оставляли проходы — ворота, но, чтобы в лагерь не могли ворваться вражеские воины, и особенно конница, делали их подковообразными. Когда ров и валы были закончены, оплиты еще готовили «пустое место» за валом, куда могли залетать стрелы и камни, проложили большие и малые дороги, а среди лагеря утрамбовали место для «царского стана». Там поставили шатры для императора, протовестиария, стольника и охраны.

Это был целый город, пока еще безлюдный. Но для его защиты сделано было еще не все, и оплиты установили вокруг рва через каждые десять оргий железные столбы, натянули между ними веревки и повесили колокольчики. А на поле, за рвом, вырыли повсюду ямы — костоломки, забив на дно их заостренные колья.

Пока заканчивалась работа, к лагерю уже подошло ромейское войско, вокруг царского шатра остановились и раскинули шатры полки императора, их окружила кольцом боевая конница, а дальше — таксиархии фем. Лагерь сразу ожил, зашумел, повсюду ржали кони, к небу поплыли дымки костров.

К вечеру прибыл император Иоанн Цимисхий, верхом на коне, в серебристом скарамангии, в легком шлеме, с золотым мечом у пояса. За императором спешили полководцы, а впереди и позади них скакали бессмертные.

## 4

И еще раз, поздней ночью, в келью Феофано вошел Вард Валент. Он был очень встревожен.

— Проздр Василий велел увезти тебя сегодня с Прота,— сказал Вард.— Для бегства все готово, скедия стоит под скалой, бог послал нам попутный ветер...

— Но как мы выберемся отсюда? — взволнованно спросила Феофано.

— Через это окно.— И Вард указал рукой.

— Сквозь решетку?.. Но ведь там — скала, пропасть?

— Не бойся, василисса! Прутья я сейчас перепилю, а со мной веревочная лестница. Ты спустишься по ней, за тобою — я, а внизу ждут люди проздра Василия.

— Нет, Вард, я не в силах спуститься по этой лестнице. Это безумие — ночь, ветер, скала! Я разобьюсь и полечу в бездну...

— Проздр Василий повелел мне сказать, что император Иоанн вступил в брак с Феодорой, а сейчас выехал в Болгарию на брань.

Ошеломленная этим известием, Феофано на мгновение застыла на месте. В келье монастыря было тихо, тишина царила и в коридоре, откуда через дверное окошечко падала полоска желтоватого света, только сквозь зарешеченное окно, выходившее на море, долетали вой и свист ветра да где-то внизу, под скалами, бушевало, ревело и стонало неспокойное море.

— Та-а-ак! — тихо процедила, до боли стиснув зубы, Феофано.— Хорошо, Вард, я согласна. Я поеду в Константинополь. Но как быть с детьми? — задумчиво спросила она.

— Ты едешь к своим сыновьям,— ответил Вард.— Будем молиться, чтобы бог защитил и твоих дочерей. А сейчас — скорее, василисса! В монастыре сегодня неспокойно: появились новые этериоты, возможно, Феодора уже действует...

— Правда,— вздрогнула Феофано,— принимайся, принимайся поскорее за дело. А я помолюсь...

Она направилась в угол кельи и опустилась на колени перед ложем, где спали ее дочери — Феофано и Анна... Вард Валент завесил окошко в коридор, подошел к окну и за несколько минут перепилил железную решетку, согнул сильными руками прутья и прикрепил к ним веревочную лестницу.

— Все готово, василисса! — прошептал он и снял с дверного окошечка покрывало.— Иди сюда!

При слабом свете горевшего в коридоре светильника Вард увидел, как Феофано поднялась с колен, сделала шаг вперед, взяла что-то из ларя под столом и спрятала на груди. Потом подошла и остановилась у окна, над бездной.

— Мне страшно! — Лицо ее побледнело, глаза расширились.

— Ты должна радоваться, василисса! Берись за эти веревки и смело спускайся по лестнице.

— Как страшно! — воскликнула она, все еще не решаясь.

Тогда Вард Валент взял Феофано сильными руками, посадил на холодный камень окна и склонил свое горячее лицо к ее холодной щеке.

— Спасибо, Вард! Я отблагодарю тебя,— прошептала она и поцеловала этерпота из Буколеона.

— Мне ничего не нужно, василисса! — ответил он и ловким движением заставил ее встать на лестницу, беспокойно поглядывая на оконце двери, откуда безбородый подавал какие-то знаки...

Феофано повисла над бездной, нащупала ступени, стала на них и, немного овладев собой, начала спускаться. Но как это было трудно! Вокруг стеной стояла ночь, свирепый ветер раскачивал лестницу. Единственно, что она чувствовала среди полного мрака,— толстые веревки лестницы, шаткие поперечины под ногами да еще порою, когда ветер с моря прижимал лестницу к скале, холодный, мокрый камень, которого она касалась пальцами.

Особенно страшно было думать Феофано о пропасти, в которую она спускалась. Казалось, ей не будет конца. Феофано смолоду была ловка, у нее были крепкие, сильные руки, и она лезла, как кошка. И все же быстро теряла силы, веревки резали ладони, ноги срывались со скользких поперечин и часто повисали в воздухе. Порою, когда ветер отбрасывал лестницу от скалы, Феофано чувствовала, что вот-вот либо полетит в бездну, либо ударится и разобьется о камень. Ее все больше охватывало отчаяние, безумный страх сковывал пальцы, сводил ноги.

И возможно, в одну из таких минут Феофано выпустила бы из рук веревки, сорвалась и полетела в пропасть, как вдруг высоко-высоко над собой услыхала крик:

— Феофано!

Крик подхватил и унес ветер. Но он достиг ее ушей.

Она вздрогнула и поняла, как далеко уже спустилась от окна своей тюрьмы, как близки должны быть твердая земля, берег. Руки ее сразу окрепли, стали гибкими и цеплялись, цеплялись за веревки, ноги находили поперечины; она спускалась ниже и ниже по лестнице и наконец почувствовала под ногами камень.

— Сюда, василисса, сюда! — услыхала Феофано в темноте несколько голосов.

Она пошла на эти голоса, поднялась на лодию, села. Следом за ней прыгнули гребцы.

— Где же Вард? О чем он думает? — спрашивали со всех сторон.

И вдруг высоко в воздухе прозвучал крик. Потом с шумом и свистом что-то пролетело мимо скалы и гулко упало на берег, недалеко от скедии.

Минуту все молчали. Только ветер завывал вокруг да бились о камни разбушевавшиеся волны.

А потом гребцы торопливо оттолкнули скедию, поставили паруса и помчались по высоким волнам в ночной мрак. Только Варда Валента не было с ними — его труп лежал на берегу Пропонтиды. Среди непроглядной ночи высоко над скалами мигал огонек в окне кельи, из которой бежала Феофано.

Укутавшись в теплую шаль, Феофано сидела на корме легкой лодии-скедии. Все вокруг: темные скалы острова, огонек, быстро исчезнувший позади, высокие волны, что, подобно разгневанным морским чудовищам, гнались за ними и рождались впереди, серая, густая мгла вокруг, свист и завывание ветра, туго натянутые паруса,— все напоминало страшный сон.

Но это был не сон. По скедии проворно бегали и возились у парусов молчаливые, неизвестные, но преданные ей люди. Феофано бежала с Прота, откуда никто еще не возвращался. Она летела как на крыльях к желанному Константинополю. Еще до рассвета, если не переменится ветер, они будут там.

К ней подошел один из гребцов.

— Вард Валент знал, куда нам плыть,— сказал человек,— но сейчас он мертв. Куда повелишь ехать, василисса?

Вопрос захватил Феофано врасплох. Она была счастлива, что бежала с Прота, радостное чувство свободы заполнило ее целиком. Но куда им, в самом деле, плыть, куда должна она направить скедию?

И Феофано впервые пожалела о Варде Валенте. Какая неосторожность,— не спросить, куда должен был повезти ее этериот!

— Скажите,— спросила она, пытаясь что-нибудь узнать у стоявшего перед ней гребца,— вы откуда сюда приплыли? Из залива Большого дворца или из Буколеона?

Воин, схватившись руками за мачту, едва держась на ногах, ответил:

— Мы плыли сюда не из залива, а из Золотого Рога.

И Феофано поняла, что она напрасно спрашивает об этом. В Большом дворце, а также и в Буколеоне сидит теперь Феодора. Это она, наверное, послала свою этерию на Прот, она задумала убить Феофано, а убила Варда Валента. Ей, Феофано, нечего соваться в тихие гавани Большого дворца или Буколеона — там ее ждет гибель, смерть.

— Мы поплывем туда, откуда вы вышли, в Золотой Рог,— приказала она воину.

Скедия мчалась дальше во мрак, в пустоту, рассекала высокие волны, то взлетая, то глубоко зарываясь в воду. Лились потоки воды, пронзительный, холодный ветер захватывал дух.

Но Феофано готова была пробиваться через все моря, преодолевая любые препятствия!

О чем думала Феофано в эту позднюю ночную пору?

Совсем еще недавно она в Большом дворце вершила дела, опираясь на сильного и уничтожая слабого. Теперь же там, во дворце, был Иоанн, но что происходило у него в душе, она не знала и не понимала. Туда вернулась и властвовала дочь императора Константина, которую она выгнала из Большого дворца. Так куда же идти Феофано в Константинополе, к кому обратиться?

Ранним утром скедия, вынырнув из морского тумана, промчалась по волнам мимо высоких стен и гавани Буколеона, мимо Большого дворца, круто свернула у мыса, где стоял Акрополь, налево и вошла в тихие воды Золотого Рога. Здесь гребцы взялись за весла и пригнали скедию к рыбачьей пристани, где уже стояли сотни челнов.

В женщине, которая, закутав шалью голову, вышла из скедии, направилась к воротам в стене и вместе со многими рыбаками и их женами беспрепятственно миновала их, никто не узнал бы Феофано. Никто не узнал ее и когда она шла в крикливой толпе по улице Месы, направляясь к Большому дворцу.

Однако в Большой дворец Феофано не пошла, а присоединилась к толпе богомольцев, идущих к святой Софии; с ними вступила в подворье собора, на паперть...

Очутившись в соборе, Феофано почувствовала себя свободнее. Богомольцев было еще мало. Слышались приглушенные шаги, звучали неясные голоса, в узкие окна огромного купола вливался синий свет. Внизу все еще было окутано полумраком, среди которого кое-где теплились, освещая золотые и серебряные ризы икон, желтые огоньки свечей.

Феофано хорошо знала этот собор. Сколько раз она приходила сюда замаливать свои грехи, просить у бога счастья! Вон слева, в темноте, едва-едва вырисовывается дверь, за которой, как это хорошо известно Феофано, идет вверх длинная узкая лестница, а за ней начинается ряд палат с ложами, откуда можно незаметно для богомольцев наблюдать сверху за всем, что происходит в соборе и алтаре. Это катихумений — покои василиссы, куда никто, кроме нее, не имеет права заходить, где никто не может ее беспокоить. По правую руку от алтаря расположены такие же покои — мутаторий — для василевса.

И вдруг у Феофано возникла мысль, которая сначала показалась ей безрассудной, невыполнимой, а потом — удачным, разумным выходом из той сложной обстановки, в какой она очутилась. Все еще не снимая темной шали с головы, Феофано осторожно прокралась вдоль стены, остановилась, оглянулась по сторонам, снова прошла дальше и еще раз остановилась.

Теперь она стояла у порога двери, которая вела в катихумений. За дверью, где обычно стояла стража, никого не было. Феофано переступила порог и быстро побежала по ступеням.

— Куда? Куда? — услышала она за собой голос и шаги.

Но Феофано, уже сняв с головы шаль, смело поднималась по ступеням. Вот она в катихумении, дошла до кресла, в котором когда-то сидела как василисса, и тотчас опустилась, вернее, упала в него.

Здесь, в катихумении и в окружающих его покоях, никто, даже патриарх, не имел права посягнуть на нее. Это был единственный уголок в империи, где она оставалась императрицей. У величайшей грешницы мира защитником теперь был бог.

К Феофано подбежали слуги, требуя покинуть катихумений.

Она ответила им:

— Я — василисса, а вы ступайте прочь!

Потом в катихумений явились священники, затем два епископа, они просили, чтобы Феофано встала с кресла.

Феофано сказала:

— Зачем вы пришли? Что вам нужно? Я буду говорить только с патриархом Полиевктом...

— Патриарх Полиевкт почил.

— Тем лучше,— дерзко ответила Феофано.— Тогда пусть сюда придет живой патриарх.

И новый патриарх — монах с горы Олимп Василий — явился в катихумений.

Когда она увидела неловкого, костлявого монаха с лицом, до того заросшим волосами, что видны были только лоб, глаза, нос и рот, ее охватила ярость, как некогда в кабаке отца.

— Кто ты? — сурово спросила Феофано.

— Я... патриарх Василий.

— Ты — вселенский патриарх Василий? — Феофано расхохоталась.— Не верю! Перекрестись!

Растерянный патриарх перекрестился.

— Так чего же ты хочешь?

— Я требую, чтобы ты покинула святой храм.

— Покинула храм?! — смеялась Феофано.— О нет! Я не уйду, патриарх, отсюда никуда, пока не явится император Иоанн. И прикажи своим слугам принести мне есть и пить.

И случилось то, чего никогда не бывало в храме святой Софии. По строгому велению испуганной василиссы Феодоры патриарх Василий приказал священнослужителям день и ночь править в соборе службу, молиться за победу императора Иоанна над тавроскифами. Но все ворота и двери собора патриарх Василий велел держать на замке, а возле них поставили еще этериотов.

Только одна дверь, с северной стороны собора, где тоже стояли этериоты, оставалась отпертой — вход в катихумений. Но в эту дверь могли войти лишь патриарх да император.

5

Поздним вечером император велел явиться к нему в шатер Варду Склиру и патрикию Петру. Он хотел с ними поужинать.

Здесь, в лагере, все было готово к услугам императора. Напротив царского шатра стоял шатер его стольника, который вез с собой всякие яства, вина. Рядом находился шатер с одеждой и доспехами. Позади, в царской конюшне, рыли землю лучшие скакуны империи. За конюшнями помещались трубачи. Императора сопровождал также малый хор из собора Святых апостолов, где было несколько красивых диаконисс. Все было к услугам Иоанна, как и в Большом дворце.

Император Иоанн мог чувствовать себя в этом лагере в полной безопасности. Как и всегда, он был отгорожен словно стеной от всего мира — между царским шатром и легионами стояли полки гвардии, бессмертные эскувиты, иканаты, арифмы, китониты. У стола и ложа прислуживали только безбородые, днем и ночью вокруг его шатра стояла этерия. Особа императора была в полной безопасности.

А еще дальше, за бессмертными, расположилась боевая конница, ближе к валу и рвам — таксиархии оплитов, за рвами всю ночь ходили керкетоны, по полю рыскали виглы. Эти десятки тысяч людей могли отразить самую грозную силу.

Потому, видимо, император Иоанн, попивая из золотого кубка чудесное красное вино, улыбался, когда расспрашивал Склира:

— Что докладывают, Вард, наши смелые лазутчики?

— Докладывают, василевс, что русские войска уже недалеко от нашего стана и утром будут в долине.

— Жаль,— вырвалось у императора,— что мы не смогли встретить их в ущельях.

— А может быть, и лучше, василевс, что мы их встретим здесь, на равнине. В теснинах не так страшны русы, как болгары.

— Это правда,— согласился Иоанн.— Проклятый народ, который грызет сырые шкуры, очень опасен в горах. Хорошо, Вард, мы встретим их здесь, на равнине. Что говорят лазутчики наши — есть ли у Святослава конница?

— Немного,— ответил Вард,— но и то больше болгары.

— Снова они! — вскипел император.— Ну, погодите, мисяне, я вам покажу, как дружить с Русью!

Иоанн Цимисхий жадно выпил вино и проглотил несколько сухих ягод.

И давнее, много раз пережитое чувство овладело Иоанном Цимисхием. Опьянев от вина, он, прищурив глаза, представил себе, как ходил когда-то с легионами по Азии, повелевал разрушать города, уничтожать людей.

В его памяти встали развалины этих городов, тысячи трупов неведомых ему людей, лежащие под открытым небом, лужи крови на желтом песке, стенание и плач.

Но не отчаяние, не скорбь о содеянном охватили его душу. Напротив, он жаждал видеть новые разоренные города, новые трупы, ему хотелось ощутить запах свежей крови на земле, крови русских и болгарских воев.

И точно так, как бывало прежде, протянув вперед холеную, белую, с золотым перстнем с изумрудом руку, он, размахивая ею в воздухе, рассуждал:

— Мы будем ждать их здесь — ведь иного пути у Святослава нет. Когда он приблизится, я прикажу войску выйти из лагеря. Эти тавроскифы не лучше, чем те войска, с которыми я до сих пор сталкивался. Они всегда идут вперед, как табун овец. И я проделаю с ними то же, что делал с другими в Азии. Ты, Василий, стань так, чтобы о твои полки разбилась первая волна варваров. Потом пусть воины сделают вид, будто не выдержали их натиска, и начнут отходить — все быстрее и быстрее. Нужно, чтобы наши воины, отступая, действовали ловко и, отходя, хорошо оборонялись. Чтобы были готовы в нужный момент разбежаться в стороны, и как можно скорее, дабы не попасть на копья наших всадников. А засада у меня будет уже наготове. Как только варвары приблизятся, всадники в тяжелой броне, скрытые в лесах, выскочат с двух сторон и ударят по тавроскифам. А в то же время воины, которые до сих пор отступали, должны повернуть и ударить на врагов — быстро, быстро! Таким образом, нападение на варваров будет вестись со всех сторон. Они очутятся в мешке. Если сделать все так, как я сказал, то мы, с помощью бога, уничтожим множество русов и болгар. Киевский князь ищет брани и победы — он наткнется на ловушку и поражение...

— Блестящая мысль! — воскликнул Вард Склир, который с восторгом слушал рассуждения императора.

— Мы выполним твой приказ, император! — присоединился патрикий Петр.

— Ника! — Император поднял чару.

Увлеченный своим планом уничтожения русских воев, Иоанн вскочил с кресла и вместе со своими полководцами вышел из шатра.

Было уже поздно, но лагерь еще не спал. Тихо было только возле шатра императора, стольника и протовестиария, где

стояли, вырисовываясь на сером небе, закованные в броню, вооруженные копьями и мечами бессмертные. Далее же в лагере слышались людские голоса, где-то ржали кони, ходила ночная стража.

Окруженный полководцами и стратигами, в серебристом скарамангии и багряной хламиде, с золотым шлемом на голове, император Иоанн Цимпсхий стоял у своего шатра. Он смотрел на далекие, с голубыми снежными прожилками горы, широкую равнину, реку и леса над ней с правой стороны, две горы в белых шапках слева, на леса, которые тянулись, точно вытянутые руки, на север.

Среди равнины, недалеко от лагеря, уже стояло войско империи. Таксиархии, состоящие из оплитов, копьеносцев и стрелков, еще до рассвета выступили за ров и выстроились на равнине темными квадратами. Каждая из них в нужное время готова была ринуться вперед и начать бой. Имея около пятидесяти таксиархий, император оставил в лагере тысяч около десяти воинов, почти все его войско находилось сейчас на равнине. Недалеко от императора и его полководцев стояли в ожидании у своих коней связные стратигов. Каждый из них готов был вскочить в седло и скакать с приказом, когда и какой таксиархии вступать в сражение.

В предстоящем бою первый удар должно было нанести или же, в зависимости от обстановки, отбить чело; впереди таксиархий в несколько рядов, по два на оргию, чтобы не мешать друг другу, стояли в броне, со щитами и копьями в руках оплиты, за ними — также в несколько рядов — лучники, еще дальше — копьеносцы и, наконец, мечники. Это была могучая сила, готовая встретить врага тысячами стрел, лесом острых копий и мечей, стеной кованых щитов.

Но сила силу ломит, вражеские вои могли прорвать чело и углубиться в стан ромеев. Поэтому император Иоанн повелел стать сразу же за челом, по обе стороны таксиархий, легкой коннице: в случае, если русские вои прорвут чело, эта конница сомнет их, а если русские вои станут отступать, конница ринется вслед за ними и нанесет тяжелый, непоправимый урон.

И теперь с высокого пригорка император Иоанн видел свой стан: таксиархии стояли наготове, чело войска с его флангами напоминало тетиву туго натянутого лука. Достаточно было императору дать знак — связные стратигов помчатся на равнину и войско, как могучий вал, хлынет вперед.

Но император не давал и не собирался подавать знак. Ему был виден не только ромейский стан. На расстоянии полета стрелы от войск империи, ближе к горам, стоял другой стан — вои князя Святослава.

Император видел, что князь Святослав выставил так же точно, как и он, широкое чело,— русские вои выстроились такой плотной стеной, что их червленые щиты касались друг друга и, отражая лучи солнца, напоминали издалека разложенный перед станом яркий костер. За щитоносцами стояли вои, их копья переливались, играли на солнце серебром, их было много — что жнивья на скошенном поле. Это и было чело князя Святослава.

Кроме чела, на некотором расстоянии от стана князь Руси поставил заслоны правой и левой руки — с пригорка были видны ряды возов с поднятыми вверх оглоблями и множество всадников.

За челом и заслонами, на равнине, среди которой возвышалось несколько холмов, располагался стан Руси — там темнело среди зеленых лугов множество полков. В глубокой долине позади стана, у самых горных отрогов, виднелся еще один заслон из возов.

Император Иоанн удовлетворенно улыбнулся — с первого взгляда стало ясно, что империя вывела на бой гораздо больше воинов, чем Русь. К войскам императора могла в случае нужды подойти еще и подмога из Адрианополя, а русским воинам могли помочь разве горы!

Правда, император не знал стойкости русских воинов. На войне — он хорошо это усвоил еще по походам в Азию — не всегда решало количество. В Азии ему не раз приходилось задерживаться с многотысячным войском перед небольшими городами, которые защищали лишь сотни воинов. И ему приходилось брать эти города измором и огнем.

Но император был уверен, что Русь истощена и не устоит перед его войском — сытым, стойким, сильным. Да и сражаются они, очевидно, как и все варвары,— скопом, полагаясь на силу, вследствие чего быстро ее и теряют.

Но все же, полагаясь на опыт, мощь, выдержку своего войска и считая, что на этот раз ему придется иметь дело с врагом неопытным и диким, император Иоанн старался предотвратить любую случайность и одним ударом разбить и уничтожить Русь, которая мешала империи подчинить Болгарию и препятствовала императорам Нового Рима двинуться на восток.

И потому, оглядев равнину, где стояли друг против друга два лагеря, император ромеев повернул голову направо и кинул взгляд на густой лес над рекой. Там ничего нельзя было увидеть. Скалы, груды камней, высокие деревья. Но за этим лесом, вдоль всего берега реки, император велел стать десяти тысячам закованной в броню так называемой тяжелой конницы. Там она и стояла. Грозная, непобедимая сила, которая в нужную минуту помчится, как смерч, и уничтожит русских воев.

Такая же засада скрывалась под невысокой горой в лесу, влево от него,— это и была та сила, которая обрушится на го-

лову русов, когда они меньше всего будут этого ожидать, и завершит победой сражение.

Император дождался. Сечу, как он и хотел, начинала Русь. Император и его полководцы увидели, как над русскими полками взвились и зареяли стяги. Каждый полк, каждое княжество, каждые племя и земля шли со своими стягами. У больших княжеств были большие стяги, четырехугольные, похожие на огромные ветрила, иногда с двумя-тремя длинными клиньями внизу, из дорогих тканей, со знаками князей — медведями, звездами, кругами, лебедями, лодиями. Но были между ними стяги и поменьше, из простого крашеного полотна — голубые, как небо, красные, как огонь, желтые, как море пшеницы...

Настал долгожданный для императора Иоанна час. Воины империи видели, что на них идет Святослав, но стояли на месте и только отстреливались. Значительно позже, когда русские вои уже приблизились, ромеи стали отступать. Сначала дрогнули, разорвали ряды и двинулись назад первые пять таксиархий, которые вплотную вели бой с русскими воями. Немного погодя двинулось еще пять таксиархий... Император Иоанн и его полководцы представили себе, как обрадовались русские вои и сам князь Святослав, увидав, что ромеи кажут спины. Император воображал, с какой радостью, не встречая сопротивления, торопятся, продвигаются они вперед. К нему на пригорок долетел крик русских воев,— это был грозный крик, всегда нагонявший страх на врагов.

Но на императора Иоанна этот крик подействовал иначе.

— Они идут в мою ловушку! — промолвил хриплым голосом Цимисхий.— Глядите, полководцы, как сейчас погибнет Русь! Быстрей, быстрей! Вперед, империя!

Все происходило и дальше так, как предвидел опытный полководец император Иоанн. Русские вои шли за отступающими таксиархиями и уже приближались к стану. Распаленные боем, они догоняли ромеев и рубились с ними. Вперед вырвались всадники со знаменами, между ними было и знамя киевского князя с двумя перекрещенными копьями — значит, и князь Святослав там...

— Какой час!—крикнул Иоанн Цимисхий.—Скорей, скорей!

И в тот же миг из густого леса над рекой, что лежал справа от стана, и из леса, что темнел слева, вырвались всадники. Они мчались, разворачиваясь полукругом, туда, где кипел бой между ромеями и русскими воями.

На пригорке было тихо. Только гудела, стонала под конскими копытами равнина. Всадникам не было, казалось, конца, они выезжали и выезжали из лесов и мчались, пригнувшись к гривам коней, с копьями наперевес, все вперед и вперед.

— Многая лета императору! — крикнул кто-то из полководцев на пригорке.

— Многая лета! — подхватили остальные.

А он, император Восточно-Римской империи, стоял под своим знаменем с ликом Христа и надписью: «Побеждай!» Стоял величественный, гордый и широко раскрытыми глазами смотрел на поле боя: ведь это он замыслил, как уничтожить русских воинов, а теперь жаждал видеть их смерть, смерть Святослава.

Но он не мог понять: что же происходит на равнине? Всадники-ромеи — закованные в броню бессмертные — мчались по равнине. Но за ними гнались другие всадники. Всадников-ромеев было много, но тех, других всадников, было еще больше — им не было счету. И они, как видно было с пригорка, били всадников-ромеев и окружали не русских воинов, а таксиархии.

— Многая ле-е-е...— закричал было кто-то.

— Проклятие! — оборвал он этот неистовый крик.— Полководцы! Что случилось? Чьи это всадники?

— Пацинаки! Пацинаки! — катилось по лагерю.

— Угры! Угры! — летело с другой стороны...

Но били ромеев на равнине не печенеги и не угры — они только разрушили, свели на нет дьявольский замысел императора Иоанна, не дав возможности его засадам внезапно напасть на русское войско. А беспощадным смертным боем били, уничтожали бессмертных на равнине русские вои. Взяв с места разгон, они теперь ни на шаг не отставали от ромеев, громя и те десять таксиархий, которые вступили в бой на равнине, и другие десять, которые спешили на помощь первым, и как ни быстры были ноги ромеев, они не могли уйти от русов. Копьями, мечами, секирами, ножами и просто рогатинами русские и болгарские вои калечили, били, истребляли ромейское воинство, не давая ему пощады.

— Таксиархии, в лагерь! В лагерь! — завопил император, и его бледное лицо покрылось похожими на царскую хламиду багряными пятнами.

Только теперь он понял, что в решительный момент, когда все было приготовлено для полного разгрома русов, им на помощь и на погибель ромеям пришли печенеги и угры. И для римских воинов, которые сражались на равнине, оставалось одно спасение: бежать в лагерь, стать за его рвами и отбиваться от русов, болгар, печенегов и угров.

Ромеи так и сделали. Со всех сторон спешили они к лагерю, спешили так, что не могли протиснуться в ворота и попадали в свои же костоломки, падали во рвы, калечились, теснили друг друга.

Но их никто не преследовал. Десять таксиархий были окружены на равнине. Русские вои, печенеги и угры рубились с ними и гнали к реке. Римские воины, видя, что спасения нет, бросали оружие, поднимали руки...

Солнце спускалось за горы. Император Иоанн все еще стоял

на пригорке, словно ждал, что свершится чудо. Но чуда не произошло. По равнине темными тучами надвигались, спеша к лагерю, легионы. Они сделали, что могли, а может, и больше того, а сейчас жаждали одного — спасения, покоя, отдыха. А многие из них в пыли и крови остались на поле боя — они уже вступили в царство тишины и завоевали себе в этот день вечный покой.

В вечерних сумерках оплиты копали близ лагеря ямы и засыпали мертвых. Надо было торопиться — ведь завтра по их могилам должны были пройти другие воины. Убитых старшин и полководцев за лагерем не хоронили — их клали на носилки и несли к пригорку, где стоял император Иоанн. Вскоре весь пригорок был устлан мертвыми. Император Византии стоял среди трупов.

Всю ночь отходили войска императора Иоанна. На дорогах, по склонам гор и всюду в долине Марицы слышались тревожные людские голоса. Позади, на очертаниях темных гор, во многих местах занимались пожары. Их зарева охватывали всю северную часть неба. И когда огонь, разгораясь, бушевал сильнее, а небо пламенело ярче, можно было разглядеть отряды перепуганных всадников, черные силуэты возов, бесконечные цепи легионеров. Все они, точно мутный поток, вырывающийся с гор, спешили в Адрианополь.

Среди этого потока, верхом на коне, ехал и диакон Лев. Согласно приказу, он во всех походах передвигался вместе с приближенными к императору особами. Перед началом битвы диакон находился недалеко от императора, видел его, восторгался им и успел даже написать несколько строк своей истории:

«Святослав, надменный одержанными победами над мисянами, исполненный варварской своей гордости, ибо он совершенно уже завладел их страной, устрашивший и удививший их врожденной своей свирепостью...»

Однако больше диакон Лев не успел ничего написать — началась битва, а он хотел собственными глазами видеть, как будут наступать русские вои, как их приступ разобьется о стену легионов, как спустя известное время начнут наступать воины императора, как сам Иоанн поведет их и как с помощью бога ромеи победят своих врагов.

В голове диакона Льва уже слагались красноречивые фразы для этого места его вдохновенной седьмой книги истории, как, например:

«Многия заботы колебали душу императора Иоанна; он, как бы стоя на распутии, не знал, по которой идти дороге...»

Диакон Лев был уверен, что бой на равнине даст ему нужное вдохновение, новые слова.

Но бой не принес желанного вдохновения, напротив, поколебал, растравил душу диакона. Он видел начало боя, наступле-

ние русских воев, слышал, как император Иоанн крикнул: «Вперед, империя!»

Однако все, что случилось затем, ни на волос не продвинуло империю вперед, а, напротив, стремглав понесло ее назад, кинуло в бездонную пропасть, в поток непонятных событий.

Стояла ночь. Лев-диакон, как и все, ехал куда-то средн кромешной тьмы, время от времени вместе со всеми наталкивался на отряды всадников, мчавшихся неведомо куда, или на пеших воинов, которые спешили на юг...

От них он слыхал, что русские вои, убив тысячи ромеев, взяв тысячи пленных, продвигаются вперед. Подобно другим, диакон Лев приподнимался на стременах, смотрел назад, в глубину темной ночи, и по спине его пробегал холодок.

На другой день, поздно утром, диакон Лев добрался до Адрианополя и узнал, что незадолго до этого туда прибыл со свитой император Иоанн. В черной, покрытой грязью, перепоясанной веревкой рясе, с перепуганным, бледным лицом, горящими, воспаленными глазами, диакон Лев, конечно, и думать не смел подступиться к императору Иоанну...

Однако ему удалось поговорить с некоторыми приближенными к императору особами, в частности с Иоанном Куркуасом, начальником метательных машин, который хотя и не покидал Адрианополя, но имел достоверные сведения обо всем, что произошло накануне. Подвыпивший Иоанн, не таясь, откровенно признал, что их войско на равнине разбито наголову. Но добавил, что диакону лучше не упоминать об этом в своей истории, не то он сам попадет в такую историю, из которой вовек не выпутается.

В тот же день на окраине Адрианополя, под стройным кипарисом на берегу реки, диакон Лев, усевшись на травке, извлек подаренную ему императором серебряную чернильницу, развернул свою историю и записал:

«У нас, говорят, в сей битве, кроме многих раненых, убито было пятьдесят пять человек, а всего более пало коней. Но у скифов более двадцати тысяч человек погибло...» [1]

Написав эти строки, диакон Лев спрятал чернильницу, отер вспотевший лоб и надолго задумался.

Задумаемся же над этими строками истории диакона Льва и мы, читая их через тысячу лет.

## 6

После жестокого поражения на болгарской равнине ромейское войско не могло остановиться ни по пути, ведущему через Адрианополь к Константинополю, ни у Филиппополя, ни в Ме-

[1] «История Льва Диакона», СПб. 1840, стр. 69.

семврии, где двигались угры и печенеги. Подобно буре, вырывающей с корнем деревья, подобно туче, что неумолимо надвигается и обволакивает все вокруг, рвались вперед вои Святослава, и рассеянные таксиархии ромеев не могли их остановить.

В Адрианополе, в доме патрикия Феодора, где уже останавливался император и собирал своих полководцев, идучи на рать, он велел протовестиарию Мануилу позвать к себе полководца Варда Склира, его сына Константина, патрикия Петра, начальника метательных машин Иоанна Куркуаса и стратигов Фракии и Македонии.

Император гневно порицал их за то, что они якобы не выполнили его приказ и выставили малые засады во время боя на равнине. Они же будто бы были повинны и в том, что не сумели удержаться в Пловдиве и прочих городах, из-за чего войска день и ночь отступают и сейчас.

Полководцы молчали. Сами они ничего не решали, а только выполняли волю императора. Но они не обвиняли и его — Иоанн руководил всеми битвами согласно точной византийской науке, при помощи которой они побеждали в Италии и Азии. В поражении ромеев виновны были только вои Руси и их князь Святослав, который вел бой не так, как предвидел император и его полководцы, и совсем не так, как они бы того хотели.

Вот почему полководцы молчали, только подвыпивший Иоанн Куркуас заметил:

— А ведь до Константинополя рукой подать...

Император грозно посмотрел на него и на всех.

— Неужели мы допустим, чтобы Русь вторглась в пределы Византии? Неужели и на этот раз они станут со своим свирепым Святославом под стенами нашего священного города?

— Не допустим! — закричали испуганные полководцы.— Веди, император, на бой!..

— Мы укрепимся,— воодушевился император,— на равнине близ Аркадиополя, а впереди себя во всех лесах поставим засады... Немедленно пошлем переодетых лазутчиков к Агатополю и за Родосту. Пусть они убивают и грабят местных жителей — выдавая себя за русских — и тем озлобят их против Святослава. Наш долг — не допустить его к Константинополю. Ты, Иоанн Куркуас, поставишь в Аркадиополе метательные машины и уничтожишь русов греческим огнем...

Император Иоанн кончил бы еще не скоро, если бы у дома не остановился гонец из Константинополя, которого все узнали по виду: гонцы императора носили легкие шлемы с длинными страусовыми перьями.

Став на пороге, гонец упал ниц, вынул из потайного кармана свернутый пергамент и протянул протовестиарию, а тот подал его императору, после чего гонец быстро удалился.

Император собственноручно сорвал печати и развернул пер-

гамент. Сделав несколько шагов вперед, к окну, где было светлее, он внимательно прочитал послание.

Но что случилось с императором? Что было написано в пергаменте? Император с притворно безразличным видом прочитал, положил пергамент на стол, потом поднял голову и поглядел на полководцев. Но это был уже не тот император, который только что кричал о победе и обещал вести их на бой. Император вдруг побледнел, взгляд его блуждал, руки — это заметили все полководцы — дрожали.

— Ничего, ничего! — скорее обращаясь к самому себе, сказал император.— Проэдр Василий пишет,— обернулся он к полководцам,— что из Азии прибыло три легиона, они уже вышли из Константинополя и направляются к нам...

Император Иоанн немного помолчал.

— Но проэдр медлит,— вырвалось у императора,— он думает, что это большой выход в Софию, а не поле битвы, и не торопится, а у нас... у нас... выхода нет...

Издалека слышалась тяжелая поступь таксиархий. Ржали кони, доносился лязг оружия. Все было, казалось, как и прежде, но что-то произошло с императором Иоанном.

Он говорил, он пытался говорить, как и раньше:

— Мы станем на равнине близ Аркадиополя... Вперед мы пошлем лазутчиков... Ты, Иоанн, поставь свои метательные машины...

Но было заметно — император говорит не о том, о чем думает: произошло нечто, чего он не мог предвидеть, и теперь упорно ищет выхода.

И как ни странно, помог Ионн Куркуас, лишенный каких бы то ни было военных способностей и говоривший часто нелепости.

— А что, император,— сказал он,— если мы задержим Святослава тем, что предложим ему мир?

Все полководцы ужаснулись и онемели: на сей раз этот пьяница сказал такую глупость, которая не предвещала ничего хорошего ни ему, Иоанну Куркуасу, ни им. Иоанн Цимисхий — и мир! Да разве гордый, упрямый император пойдет на мир, да еще с русским князем?

Однако императора, казалось, вовсе не удивили слова Иоанна Куркуаса. Напротив, услыхав их, он улыбнулся и заметил:

— Ты, Иоанн, угадал мои мысли...

Полководцы подняли головы.

— Я повторяю,— продолжал император,— что нам нужно стать укрепленным лагерем на равнине, я говорил, что надо всюду, где движутся тавроскифы, поставить засады и послать лазутчиков, а тебе, Иоанн, выставить метательные машины.

Произнеся это, император сделал передышку.

— А тем временем,— в заключение сказал он,— необходимо немедленно послать к Святославу василиков и предложить ему

мир... Мир! Да, мир. Ты, протовестиарий, едешь в качестве василика и берешь с собой епископа Иосифа. А там,— закончил император,— наступит время, и мы с божьей помощью пойдем в поход против тавроскифов.

Вскоре полководцы покинули дом патрикия, в котором остановился император, и, уходя, благодарили на сей раз начальника метательных машин Иоанна Куркуаса. По пути, разговаривая об этом, все они добавляли, что до сих пор знали Иоанна Цимисхия как опытного и бесстрашного полководца, а теперь видят и признают в нем подлинного императора — достойного преемника Юстиниана и Константина.

И никто из них не знал того, что в эту самую минуту полководец-император Иоанн шагает в доме патрикия Феодора из угла в угол, порой останавливается, склоняется над столом и перечитывает пергамент проэдра Василия, в котором написано:

«Феофано бежала с Прота, сидит в соборе святой Софии и хочет говорить только с тобой, император».

Между тем протовестиарий Мануил и епископ адрианопольский Иосиф торопливо собирались, чтобы отправиться василиками императора в недалекий, но страшный путь — к князю Святославу.

## 7

Опустив на шею коня поводья, в кольчуге, в шлеме, на верху которого торчал влажный от росы голубой еловец, и держась правой рукой за крыж меча, а левую приложив к глазам, князь Святослав смотрел вдаль.

Перед взором князя Святослава открывалась безбрежная, слившаяся с небом равнина. На ней кое-где высились скалы; одинокие и необычные среди этого зеленого моря, темнели полосами леса. Обходя горы и леса, по долине текли, отражая голубизну неба, спокойные реки.

В горах позади и в долине было очень хорошо в этот ранний час: небо голубое, бездонное, воздух пронизан розовой дымкой, зелень свежая, яркая, точно умытая росою. Поражала и тишина; то тут, то там пробовали голоса птицы, откуда-то издалека доносилась девичья песня.

Однако в долине за каждой скалой, у каждой речки, в лесах — повсюду притаилась смерть. Здесь проложена единственная дорога с гор в Византию, здесь идет великая битва между Русью и империей, битва, ради которой издалека явился сюда князь Святослав. Он уже спустился со своими воями с высоких гор; здесь, в долине, уже произошла жестокая сеча между русским и римским войсками. А сколько еще крови прольется, сколько людей погибнет!

Князь Святослав поглядел назад. Там над рекой, у леса,

темнел стан русских воев, тянулся большой полукруг связанных между собой возов и высоко в небе вставали дымки — вои готовили еду. В солнечных лучах тускло поблескивали копья...

Посмотрел князь и в другую сторону — на запад. Там, далеко, над другой уже рекой и у другого леса, темнел стан ромеев; на самом высоком месте стоял шатер императора, над которым развевалось знамя империи, высились шатры его таксиархий и полков; легкий ветер доносил оттуда неясные голоса.

И князь Святослав подумал, что пройдет немного времени — и стан станет против стана. На этой зеленой равнине сойдутся закованные в броню и одетые в обычные порты люди, натянут тетивы своих луков, наставят копья, поднимут секиры. Не цепы будут молотить здесь, на равнине,— люди станут убивать друг друга, не роса, а кровь упадет на зеленые травы, а из лесов прилетят на поле брани черные вороны.

А разве не лучше сойтись на этой равнине двум — императору Византии и князю Руси?

— Смотри,— сказал бы князь Святослав императору,— на это небо, землю. Там — Русь, там — Византия, а вот тут — болгары. Почто хочешь, император, уничтожить Болгарию, а потом и Русь? Я пришел — и ты видишь силу Руси: любовь и мир — разве это худо? Только будем держать слово крепко. Ты клянись Христом, я, по обычаю нашему, даю клятву на оружии.

Василики императора ромеев — протовестиарий Мануил и епископ адрианопольский Иосиф — прибыли в стан князя Святослава ранним вечером. Ехали они под белым знаменем.

— Кто едет? — крикнули, увидя их на дороге, дозорные чела.

— От императора ромеев... василики... к князю Руси Святославу,— ответили протовестиарий и епископ.

Их отвели в стан русских воев, к большому шатру, над которым развевалось знамя князя Святослава.

Но не князь говорил с василиками: когда их ввели в шатер, там стояли в ожидании воевода Свенельд и несколько тысяцких.

— Мы от императора ромеев Иоанна,— начал протовестиарий,— василики, патрикий Мануил и епископ Иосиф, прибыли к князю Святославу...

— Князя нашего Святослава тут нет,— ответил им Свенельд,— мы, воеводы и князья, слушаем вас и будем говорить за князя и Русь...

Василики поклонились, и протовестиарий продолжал:

— Император ромеев Иоанн спрашивает русского князя: зачем он привел свое войско сюда, в Византию?

Воевода Свенельд обменялся взглядом с воеводами и обратился к протовестиарию:

— Князь Святослав пришел не в Византию, а в Болгарию, с которой у него мир, а потому князь спрашивает у императора ромеев: зачем он привел свое войско в Болгарию?

Василики растерянно молчали.

— А если император хочет знать,— добавил Свенельд,— зачем князь Святослав пришел в Болгарию, то мы скажем — не золота вашего ради, хотя вои наши за него уже заплатили кровью...

— Император ромеев очень сожалеет,— умолчав о кентинариях, промолвил протовестиарий,— что здесь, на равнине, произошла сеча, и не хочет, чтобы кровь лилась и далее.

— Веруя в бога,— добавил епископ,— мы не должны нарушать мир, уложенный еще нашими предками, ибо посредником между ними был сам бог. Потому мы советуем, как друзья, тотчас и без дальнейших переговоров покинуть землю, которая вам не принадлежит. Если же не послушаете нашего совета, то нарушите мир и любовь с нами вы, а не мы...

Протовестиарий Мануил, вдохновленный словами епископа, стал угрожать:

— А если принудите императора ромеев выступить против вас со всем своим войском, то погибнете здесь все и некому будет даже уведомить Русь о вашей гибели...

Когда толмачи перевели слова протовестиария и епископа воеводам, те переглянулись, перекинулись несколькими словами, и воевода Свенельд сказал:

— Напрасно вы, василики, всуе призываете бога и совсем уже напрасно грозите князю и воям нашим. Теперь послушайте нас. Если вы пришли говорить о любви и мире, будем про это и говорить — мы хотим и любви и мира. Но коли мир, то настоящий — сами ромеи позвали нас сюда, по их вине произошла здесь сеча. Пусть император даст нам дань на всех воев, живых и убитых... Если желаете мира и любви, уходите навеки из Болгарии; князь Святослав с воями своими тоже согласен уйти за Дунай. Если же ромеи не покинут Болгарии, не дадут дани, не выкупят пленных, то мы пойдем вперед, поставим свои шатры у самого Константинополя и покажем, что мы не жены, не дети, которых можно запугать, а храбрые вои, побеждающие врагов оружием. И пусть тогда ромеи не сетуют, а переселяются в Азию...

Василики не знали, что ответить воеводам князя Святослава. Дали дары воеводам и князьям — золото и паволоки — и вернулись в свой стан.

Вечером они явились снова перед станом князя Святослава. На сей раз они везли с собой другие дары — меч и щит императора Иоанна.

— Быть по сему! — сказал князь Святослав.— Заключим мир!

Феофано своего добилась: для беседы с нею в Софию прибыл император Иоанн. Он явился не один, а с проэдром Василием. К собору они подошли поздно вечером через сад Большого дворца, где их никто не мог увидеть, и приблизились к северным воротам. Этериоты расступились перед ними...

Служителям храма, видимо, было известно, что кто-то придет из Большого дворца, и службу в этот вечер не правили. Софийский собор высился среди площади, темный, огромный, точно гора. Темно было и внутри собора, куда зашли император и проэдр. Кое-где ровным пламенем горели свечи, но казалось, что они не излучают света.

Император и проэдр, вступив в собор, быстро шли по каменному полу, за ними шагали этериоты. В соборе было пусто, эхо шагов звучало в темных переходах, билось в конхах, повторялось в высоких куполах, наполняло весь собор.

Проэдр еще в детские свои годы пел в хоре мальчиков с девичьими голосами и знал в совершенстве все закоулки этого огромного храма. Он уверенно шел вперед и только на мгновение остановился у двери перед лестницей, которая вела в катихумений. Там, при свете нескольких свечей, стояли, скрестив копья, два великана-этериота. Увидав императора и проэдра, они мгновенно расступились. Проэдр первый ступил на малоосвещенные ступени, следом тяжело поднялся император, за ним — этериоты. У покоев катихумения проэдр остановился и дал дорогу императору, этериоты остались с проэдром.

Император Иоанн стал на пороге. Феофано ждала его в ярко освещенном многими свечами уголке. Пользуясь тем, что в покоях была ризница василисс, она нарядилась, как надлежало августе. На ней была яркая, сиреневого цвета туника, на плечах красное корзно, на шее и высокой груди сверкали золото и камни, только на голове не было диадемы.

И что говорить: даже здесь, в мрачном катихумении, среди пыли и плесени, ее стройный, словно выточенный из мрамора, стан, упругая грудь, страстные губы, темные, блестящие глаза — все было пленительно прекрасно.

Но любовник Феофано, ныне император Иоанн, увидав ее, не пошел вперед. Это, казалось, был уже не тот Иоанн, которого она знала: те же глаза, в которые она смотрела когда-то,— и не те, те же губы, которые ее целовали,— и не те.

Феофано невольно коснулась рукой своей груди — неужели за это короткое время она так изменилась, неужели она не прежняя Феофано, перед которой трепетали, при виде которой сходили с ума? Все, и Иоанн в том числе.

— Иоанн! — вырвалось у нее горячо, страстно, маняще.

Что-то похожее на улыбку появилось на его лице. Он пошел

вперед и, как усталый человек, тяжело опустился в кресло недалеко от Феофано.

— Неужели все это правда? — зашептала она и подошла к нему ближе.— Я так тебя любила, ты тоже клялся мне в любви. Подумай только, что смогла свершить наша любовь? Ты — император! Приветствую, поздравляю тебя! Но неужели ты забыл меня, Иоанн?

— Ты очень упряма,— начал он,— если заставила прийти к себе василевса ромеев.

Феофано пыталась шутить:

— Если меня не пускают к императору, пусть он придет ко мне.

— Хорошо,— и он пренебрежительно махнул рукой,— ты звала меня, я пришел. Чего же ты хочешь от меня, Феофано?

— Меня удивляет,— вспыхнула она,— как можешь ты об этом спрашивать? Неужели ты не понимаешь, чего я хочу?

— Чего ты хочешь, я понимаю. Но почему ты, Феофано, очутилась здесь, в этом катихумении? Почему ты не на Проте?

— А как я могла там оставаться? — быстро заговорила она.— Я думала, что ты выслал меня на Прот потому, что этого требовал патриарх, и тогда не винила тебя. Но сейчас патриарха Полиевкта уже нет...

— Скажи лучше, Феофано, кто тебе помог бежать с Прота? — прервал ее император.

Притворившись растерянной, она, взвешивая каждое слово и стараясь угадать намерения Иоанна, ответила:

— Того, кто помог мне бежать, уже нет.

— Кто же он?

Феофано, снова задумавшись на мгновение, ответила:

— Этериот Вард, брат Льва Валента.

Император усмехнулся,— конечно, он знал уже все о Варде Валенте.

— Мне очень жаль Варда,— сказал император.— Я повелел казнить тех, кто перерезал веревки лестницы, по которой он спускался.

— Ты всегда был справедлив, Иоанн,— сказала Феофано и тоже улыбнулась.— Вард Валент и в самом деле достоин того, чтобы наказать виновных в его смерти.

— Но ты не сказала, кто был за ним.

— Я не знаю, Иоанн. На скедии, которая ждала меня внизу, были неизвестные мне гребцы. Ночью мы плыли по морю, а утром я высадилась в Золотом Роге.

— И тебе неизвестно, кто послал Варда и гребцов?

— Нет!

Иоанн долго молчал, а потом промолвил:

— Ты упорна и сильна, Феофано. Что ж, если так, я скажу тебе...

Он оглянулся, взглянул на закрытую дверь катихумения и прошептал:

— Варда Валента послал я...

— Ты послал Варда?

— А почему это тебя удивляет? Я знал все и послал Варда к тебе.

Феофано пристально посмотрела в глаза Иоанна, желая угадать: правду ли он сказал? А если правду, то с какой целью? Но на этом спокойном и, как ей казалось, довольном лице не шевельнулась ни одна черточка. И тогда Феофано очень медленно произнесла:

— Сейчас ты такой, каким был,— умный, настойчивый. Что ж, если ты начал говорить правду, скажу и я. Конечно, я знала,— продолжала Феофано, глядя ему прямо в глаза,— что ты послал Варда. Он сам говорил мне об этом, а в последний раз сказал, что бежать с Прота повелеваешь ты.

Император хорошо знал Варда Валента. Феофано еще чувствовала на своей щеке поцелуй этериота. Обоим казалось, что Вард стоит рядом в этом большом темном соборе. Но они его не боялись — Вард был мертв.

— Верно,— сказал император,— это я велел Варду устроить твой побег с Прота, это я... через наших друзей велел ему привезти тебя. Но почему ты не пошла в Константинополе туда, куда сказал Вард?

И тогда Феофано поняла — Иоанн не знает, кто послал к ней Варда. Он не знает, кто вырвал ее с Прота, и хочет выведать, кто ее друзья, потому что это его враги.

— Что мои друзья без тебя? — грустно промолвила Феофано.— Я хотела говорить не с ними, а с тобой.

— Да.— Иоанн понял, что ничего не узнает от Феофано.— Увы, когда я посылал к тебе Варда, нам было о чем поговорить. Но Вард задержался, и когда ты прибыла, во Фракии был Святослав. Ты опоздала, Феофано.

Она долго молчала и смотрела — не на Иоанна, а на лики святых, которые, казалось, как живые, стояли вдоль стен и слушали их беседу.

— Иоанн,— внезапно повернувшись к императору, сказала она,— я все понимаю, кроме одного: как мог ты — ведь я тебя хорошо знаю — взять себе в жены Феодору?

— Узнаю тебя, Феофано,— он улыбнулся.— Однако отвечу. Хочешь правду — скажу и ее. Я взял Феодору потому, что любил Феофано.

— Спасибо! — Она громко рассмеялась.— Любил... что ж, спасибо за такую правду.

— Ты смеешься? — сурово промолвил он.— Не смейся, я очень любил и сейчас люблю тебя, Феофано...

Она протянула вперед руки.

— Ты любил и любишь? Что же это, Иоанн,— она указала на катихумений, в темную пустоту собора, которая открывалась за галереями,— что это, сон?

Иоанн, глядя в черную бездну собора, продолжал:

— Нет, это не сон... То, что нас окружает, и мы сами — это не сон, хотя порой и напоминает его. Большой дворец, Буколеон, та ночь — нет, не сон... Ты была василиссой, я — лишь полководцем. Но тогда мы были вместе, в наших руках была страшная сила, мы хотели убрать с пути Никифора — и убили его! Разве это сон?

— Нет,— согласилась Феофано.

— Сейчас,— продолжал Цимисхий,— собор, ты и я, но... мы уже не вместе. Ты — беглянка с Прота, я — василевс, и всё — люди, обстоятельства,— все сложилось так, что я остался один.— Феофано казалось, что он говорит правду.— Была Феофано — я вынужден был выслать ее на Прот, был проэдр Василий — но и ему я больше не верю; со всех сторон меня окружает раздраженный и безжалостный Константинополь, вокруг — сенат и синклит, теперь — Святослав, болгары, угры, Азия, Египет, весь мир, и все враги и враги.

— Но почему ты не говоришь обо мне, своей Феофано?

Он словно проснулся.

— Я не говорю о тебе? О нет, я все время только и говорю о тебе... Я мечтал о тебе, ждал, когда умрет Полиевкт...

— И не дождался меня?

— Я тебя ждал, а тем временем Святослав очутился во Фракии, в Азии поднял мятеж Лев Фока и еще несколько родственников Никифора, а здесь, в Константинополе, на гробнице Никифора пишут, что убила его ты...

— Но ведь убивала его не я, а ты?

— Молчи. Его убили не ты и не я, а Лев Валент. Так я сказал в ту ночь и тогда же повелел его казнить — ради тебя, себя... Виноваты мертвые — так всегда лучше, Феофано.

— А Феодора?

— Большому дворцу нужна василисса, теперь он ее получил.

— Мне жаль тебя, император.

— Не смейся, Феофано, не о веселых вещах я говорю, а горькую правду.

— Я знаю, что это правда, вижу, мне нет места в Константинополе. Неужто так и будет? Что же мне делать? Опять на Прот?

— Нет,— быстро ответил он,— я не пошлю тебя на Прот. Ты должна жить далеко от Константинополя, но близко от меня, тебе нужно жить там, куда не достигнет рука Большого дворца, но откуда ты быстро можешь прибыть ко мне.

— О чем ты говоришь Иоанн?

— Ты поедешь в Армению. Там я родился и рос, там всюду мои люди, там ты ни в чем не почувствуешь недостатка...

— А дети?

— Девочек ты возьмешь с собой, а Василий и Константин пусть соцарствуют со мной. Им я хочу только добра. Здесь, в Константинополе, они никому не нужны, а тебе и мне когда-нибудь будут полезны.

Феофано вышла на балкон катихумения, откуда был виден весь собор, алтарь, написанная в нем икона божьей матери, и стала, опершись о перила.

Прошла всего минута, две, но Феофано обдумала многое. Любил ли ее когда-нибудь Иоанн? Нет, не любил, она была ему только нужна, как и проэдр Василий, Лев Валент, этериоты, убившие Никифора. Любит ли он ее теперь? Нет, не любит, но боится, может быть, больше, чем кого бы то ни было, потому что знает ее силу, знает, как она мстит. Знает, что у нее есть друзья, такие же сильные, страшные, мстительные, как и она, Феофано. Одного не знает император: кто эти друзья... Вот почему Иоанн пришел сюда, в катихумений. Он боится ее, боится их; он говорит правду — император Византии остался один... Теперь она в безопасности, он не убьет ее, потому что боится... Что ж, пусть боится, пусть дрожит! А ей придется ехать: ведь теперь, когда сюда, в катихумений, вошел император, ее не защитит никто, даже бог! Очень хорошо, что Иоанн посылает ее в Армению, она согласна ехать куда угодно, лишь бы не на Прот. Феофано даже удивило, что Иоанн предложил Армению. Никифор подарил ей несколько городов в Армении, там она станет одной из богатейших женщин, а через купцов и послов, которые беспрестанно пересекают Понт, будет знать, что делается в Константинополе. С нею поедут две дочери; сыновья, Василий и Константин, останутся здесь — учиться в Магнавре...

Феофано оглянулась и посмотрела на императора, который с усталым видом сидел в кресле, глубоко задумавшись, склонив голову на руки.

«А может,— мелькнула у нее мысль,— он не хочет меня терять как соучастника и помощника. Ведь он знает, что я все могу сделать. Нет, конечно, он высылает меня, чтобы я его не убила, но хочет сохранить мне жизнь, чтобы убить вместе со мной и своих врагов, когда потребуется».

— Иоанн! — позвала Феофано.

— О, я устал и задумался,— промолвил он.— Чего тебе, Феофано?

— Я согласна. Но... там, в Армении, я останусь василиссой?

— Ты будешь почитаема и восславлена как василисса.

— И ты не забудешь меня?

— Нет.

— Что ж, прощай, Иоанн,— сказала она.— А может быть, ты сегодня останешься здесь, в соборе? Ведь в твоем распоряжении мутаторий — половина собора. Да здравствует София! — вызывающе закончила Феофано.

Он посмотрел на нее, чудесную, освещенную огнями свечей, прекрасную Феофано.

— Кто знает,— император вздохнул,— когда мы увидимся. Может, сегодня, может, через несколько лет. Знаю одно: корабль в Армению уходит завтра. Прощай, Феофано.

— Прощай!

Император Иоанн поправил на плечах дивитиссий, положил руку на меч и вышел из катихумения.

Феофано долго еще стояла на том же месте, смотрела на дверь, закрывшуюся за императором, слушала, как он спускался по ступеням, как внизу к нему присоединилось много людей,— видимо, этериоты.

Потом она погасила все, кроме одной, свечи и села у стола. Феофано думала, представляла себе, как Иоанн покинул собор, прошел со своей охраной от Магнавры до Каввалариц, идет среди развалин по саду сераля. Вот он приблизился к Хрисотриклинпуму, оставил позади мигающий во мраке ночи фар, вот и стены Буколеона. Этериоты постучали в ворота, проэдр Василий смотрит через оконце, кто пришел. Но зачем ему смотреть — он знает, кто это, и велит этерии поскорей отворить потайную дверь. Вот император Иоанн входит, идет, вот дворец, знакомый китон, где спит Феодора, где так тихо-тихо...

И почему-то она подумала, что император Иоанн не сможет заснуть в эту ночь. Феофано не спит, не спит и он; она думает о нем, а разве он не думает о ней?! Нет, император не спит, все думает, думает, колеблется, решает, выходит из китона. Перед ним расступаются этериоты, ведь он — василевс, может идти куда вздумается.

Император выходит в сад, приближается к скамье над скалой, где часто сидел с Феофано. И вдруг круто поворачивает и направляется к потайной двери восточной стены Буколеона, вынимает ключ, который хранится лишь у него, отпирает дверь и идет уже иным путем — далеко от фара, мимо бань, церкви Богородицы,— спешит к Софии...

Феофано не удивилась, когда услыхала где-то внизу, в глубине собора, шаги. Не удивилась и тогда, когда шаги прозвучали по ступеням, за дверью катихумения. Дверь отворилась, на пороге стоял кто-то в темной одежде. При слабом свете свечи Феофано все же разглядела лицо, глаза, рот и скрещенные на груди руки проэдра Василия.

— Я пришел к тебе, Феофано,— тихо промолвил он.

Она встала, быстро направилась к проэдру и положила руки ему на плечи.

— Спасибо, я ждала тебя... Но как мог ты покинуть Буколеон и императора?

Мгновение он смотрел на нее восхищенным взглядом.

— Зажги, Феофано, побольше свечей. Да, эту, эту, еще одну, вот ту, перед иконой. Пусть будет много света. Император спит, спит Буколеон и весь Большой дворец, но я, Феофано, не сплю, не могу спать. Я должен быть везде. Этериоты пропускают меня всюду, куда бы я ни шел, везде охраняют, даже в соборе святой Софии.

— Я очень хотела тебя видеть и рада, что ты пришел, Василий, потому что не понимаю, что происходит вокруг меня.

— А что же тебе непонятно? — равнодушно промолвил проэдр.

— Я не узнаю Иоанна,— быстро заговорила она.— Когда-то он любил меня, а сейчас, видимо, не любит. Когда-то я была его сообщницей, теперь он чуждается меня. Теперь, когда я очутилась в соборе, он говорит, будто...

— Освободил тебя с Прота? — спросил проэдр и засмеялся.

— Да, он утверждает это... Почему ты смеешься?

— Я смеюсь, Феофано, потому, что Иоанн никогда тебя не любил, потому, что мы сделали его императором, и все это знают, кроме него; смеюсь оттого, что он думает, будто обманул нас, в действительности же мы обманываем его. И еще смеюсь тому, что он уже не император, а труп,— слышишь, только труп, Феофано...

— Я понимаю, что он может вскоре стать трупом,— согласилась она.— Но кто это сделает? И я не понимаю, Василий: кто же будет после него?

Он посмотрел на Феофано, такой же, как и всегда,— проэдр, постельничий... Но при свете свечей Феофано вдруг заметила в его лице что-то общее с головой императора Романа I на кентинариях — те же глаза, нос, рот, подбородок...

— Об этом Константинополь узнает позже,— близко склонившись к ней, прошептал проэдр.— Я уничтожил многих императоров... Остается подобие императора, горбоносый...

— Ты говоришь правду,— согласилась она,— и ты должен убить горбоносого.

— Мы умертвим его вместе. Дай руку, Феофано.

— Вот моя рука. Что нужно сделать, Василий? Для чего ты взял меня с Прота? Ведь Иоанн сказал, что вышлет меня в Армению.

Проэдр ответил не сразу, он долго прислушивался, не слышно ли в соборе какого-либо шороха. Там было очень тихо. Василий сказал:

— Зная Иоанна и русских воев, я был уверен, что все закончится в Болгарии, что там Иоанн, подобно Никифору, станет

трупом. Поэтому я хотел, чтобы здесь, в Константинополе, все было наготове. Я, ты, наши полководцы, этерия.

Проэдр умолк.

— Однако смерть Варда Валента спутала все, и ты, Феофано, попала не туда, куда он должен был тебя отвезти. Не ко мне, а сюда, в собор. Выйти же отсюда труднее, чем войти. Уцелел и Иоанн. Что ж, подождем, Феофано. А сейчас тебе надо уехать в Армению. Это лучше, чем Прот.

— Очень далеко, мой проэдр. Я боюсь за себя, за детей...

— О нет,— спокойно возразил проэдр,— Армения недалеко. Если понадобится, мои корабли пересекут море, и ты будешь здесь. Иоанн не убьет тебя, рассчитывая, что ты ему еще можешь понадобиться и в случае чего спасти его. Не убьет и не сможет убить еще и потому, что тебя повезут в Армению и будут там охранять мои, наши этериоты. Что император Византии,— задумчиво закончил проэдр Василий,— если живы мы с тобой, Феофано! Верь мне, не станет нас — не станет и этой империи, ибо держится она только на нас. А у меня к тебе одна просьба.

— Говори, Василий!

— Когда-то давно ты мне дала два порошка из Египта. Они действуют наверняка — никто не догадывается, почему умерли императоры Константин и Роман. Но у тебя остался еще один порошок.

— У меня трудная, полная неожиданностей жизнь. Я берегу этот порошок для себя, Василий.

— Ты должна дать его мне, я не хочу, чтобы ты выпила этот порошок. Лучше уж я дам его Иоанну.

## 9

В Адрианополе князь Святослав встретился со своим братом, князем Улебом. Они долго не виделись. Двинувшись из Преславы против Иоанна, князь Святослав велел князю Улебу вести рядом с уграми несколько тысяч своих воев через Родопы, на Средец и Филиппополь, чтобы зайти к врагу с запада... Там князь Улеб должен был подождать и задержать войско Иоанна, если оно попытается бежать к Солуни.

Князь Улеб, как и угры, пробился к Филиппополю, стал на перевалах и наносил удары отрядам Иоанна, которые после великой битвы в долине бежали на запад, а в Адрианополь прибыл тогда, когда мир с ромеями был уже заключен.

— Ты хорошо сражался в Родопах,— сказал князь Святослав, встретив брата.

— Мне достались только беглецы,— промолвил, вздыхая, Улеб.— Жалею, что не пришлось побывать в большой сече.

— Сеча была великая,— согласился Святослав,— и, боюсь, не последняя.

— Почему, Святослав? — Улеб вздрогнул.— Ведь ты заключил мир с Иоанном, мы получим с греков дань и сможем уйти на Днепр, домой...

— Сердце мое рвется к Днепру, Улеб,— промолвил Святослав,— но скоро ли мы там будем?

— Ты что-то задумал, брат?

— Что мне замышлять, Улеб?! Я шел и иду прямой дорогой, воевал не ради корысти, ради Руси. Сюда пришел, ибо знал: будет мир в Болгарии — не сунутся ромеи и к нам. Трудно мне было воевать с двумя врагами — против Иоанна и кесаря Бориса.

— Но ведь и Иоанн и Борис знают, что брани больше не будет, уложен мир.

— Не верю я в это,— сердито заметил Святослав.— Сейчас приходится заключить мир, но что случится весной — не знаю.

— Святослав! — вырвалось у Улеба.— Доколе будет литься кровь, доколе в чужих землях терять своих людей будем?

— Князь Улеб,— сурово ответил Святослав,— лучше бороться с ромеями здесь, чем под стенами Киева. И не только я так делаю. Не зла хотели Руси князья Олег и сын его Игорь, когда ходили к Царьграду, стояли под его стенами и укладывали мир. Я делал так, как отцы мои, показал силу Руси и уложил с греками мир. Русь сохранит этот мир. Двинемся сейчас на равнину, к Дунаю, зимой подойдет подмога от уличей и тиверцев, хочу договориться и с печенегами.

— Значит, к весне опять война?

— Войны я не начну,— твердо сказал Святослав,— но должен быть готовым, коли затеет ее Иоанн. А дабы он не захватил Болгарию и не обрушился страшной грозой на нас, я оставлю воев в Преславе и во всех городах.

— Воля твоя, брат,— согласился Улеб.— Велишь — останусь в Преславе...

— Зачем тебе оставаться в Преславе, брат? — сказал Святослав.— Здесь будет неспокойно, надлежит глядеть и за горами, и за кесарем Борисом.

— Неужто ты думаешь, брат Святослав, что я не сумею углядеть и за горами и за кесарем Борисом?

— Того не думаю, но у меня найдется немало воевод, коим надлежит глядеть за горами и за кесарем. Мы же, князья, должны быть там, где и наши вои,— над Дунаем...

— Воля твоя, брат,— согласился Улеб. В его больших темных глазах, смотревших в окно на далекие, окутанные тучами горы, была тоска.

Там же, в Адрианополе, князь Святослав встретился с василиком Калокиром. Но не князь искал встречи с василиком — все время, когда вои шли по долине, Калокир ехал следом за ними. Когда василики Иоанна прибыли в Адрианополь, Калокир прятался от них. Но едва только был уложен мир, он вышел из тайника и явился к Святославу.

— Челом тебе, князь,— начал, низко кланяясь, василик.

— Будь здрав,— ответил князь.— Но почему ты здесь? Я думал, что ты давно там, где тебе и надлежит быть...

— А где же мне надлежит быть?

— Как где? В Константинополе...

— Нет, князь! — промолвил Калокир.— Возвращаться в Константинополь мне поздно. Василиков, не выполнивших того, что им поручали, императоры высылают на далекие острова и ослепляют... либо топят в море...

— Почему, Калокир? Ведь ты, сдается, сделал все, что нужно было императорам. Они пожелали, чтобы я стал на Дунае,— я стал там, хотели, чтобы я вторгся в Болгарию и покорил болгар,— я сделал и это...

— Но, князь, случилось и то, чего не хотели императоры: ты боролся не с болгарами, а с кесарями и, покорив кесарей, пошел с болгарами на императора...

— Верно, Калокир, я пошел на императора, потому что он уже стоял в Болгарии.

— Это так,— безнадежно промолвил Калокир.— Из Киева и даже с Дуная я мог еще возвратиться в Константинополь как василик. Но из Преславы уже поздно, князь...

— То можешь вернуться в Херсонес, к своему отцу — протевону.

— А разве Херсонес не империя?! — с отчаянием крикнул Калокир.

Князь Святослав окинул взглядом костлявого, высокого Калокира и почувствовал к нему отвращение. Сейчас, впервые за все время их знакомства, князь поверил ему так, как верят убийце, сознавшемуся в своем злодеянии, как верят вору, который открылся в краже.

Ибо с кем сравнить предателя, который покинул в великой беде свой народ, пошел на хлеба к врагу своего народа, потом изменил и тем, кто давал ему этот хлеб, и переметнулся к врагу врагов, помышляя о том, когда и как обмануть и его?! Калокир на сей раз говорил правду: ему не было места в Константинополе, император Иоанн разыщет его и в Херсонесе. Поздно возвращаться и в Армению, к родным когда-то людям! Такова судьба предателя.

— Князь Святослав! — умоляюще промолвил Калокир.— Не гони хоть ты меня, ведь я тебе не изменял, оставался твоим другом.

Другом?! Если бы Калокир знал, как оскорбило князя Святослава сказанное им слово. О, князь любил и уважал друзей так же, как ненавидел врагов, но разве может быть ему другом предатель?

— Не обижайся на меня,— словно угадывая его мысли, сказал Калокир,— я тебе еще очень пригожусь. Ты станешь на Дунае, потом поедешь на Русь, а в будущем придется тебе еще много беседовать с императорами. Если я не пригожусь тебе как друг, то буду свидетелем во вражде с ними.

Князь Святослав задумался. Он знает цену василику! Калокир уже не скрывается от него, да и что может, казалось бы, скрывать разоблаченный предатель? Он говорит правду, прогнать предателя легко, а может, лучше оставить его на страх другим?

— Добро! — усмехнувшись, промолвил князь.— Не скрываю: после всего, что случилось, василик императора не может быть другом русского князя. Но сын протевона может, как и прочие, идти вместе с воями.

В тот же день, к вечеру, Калокир смиренно вошел в шатер князя Улеба — помолиться Христу.

В Преславе князя Святослава встретил кесарь Борис. Видно было, что он вместе со своими болярами ждал киевского князя. Борис встретил Святослава далеко от города, на первом перевале.

В Золотой палате болгарских каганов, куда собрались все боляре, именитые боилы и кметы, кесарь Борис сказал:

— Я, по милости твоей, кесарь, от боляр, боилов и всех, иже суть под моей рукой, челом тебе бью, великий князь Святослав, и благодарю за то, что заступился с воями своими за обиженных болгар, а сам заключил с императорами почетный мир...

— Не для себя заключил я мир,— ответил Святослав,— но и ради Болгарии, хочу, чтобы была любовь меж нами, дондеже светит солнце. А будет существовать любовь — не страшны нам никакие императоры.

— Неужели император ромеев посмеет нарушить с тобой мир? — искренне удивился кесарь Борис.

— Если бы я стоял под стенами Константинополя, император Иоанн не нарушил бы мира,— ответил Святослав.— Я сделал что мог, мы условились с императором, что он покинет Болгарию и уйдет в Константиноноль, я оставляю Планину и отойду к Дунаю...

— Трудные времена наступают для Болгарии,— испуганно произнес кесарь Борис.— На западе у нас неспокойно, придется вести борьбу с комитопулами Шишманами, здесь — великая разруха, ты станешь далеко, на Дунае, а потом уйдешь на Русь.

— Так,— сказал князь Святослав,— вои мои рвутся на Русь, там хотят быть, я тоже хочу в Киев-град. Но боюсь за Болга-

рию, за ее людей и потому стану на Дунае. К тому же близка и осень, кесарь, поздно уже плыть по морю. А чтобы было спокойно на Планине и в горах, безопасно в Преславе, оставлю свой полк и воеводу...

— Воля твоя,— тихо промолвил кесарь Борис.— Знаю, как тяжко тебе, и не хотел бы тебя утруждать, княже. Коли так болеешь за нас, оставь полк в Преславе. Но кто будет тут твоим воеводой?

— Воеводой останется Свенельд, первый мой муж.

— О, про воеводу Свенельда мы слыхали! — сказал кесарь Борис.— За такого воеводу спасибо тебе, княже...

После беседы кесарь Борис дал в честь князя обед. Ожил дворец болгарских каганов, засверкал огнями. Князь Святослав сидел рядом с кесарем и его женой — василиссой, дальше, за богато накрытыми столами,— боляре, боилы, кметы. Они ели, пили и оживленно беседовали между собой.

А за завесами, как это делалось в Константинополе, стоял хор преславского собора, боляре заводили:

Многая лета великому князю Руси...

И хор пел:

Многая лета... Многая лета... Многая лета...

Боилы кричали:

Многая лета кесарю Борису...

И снова:

Многая лета... Многая лета... Многая лета!

Так, в песнопениях и славословиях, и опять в песнопениях, прошла добрая половина ночи...

Князь Святослав возвращался из Преславы в свой стан, расположенный в горах, поздно. Ночь была темная, кони шли сторожко, руки воев лежали на крыжах мечей.

Где-то далеко в горах бушевала гроза. Раскаты грома не доносились сюда, к Преславе. Только время от времени на южной, очень темной, половине неба, пробегали, точно гигантские огромные змеи, молнии. И тогда на краткий миг становилось светло, были видны скалы, деревья, нависшие над пропастью, узкая тропа, по которой ехали всадники, каждый камешек, каждая былинка. Но после вспышки надолго наступал полный мрак, даже звуки становились глуше. Казалось, всадники едут по дну моря.

Князь Святослав думал о сварожичах, которые в такую ночь сходят с неба, тайком носятся над землей, нацеливаются и пускают Перуновы стрелы — вечный огонь, пробивающий скалы, сжигающий деревья, нивы, разящий людей...

А разве не то же самое делается на земле? Небо и земля — как они похожи! Среди брани и труда живут люди, враждуют и мирятся между собой. Если труд — то труд, если брань — то брань — так, казалось Святославу, и должны жить люди. Не осуждал он честной брани, когда люди с глазу на глаз сходились в поле, чтобы мечом и копьем разрешить свою распрю.

Но всю свою жизнь князь Святослав осуждал тех, которые тайно, как тати в ночи, подкрадывались к врагу, которые не шли честно на распрю и брань, а заходили со спины, как эти сварожичи, которые по ночам блуждают над утомленной, покрытой мраком землей и, когда все спят, кидают стрелы Перуна.

И еще знал князь Святослав, что он долго и с великим трудом идет своей дорогой, старается разрешить несогласия с императорами и кесарями честно, в бою. Но не все они так же честно отбиваются от его меча, а действуют коварством, ложью.

Ложь и коварство трудно распознать. Где-то близко от князя ходит ложь, кто-то рядом с князем носит у сердца отравленную стрелу. Но кто же среди людей на земле его друг, а кто враг?

Князь Святослав вдруг остановил коня. Сдержала коней и его дружина. Все молчали. Все думали, что князь что-то услышал или заметил, никто не шевелился.

А князь сидел на коне и смотрел на южную половину неба, где над высокими темными горами пробегали и пробегали, точно огненные змеи, ослепительные молнии, где били и били в скалы, леса, города Перуновы стрелы.



## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

Заключая с князем Святославом под Адрианополем мир, император Иоанн вовсе не собирался его соблюдать. И как только русские вои двинулись к Преславе и далее на восток, стал готовиться к войне.

В этой новой войне Иоанн предполагал действовать не так, как раньше. Уже с осени по его приказу в Болгарию под личиной купцов и тасинариев было заброшено множество лазутчиков. С целыми мешками денег расползлись они по болгарским городам и селам, покупали что попадется под руку, обменивали деньги и разведывали все, что интересовало императора.

Возвращаясь через перевалы, лазутчики сообщали, что Святослав со своим войском ушел далеко, к самому Дунаю, оставив лишь немного воев у подножия гор — охранять Преславу, Плиску, Данаю.

Император велел лазутчикам добраться до самой Преславы, разузнать, где находится кесарь Борис, связаться с ним и

болярами. Лазутчики докладывали, что кесарь Борис находится в Преславе, но никто проникнуть к нему не смог.

Зимой Иоанн Цимисхий отдал еще одно распоряжение: перебросить через горы в Болгарию отряды монокурсов, которые, скрываясь в лесах, совершали бы налеты на села, грабили и убивали жителей, а всем говорили, что они — вои князя Святослава.

А тем временем по всей империи собирали войско, в Константинополь перебрасывали легионы из Азии. И все это направлялось во Фракию и Македонию — там, в городах и селах от Солуня до Агатополя, над реками Марицей, Чунджой и Ардобой, на южных склонах гор, стратиги вооружали и обучали друнги, а топархи готовили свои турмы и банды.

Все они стояли уже в боевом порядке, на три-четыре мили отряд от отряда, с таким расчетом, чтобы первый отряд, завидев врага, мог сообщить об этом другому, тот — третьему, и так до самого стана и полководцев; на всех дорогах, ведущих из империи на восток и север, также стояли заставы.

Этим многочисленным войском во Фракии и Македонии командовали Вард Склир с братом Константином и патрикий Петр — лучшие полководцы империи.

Когда же на побережье Пропонтиды запвела весна, а в горах, как доносили лазутчики, растаяли снега и подсохли дороги, император Иоанн назначил большой выход из Большого дворца к Влахерну, с молением в храме Спасителя и в храме Богородицы.

Из алтаря Иоанн поднялся на стену Влахернского дворца и долго наблюдал, как на тихой глади Золотого Рога триста кораблей проводят бой с воображаемым противником: сходятся и расходятся на веслах, поднимают и опускают ветрила, мечут на воду греческий огонь. Это было величественное зрелище: огромные корабли со множеством огней плыли в вечерних сумерках, а вверху, над водным простором Золотого Рога, мерцали звезды.

Император Иоанн остался доволен пробным боем и повелел выдать всем гребцам и воинам, принимавшим в нем участие, награды. Друнгарию же флота приказал еще до рассвета выйти из Золотого Рога, направиться к устью Дуная и преградить там выход лодиям князя Святослава.

Сам же Иоанн, понимая, что этим он начинает войну со Святославом и что теперь нужно торопиться, в ту же ночь выехал на колеснице в Адрианополь.

В Адрианополе император, сделав смотр войскам, сказал полководцам:

— Настал час ударить на князя Святослава...

Лица полководцев говорили о том, что они давно ждали этого часа и готовились к нему.

— Осенью мы вынуждены были заключить мир с князем Святославом,— продолжал Цимисхий,— у нас было неспокойно в Азии и в Константинополе. Сейчас, слава богу, в Азии тишина, царит покой и в столице. Мы должны немедленно выступить в горы и молниеносно обрушиться на головы русских воев.

Вард Склир, хорошо запомнивший сечу прошлого года, пытался высказать свои опасения.

— Великий василевс,— начал он,— дороги в горах еще не просохли, нам придется пробираться через ущелья, где бушуют быстрые потоки...

— Лучше идти в горах по бездорожью и не видеть врага,— сердито возразил император,— чем по торной дороге, которую преградят русы и болгары; лучше переходить через многоводные потоки, чем через потоки собственной крови; лучше нам воевать с русскими воями и кучкой болгар сейчас, чем с русами и всей Болгарией, которая только и ждет весны...

— Но, великий василевс,— пришел на помощь Склиру начальник метательных машин Иоанн Куркуас, который раз в жизни дал удачный совет императору и теперь при каждом удобном случае хвастался этим,— близится праздник Христова воскресения!

— День Христова воскресения близок,— согласился император,— и в этот день нам надлежит, как христианам, надеть светлые одежды, есть, пить, веселиться. И почему бы нам не встретить этот праздник в Преславе?

Это был второй случай, когда Иоанн Куркуас помог императору, но все полководцы проклинали Куркуаса.

В ту же ночь по широкой дороге, которая вела из Адрианополя в Филиппополь и дальше, в горные теснины, цокали копыта множества коней — это Иоанн Цимисхий вел свое войско на перевалы.

Одновременно двинулись турмы фем из Агатополя, Совополя и Месемврии — Иоанн хотел вступить в Болгарию со стороны моря; шли также турмы из Солуни, чтобы подкрасться к Преславе с запада; одновременно в Понте спешили к гирлу Дуная корабли империи со страшным греческим огнем.

Император Иоанн действовал как всегда: где-то в городах и селах Болгарии вершили свое черное дело лазутчики и поджигатели, а сам он, окруженный бессмертными, ехал под стягом империи впереди, и следом за ним скакали закованные в броню всадники, тысячи оплитов тащили пороки и тараны.

Начальником всего обоза Иоанн назначил проэдра Василия: император не хотел, чтобы проэдр во время войны оставался в Константинополе. Он предпочитал, чтобы проэдр находился возле него.

## 2

В Преславе во главе дружины, охранявшей город и дворец, стоял воевода Свенельд. Гонцы с гор, едва лишь войска ромеев вошли в ущелья, уведомили его о вероломстве Иоанна, и горькая усмешка собрала морщины на лице старого воеводы. Император ромеев шел не так, как русские вои, он не посылал впереди себя гонца с черной стрелой, не говорил: «Иду на вы!»

Но сейчас не время было думать о том, почему так поступал василевс империи. Сейчас, и как можно скорей, Свенельду нужно было решать, что делать ему и его дружине.

У него были три пути: идти вперед, к ущельям, и там встретить войско Иоанна; отступать назад, чтобы соединиться со Святославом, и, наконец, на месте принять бой с войсками императора ромеев.

Свенельд решил сообщить обо всем Святославу и двинуться навстречу Иоанну, но вслед за гонцами из ущелий явились гонцы с других перевалов, которые сообщили, что ромейские войска идут с нескольких сторон. И Свенельд понял, что идти вперед — значит попасть в ловушку, которую ему готовит Иоанн.

Отступить — такая мысль мелькнула в голове Свенельда лишь раз, но он тотчас отбросил ее,— никогда еще в жизни он не отступал перед врагом, не отступит и перед Иоанном.

Поэтому Свенельд решил стоять в Преславе и ждать Иоанна. Не теряя ни часа, он послал в ближайшие города и села гонцов, чтобы собирали болгар, осмотрел валы и рвы перед Преславой, отдал наказ укреплять их, оглядел стены Преславы, побывал в Вышнем граде, где жил кесарь Борис.

В палате кесаря Свенельд застал нескольких боляр, они поклонились ему и быстро вышли.

— У меня есть сведения,— сказал Свенельд,— что император Иоанн с войском движется к Преславе.

— Как? Император Иоанн нарушил мир, не сдержал слова?! — притворяясь искренне удивленным, воскликнул кесарь Борис.

Темные тени легли на лицо Свенельда.

— Не сдержал слова,— подтвердил он,— и несет великие беды болгарам и русам. Может, тебе, кесарь, лучше не оставаться здесь, а выехать на Дунай, к князю Святославу?

— Что скажут болгары,— возмущенно промолвил кесарь,— если я покину Преславу в эту тяжкую годину?! Спасибо тебе,

воевода, что печешься обо мне и болгарах, но я останусь здесь и буду стоять рядом с вами.

— Нет, кесарь, стоять тебе рядом с нами в Преславе не следует. Преславу мы защитим, а ромеи попадут сюда, в Вышний град, только через наши тела. Прощай, кесарь!

Так и уехал воевода Свенельд из Вышнего града. А когда он скрылся на своем коне за воротами, к кесарю снова явились боляре, и он сказал им:

— Я должен остаться здесь, а вы поезжайте в Преславу и сделайте все, чтобы император Иоанн как можно скорее попал сюда, в Вышний град.

А еще через день, в темную весеннюю ночь, войско императора Иоанна подошло к Преславе и стало в поле. Едва забрезжило — затрубили трубачи, загремели литавры, загудели бубны. Подняв знамена, войско ромеев двинулось с трех сторон на Преславу.

Но император Иоанн напрасно надеялся, что ему удастся одним ударом взять Преславу. Когда стало светать и на розовом небе зачернели ее башни, ромеи увидели, что вдоль стен против легионов Иоанна стоят русские вои — щит к щиту, наставив копья, а со стен города навстречу уже летели тысячи стрел.

Во главе воев и небольшой старшей дружины на коне с мечом и щитом в руках сидел воевода Свенельд. Он оглядывал свое войско, оборонявшее Преславу и Вышний град. У стен города больше, чем русских воев, собралось селян и париков, пришедших сюда со всех концов на клич Свенельда. Это была уже большая, хорошая дружина.

Правда, Свенельд знал, что враг стоит не только перед ним, но и за спиной — кесарь Борис, боилы, боляре. Потому заранее велел русским и болгарским воям не только вглядываться внимательно вперед, но и слушать, что делается позади. А разве у императора ромеев, который идет на Преславу, враг — только Свенельд с дружиной? У него враги кругом, даже горы!

Бой разгорался все сильнее и сильнее.

Русские вои не только защищались. Покуда лучники гнали впереди них тучу стрел, а пращники и метальники кидали со стен острые камни, другие вои, держа перед собой высокие щиты, с грозным, устращающим кличем, уже хорошо знакомым врагам, двинулись вперед и сразу врезались в колонны растерявшихся ромеев.

Иоанн Цимисхий, наблюдавший издали, с высокого холма, за ходом сражения, дал приказ полководцам двинуть войска вперед и как можно быстрее отбить наступление русских воев.

Но не ромеи, а вои Руси продвигались все дальше и дальше вперед, и на зеленом поле перед стенами Преславы чернело множество тел. Русские вои издавали победный клич, а ромеи кричали от ужаса.

Несколько долгих, очень напряженных, страшных часов бились русские вои с ромеями. Поле боя оглашалось криками, бряцанием щитов, звоном секир, свистом стрел. Ромеи отступали.

Иоанн бесновался.

— Их гораздо больше, чем докладывали наши лазутчики,— говорил император, стоя на холме с Вардом Склиром.

— Наши лазутчики не приняли в расчет болгар,— ответил Склир.— Их гораздо больше, чем русов, и все они бьются не на живот, а на смерть.

— Но о чем думают боляре?! — неистовствовал Цимисхий.— Наступил решительный час, сейчас они могли бы ударить с тыла.

— Я полагаю, что русские вои бьются не только здесь, на поле, но и в городе...

— Тогда пошли бессмертных.

По приказу Иоанна с левого фланга на русских воев налетели закованные в броню, вооруженные длинными копьями бессмертные.

Услыхав лошадиный топот, русские вои разгадали замысел ромеев, но не отступили и на этот раз, а набросали на пути бессмертных бороны, воткнули в землю множество копий, и взбесившиеся кони понесли всадников куда глаза глядят.

Это был страшный конец Преславской сечи. В этот день на поле полегло много русских воев. Но гораздо больше того потерял император Иоанн, так и не взяв, как рассчитывал, с первого удара Преславу. Русские вои не были побеждены. Только когда стало темнеть, они отошли за стены, подняли мосты и заперли ворота.

Несколько дней Иоанн Цимисхий тщетно пытался взять Преславу. К ромеям с перевалов подходили все новые и новые легионы. Много раз Иоанн повелевал брать город копьем; к стенам Преславы подвели пороки и тараны. Иоанн Куркуас установил машины, которые поливали город огнем, и катапульты, бросающие камни...

Защитники Преславы теперь уже не отворяли ворот. Стоя на стенах, они гасили пожары, бросали на ромеев камни, лили кипящую смолу, осыпали их стрелами.

Случалось и по-другому: несколько раз во время боя под стенами Преславы в стане ромеев поднималась тревога — то начинали гореть метательные машины, то стрелы летели воинам в

спицы. Ночью ромеи боялись удаляться от стана — кто-то неведомый совсем близко скрывался среди скал.

Наконец разгневанный Иоанн объявил Варду Склиру и Иоанну Куркуасу:

— Пасху я должен встретить в Преславе! Если вы этого не сделаете, я сам поведу войска, а вас прикажу повесить.

Тогда в пятницу пошли на новый приступ Преславы. Вард Склир, Иоанн Куркуас и прочие полководцы, зная, что им грозит, если они не возьмут город, обещали воинам большие награды да еще напоили их допьяна.

И когда машины Иоанна Куркуаса стали метать камни, а в стены внезапно ударили пороки и тараны, ромеи кинулись к стенам, поставили лестницы и со страшным, леденящим душу криком полезли наверх.

Битва эта тянулась бы, наверное, еще долго, и, наверное, защитники Преславы дрались бы на ее стенах до конца, но в самый страшный час, когда русские вои отбивали пьяных ромеев, когда стены залили потоки крови, а над каждым уже витала смерть, кто-то сбил крюки и засовы на воротах, распахнул их и открыл путь врагу...

Но и тогда Преслава еще не пала. Многие вои ринулись тотчас к воротам, увидав там боилов и боляр, свершивших черное дело, схватили их и подняли на копья. Вои стали грудью у ворот и бились секирами, ножами с ромеями. А когда сошли со стен и остальные, вои, подняв щиты, стали отходить к Вышнему граду, который высился на горе над Камчией, бросились к гриднице и стали на ее стенах.

Когда император Иоанн въехал в город, бой еще продолжался. Сойдя с коня и стоя на скале, откуда были видны Вышний град и гридница перед ним, Иоанн понял, что им не скоро удастся взять гридницу, где собралось несколько тысяч русов и болгар, и велел сжечь ее.

Ромеи потащили все, что только могло гореть, и со всех сторон поджигали деревянные стены гридницы, стены града.

День угасал. Солнце ушло за горы. Багряное море колыхалось на западе, и огненное море бушевало в Преславе — горел Вышний град, краса Болгарии, гибли в огне русские вои.

Но вот русские вои стали быстро выходить из огненного моря. Они становились перед гридницей, предпочитая умереть с оружием в руках, чем сгореть в огне.

Так началась последняя сеча в Преславе. Со всех улиц спешили к греднице пешие и конные ромеи. Они медленно окружали стоявших в поле воев. Их оставалась тысяча, потом несколько сот, потом несколько десятков. Они умирали, но перед ними вырастал вал вражеских тел. Это было так страшно, что император Цимисхий воскликнул:

— Я еще не видел, чтобы кто-нибудь так умирал!

Как раз в это время к императору примчались всадники и доложили, что нашли в Вышнем граде в каменном дворце кесаря Бориса.

Услыхав об этом, император Иоанн, не мешкая ни минуты, вскочил на коня и во главе большого отряда бессмертных помчался к дворцу.

Известие о кесаре Борисе очень взволновало императора: значит, Святослав держал его в тюрьме Вышнего града, а войска ромеев наступали так быстро, что русские вои не успели его вывезти...

«Скорее туда, скорей! — думал император.— Я сниму с него кандалы, выведу из темницы, живой кесарь Болгарии мне нужен больше, чем Преслава!»

Думал он и о другом. Начиная от Аспаруха и Омарторга, как это было хорошо известно Иоанну, болгарские кесари собирали в своих древних столицах — Плиске, а позднее Преславе — неслыханные сокровища. Об этих сокровищах знал весь мир и, конечно, императоры Византии. Начиная свои войны с Болгарией, они всегда стремились к Плиске и Преславе, тянулись к этим сокровищам. Мечтал о них и император Иоанн. О, как нужны были сейчас золото, серебро, драгоценные камни обнищавшей империи!

Но император, конечно, не допускал и мысли, что сокровища болгарских кесарей могли уцелеть, если князь тавроскифов побывал со своей ордой в Преславе, он, безусловно, взял сокровища с собой. Разве не так поступил бы Иоанн? Повсюду — в Сирии, Египте, арабских странах,— где только ни проходил со своим войском Иоанн, он прежде всего захватывал сокровища...

До каменного дворца в Вышнем граде было совсем близко, и Цимисхий с бессмертными быстро прискакали туда. Влетев в ворота дворца, они увидели, что там происходит то же самое, что и в Преславе: со всех сторон неслись стоны, крики, ходили с мешками легионеры.

— Где кесарь? Быстрей к нему! — крикнул Иоанн.

— Он в церкви! — ответили императору.

Вместе с бессмертными император кинулся к церкви. Но что это? В сопровождении своих боляр на пороге церкви появился кесарь Борис — в белой одежде, пурпуровом корзне, перепоясанном красным поясом, в красных сандалиях, с цепью и гривнами на груди. Увидев императора, кесарь остановился и, упав ниц, приветствовал его.

— Встань,— промолвил Цимисхий,— и подойди сюда.

Кесарь сделал несколько шагов и стал перед Иоанном.

— Бедный кесарь Болгарии,— сказал император,— как долго и много ты страдал...

— Да, великий василевс, нам всем пришлось долго и много страдать...

— Ты, кесарь, со своими болярами оказал большую услугу, отворив ворота Преславы, и империя никогда не забудет ваших стараний... Но я не знал, что ты на свободе, я думал, что Святослав бросил тебя в тюрьму...

— Нет, император, мучения мои и боляр были ужасны, но в темнице я не сидел, а оставался все время здесь, в Вышнем граде.

— Великое счастье, что вы все уцелели,— промолвил император Иоанн, обернувшись к болярам.— Я пришел сюда, угнетенные болгары, чтобы спасти вас от орд тавроскифов, от язычника Святослава, чтобы освободить Болгарию, чтобы жить с ней в любви и мире, как завещали императоры ромеев и как стремились к тому ваши кесари...

И в знак своей благосклонности к болгарам император сошел с коня, подал руку кесарю Борису, и они вместе направились ко дворцу.

Там император ромеев хорошо поел, выпил, отдохнул, а потом спросил кесаря Бориса:

— А как, кесарь, с сокровищами?

— Они целы, василевс...

— Как? — Император не мог скрыть своего удивления.— Святослав не успел их забрать?

— Нет,— ответил неторопливо кесарь Борис,— он не стал их брать.

— Проклятый тавроскиф! — воскликнул император Иоанн.— Верь мне: он побоялся их взять, зная, что я настигну его даже за Дунаем и покараю, а за сокровища придумаю самую лютую кару.

Кесарь Борис на мгновение вспомнил свою беседу со Святославом, когда тот даровал ему жизнь и сокровища, и ничего не ответил.

— И где эти сокровища? — продолжал император.

— Они здесь, во дворце, в подземелье...

Опьяневший от вина император прищурил глаза.

— Кесарь Борис,— сказал он,— ты покажешь мне эти сокровища. Я хочу видеть, что имеет Болгария!

— Я исполню твою волю...— согласился кесарь.

С восковыми свечами в руках они по ступеням спустились в глубокое подземелье. Кесарь Борис сам отпер два тяжелых замка на железных засовах и отворил дверь. Они вошли в подземелье и остановились...

Сначала, пока глаза не привыкли к темноте, трудно было понять, где они очутились. Где-то близко шумела вода — должно быть, рядом, за стеной, а может быть, и над ними, бушевала Камчия, мимо свечи императора раз и другой пролетел нетопырь...

Немного погодя император осмотрелся. Они стояли в про-

сторном подвале, конец которого терялся во мраке. Подвал, видимо, был построен в стародавние времена из огромных глыб серого дикого камня. На глыбах вдоль стен, в тяжелых железных сундуках и прямо на земле, лежали сокровища.

Здесь было много оружия: древних болгарских, украшенных золотом, серебром и усыпанных драгоценными камнями мечей, щитов, шлемов, много римского оружия, корон, цепей, гривен императоров и тех князей и воевод, с которыми когда-то воевали болгары; в сундуках насыпью лежали арабские, византийские, франкские золотые и серебряные деньги. Один сундук был наполнен драгоценными камнями.

— Какое счастье,— вырвалось у императора Иоанна,— что князь Святослав не захватил этих сокровищ!

— Да,— согласился кесарь Борис,— Болгария стала бы очень несчастной, потеряв эти сокровища.

— Сейчас она будет счастлива,— сказал император.— Римская империя спасет Болгарию. Я буду гнать Святослава до самого Дуная, а понадобится — пойду и за Дунай. Мы выполним свой долг перед империей и Болгарией до конца. Но кто-то должен остаться и в Преславе. На западе — Шишманы, а на севере — угры. Нужно беречь Преславу, эти сокровища... Я оставляю тебя кесарем империи и Болгарии в Преславе.

Кесарь Болгарии Борис остался доволен. Только этого он и хотел от императора ромеев.

### 3

Князь Святослав, сидя в Переяславце, вскоре узнал о битве в Преславе. Гонцы, прискакавшие на конях из Плиски и Данаи, рассказали, что войска императора, воровски перейдя горы, стали под Преславой. Русские вои рубились там до конца, бок о бок с ними стояли насмерть и болгары, но все они сложили головы, а вместе с ними и воевода Свенельд.

Опечалился князь Святослав, узнав о гибели воев в Преславе и смерти Свенельда. Но гонцы докладывали, что, взяв Преславу, греческие воины идут дальше на восток, заняли Плиску и уже подходят к Данае.

Князь Святослав посылает навстречу ромеям отряды, состоящие из русских и болгарских воев. Болгарские вои знают каждую тропинку, каждое ущелье, каждый камень. Русские вои — смелые, отважные люди, они ничего не боятся, даже смерти.

И если после Преславы войска ромеев идут некоторое время точно в пустыне, а император Иоанн диву дается, куда делись болгары, то вскоре он узнает, где они и о чем помышляют. Чем дальше спускаются ромеи с гор, чем ближе подходят к Дунаю, тем труднее им продвигаться. По ночам на привалах подни-

мается тревога. Если ромеи останавливаются в ущельях, то сверху, со склонов гор, на них сыплются камни, из ночного мрака летят стрелы. Так день за днем, ночь за ночью. Воины уже не знают, откуда им ждать нового удара, где подстерегает их смерть...

Удивился князь, увидав под Доростолом воеводу Свенельда, даже глазам не поверил, но это была правда. Князь Святослав стоял и осматривал рвы перед Доростолом, поблизости от него остановился отряд всадников-болгар, а с коня сполз и, едва передвигая ноги, подошел к князю воевода Свенельд.

— Здрав будь, княже! — прохрипел он.

Князь Святослав окинул взглядом воеводу с головы до ног, желая убедиться, не ошибся ли он, и сухо ответил:

— Здрав будь...

— Князь Святослав,— с отчаянием в голосе промолвил Свенельд,— Преслава пала, вои наши убиты...

— А почему ты жив? — спросил Святослав.

Свенельд смотрел на князя, бледный, без кровинки в лице, глаза темные, глубоко запавшие, скулы заострились.

— Моя дружина погибла. Лучше бы и мне здесь не стоять. Но они ранили меня,— он показал на грудь,— у гридницы, и я не видел конца Преславы. А ночью болгарские вои вынесли меня из города, положили на коня, повезли, и я тут, княже...

Князь Святослав посмотрел на стоявших неподалеку болгарских воев, сурово нахмуренный лоб его разгладился, он по-другому взглянул на Свенельда и спросил:

— И глубокая у тебя рана?

— Что рана? — застонал Свенельд.— Болит сердце. Ведь в то время когда мы с болгарами рубились на стенах Преславы, кто-то отворил ворота города...

— Кто же?

— Об этом ведомо кесарю Борису и его болярам...

— Псы! — крикнул князь Святослав.— Значит, все ложь, все всуе? Мы им верили, помогали, спасали, а они наставили копья нам в спину. Проклятый кесарь, проклятые его боляре...

— Почему ты не убил их раньше, князь?

Князь Святослав коснулся рукой шеи, будто что-то мешало ему дышать.

— Убить?! — сказал он.— Верно, Свенельд, и кесарь и боляре достойны того, чтобы их убили. Но что сказали бы тогда в Византии, да и здесь, в Болгарии? Ведь они и так кричат, что мы язычники, варвары, убийцы...

— Нет,— помолчав с минуту, продолжал Святослав,— тому, кто убивает не льва, а пса, мало чести. Придет время, когда бешеные собаки перегрызут друг другу горло, и тогда будет видно, кто поступал честно — мы или кесари Болгарии. Жалко

болгар. Вижу, что Византия прольет здесь много крови, тяжелое ярмо наденет на выи болгар... Горе, горе Болгарии с такими кесарями...

— Но, княже, что же делать нам? — спросил Свенельд.— Император Иоанн идет с несметной силой, кесарь Борис со своими болярами ему поможет...

— Так,— согласился князь Святослав,— теперь кесарь поможет императору... А нам надо подумать: что делать?

Поздно ночью Святослав стоял на берегу Дуная, смотрел на небо, где висел серебряный серп молодого месяца, на тихие берега, на лодии, что вырисовывались на водной глади.

Посадив воев на лодии, он за одну ночь мог спуститься к устью Дуная и выйти в море.

Также за одну ночь князь Святослав мог со своими воями переправиться на лодиях через Дунай, выйти на левый берег и, потопив лодии, идти суходолом в Киев.

Оба пути были трудны и опасны — в гирле Дуная их могли поджидать корабли ромеев, а в поле за Дунаем встретить печенеги. Но разве впервые биться русским воям? Главное, что пути эти были и оба вели к Руси.

Но пройдет немного времени — и путей этих не станет. В устье Дуная войдут корабли ромеев, подымутся выше и отрежут путь к левому берегу. С гор в долину спустятся легионы императора Иоанна.

«Так что же делать?» — думал князь Святослав.

И вдруг он вздрогнул и быстро повернулся, услыхав за собой людскую речь.

Позади него стояли воевода Свенельд, киевские воеводы, мужи новгородские, тысяцкие из Переяслава и Родни, воеводы черниговские и древлянские.

— Почему не спите? — спросил князь.

— Не спится, княже, смотрим, слушаем Русь.

— Что вы слышите?

— Кличет она,— промолвил Свенельд и указал рукой на левый берег Дуная.

— Так что же, идти морем?

— Нет, княже.

— Тогда, может, переплыть Дунай и двинуться полем?

— Нет, княже!

— Но у Иоанна много войска...

— Знаем...

— А подойдут корабли ромеев — и через Дунай не перебраться.

— Знаем.

— Так что же делать? — спросил князь.

— Стоять на месте и беречь свою честь, княже.

И князь Святослав понял, что в эту ночь думает не только он, а вся его дружина. Трудно ему, трудно и дружине. Они знают, что сегодня еще открыты пути на Русь. Но это не их пути. Русь может стоять только лицом к врагу, а не спиной.

— Значит, не пойдем,— сказал Святослав.

— Не пойдем, княже, станем не на живот, а на смерть! — ответили воеводы.

## 4

Мир, в котором им суждено было жить, был невелик.

Город Доростол стоял на правом, высоком берегу, почти у самых его стен медленно катил свои воды широкий в этом месте Дунай. Вдали виднелся низкий, левый берег и спокойная на первый взгляд, безмежная равнина с желтеющими кое-где курганами и подступавшими к самой воде низкорослыми, густыми, как это бывает на болотах, лесами.

Но это была неспокойная равнина. Левый берег вечно грозил правому. Там, в болотах и в лесах, время от времени собирались орды, с высоких курганов они следили за правым берегом, подкрадывались к воде и внезапно, темной ночью переплыв Дунай, налетали на придунайские города и села.

Вот почему город Доростол и строился как настоящая крепость. Он стоял на высоком, скалистом берегу, откуда видны были плес и задунайская равнина. Город со всех сторон окружали деревянные, сложенные из городниц стены с тремя воротами: двое — со стороны долины и гор и одни — с Дуная. На стенах день и ночь стояла стража, а вдоль берега ходили дозоры.

Обычно в Доростоле жило немного людей: кмет со своей дружиной, боляре, купцы, которые вели торг на Дунае, ходили на лодиях в империю и посылали в море рыбаков, да еще ремесленники. Кметам и болярам принадлежали и плодородные земли на запад от Доростола и вдоль берега. Там жили повинники и парики.

Но в грозные времена, когда из-за Дуная врывалась какая-нибудь орда, в город собиралась вся дружина кмета, сюда мчались со всех концов со своими дружинами боляре, сюда бежали повинники и разные ремесленники, которые обычно ютились в хижинах и землянках за стенами города,— все находили приют за высокими городскими стенами, брали в руки оружие, опускали мосты, запирали ворота и принимали бой.

И теперь получилось так, как в давно прошедшие времена. Город над Дунаем, где каждый камень был орошен кровью, где песок и земля кругом были усеяны стрелами и человеческими костями, должен был еще раз спасать людей от смерти, спасать и воев князя Святослава.

Весь свой недолгий век князь Святослав прожил как настоящий богатырь. Если он видел, что на Русь надвигается черная туча, а людям ее угрожает опасность, он собирал свою дружину, предварял врага: «Иду на вы!» — и нападал на него.

Сейчас Святослав не мог сказать своего грозного: «Иду на вы!» — не он шел на врагов Руси, к нему самому коварно подползал со своим войском с гор император ромеев Иоанн. Он шел на Святослава, на его воев, на Русь.

Князь Святослав знал, что борьба с Иоанном будет долгая и жестокая. Римские императоры уже давно собирали силы и воевали с Русью — правда, чужой кровью; это они с давних пор подстрекали хозар идти на Русь, строили им крепости; они протягивали к Руси свои когти из Климатов, подбивали Русь против Болгарии, а Болгарию — против Руси; это они подбили печенегов ударить в спину русам...

Теперь император Иоанн вел легионы против Руси. О, как ясно видел Святослав свою ошибку под Адрианополем! Тогда, столкнувшись с русскими воями, император Иоанн заговорил о любви и мире... Нет, не о любви и мире с русами думал тогда захваченный врасплох император. Он понял, что не может победить, испугался и предложил Святославу почетный мир...

Почетный мир! Теперь киевский князь Святослав видел, чего стоит мир с императорами, чего стоит их царское слово, но сейчас думать об этом было поздно... Сейчас ему нужно укрепиться здесь, в Доростоле, и стоять насмерть.

Правда, не все тут, в Болгарии, искали спасения в Доростоле. Еще в то время, когда князь Святослав выступил со своими воями из Переяславца в Доростол и когда повсюду разнесся слух, что именно в Доростоле русский князь столкнется не на жизнь, а на смерть с императором ромеев, темной ночью бежал из Доростола в горы, на запад, вместе со своей дружиной кмет Банко, вслед за ним, нагрузив на челны свое добро, подались вниз по Дунаю купцы и некоторые боляре.

Но это была капля в море. По кмету и его дружине, купцам и болярам в Доростоле никто не тужил. Кроме бежавших, в Доростоле осталось еще немало купцов и боляр. Ехали они сюда и из других придунайских городов. Одним из первых прибыл в Доростол великий болярин Мануш, за ним прискакали боляре Горан, Радул, Струмен.

Сюда полк за полком подходили, развернув знамена, вои князя Святослава. Часть их вступала прямо в город, некоторые становились лагерем на равнине у стен Доростола.

Вместе с ними, а иногда вслед за ними, также под знаменами, шли вои Болгарии — они искали убежища в Доростоле и располагались на равнине.

На всех дорогах, что вели к Доростолу, слышались топот, скрип колес; ехали верхом, шли пешком у возов с высокими ко-

лесами, откуда выглядывали испуганные женщины и черноглазая детвора, шагали молчаливые, задумчивые повинники и смерды; от самых Железных ворот к Доростолу плыли челны.

Так постепенно в Доростоле собралось все войско князя Святослава, сюда бежало множество людей из Придунайской равнины, сюда же, в Доростол, незадолго перед тем как уже должны были запереть ворота, на нескольких колесницах и верхом прибыло много бородатых людей в черных длинных рясах.

Когда их впустили в город, старейший из них — высохший, необычайно бледный старец — попросил отвести его тотчас к Святославу.

Князь Святослав говорил с ним в доме кмета, где, видимо, расположился теперь надолго.

— Я пришел к тебе, князь, чтобы ты защитил меня и мою паству...— начал старец, остановившись перед Святославом.

— Кто ты, отче? — спросил Святослав.— И что у тебя за паства? Вижу я, что ты очень устал. Садись, отдохни здесь, отче!

— Я — патриарх Дамиан, а паства моя — все христиане Болгарии...— ответил старец и глубоко вздохнул.

— Святой патриарх,— Святослав улыбнулся и сел напротив,— как могу я защищать тебя, ведь я же язычник. Не Христу, а Перуну и другим богам поклоняюсь со своими воями.

— Княже Святославе, лучше уж мне прийти к тебе, язычнику, чем к императору и патриарху константинопольскому, которые ненавидят, проклинают и уничтожают нас, болгарских христиан...

— Не ведал я,— усмехаясь, промолвил Святослав,— что христиане ненавидят и уничтожают христиан. Сказывали мне, будто христиане проповедуют: «Не убий!»

— Княже Святославе! Все ромеи, от императора с патриархом до последнего патрикия и священника, только говорят: «Не убий!» А на самом деле они разбойники, грабители и просто воры...

Князь Святослав промолчал.

— Я говорю по правде, княже,— продолжал патриарх.— Ты сказал, что я христианин, а ты язычник, и это так. Мы люди разной веры... Разная вера и у нас в Болгарии. Знаю я, что разные веры есть и на Руси. Но ведомо мне и то, что мы в Болгарии терпим разные веры, а ты, княже, терпишь разные веры на Руси. Так и должно быть, каждый молится по-своему; сам Христос сказал, что для бога нет ни эллина, ни иудея.

Патриарх Болгарии очень устал после трудной дороги в горах, к тому же он сейчас волновался и потому на некоторое время умолк.

— Давно уже константинопольские императоры и патриархи ненавидят нас, болгар, ибо мы верим во Христа, но не верим в сатану, которого они заперли в Софийском соборе. Наш

народ не хочет и слышать о патриархе константинопольском, ибо знает, что за ним стоит император. И сколько крови уже пролили за это болгары! Кесарь Симеон отдал за это свою жизнь... Но кесаря Симеона не стало, а его наследники продались Константинополю, огречились, привели в страну ромеев. Я, княже, сейчас из Преславы. Ромеи убивают болгар, разграбили все храмы, издеваются над нами, христианами...

— А кесарь Борис? — спросил Святослав.

— Что кесарь Борис? — промолвил патриарх, воздев глаза го́ре.— Его мать — гречанка, с молоком матери он впитал лютую ненависть ко всем болгарам-христианам... Я проклинаю Бориса!

— Дивно мне слышать,— промолвил Святослав,— что патриарх Болгарии проклинает своего кесаря. Горе Болгарии, коли в ней такое творится! Но чем же я могу помочь тебе, отче?

— Прими нас в Доростол,— попросил патриарх.— Ты князь Святослав, язычник, как и твои вои, но я буду молиться, чтобы ты победил ромеев...

— Я не верю во Христа,— сказал Святослав,— но, если в Болгарии нет места для ее патриарха, оставайся здесь, отче...

## 5

Микула увидел Ангела издалека — он работал сразу же за колибой на огороде, разбивая заступом землю. Ангел выбирал камни.

И Ангел узнал Микулу. Едва только русский воин свернул с дороги и направился во двор, Ангел бросил заступ и поспешил ему навстречу.

— О, днесь доброго гостя маю! — закричал Ангел.— Цвитано, Цвитано! — позвал он жену.

Она прибежала, радостная, возбужденная, с румянцем на щеках.

— Как хорошо, что ты пришел! — заговорили они наперебой.

Но Микула был встревожен, обеспокоен.

— Лучше бы мне ныне не быть вашим гостем,— начал он.

— А что? — испуганно посмотрел на него Ангел.

— Зашел попрощаться.— Микула тяжело вздохнул.— Уходим на Дунай.

Ангел понял, о чем говорит Микула; он давно уже видел синие дымки на перевалах, слышал днем и ночью тяжелую поступь русских воев, спускавшихся в долину.

— Значит, это правда? — спросил Ангел.

— Правда, Ангел! — ответил Микула.— Ромеи напали на нас, взяли Преславу, Плиску, Данаю.

Увидев русского воина, со всех сторон ко двору Ангела спешили люди. Подошел ближний сосед, старый, седобородый Огнен, запыхавшись, стал подле них сват Ангела Гадж, подошли еще несколько мужчин и женщин, которые только что работали на огородах. Все стояли молча, тихо, прислушиваясь к беседе Микулы с Ангелом.

— Куда же вы идете? — спросил Ангел.

— Они изменой напали на нас и лезут со всех перевалов. Мы же уходим к Дунаю.

— И дальше пойдете, Микула?

Микула поглядел на болгар.

— Нет,— твердо сказал он,— спустимся к Дунаю и там будем биться.

— Но их очень много,— задумчиво промолвил Ангел.

— Уже и наши боляре прут и прут в горы, гавран гаврану очи не капат [1],— заметил сосед Огнен.— Сегодня ночью уехали, сам слыхал, братья Турены в Преславу.

— Теперь они вместе с ромеями опять возьмутся за свое.

Цвитана заплакала.

— Мы спустимся к Дунаю,— громко сказал Микула, чтобы приободрить сельчан,— и станем там. Разве для того приходили мы сюда, чтобы ромеи покорили эту землю?!

— О нет,— зашумели болгары,— русские вои — добрые вои, были бы они тут, мы бы жили...

— Не за то мы боролись,— продолжал Микула,— чтобы эту землю и вас покорили. Бились мы потому, что ромеи и для вас и для нас едины. Бились мы тут, бились там, в горах,— он протянул руку и указал вдаль,— станем теперь на Дунае насмерть.

— А что же нам делать? — крикнул Ангел.

— Так, так, что нам делать? — разом заговорили соседи.

Микула снял баранью шапку, словно она сжимала ему голову, и, опираясь на меч, долго смотрел на голубую долину, над которой висели, точно лодии с поднятыми ветрилами, розоватые облака. Из этой долины сюда, в предгорье, веял теплый ветер. Он приносил запахи свежей земли, молодой травы. Там, далеко-далеко, чернели полоски только что вспаханной земли; там повсюду виднелись люди, со всех концов доносился рев скота.

— Дивная земля,— сказал Микула, с нежностью глядя на долину и откидывая рукой волосы, которые падали ему на лоб.— Сейчас самая пора пахать, сеять зерно... Да вот ромей не дает.

— Что делать? Что делать? — повторяли растерянно люди.

Микула задумался.

---

[1] Ворон ворону глаз не выклюет.

— Моя земля вон там,— он показал на далекий небосвод,— а я буду стоять тут.

— Моя земля тут,— словно в ответ Микуле, сказал Ангел,— но я стану за нее там. Я иду с тобой, Микула.

— Разве только ты? — спросил сосед Огнен.— Не буду и я тут сидеть, пойду к Дунаю.

— И я... и я...— один за другим говорили соседи.

— Добрая земля, и добрые на ней живут люди! — промолвил про себя Микула.

— Я тебя одного не пущу! — воскликнула Цвитана.— Где ты с мечом, там буду и я.

— Зачем тебе идти? — заспорил Ангел, которому было стыдно за Цвитану перед людьми.— Разве это женское дело?

— Не говори так, Ангел, я пойду! — промолвила, закрасневшись, Цвитана.

— А когда же пойдем? — спросили болгары.

Только теперь Микула понял, что случилось то, чего он никак не ждал. Он зашел к Ангелу проститься, но было не до прощания — ведь Ангел и все собравшиеся здесь болгары идут с ними, русскими воями. И — хочешь не хочешь — Микуле придется их вести, заботиться о них, оберегать, чтобы не напали ненароком на них ромеи.

— Ну что ж,— сказал Микула,— сейчас и тронемся... Сбор здесь!

Соседи кинулись к своим дворам, Микула с Ангелом зашли в колибу.

— Что же брать с собой? — недоуменно спрашивала Цвитана.

— Захватим все, что сможем,— сказал Ангел,— ничего им не оставим.

— А вино?

— Что осилим — выпьем, мех с собой возьмем, а остальное выльем.

— Ты, Цвитана, не забудь иголку и нитки,— посоветовал Микула,— моя сорочка и ногавицы начисто прохудились.

— Выпьем-ка, Микула,— сказал Ангел, налив в деревянные чаши вино.

— Что ж, выпьем,— согласился Микула.

Посидев недолго, Ангел поднялся и сложил в мешок все, что, по его мнению, могло пригодиться на Дунае. Цвитана, разговаривая сама с собой, бегала по колибе, заглядывая в клети, ямы.

И вот они вышли во двор. Там собралось уже немало соседей. Да нет, тут были не только соседи, слушавшие Микулу. Подошло еще много мужчин, которые жили дальше. Но и это было не все. Со всех концов села ко двору Ангела шли мужчины, женщины, отроки. Несколько болгар спешили на конях,

еще несколько приехали на запряженных волами возах. Все в селе знали о принесенном Микулой известии и поступили так же, как и Ангел,— люди решили идти к Дунаю.

— Что же это? — Микула всплеснул руками.— Ведь идет все село...

— Где вы, там и мы,— услыхал он в ответ возбужденные голоса.— Ако смерт, да заедно...[1]

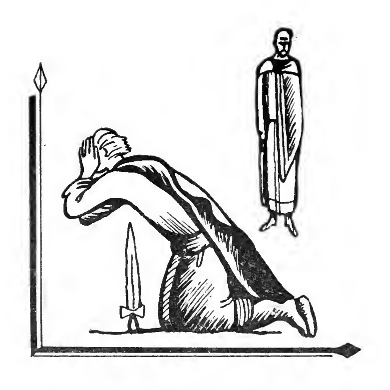
Долго стоял Микула на пороге колибы задумавшись. Потом вышел вперед и стал среди толпы.

— Коли так,— громко промолвил он,— сложим, люди, мешки на возы! Гей, комонники! — крикнул он всадникам.— Борзно поедете на брани. А ныне запрягайте возы, забирайте всякое жито, чтобы ромеям ничего не осталось, гоните коров, овец, уйдем все, ничего им не оставим.

И вскоре люди покинули родное село и — кто на возах, кто пешком — стали спускаться в долину. А впереди степенно шагал Микула.

---

[1] Если умирать, так вместе.



## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

Войско Иоанна Цимисхия стояло в Преславе несколько дней. Начальник метательных машин Иоанн Куркуас снова кичился и хвастался перед другими полководцами: это он посоветовал императору взять Преславу до пасхи, это только благодаря ему воины империи так быстро прошли опасные ущелья и стоят в Преславе. На радостях Иоанн Куркуас пил, пил столько, сколько могло вместить его огромное чрево. Пил вина греческие, болгарские, угорские, херсонесские, задунайские, земель уличей — из жита,— пил все, что можно было найти в погребах болгарских кесарей.

Однако, отдавая должное Иоанну Куркуасу как пьянице, не следует забывать и того, что здесь, в Преславе, он свершал еще одно привычное для него дело, да так, что даже диакон Лев упомянул о нем в своей истории: «Магистр Иоанн содеял в Мисии преступления против священных храмов: он ограбил мно-

гие в Мисии церкви, а ризы и священные сосуды использовал для собственной надобности». Что и кто бы ни говорил об истории диакона Льва, а об Иоанне Куркуасе он писал правду!

Однако пьянствовал и грабил Болгарию не только Куркуас, а все полководцы, воины, да и сам император Иоанн. На праздник Христова воскресения — о, его всегда отмечали в Константинополе торжественно, пышно! — здесь, в Преславе, император Иоанн совершил также великий выход из собора преславской Софии. Вместе с кесарем Борисом он проехал по узким улицам города, где еще зияли провалы выбитых окон и дверей и пахло гарью, вместе с кесарем выехал за город, к выстроившимся и бурно приветствующим императора легионам.

Потом император Иоанн разговелся, пообедал и даже облобызался с кесарем Борисом. А позднее позвал к себе проэдра Василия, объявил ему, что выступает с войском, и наказал как зеницу ока беречь сокровища болгарских каганов.

И византийский император Иоанн повел свое войско дальше...

Теперь, после того как войско прошло Стару Планину и Плиску, оно действительно казалось грозным и страшным. Там, в горах, где таксиархии скрывались в ущельях, этого войска почти не было видно. Здесь же, на склонах Планины и в Придунайской равнине, когда впереди ехало множество закованных в броню всадников, за ними следовало более пятидесяти пеших и конных таксиархий, а справа и слева двигались турмы и банды из фем,— здесь, на склонах гор и равнине, сразу предстала вся сила императора Иоанна, гордость Византии!

Продвигаясь со своими бессмертными среди этого войска, император Иоанн чувствовал себя в полной безопасности. Время от времени оглядывал он с пригорков свое войско и удовлетворенно улыбался. Но и это было еще не все. По приказу императора несколько таксиархий и друнг из фем продвигалось вдоль моря из Месемврии и Варны, чтобы, перебравшись через невысокие Лудогоры, неожиданно выйти к Дунаю. Где-то плыли к Дунаю и корабли Византии. Император Иоанн был уверен, что гордый Святослав, очутившись со своим войском на узкой полоске придунайской земли, не устоит против ромейского войска. Он уже сейчас, должно быть, седлает коней, чтобы бежать за Дунай!

Удивляло императора только то, что ромеи не встречали на своем пути вражеского войска. Незначительные бои пришлось вести только в Данае и Плиске — там стояла и до последнего человека билась стража князя Святослава. Легионы императора проходили через города и села Болгарии. Совсем недавно в них била ключом жизнь, кузнец делал свое дело, пахарь — свое. А сейчас легионы шли, не слыша людских голосов, не

видя ни кузнеца, ни пахаря, точно по Аравийской пустыне...

На вопрос, куда делись местные люди, не могли ответить даже боляре, которые выходили из укрытий и присоединялись к войскам императора. Люди были? Были. Мог ли князь Святослав забрать их с собой? Нет, князь Святослав их с собой не брал. Куда же они делись? Может, прячутся в Лудогорах, может, ушли за Дунай, а скорее всего, потянулись со своими женами, детьми и табунами далеко, за Железные ворота, на Тису!

Правда, время от времени то позади ромейского войска, то впереди, а несколько раз прямо среди стана появлялись неизвестные и наносили воинам императора большой урон — они нападали на бессмертных и быстро превращали их в смертных. В одну темную ночь они подползли к шатру и убили стратига Македонии Феофила.

Видимо, они охотились и за самим императором.

Иоанн велел всем своим полководцам внимательно следить, чтобы легионы выставляли побольше караулов. Полководцы поняли, что он прежде всего беспокоится о собственной порфироносной особе. Но они также опасались за свою жизнь и потому вдвое, втрое увеличили число вигл, расставляли стражу даже в стане, да и сами, говоря по правде, не столько спали, сколько прислушивались.

Однажды виглам удалось схватить неизвестных. Произошло это так. Довольно большой отряд вигл, числом до двадцати всадников, укрылся ночью в лесочке перед лагерем. Все они были начеку, прислушивались к малейшему ночному шороху, держали наготове оружие — секиры, мечи...

Однако, как они ни всматривались, как ни прислушивались, не слышали, как совсем близко, впереди, сзади и по бокам, появились неизвестные, накинулись на них, стащили с лошадей...

От неожиданности виглы растерялись, не успели ничего предпринять, и неизвестные очень быстро уничтожили отряд.

В стане услыхали крики вигл в поле, и туда помчались другие отряды. Тем временем начинало светать, ромеи бросились за неизвестными, долго разыскивали их в окружающих лесах, обошли все овраги, обшарили все кусты и наконец нашли трех — одного старого человека, с необычайно ясными глазами, глядевшими из-под густых седых бровей, с длинной седой бородой и такими же усами, и еще двух молодых, почти отроков.

По велению императора их привели к нему. Стоя в стороне, он долго смотрел, как воины пытали неизвестных, загоняя под ногти иглы, сжимая и разрывая тело клещами, железом.

Но никто из пытаемых не проронил ни слова о том, кто они, кому служат, чего хотят. И тогда император повелел зарубить их мечами.

И дальше точно в пустыне шел император Иоанн со своими легионами. Спустился с гор, вышел на долину, откуда виден был Доростол.

## 2

Князь Святослав знал, где и как идет император ромеев. Отступая с гор и долин, отряды, состоящие из русов и болгар, доносили, какие силы ведет с собой император, какими дорогами они идут, где останавливаются на ночлег. Зов обездоленной Болгарской земли, печальный стон ее людей непрестанно долетали до князя Святослава.

Князю Святославу известно было и то, что войско императора подходит к Доростолу не по одной, а по нескольким дорогам. Сам император идет через Данаю и Плиску, несколько таксиархий, крадучись через Лудогоры, поспешают выйти в тыл его воинам, а корабли Византии уже плывут к Дунаю, чтобы окончательно отрезать войско от родной земли, от Руси.

Все это князь Святослав знал. Возможно, что и теперь, переправившись через Дунай на лодиях, вои добрались бы до земли уличей, а оттуда на Русь.

Так советовал Святославу его брат Улеб. Как-то раз, когда князь Святослав стоял на берегу Дуная, за стеной города, Улеб сказал, глядя на широкий, многоводный плес и на далекий левый берег:

— А не лучше ли нам, брат, сесть на лодии и вернуться вспять, на Русь?

Князь Святослав тоже смотрел на плес и левый берег, но думал, видимо, иное, потому что ответил:

— Как не потечет никогда вспять Дунай, так не побегут никогда с поля боя русские вои. От чего это ты вздумал бежать, брат Улеб?

— От меча и копья, от смерти наших людей тут, на берегу Дуная...

— Кто уклоняется от боя с коршуном на скале, тот погибнет от него в долине,— сурово промолвил князь Святослав.— Коль не примем боя с императором на Дунае, настигнет нас неумолимая и бесславная смерть на Днепре.

— Брат мой, брат! — скорбно продолжал Улеб.— Не о себе пекусь, болит у меня сердце за людей...

— У многих своих людей повинен учиться и князь. Зане не научится, будет ему аки врагу и супостату...

— Спасибо, брат, за науку... Где ты, там и я... Станем по правде, брат! Пусть нам поможет Христос...

— Против византийского Христа буду бороться мечом, Улеб, а поможет мне Перун.

— Да поможет каждому из нас его бог,— закончил князь Улеб.

Увидел князь Святослав в тот же день и бывшего василика императора ромеев Калокпра. И не узнал его. Проходя через торг, князь остановился около купцов, продававших рыбу, которую рыбаки-болгары обычно ловили в лиманах и в устье Дуная.

Услышав, что купцы и народ о чем-то спорят, подняв невероятный шум, князь, подойдя к ним, спросил:

— О чем кричите?

— Это тухлая рыба,— кинулись к князю люди.— Купцы ее нарочито припрятывают, берут все дороже и дороже, а рыба эта — отрава для человека.

Князь Святослав посмотрел на купцов, на лежавшую перед ними рыбу. В самом деле, рыба была испорченная. И вдруг в одном из купцов князь узнал смиренного Калокира.

— Бросьте рыбу в Дунай, пусть она плывет к грекам,— повелел князь Святослав и, обращаясь уже к Калокиру, добавил: — А вы, купцы, не давайте людям моим отравы, да и ты, патрикий Калокир, такожде.

Бледный, растерявшийся Калокир, стоя перед князем Святославом, пролепетал:

— Я не дам отравы, княже!

Перед заходом солнца князь Святослав выехал с небольшой дружиной за Доростол и остановил коня на высоком пригорке. Отсюда он видел далекие склоны гор, пересеченную темными лесами равнину, долину, напоминавшую в эту вечернюю пору огромную чашу с диковинным синим вином, город, возвышающийся над Дунаем, багряное от закатных солнечных лучей зеркало реки, далекий левый берег.

Мог ли думать в эту вечернюю пору князь Святослав, что пройдет лишь один день — и на этом же высоком пригорке будет стоять и осматривать окрестности император Византии Иоанн Цимисхий, что его легионы зальют всю эту чашу-долину, дунайская гладь зарябит от кораблей, а он, князь Святослав, и вои его соберутся и станут среди этого широкого, необъятного мира только на одном клочке — в городе-крепости, что темнеет на скалах над Дунаем?!

Нет, даже в этот последний вечер князю Святославу не верилось, что подобное может статься. Но он хотел быть готовым

ко всему, раз уж выпала злая доля. Он еще и еще раз приезжал сюда, осматривал поле грядущей сечи.

У императора Византии, как уже знал Святослав, насчитывалось пятьдесят — шестьдесят тысяч воев. Что ж, и у Руси с Болгарией было не меньше. А вон повсюду, на склонах и в долине, поднимается пыль, сверху по Дунаю спешат лодии — это идут и идут к нему болгары. Были бы силы и время, вся болгарская земля пришла бы сюда, укрылась в эту страшную годину за стенами Доростола, стала бы плечом к плечу с воями Руси.

Император Византии идет по торной дороге, которая тянется от Дуная до самой Преславы. А в то же время близко, в Лудогорах, видели тех его воев, которые стараются зайти в тыл,— и об этом знает князь Святослав. Русские полки стоят где нужно,— от берега Дуная, выше Доростола, подковой вокруг города, и снова к Дунаю, уже ниже Доростола. Как бы ни попытался подойти император, пошлет ли он первыми в бой бессмертных всадников или смертных оплитов, ему нелегко будет прорваться к Доростолу,— тут, в долине, неизбежно произойдет великая сеча, вои князя Святослава давно уже к ней готовы.

«А если,— князь Святослав думал и об этом,— а если русские вои не одолеют в этой страшной сече? Что делать тогда, как бороться дальше?»

В сумерках он возвратился в город, где, возможно, долго им придется стоять, биться. Проехал вдоль стен, оглядел рвы, валы, ворота, где, несмотря на поздний час, работали тысячи людей. Нет, нелегко будет воям императора пройти между рядов острых кольев, преодолеть рвы, где тоже торчат колья, взобраться на валы, лезть на стены, над которыми нависли сверху заборола, откуда каждую минуту может политься кипящая смола, посыпаться камни!..

Доростол и внутри был построен как крепость. Миновав с дружиной ворота, князь Святослав поехал по улице, которая тянулась вдоль стены вокруг всего города, словно обнимая его. Здесь обычно останавливались со своими возами земледельцы из долины, рыбаки с Дуная. А когда к городу подступал враг, улица превращалась в настоящий военный лагерь: здесь собирались и отсюда поднимались на городницы вои, здесь всегда наготове были кучи песка и камней, стояли казаны со смолой, хранилось всякое оружие.

И сейчас, в это позднее время, сколько ни ехал князь Святослав вдоль стены, он видел свои полки, своих воев... Они стояли так, будто вся Русь замыкалась теперь в стенах этого города: у северных башен — новгородцы, полочане, полки верхних земель, у западных ворот, что выходили к горам,— вои Червенской земли, волыняне, дулебы, а у стен к Дунаю расположились, точно это было над Днепром, черниговцы, переяславцы, поляне...

Так они называли и городские ворота: северные — Новгородскими, южные — Перевесищанскими, а те, что выходили к Дунаю,— Подольскими. Все как на Руси, как в Киеве-городе!

За стеной и главной улицей начинался город; тут стояло несколько сот домов, среди которых были и каменные. Большинство же лачуг, хижин были построены, как и по всей Болгарии, из дерева, лозы и обмазаны глиной. Немало было и землянок-колиб, вырытых прямо в земле, крытых хворостом или дерном.

Только ближе к Дунаю, у ворот, называвшихся теперь Подольскими, точно так же, как и в Киеве, на Горе, стояли на скалах лучшие здания: по левую сторону — церковь и небольшой монастырь, где остановился патриарх Дамиан, по правую — дома боляр и боилов, которые не собирались никуда выезжать, а недалеко от Перевесищанской башни — хоромы кмета Банка, давно убежавшего вместе с дружиной в Преславу. В ясную погоду с высокой башни этого замка обозревались горы на западе, плес Дуная, который, делясь на несколько рукавов, растекался по долине, далекий левый берег. В этих хоромах жил теперь со своей старшей дружиной князь Святослав.

А среди города, на ровной площади, утрамбованной за сотни лет тысячами тысяч человеческих ног, находился торг — непременная принадлежность каждого города того времени. На торге доростольские купцы обычно продавали зерно, мед, рыбу, мясо, овощи. Лучшее место на торге прежде занимали константинопольские и восточные купцы. Земля у двух камней, которые высились на краю торга, ближе к Дунаю, была полита слезами — там продавали рабов.

Остановив среди площади коня, князь Святослав долго глядел по сторонам. Нет, это был уже не торг. Всюду стояли болгарские возы, в небе темнели поднятые оглобли; то тут, то там горели костры, над которыми висели казаны. Люди сидели родами, роды — селами, села — волостями. Тут собрался и стар и млад, в одном углу кто-то ссорился, в другом — мирился, а еще где-то звучала грустная болгарская песня. И слушали ее, опершись на копья, русские вои.

Тихо, тихо Дунай воду несет...

И князю Святославу, который очень устал за день, а теперь собирался ехать в мрачный дворец кмета, захотелось сойти здесь с коня, сесть, а то и прилечь у костра, перекусить, а если найдется, то и выпить. А главное — отдохнуть, поглядеть на усеянное звездами небо, послушать песню.

Так он и сделал. Ловко соскочил с коня, подошел к воям у стены над Дунаем, поздоровался и спросил, нельзя ли ему погреться у огня.

— О княже Святослав,— сказал пожилой бородатый воин,

который держал на рожне кусок мяса,— просим садиться, доброе у нас жарево...

— Имамо до нега и вино — ракию, а имамо и грожджево вино,— сказал мужчина помоложе, очевидно, болгарин.

— Молим, да сядь, княже! — пригласила князя и женщина.

Князь Святослав сел возле этих людей, выпил вина, съел кусок жареного мяса, которое пахло дымком и приятно хрустело на зубах, отломил свежего хлеба.

— Доброе твое жарево, человече,— сказал бородатому воину князь,— а твое вино,— обернулся он к болгарину,— как и Болгария — пахучее да крепкое. И за хлеб вам спасибо, люди!

— Хороша тут земля, княже,— согласился и бородатый воин,— добрый и хлеб ее. А я вот еще один хлеб берегу, княже...

— Какой хлеб?

Бородатый воин вынул из своей торбы небольшой кусок зачерствелого хлеба, который сейчас, ночью, казался черным, как земля...

— Когда были мы край Полянской земли, как-то вечером помолился я Перуну, попросил победы на брани да лег спать,— начал он, увидав, что князь пристально смотрит на кусок хлеба.— А утром просыпаюсь и вижу — лежит у моего щита хлеб... И откуда он взялся? Не ведаю,— может, от самого Перуна? И вот вкусил я того хлеба, дал другим воям, а кусок ношу с собой... Родной хлеб, в нем наша земля.

Князь Святослав протянул руку, взял хлеб и долго держал перед собой. «Родной хлеб!» — хорошо сказал воин. Но разве мог знать князь, чьи руки испекли и послали ему на Дунай этот хлеб?!

### 3

Битва под Доростолом началась 23-го дня месяца березозоля в первом часу [1]. Еще с вечера все войско императора Иоанна вышло в долину и стало полукругом — начиная от Дуная выше Доростола, напротив города. Полукольцо замыкали у Дуная, ниже Доростола, турмы фем, пришедшие сюда через Лудогоры. Только с одной стороны, с востока, русам не угрожал враг. Но там катил свои воды сердитый, полноводный Дунай.

Русские вои не сидели в Доростоле. Князь Святослав решил принять бой — пусть о лавы его воев, как о могучую скалу, разобьется этот мутный вал, который, народившись в Византии, прошумел над полями Фракии и Македонии, пронесся градом над Планиной и пролился греческим огнем на тихую бол-

---

[1] Первый час — семь часов утра.

гарскую равнину. Князь Святослав и его вои не прятались и не прячутся от ромейских полчищ, и если те выйдут через доростольские ворота к Дунаю, то лишь через их тела. Князь Святослав повелел своим воеводам отворить еще ночью все доростольские ворота и вывести на поле боя многие полки. Кроме того, немало конных и пеших полков стали наготове у ворот города и у Дуная.

На рассвете Святослав со старшей дружиной под знаменем Руси, сидя на коне впереди чела своего войска, оглядывал стан императора. На этот раз Иоанн Цимисхий действовал не так, как на равнине за Планиной. Он не рассчитывал уже заманить русов в ловушку, а, напротив, надеялся разбить, рассеять их лавы с первого удара. Вот почему он поставил впереди своего войска всадников, закованных в броню, за ними — лучников и пращников, далее — несколько таксиархий оплитов в броне и несколько с тяжелым вооружением, позади них — снова лучников и пращников, а по бокам, справа и слева, в лесах,— всадников-бессмертных, которые должны были прийти на помощь войску в решительную минуту.

Что же выставлял и как думал бороться с этим лучшим в мире войском того времени князь Святослав? Впереди всех полков в несколько рядов стояли вои с высокими, продолговатыми червлеными щитами в руках, в броне, со шлемами на головах. Солнце, которое только что поднялось из-за Дуная, переливалось на их щитах, броне, шлемах, и казалось, что стоят не вои, а лежит на земле и сверкает огромный раскаленный железный лук и вот-вот станет он посылать на ромеев свои стрелы...

За щитоносцами стояли лучники и пращники. Они пробовали тетивы своих луков, у каждого из них висел набитый стрелами тул, а вороха стрел — острых, с железными наконечниками, с хорошим оперением — лежали прямо на земле. Их подносили и подносили из города юноши.

За лучниками и щитоносцами стояли копьеносцы — их было на этом поле видимо-невидимо. Острые копья над ними серели, как скошенная нива; страшно было подумать, что тьма этих копий вопьется в живое тело таксиархий. Лес копий колыхался, двигался...

Еще дальше стояли в шлемах, в броне, с мечами в руках и ножами за поясами лучшие вои Русской земли. В трудную годину боя они готовы были выйти на поле, чтобы честно, с глазу на глаз, стать перед врагом, вступить с ним в единоборство ради жизни родных людей, не жалея живота, биться, и если даже умереть, то все же победить.

А если легионы империи стали бы одолевать на поле боя, то в городе у всех ворот находилось еще немало полков, а у южных и северных стояли наготове конные полки. Нет, князь Свя-

тослав не верил, что Иоанн Цимисхий одолеет его. Русь должна была победить Византию!

В настороженной тишине над долиной прозвучали трубы, и несколько всадников с белым знаменем выехали из передних рядов ромеев и направились к стану русских воинов. Не доехав на поприще до щитоносцев, они осадили коней, которые пугались червленых щитов и становились на дыбы, и стали что-то выкрикивать.

— Что они кричат? — спросил князь Святослав.

— Они говорят,— ответил видавший виды воевода Икмор, который знал греческий язык,— что император ромеев повелевает князю Руси сложить оружие, покориться победителям, просить пощады за дерзость и тотчас уйти...

Воевода Икмор не закончил.

— Ответь ему, воевода,— бросил князь,— аки псу!

— Добро! — промолвил Икмор.

И, приложив руки ко рту, закричал так зычно, что его услыхали, должно быть, не только василики, но и сам император в стане:

— Скажите вашему малышу, пусть подтянет потуже пояс. а то у нашего князя готова для него вервь из крапивы, и этой вервью будем не только вязать, но и лупить. Сгиньте, бесы, вместе с вашим императором!

И хотя был страшный час, но после этих слов, которые вконец раздраженный Икмор не только выкрикивал, но и пояснял руками, щитоносцы, стоявшие недалеко, дружно захохотали. А когда василики, услышав отповедь князя, повернули коней и поскакали прочь, им вслед неслось многоголосое:

— Го-го-го! Сгиньте, бесы! С императором вашим!..

И тотчас под копытами коней вдали дрогнула, загудела земля. Тысячи всадников повел в бой патрикий Петр — жестокий, но смелый полководец. Пригнувшись к луке седла, держа в руке копье для первого удара, а для дальнейшего боя — меч, он летел впереди всадников, которые, выровнявшись, мчались на стан русских воев. Вот уже заблестели их копья среди долины, вот они катятся, подобно черной волне, все ближе и ближе...

Но если они были страшны в своем безумном полете, то не менее страшной была и стена червленых щитов, которая, казалось, поднималась перед ними все выше и выше. Всадники мчались прямо на солнце, которое вставало над Дунаем, и вдруг это солнце померкло, на всадников полетели тысячи стрел. А они мчались с невероятным топотом, криком, шумом; вот закричали и вои, стоявшие за стеной щитов.

И сразу — это напоминало минуту, когда с неба ударяет в землю страшная молния и над просторами широко и всепобеждающе гремит гром,— всадники врезались в стену щитов, множество коней пронзили копья, и многие из всадников упали на землю, стена щитов дрогнула и, казалось, погнулась, готова была прорваться.

Но это была всего лишь минута. Ведь и земля содрогается и колеблется, когда на нее падает огромная скала. В следующую минуту стена червленых щитов, уже залитых кровью, выровнялась, напряглась, стала такой же, как и раньше...

Не сломив стены щитов, всадники пытались ее рубить и свирепо ударяли по ней своими мечами. Вокруг щитоносцев падали тысячи стрел, на помощь всадникам бежали пешие ромеи — лучники, пращники, меченосцы.

Но теперь ромеям нечего было и думать прорвать эту стену людей, таксиархии императора пришли в беспорядок, в души легионеров, которые только что верили в свою победу, вползал страх. Уже не римские легионы наступали на Русь, а вои князя Святослава, со щитоносцами во главе, двигались вперед по долине.

Но князь Святослав не повел далеко своих воев. Он знал, что император Иоанн держит в лесах, по обе стороны, конные полки, каждую минуту готовые напасть с тыла. Адрианополь под Доростолом не мог повториться, вои князя не должны были отрываться от города-крепости. Так они и остановились в поле, среди гор вражеских тел.

Двенадцать раз посылал в тот день император Иоанн свое войско на князя Святослава. Стоя на высоком пригорке, откуда обозревалось все вокруг, он видел, как неудержимо идут вперед его таксиархии и как неизменно откатываются назад. Видел император и то, как после двенадцатой, страшной атаки, когда на поле вышли все таксиархии, когда вылетели из засады всадники, вои князя Святослава долго и упорно бились с ними, потом, повесив щиты на спины, дошли до стен Доростола и исчезли за его воротами... Император Иоанн не смог разгромить князя Святослава.

Однако император не сознавал еще своего поражения и верил, что победит Святослава. Что значила смерть многих легионеров? Полководцы уже гонят и гонят новые легионы из Византии, из Азии. У императора Иоанна много сил, позади него покоренная Болгария, прямой путь к Константинополю. А где взять подкрепление гордому Святославу? Надолго ли хватит у него воев?

В ту минуту, когда в Доростоле затворяли ворота, на далеком плесе Дуная император Иоанн увидел ветрила — это подплывали корабли Византии. Теперь вои князя Святослава находились в кольце.

В этом бою был тяжело ранен воевода Свенельд. То ли слишком много крови и сил потерял он под Преславой, то ли горькая обида точила его сердце — нелегко было пережить, что сам он уцелел, а дружина пала под стенами Вышнего града,— кто знает, что творилось в душе у воеводы! Но в первой сече под Доростолом он бился так упорно, словно хотел сразу отомстить за своих погибших воев, кидался в самое пекло боя, будто искал смерти.

Свенельд лежал в хоромах кмета у окна, что выходило на Дунай. У его изголовья склонились князь Святослав и сын Лют; на столике у ложа едва теплилась свечка, стояла корчага с холодной водой, рядом висел чистый убрус.

— Дай мне, сын, напиться,— сказал Свенельд.

Лют подал корчагу, воевода сделал несколько глотков.

— Теперь мне легче, не так горит под сердцем,— промолвил он.

А потом смежил веки и долго лежал, видно о чем-то раздумывая. Высоко вздымалась его грудь.

— Вот и настал мой час,— сказал он погодя и взглянул на князя Святослава какими-то странными глазами: окруженные темными кругами, они казались очень большими и ясными.

— Мы еще потягаемся, Свенельд,— пытаясь улыбнуться, подбодрил своего воеводу Святослав.

— Нет, князь,— ответил Свенельд,— чую смерть, близко она, и я... не о том сейчас жалею.

— А о чем же, Свенельд?

Воевода ответил не сразу, он поглядел на темное окно, задумался, и лицо его стало необычайно спокойным.

Кто знает, о чем думал воевода Свенельд в свой смертный час? За долгую жизнь исходил он много земель, и, может, перед его глазами проходили теперь скалистые берега далекого севера и холодное море, у которого он родился? Может, вспомнил он горячие пустыни и города за Итиль-рекою, за Джурджанским морем, куда ходил с дружиной еще смолоду? Может, в его воображении проплывали Средиземное море и города на его берегах — ведь побывал с мечом он и там! Долго жил на свете воевода Свенельд, было ему о чем вспомнить в свой смертный час...

Но вот он сказал:

— Я любил и люблю свою далекую отчизну у холодного моря, ибо там родился и там лежат кости моих отцов. Но конунги моей отчизны выгнали меня и могли сделать навеки несчастным... Что сталось бы со мной, да и с многими варягами, не будь Руси... Скажи, князь Святослав, ведь мы не пришли в Киев как враги, не причинили зла Руси?

— Успокойся, Свенельд,— твердо промолвил князь Святослав.— Ни ты, ни друзья твои варяги не были врагами Руси. Они ей верно служили...

— Так, мы верно служили,— тихо промолвил Свенельд, и едва заметная улыбка коснулась его губ.— Мы верно служили Руси, ибо что Свиония, если бы не было Руси?! И за то, что русы встретили меня как воина и друга, я полюбил Русь, полюбил Киев и, хотя родился на севере, хотел умереть в Киеве... Но вот не довелось, об этом я и жалею.

— Мы еще будем в Киеве...

— Нет, князь! Вы будете в Киеве, придете с победой, а я помру здесь, над Дунаем... Прощай, князь! Будь честным воином, сын!

Князь Святослав склонился, взял руку Свенельда, пожал ее и почувствовал легкое ответное пожатие руки Свенельда.

Но что это? Пальцы шевельнулись и сразу обмякли, рука Свенельда упала долу...

— Не забуду! — промолвил князь Святослав.

Воевода не слышал его слов. Но он ушел из жизни, веря, что его не забудут. Князь Святослав отворил дверь и велел накрыть тело Свенельда княжеским знаменем.

Это была тяжелая ночь. В бою пало несколько тысяч русских воев. Несколько тысяч потерял император. Когда наступила ночь, тихо раскрылись одни из ворот Доростола; около них стало много воев, чтобы в случае чего защищаться, а еще немало воев ушло в поле, чтобы собрать раненых, стоны которых доносились оттуда, и предать земле тела убитых.

По полю ходили в это же время и воины-ромеи. Их не посылал император, они пошли на черное поле потому, что там лежали их раненые братья, друзья, там, уставясь мертвыми глазами в небо, ждали вечного покоя убитые. Римские воины видели русов, но делали свое дело. Смерть равняет людей. Здесь, на поле, не было ни императора и его полководцев, ни князя.

Микула с Ангелом тоже пошли в поле. В этом бою не стало Радыша, новгородского воина, и киевского кузнеца Мутора, которые находились в одной сотне с ними. Темнота окутала землю. Где уж тут было Микуле найти своих друзей среди тысяч погибших! Тогда они стали хоронить других воев — ведь кто-то похоронит и их друзей.

У другой стены Доростола, над Дунаем, собралось много воев,— всяк, кто мог, забрел в воду и вытаскивал на берег лодии. Вокруг стояла темная ночь, холодная вода сводила ноги. Они калечили руки, надрывались, но вытаскивали лодию за лодией на берег, туда, куда не мог добраться враг, где их не мог сжечь греческий огонь.

Перед рассветом Микула и Ангел вернулись в город. Цвитана не спала, ждала их.

— Нет, Цвитана, наших друзей.

— Вечна памят.

Ангел, Микула и Цвитана вместе молились о погибших воях.

## 5

Теперь император Иоанн знал, что в бою на поле он не скоро одолеет русских воев, однако в его руках было еще немало средств покорить Русь: разрушить стены машинами, поджечь город, начать осаду, неминуемо ведущую к голоду, болезням, безумию.

Такими способами Иоанн Цимисхий брал многие города в Сирии; недавно он почти год осаждал Антиохию...

Однако Антиохии за год осады взять он не смог; непокорные, безумные люди умирали от голода, болезней, сами бросались на мечи, только бы не сдаться Иоанну. Он щадил не людей, а стены Антиохии и потому целый год не трогал их. Но достаточно было патрикию Петру разрушить стены, как Антиохия пала.

Поэтому император, окружив Доростол, решил испробовать сразу все. На следующее же утро он велел разбить на поле перед Доростолом стан — со рвами, валами, воротами, костоломками, со шнурами и подвешенными к ним колокольчиками вокруг всего стана. И конечно, с царским шатром посередине, вокруг которого должны были расположиться бессмертные, чтобы грудью защищать императора.

В это же время император повелел Иоанну Куркуасу подтянуть поближе к стенам города и установить пороки, тараны, метательные машины, катапульты, самострелы, сифоны с греческим огнем — все машины, которые, действуя сразу, смогли бы проломить стены города, сжечь мосты и ворота, разрушить заборола, забросать весь город камнями, горящими стрелами.

Тогда же по приказу императора и под его наблюдением бросили на Дунае якоря против стен Доростола все корабли: огромные дромоны, на которых стояло по три огнемета, более мелкие — памфилы, длинные кумварии и множество обычных хеландий и скедий. Возле этих кораблей стояли еще усии, похожие на русские лодии-однодеревки,— челны, которые могли незаметно подплыть ночью и причинить немалое зло вражескому лагерю.

Кроме того, император Иоанн велел выкопать рвы, выставить сильную стражу и зорко следить день и ночь за всеми дорогами и тропами, которые вели вдоль берега вверх и вниз по Дунаю. Он хотел, чтобы из Доростола не мог выйти ни один воин, а туда не проскользнула бы даже мышь.

И в первый же день к вечеру начальник метательных машин Иоанн Куркуас велел разрушать стены. До поздней ночи пороки и огромные тараны ударяли в стену города у Перевесищанских ворот с такой силой, что эхо катилось далеко в поле, отдавалось и долго гремело по водной глади Дуная.

Поздно ночью тихо приоткрылись Перевесищанские ворота, несколько сот воев незаметно вышли из них, постояли у стены, потом спустились в ров, еще немного погодя появились на валу и поползли между острыми кольями. В числе воев находились Микула и Ангел.

Микула навсегда запомнил эту ночь. Миновав частокол, они долго лежали и прислушивались, одновременно всматриваясь вперед, где привыкшие к темноте глаза видели очертания высоких, нацеленных на стены города, точно гигантские кулаки, таранов и пороков, различали катапульты, напоминавшие черепах, и самострелы...

Слышали они и голоса ромеев — их крикливого, пузатого начальника, которого приметили днем со стен, простых воинов, напрягавших все силы, чтобы подтянуть свои страшные машины к воротам города.

Немало вооруженных воинов стояло еще вокруг машин и людей, которые возле них работали. Они, видимо, должны были оберегать эти машины. Но разве кто-нибудь из ромеев мог предположить, что тут, рядом, уже лежат на земле смелые вои, которые вот-вот бросятся на них...

Тихо было вокруг — у Доростола и в поле. Только откуда-то с Дуная доносился перестук весел, на далекой косе жалобно стонала какая-то птица, да в горах за станом императора выл волк.

Но вот русские вои разом поднялись с земли и, подняв мечи, пошли вперед. Вот они очутились перед самыми машинами и врагами.

И вдруг, казалось, кто-то разорвал ночь надвое. Там, где стояли метательные машины, послышался шум и крики. Тяжело падали на землю тела, бряцало оружие. Но вскоре все стихло. Только слышно было, как высекают кремнем огонь. Вот он затеплился в темноте, вот вспыхнул, разгорелся, стал костром, пожаром. У стен Доростола заполыхали машины. Среди ночного мрака они походили на огромные руки великанов. И эти руки горели, крошились, падали на дно рва...

В стане ромеев поднялась тревога. Тоскливо звенели и обрывались на веревках колокольчики, в поле кричали виглы, слышалась тяжелая поступь множества людей. Пугаясь темноты, спотыкаясь на выбоинах и падая в свои же костоломки, на огонь пожара бежали, спешили на конях воины императора Иоанна.

Но было поздно. Когда ромеи очутились возле метательных машин, их уже пожрал огонь. Прибывшие звали Иоанна Куркуаса, стражу, но никто не откликался. А со стен Доростола уже летели стрелы и камни — русским воям удобно было целиться в ромеев, освещенных пожаром. Русов же за заборолами никто не видел.

Когда взошло солнце, из стана императора стало видно, как на башне доростольских ворот торчит, на страх врагам, на высоком шесте, чтобы все видели, уставясь мертвыми глазами в поле, голова Иоанна Куркуаса.

## 6

В одну из этих ночей Микула видел сон. Никогда этого с ним не бывало — всегда он спал как убитый. А тут вдруг привиделся сон, точно наяву.

Приснилось Микуле, будто идет он над Днепром и ему очень хочется пить. Удивительным во сне было то, что он видел кручи, вербы, а за ними чистую воду. Казалось, протяни руку и пей досыта. Но он все шел вдоль Днепра, взбегал на кручи, продирался сквозь заросли верб, а добраться до воды и напиться никак не мог.

И вдруг видит Микула — под одной из верб стоит отец Ант. Такой же, каким был в жизни, только одет не так, как его похоронили, а будто собрался на рать: в кольчуге, со щитом, мечом, на голове шлем с откинутой полицей, а сквозь ее скважни, точно два уголька, горят глаза.

И слышит Микула голос, такой, как и при жизни:

— Чего ты ищешь, Микула?

— Пить хочу,— отвечает Микула.

— Так пей! — разрешает Ант.

Микула склонился к воде, пьет не напьется. «Выпью, думает, еще немного, еще немного...» Пьет и все время видит перед собой глаза Анта — два уголька в скважнях шлема горят и горят.

— А теперь скажи,— обращается к нему Ант,— знаешь ли ты, где сокровище, о котором я говорил? Скажи, Микула, только быстрее, а то скоро рассвет.

И Микула видит, что и в самом деле за Днепром забрезжило, будто кто-то там, на краю неба, поднимает алый полог, а из-за небосклона блестящими стрелами вырывается сияние.

Но что это? Слышится шум — крики людей, бряцание оружия. Микула озирается и видит, что стоит он, как и до того, с отцом Антом, но уже не на берегу Днепра, а над Дунаем. Ошую — Доростол, одесную — поле, а с поля идут ромеи — их видимо-невидимо, что песка морского.

— Говори скорей, Микула,— слышит он голос отца Анта,— видишь, враги затмили денницу, идут на солнце.

И Микула хочет ответить, что не знает, где сокровище, потому что, умирая, отец Ант не успел ему об этом сказать. Но не может вымолвить слова, потому что вокруг уже засвистели стрелы, зазвенели мечи и щиты, а из доростольских ворот вылилось русское войско. Их столько, сколько и ромеев, а может, и больше, да, наверное, больше, потому что ромеи, видимо, испугались, закричали. А все вокруг стало черным, как ночь, только молнии ударяли в землю то тут, то там и освещали то стан ромеев, то стан русов.

— Ой, сын, сын! — услыхал Микула голос отца, и вдруг Ант выхватил меч иэ ножен, и они пошли плечом к плечу против ромеев.

Микула слышал когда-то, но никогда не видел, как рубился Ант. Теперь увидел.

Отец шел тихим, ровным шагом, как ходят на ловах. Да если бы он и хотел идти скорей, то не смог бы, потому что перед ним стояла стена ромеев. Подняв щиты, они размахивали мечами, наставляли острые копья, неистово кричали.

Но что стоили щиты и мечи, когда против них шел Ант — старейшина рода Воиков. Теперь он был настоящим старейшиной, потому что Микула видел, как рядом, плечом к плечу, и позади него, идет стена родовичей — тех, кто был еще жив, и тех, кто давно уже умер. Микуле почудилось, будто между этими воями, пробираясь к Анту, спешат дед Улеб, прадед Воик,— ведь серебряные мечи и золотые шлемы носили только они... А Микула радовался, что шел на челе, одесную отца, и, когда Ант поднимал меч и взмахивал так, что свистело, и бил по щитам, мечам, черепам ромеев, бил и Микула...

И удивительное дело! Микула увидел, что с меча отца Анта стекает не кровь, а сыплются динарии, гривны, самоцветы, а то и просто снопы ослепительных, разноцветных лучей.

— Так это и есть сокровище! — воскликнул Микула.

-- Это и есть сокровище! И есть сокровище! — услышал он голос отца Анта.— Иди за мной, Микула!..

И Микула проснулся.

Жутко, бояэно стало Микуле, что привиделся ему такой страшный сон. В то же время он чувствовал и облегчение — мысли об отце Анте и о его смертном часе никогда не покидали Микулу. Он думал и думал о завете отца и тщетно силился понять, о каком сокровище говорил Ант.

Сон, как заключил Микула, привиделся ему недаром. После долгих лет он повидался с отцом, говорил с ним. Значит, душа его витает где-то близко, она здесь, с ними.

Что же заставило душу Анта прилететь сюда? Ведь, как это знал доподлинно Микула, души пращуров всегда обитают там, где их очаг, где схоронено их тело. А здесь — Болгария, далекая земля. Сколько надо лететь от Днепра, чтобы попасть на берега Дуная?

Значит, есть такая сила, которая заставила душу Анта лететь в Болгарию, значит, он хотел быть со своими родовичами, значит, сейчас, когда трудно русским людям, он не лежит над спокойным Днепром, а примчался сюда, на поле брани.

«Добрый наш Ант, — подумал Микула.— Он и мертвый не покидает нас...»

И, точно молния в недавнем сне, его вдруг осенила еще одна мысль: сокровище, о котором упоминал Ант,— это его оружие.

«Меч и щит,—думал он,—меч—для врагов, щит—для Руси... Конечно, это и есть то сокровище, о котором говорил отец».

Теперь Микула больше не боялся смерти, в душе его появилась уверенность, что он не может умереть, не погибнет на поле брани. Ведь они, русские вои, бьются с ромеями не одни. Вместе с ними, а может, и впереди них, незримо летят, помогают им пращуры — смелые, мужественные, они в эту тяжелую для Руси годину поднялись из могил и идут. Идет его отец Ант, идет дед Воик, идут все те, на чьих могилах над Днепром пламенеют ягоды калины, все те, на могилах которых стоят каменные изваяния в шлемах. Идет непобедимая бесчисленная рать. И если выпадет на долю Микуле пасть изрубленным на поле боя, то на месте останется только его тело, а душа, непокоренная и стойкая, как и прежде, пойдет за живыми. А если он не успеет совершить всего в жизни, то докончит свое дело после смерти. Вот о чем думал Микула...

## 7

Прямо на земле, под стеной, куда не могли залетать стрелы и камни, лежали раненые. Лунный свет заливал этот уголок, и было видно, как одни раненые лежали вытянувшись и смотрели в темное, бездонное небо над собой, другие, положив головы на седла, кулаки или камни, дремали.

Никто не мог, да и не знал, чем им помочь. Раны воспалялись, гноились, руки и ноги у многих почернели, кое-кто из раненых громко стонал, а один — еще молодой, темноволосый, с отрубленной правой рукой — все время порывался вскочить на ноги, но не мог и только кричал:

— Руку... руку отдайте!..

Рядом с живыми лежали мертвые. Только на рассвете приходили сюда вои, клали на деревянные носилки покойников, выносили через восточные ворота и опускали в волны Дуная. Но сейчас хоронить покойников было еще рано. Несколько жен-

щин-болгарок покрыли им лица. Женщины помогали и живым: подавали воду, кормили, а если кому из раненых становилось особенно трудно, садились рядом и тихо что-то шептали.

Раненые не всегда понимали, о чем говорили болгарки, но ласка и теплое слово повсюду одинаковы. Раненых успокаивала тихая речь, и, закрыв глаза, они засыпали.

Поздней ночью Микула повел с Ангелом тихую беседу.

— Трудно нам, Ангел... Мало людей осталось, а кто жив — болен, искалечен. К тому же голод великий, а что человек без куска хлеба?..

— Гладно, другар Микуло. То правда, как только живемо?

Дальше Цвитана слышала их беседу только урывками.

— А ты хорошо знаешь дорогу, Ангел?

— О, другаре Микуло! Кажен камен, куст.

— Так отважимся!

Слышала Цвитана и то, как они тихонько встали и ушли поговорить с кем-то третьим.

Только на следующий день вечером они рассказали Цвитане о том, что задумали сделать. Поначалу, когда они советовались с сотенным Добыславом, тот усомнился, а потом одобрил. Значит, так они и сделают. Ночью, пока не взошел месяц, переплывут Дунай. О, у Микулы с Ангелом еще сильны руки и ноги! Не сами переплывут, вода пронесет их мимо ромейских кораблей, далеко-далеко, до левого берега. А уж там — только бы добраться — взойдет месяц, все будет видно, Ангел проведет Микулу через кустарник. Он знает на берегу каждое село, в каждом из них — свои люди. Каждая дверь откроется перед воями. Эти двери и сейчас настежь.

Что делать дальше? Друзья договорились и о том. Они пройдут вверх по Дунаю, найдут челн, насыплют в него зерна и поплывут в темную ночь к Доростолу, по течению, чтобы не грести веслом, разве изредка кто-нибудь из них шевельнет за бортом рукой,— так и доплывут. Вода сама принесет их к Доростолу.

Ночью они ушли. Прощаясь с Цвитаной, Микула сказал:

— Вот тебе, жона, подарок. Ты уж поешь...

Он протянул ей кусок сухого, черствого хлеба, что принес с Роси.

— Что ты! Что ты! Съешьте сами.

— Нам что! — промолвил Микула.— Мы найдем. Только бы Дунай переплыть — там села, люди.

Так и ушли.

Услыхав разговор Ангела и Микулы, Цвитана поняла, что там, за стенами Доростола, воям приходится трудно. Их становится все меньше и меньше, а те, кто остался в живых, ранены, изувечены, обессилены...

Но разве не видела этого Цвитана?! Сколько было воев в Доростоле, а осталась едва ли половина. В городе всюду — вдоль стен, на торге — лежат раненые рядом с мертвыми; русские и болгарские вои молча терпят, но разве не видно, что они устали, измучены, голодны?

Цвитана помогала, конечно, по мере сил. И не только она, все жены, находившиеся в Доростоле, старались как-нибудь облегчить жизнь воев: помогали копать рвы, укреплять стены, спускались к Дунаю и приносили воду.

Но воев становилось все меньше, живые едва держали в руках оружие — вот что узнала Цвитана из разговора Ангела с Микулой.

«Как же им помочь?» — думала болгарка.

И Цвитана поняла, чем может помочь она воям, что должна сделать...

Перед рассветом, когда вои, проснувшись от тяжелого сна, строились в ряды и шли к воротам, Цвитана надела шлем, оставшийся подле очага, и двинулась вслед за воями. У ворот, как все, взяла копье.

Никто ее не остановил. Кто узнал бы в ней, одетой, как и прочие вои, с копьем в руках, женщину? Кто стал бы задерживать того, кто шел из города в поле, к вражескому стану,— биться не на живот, а на смерть?! Даже вои, к которым присоединилась за стеной Цвитана, не заметили, кто идет рядом с ними.

— А ты взял нож? — спросил ее воин, шедший справа.

— Взял,— ответила Цвитана и пожалела, что не взяла его...

А потом был бой, и Цвитана делала все, как и другие вои, только в то время, когда они орудовали луками и мечами, а порой и ножами, она била ромеев копьем, била, покуда сама не упала на поле.

Поздно ночью выплыла из-за Дуная и поднялась над плесом большая, полная луна. Она залила ровным, ясным сиянием реку и берега, осветила каждую былиночку. Там, где недавно шла битва, поблескивало оружие — щиты, мечи, темнели тела убитых, а над ними даже сейчас, ночью, кружились хищные птицы.

Русские вои ходили вблизи городских стен в поле и собирали своих воев, чтобы до восхода солнца предать их земле. Так же точно вокруг своего стана ходили ромеи...

И вдруг несколько ромеев остановились. Они увидели одного руса. Вытянув вдоль тела руки, с высокой грудью, он лежал лицом к месяцу и широко открытыми глазами глядел на небо, на тучки, звезды.

Ромеи ужаснулись:

— Он живой!

Но воин был мертв. Он бился до конца и умер, как стоял в бою: не страшась врагов и смерти, глядел им прямо в лицо.

Но не только это поражало в мертвом воине. С головы его скатился шлем, воин лежал, запрокинув голову, его буйные волосы спадали на плечи, на землю...

— Это женщина! — сказал кто-то из ромеев.

Да, это была простая женщина из болгарского села — Цвитана!

— Ужас! — говорили ромеи.— Они воюют все.

Над полем все выше и выше поднималась луна.

Еще через ночь возвратились Микула и Ангел. Они не добрались до болгарских сел, на левом берегу тоже стояли ромеи. Столкнувшись с ними, они едва спаслись. Ангела тяжело ранили в ногу.

Не будь Микулы, Ангел погиб бы. Он не мог идти, не смог бы и переплыть Дунай. Но, когда налетели ромеи, Микула успел спрятаться в камышах. Ночью, поддерживая друга, он переплыл Дунай.

Микула на руках принес через Подольские ворота Ангела к их огнищу. Стояла темная ночь. Они сели на холодную землю, Ангел позвал Цвитану.

Она не отозвалась,— должно быть, помогала кому-нибудь под стенами. Вои отдыхали, ждали ее долго. Но Цвитана к огнищу не вернулась.

— Где же она? — испуганно поглядев на Микулу, спросил Ангел.

Микула молчал. Шлема возле огнища не было. Цвитаны уже нет.

## 8

Какая это была битва? Десятая? Двадцатая? Разве сочтешь?

Месяц уже делает второй круг, где-то дозрели нивы, где-то падают на землю плоды, где-то поспели овощи...

И где-то тихо: можно стать в поле, говорить полным голосом, петь, смеяться...

Кто сказал, что можно смеяться? Русские вои гибнут на поле за Доростолом, гибнут в городе от голода и болезней, в городе на деревьях нет уже ни листочка, на земле ни травинки. Но и это не спасает — вокруг смерть, одна смерть.

Император велел взять и привести к нему пленников. Пусть скажут, чем живут русы, где берут силы, сколько их, долго ли еще смогут держаться.

Пленных привели. Император думал, что их много, потому что вел их, окружив кольцом, большой отряд. Но когда отряд

приблизился к императору и бессмертные, разорвав кольцо, расступились, император увидел, что там стоит лишь один человек.

Кто знает, сколько было ему лет. Острые плечи убеждали, что этому мужу пришлось много и тяжело потрудиться на своем веку. Длинные черные усы спадали почти до самой груди, но бледное, без морщин лицо, сверкающий взгляд красноречиво свидетельствовали о том, что человек еще молод, что ему жить бы да жить...

Из одежды на пленнике остались только простые, полотняные короткие штаны на ременном пояске, да и то такие изодранные, что сквозь них просвечивало тело. Голая грудь была в нескольких местах порублена, у сердца зияла глубокая рана.

Но он, казалось, забыл о ранах и бесстрашно смотрел на императора и его воинов. Что-то перекипело, переболело уже в его душе, будто он переступил за черту жизни и не ведал больше страха, он даже улыбался.

Император вскипел.

— Спроси,— сказал он толмачу, который стоял рядом,— чего он улыбается?

Толмач поспешил сказать пленнику, что от него хотят, объяснив ему и то, перед какой высокой особой он стоит...

Пленник что-то крикнул в ответ на слова толмача и засмеялся.

— Что он говорит?! — завопил Цимисхий.

— Он говорит, великий василевс, что видел...

Толмач замялся.

— Что? Что? — еще громче крикнул император.

— Он говорит, будто видел мертвых князей, но живого императора еще не видел. Потому и смеется...

— Проклятый тавроскиф,— взвизгнул император,— он дорого заплатит за свои слова!.. Спроси у него, сколько войска осталось у князя Святослава.

Пленный ответил:

— У ромеев много войска, но у князя Святослава вдвое больше...

— Пусть скажет, сколько именно.

— Сколько звезд на небе...

Император бесновался — пленник ничего не боялся, смеялся над ним.

— Спроси у него, велик ли голод в Доростоле, есть ли у русов хлеб, мясо, вино...

Пленнику перевели, что интересует императора.

— Знаю, знаю,— промолвил тот и медленно, облизав языком запекшиеся губы, продолжал: — О, у нас в Доростоле всего хватает — хлеба, мяса, молока, вина... всего вдоволь, вдоволь... Пусть бы лопнул этот ваш император!

Это были последние слова пленника из Доростола. Сердце его не выдержало. Подогнув колени, он упал на землю...

А у стен Доростола уже слышались шум и крики — русские вои выбежали из ворот, чтобы завязать новую битву. Ринулись к стану ромеев, подняли переполох, захватили немало харчей: муки и мяса. Прикрывшись щитами, стали отходить. Мука и мясо! Разве в этих ужасных битвах они не приближали победы?

И вдруг случилось то, чего вои, которые только что проливали свою кровь, отдавали жизнь на поле перед Доростолом, не могли даже представить. Когда они, повесив на спины щиты и отбиваясь копьями, стали отходить и уже приближались к широко раскрытым воротам города, эти ворота внезапно закрылись.

На поле поднялся невероятный крик. Вои стали стучать и бить в ворота, но никто не отвечал. Они попытались кричать лучникам и пращникам, стоявшим на стенах, но те, казалось, сами там с кем-то боролись. Пробиваться к южным или северным воротам Доростола нечего было и думать — оплиты ромеев и бессмертные обступали войско князя Святослава. Смерть? Страшная смерть у самых стен Доростола?

К счастью, это длилось недолго. Вои у стен видели, как вздрагивают от ударов ворота, словно кто-то изнутри пытается их отворить. Так же внезапно ворота распахнулись, и вои густым потоком, все еще сдерживая и отражая натиск позади себя, стали вливаться в город.

Тогда все услышали о страшной измене, которая здесь готовилась.

В то время когда за городом, на поле, шла лютая сеча, кто-то запер изнутри ворота крепости, чтобы отрезать путь войску князя Святослава, чтобы оно погибло под стенами Доростола.

К счастью, вои, стоявшие на стенах, тотчас заметили это и поняли, что случилось. Мигом кинувшись вниз, они схватились у ворот с изменниками — кого порубили, кого связали. Это были болгарские боляре, а вел их за собой великий болярин Мануш.

Когда сумерки окутали Дунай и стены Доростола, князь Святослав повелел привести из поруба в хоромы кмета изменников-боляр. Княжьи вои отперли тяжелые ворота поруба и повели боляр по улицам Доростола.

Провести их оказалось нелегко. Когда вои, окружив боляр, вели их по узким улицам Доростола и по площади, было уже темно, и, казалось, никто не знал и не мог разглядеть, кого ведут среди ночи русские вои. Но повсюду, где они проходили, неслись не только угрозы по-русски и по-болгарски, но не раз летели в боляр и камни. Трудно было привести боляр живыми в дом, где обычно чинил суд кмет.

В эту ночь суд здесь чинил не кмет — он со своей дружиной был там, где темнел на равнине за Доростолом лагерь императора Византии. Когда боляре стали вдоль стен светлицы, а некоторые и посреди нее, из дверей, которые вели в покои кмета, вышел князь киевский Святослав.

Переступив порог, князь остановился и обвел взглядом светлицу. Кое-кого он узнал: великого болярина Мануша, доростольких и окрестных придунайских боляр Горана, Радула, Струмена.

Князь Святослав не заставлял никого из них служить ему. Напротив, все они сами один за другим приходили к нему и клялись в верности и любви. А великий болярин Мануш прибыл к князю якобы по велению самого кесаря Бориса.

Сейчас боляре молчали, исподлобья поглядывали на князя Святослава. В их глазах светилась открытая ненависть, руки сжимались в кулаки.

Только когда князь Святослав, сделав еще несколько шагов вперед, сел в кресло за столом, где обычно сидел кмет, боляре зашевелились, зашаркали ногами, застучали посохами, но попрежнему молчали.

— Я собрал вас, боляре,— начал в наступившей тишине князь Святослав,— чтобы услышать, почему вы учинили измену против моего войска, и чтобы судить вас...

Тогда великий болярин Мануш, уже немолодой, но еще сильный мужчина, стоявший впереди в темном длинном платне, с тяжелой кесарской гривной на шее, выступил вперед и громко промолвил:

— По какому праву и почему ты хочешь судить нас, князь? Мы — болгарские боляре, и судить нас может только кесарь да еще бог.

Князь Святослав остановил свой взор на великом болярине, посмотрел на его гривну, обвел взглядом всех боляр и сказал:

— Не ради одной Руси пришел я, боляре, с войском своим в Болгарию, а ради спасения Руси и Болгарии.

— Потому и постарался, чтобы помер наш кесарь Петр! — раздраженно крикнул болярин Мануш.

— Кесарь Петр,— спокойно ответил ему князь Святослав,— верно, умер, когда увидел силу Руси. Но я собственными руками отдал корону болгарских каганов и все их сокровища сыну Петра — новому кесарю Борису.

— Так пусть тогда нас слушает и судит кесарь Борис! — крикнул болярин Мануш.

— Пусть судит нас кесарь Борис. Только кесарю Борису служим! — прокатилось под сводами светлицы.

Князь Святослав ждал, пока боляре накричатся, и так же спокойно сказал:

— Тот, кто сидит ныне в Доростоле, не подвластен кесарю Борису, ибо он изменил мне и служит императору ромеев.

— Так от чьего имени ты будешь судить нас? — задыхаясь от бешенства, крикнул Мануш.

— Я буду судить вас от имени русских людей и тех болгар, которые не хотят, как вы и ваш кесарь, служить Византии. Хотите, я кликну сюда этих болгар? Их немало полегло над Дунаем, но еще больше осталось здесь, в Доростоле, и во всей Болгарии. Слушайте их голос...

В светлице наступила полная тишина. Слышно было, как плещут волны на Дунае, как потрескивают фитили в светильниках перед столом кмета, как тяжело дышат боляре. И вдруг стало слышно, как угрожающе шумит под окнами дома кмета толпа:

— Да проклинам! Смерт!

— Слышите? — спросил еще раз князь Святослав.

Великий болярин Мануш ничего не ответил. Молчали и прочие доростольские и придунайские боляре,— они только что проходили по улицам Доростола, видели болгар, о которых говорил князь Святослав. Им нечего было ответить на его вопрос — не он судит их, а Болгария и Русь.

Князь Святослав взял в правую руку булаву, на ее золотом яблоке заиграл отблеск светильников.

— Суд мой будет краток,— начал он,— ибо и мне, и русским воям, и всем болгарам, аже потягли за мною, ведомо, как вы двоеручили. «Мы с вами»,— говорили вы Руси — и шли против нас. «Мы за вас»,— говорили вы болгарам — и продавали их Византии. И если бы Дунай не тек в море, а стоял на месте, то вода в нем была бы красной от крови русских и болгарских людей, крови, которую вы, боляре, пролили вместе с кесарями вашими и византийскими императорами. За эту великую провину вашу вы достойны только одного — смерти...

Когда Святослав произнес это слово и опустил булаву, боляре поняли, что князь киевский свершил свой суд. Некоторые из них, видимо, заколебались, кое-кто готов был просить пощады. Только великий болярин Мануш по-прежнему стоял впереди всех, опираясь на свой посох, и дерзко смотрел в глаза Святославу.

Но большинство боляр, трусливых от рождения, испугавшись заслуженной смерти, стало молить:

— Помилуй, княже!

— Это Мануш... Это Мануш и Горан подбили нас! — еще громче кричали другие.

Только Мануш крикнул, разрывая платно на груди:

— Я с кесарем Борисом! Пусть смерть!

И еще несколько боляр, а среди них болярин-кмет Горан, стали рядом с Манушем.

— Будь по сему! — промолвил князь Святослав.— Вас,— он обернулся к болярам, которые просили его о пощаде,— помилую. Идите в бой. Вас,— он поглядел на Мануша и кучку боляр, которые теснились к нему,— казню... Пусть свершится суд!

— Погоди, княже! — хищно заревел Мануш.— Почему одних милуешь, других караешь, а кое о ком и слова не промолвил? Не только Болгария идет против тебя,— прошипел Мануш,— против тебя идут твои люди, русы...

— Неправда,— ответил князь Святослав,— никогда рус не подымет меча против руса, никогда рус не изменит и не предаст своего брата.

— Так вот тебе, князь! — крикнул болярин Мануш, выхватил что-то из-за пазухи платна и протянул князю Святославу.

— Что это? — не понял князь Святослав.

— Читай.

Князь Святослав развернул пергамент, поданный ему болярином Манушем. Это было письмо к императору Иоанну. Держа в руках пергамент, князь Святослав подошел к светильникам и в их ярких лучах принялся читать. В светлице стало тихо.

Теперь все видели лицо Святослава, склонившееся над пергаментом, его большие серые глаза, высокий лоб, на котором собралось несколько глубоких морщин, бритую голову со спадающей до самой шеи прядью седеющих волос, длинные седые усы и резко очерченные губы, которые тихо шептали написанные на пергаменте слова.

Князь Святослав прочитал все, от первого до последнего слова, потом свернул пергамент, поднял голову и посмотрел на болгарских боляр, которые молча стояли перед ним.

— Ты все прочитал, киевский князь? — спросил болярин Мануш.

— Прочитал,— тихо вздохнув, промолвил князь Святослав.

— Так почему же ты молчишь?

— Я уже учинил суд раньше и сказал, что каждый, кто вместе с вами и Византией идет против Руси, будет казнен.

— Даже если это будет твой брат Улеб?

— Даже если это будет мой брат Улеб,— ответил Святослав.— Он вместе с тобою заслужил смерть.

Князю Святославу было невыносимо тяжело и больно. Это была, наверное, самая трудная ночь с тех пор, как он стал со своими полками на Дунае. Как русский князь и воин, Святослав видел врага только перед собой и, точно карающий меч, обрушивался на него.

В этой борьбе ему приходилось очень трудно, особенно трудно было в последние месяцы в Доростоле, и все же он ви-

дел врага только впереди себя, верил, что неминуемо победит,— с такими людьми, какие сражались рядом с ним, нельзя было не победить.

И вот, оказывается, враг не только впереди, а рядом с тобой, за спиной... И кто же этот враг? Болгарский кесарь? Он знал ему цену. Болгарские боляре? Он никогда не опирался на них. Нет, его враг — родной брат Улеб.

Не хотелось верить, что это так, но на столе лежит письмо к императору Иоанну, в котором сказано, что они, боляре болгарские, согласны на мир с ромеями, отдают Доростол, но просят императора пощадить воев и выпустить их из крепости... И на этом письме стоит подпись не только боляр, но и князя Улеба.

Перед Святославом прошла вся его жизнь. Он вспоминал много дней и лет, проведенных вместе с братом, и понял, что не теперь отступил Улеб от завета своих отцов и людей Руси, а в далеком детстве, когда был робким, трусливым, ненавидел своего родного брата и любил детей варяжских и греческих, когда мечтал о греческой царевне, упорно собирал деньги, дрожал над своим скарбом.

И хотя князь Улеб пошел вместе с ним против болгарского кесаря и императора ромеев, он шел не ради победы, а чтобы добиться своего,— побрататься с болгарскими болярами и кесарем и, возможно, самому стать кесарем римского императора.

«Русская земля! — стонала душа князя Святослава.— Ведаешь ли ты, кто замышлял сесть на Киевский стол, знаешь ли, что замышлял против тебя сын Игоря и брат мой Улеб? И что мне делать теперь, земля Русская, с братом-отступником?»

И князю Святославу казалось, что вместе с плеском дунайских волн к нему долетел далекий отзвук родной земли. Он словно слышал голоса князей — своих предков, голос отца Игоря, матери Ольги и многих и многих людей Руси:

«Покарай его, Святослав!»

Он вздрогнул и схватился за меч. И долго смотрел в отворенное окно, на темные воды Дуная, обвел взглядом светлицу, увидел на столе хлеб и соль, но не мог вспомнить, когда и кто это поставил.

— Пусть рассудит небо, кто из нас виноват! — крикнул князь Святослав.— Боги! Помогите мне свершить праведный суд над братом!

Поздно ночью князь Святослав с Улебом вышли за город, на берег Дуная. За ними следовали двое воевод. Все четверо отошли подальше от стены, так, чтобы никто не мог их слышать. Воеводы остановились, а братья-князья прошли еще вперед.

— Так, Улеб,— сказал Святослав.— Раньше я только догадывался и колебался, а сейчас знаю все... Вот земля, вон месяц, будем говорить только правду.

Над Дунаем тем временем уже поднялась луна; большая, полная, похожая на огненный круг, она висела над левым берегом, освещала громады ромейских кораблей, золотой дорожкой отражалась в воде, играла в прибрежной волне.

И в этом неверном красноватом свете Улеб увидел, куда привел его брат: они стояли на круче над Дунаем, вокруг только песок да вода, темные очертания двух воевод едва виднелись вдали.

— Зачем ты привел меня сюда?! — испуганно воскликнул Улеб.— Что ты задумал, брат?

— Слушай, Улеб,— ответил на это Святослав,— не замышлял я ничего против тебя и не хотел бы замышлять... Однако ныне мне и дружине все про тебя сказали болгарские боляре, показали и письмо к Цимисхию. Ты подписал его, Улеб?

Можно ли ночью, при лунном свете, различить на лице у человека краски? Но в эту минуту князь Святослав увидел, что лицо Улеба стало мертвенно-бледным. Сверкали и горели только глаза.

И князь Улеб понял, что все, о чем он мечтал, к чему готовился, уже известно князю Святославу и его дружине и что они, русские вои, не простят ему содеянного.

Но он хотел жить, он искал спасения и потому попытался защищаться:

— Ты напрасно меня обвиняешь, Святослав... Я никого не убил и не поднял меча против русских людей, а только вижу, что здесь, в Доростоле, нас всех ждет смерть. Мне жаль людей. Разве не страшно так умирать? Калокир показал мне письмо к императору Иоанну, в котором говорится о мире, почетном мире, о жизни для всех людей как тут, в Доростоле, так и там, на поле. Я подписал это письмо — не меч, но мир.

— О, император ромеев,— сказал Святослав,— был бы очень доволен, получив это письмо! Ты жалеешь наших людей и не хочешь крови? Но сколько крови пролилось бы, если бы мы жалели собственную кровь?! Ты — против меча и стоишь за мир? Но чего стоит тот мир, о котором говорит враг, чтобы тебя усыпить и убить?! Не мне и не тебе, Улеб, судить, что будет после нас, но знаю: когда-нибудь люди вспомнят пролитую нами кровь и заклеймят тех, кто изменил нашему делу... В эту ночь я повелел покарать смертью вероломных боляр...

— Ты хочешь убить и меня?

— Нет, я не хочу тебя убивать, хотя твое злодеяние больше, чем их. Однако негоже убивать киевского князя, как татя. У тебя есть меч, поступи так, как наши вои, когда не хотят отдаться в руки врагу. Учини суд над собой...

Улеб пал на меч. Это была единственная правда, которую он совершил на земле.

И тогда, как почудилось Святославу, стало очень тихо: ветер дул, но как-то бесшумно, Дунай катил волны, но без плеска, звуки доносились только со стороны темной громады Доростола — печальное пение. Это болгарский патриарх Дамиан со своим причтом правил заупокойную над погибшими язычниками-русами. Да еще в стане ромеев слышались конский топот и брячание оружия. Но и эти звуки были приглушенные, неясные, как во сне.

Бездыханное тело Улеба лежало среди этого безмолвия на холодном песке. Опершись на меч, стоял князь Святослав. В отдалении темнели фигуры воевод.

— Воеводы! — позвал Святослав.— Идите ко мне!

И тотчас все проснулось: прилетел из-за реки ветер, заплескалась волна на Дунае, воеводы подошли к Святославу. А впереди них ложились долгие темные тени. Эти тени покрыли и лежащее на песке тело князя Улеба.

— Воеводы! — промолвил Святослав.— Князь Улеб погиб, ибо не пожелал сдаться врагу. Его убили ромеи...

Он поглядел на воевод и увидел их бледные, окруженные сверкающим серебром шлемов лица, а они — измученное лицо своего князя.

— Вражда наша закончилась,— сказал князь Святослав,— Улеб покарал себя за содеянное. Ибо нет на земле большего злодеяния, чем измена родной земле...

Князь Святослав помолчал и долго смотрел сквозь голубую ночь на левый берег Дуная, на косы, отливающие желтым блеском под лучами луны, и на леса, что стояли на страже по небосклону.

— Но не хочу я,— продолжал князь Святослав,— дабы об этой вражде нашей знали ромеи и насмехались над ней. Пусть не радуются, что у нас князья себя убивают, пусть не имут сраму и русские люди,— это ромеи убили его. Потому идите в город и скажите, что ромеи напали на князя Улеба здесь, на берегу Дуная, внезапно захватили и убили... Так ли я рассудил, воеводы?

— Правильно, княже!

— Идите и приведите стражу, чтобы взяла его тело.

— Но как оставить тебя одного, княже?

— Не бойтесь,— ответил Святослав,— меня ромеи не возьмут.

Однако воеводы не оставили своего князя — один из них быстрыми шагами направился в город, другой пошел было следом за ним, но неподалеку остановился и стал так, чтобы его не видел князь.

И князь Святослав его не видел. Земля плыла в глубинах

ночного океана, на небе все выше и выше поднималась луна, на берегу переливалась янтарная россыпь волн, над ними вдруг взлетел со стоном кулик.

Князь Святослав подумал: почему появилась среди ночи, стонет здесь, над песками, птица? А может, это и не птица? Зачем ей вылетать в такую глухую пору из гнезда? Это душа брата Улеба, превратившись в птицу, носится над Дунаем, скорбит, что все так получилось.

Да и как не скорбеть, как не стонать?! Бедная, бедная птица! Вот бездыханное тело князя Улеба лежит на песке, а ты, душа, распростерла над ним черные крылья и думаешь: как все это случилось, куда тебе теперь деваться?

Не плачь, черная птица, не стони здесь, над Дунаем, не навевай печаль на людей. Ибо ты искала своего — и не нашла, хотела сделать свое — и не смогла, а теперь нечего тебе тут делать! Радуйся хотя бы одному — люди не узнают, что́ ты содеяла, и еще до рассвета похоронят тело Улеба так, как надлежит князю... А ты. птица, не стони, поднимайся, покуда темно, в небо. Может, там еще до восхода солнца ты отыщешь тропу в вырий, и если тебя не пропустят в княжьи ворота, то хоть уцепишься где-нибудь на веточке в садах Перуна.

Может, птица кулик услышала или угадала мысли князя Святослава, потому что, простонав еще несколько раз, полетела над волнами, поднимаясь все выше и выше, пока голос ее совсем не утих.

А от города уже шли вои, чтобы положить на щиты тело князя Улеба, убитого, как сказал князь Святослав, в эту ночь ромеями здесь, на берегу Дуная.

Скоро минет ночь. Светильники еще горят в палате кмета, но за Дунаем уже полыхает денница. Вот-вот займется день, а с ним придут новые муки и страдания.

У стола стоит князь Святослав. Неужели у него сгорбилась спина? Нет, это он склонился к столу и взял булаву. А сейчас князь стоит такой, как и всегда, стройный, сильный, непобедимый.

Перед ним старшая дружина. Немного их осталось: нет в живых князя переяславского, князя черниговского, только вчера убиты воеводы новгородский и древлянский, нет уже и Улеба.

— Дружина моя! — промолвил князь Святослав.— Уже нам некуда ся дети, должны мы волею или неволею стати противу ромеев. Не посрамим же земли Русской, но ляжем костьми тут, мертвые бо срама не имут... Станем крепко, дружина моя, аз же пред вами пойду... Аще моя глава ляжет, то промыслите сами...

— Веди нас, княже! — зашумели воеводы.— Где, княже, твоя глава ляжет, тут и свои главы сложим...

Это был час, который решал судьбу не только ромейского и русского войска, решалась участь многих народов, а может быть, поколений. Никто из воев, верно, об этом не думал, но каждый знал, что если победит Русь, то счастье, мир и покой будут на Дунае, поднимется Русь и станет такой могучей, что никакой враг не будет ей страшен. Победят ромеи — забушуют над Дунаем черные ветры, до самого Днепра и далеко за ним ляжет множество племен, немало земель погибнет под мечом империи, и на много веков воцарятся неволя, рабство и смерть.

Князь Святослав ждал этого часа. Ради того, чтобы отвести смерть от Руси, пришел он сюда с войском. Долго здесь, в Болгарии, это войско мучилось и страдало, случались победы, были и поражения. Однако все они верили, что победят, и смело шли на сечу.

Теперь начался последний бой. Империя не могла больше воевать, иссякали и силы русов. И тем страшнее была эта сеча — каждый из противников выставил все, что мог. Оставалось одно — либо умереть, либо победить.

Победа сразу стала склоняться на сторону русов. Она, казалось, была уже на остриях их копий. Щитоносцы, лучники и пращники гнали перед собой тучи стрел и острых смертельных камней. Копьеносцы врывались уже за щиты — поколебались ряды империи.

Войско Иоанна отступало. Теперь это было ясно. Раз и второй налетела на русских воев боевая конница, но они, загородившись щитами, били коней и сбрасывали всадников.

И уже близка была победа Руси, уже ромейские воины готовы были казать спины, как вдруг случилось то, чего человек не может предвидеть и против чего не может устоять...

В разгаре боя никто не заметил, как с низовья Дуная выплыла темно-серая туча. Впереди нее бушевал свирепый вихрь. На Дунае поднялась высокая волна, над косами, до самого неба, взвились смерчи.

Буря, страшная черная буря бушевала в поле вокруг Доростола. Ветер свистел между копьями, знамена отрывались от древков, а вои русские все шли и шли вперед. Но песок слепил им глаза. И, отворачиваясь от толкавшей их в грудь, валившей с ног бури, они одновременно отворачивались от врагов.

Святослав видел все это. Ветер бил его в грудь, песок засыпал глаза. Конь, не обращая внимания на удары, опустил голову и стоял на месте как вкопанный.

Святослав поднял вверх лицо и несколько раз взмахнул мечом с такой силой, что, попадись под руку кто-нибудь, он рассек бы его пополам.

— Перун! — крикнул он сквозь свист и завывание бури.— Что делаешь ты, почему пошел против Руси? Неужели ты заодно с греками? Отступи! Поверни вспять, Перун!

Он размахивал мечом, будто вступил в единоборство и рубил ту силу, которая так стремительно гнала на его воев море удушливого воздуха и тучи желтой пыли.

— Перун! — кричал Святослав.— Слушай меня, Перун!

Буря не стихала, тучи пыли становились все гуще, конь не мог ступить шага. Самым страшным было то, что сквозь желтую мглу князь Святослав видел, как пошатнулись и разорвались ряды его войска, как некоторые вои, широко раскрыв от ужаса глаза и забросив на спины щиты, повернули назад...

Но и ромеев била и трепала эта буря.

— С нами святой Феодор! — кричал Вард Склир.— Вперед, ромеи! Не выпускайте русов...

Ромеи не могли сдержать русов, причинявших им такой большой урон.

— Дружина! — кричал князь Святослав, превозмогая свист и рев бури, повернув коня по ветру.— Всадники, отступайте к главным воротам, земли — каждая к своим. Бейте ромеев! Бейте! Нам помогает Перун!

В разгаре боя, сквозь бурю и смерч, Микула увидел князя Святослава.

Князь сидел на коне, размахивая мечом, и рубился с каким-то ромеем, с головы до ног закованным в броню. Всадник, видимо, из трусливых, все время отступал, и князь, наверное, рассек бы его мечом.

Но вдруг под князем Святославом пал конь. Пешие ромеи пронзили его копьями, и князь едва успел высвободить ноги из стремян...

Князь продолжал биться пешим. На земле очутился и всадник, с которым рубился Святослав. Возле него было еще несколько ромеев с копьями и мечами. Они подступали к князю Святославу с двух сторон. А князь сначала бился вместе с двумя меченосцами и знаменосцем, потом с меченосцем и знаменосцем, потом только со знаменосцем и, наконец, остался один.

При виде этого у Микулы сжалось сердце, и он кинулся стремглав к князю. Вот один из ромеев ударил князя по правому плечу, Микула видел, как кровь брызнула из раны...

— Княже! — крикнул Микула.— Ид-у-у!!

Он не бежал, а летел, подняв свой меч, и вмиг очутился рядом. Первый дар его меча был так страшен, что пробил шлем одного из ромеев, вторым ударом он сбил с ног другого, третьего ударил в спину...

А тем временем к князю Святославу подбежали русские вои. И хоть из плеча его еще сочилась кровь, князь снова сел на коня и поехал вперед, а за ним зашагали вои.

Ночью император принимал полководцев у своего шатра. Сам он сидел в раззолоченном кресле, перед ним на столе горел светильник.

— Проклятый бой! — неистовствовал Иоанн.— Сколько мы потеряли убитыми?

— Начало боя было тяжелым, император. Мы потеряли тысячи две...

— Похоронить с почестями, писарям записать имена, родственникам раздать землю в Болгарии...

— Хорошо, василевс!

— А сколько убито русов?

— Они собирают своих убитых...

— Но сколько, сколько примерно?

— Тысячи две, может, и больше,— невнятно пробормотал кто-то из полководцев.

— Две тысячи, может, и больше? — сердито буркнул Цимисхий.— Надо было убить десять тысяч, всех... Вы их просто выпустили сегодня с поля боя.

— Они очень быстро отступили, когда началась буря... Мы преследовали их до самой стены, и там разыгрался страшный бой...

— Страшный бой! — в сердцах воскликнул император и засмеялся.— Почему вы не ударили по ним в это время справа и слева, почему не окружили их? Нам помогал бог, это святой Феодор на белом коне шел впереди нашего войска. Почему же вы не следовали за ним?

Никто из полководцев не ответил на слова императора. И тогда он, не в силах больше скрывать свои чувства, вскочил с кресла и забегал перед столом. Полководцы видели то его лицо, то спину. Наконец император остановился и долго смотрел на Доростол, стены которого едва вырисовывались на сером небе.

— Проклятые русы! — потрясая крепко стиснутыми кулаками, кричал император.— Почему мы даже тогда, когда с нами все — бог, святые, ветер, буря,— не можем разбить, уничтожить их? Вы покоряли Крит, Италию, Азию, вы хвастались, что нет силы, которая может перед вами устоять... Почему же вы не можете разбить этих варваров, которые грызут кожи, верят в идолов, не умеют держать в руках копье? Какие вы полководцы? Я — слышите? — я сам поведу свое войско, я найду Святослава, я оставлю от него только прах, тлен!..

Он был зол и свиреп, хвастая своей силой. Но это был не тот Цимисхий, который гордо и уверенно вел свое войско сюда, к Дунаю. За крикливыми словами императора, за всеми его угрозами слышалась беспомощность, и это понимали стоявшие перед ним полководцы. Но они тоже не знали, как разбить русов, которые сидели в Доростоле, как победить Святослава.

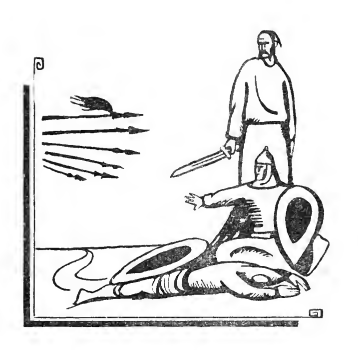
Когда император Иоанн остался в шатре один, к нему зашел проэдр Василий. С первого же взгляда император понял, что он принес недобрые вести.

— Что случилось, проэдр? — спросил Иоанн.

— Друнгарий Лев уведомляет из Константинополя, что Вард Фока поднял восстание в Азии, захватил много кораблей в море и не пропускает никого к Константинополю...

Иоанн долго сидел молча, уставясь безнадежным взглядом в серое полотнище шатра.

— Я не могу больше воевать со Святославом,— хрипло промолвил он.— Все идет против меня в империи. Проэдр, завтра ты поедешь василиком к Святославу. Мир! Мир! Любой ценой! Дай ему дань, заплати ему за живых и мертвых. Пусть он уходит с Дуная. И я еще одного хочу: покажите мне, каков он, этот князь Святослав?



# ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Иоанн Цимисхий прибыл на берег Дуная с многочисленной свитой. Думая ночью о предстоящей встрече с русским князем, император повелел, чтобы его сопровождали все находящиеся в лагере полководцы и высокие особы, чтобы оделись они в лучшие наряды, со знаками достоинства. Никогда не видав русского князя и представляя себе его честолюбивым, гордым, Иоанн был уверен, что Святослав явится на встречу со свитой в лучшем своем наряде, со знаменами, знаками власти, и хотел затмить его роскошью.

Ехал император Иоанн со всей своей свитой к берегу Дуная под развернутыми знаменами империи, окруженный бессмертными. На нем был красный, золотом шитый скарамангий, плечи прикрывала багряная хламида с золотыми застежками, у пояса висел драгоценный меч, на груди переливались и сверкали жемчуга и золото, шапка на голове горела разноцветными камнями, красные сандалии упирались в золотые стремена. Так же пышно разрядились полководцы и высшие сановники Иоанна — соцарствующий император Константин, патрикий и проэдр Василий...

На берегу Дуная они остановились. Здесь стоял шатер, перед ним — скамьи, широкий, покрытый красным бархатом стол, а на нем корчаги с вином, кубки. Император сошел с коня, еще раньше его спешились полководцы. Иоанн сделал рукой знак проэдру Василию, и они вдвоем отошли к обрыву, о чем-то беседуя. Полководцы и сановники стояли молча, они видели, что император недоволен.

И тогда на плесе, ниже Доростола, появился челн. На берегу было тихо, и все слышали, как над Дунаем в челне гремят уключины, как ударяют о воду весла. Вскоре стало видно, что на веслах в челне сидят шесть гребцов, а седьмой стоит у кормила. Возле самого берега челн круто повернул и носом зарылся в песок.

Спутники императора Иоанна кинулись было к берегу, чтобы узнать, кто посмел причалить тут в присутствии императора ромеев, но тотчас же остановились... Гребцы на челне вынули весла из уключин, кормчий опустил кормило, и все вышли на берег. Кто-то подтянул челн повыше, и вперед вышел человек, который только что стоял позади гребцов и управлял челном.

Был он одет, как все гребцы, только подпоясанная ремнем белая сорочка и такие же штаны были чище, чем у прочих, да у пояса висел меч. Лишь тогда, когда он приблизился, император и его спутники увидели, что на бритой голове человека серебрится прядь волос, спадая к уху. Высоко подняв голову, человек смотрел на императора, чуть прищурив глаза, а на его устах, под длинными усами, играла улыбка.

— Здрав будь, император ромеев, и вы, полководцы! — сказал князь Святослав и, взявшись правой рукой за крыж меча, согласно обычаю, поклонился Иоанну и полководцам.— Ты меня хотел видеть, и вот я приехал.

Иоанн понял слова киевского князя, он знал язык болгар, с которыми ему пришлось немало воевать и просто встречаться в Константинополе. Долго-долго смотрел он на князя, и в его глазах были удивление и растерянность. Не ждал он, что Святослав, как простой гребец, приедет на встречу с ним, императором, не думал, что русский князь оденется, как простой воин, не ожидал, что Святослав так прямо, как равный к равному, подойдет к нему.

Было в душе императора и другое. Увидев Святослава, он понял, что князь Руси иначе сделать и не мог. За простотой и непринужденным поведением Святослава император Иоанн увидел что-то более значительное и важное, чем его растерянная свита.

Логофет ждал знака Иоанна, чтобы через толмачей передать все русскому князю. Но император Иоанн дал понять, что будет говорить со Святославом лично, и обратился к нему:

— Благодарю за привет, князь! Да, я хотел тебя видеть, говорить с тобой. Пойдем, князь, к шатру!

— А может, поговорим в челне? — предложил, смеясь, Святослав.— Любо там, император... вода да небо...

Это было неслыханное оскорбление. С императором ромеев никто не смел так разговаривать. Император Иоанн приглашает русского князя к себе в шатер, а тот смеет звать его в челн?! Вся свита стояла наготове, все ждали распоряжения императора.

Но случилось чудо. Император ромеев Иоанн, перед которым падали ниц не только полководцы, но и целые народы, не возмутился, услыхав эти слова князя Святослава, а ответил:

— Добро, князь. Пойдем в твой челн...

Растерянные полководцы и вся свита остались на круче, не зная, что делать,— нарушался церемониал двора. А император со Святославом медленно шли по сыпучему песку и остановились у челна. Князь подал рукой знак, и шесть гребцов, молодых, здоровых парней с бородами и усами, неприязненно поглядывая на императора, отошли по берегу вверх и остановились.

Только тогда император и Святослав ступили в челн и сели друг против друга.

— Так вот ты какой! — тихо промолвил Иоанн Цимисхий.

— А ты, император, думал, что я иной? — искренне засмеялся князь Святослав, от чего на его левом ухе заколыхалась тяжелая золотая усерязь с подвесками — двумя жемчужинами и большим рубином.

— Да нет,— ответил на это император.— Я слышал, будто ты очень гордый, и не думал, что приедешь, как простой гребец, на челне...

— Ты не заметил, что я держал кормило...

Наступило молчание. Над Дунаем было тихо. Мимо челна медленно струилась вода, такая чистая, что на дне можно было разглядеть каждую песчинку. Две серые чайки с криком летали над челном, а вверху, в голубом небе, застыл, казалось, на месте и вглядывался вниз коршун.

— Ты меня звал, император,— прервал молчание Святослав.— О чем же ты хотел меня спросить?

— Я хотел спросить тебя, князь Святослав,— начал император,— почему забрался ты так далеко от родной земли и пришел сюда?..

— Отсюда до Русской земли,— ответил Святослав,— рукой подать. Вот она, Русская земля.— Он указал на левый берег Дуная.— До Константинополя, сдается мне, отсюда куда дальше. Впрочем, ты знаешь, император, пришел я сюда не по своей воле, звал меня император Никифор и дал мне даже за это золото.

— Покойный император звал тебя и дал золото, чтобы ты усмирил непокорных болгар...

— Я усмирил непокорных болгар,— Святослав засмеялся,— дошел до самой Преславы. Но тогда ты выступил против меня и болгар.

— Я должен был выступить,— вскипел Цимисхий,— ведь ты заключил мир с болгарами...

— А зачем мне было воевать с ними далее? Я выполнил волю императоров, прошел всю Болгарию, покорил кесаря Бориса и уложил мир.

— Если ромеи давали русам золото, то их император должен был заключить и мир...

— Мы не печенеги,— сказал Святослав,— ради золота не воюем. За Русь мы, император, стояли...

— За Русь? — император тряхнул своей рыжей бородой.— Хороша Русь, если ты дошел со своим войском чуть ли не до Константинополя! Императоры ромеев никогда не ходили на Русь, они не стояли под стенами Киева. А русы все время идут и идут на империю и не раз уже стояли под стенами Константинополя...

— Что императоры ромеев не стояли под стенами Киева — это правда,— согласился Святослав.— Киев не Доростол, император. Не завидую я тому, кто осмелится стать у его стен,— достанется, как печенегам. Но когда ты говоришь, что ромеи не идут на Русь, то это ложь.

— Почему ложь? — притворился удивленным и даже обиженным Иоанн.

Князь Святослав не успел ответить. И он и император подняли головы. Над ними испуганно закричали чайки. До сих пор они свободно летали над водой, но висевший в небе коршун камнем упал вниз. Испуганные внезапным появлением хищника, птицы сначала кинулись в стороны, но потом закричали громче прежнего, точно сговаривались, и вместе кинулись на кровожадную птицу. Коршун пытался было обороняться, заклекотал, но скоро пустился поскорее вдоль Дуная прочь. Чайки долго гнались за ним, потом вернулись и принялись летать над челном, словно жалуясь: «Ки-и-ги! Ки-и-ги!»

О чем думал император ромеев в эти минуты? Прищурив светло-голубые глаза, сжав губы, он часто дышал тонким, острым носом, снял шапку и провел рукой по рыжим волосам, по огненно-красной бороде, словно ему было душно.

Князь Святослав, продолжая смотреть на чаек, закрутил правой рукой ус...

— Ой, горе бедным чайкам,— промолвил он,— однако же они дали злодею хлебнуть дунайской водицы... Вот так, император, бывает...

— Ты сказал,— сердито перебил его Цимисхий,— что императоры ромеев солгали. В чем ложь?

— Тебе ведомо, император, о чем речь... Когда-то, не при нашей еще памяти, над морем Русским сидели наши предки. А сейчас? Климаты? Почему же Климаты, коли это исстари наша земля? Ну, хорошо, пусть уж будут и Климаты. Но почему императоры ромеев посылают своих воев на север от Климат, на запад, на восток?

— Князь Святослав, это ложь...

— Ой, нет, император, не ложь... Вспомни, сколько городов поставили ромеи над Русским морем, сколько крови пролили русы в Тмутаракани, в низовьях Днепра, Итиль-реки, Днестра. А Саркел, император? Ведь его построили ромеи на нашем пути, на землях русских. А что сказали бы императоры ромеев, если б князья земель Руси начали завоевывать Сирию или Халдею? Нет, император, Русь никогда и нигде не посягала на земли империи. Империя стремится стать и уже стала на русские земли... Чудно́ мне, император! Ведь у ромеев много земель у моря, в Азии, полмира...

— У Руси,— перебил его император,— не меньше земель, чем у ромеев...

— Это правда,— сказал Святослав и улыбнулся.— Много земель суть на Руси,— он прищурил глаза и мечтательно поглядел вдаль, за Дунай, за косы,— так много, что ты и помыслить не можешь, император... От Русского моря до далеких северных украин, от болгар до Итиль-реки и гор Орал... Велика земля, полмира...

Император глядел из-под густых бровей на князя Святослава, который очень спокойно рассказывал про Русь, и глаза его в эту минуту, казалось, потемнели. А когда князь Святослав поймал на себе пронизывающий взгляд императора и умолк, Иоанн отвел глаза, вздохнул, обернулся, посмотрел на свою свиту, которая по-прежнему неподвижно стояла на берегу...

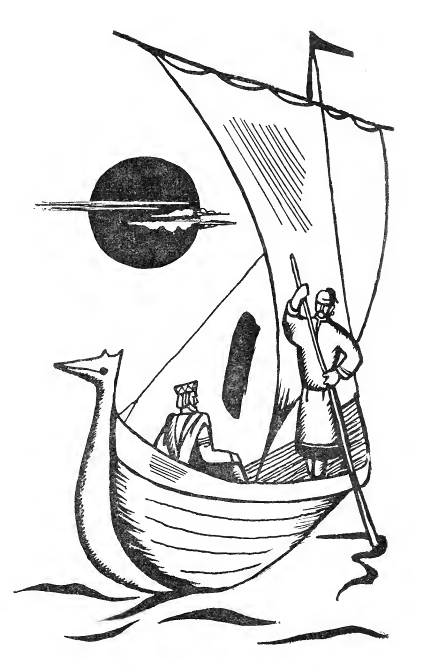
А потом император Византии склонился ближе к князю Святославу и таинственно зашептал:

— У тебя полмира, полмира у меня. Зачем же нам ссориться, князь Святослав?

— О чем ты говоришь, император? — не понял его Святослав.

— Ты и я — мы два богатыря,— продолжал так же тихо Цимисхий,— и я хочу, чтобы мы поступали как богатыри. Слушай, князь! Давай поделимся! По Дунай — все мое, за Дунаем — твое. Я буду сидеть в Константинополе, ты — в Киеве.

Князь Святослав посмотрел на императора ромеев, потом обернулся, посмотрел за борт челна. Там текла голубая вода, плавали мелкие рыбки, на дне лежали отшлифованные волной камни. И вдруг, опустив руку в воду, князь Святослав достал со дна камень.



Император вздрогнул. Зачем киевский князь взял этот камень? Не зная, что станет делать князь, Иоанн напряженно следил за каждым его движением...

А князь Святослав все держал камень у себя на ладони, смотрел, как с него в Дунай падают большие серебристые капли.

— Видишь, какой чудесный камень? — промолвил князь Святослав.— А скажи мне только одно, император: чей это камень?

Император не понимал, к чему ведет киевский князь.

— Камень?! — он засмеялся.— Как чей? Если камень в твоей руке, он твой...

— А теперь? — Князь Святослав засмеялся и кинул камень далеко от челна. Сделав дугу, камень врезался в голубую гладь и исчез, а по воде пошли круги.

Император молчал.

— Чей же сейчас этот камень? — еще раз спросил князь Святослав.

— Ты спрашиваешь меня о странных вещах,— хмуро ответил Цимисхий.— Теперь камень ничей... Но что все это значит?

— Видишь, император,— сказал Святослав,— камень и то — вот он мой, а вот уж и не мой. А ты хочешь проложить границу мира, разделить его на две половины. «Это, говоришь, мое, а это — твое». А разве ты или я можем его разделить? Ты сказал: есть Византия, есть Русь, и это очень большие земли. Но это еще не вся земля. Вот сидим мы с тобой здесь, на Дунае, но это земля Болгарская. Да и не только она. Есть франки, англы — по эту сторону, а там, за Русью,— монголы, китайцы... Да разве это камни, которые можно швырять туда или сюда? Ты хочешь покорить полмира, потом захочешь покорить и весь мир. Нет, император, покорить весь мир никому не удастся...

— Ты меня не понял,— промолвил Иоанн Цимисхий.— Византия не стремится покорить весь мир. Я хотел только договориться, где мое, а где твое...

— Наши послы, сдается, все и поделили. Византии — свое, Руси — свое, Болгария меж нами.

Император Иоанн смотрел на Дунай.

— Да,— он махнул рукой,— наши послы как будто обо всем договорились, но я еще кое-что хотел добавить...

Он умолк на минуту и посмотрел на Святослава.

— От себя хотел добавить,— продолжал Цимисхий,— что восхищен тем, как ты боролся со мной... Ты, князь, хороший полководец.

— Любо мне слышать сие от столь искусного и хитрого полководца, как ты,— ответил Святослав.— Но с тобой боролся не я, а Русь...

— Боролась Русь, а ты — ее князь. И я хотел бы в знак уважения к тебе... и Руси наречь тебя кесарем, василевсом Руси, дать вам светоч истинной веры — христианство...

— Благодарю тебя, император,— откровенно сказал Святослав.— Но зачем нам, Руси, кесари да василевсы? Есть на Руси киевский князь, есть князья земель и другие князья. Право же, император, не нужны нам еще и кесари, а тем паче василевсы. Что же до христианства, то у нас на Руси уже немало христиан, мать моя, княгиня Ольга, была христианкой. Однако я и еще много наших людей держимся старой веры, которую вы называете язычеством... С христианством не враждую, но еще не ведаю, император, чья вера лучше. У каждого свое. По-твоему, христианство лучше, а по-моему, надо жить, как мои отцы и деды, язычником Руси хочу быть. К чему спорить, император. Может, когда-нибудь и язычники станут христианами, и может, христиане сделают то, чего не свершил бы варвар, язычник. Подождем, император. Куда и зачем нам спешить, ежели между нами любовь и мир?

— Но мы ведь встретимся еще с тобою, князь? Правда, почему бы тебе не приехать в Константинополь?

— Князья киевские не раз уже посещали Константинополь,— процедил сквозь зубы Святослав.— Моя мать, княгиня Ольга, там тоже была и много о ваших чудесах рассказывала. Дивен Константинополь, хочу и я там побывать и буду. Но почему бы тебе, император, не побывать на Руси, в городе нашем Киеве? Ведь и о Киеве говорят немало, но никто из императоров римских не посетил его. Приезжай, император! Мы встречаем своих гостей с хлебом.

— С чем? — не понял Цимисхий.

— С хлебом, говорю, а порой и с солью.

— Добро! — промолвил император.— Приеду.— Он встал и продолжал стоя: — Император Никифор,— сказал он,— послал к тебе своим василиком Калокира. У меня есть сведения, что он в вашем стане...

— О император! Твой посол до конца служил Византии и шел с нами от Киева до последнего дня...

— Я хочу, чтобы ты его вернул...

— Я могу вернуть только его труп — сегодня ночью Калокир повесился...

— Жаль,— закончил император.— Что ж, князь, я сказал тебе все, что хотел...

— А я поведал, что думал...

Они вместе сошли на берег, приблизились к шатру, где стояли на столе корчаги с вином. Слуги кинулись разливать вино, проэдр Василий сам услужливо налил кубок Святославу.

Но князь, подойдя ближе к столу, сам взял большую корчагу с вином и налил доверху два кубка...

— Хочу пить на тя,— сказал он императору и первым поднял полный кубок.

— Спасибо! — хмуро ответил император.— И я выпью за тебя...

Они выпили кубки до дна.

Пили за императора и полководца.

Вскоре князь Святослав попрощался, спустился по круче к берегу и ступил в челн.

Гребцы высоко подняли весла, князь Святослав стал у кормила. Гребцы опустили весла в воду, князь круто повернул кормило, дал знак гребцам, и челн поплыл против быстрого течения. А над ним полетели с жалобными криками чайки.

Стоя у шатра, император Иоанн долго смотрел, как уплывает все дальше и дальше, борясь с течением, челн. Осторожно ступая по песку, к нему подошел проэдр Василий. Когда император обернулся, он увидел сердитое, перекошенное злостью лицо проэдра, его злые глаза.

— Хитер киевский князь! — прошипел проэдр.— Он не выпил вина из моего кубка...

Небрежным движением, будто случайно, он опрокинул со стола одну из корчаг, и красное вино струйкой потекло из нее, а кровавое пятно долго еще впитывалось в песок.

Это был не Буколеон, а поле битвы под Доростолом. Но постельничий, проэдр Василий, и здесь не покидал всю ночь своего императора. Он проследил, чтобы вовремя подали ужин и вино императору, и поужинал вместе с ним. Император выпил много, проэдр — ровно столько, чтобы внимательно слушать, а самому не сказать лишнего.

Постельничий Василий вышел из шатра и сел на скамью; он видел, как император погасил светильник, слышал, как он долго ворочался в постели, тяжело вздыхал, потом успокоился и, видимо, уснул.

В стане было темно, стан молчал. Вокруг шатра императора, на широкой площади, по углам которой размещались этериоты, экскувиты и иканаты — вся охрана императора — стояла ночная стража. В броне, со щитами и мечами, не имея права шевельнуться, они казались на фоне серого неба большими каменными изваяниями. Было тихо и дальше, в землянках, где спали конные и пешие войска фем и таксиархий. Император мог спать, ничто ему не угрожало.

Однако Цимисхий не спал. Прошел, должно быть, час, и проэдр Василий услышал, как он поднялся со своего ложа, прошелся взад и вперед. Проэдр даже вскочил — шаги императора прозвучали у самого полога.

— Ты не спишь, проэдр? — услышал он голос Иоанна.

— Нет, император, не сплю. Проздр не может спать, когда почивает василевс. Но, я слышу, император не спит?

— Да, не сплю,— сказал Цимисхий, выходя из шатра. Он постоял с минуту, пока его глаза не привыкли к темноте, и опустился на скамью.— Садись и ты! — тихо промолвил он.

Так император Византии Иоанн Цимисхий в темную ночь, после окончания длительной войны и заключения мира с Русью, выйдя из шатра, сел рядом с проздром Василием и повел с ним беседу.

— Почему же император не спит? — спросил еще раз проэдр Василий.— Ведь император заключил мир, увидел поверженного князя Святослава, а потом выпил доброго вина...

— Все это так,— донесся из темноты голос императора Иоанна,— Русь побеждена, князь Святослав повержен, я выпил вина. Но сон бежит от меня. Я хочу, очень хочу спать, но думы прогоняют сон.

— Какие же это думы, император? — с сочувствием спросил проздр Василий.

— Святослав! — сказал император громче, но так, чтобы его не услышали стражи.

— Святослав?! — Проздр засмеялся.— Побежденный князь?

— Проздр,— начал Иоанн,— я видел в своей жизни многих врагов, многих из них победил. Но всегда, победив врага, я уже не боялся его. А сейчас я боюсь. Да, проздр, я боюсь. Вот она,— император указал в темноте на очертания Доростола,— загадочная Русь. Я говорил с князем Святославом — и не понял его, я не знаю, кто он. И даже когда они уйдут отсюда, я буду их бояться. Русь — это страшная, нависшая над империей туча, Святослав — это язычник, это Перун, который идет против Христа. А что мы без Христа? Ничто!

— Это правда, император,— согласился проздр Василий.— Русь — страшная для нас земля, это так. Либо Византия, либо Русь, Перун или Христос — и это так. На небе лишь один бог, на земле может быть только одна империя, а в империи — один василевс. Так сказал сам Христос: «Едино стадо — един пастырь». Но почему ты думаешь, император, что Христос должен воевать с Перуном только мечом?

— А чем же еще можно с ним воевать? Вином? Так Перун знает, какое вино ему можно пить, а какое нет...

— Если он не захотел выпить кубок с цикутой, то надо сделать кубок из его черепа.

— Проздр! Я согласен заплатить сто, двести, триста кентинарпев. Да если бы за его смерть мне пришлось отдать полимперии, я не пожалел бы и того. Слышишь, проздр?!

— Ты слишком щедр, император, и забыл о том, что в нашей казне пустовато. Ста кентинариев будет достаточно.

— Что же ты сделаешь?

— Я пошлю, император, к тем же самым пацинакам василика и дам им золото, сто кентинариев... Покойный Калокир писал мне из-под Адрианополя, что беседовал об этом с каганом Курей. Если князь Святослав пойдет по суше, они встретят его в поле, если морем — на Днепре.

— Проэдр! Позволяю тебе дать пацинакам столько золота, сколько они потребуют. Только не откладывай, спеши, проэдр!

— Я сделаю все, что нужно,— засмеялся проэдр.— Где бессильна стрела, там всемогуще золото. Пока в империи есть золото, она еще сильна. Однако с Дуная ползет туман, иди в шатер, пора на покой...

И над Дунаем, и над всей землей царила ночь. Спокойно уснул наконец император Византии, спал и его стан. Не спали только в Доростоле. Там, за стенами крепости и на берегах Дуная, горели огни, отблеск которых блуждал по тучам, и звучали голоса — русы готовились в дорогу.

Не спал и проэдр Василий. Сидя на скамье у шатра и глядя на небо, на Доростол, на огни над Дунаем, он упорно о чем-то думал, и если бы кто-нибудь сейчас увидел его лицо, то заметил бы, как играет на нем улыбка — порой мечтательная, порой злобная.

Проэдр Василий в эту ночь думал о том, когда же он теперь даст смертельный яд еще одному императору Византии — Иоанну. Но дальше? Что он будет делать дальше?

Проэдр Василий хотел побыть императором Византии хотя бы день. Может быть, в этот день возвратится душа в его тело? Только почему-то слабеет тело у проэдра Василия, не поздно ли возвращать душу?

Князь Святослав торопился. В Доростоле, да и повсюду в низовьях Дуная стояла еще хорошая погода, все вокруг зеленело и цвело. Но с севера, из-за гор, порой дули свежие ветры, а высоко в небе плыли белые, прозрачные облачка — наступала осень.

Несколько дней, работая даже по ночам, вои спускали на воду лодии. Ладили рассохшиеся на горячем солнце днища, ставили щоглы, увязывали реи, чинили и шили ветрила, грузили на лодии все необходимое для дальней дороги; потом приняли с греческих кумварий дань — по две медимны жита на каждого воина.

Все эти дни на Дунае, в Доростоле и на поле за ним было тихо. Византийский лагерь стоял на месте, вокруг него день и ночь ходили виглы, на греческих кораблях гребцы по-прежнему не сушили весел. Здесь находился и император, его сверкающее знамя реяло над главным шатром среди лагеря.

Князь Святослав, зная этого коварного и хитрого врага, велел остерегаться, держать дозор в поле, на стенах и возле лодий.

У князя Святослава болело сердце не только по своим воям. Он думал и о болгарах, которые так храбро, не жалея ни крови, ни жизни, боролись наряду с русскими воями. Вои Руси возвращались в родные земли, в Киев. Но что будут делать без них в своей поневоленной земле болгарские смерды и парики?!

Потому князь велел, пока русские вои стояли в Доростоле, уходить из города, уезжать на конях, плыть на лодиях тем болгарам, кому не было места в Доростоле и кого здесь ждала неминуемая жестокая расплата, страшная казнь.

И болгарские вои, опасаясь, что Доростол станет их могилой, бежали отсюда. По ночам стража провожала их далеко за город, где не видно было ромейских вигл. В то же время от берега одна за другой отчаливали однодеревки-долбленки: они плыли на север — к Железным воротам, на юг — к устью Дуная.

Пришлось и Микуле попрощаться со своим побратимом Ангелом.

Ангел был тяжело ранен мечом в ногу и не мог ходить. Как и многие раненые болгары, он лежал у стены над Дунаем. Здесь за ними ухаживали здоровые вои, доростольские жены, девушки.

Стояла душная августовская ночь. Где-то за Дунаем бушевала гроза, там сверкали молнии, но так далеко, что громовые раскаты не достигали Доростола.

— Наши вои готовят лодии,— Микула указал на берег,— и отвезут вас подальше от Доростола, вверх по Дунаю.

Ангел молчал.

— Может, доберешься и ты до своего села,— продолжал Микула.— Доброе село! Помнишь, как мы там бывали?

Далеко где-то сверкнула длинная зигзагообразная молния, и Микула на миг увидел освещенное ее зеленоватым светом лицо Ангела — страшное, с блестящими глазами, острыми скулами, закушенными губами.

— А что там, в селе? — долетел до Микулы голос Ангела.

Болгарин умолк, но до Микулы донеслись странные звуки — сомнения не было, Ангел плакал.

— Ты так не говори.— Микула близко-близко склонился к Ангелу.— Это не конец. Слушай, Ангел, это не конец.

— Как же не конец? — спросил Ангел.— Ничего у меня теперь нет, и Цвитаны тоже.

Он заплакал, уже не скрываясь. Сверкнула молния, и Микула увидел его орошенное слезами лицо, тоскливый взгляд, кривившийся от плача рот.

— Слушай, Ангел,— сурово промолвил Микула,— нельзя плакать! Ты ведь не женщина! Перестань!..

Этот окрик, видимо, подействовал на Ангела. Микула услышал, что друг стал дышать ровнее, спокойнее. А в темноте нашла и сжала Микулину руку рука Ангела.

Так, держась за руки, они помолчали некоторое время: Ангел — лежа у стены, Микула — сидя на земле возле него. И хотя за Дунаем одна за другой сверкали зарницы, друзья, казалось, их не замечали, каждый погрузился в свою думу.

— Так,— промолвил напоследок Микула.— Ты сказал — конец. Нет, Ангел, не конец! А разве мало урона причинили мы ромеям? Верь, они едва не истекли кровью и долго еще будут кровоточить их раны. Да и люди, сколько бы они ни жили, этого не забудут! Разве можно забыть?

При свете молний, сверкавших все чаще и чаще, они смотрели на стены Доростола, которые напоминали каменные глыбы, на широкую, необъятную гладь Дуная, где вырисовывались ряды людей, на воев, которые ходили вдоль берега и казались великанами.

— И тебя я никогда не забуду,— добавил Микула, вспоминая все дни, которые ему суждено было провести с Ангелом.— Разве можно это забыть? — закончил он, пожимая руку побратима.

Ангел в ответ только крепко-крепко стиснул руку Микуле.

— А ты тоже не забывай,— снова начал Микула.— Будет трудно — вспоминай меня, всех нас... Вот тебе и станет легче.

— О! — вырвалось тогда у Ангела.— Тебя и всех вас я никогда не забуду.

— Вот видишь! — Микула засмеялся.— А ты говоришь — конец! Нет, лиха беда — начало. А конец еще далек, далек...

Он на минуту задумался, потом нерешительно промолвил:

— Вот я думал: что бы тебе оставить на память? Меч или щит — у тебя они есть, а мне еще пригодятся. Жаль, Ангел, ничего у меня нет... А впрочем, погоди, придумал...

Он порылся за пазухой и положил Ангелу в руку небольшую, но довольно тяжелую вещицу.

— Это Мокоша,— сурово промолвил Микула.— Добрая богиня, богатая, она родит все на земле, оберегает человека и все живое. Помнишь, Ангел, я молился ей тогда, перед битвой? Она и помогла — тишина, мир... А теперь я дам ее тебе, пусть помогает.

— Но ведь это твоя богиня,— ответил Ангел.

— Я возвращаюсь домой,— возразил Микула,— там у меня много богов. Там они повсюду — там у меня жена, дочь, сын... Нам боги помогут. А Мокоша пусть тебе служит, хоть ты и веришь в Христа.

— Я верю в тех богов, которые мне помогают. Спасибо, Микула, я возьму Мокошу.

И он повесил оберегу Микулы себе на шею.

В это время к ним подошли вои. Пора было нести раненых. Микула помог отнести Ангела, сам уложил его в уголке одной из лодий, а прощаясь, склонился к нему и поцеловал.

Это была последняя лодия с ранеными болгарами. Микула стоял на берегу, а лодия уплывала все дальше и дальше.

Осень ходила над морем. Порой с запада еще подувал теплый ветерок, но его встречали с востока бури, быстро остывала вода. Взбесившеся волны бороздили море, тяжелые свинцовые тучи низко висели над небосводом, время от времени проливаясь дождем.

Когда ветер дул с запада, вои стояли у ветрил, когда заходил с востока — садились на весла и вычерпывали воду. Стояли на острых носах, вглядываясь в темную даль, не отходили от кормил.

Их невзгоды разделял и князь Святослав. Он довольствовался, как и все, коротким ночным или дневным отдыхом, а остальное время проводил со своими людьми, смотрел на высокие волны, с шумом и ревом вздымавшиеся впереди и позади лодий, поглядывал на запад, где остались берега Дуная, и на серый, затянутый туманами восток. А когда становилось трудно, брался за весло или кормило.

Лодии не останавливались. Когда же волны стали вздыматься, как горы, князь день и другой советовался с воеводами: не лучше ли во избежание беды зайти в какой-либо лиман? Однако, взвесив все, решили пробиваться сквозь бурю и волны, чтобы быстрее войти в лукоморье и быть поближе к родной земле, к Днепру.

Но когда однажды утром вырвались они из пасмурных морских просторов и увидели излучину, страх запал в их души. Пески там уже покрыл иней, под лучами выглянувшего из-за туч солнца берега лежали ослепительно белые, холодные.

И все-таки они поплыли вверх по Днепру, чтобы добраться хотя бы до острова Григория, а там дать весть тиверцам и уличам, послать гонцов в Киев. И хоть зимой добраться в Киев!

Но чем дальше они поднимались по Днепру, тем гуще плыли и с шумом налетали одна на другую и выскакивали на берега льдины. Лодии затирало; порой, казалось, их зажмет со всех сторон, превратит в щепы. И дозор, которому Святослав велел идти впереди лодий вдоль берегов Днепра и смотреть, не притаился ли где враг, вдруг вернулся и сообщил, что ниже порогов по обе стороны видел в плавнях печенегов, которые, наверно, поджидают русских воев.

Задумался князь Святослав с воеводами. Весной и летом печенеги часто стоят над порогами в ожидании легкой добычи, но что делать им тут зимой, когда все вокруг засыпает снегом? Уж не подослал ли их кто?

Некоторые воеводы советовали князю:

— Оставим, княже, лодии здесь, сами купим коней у херсонитов и борзно двинемся в Киев...

— Не продадут нам коней херсониты,— ответил на это Святослав.— А коли и ехать борзно, то как повезем с собой наше добро?!

Князь говорил правду: надеяться, что херсониты продадут им лошадей, не приходилось. А если бы они и раздобыли коней, то как ехать? С неба валит снег, морозы крепчают с каждым днем, в поле ни проехать, ни пройти, у порогов и на каждом шагу их подстерегают печенеги.

Князь Святослав велел воям возвращаться к белым берегам, к лукоморью. Лучше уж стоять там, где есть хоть одиночные села, где, может, что-нибудь продадут херсониты, чем замерзнуть среди Днепра или погибнуть от кривой сабли печенега.

Это была лютая, холодная и голодная зима. В позднейшие времена летописец, упоминая о походе князя Святослава и об этой зиме, писал, что не было у них брашна, и быша глад велий, по полгривны платили за конскую голову. Сколько горя и мук, сколько смертей таится за этими скупыми словами!

Чтобы деревянные лодии не затер лед, князь велел вытащить их на кручи.

И вои, да и он сам несколько дней по пояс в ледяной воде тащили тяжелые лодии на берег, волочили на высокие кручи.

Некоторые лодии перевернули, чтобы в долгую зиму приютиться под ними, выкопали на берегу землянки — спасаться от ветров и мороза. Обошли вокруг берега, вырубая каждое деревцо, подбирая каждую щепку, чтобы хоть немного согреться зимой и сварить какую ни на есть похлебку. И когда наступила зима, здесь, на белых берегах, вырос целый стан, окруженный песчаными валами на случай, если посмеет напасть враг.

Враг не напал. Печенеги, видимо, посидели до первых морозов над порогами и двинулись дальше в поле, где были глубокие овраги, в которых можно было укрыться от ветров, где росли леса — топливо, водились звери — мех и мясо на всю зиму, близко находились города и села, с которыми печенеги торговали.

Но стану на белых берегах угрожали и другие враги, и врывались они туда не через валы.

Первым врагом были болезни. Отправляясь в Киев, князь Святослав велел взять с собой всех раненых. Некоторые из них

умерли в дороге, и их опустили в море, некоторые долго и тяжело хворали и помирали один за другим на белых берегах.

Хворали и здоровые вои. Моровые болезни ходили по стану. Вои тяжело страдали от простуды, желудочных и еще неведомых болезней, от которых тело покрывалось струпьями...

Но больше всего мучил голод. Князь Святослав не ошибся: херсониты доподлинно знали, что русы сидят на белых берегах, но в поле не показывались. Когда же русы с большим трудом добрались до Херсонеса, чтобы купить коней и волов, то с них драли полгривны за конскую голову...

И поныне там, в приднепровских песках, тлеют кости воев князя Святослава. Много их в ту пору пришло сюда — мало осталось. А те, кто остался, ждали весну, но не знали, дождутся ли.

Среди ночи с моря Русского поднялся ветер. Он подул над Днепром — и зазвенели льды; пролетел над курганами и косами — встали вихри песка и снега; уперся в далекие леса — и, пригнувшись к земле, застонали, заскрипели вековые деревья.

Но люди, зимовавшие на белых берегах, не испугались. Услыхав среди ночи печальный стон ветра, они выходили из пещер, хижин, настилов над лодиями и подставляли обветренные, обмороженные лица навстречу его теплому дыханию.

«Теплый ветер,— радовались они,— растопит снега, взломает мосты на Днепре, понесет лодии домой, в Киев... Вей, ветер, сильней повевай из теплого края!»

А ветер, словно услышав их мольбу, не унимался и дул, дул с моря несколько дней подряд, крепчал, бушевал, наконец взломал лед на Днепре и принялся его дробить, выбрасывать на кручи и гнать мимо белых островов.

И как ни свистел в песках ветер, как ни грохотал ледолом на Днепре, но вои услышали, как высоко-высоко среди туч, в голубом небе, родились и полетели к земле чарующие звуки. Там из далеких полуденных стран на север летели гуси и журавли.

Это было только начало весны. Еще несколько дней шумел и гремел Днепр, льдины наскакивали на льдины, ударялись о берега, лезли на кручи. Ветер заходил с севера, дышал холодом, порою с неба срывался и снежок — срывался и таял.

Однако вои знали, что пришла весна, и, не в силах больше усидеть здесь, на белых берегах у моря, рвались к родным селениям. И как только между серыми льдинами кое-где зачернела темная днепровская вода, они принялись спускать лодии, ладили весла, осматривали ветрила...

Ранней весной 972 года лодии князя Святослава отчалили от белых берегов над Русским морем и поплыли вверх, к Киеву.

Князь Святослав и воеводы опасались, что у порогов можно налететь на засаду. Печенеги обычно весною уже поспешают к Днепру, чтобы встретить гостей с севера и с моря. Решили разделить лодии на три отряда: первый отряд будет пробивать путь по Днепру, второй повезет все ценное и в случае нужды придет на помощь первому, третий будет служить заслоном-прикрытием. Князь Святослав поплыл впереди. Как всегда, он хотел быть во главе своих воев...

Это был очень тяжелый путь. Подуй низовка, вои поставили бы ветрила и лодии полетели бы к родным берегам. Но ветер не только не помогал воям, а дул с севера и гнал встречную волну. Вои выходили на берег, брали бечевы и пробовали тащить лодии. Но путь преграждали затоны, плавни, да и опасно было тащить лодии вдоль берега, где за каждым кустом мог притаиться печенег. Приходилось идти на веслах — против быстрого течения, высокой волны. Люди же после трудной зимы были измучены и обессилены.

Вот потому и получилось, что русские вои, пустившиеся в путь с белых берегов ранней весной, продвигались медленнее победного шествия весны, и, когда вдали замаячил остров Григория, все вокруг уже буйно зеленело, цвело.

Передние лодии пристали к острову, когда солнце склонялось к западу. Князь Святослав велел укрыть лодии меж прибрежных кустов и под скалами, а дозору оглядеть остров — печенеги могли притаиться там в густых рощах и оврагах. Дозор вернулся, когда солнце стояло уже совсем низко на западе. На острове, доложили вои, никого не обнаружено, не видать ни конских, ни человеческих следов...

Только тогда князь Святослав разрешил сойти всем на берег. Надвигались сумерки, и ходить по острову можно было без опаски. Если бы на левом берегу и сидел печенег, он ничего бы не заметил.

Вышел на берег и князь Святослав. Он хорошо помнил это тихое место на краю острова, куда пристали лодии. Вблизи, на большой поляне под скалами, по-прежнему шумел молодой листвой вековой дуб, перед которым приносили жертвы те, кто счастливо миновал пороги, и те, кто с великим страхом к ним подходил. Князь Святослав приносил здесь жертву, когда шел со своими воями на брань. Он хотел принести жертву и теперь — ведь их путь до порогов закончился счастливо, пусть же боги берегут воев и на порогах!

Князь Святослав остановился перед дубом, готовясь принести в жертву богам черного пса. Полукольцом, в глубоком молчании, стала за князем его дружина. Солнце дошло до небо-

склона и коснулось скал. Темная вода неслась мимо острова, далеко на той стороне чернел левый берег.

На багровом небе отчетливо вырисовывался могучий дуб. Его ствол напоминал великана, длинные ветви казались протянутыми вперед руками, на ветвях висели истлевшие убрусы, пробитые шлемы, щербатые мечи, ржавые копья...

С Днепра повеял вечерний ветерок, и, как живые, зашевелились убрусы, забряцали шлемы, мечи и копья, словно о чем-то говорили воинам.

— Боги требуют жертвы,— пролетело между воев.

Князь Святослав принес в жертву богам пса и, окропив кровью ствол дуба, промолвил:

Боги! Мы счастливо вернулись сюда,
Приносим вам жертву за помощь вашу.
Боги, помогите нам и дальше, помилуйте,
Даруйте победу на брани, мир на земле...

Вои повторили слова князя Святослава.

А над левым берегом Днепра, где среди густых кустов стояла старая верба со сбитой Перуновым огнем вершиной, кружили и кружили два аиста. Они то спускались к вершине вербы, на которой чернело их гнездо, сердито стрекотали клювами, то вдруг, словно испугавшись, шарахались в стороны от гнезда и снова начинали кружить в небе.

Аисты пугались не зря: на вершине вербы, прячась среди ветвей, сидел дозорный с луком и тулом у пояса. Под деревом, в кустах, скрывалось несколько всадников — черных, загорелых, в низких бараньих шапках и в таких же куцых кожушках, подпоясанных ремнями, на которых висели кривые сабли.

Один всадник был одет лучше других: шапка была на нем соболья, украшенная несколькими крупными самоцветами, из дорогого соболя был сшит кожушок, на груди на золотой цепи висела тамга с непонятными письменами, сабля была окована золотом и украшена жемчугом. Если бы князь Святослав мог увидеть всадника с тамгою, он узнал бы в нем кагана печенегов Курю, который клялся ему когда-то под Киевом в дружбе.

Но что стоило слово печенега-разбойника! Еще в прошлую осень его разыскали у Днестра послы императора Цимисхия. Они дали ему мешок с золотом и посулили еще столько же, если он в поле над Русским морем или где-нибудь на Днепре убьет киевского князя Святослава. Каган Куря, памятуя свой неудачный поход на Киев и оскорбление, нанесенное ему князем Святославом, согласился.

И когда князь Святослав плыл со своими воями по Русскому морю, то с суши — из оврагов и лесов — за ним внимательно следил каган Куря со своими всадниками. Ромеи не воевали — воевало их золото. Князь Святослав плыл по морю — печенеги продвигались по суше, вои князя зимовали на белых берегах — каган Куря стал улусом повыше, у Днепра. Ранней весной печенежская орда вышла в понизовье, каган Куря видел, как лодии русских воев отчалили от белых берегов и поплыли вверх по течению.

Тогда каган понял, что час мести настал. Вернувшись в улус, он велел орде с кибитками, женами, скотом продвигаться на восток, а сам с несколькими тысячами всадников направился вверх по Днепру. И пока вои князя Святослава плыли против течения, каган Куря, прячась в лесах и оврагах, продвигался со своими всадниками вдоль Днепра все дальше и дальше, ожидая удобного случая, когда сможет напасть на князя Святослава.

Случай представился. Каган Куря знал, что лодии князя Святослава поделены на три отряда. Разведчики кагана как-то подкрались к самым лодиям, когда вои остановились на ночлег, и узнали, что князь Святослав плывет во главе. С левого берега каган видел, как передние лодии остановились у острова Григория...

Аисты долго кружились над вербой. Стало темнеть, и они опустились в свое гнездо,— видимо, решили ночевать рядом с черным человеком, может, он не тронет их. Правда, время от времени аисты пугались и высовывали длинные шеи из гнезда,— черный человек, сидевший рядом, разговаривал с теми, которые стояли внизу.

— Лодий не видать? — спросили из кустов.

— Нет, больше нет,— ответил дозорный с дерева.

— Что на острове?

— Разожгли костер...

— Они приносят жертву своим богам,— бросил, засмеявшись, один из тысяцких, которые окружали кагана.— Я знаю, жертвы у них приносит князь...

Каган Куря смотрел на Днепр, который быстро темнел и сливался с берегами. На острове Григория, в голубой мгле, горел красноватый огонек. Там князь Святослав приносил жертву, а вокруг стояли его вои...

Опершись на луку седла, Куря задумался. Когда князь Святослав двинулся с белых островов, каган думал идти рядом по берегу Днепра, до порогов, где русские вои вынуждены будут выйти на берег, чтобы волоком потащить свои лодии, и тут же напасть на них. Там, на берегу, у порогов, когда они выбьются из сил, каган собирался подкрасться ночью к стану и поквитаться со Святославом.

Но удобный случай представился сейчас. Князь Святослав остановился на острове Григория с кучкой воев. Прочие лодии еще далеко, они прибудут не ранее утра...

На острове еще раз замигал красноватый огонек и погас. Каган Куря знал: русские вои по ночам не зажигают костров. Загасив огонь, они сейчас перейдут на другое место. Впрочем, куда им деться? Остров не поле, далеко не уйдешь.

Темная ночь опускалась на Днепр, черным было лицо кагана Кури.

— Это была последняя его жертва,— процедил каган сквозь зубы.— Пусть все наши вои выходят к Днепру.

И пришла еще одна тихая, черная, как уголь, ночь; она прикрыла своим пологом берега и остров, вверху запылали звезды-самоцветы, а их отражения, как горячий жар, заколыхались на водной глади.

Князь Святослав знал, что у каждой ночи, а тем более темной, есть уши, а у врага нож. Поэтому он, как всегда на далеком пути от белых берегов, велел воям лечь спать, а страже стать на кручах, вдоль берега.

На острове Григория воцарились тишина и покой. Утомившись после трудной дороги, спали на лодиях, и прямо на песке, и на скалах вои князя Святослава. Им снились очаги родных жилищ, жены, дети. То тут, то там у берега и на скалах в конце острова сидела стража. Уверенные, что к острову в эту темную ночь никто не доберется, вои порой смежали веки. Все, казалось, спало на Днепре и на берегах, спала вся земля.

Не спали только соловьи. И тысячу лет назад, как и теперь, весной, в такую ночь, повсюду — в камышах и кустах на берегах Днепра, в рощах и дубравах, на косах и в плавнях,— всюду лилась тысячеголосая, победная соловьиная песня.

Эту песню слушал и князь Святослав. Он лежал высоко на круче, откуда был виден Днепр с берегами, подстелив под себя попону, а под голову положив седло. Вытянув ноги и опершись головой на луку седла, он смотрел на усыпанное звездами небо и их отблески в воде, упивался свежими запахами земли и слушал соловьиное пение.

Недалеко от князя, на песке, спали воеводы и простые вои. Спали крепко. То тут, то там слышался храп, сонный бред... Но князь Святослав не мог заснуть. Седой, но еще молодой, жизнелюбивый, он слышал, как бьется среди этой великой тишины его сердце, касался рукой холодного песка и ощущал тепло своего тела, глубоко дышал и пьянел от ароматов земли, воды, воздуха. Страстная соловьиная песня пробуждала в нем бесконечные воспоминания.

Теперь, когда уже близок был конец великого похода, князь Святослав думал о том, сколько за эти годы пролилось русской крови, сколько полегло людей там, в горах Болгарии и на берегах Дуная. И что ждет их на Днепре и в открытом поле?

И грустно было, что не все люди Руси ведают, какая страшная опасность надвигалась на них, не все знают, чем угрожала им империя ромеев. А пройдут годы — люди и подавно не узнают, что свершила сейчас Русь...

«На небе горят звезды,— думал князь,— это души наших предков. Они молчат и никогда ничего не скажут о себе. Умрем мы — и тоже затеплимся звездами на небе. Но и мы никогда не расскажем о том, что было в наше время. Почему? Почему?»

Внизу, под кручами, кипела вода, плескались волны. Сколько по этим волнам проплыло русских воев! Сколько их проплывет позже, после них, когда истлеют кости воев князя Святослава,— через сто, тысячу лет?

И что кроется за этими кровью окропленными годами? Какие люди, какие языки, племена будут жить здесь?

Князь Святослав вздрогнул. Неужели и тогда будет литься кровь, неужели люди будут так же враждовать между собой, неужели греческая империя или новые империи поработят и сотрут с лица земли русских людей?

Вдруг князь Святослав заметил, что недалеко от него на песке сидит человек.

«Еще кому-то не спится,— подумал Святослав.— Кто же он — воевода или вои?»

Тихо, чтобы не разбудить других, князь Святослав спросил:

— Кто ты, человече?

— Это я, княже,— долетел тихий голос.— Воин твой Микула...

— Ты разве на страже?

— Нет, княже. Так сижу... не спится...

Микула встал и, тихо ступая по песку, подошел и остановился.

— Чего стал? Садись, Микула...

Тот сел.

— Почему не спишь? Ты же устал, Микула...

— Ой, нет, княже,— ответил воин.— Вот сижу, и не хочется спать. Вода течет — родная вода, в небе звезды, будто стража, соловьи поют, дохнуть боишься, любо мне здесь, вот и не сплю...

— Правда,— князь Святослав вздохнул.— Любимая, родная земля, нет ее краше...

Он приподнялся, сел и, широко расставив руки, уперся в песок и несколько раз глубоко вздохнул.

— Не раз я тебя видел, человече,— тихо промолвил князь,— а все-таки не знаю, откуда ты.

— Из Любеча, князь...

— Коли из Любеча, то знаю,— сказал князь.— Близко там бывал, видел. Вот вернемся в Киев, поеду в Любеч и к тебе тогда зайду...

— Зайди, княже. Там каждый укажет, где живу, Микулу, сына Анта, спроси либо просто Малка... так все меня кличут... Приму тебя, княже, как отца...

— А найдется чем угостить?

— Ой, князь, князь! Нам бы только к родному очагу — и будем богаты. Зайди, княже, не забудь...

— Не забуду, Микула. У тебя, верно, жена, дети...

Микула помедлил с ответом.

— Когда-то наш род,— медленно промолвил он,— Антов род, был большим и сильным. А сейчас рассыпался прахом. Один я с семьей сижу у очага отцов... Жена у меня — Виста, сын — Добрыня, в твоей дружине служит...

— Добрыня — твой сын? — не в силах скрыть удивления спросил князь.— Как же мне его не знать! Еще моя мать, княгиня Ольга, взяла его ко двору и очень любила, посылала на великие дела. А когда родился мой сын Владимир, приставила Добрыню к нему дядькой. Добрым он был дядькой, вырастил Владимира сильным, здоровым. И недавно, когда посылал я Владимира княжить в Новгород, то и Добрыню с ним отправил. Видишь, какой ваш род, Микула!

— О, наш Добрыня добрый воин! — с гордостью промолвил Микула.— Должно быть, в деда Анта пошел...

— А может, в тебя, в отца?

— Что ты, князь! — тихо возразил Микула.— Не воин я, а смерд, мне бы не меч, а рало!..

— Не говори так, Микула,— возразил князь.— Твой меч я видел. И впредь так поступай: паши, а когда придет час — руби...

— Так и сделаю, князь,— сказал Микула.— Вернусь домой — и за пахоту... Теперь уже можно пахать...

— Значит, недаром ходили,— с волнением молвил князь,— в далекий поход на ромеев?

— А почему меня, смерда, об этом спрашиваешь? — спросил Микула.

— Я — только князь ваш,— ответил Святослав.— А ходили со мной смерды... Им, а не мне судить, не даром ли мы ходили.

— Нет,— уверенно промолвил Микула,— ходили мы не зря. Признаюсь тебе, князь, когда шел я на брань, то не знал, иду ли за правое дело...

— И что? — насторожился князь, увидев, что Микула замялся.

— Но потом понял, что коли не пошел бы — погиб. И все мы здесь,— он повел рукой вокруг,— погибли бы. Вел ты, княже, нас на правое дело. Не пошли бы мы — пожаловали

бы сюда ромеи, не побей мы их — они нас перебили бы до последнего. А я, князь, еще и сам хочу жить, и чтоб дети мои жили... Спасибо тебе!

И князю Святославу показалось, словно видел он перед собой тяжелую черную тучу, которая вынырнула из глубин моря, надвинулась на него и уже висела над самой головой, но вдруг упала где-то рядом на землю и разлилась по ней серебристо-голубыми ручейками.

— Спасибо и тебе! — сказал князь.

— А за что? — удивился Микула.

— За то, что шел со мной,— ответил Святослав и продолжал: — Спасибо тебе за весь род. Ведь у тебя не один Добрыня?

— Есть у меня еще дочь... Малуша,— точно проснувшись, откликнулся Микула.— Только где она сейчас, не ведаю. Взял ее Добрыня в Киев; там, сказывали, попала Малуша в княжий двор... Когда шли на брань и довелось побывать мне в Киеве, ходил я на Гору, искал дочь... Сказывали, нет там Малуши, работает где-то далеко, в княжьем селе...

Микула умолк. Заметив, что князь Святослав после его слов вздрогнул, вздохнул, он подумал, что сказал что-нибудь лишнее. Микула даже съежился, вобрал голову в плечи и неподвижно сидел, черный, на сером песке.

Князя Святослава поразило не то, что отец Малуши смерд, обычный воин. Нет, он и раньше знал, что Малуша не княжеского и не боярского рода, а из тех простых людей, что, подобно многим другим, работают в поле или ратоборствуют с врагами... Таким, именно таким должен был быть и отец Малуши.

Но узнать о том, что отец Малуши шел с ним рядом, боролся за его жизнь, не жалея живота и сил,— видеть все это князю Святославу было нелегко. Так вот каков ее отец, каковы люди земли Русской!

Князю Святославу захотелось в этот поздний час поведать Микуле обо всем, но он понял, что делать этого не следует. Если говорить с Микулой до конца, то придется рассказать все, что произошло с Малушей, и все, что произошло за много лет с ним, Святославом. И то, что он скажет, будет без начала, ибо Святослав не знает, почему так полюбил Малушу, и без конца, ибо не знает он, как сложится все, когда они вернутся в Киев.

Единственное, что хотелось сделать князю Святославу в эту минуту,— это поддержать воина Микулу простыми словами, поблагодарить за все, что он сделал, уверить, что трудится и ратоборствует он не напрасно, что за все получит награду.

— Ты не унывай, Микула,— сказал князь Святослав.— Теперь на Русской земле долго не будет брани, не зря проливали кровь наши люди, они вернутся к своим родам и селениям. Вернешься и ты, Микула, в Любеч, увидишь жену, сына, бу-

дешь в Киеве — найдешь Малушу. А я уж помогу тебе, поищу Малушу. Жива она и здорова, где же ей быть?!

Микула пододвинулся на песке, схватил руку Святослава.

— Спасибо, князь,— едва слышно, но от всего сердца промолвил он,— спасибо за твои слова, за дочь Малушу... Сам, пожалуй, я и не разыщу ее. А коли поможешь, найдется наша Малка.

— Найдется,— твердо сказал князь.— Найдется наша Малка... Только заговорились мы с тобой, Микула... Ты ложись! Спи! Завтра дальше в путь...

И князь Святослав лег, положил голову на седло и смежил глаза, будто задремал. Микула отошел на несколько шагов, тихо сел на песок, потом лег и тут же уснул.

Но князь Святослав не спал. Убедившись, что Микула спит, он сел и долго смотрел на него и на других воев, которые лежали повсюду у берега...

«Нет,— думал князь Святослав,— такие люди не могут погибнуть! Не для того боролись наши отцы, не для того проливали мы кровь, чтобы исчезнуть, подобно волнам, в неизвестности. Минуют десятки, сотни лет, но потомки вспомнят если не имена, то хотя бы великий труд своих предков...»

Всю жизнь провел он на коне. Но разве он жаждал войны и крови, как говорят люди? Впрочем, кто говорит? Русские люди не скажут, что князь Святослав зря проливал кровь, не скажут вовеки, что он, князь Святослав, водил их на ненужные войны... Это ромеи кричат на весь мир, что князь Святослав свиреп, что он разбойник, что это он идет на них войной и жаждет их смерти. Но почему, почему они так говорят?

Только потому, что ромеи ненавидят Русь и его, князя Святослава, только потому, что хочется им видеть русов перед собой на коленях, потому, что они хотят захватить Русскую землю... Если бы они этого не хотели, если бы не точили непрестанно мечи против Руси — и русские люди не брали бы меча в свои руки, у них вдоволь своей земли, чужая им не нужна. У них достаточно и людей — рабов им не нужно, они не завидуют чужому богатству — о, Русская земля обильна и плодородна...

Но если русские люди понимают, что на них точат мечи, знают, кто это делает, видят, как коварно подкрадывается к их городам, лесам и рекам враг, то как могут они спокойно сидеть, как могут ждать своей смерти?! Вот почему и ведет на бой своих людей князь Святослав. Не он идет, не он один борется — идут, борются все люди Руси...

И спокойно стало на душе у князя Святослава. Ему захотелось, как и всем его воям вокруг, отдохнуть перед далекой дорогой.

Но перед тем, как уснуть, он спустился к воде и долго прислушивался. На Днепре было очень тихо. Волна у самых ног

чуть касалась песка. Князь Святослав склонился, набрал полные пригоршни холодной воды, вымыл руки, несколько раз сполоснул лицо, и ему стало намного легче. А потом тихо, чтобы не разбудить воев, поднялся на кручу, лег, опустил голову на седло, вытянул руки и сразу уснул...

И верно, потому, что довелось ему в эту ночь говорить о Малуше, увидел он дивный сон.

Снится князю — как это бывало и раньше — что идет он в широком поле где-то под Родней, вокруг зеленеют травы, среди них множество цветов, невдалеке синеет Днепр. И хочется ему выйти на берег и отдохнуть.

Но видит князь — и это тоже не раз ему снилось раньше,— стоит на берегу под вербой, в белом платне, белом платке, вся какая-то светлая, знакомая, желанная, Малуша.

Князь Святослав бежит по траве, летит, ломает ветки шиповника с красными ягодами, колючки ранят ему руки, но он бежит с пригорка на пригорок к Днепру. И останавливается перед Малушей.

Только почему же — этого никогда не бывало в прежних снах — у Малуши такие невеселые глаза, почему сорвалась и покатилась по щеке слезинка-жемчужина, почему скорбно стиснуты в печали ее уста?

— Малуша! Услада моя, Малуша! Что с тобой?

Но не протянула она рук, а подняла их над его головой, будто осеняя его. Глаза были те же, а взгляд материнский, губы не шевельнулись, а он услышал:

— Отдохни, князь мой, отдохни!

И он послушал ее, чувствуя, что и в самом деле ему очень хочется отдохнуть. Прилег на землю. И Малуша села над ним, взяла в руки его голову, и он увидел ее глаза.

— Отдохни, князь, отдохни! Ты долго искал, а я здесь... Земля да я, и ты здесь, мой князь!

Но что это? Только что он видел над собой глаза Малуши, но вот это уже не глаза, а две звезды, которые он еще княжичем видел давным-давно, еще когда они ночевали в поле с дядькой Асмусом.

— Отдохни, князь, отдохни!

Звезды-сестрицы мерцали над ним, они были на диво приветливые, теплые. Почему же они летят от него, летят так, что в небе слышен свист, крик?

Кто знает, долго ли спал князь Святослав, но вдруг сквозь сон он услыхал странный звук и проснулся...

На другом конце острова раздался дикий, исступленный крик и повторился на берегах и косах понизовья. Казалось, что вокруг острова закипели, зашумели днепровские воды...

Князь Святослав вскочил на ноги, сразу поняв, что к острову подплыли печенеги, окружили стан, накинулись на стражи, идут сюда, он узнал их крик — призыв к бою.

О поле битвы! Оно страшно днем, когда человек идет на человека, когда на землю льется горячая кровь, когда от удара меча обрывается человеческая жизнь!

Но с чем сравнить ночную битву на острове Григория, когда после трудной и далекой дороги отдыхали русские вои, а коварный враг подстерег их и, как тать, ворвался в стан?!

Это была неравная битва. Печенеги, как коршуны, долго следили за русскими воями. Они видели, где те остановились, где заночевали. Русские же не знали, откуда свалился на них враг, и видели перед собой только черную ночь.

Это была неравная битва еще и потому, что русская рать растянулась по Днепру и на острове их было полторы-две тысячи. А через Днепр переправилось на остров в эту ночь вдвое, а может, и втрое больше печенегов.

И все же русские вои бились так, как всегда. Рубили врагов без пощады. И смело смотрели смерти в глаза. А умирая, верили, что за них отомстят другие.

Стан русских воев был окружен,— князь Святослав понял это, как только услышал со всех сторон крики печенегов. Значит, стража на острове перебита, помощи ждать не приходится, нужно бороться самим.

Он подал знак: если его услышит русский воин, то поймет князя, услышит печенег — пусть бережется.

— Вои русские! — крикнул князь Святослав.— Становитесь в круг, я здесь, потянем на печенега!

И, перекликаясь друг с другом, русские вои становились в темноте плечом к плечу, сливаясь в живую стену, поднимали перед собой щиты и нацеливались острыми копьями.

Так в самом начале стычки с печенегами князь Святослав сумел поднять, сделать круг, сотворить стену против печенегов и на какое-то время спасти жизнь многим своим воям.

Но печенеги яростно лезли на стан князя Святослава; они поняли, что подкрасться внезапно и вырезать всех воев им не удалось. Они понимали, что перед ними выросла стена воев, и потому любой ценой старались поскорей пробить эту стену, чтобы она не обрушилась на них.

Над островом стоял разноголосый крик, его эхо катилось по воде к обоим берегам. Где-то в темноте ржали всполошившиеся кони. Окружив стан, не умолкая ни на минуту, кричали печенеги. Русские вои, подбадривая друг друга и нагоняя страх на врага, не отставали от печенегов. Вокруг бряцали щиты, звенели мечи, свистели копья, отовсюду к небу неслись стоны раненых и умирающих...

Вокруг стана рос вал — это были тела печенегов; там же смежали глаза, прощаясь с жизнью, и русские вои. Этот вал высился в темноте как грань между жизнью и смертью, он тянулся, казалось, к самому небу.

Князь Святослав рубился наравне со своими воями. Он видел, как смело они умирают, но понимал, что сила одолевает силу, их мало — печенегов много, их будет еще меньше, а по Днепру плывут на конях к острову новые и новые враги.

И еще раз князь Святослав попытался спасти своих воев, хотел продержаться до рассвета, когда к острову, возможно, подплывут другие лодии и когда они уже при свете смогут не вслепую обороняться, а сами кинутся на печенегов.

Князь дал знак, от воина к воину передавалось веление князя, и, выстроившись в несколько рядов, они стали отходить к концу острова, где высились скалы: там печенеги могли нападать на них только с одной стороны, только там можно было продержаться.

Князю Святославу посчастливилось обмануть печенегов. Только когда русские вои, скопившись в одном месте, прорвали кольцо печенегов и, повесив на спины щиты, стали пробираться к мысу, только тогда печенеги поняли, что русский князь со своими воями вырвался из кольца и, возможно, сам собирается на них напасть...

Как бешеные волки, кинулись они за русскими воями, спотыкаясь в кустах и падая на камни. Печенеги старались забежать вперед, стиснуть русов с боков и снова замкнуть в кольцо...

Поприще, может, два поприща всего и пришлось пройти русским воям от их стана к скалистому мысу, но каким трудным оказался этот короткий путь! Выбирать в этот краткий миг перед рассветом не приходилось. Решалось: жить или умереть. Печенеги бросили в бой все, что могли, русские вои — все, что имели...

И русы пробились к мысу и вышли на скалы.

За Днепром светало. На темном небе рдели звезды. В этот предрассветный час они горели еще ярче, чем ночью; лучезарные, сверкающие, светло-зеленые, они пылали, переливались, мерцали в бездонной глубине. А на краю неба уже медленно прорезывалась серая полоска, вскоре она покраснела, словно налилась кровью, потом порозовела, побледнела и, наконец, набравшись сил, засветилась, посылая вперед, точно гонцов, лучи света.

Вся земля, казалось, замерла, притихла в эту торжественную минуту. Глубокое небо было чисто, без облачка; Днепр величаво катил к морю свои воды, такие спокойные, что в них, как в зеркале, отражалась каждая звездочка. Тихо было на

обоих берегах Днепра, в заливах и плавнях, только соловьи там пели о страсти и любви.

Со скал, высившихся над островом с севера, князь Святослав видел, как из-за Днепра властно идет рассвет, и глубокий вздох вырвался у него из груди.

Жить, о, как хотелось жить князю Святославу в этот чудесный ранний час! Бороться! О, сколько еще могли бы бороться за родную землю князь Святослав и его вои!

Но что делать дальше, как сражаться?! Князь Святослав, воевода Боджар, дружинник Микула, еще три отрока — шесть человек, вот сколько их из двух тысяч дошло до мыса. За ними — скала, круто обрывающаяся над Днепром, перед ними — ватага озверелых печенегов, они кричали, грозили, размахивали кривыми саблями, готовили копья.

В лучах рассвета, который все шире и шире разливался вокруг, князь Святослав увидел внизу перекошенное от злобы лицо печенега, которое показалось ему знакомым. Нет, князь не ошибся: с кривой саблей в руке, бросаясь с места на место, каган Куря что-то кричал своим воям.

Гнев, обида и презрение охватили князя Святослава. Он понял, кто привел сюда печенегов и кто послал на него кагана Курю.

— Скажи, собака,— крикнул он со скалы,— сколько греческих золотников получил ты за наши души?

Куря ничего не ответил Святославу; он был уверен, что киевский князь на этот раз не вырвется из его рук, велел своим воям быстро идти к скале, и те двинулись вперед.

Так пришел смертный час князя Святослава. Он огляделся.

Скала, где они стояли, круто обрывалась над днепровскими водами. Внизу — пропасть. Один шаг — и только брызги полетят по кампям. Конец, смерть.

Но пристало ли воину, а тем паче князю Руси, даже в самую страшную минуту накладывать на себя руки?

Смерть в бою — честная смерть, самогубец — трус; по поверью русских людей, такого после смерти ждет вечное проклятие, позор.

Князь Святослав переглянулся с воеводой Бождаром, с Микулой, отроками и по их глазам увидел, что они думают то же, что и он. Что ж, коли смерть, так в бою.

И с мечом в руке князь Святослав пошел вперед, а за ним двинулось еще пятеро. Они шли против сотни врагов, но не страшились их, не боялись смерти, не думали о ней.

В этот последний свой час вои, воевода и князь Святослав бились так, как никогда. Их было шесть. Упал воевода Бождар, упали три отрока, упал Микула. Остался один Святослав...

Но и один он шел вперед — с мечом в правой руке, со щитом в левой. К нему подскочил печенег и перебил левую ру-

ку, — князь Святослав выронил щит, но оставался еще меч. Несколько стрел впились ему в грудь, но князь киевский шел дальше.

И только на один миг приостановился князь Святослав. Он стоял, высоко подняв голову, очень бледный, и широко раскрытыми глазами смотрел вдаль...

Там, на голубом днепровском плесе, он увидел лодии... О, если бы эти лодии были здесь, если бы вои, которые сидят за веслами, знали, что творится на острове! Но на лодиях ничего не знают, вои сидят за веслами, вои плывут домой...

Еще шаг вперед ступил князь Святослав и вдруг, точно сломанное копье, упал на землю.

Так умер киевский князь Святослав.

Смерть князя Святослава была столь величественна, что остановила даже печенегов. Долгую минуту стояли они на месте, словно не верили в случившееся. Потом кинулись вперед и стали рубить мертвое тело Святослава.

Но тут кто-то закричал тревожно, испуганно:

— Лодии... Лодии!..

И все посмотрели вдаль, на низовье. А потом стремглав побежали со скалы, перепрыгивая через тела, к берегу, где паслись их кони. Бросались в воду, чтобы скорей переплыть Днепр и бежать в поле.

На далеком плесе, словно повиснув между небом и водой, вырисовывались лодии русских воев.

Раненный в голову, весь порубленный, лежал Микула под скалой, не в силах подняться на ноги, и видел, как все это было.

Князю Святославу воздали погребальную почесть, как и всем его далеким и близким предкам — князьям антским, полянским, по закону и покону русскому.

На высокую кручу острова Григория, к священному дубу, под которым обычно приносили жертвы, вои вытащили лодию князя Святослава, усыпали ее травой, украсили цветами, на носу сделали подобие княжеского стола, застелили его багряными коврами и на него положили тело князя Святослава, укрыв его знаменем.

Все знали и понимали — князя Святослава с ними нет. Вот лежит в лодии все, что от него осталось. Но князь Святослав жив и будет жить, он поднимется на своей лодии в небо и погрузится в иной мир — беззаботный, радостный, где цветут Перуновы сады, где сам Перун высекает молнии, где живут чудесные дивы.

Это — трудный и долгий путь. Может быть, князю Святославу придется мчаться на коне между скалами, которые расходятся очень редко и то лишь на мгновение, может, доведется ему биться со злыми духами или переправляться через небесные

реки и платить перевозчику за переправу. Да и сам он наконец должен есть, пить, кто-то должен помогать князю в этой дороге...

В лодию князя Святослава поставили корчаги, наполненные зерном, маслом, вином, убили лучшего, любимого княжеского коня. Жрец отрубил голову белому петуху и кровью его окропил лодию. А многие воины тем временем секирами рубили сухое дерево, ветви и тащили дрова к лодии.

Над островом величаво звучало:

Ой, не стало Святослава, князя нашего не стало.
Горе Киеву-городу и всем землям нашим настало,
Что собрался князь Святослав в далекую дорогу,
Белы руки на груди сложил, вытянул быстры свои ноги...
Ой, встань, княже, встань,— нет, не встанет Святослав,
не встанет.
Ой, взгляни на нас,— нет, не взглянет Святослав,
не взглянет.
Ой, едет наш князь, едет князь в далекую дорогу,
Помолись же за нас, не забудь о нас у Перунова порога...

В руках жреца появилась длинная головешка. Он коснулся ею сухого валежника, и по нему змеями побежал огонь. Днище лодии и насад окутало облако дыма, из которого то тут, то там, вырывались острые языки пламени... Клубы дыма поднялись над островом и потоками покатились над Днепром.

— Слава! Слава князю Святославу! — вырывались возгласы.

Это была торжественная минута. Дым развеялся, теперь вся лодия была в огне. Лодия князя Святослава покидала землю и выплывала в просторы небесного, вечного моря...

— Слава! Слава князю Святославу!

И как это бывало перед боем, воины ударили мечами о щиты, загремели сулицами, копьями, секирами. Заиграли свирели, забили в бубны, накры. И многим из тех, кто смотрел на лодию, казалось, что князь Святослав поднялся, стоит на лодии и ведет ее в безбрежные просторы.

А под скалой лежал с глубокой раной на голове воин Микула и плакал, глядя на это.

* * *

Из Доростола император Иоанн Цимисхий ехал в Константинополь весьма поспешно. Миновав Плиску и Данаю, он остановился только на несколько дней в Преславе.

Здесь император советовался со своими полководцами, как им через горные ущелья спуститься в долину Фракии. Сделать это было нелегко: начиналась уже осень, в ущельях ревели и пенились реки, издалека несся грохот обвалов.

Однако не одно это беспокоило императора. Повсюду в горах блуждали отряды непокоренных болгар, где-то справа от перевалов стоял со своими четырьмя сыновьями и большим

войском комитопопул Шишман — лютый враг Византии. Император и его полководцы, боясь своих врагов, условились, что часть легионов пройдет справа от главной дороги, часть — слева, сам же император с бессмертными будет продвигаться посередине.

Император и его полководцы никого не боялись только в Преславе. Здесь они чувствовали себя победителями и полными хозяевами. Сразу же после торжественного входа в Преславу император велел немедленно забрать в Вышнем граде все сокровища каганов, нагрузить их на колесницы, поставить вокруг стражу, а при переходах через горы везти колесницы за ним и бессмертными.

Все эти дни кесарь Болгарии Борис добивался приема у императора Иоанна. Но император всячески уклонялся от разговора. Прибывшему в Преславу со своими боилами кесарю сначала сказали, что император выехал к легионам в гору. Другой раз заявили, что василевс захворал, третий раз — что у него нет времени для разговоров.

Наконец император Иоанн нашел время и для кесаря Бориса. Это было тогда, когда все сокровища болгарских каганов лежали уже на колесницах, а сам император собирался выступать из Преславы.

Император Иоанн принял кесаря Бориса в Золотой палате, где когда-то принимали древние каганы. Император сидел на позолоченном троне Симеона, по сторонам и позади стояли полководцы. Кесарь Борис вошел в палату в кесарском одеянии и поклонился императору ромеев.

— Великий василевс,— сказал он,— я прибыл сюда, чтобы поблагодарить тебя и твоих полководцев за спасение Болгарии.

Долгим, пронизывающим взглядом посмотрел император на кесаря Бориса.

— Я сделал все, что обещал,— ответил он.— Болгария очищена от тавроскифов до самого Дуная. Князь Святослав побежден, а я ныне возвращаюсь в Константинополь.

— Надеюсь,— промолвил кесарь Борис,— великий василевс повелит, как нам быть далее. И я еще добавлю, что всех нас удивляет, почему, по слову императора, у нас забирают сокровища...

На бледном лице императора Иоанна проступили красные пятна, что обычно случалось с ним в минуты наибольшего раздражения. Но он сдержался и медленно произнес:

— Почему ты думаешь, кесарь, что сейчас за Болгарию отвечаешь ты? Нет, Борис! Дед твой Симеон и отец Петр довели ее до гибели. На западе у тебя стоят Шишманы — они захватили половину Болгарии. А что происходит у тебя на востоке? Ведь там полно непокорных болгар. А в горах и долинах? Всюду одно и то же. Как же могу я сейчас, радея о Бол-

гарии, оставить здесь, в Преславе, сокровища кесарей? Пока что мы будем их хранить в Константинополе.— На минуту он умолк. — Но обо всем этом лучше говорить не здесь, а в Константинополе, кесарь Борис. Ты поедешь следом за мной.

Так закончил император Иоанн последний свой прием в Преславе.

С великой славой возвращался император Цимисхий в Константинополь. Он сам позаботился об этой славе. Разбитые легионы Цимисхия еще стояли под Доростолом, а в Константинополь уже мчались гонцы с вестями, что войска империи наголову разбили тавроскифов, а их князь Святослав принужден заключить позорный мир. Еще Иоанн Цимисхий стоял в Преславе и думал, как ему перейти ущелье, а в Константинополе все уже твердили, что Цимисхий навеки покорил болгар, наложил на них дань и везет с собой сокровища Крума.

И никто в Византии не знал, что не князь Святослав, а сам Иоанн Цимисхий желал заключить мир с русами. Никто не знал, что император ромеев с остатками своих легионов хочет поскорее уйти из Болгарии, где земля горит у него под ногами; никто не знал, что император Цимисхий мечтает теперь только об одном — быть в Константинополе, за высокими стенами Большого дворца, в Буколеоне. Но в Константинополе встречали Иоанна Цимисхия, как победителя.

В день, когда Цимисхий возвращался во главе своих легионов, за стенами Константинополя, у Влахерна, собралась огромная толпа. На берегу, откуда был переброшен по челнам через Золотой Рог мост, стояли василисса Феодора, патриарх с духовенством, эпарх города, патрикии, члены сената, синклита, димоты и димархи. Тут же находились два хора — из соборов Софии и Святых апостолов. Всех этих избранных окружали воины, они стояли на страже вдоль всего берега и на мосту. А позади них толпился городской люд. Многие залезали на стены и деревья, немало набилось в лодии, которыми кишмя кишел Золотой Рог.

И вот наконец на галатском берегу, поднимая столбы желтой пыли, появились всадники. Все закричали:

— Император! Император!

Но император был еще далеко. По мосту проехало несколько сот закованных в броню бессмертных, еще несколько сот и еще несколько сот. Некоторое время никто не показывался. И уже потом, в окружении проэдра Василия, императора Константина, Варда Склира, патрикия Петра и многих полководцев, появился на белом коне Иоанн Цимисхий.

Император чувствовал себя прекрасно, хорошо выспавшись после многих бессонных ночей в летнем дворце на Галате. Утром

он позавтракал, выпил вина, а теперь видел Константинополь, толпы народа, слышал пение хоров, и от всего этого у него кружилась голова.

— Многая лета тебе, божественный Иоанн! — начинали димоты.

— Многая лета, многая лета, многая лета! — подхватывали хоры.

— Многая лета Иоанну с августами! — продолжали димоты.

— Многая, многая, многая лета! — еще громче славословили хоры.

Под торжественное пение хоров патриарх подал императору драгоценный скипетр и золотой венок, а димоты услужливо подставили Иоанну спины, когда он сходил с коня.

Здесь, на берегу Золотого Рога, уже стояла запряженная четверкой лошадей, обитая бархатом и украшенная самоцветами колесница, и димоты расчищали среди толпы путь, чтобы император мог к ней подойти.

Однако Иоанн Цимисхий не сел в колесницу, в которой его не могли видеть. Он велел поставить на колесницу драгоценную икону божьей матери, вывезенную из Преславы, и короны болгарских кесарей. Сам же, надев золотой венец и взяв скипетр, вскочил на коня, — о, в Константинополе все знали и теперь убедились, какой ловкий наездник император!

Так он и въехал в город, с венцом на голове, со скипетром в руке, с красной багряницей на плечах.

В тот же день, к вечеру, император совершил выход в Золотую палату. Там все давно приготовили для этого первого после войны выхода. Папия со своими диэтариями несколько ночей до этого не спали — мыли мраморные полы, натирали до блеска светильники и паникадила, развешивали на стенах знамена и дорогие ткани, украшали все цветами.

Каждый из сановников мечтал попасть на этот выход, но император велел пригласить в Золотую палату прежде всего посла германской империи, посла Венеции, всех знатных чужеземцев, полководцев, и потому многим сановникам пришлось стоять в конхах вокруг Золотой палаты, а еще некоторым сидеть за закрытыми дверями в Орологии.

Во славе и величии вошел император в Золотую палату, сел на золотой трон, обозрел толпу собравшихся и дал знак логофету. И тогда в палату ввели кесаря Болгарии Бориса.

К нему были прикованы тысячи глаз. Только теперь понял кесарь, почему, оставляя Преславу, император повелел ему следовать за ним, почему везли его в закрытом возке, почему

заставили ждать так долго в Орологии, на смех и глумление всем сановникам.

Но у кесаря-труса оставалась еще капля надежды, и по знаку логофета он пошел вперед, направился к императорскому трону. Это была страшная минута — идти и чувствовать, что за каждым твоим движением следят император, послы, знатные чужеземцы, тысяча глаз. Кесарь Борис боялся, что упадет. И он, наверное, упал бы, если бы логофет не подал ему знак опуститься перед троном императора на колени.

— Почему ты надел на себя багряницу и красные сандалии? — прозвучал голос императора ромеев.

«Конец»,— подумал кесарь Борис, вставая.

И это был действительно конец: несколько диэтариев подскочили к нему и сорвали багряницу, сняли сандалии. Босой, раздетый, стоял кесарь Борис среди Золотой палаты. А впрочем, он уже был не кесарем, а самым ничтожнейшим из всех, кто толпился здесь, в палате.

И тогда Борис вспомнил о боге: ведь если император Цимисхий сорвал багряницу с него, с кесаря, то в Болгарии остается еще патриарх, не подвластный ни императору ромеев, ни константинопольскому патриарху, он может защитить кесаря Болгарии.

— Я обращаюсь к богу,— воскликнул развенчанный кесарь,— я призываю на помощь церковь и патриарха болгар!

Стиснув губы, император Цимисхий долго смотрел холодным взглядом на Бориса, а потом процедил:

— Да будет тебе известно, что болгарского патриарха тоже не существует, есть только константинопольский патриарх, которому отныне подлежит и болгарская паства.

Итак, по слову Цимисхия уничтожалась Болгария — ее кесари, церковь.

Но императору ромеев и этого было мало. Он хотел, чтоб над кесарем Борисом, а следовательно, и над Болгарией, насмехались не только в Золотой палате, но и во всем Константинополе, во всем мире.

— Во имя отца, сына и святого духа,— сказал император,— властью, данной мне от бога, посвящаю тебя в магистры...

Бледный и растерянный, стоял магистр Борис перед троном императора. Он не нашел ничего другого, как стать на колено и поцеловать красную сандалию императора, которая пахла пылью. Отныне он сам был пылью!

Войско Иоанна Цимисхия отходило от Дуная очень медленно. Легионы же его стояли на месте, грабя и объедая города и села. Лишь тогда, когда в гирле появились первые хеландии из Херсонеса, а прибывшие на них купцы рассказали, что ви-

дели далеко в Понте лодии со знаменами киевского князя, легионы снялись с места и направились в горы.

После них в болгарских селах стало еще труднее и горше — новеллой императора Иоанна многие придунайские земли жаловались акритам. А те были еще бо́льшими кровососами бедных болгар, чем легионеры.

Акриты шли в села, и вставали ды́мы над колибами и хижинами, а по улицам неслись стоны и стенания. Акриты хватали все, что только могли унести,— меха, жито, последнего ягненка.

Ангел знал, что творится в селах над Дунаем, вскоре узнал он, что акриты появились и в его родном селе. Будь Ангел здоров, он ушел бы в горы, наточил бы нож и кровью отплатил за жену, за все обиды. Но сломанная кость ноги не срасталась, он не мог вставать даже с помощью палки и лежал в углу своей колибы на соломе, смотрел на покровину и думал тяжкую думу.

Правда, он не был одинок. Его не покидали соседи, они приносили ему еду, лечили рану, а когда начались холодные ночи, ставили в ногах мангал с горящими углями. Нет, он не был одинок, только пусто было на душе и на сердце.

Это сердце тоскливо сжалось и забилось, когда Ангел услышал крики на улицах родного села и тяжелую поступь акритов.

Подобно волкам, ворвались они в его колибу. Ангел сидел в углу на соломе.

— Встань!

Он показал на искалеченную ногу.

— Ты был у Святослава? Это ты показывал ему тропы в горах?

Ангел долгим грустным взглядом окинул акритов, и ненависть сдавила ему грудь.

— Я,— ответил он,— и ныне с ним сердцем.

— Собака! Хватайте его! — закричал один из акритов.

Ангел не мог ходить, и они выволокли его из колибы и потащили по мокрой дороге. Это была страшная мука. Болела не только нога, но и все тело. Однако, сжав зубы, он молчал, только раз или два с губ сорвалось страшное проклятие.

Был вечер, когда Ангела привязали к сухой вербе на горе за селом. Перед ним лежала глубокая голубая долина, по ней блуждали туманы, солнце на западе уже скрылось за темными горами, но на востоке его лучи еще касались высоких туч, оковывая их края золотом.

Ангел видел, как стаскивают к дереву сухой валежник, слышал, как внизу высекают огонь. Он знал, какая невыносимая мука и страшная смерть ждут его.

Ангел не боялся смерти, он знал, что жил праведно, жил трудно, что после смерти ему будет, может, легче, чем теперь. Несказанно больно было то, что так долго, с таким трудом и

все же тщетно они боролись с ромеями, что сейчас они повержены, что гибнет Болгария, ушла на восток Русь.

А внизу уже разгорелся огонь, волною взметнулся, окутал Ангела, клубами покатился в долину дым, пламя охватило вербу, сухое дерево запылало, затрещало.

И когда Ангел был не в силах уже терпеть, он закричал так, что его услыхали в селе. Крик этот пронесся далеко-далеко по всей долине, к Дунаю:

— Князь! Святослав! А-ге-ге-й! Вои русские! Микула! Слышите! По-ми-и-раю!

С этими словами он умер. Среди ночи, надвинувшейся с востока, с Дуная, долго еще горела над высоким обрывом сухая верба. И долго еще, когда с гор подул ветер, вспыхивало ясным огнем дерево и сыпались, летели на запад искры — все, что осталось от Ангела.

Поздней осенью 976 года император Иоанн Цимисхий, возвращаясь из Сирии в столицу империи, остановился на ночлег в долине близ горы Олимп, в имении патрикия Романа.

Это был уже не тот Иоанн, который вступал с фалангами бессмертных в Родопы, долгие месяцы стоял под стенами Доростола, говорил на Дунае с князем Святославом, который со славой вернулся в Константинополь и сорвал багряное корзно с кесаря Бориса.

Болгария была побеждена, но народа Болгарии император покорить не смог. Болгария распалась. В одной ее половине правили враги императора — Шишманы. Но и в другой, присоединенной к Византии, то тут, то там вспыхивали восстания. Возмущенный император самолично с большим войском выступил против непокорных болгар, обложил город Тралицу, ставший очагом восстания. Двадцать дней старался он взять город копьем, но не только не взял, а дождался того, что болгары сами напали на войско ромеев.

Тогда же перед лагерем римских воинов упала с неба, освещая ослепительным светом все небо и потрясая землю, большая звезда. Император Иоанн и его войско тотчас покинули стан и в ужасе бежали.

И все же они не ушли от подстерегавшей их беды. На другой день, когда войско ромеев, миновав долину, торопилось пройти ущелья, на них с большими силами напали болгары, перебили несметное число бессмертных и обычных воинов, уничтожили всю конницу, забрали имущество, захватили даже шатер императора Иоанна с сокровищами.

Но не только на востоке империи было неспокойно, восстания и мятежи бушевали в самой империи, в Азии и во многих городах и землях вдоль Средиземного моря.

Ссылаясь на то, что идет защищать гроб господень, Иоанн ведет легионы в Малую Азию, вступает в Сирию, после ожесточенной битвы берет крепость Мемпеце, где завладевает прядью волос, якобы принадлежавшей Иоанну Предтече, налагает громадную дань на Анамею и Дамаск, врывается в Ворзю и не оставляет камня на камне от крепостей Валанеи и Вириты.

Однако не было покоя императору Иоанну, ему казалось, что земля горит у него под ногами, что весь мир против него, что его окружают одни враги.

Император Византии не ошибался. В продолжение всей своей жизни он был врагом других народов и теперь пожинал только то, что сеял. Безумный император хотел покорить мир, и теперь мир мстил ему. На крови, войне, несчастье других он хотел построить собственное счастье, а счастье уже давно отвернулось от него...

Теперь он возвращался из далекой Сирии в Константинополь, но сама природа словно задерживала его движение. На Иоанна и его воинов жаром дышала Аравийская пустыня. Там, где они проходили, долго еще среди песков высились могилы — болезни и моровая язва косили людей. Они были, казалось, властителями мира, но голодали в этой стране, где все сгорело, а люди, покинув свои шатры, ушли куда глаза глядят.

И как это бывает, император Иоанн обидел того, кто стоял к нему ближе всех, и тем заставил своего злейшего врага сделать последний шаг.

Когда войско переправилось через Пропонтиду и василевс увидел Византию, он обратился к своему проздру со словами:

— Жадный, корыстолюбивый Василий, это ты повинен во всех несчастьях, которые непрестанно преследуют меня. Я осыпал тебя золотом, дал тебе богатейшие области Византии — Лонтиаду и Дризу. В знак любви и доверия назвал тебя — первого из всех паракимоменов — проздром, первым после себя. Ты же обманывал и предавал меня. Ты думал о себе и только о себе. Ты не сделал ничего, чтобы Византия была сильна и счастлива. Ты не радел и обо мне, своем императоре.

Упреки эти были несправедливы: до сих пор проздр Василий, как вернейший пес, день и ночь сторожил своего императора, выполняя каждое его желание, и делал лишь то, что повелевал император. Только Феофано проздр помогал вопреки воле императора.

Проздр не стал спорить с императором. Он понял, что вершина успеха Иоанна позади, что император стоит над бездной, куда давно уже влек его неумолимый рок. Осталось только подтолкнуть василевса.

В тот же день они заночевали с императором вблизи Олимпа, в доме патрикия, севастофора Романа. Патрикий, многим обя-

занный императору, достойно, с большой щедростью принимал Иоанна и его полководцев, устроив роскошный ужин.

Но во время ужина случилось нечто необычайное и страшное: после захода солнца на севере, у самого небосвода, появилась сверкающая звезда с ослепительно белым, похожим на конский хвост следом, который поднимался вверх. По бокам звезды высилось на небосводе несколько будто бы кровавых полос, напоминающих копья.

— Проздр! — испуганно обратился к Василию император Иоанн.— Скажи, что предвещают эти полосы и звезды?

Проэдр Василий не задержался с ответом. Сколько раз в самые тяжелые минуты своей жизни обращались к нему с трудными вопросами императоры Византии, и каждый раз он утешал их, до тех пор пока сам не карал лютой смертью. Так и теперь проздр Василий тотчас ответил императору Иоанну, а отсвет далекой звезды осветил его морщинистое, старческое лицо и седую голову.

— О василевс! Эти кровавые полосы, стоящие на небосклоне,— твои враги. Выше над ними висит твоя звезда, а ее хвост — это наша сила, легионы. Ты победишь, император!

Ответ удовлетворил пьяного императора. Он лег, но заснуть не смог. Позвав проздра Василия, он велел налить кубок вина. И проздр налил вина, а на дно бросил яд, который давно носил у сердца.

— Выпей, император, и ты спокойно заснешь! — сказал он.

Император Иоанн выпил бокал до дна и в самом деле заснул так, как давно уже не спал.

Перед рассветом императору стало плохо, он проснулся от страшной боли в животе и в груди у самого сердца.

— Проэдр! — позвал император.— Что со мной? Я умираю...

Проздр Василий долго стоял со светильником в руке у ложа императора и, прищурив глаза, смотрел на его бледное, перекошенное от боли лицо...

— Нет, император,— пересохшими губами ответил проздр Василий,— ты не умрешь, ты — бессмертен, император.

— Как можешь ты говорить мне о бессмертии,— крикнул раздраженный и вконец перепуганный Цимисхий,— если я вижу: вот она — смерть?!

— Ты захворал,— утешал проздр,— от тлетворного поветрия Азии, где всюду нас подстерегали болезни. Нам следует скорее ехать в Константинополь — там ты выздоровеешь.

Они тронулись на другой день вечером, когда стало немного прохладнее. Умирающего императора положили на носилки, которые привязали между двумя лошадьми. Глаза его заволакивало пеленой, смертный холод сковывал руки и ноги, а уга-

сающий взгляд был прикован к звезде, которая неумолимо нависла на северной стороне неба.

— Что это за звезда? — шептал император.— Нет, это не моя звезда. Она идет с севера, слышишь, проэдр, с севера. Мы — только кровавые столбы, только столбы...

За императором шел Василий. Здесь, за носилками императора, он не был уже проэдром — первым, здесь он был последним.

С трудом передвигая слабые ноги, Василий думал о том, что вот они скоро придут в Константинополь, скоро там не станет императора Иоанна и похоронят его в им же выстроенном храме Спасителя на Халке. А тем временем в Константинополь приедет Феофано, за которой он тайно уже послал дромон...

Но что даст это Василию? Не подняться ему. И Феофано пишет, что она тяжело больна. Что же остается? Песок под ногами?!

В Великом Новгороде звонит колокол, и по узким улицам со всех концов на площадь у широкого Волхова спешат мужи новгородские, идут жены и дети.

С Волхова дует свежий ветер, там стоят на якорях, качаясь на высокой волне, широкие учаны и шнеки, длинные лодии с насадами, легкие струги. Вои и рыбаки, которые стоят на этих лодиях, не прочь бы побывать там, на берегу, на площади, где звонит колокол. Но встречная волна не пускает.

И они только смотрят, как со всех сторон Новгорода стекаются к площади мужи новгородские, идет, высоко подняв секиры, дружина... А вон, видят они, идет князь новгородский Владимир, по правую руку от него шагает воевода Добрыня, по левую — тысяцкий Михало.

Князь Владимир поднимается на высокий помост, что стоит у вечевого колокола, снимает шапку. Ветер с Волхова перебирает его длинные русые волосы, раздувает полы темного бархатного платна, подпоясанного кожаным поясом, на котором висит драгоценный меч.

— Мужи новгородчи,— начинает князь Владимир, поднимая правую руку, в которой крепко зажата его княжеская шапка,— отцы и братья мои! Я созвал вас сюда, на вече, дабы поведать вам — неспокойно у нас на Руси, невзгода в городе Киеве...

Свистит, ревет ветер, он подхватывает над Волховом белых чаек, несет и кидает сюда, к площади, где собрались мужи. Здесь птицы кружат, точно белая тучка, борются с ветром и стонут.

— Мужи новгородчи! — громко говорит князь Владимир.— Трудное время настало для Руси и нас, аже князь Ярополк

убил брата своего Олега и поиде на земли Руси. Что деяти имамо, новгородчи, мужи мои?

Минуту на площади у Волхова стоит тишина,— всех поразило известие, поведанное князем Владимиром. А потом со всех сторон звучат голоса, несутся взволнованные крики:

— Не допустим, княже, усобицы на Руси!.. Поидем, княже, ратовать за Русь! Кличь, княже, верхние земли, поидем против убийцы князя, заратуем Русь!

И уже над многотысячной толпой засверкали секиры, замахали шапки, поднялись темные, натруженные руки.

— Веди нас, княже! Станем за Русь!

*I IX 1958*
*Киев*

## КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

**Агаряне** — буквально: потомки Агари, рабыни Авраама; у византийцев и в древней Руси — арабы, мавры, сарацины.

**Адамашка** — ткань из Дамаска, камка.

**Адмиссионалий** — особый чиновник для церемониала (Византия).

**Акрит** — воин пограничных войск (Византия).

**Альтабас** — ткань из Греции, Дамаска, Венеции.

**Арифм** — отряд войск (легион) (Византия).

**Архистратиг** — главнокомандующий (Византия).

**Асские горы** — Кавказские горы (асы — старое название осетин).

**Ахаты и лалы** — агаты и рубины.

**Банда** — отряд в 200—400 пеших воинов (Византия).

**Бармы, бармица** — «оплечие», накидка, расшитая золотом со священными изображениями.

**Безбородый** — евнух, скопец (Византия).

**Без ряду преставился** — без завещания умер.

**Березозоль** — апрель.

**Бессмертные** — закованные с головы до ног в железо всадники (Византия).

**Било** — доска, деревянный колокол.

**Бобровые благовония** — мускус.

**Боил** — воевода *(тюркск.)*.

**Борисфен** — Днепр *(греч.)*.

**Бортные угодья** — пасеки.

**Василик** — императорский вестник, посол (Византия).

**Веверица** — белка; шкурка белки как денежная единица.

**Великий папия** — главный управитель Большого дворца (Византия).

**Верхний волок** — место, где от Днепра перетаскивали лодки на Волхов.

**Весь, меря, чудь** — финские племена на севере древней Руси.

**Вигла** — караул, стража (Византия).

**Волос** — бог скотоводства и торговли у древних восточных славян.

**Волочить стяги** — поднимать знамена.

**Ворот, храпы** — части метательного орудия. Ворот — вращающийся вал, храп — спусковой механизм.

Востола — грубая домотканая материя.
Вручай — ныне Овруч.
Вырий — сказочная страна, куда на зиму улетают птицы (блаженная страна).

Гексамит, или аксамит — бархат *(греч.)*.
Гинекей — женская половина дома или дворца *(греч.)*.
Гиперборен — мифические обитатели счастливой страны на крайнем севере *(греч.)*.
Гнесь — преступление.
Головник — убийца, преступник.
Гора — центральная часть древнего Киева, где помещался княжеский двор.
Горнец — горшок.
Городница — часть городской стены в древнерусских городах.
Горючий камень — янтарь.
Гостиница (гостинца) — хижина или навес у дороги, где путники могли спрятаться от непогоды и отдохнуть.
Гривица — сени.
Гривна, куны, резы — денежные единицы в древней Руси.
Гривна — золотой обруч, ожерелье, монисто.
Гридень, гридь — княжеский дружинник.
Грождjево (вино) — виноградное (вино).

Дарница — пожалованная земля.
Десеткарь — чиновник, собирающий подать — десятину в натуре *(болг.)*.
Детинец — Кремль, крепость *(восточнослав.)*.
Детский — младший дружинник, княжеский отрок.
Джурджанское море — Каспийское море.
Диангел — осведомитель, агент (Византия).
Дибаджа — шелковая одежда *(перс.)*.
Дивитиссий — парадное одеяние (Византия).
Димоты — члены одной из четырех партий Ипподрома (Цирка) («белые», «красные», «синие», «зеленые») (Византия).
Димарх — глава цирковой партии (Византия).
Динарий — римская монета.
Дирхем — арабская монета.
Диэтарий — камергер, дворцовый чиновник (Византия).
Доместик — императорский телохранитель. Великий доместик, или доместик схол,— начальник телохранителей (Византия).
Домница — печь для выплавки железа.
Друнг — отряд пехоты в 1000—3000 человек (Византия).
Друнгарий — начальник друнга (см.). Друнгарий флота — командующий флотом Византии.

Еловец — флажок, украшение шлема в древней Руси.

Жеравец — подъемный кран, рычаг (уменьшит. от жеравь — журавль).
Жуп — селение, село (у южных славян).

Заборолo — забор на городской стене.
Закупы — люди, бравшие купу (заем) и отрабатывающие ее.
Зарев — старославянское название августа.
Захожай — участок, урочище.
Знамено — клеймо, печать, тавро.
Золотник — золотая монета в древней Руси.

Изголовник — подушка.
Иканаты — отряд императорской гвардии (Византия).
Итиль-река — Волга (ср. хозарский город — Итиль).

Каган — хозарский хан (правитель).
Камары — покои, примыкающие к большим залам дворца или храма (Византия).
Каппадокия — страна в восточной части Малой Азии, одна из фем Византии.
Кентинарий — мера веса и денежная единица. 15 кентинариев — около ста тысяч старинных червонцев (Византия).
Керкетон — патруль (Византия).
Кибить — дуга лука.
Китон — внутренние покои императорского дворца (Византия).
Китониты — служители китона, в их обязанности входило подавать царю скарамангий (см.) (Византия).
Климаты: (букв.: «склоны гор») — одна из областей Византийской империи, ныне Южный берег Крыма.
Ключ — единица флота Святослава.
Кмет — правитель области в древней Руси.
Колтки — подвески к женскому головному убору.
Коловий — одежда без рукавов (Византия).
Комит — правитель области в западной Болгарии.
Комонники — всадники.
Конец — улица в древнерусских городах.
Конха — ниша во дворце или в храме.
Конунг Свионии — варяжский (шведский) князь.
Корзно — плащ знатных людей в древней Руси.
Корста — гроб *(восточнослав.)*.
Корсунская земля — владения города Херсонеса (Корсуня) в Западном Крыму.
Корчийница — кузница *(восточнослав.)*.
Крица — кусок железа.
Крыж (меча) — крестообразная рукоять (меча).
Кубара — сарацинский корабль (Византия).
Кувиклий — придворный-евнух (Византия).
Кузнь — различные изделия из железа.
Кумвария — грузовая лодия.
Куропалат — высокий придворный титул — мажордом; куропалатом был начальник охраны дворца (Византия).

Ларник — княжеский писец и хранитель печати.
Логофет — канцлер, заведующий финансами Византийской империи.
Лунница — ожерелье.
Лучшие мужи — люди, которых восточнославянские племена посылали в дружину князя.

Магистр — высокое придворное звание (Византия).
Медимна — греческая мера веса сыпучих тел.
Медуша, бретяница — клеть для хранения меда.
Менсураторы — землемеры, топографы (Византия).
Месячное — содержание для купцов (на месяц).
Мечник — судебный исполнитель.
Милиарисий — византийская монета *(латинск.)*.
Милостница — любимица, возлюбленная.
Мисия, мисяне — Болгария, болгары *(греч.)*.
Монокурс — отряд соглядатаев, разведчиков (Византия).
Мутаторий — покои императора при храме св. Софии (Византия).

Н а п р ю — на суд.
Н а в — мертвец *(восточнослав.)*.
Н а к р ы — барабаны.
Н а р о ч и т ы й м у ж — именитый, знатный, принадлежащий к земледельческой знати.
Н а с а д — лодка с нашивными бортами.
Н е п р а з д н а — беременная.
Н и к а — победа *(греч.)*.
Н о в е л л — указ византийского императора *(латинск.)*.
Н о г о в и ц ы — нижнее платье, штаны.

О б а п о л — с обеих сторон.
О б е л ь н ы й х о л о п — раб.
О б е р е г а — амулет, талисман.
О б о я р — персидский шелк.
О д е б е л е л о — очерствело.
О л — пиво.
О л о н е с ь — в прошлом году.
О п а ш е н ь — верхняя одежда с рукавами.
О п л и т — тяжеловооруженный пехотинец.
О п о я с а н н а я п а т р и к и я — высокое придворное звание, дающее право на свободный вход во дворец (Византия).
О р г и я — греческая мера длины, 1,774 метра.
О р о л о г и я — зал часов в Большом дворце, примыкающий к храму св. Софии (Византия).
О с т р о в Г р и г о р и я — остров Хортица у Днепровских порогов.
О с т р о в Е л ф е р и я — ныне остров Березань.
О т е н ь — отцовский.
О ц е л — сталь.

П а в л и к а н е — христианская секта.
П а в о л о к — драгоценная ткань.
П а р а к и м о м е н — в букв. переводе: спящий близ царя, постельничий, высшая придворная должность (Византия).
П а р а к и п т и к — закрытая ложа императора в соборе или на Ипподроме (Византия).
П а р и к — раб, крепостной *(греч.)*.
П а т р и к и й — знатный *(греч.)*.
П а ц и н а к — печенег (Византия).
П е п е р — перец *(греч.)*.
П е р в ы й ч а с — семь часов утра по древнему счету.
П е р е в е с и щ е — место в лесу для ловли птиц сетями.
П е р у н о в П у т ь — Млечный Путь.
П л а н и н а — Восточные Балканы (Средние — Средняя Гора, Западные — Родопы).
П л а т н о — одежда (ср. полотно).
П л о с к в а — плошка.
П о в и н н и к — подчиненный.
П о г о с т — усадьба, княжеский стан.
П о д з о р ы — концы лука.
П о к р о в и н а — покров у гроба, крыша.
П о л и ц а — отворот, околыш.
П о л у н о ч ь — север.
П о л ю д ь е — княжеский объезд для сбора дани и для суда.
П о н т А к с и н с к и й — букв.: Негостеприимное море — древнее название Черного моря *(греч.)*.
П о н т Е в к с и н с к и й — букв.: Гостеприимное море — Черное море *(греч.)*.

Поприще — мера длины, $^2/_3$ версты.
Пороки — стенобитные осадные машины.
Порты — платье, одежда, рубаха из грубого полотна *(восточнослав.)*.
Поруб — тюрьма, острог.
Посаг — брак, свадьба.
Посестрины — двоюродные сестры.
Почет — свита.
Презвутер — в древнерусском произношении священник *(из греч.)*.
Препозит — начальник императорских евнухов (Византия).
Пресвитер — священник, настоятель собора *(греч.)*.
Примикарий — глава диэтариев (см.) (Византия).
Примучить — подчинить.
Прополома — прическа для торжественных выходов знатных женщин, ее дополняла белая вуаль (Византия).
Пропонтида — Мраморное море *(греч.)*.
Протевон — глава местного самоуправления, конвента.
Проти, протос — первый *(греч.)*.
Протовестиарий — начальник вестиариев, ведавших одеяниями византийского императора.
Проздр — букв.: председатель, первое лицо в государстве после императора (Византия).
Пряслице — грузило для ткацкого станка.

Ракия — водка *(тюркск.)*.
Рало — соха.
Ратать — воевать.
Ревун — сентябрь.
Резан — мелкая монета в древней Руси.
Рифейские горы — Уральские горы, Урал *(греч.)*.
Родня — город, стоявший на горе ниже современного Канева.
Рольные (земли) — пахотные (земли).
Ромеи — букв.: римляне; византийцы.
Рота — клятва, присяга *(восточнослав.)*.
Руда — кровь.
Русское море — древнее название Черного моря.
Рыбий зуб — моржовая кость.
Рында — оруженосец.
Ряд — договор.
Рядович — человек, работавший по договору.

Саркел — Белая Вежа, хозарский город.
Сварожич — сын бога солнца Сварога.
Синклит — собрание высших сановников *(греч.)*.
Сифон — особым образом устроенная трубка для метания огня (Византия).
Скарамангий — верхняя одежда высших чинов Византии, предназначенная для выездов, но не парадная, по покрою напоминающая кафтан.
Скудельник — гончар.
Скураты, ларвы — маски *(лат.)*.
Слебное — жалованье послов.
Смерд — земледелец. Смерды составляли сельское население, которое постепенно переходило в положение зависимых и крепостных *(восточнослав.)*.

Солид — золотая монета.
Спафарокандидат — придворный чин в Византии. Спафарий — букв.: меченосец.
Стол — престол.
Столец — стул, кресло.
Стратиг — правитель военно-административной области (фемы) в Византии, букв.: полководец.
Стратопедарх — полководец, главнокомандующий (Византия).
Струги, шнеки, бусы, учаны — различные типы судов в древней Руси.
Суд — старое название залива Золотой Рог у Константинополя.
Сулица — копье.

Таксиарх — начальник отряда в 128 человек, сотник (Византия)
Тамга — княжеский знак, клеймо *(тюркск.)*.
Танаис — древнегреческое название Дона.
Тасинарии — менялы *(греч.)*.
Татьба — грабеж, воровство.
Телесней — врукопашную (сражаться).
Тиун — чиновник в древней Руси.
Тиуны-перпераки — сборщики денежной подати; перпера — золотая монета *(болг.)*.
Топарх — полунезависимый феодал, букв.: правитель области (Византия).
Топотериты — ночные стражи (Византия).
Травень — май.
Требище — жертвенник (треба — жертва).
Триклин 19-ти аккувитов — зал Большого дворца с 19 столами и ложами для возлежавших (аккувитов) при трапезе византийского императора.
Тул — колчан для стрел.
Турма — отряд войска, состоявший из трех друнгов (см.) (Византия).

Убрус — полотенце, платок, скатерть.
Узорочье — золотые изделия.
Унотка, или юнотка — девушка (ср. уноша — юноша).
Упруг — ребро судна, шпангоут.
Упсала — город, древняя столица Швеции.
Уроки и уставы — подати, налоги.
Усмарь — кожевник.
Устоять — подчинить.
Устроить — укрепить.
Утнуть — убить.

Фар — маяк.
Фема — область Византийской империи и одновременно крупное военное объединение, насчитывающее 10 тысяч человек.
Фофудия — греческое судно.

Харалужный — стальной; харалуг — сталь *(тюркск.)*.
Хеландия — византийский корабль (ср. шаланда).
Хламида — плащ *(греч.)*.

Цеж с сытою — кисель с разведенным медом (восточнославянское блюдо).

Чадь — челядь, т. е. рабы, рядовичи, зависимые смерды.
Чело — передовые отряды

Червен — июль.
Черевьи — сапоги, башмаки.
Черные клобуки — собирательное обозначение конников-кочевников (ср. каракалпаки).

Шишманы — династия правителей западной Болгарии, ярые враги Византии.

Эпарх (города) — градоправитель в Византии.
Эскувиты — воины дворцовой стражи (Византия).
Этерия, этериоты — конная гвардия византийского императора (Византия).

Ябедьник — княжеский чиновник, судебное должностное лицо.

# СОДЕРЖАНИЕ

*Семен Дмитриевич Скляренко*

СВЯТОСЛАВ

Редактор *Е. Цинговатова*
Художественный редактор
*Ю. Боярский*
Технический редактор
*Л. Фейлер*
Корректор *А. Ухина*

Сдано в набор 18/III 1964 г.
Подписано к печати 20/V 1964 г.
Бумага 60 × 90¹/₁₆. 37,5 печ. л. =
= 37,32 уч.-изд. л.
Тираж 150 000 (1—100 000) экз.
Заказ № 2120. Цена 1 р. 41 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография
«Красный пролетарий»
Политиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.